

# Джон Бойнтон ПРИСТЛИ

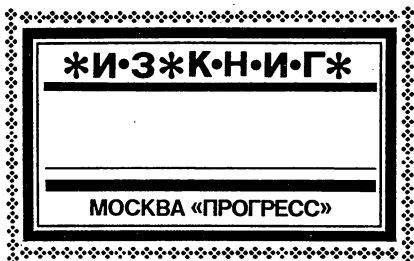
---

**Заметки на полях**

---

Радости. Англичане. Открытый дом.  
Обезьяны и ангелы.  
Мгновения. Поездка в Россию.





**\*И·З·К·Н·И·Г\***

**МОСКВА «ПРОГРЕСС»**

# **ЗАРУБЕЖНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА**

## **РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ**

**Т. В. БАЛАШОВА, Н. И. БАЛАШОВ,  
Б. Н. ВЕРЧЕНКО, Я. Н. ЗАСУРСКИЙ,  
Д. В. ЗАТОНСКИЙ, А. А. КЛЫШКО,  
Н. И. НИКУЛИН, В. Н. СЕДЫХ, П. М. ТОПЕР**

# Джон Бойнтон ПРИСТЛИ

---

## Заметки на полях

---

Художественная публицистика

*Перевод с английского*



Москва «Прогресс» 1988

ББК 84.4Вл  
П76

Составитель, автор предисловия и комментариев

к.ф.н. *Е. Ю. Гениева*

Художник *В. И. Левинсон*

Редактор *А. Н. Панкова*

В работе над сборником приняли участие

д.ф.н. *М. В. Урнов*

к.ф.н. *В. А. Скороденко*

### **Пристли Дж. Б.**

П76 Заметки на полях: Худож. публицистика: Пер. с англ./Сост., авт. предисл. и коммент. *Е. Ю. Гениева*.—М.: Прогресс, 1988.—472 с.: ил.—(Зарубеж. худож. публицистика и докум. проза).

Однотомник известного английского писателя и драматурга XX в. Джона Бойнтона Пристли (1894—1984) знакомит советских читателей с творчеством Пристли-эссеиста, одного из самых значительных представителей классической традиции этого жанра.

Эссе, включенные в сборник, дают представление о гражданской позиции писателя, его антифашистских убеждениях, обрисовывают круг профессиональных интересов автора. В сборник вошли литературные портреты, дневниковые записи, отрывки из путевых заметок, в частности материалы из сборника «Поездка по России».

П 4703000000—718  
006(01)—88 86—88

ББК 84.4Вл

ISBN 5-01-001029-1

© Состав, предисловие, комментарии, перевод на русский язык произведений, кроме отмеченных в содержании\*, и художественное оформление издательство «Прогресс», 1988 г.

## МУЗЫКА ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

Представьте себе на секунду—промозглый вечер, ветер пробирает до костей. Вы сбились с дороги. На душе тяжело; но вдруг, когда вы уже совсем отчаялись, вдали на холме вы видите дом, тот самый, который уже битый час ищете. Зашторенные окна ярко освещены, а с каждым шагом все отчетливее слышны звуки музыки. Еще несколько усилий, и вы окажетесь в тепле, среди друзей. Вас накормят и обогреют, а если и поворчат, то лишь потому, что вы так долго плутали в темноте и насквозь промокли.

На такой дом, большой, уютный, гостеприимный, где священной пламя домашнего очага, похож Пристли, полагает английский писатель Джон Брэйи, автор монографии об авторе «Опасного поворота», «Улицы ангела», «Визита инспектора». «Подобное сопоставление,—продолжает Брэйи,—приходило, однако, в голову не только мне, но и многим моим коллегам по перу».

В характере, личности, во всем облике Пристли есть не только что-то исконно и неистово английское, то, что заставляет вспомнить поговорку «мой дом—моя крепость», но и нечто такое, что делает его интернациональной фигурой, наднациональным явлением. Никто не скажет «английский писатель Дж. Пристли», скажут просто—«Дж. Б. Пристли», а еще вернее—«Дж. Б.», употребив давно уже ставшие такими знакомыми инициалы его имен—Джон Бойнтон. По пальцам можно перечест писателей, которые удостоились подобных ласково-уважительных сокращений: Г. К. Ч.—Гилберт Кит Честертон, еще один Дж. Б.—Джордж Бернард Шоу.

Пристли прожил долгую, полную событий жизнь. Родился он на исходе века девятнадцатого—13 сентября 1894 г., а умер, не дожив меньше месяца до своего девяностолетия, 14 августа 1984 г.—уже на исходе нашего столетия. Поистине ровесник века, свидетель и участник его многочисленных битв.

Родина Пристли—небольшой промышленный город Брэдфорд в Йоркшире. Семья, из которой вышел писатель, по своим корням рабочая, причем с обеих сторон, что,

безусловно, сказалось на характере и развитии Пристли. Дед писателя по отцовской линии был мельником, по материнской — простым рабочим. Мать Пристли не помнил — она умерла вскоре после его рождения, но, видимо, от нее, ирландки, он унаследовал кипучую энергию, поистине ирландское, особое остроумие, которое мы знаем по произведениям Шоу, Уайльда, О'Кейси, Синга, Джойса и др.

Воспитанием Пристли занимался в основном отец. По профессии учитель, человек действия, с выраженными религиозными, нравственными и социальными убеждениями, Пристли-старший был убежден, что общество можно исправить. Знал он и способ — реформы — и свою программу осуществлял в каждодневной деятельности. Кстати, он был первым, кто ввел завтраки в начальной школе. Казалось бы, малость, что о ней вспоминать. Но из наших малых поступков, как учил сына Пристли, складывается жизнь. Если можешь сделать — сделай. Внеси свою каплю труда в здание вечности.

По окончании школы в университет Пристли поступать не стал. Некоторое время он работал клерком в конторе по продаже шерсти (в Брэдфорде процветала текстильная промышленность), нисколько от этого не страдая. Напротив, старался, пока молод, получить все возможные радости от жизни. Был душой общества на частых семейных вечерах (отец Пристли женился во второй раз, и с мачехой у пасынка сложились теплые отношения). Хотя Брэдфорд был промышленным городом, в нем ценили искусство. Здесь был свой симфонический оркестр, своя театральная труппа. Сам Пристли неплохо играл на пианино, был заядлым театралом, хотя из-за постоянного недостатка карманных денег чаще всего ютился на галерке. Но особенной его привязанностью, если не сказать страстью, которая вызывала нарекания со стороны отца, придерживавшегося викторианских взглядов на развлечения, были мюзик-холлы.

Развлечения, однако, чувствительно били по карману Пристли. Надо было искать источник дополнительного заработка. Так родился Пристли-журналист.

Начало века в Брэдфорде, вспоминает Пристли, было замечательной, незабываемой порой в его жизни. Все было интересно, празднично, все казалось ему по плечу. «Я не сомневался, что при желании смогу руководить симфоническим оркестром, играть в театре и, уж конечно, выступать в мюзик-холлах». Но это золотое время кончилось в 1914 г., когда разразилась, пишет Пристли, «эта убийственная глупость — первая мировая война».

Пять лет Пристли провел в окопах: потерял немало друзей, получил ранение, которое, впрочем, казалось ничтожным по сравнению «с незаживающей раной, которую получил мир». «Все мое поколение было изрублено и

изгажено», — скажет позже писатель. Отвращение, ненависть к этой войне, презрение к бездарным политикам, загубившим тысячи жизней, Пристли сохранил на всю жизнь и не раз с гневом писал об этом и в своих романах («Мэр Мирокура», 1930; «Ясный день», 1940), и в своих публицистических книгах, особенно в автобиографии «Заметки на полях» (1962). А на исходе жизни Пристли даже пожалел, что не создал, вдохновившись примером Толстого в «Войне и мире», эпического полотна о первой мировой войне — ведь ее социальные и духовные последствия оказались во многом решающими не только для Англии, но и для всего западного мира.

В 1919 г., демобилизовавшись в возрасте двадцати пяти лет, Пристли поступает в Кембридж, где изучает историю. В двадцать восемь лет он получает диплом и одновременно предложение преподавать в университете. Академическая карьера, однако, его совсем не привлекала. К этому времени в нем созрело твердое намерение всецело посвятить себя писательскому труду.

Пристли сотрудничает с многочисленными периодическими изданиями: журналами, газетами, еженедельниками. Пишет рецензии, обзоры, статьи, рассказы, эссе. Хорошую школу он прошел в «Дейли ньюс», где главным редактором в ту пору был Роберт Линд, блистательный эссеист, к сожалению, сегодня незаслуженно забытый.

Внутреннее рецензирование, причем не от раза к разу, а систематическое, для крупнейшего английского издательства «Бодли хед» также пошло начинающему литератору на пользу, чрезвычайно расширив его кругозор.

Не просто известность, но успех, после которого личность автора начинает обрастать легендами, пришел к Пристли в 1929 г. с публикацией романа «Добрые друзья», одно название которого показывает, сколь важна автору нравственная традиция Диккенса. В первые же дни было продано несколько тысяч экземпляров книги. Рецензенты заговорили об удивительном молодом даровании, раскрывшем себя уже в первой книге. Однако такие суждения — первые кирпичи, идущие на строительство мифа. Во-первых, автор был совсем не так молод — ему уже было далеко за тридцать. Во-вторых, «Добрые друзья» — тринадцатая по счету книга Пристли, а до этого он знал и отказы издателей, и кислые отзывы, и равнодушие читателей. Другое дело, что после «Добрых друзей» успех действительно сопутствовал Пристли. Его следующий роман «Улица ангела» (1931) критики и читатели приняли столь же восторженно, что и «Добрых друзей».

Быстро и словно играючи Пристли покорила и театральные подмостки. «Опасный поворот», «Время и семья Конвей» и другие его пьесы прочно вошли в репертуар английских театров.



Вторая мировая война не была для Пристли неожиданностью. Ее приближение и ее неизбежность он давно ощущал и не раз говорил об этом, особенно в своих статьях. Когда началась война, Пристли было сорок пять лет; для военной службы он не годился, но свой вклад, и сразу добавим — существенный, внес. Каждую неделю в воскресенье вечером после девятичасовых новостей в течение 1940 и 1941 гг. Пристли вел на радио программу, которую назвал «Постскриптумы». Эта программа сразу же нашла своего слушателя, и вскоре воскресных выступлений Пристли с нетерпением ждала в буквальном смысле слова вся нация.

«Это всего лишь были устные эссе, предназначенные самой большой и весьма разнообразной в социальном отношении аудитории. Конечно, я был в них искренним — бесполезно обманывать микрофон... Конечно, я умел владеть голосом, знал, как надо подавать материал. Но право же, не только мне известно это искусство. Я не понимал тогда и не понимаю и по сей день, почему столько было разговоров о моих передачах. С тех пор минуло немало лет, но и сейчас некоторые пожилые люди, встречая меня на улице, жмут руку и вспоминают, что значили тогда для них мои десятиминутные рассказы об утках на пруду, пирожках в витринах магазинов. Странно, но глаза их полны слез. Слушая такие слова благодарности, нисколько возомнишь, что подарил им по меньшей мере «Короля Лира»... Нет, поистине неисповедимы пути рекламы...»

В этой брюзгливо-ироничной самооценке весь Пристли. Да, он говорил со своими слушателями вроде бы о пустяках. Но в его рассказах было столько тепла, человечности, не казенного, но идущего из самого нутра оптимизма, иными словами, духовной энергии, в которой так нуждаются люди во время тяжелых испытаний. К тому же в «Постскриптумах» не было ни слова пропаганды. Пристли не был ни рупором британского правительства, ни партии тори. Он сообщал своим слушателям только то, что думал сам. Говорил, подчас рискуя остаться непонятым или превратно истолкованным. Скажем, он считал, что аморально славить героизм британских моряков и при этом умалчивать об ужасных условиях, в которых они находились. Видимо, в этой искренности вопреки всему и всем и был секрет успеха «Постскриптумов». Говорят, что славе Пристли завидовал сам Черчилль. Впрочем, не только завидовал.

Возможно, что не без его помощи в 1941 г. «Постскриптумы» прекратили свое существование. Ведь далеко не всегда Пристли говорил о пустяках. Его голос звучал гневно и решительно, когда он критиковал действия британского правительства, требовал от него незамедлительного открытия второго фронта, когда осуждал фашизм. Пристли заподозрили в социалистических симпатиях, и вскоре в англий-

ских консервативных кругах о нем иначе как о социалисте и не говорили. Социалистом Пристли, конечно, не был, хотя лейбористской партии сочувствовал.

Слава Пристли, зенит которой пришелся на военные годы и первое послевоенное десятилетие, начала меркнуть, когда в середине 50-х годов на авансцену литературной жизни Великобритании вышли «сердитые молодые люди» с их сокрушительной критикой и отрицанием всего и всех, с их презрением к «добренькому» миру отцов. Пристли, социальный критик, безжалостный обличитель нравственного разложения буржуазной семьи («Опасный поворот», «Визит инспектора»), казался по сравнению с напористым молодым поколением всего лишь умеренным либералом.

Безусловно, критика Пристли общественных институтов иная, нежели у «сердитых». Она в традиции английского классического романа, в традиции Диккенса, Теккерея, Треллопа, Беннетта, Голсуорси. Нет в ней оглушительных лозунгов, но есть извечный английский интерес к среде, характеру, умение видеть в человеке отражение времени и умение превращать анализ характера в средство познания мира. Однако у него было то, чего не хватало молодым бунтарям,—мудрая вера в добро, в людское содружество, в духовные силы человека.

Но не только «сердитые» потеснили Пристли. Он оказался на вторых ролях, на периферии литературы, увлекшейся новыми, модными в ту пору идеями, например, экзистенциализмом.

С новой силой о Пристли заговорили лишь в начале 70-х годов. Но совсем не потому, что им были созданы новые по темам или по форме произведения. Он продолжал писать так же, как три десятилетия назад. Причина была в общественно-литературной ситуации, которая в критике—зарубежной и отечественной—получила название «викторианское возрождение». «Викторианское возрождение»—своеобразное литературное подтверждение закона диалектики—отрицания отрицания. В самом деле, те традиционные нравственные и литературные ценности, что так неистово отрицались многими писателями, определявшими климат эпохи, начиная с времен «потерянного поколения», вновь были подняты на щит. Исконные свойства классической английской литературы—внимание к человеку, его внутреннему миру, нравственным исканиям, к движениям его души, психологии,—то, что Пристли в своей книге «Англичане» (1973), ставшей в те годы своего рода приметой наступивших в сознании перемен, назвал английским духом, особой английской национальной сутью, заявили о себе с новой силой и в полный голос.

В интервью, которое Пристли дал по поводу своего семидесятилетия, он без ложной скромности заявил: «Нет, я не гений, но чертовски талантлив». Но не только о своем таланте успел высказаться Пристли. Пошутил, причем в свойственной ему ворчливой манере, и по поводу своего поразительного долголетия.

Принимая поздравления с восьмидесятипятилетием и выслушивая здравицы коллег и друзей, писатель заметил: «Вот бы не хотел дотянуть до девяноста. Сколько раз мне доводилось наблюдать: стукнет человеку девяносто, и смотришь — он уже не прежний, не тот, кого все знали и любили, а какой-то другой, чужой...»

Каким же был тот человек, с которым так не хотелось расставаться Пристли?

Всех, кому довелось знать писателя, поражала его феноменальная работоспособность и плодовитость. В военные годы его рабочий день растягивался до четырнадцати-пятнадцати часов. Он одновременно мог работать над очередной радиопередачей, обдумывать сюжет пьесы, героев для будущего романа и выбирать место действия нового рассказа. Случалось, что у Пристли выходило три, а то и пять книг в год. Общее количество созданных им произведений больше 120. Конечно, такая плодовитость возможна лишь при легком и уверенном пере. Но, читая Пристли, совершенно естественно приходишь к выводу, что этому писателю никогда не нужно было работать над стилем: чувство слова было подарено ему при рождении.

Кто-то из его соотечественников однажды остроумно заметил, что для Пристли писать гораздо естественнее, чем дышать. Чувствуешь себя лентяем, когда думаешь о Пристли, заметил как-то Джон Брэйи. Наверное, нет ни одного литературного жанра, в котором бы писатель не попробовал себя. Впрочем, у него есть собственное объяснение и своей феноменальной плодовитости, и своего «литературного непостоянства»: «Все меня считают человеком самоуверенным. И все глубоко ошибаются. Я всегда был неуверен в себе, в своих литературных способностях и, наверное, поэтому скакал от одного жанра к другому».

Человек кипучей энергии, как вспоминает о нем английская писательница Айрис Мердок, он умел заразить своей энергией, жизнелюбием и уверенностью в том, что завтрашний день, вопреки всем самым мрачным прогнозам и достовернейшим предсказаниям, будет во сто крат лучше сегодняшнего. «Мне посчастливилось работать с Пристли, — вспоминает Айрис Мердок. — Он помог мне превратить роман «Отсеченная голова» в пьесу. У меня у самой работа не клеилась. Текст получался вялым, мертвым. Но вот за

дело взялся Пристли. Он мгновенно понял, чего недостает пьесе, вдохнул уверенность и в меня—и текст ожил».

Неутомимый путешественник, он исколесил весь мир. Часто бывал в Америке, посетил нашу страну в трудные послевоенные годы, а в возрасте восьмидесяти лет, несмотря на запреты врачей и недовольство близких, отважился на путешествие в Новую Зеландию.

Пристли—один из самых пытливых умов столетия. Вопросы, которые в немалой степени определили развитие философской мысли в XX в.,—время, сознание и подсознание—всегда живейшим образом интересовали Пристли. Он внимательный читатель Бергсона, Успенского, Данна, иными словами, тех философов, которые пересмотрели линейную концепцию времени. Время, его тайны—постоянные темы размышлений художественных и публицистических произведений Пристли, скажем, его пьес «Опасный поворот», «Время и семья Конвей», книги «Человек и время» (1964), в популярной форме излагающей различные теории времени—от древнейших до сегодняшнего дня—в философии, литературе, искусстве; автобиографии «За высокой стеной» (1982), в которой Пристли размышляет о времени и существовании человека после смерти.

Немалое воздействие на Пристли, мыслителя и писателя, оказал Карл Юнг, которого он считал одним из самых блестящих умов столетия. Подсознание—важнейшая сфера существования человека, это сфера, убежден Пристли, где зарождаются творческие импульсы, сюжеты, герои.

Человек тонкий, в душе мягкий, он придумал себе маску эдакого брюзги и ворчуна, которую носил столь долго и упрямо, что она стала почти неотделима от его лица. Эта маска вводила в заблуждение многих, даже тех, кому довелось близко знать Пристли; в конце жизни она раздражала и самого писателя, и он не раз говорил, что пора бы от нее избавиться. Вот что вспоминает об этом Чарльз Перси Сноу: «Пристли был удивительно сложным человеком—внутри у него находился тончайший по своей чувствительности инструмент. Но казалось, он всеми возможными способами пытался это скрыть—бывал по временам чрезвычайно резок, даже груб. Нечто подобное я наблюдаю и в его творчестве. Он умел смотреть в корень, но не всегда мог найти подходящие слова и форму для воплощения своих мыслей. С другой стороны, иногда он говорил о чем-то не слишком значительном столь ярко и пронизательно, что казалось, он тратит впустую заряд. В этом сочетании таилась какая-то особая странность Пристли».

Иначе воспринимал Пристли видный английский критик и литературовед Пол Бэйли. В некрологе на смерть Пристли он заметил: «Удивительно щедрое дарование. Поразительная жизнь. Феноменальный запас энергии. За несколько дней до

смерти он обдумывал новую книгу и был уверен, что напишет ее. И все же не это главное. Он — последний из могикиан, последний из наших мудрецов».

\* \* \*

Нет нужды представлять Пристли и нашему читателю. Романист, драматург, общественный деятель, убежденный реалист, человек, относившийся к нашей стране с неизменной симпатией, писатель-демократ, антифашист.

Творческая судьба Пристли в нашей стране в общем складывалась удачно. По-русски вышло немало его романов — «Улица ангела», «Герой-чудотворец», «Они бродили по городу», «Затемнение в Гретли», «Дневной свет в субботу», «Сэр Майкл и сэр Джордж», «Дядя Ник и варьете», «Тридцать первое июня», «Эта старая, старая страна». Пьесы Пристли «Опасный поворот», «Время и семья Конвей», «Визит инспектора» начиная с 30-х годов не сходят со сцен советских театров. Есть у них своя история: первым постановщиком «Опасного поворота» был Н. П. Акимов, в пьесах Пристли играли такие мастера, как Е. Юнгер, Л. Сухаревская, Б. Тенин, П. Н. Гайдебуров, а пьеса «Визит инспектора», одно из самых ярких социально-обличительных произведений писателя, по его желанию получила первое сценическое воплощение не в Англии, но в Советском Союзе. Ее критический пафос, опасался Пристли, мог прийтись не по вкусу у него на родине, в Советском Союзе же, напротив, он был оценен по достоинству<sup>1</sup>.

Популярность Пристли в СССР очевидна. Но звания классика он в нашей критике не заслужил. Странно, если припомнить, сколь широк охват жизни в произведениях Пристли, сколь разнообразна галерея человеческих характеров, типов, возникающая на страницах его книг, — вот уж действительно люди всех сословий и состояний. Превосходный, если не сказать изысканный, стилист. Чуть старомодный? Пожалуй. Пристли всегда упрямо и последовательно следовал традиции реалистического повествования, утвержденного великими мастерами английской прозы XVIII и XIX вв. Терпеть не мог всяческих формалистических изысков, но любил добротную, сюжетную прозу; романист, драматург, да и вообще писатель, в каком бы жанре он ни выступал, говорил Пристли, «прежде всего рассказывает историю»; и пьеса, и роман потому должны быть «сделаны». В пьесах, убежден Пристли, особенно важна экспозиция и эпилог: они держат все действие и обеспечивают в свою очередь читательский успех. А уж в том, что книги пишутся

---

<sup>1</sup> См. об этом статью Ю. Кагарлицкого («Театр», 1984, № 7).

для читателя, да еще самого обычного, а не для кучки избранных интеллектуалов, Пристли был свято убежден.

Можно понять, почему о Пристли, вступление в литературу которого пришлось на 20-е годы, говорили несколько скептически в Англии, где в ту пору увлекались новой прозой Генри Джеймса, Джеймса Джойса, Вирджинии Вулф, Д. Г. Лоренса. Но вот что же помешало Пристли стать классиком в нашей стране, всегда высоко ценившей искусство его учителя—Чарльза Диккенса, непонятно. Может быть, виной тому не всегда удачные переводы? Читая иные, и впрямь усомнишься, что автор—один из самых замечательных стилистов в английской литературе XX столетия. Из-за погрешностей русского текста иногда в ранних переводах, и особенно переводах его пьес, нередко терялось и что-то весьма существенное—духовность Пристли, его прямо-таки диккенсовская вера в жизнь и людей казались слащавостью, выношенный и выстрадаанный оптимизм— всего лишь красивой и звонкой фразой. Пропало и несомненное для английского читателя родство Пристли еще одному духовному сыну великого автора «Пиквика»— Г. К. Честертону.

Переводчиков, видимо, вводила в заблуждение внешняя простота, естественность прозы Пристли, которые, если взглянуть пристальнее, оказываются такими обманчивыми и коварными. Простота Пристли—простота классики. Так, просты или, напротив, отчаянно сложны «Повести Белкина»? Эта кажущаяся простота скрывает отнюдь не обычные размышления—о мире, времени, человеке, вечности.

А может быть, все же причина в том, что в этих публикациях перед нашим читателем предстал «не тот Пристли»? Сколь ни интересны его романы и как ни значительны, особенно для своего времени, его пьесы, настоящий Пристли—это Пристли-эссеист.

Эссе—традиционный жанр английской литературы, давший ей не одно славное имя и множество блистательных произведений. Едва ли за всю историю английской словесности найдется и десяток писателей, не обращавшихся к этому виду прозы, зато с легкостью обнаружатся несколько десятков авторов, достигших на этом поприще значительных успехов,—Поуп, Дефо, Аддисон, Стерн, Хэзлитт, Теккерей, Лэм, в XX в.—Киплинг, Честертон, Шоу, Беллок, Вирджиния Вулф, Моэм, Дилан Томас, Энгус Уилсон, Грэм Грин. В этом далеко не полном перечне совсем не последнее место принадлежит Джону Бойнтону Пристли, автору более двадцати пяти сборников очерков и эссе.

Эссе, как и автобиография, мемуары, письма,—один из самых личных прозаических жанров,—предоставляет большие возможности для самораскрытия личности пишущего. Именно такие каноны были заложены создателями этого

жанра в Англии, писателями эпохи Просвещения Аддисоном, Поупом, Стилом. Личное начало в эссе оказалось очень близким и романтикам—Колриджу, Лэму, Ли Ханту. В начале XX в. блестящие английские эссеисты Макс Бирбом и Честертон сделали эту форму еще более «неофициальной» и еще более пластичной.

Жанр эссе, разговора запросто, короткой изящной зарисовки, как нельзя лучше соответствует темпераменту Пристли—энергичному, требующему немедленного выхода. Собственно и сам писатель понимает, что эссе—«его жанр»: «писать романы и даже пьесы мне было трудно, я постоянно что-то в себе преодолевал, что-то сам себе доказывал. Другое дело—эссе. Здесь я вольно дышу».

Эссе, очерк, памфлет, автобиография, путевые заметки, жизнеописание, лирическая и жанровая зарисовка, «заметки на полях»—во всех этих жанрах попробовал себя Пристли. Первые опыты писателя относятся к началу 20-х гг. В то время, вспоминает он, западная журналистика была еще не окончательно политизирована, и эссеист мог позволить себе вольный, душевный разговор с читателем. Беседы о разных разностях, житейских мелочах—такими были первые пробы пера Пристли: полная доброго юмора жанровая зарисовка попутчиков в поезде, рассуждения о совпадениях, случающихся в жизни каждого и вдруг открывающих нечто новое в мире, заставляющих по-иному взглянуть на себя, рассказ о фокусниках, циркачах, людях театра, симпатию к которым Пристли сохранил на всю жизнь, желание удержать самые дорогие воспоминания детства и юности и многое-многое другое.

«Конечно же,—писал много позже Пристли,—все это были лишь литературные упражнения. Мне еще нечего было сказать. И все же эти мелочи сослужили мне хорошую службу—я научился владеть инструментом, что так необходимо профессионалу».

Впрочем, то были не только пустяки. Вот, например, эссе «Первый снег». Впоследствии оно вошло во все антологии английского эссе. На первый взгляд в нем ничего нет—стихотворение в прозе, описывающее белое чудо. Но постепенно, как бы невзначай заходит разговор об особенностях английского национального характера, и читатель, подчинившись воле автора, ищет вместе с ним ответ на вопрос, что же составляет его суть.

Еще Ли Хант писал, что главное в эссе—стиль. Если найдены верные слова и нащупана точная интонация, то стиль становится вторым «я» пишущего.

Поиски точного, легкого, полного скрытой иронии стиля характерны для первых эссе и статей Пристли, печатавшихся сначала на страницах различных газет и журналов, а позже составивших сборники «Записки из Лилипутии» (1922),

«Скажу вам так» (1923), «Открытый дом» (1927). Кстати, уже сами названия, особенно «Скажу вам так», говорят о выраженном личностном характере эссеистики Пристли.

В послевоенные годы у Пристли одна за одной выходят книги эссе. Теперь он — мастер, остроумный, яркий, парадоксальный, превосходно владеющий материалом, блестящий стилист. Правда, подчас его мыслям не хватает глубины аргументации, достаточной убедительности. Но об этом забываешь, когда Пристли, как опытный актер, завладевает твоим вниманием. В первую очередь Пристли — просветитель: для него нет большей радости, как поделиться своими, действительно, обширными знаниями с читателями. Традиция национальной культуры для Пристли — понятие совершенно живое. Он не только ее хранитель, что видно по его книгам («Расцвет викторианской Англии», 1972; «Эдвардианцы», 1976), но ее органичная, неотъемлемая часть. Цитаты, аллюзии, реминисценции, постоянно возникающие в эссе Пристли, в первую очередь английские, те, что давно вошли в национальный свод знаний, составили национальную литературную сокровищницу.

К тому же Пристли от природы наделен драгоценным даром — умением непредвзято, как будто бы в первый раз взглянуть на явление — будь то литературный персонаж, знакомый каждому англичанину еще со школьной скамьи, или событие, о котором все уши прожужжали радио и телекомментаторы. О самом известном он говорит с такой искренностью и неподдельной заинтересованностью, что заставляет себя слушать — а это удается немногим.

Умеет Пристли и задавать верные вопросы. Он крайне обеспокоен состоянием современной западной культуры; не может смириться с тем, что литературу вытесняют телевидение и другие средства массовой информации. С легкой руки Пристли в английский язык вошло слово «эдмасс» (admass), что-то вроде «реклам-потреб», гибрид, полученный из двух слов — «advertisement» («реклама») и «mass» («масса»). Собственно это и есть два злейших врага Пристли — реклама, отупляющая человека своими навязчивыми штампами, и обыватели, «эти усредненные люди», в душе которых нет места воображению, а без него для Пристли не может быть жив человек («У телевизора»).

Пожалуй, особенно часто это слово, а точнее понятие, мелькает в эссе об Америке, отношении к которой у Пристли весьма противоречивое. Он не раз подчеркивал, что американский народ вызывает у него уважение, но при этом с нескрываемым раздражением писал об американских мифах, например о пресловутой «американской мечте» и не менее пресловутом американском образе жизни.

Штампы, особенно ненавистные ему штампы сознания, видит он и у своих соотечественников и предупреждает, что



они—серьезная угроза духовному здоровью нации (эссе «Единорог»).

Многие эссе Пристли—о литературе. Самый верный ориентир, самый надежный эталон для него—национальная классика. О ней он всегда пишет с любовью, профессиональным знанием и восхищением. Его книга «Комические персонажи английской литературы», вышедшая в 1929 г., не потеряла своего значения и по сей день, считается одним из классических исследований по истории и теории английского литературного юмора. Эту мудрую и проницательную книгу отличает особое единство замысла и интонации в подходе к литературному материалу, поразительная точность наблюдений, живое ощущение специфики, неизменной основы и в то же время исторически меняющегося облика британского юмора. Продуманность композиции, примечательное единство замысла, логика изложения—все это объединяет отдельные эссе о знаменитом Фальстафе, о пасторе Адамсе, о мистере Коллинзе, обо всех этих классических комических героях Шекспира, Филдинга, Джейн Остин и многих других английских писателей в эстетически единое целое. Эта книга давно уже стала хрестоматийным текстом, источником многочисленных и обязательных отсылок, устоявшейся оценки.

Пристли был одним из первых, кто обратился к творчеству Томаса Лава Пикока и Джорджа Мередита и посвятил им не просто обстоятельные литературоведческие монографии, но книги, и в самом деле интересные даже для обычного читателя-непрофессионала. Пристли удалось нащупать самый центр, главный нерв их искусства и поделиться этим знанием со своей аудиторией. В Мередите он едва ли не первый уловил опасную, с его точки зрения, тягу к интеллектуальному усложнению, перегрузке сложными образами, символами. Мередит начал то, что затем продолжил Генри Джеймс, а вслед за ним Джойс, Вирджиния Вулф, Томас Стернз Элиот—все эти «высоколобые» писатели, как их именует Пристли. В рассуждениях Пристли о «высоколобой» литературе и ее корифеях чувствуется некоторое упрощение. Только улыбку вызывает ворчливо-недовольное замечание Пристли в адрес Джойса: «Покажите мне его многочисленных учеников. Где они?» Ведь если отвечать Пристли, то придется обратиться к именам самого что ни есть первого плана. Но в целом можно понять направление мысли Пристли: настоящая литература не должна быть намеренно трудной для чтения. Он прекрасно понимает, что Пруст, Джойс, Валери, Вирджиния Вулф, Гессе, Томас Манн «гениальны, обладают глубиной», что «Т. С. Элиот создал совершеннейший поэтический инструмент... который использует с поразительным мастерством», что Кафка «в тех пределах, что он определил для своего искусства,—мастер», что Д. Г. Лоренс «как поэт поразителен, но как пророк

производит удручающее впечатление». Однако, завершает свои рассуждения Пристли, «абсурдно даже на долю секунды представить, будто эти писатели пишут для тех, кто хочет читать книги».

Русская классика—также тема размышлений Пристли. Его особенно занимают Толстой и Чехов, не только как «мастера», но и как писатели, определившие развитие мировой литературы.

Отдельная и очень яркая страница в творчестве Пристли—его путевые заметки. Впервые в этом жанре он попробовал себя в 30-е годы. В 1934 г. выходит книга очерков «По Англии», любопытный и замысловатый подзаголовок которой заставляет вспомнить эссеистов XVIII в.— «довольно путаный и сбивчивый рассказ о том, что автор увидел, странствуя по стране». Рассказ Пристли, надо сказать, получился не сбивчивый и совсем не путаный. Напротив, на страницах его книги возникает весьма цельный образ Англии периода депрессии, с большой симпатией он рисует простых людей, с которыми ему довелось познакомиться во время путешествия, вникает в их многочисленные проблемы. Вслед за Пристли многие английские писатели пытались создать «свои английские путешествия». Совсем недавно, к 90-летию Пристли, английская писательница Берил Бейнбридж решила полностью повторить путь Пристли, побывала в тех местах, которые полвека назад посетил писатель и постаралась рассказать о них в его манере. Но—увы!—сравнение не в пользу Бейнбридж. Эти очерки не сложились в стройный и цельный рассказ, и здесь подзаголовок, который был ею также сохранен, иногда начинает восприниматься в буквальном его значении— «путаный и сбивчивый рассказ». В чем же был секрет Пристли? Думаю, не в малой степени в личности автора—настоящего лирического героя книги. Недаром видный английский писатель и литературовед Малькольм Брэдбери писал: «Вклад этого писателя в литературу XX века не в том, *что* он написал, но *как* он писал. В том, что он нашел особую, только ему одному присущую интонацию, манеру разговора с читателем».

После успеха книги «По Англии» жанр путевых заметок плотно входит в творчество Пристли. Конечно, писателя интересовало не место само по себе, не его география или достопримечательности. Его интересовал «дух места», а он, по его глубокому убеждению, проявлялся в людях, в неповторимости их поведения, психологии.

В 30-е годы Пристли часто бывал в Америке, писал сценарии для Голливуда, немало странствовал по стране. Из этих поездок сложилась еще одна книга путевых заметок «Полночь в пустыне» (1937). Пожалуй, она особенно примечательна тем, что в ней писатель впервые выразил в слове ужас, который вызывала в нем сугубо урбанистическая

цивилизация, возможно, первым из западных писателей он уловил ее угрожающую, надвигающуюся бесчеловечность.

С нашей страной Пристли впервые познакомился в трудные послевоенные годы. О впечатлениях он рассказал в книге «Поездка в Россию» (1946), цельной по замыслу, полной неподдельного уважения к стране, освободившей мир от фашизма.

Пристли в полном смысле слова исколесил весь мир: бывал в Америке, Чили, России, Австралии, Гватемале, Гонконге, Камбодже. И на старости лет отправился за двадцать шесть тысяч миль в Новую Зеландию. Правда, перед этим изрядно уставший после поездки в Польшу, он поклялся не отъезжать от дома далее ближайшей деревни. Но очарование дороги оказалось сильнее.

Вернувшись из «дальних странствий», Пристли предложил издательству «Хайнеман» книгу очерков. «Пишите о чем угодно,—сказал ему главный редактор,—но только не о Новой Зеландии». «Иными словами,—вспоминает Пристли,—мне дали понять, что вся эта моя затея с поездкой в Новую Зеландию—ерунда».

Однако на этот счет у Пристли были собственные соображения. «В своей работе и в жизни я всегда полагался на интуицию. Никогда ничего досконально не обдумывал, не взвешивал все «за» и «против», не вычислял, не полагался на доводы рассудка... Моя интуиция и на сей раз подсказала мне, что я должен поехать в Новую Зеландию, каковы бы ни были затраты времени, сил, денег, потому что, хотя эту страну и считают сейчас неважной и неинтересной, вполне возможно, что все с ней как раз наоборот. И писать я решил именно о своей поездке в Новую Зеландию».

Доверие к интуиции и боязнь рациональных, логических построений многое объясняет в характере Пристли, который можно назвать противоречивым, и в поведении, которое так часто кажется непоследовательным. Но в этом Пристли—настоящий англичанин, особенно если согласиться с теорией национального характера, изложенной писателем в книге «Англичане», подводящей итог его многолетним раздумьям об «английском секрете». Главное, что определяет характер англичанина, утверждает Пристли,—это стертая грань между сферой сознательного и подсознательного. Именно такое отсутствие четко выраженной грани порождает непредсказуемость, неопределенность, противоречивость поведения.

Пожалуй, все эти черты можно наблюдать в характере и самого Пристли. С некоторыми положениями писателя, в самом деле, бывает трудно согласиться, особенно когда он впадает в свой ворчливый тон. Социализм, капитализм, британская империя, техническая революция—все валится в одну кучу, и все в равной степени не по нему. Или вдруг он, так искренне и тепло писавший о простых людях, сообщает,

что самое разумное устройство общества — классовое. Умиляется нравам и порядкам, бытовавшим в «старой, доброй Англии». То его трогают спикеры в Гайд-парке, заражающие слушателей своим энтузиазмом, то он ополчается на митинги, да и вообще на любые собрания. Они, по его словам, совершенно бесполезны, болтовня, пустая трата времени. Ни к чему путному они привести не могут. Правда, здесь слово у него явно расходится с делом. Ведь сам Пристли не раз принимал участие в международных конференциях в защиту мира, решительно выступал против гонки вооружения.

Искать строгой логики в его словах, как, впрочем, и поступках, — дело, обреченное на провал. Ни к каким утешительным выводам мы не придем, лишь превратно поймем писателя, его социальную и этическую позиции. Мудрость Пристли — мудрость писателя-идеалиста, романтика, который ворчит, брюзжит, а то и клянет все вокруг, но в душе верит в братство людей, в силу разумного, доброго слова, в «добрых друзей» — недаром именно так Пристли назвал свой особенно дорогой ему роман. Утопия, конечно, но в пору засилья пессимистических настроений в кругах западной интеллигенции она не так уж бессмысленна. Впрочем, представим слово самому Пристли:

«Пусть другие, у кого, возможно, есть на то основания, решают, славлю я жизнь или нет. Сам же могу сказать лишь одно. Часто я видел в окружающих меня людях и в происходящем вокруг одни недостатки, часто ворчал и брюзжал по поводу или без повода, осуждал и страстно обличал, но тем не менее я никогда не был в рядах того огромного, аморфно-расплывчатого, апатичного по своему духу и конформистски настроенного большинства, которое составляют все эти деятели рекламы, политики-паяцы, продажные газетчики — иными словами, все те, кто заражен страшными бактериями смерти. Увы, в нашем мире их развелось немало. И по сравнению с ними я, старый ворчун, совсем не пессимист. Нет — я верю в жизнь, люблю ее и славлю».

Это жизнеутверждающее, диккенсовское начало с особенной силой пронизывает сборник эссе Пристли, символически названный писателем «Радости». Любая книга, вбирающая в себя образцы художественной публицистики того или иного автора и призванная познакомить с ними читателя, должна иметь своего рода «ось», «стержень». Таким философским стержнем стал сборник «Радости». Короткие эссе, больше напоминающие стихотворения в прозе, передают мгновения жизни, мгновения радости, восторга. Радость от созерцания светлого чуда фонтанов, радость от воспоминания, которое пробудила в душе старая фотография, радость от общения с близкими. К этому сборнику сюжетно и тематически примыкает другой, написанный Пристли в 70-

годы, «Особые наслаждения». Его составили короткие эссе-портреты актеров, музыкантов, художников, композиторов. Некоторых Пристли близко знал, с некоторыми, как, например, с особенно им любимым Ральфом Ричардсоном, ему довелось вместе работать в 30-е годы, когда после успеха, выпавшего на долю «Опасного поворота», он организовал собственную театральную труппу.

Как уберечь человека от грозящего ему духовного оскудения, как пробудить в нем, заблудившемся в зарослях технических чудес, хотя бы воспоминание о духовности? Как остановить безумный, ускоряющийся с каждым новым десятилетием бег по жизни, как заставить человека хотя бы на минуту заглянуть себе в душу?

Но где она, душа, частица вечности?—горестно вопрошает Пристли. Ведь многие философы и социологи не устают повторять, что человек не венец творения, а так—случайность, песчинка в хаосе мироздания. О какой же душе можно говорить в обществе, где «единое на потребу», а день ото дня растет лавина насилия, террора, безумия?

Не так уж много прибежищ осталось у современных людей на Западе. Трудно сейчас, на исходе века, говорит писатель, верить в буржуазные политические лозунги. Наука при всех ее дерзаниях, смелых открытиях для скептика Пристли тоже палка о двух концах: именно она повинна в урбанизации жизни, она породила техническую революцию, что повлекло за собой загрязнение окружающей среды, отчуждение людей. Наука, как ни верти, причастна к трагедии Хиросимы. Религия? Но двери храмов, грустно отмечает Пристли, давно уже закрыты. Вот и получается, что вся надежда Пристли на литературу и на тех, кто сможет привить молодому поколению любовь к красоте слова, а вместе с тем и к благородству поступков. Если с детства, настойчиво повторяет писатель, учить человека любить прекрасное, может быть, удастся заронить в его душу семена добра и мудрости. Придет время—они дадут всходы: откроются двери храма; появятся люди нравственно и духовно здоровые. А вместе с ними в общество вольются силы, с которыми Пристли связывал свои надежды и на более серьезные перемены.

\* \* \*

Хочется надеяться, что читатель, перевернувший последнюю страницу этой книги, откроет для себя нового Пристли и согласится с Джоном Брэйном, точнее, с образом открытого, радушного дома, который он нашел, чтобы передать суть личности и творчества этого классика английской литературы XX века.

*Е. Генцеева*

# Записки из Лилипутии (1922)

## О ПУТЕШЕСТВИИ В ПОЕЗДАХ

Лишите англичанина очага и дома—средоточия его вещественного мира, и он станет совершенно другим человеком, способным на внезапные вспышки ярости, бурные изъяснения чувств, глубокие, сильные переживания, скрытые за невозмутимой внешностью. Даже меня, человека на редкость мирного и общительного, в вагоне поезда не раз преодолевают самые кровожадные мысли. При одном виде какого-нибудь даже вполне безобидного попутчика меня охватывает иногда такой приступ бешенства, что я за себя не отвечаю.

Есть пассажиры, которые неизменно вызывают у меня живейшее отвращение. Обычно это женщины средних лет, крупные, с зычным голосом и каменным лицом. Больше всего на свете они любят взять приступом купе для курящих, где уже уютно устроились и покуривают несколько пассажиров. Рывкнув через плечо на поверженного проводника—свою последнюю жертву, эта дама вваливается в купе, груженная всевозможными тюками самой устрашающей формы и размера, и вызывающе оглядывается по сторонам, пока какой-нибудь несчастный наконец не уступит ей своего места. Часто ее сопровождает злобная скулящая дворняга—под стать хозяйке. С ее воцарением миру в вагоне приходит конец: атмосфера постепенно накаляется, пассажиры смотрят исподлобья и бормочут угрозы. Особа эта знакома всем. В тот самый час, когда она впервые села в поезд, на железной дороге не стало обходительности и скромности. Впрочем, недалек тот день, когда она, быть может навсегда, исчезнет с лица земли,—ведь и среди пассажиров встречаются решительные люди.

Хотя вышеупомянутая дама совмещает в себе все самые худшие качества попутчика, есть среди железнодорожных пассажиров и другие, менее агрессивные категории людей, которые в той или иной степени также вызывают раздраже-

ние у многих из нас. Перечислю лишь наиболее распространенные из них. Первыми следует назвать тех, кто берет с собой в дорогу всевозможную утварь, тщательно завернутые в бумагу предметы домашнего обихода; пользоваться коробками и чемоданами они, по всей вероятности, считают ниже своего достоинства. Мало того, что эти оригиналы нагружаются разнообразными свертками самой прихотливой формы; они еще мечутся в поисках корзин с фруктами и букетов цветов — на свою и чужую беду. Встречаются также весьма незатейливые пассажиры, которые в поездах только и делают что едят. Не успеют они занять свои места, как начинают передавать друг другу разваливающиеся на части бутерброды и жалкие остатки торта, разговаривают с набитым ртом и сыпят крошки на брюки почтенных седовласых джентльменов. Бананы они чистят и поедают с такой прытью, что нервным пассажирам приходится пересаживаться в другое купе.

Дети тоже далеко не всегда оказываются удачными попутчиками, поскольку всю дорогу они большей частью либо хнычат, либо размазывают шоколад по лицу, либо пытаются вылезти из окна. Не обходится в поездах и без чудачков; это они в самую ненастную погоду норовят открыть все окна, а погожим летним днем панически боятся сквозняков и не дают даже прикоснуться к оконной раме.

Мне, признаться, больше по вкусу те несчастные, которые вечно оказываются не в том поезде. Будучи не в состоянии постичь премудрость железнодорожного расписания и не обратившись за советом к служащим вокзала, они кидаются в первый попавшийся поезд, всецело полагаясь на случай. Когда состав на всех парах уже мчится в Эдинбург, они неожиданно начинают озираться по сторонам и с трогательным волнением в голосе выяснять у попутчиков, скоро ли Бристоль. После чего, озадаченных и подавленных, их приходится ссаживать на ближайшей станции, где они бесследно исчезают. Я часто задавался вопросом, добираются ли когда-нибудь эти незатейливые души до места своего назначения, ведь не исключено, что они так и кочуют с поезда на поезд, со станции на станцию, пока окончательно не потеряют человеческий облик.

Больше всего я завидую потомкам Семерых из Эфеса, всем тем, кто крепко спит в дороге. Сколько раз во время долгого, унылого пути я испытывал зависть к пассажирам, которые без всякого труда забываются сладким сном. Тем, кто подчинил себе Лету, не страшны долгие, томительные дни и ночи, проведенные в пустом вагоне. Точно зная, сколько времени им предстоит провести в дороге, эти люди сразу же укладываются спать, и пока они, быть может, предаются во сне самым упоительным приключениям, мы тупо смотрим в окно или зеваем от скуки. Когда же до

станции остается всего две минуты, они подают первые признаки жизни, трут глаза, потягиваются, собирают вещи и бормочут себе под нос, выглядывая в окно: «Кажется, приехали». Через минуту, выпавшиеся всласть, эти прирожденные путешественники бодрым шагом направляются к выходу, предоставляя нам скучать в одиночку.

Если вашим попутчиком оказался моряк, считайте, что вам повезло. Он всегда готов закурить трубку и поддержать разговор с любым пассажиром, да и ему самому, как правило, есть что рассказать. К сожалению, вдали от приморских городов моряки попадаются редко. Не часто встретишь в английском поезде и доверительного болтуна, хотя в Европе и, пожалуй, в Америке вам их не миновать. У нас это большей частью необычайно нудный тип, вызывающий зевоту бесконечными историями из своей жизни. Такой уж если оседлает своего изрядно потрепанного конька, то ни за что с него не слезет, пока не загонит до смерти.

Существует еще одна разновидность пассажиров, о которой стоит сказать несколько слов—хотя бы в назидание молодым и доверчивым людям. Обычно это пожилой господин, опрятно одетый, если не считать табачных крошек на пиджаке. Сидит он всегда в углу и вступает в разговор, вынимая из кармана массивные золотые часы и замечая, что поезд опаздывает как минимум на три минуты. После чего, стоит вам хотя бы невзначай поддержать беседу, как он начинает говорить, причем исключительно о поездах. Одни любят рассказать о своих знакомых, другие—о скрипках или розах, он же рассуждает о поездах: их истории, качестве, предназначении. Кажется, будто всю свою жизнь, дни и ночи напролет, он провел в вагоне и ничего, кроме железнодорожного расписания, никогда не читал. Он сообщит вам, что поезд 12.35 идет от одной станции, а поезд 3.49—от другой; он расскажет, как поезд 10.18 вышел с такой-то станции в такое-то время и как отменили поезд 20.26, а вместо него пустили поезд 17.10. Он так увлекается значительностью этой темы, что становится красноречив, говорит со страстью, великолепно владеет своим голосом, который то оплакивает пассажира, не успевшего сделать пересадку или опоздавшего на экспресс, то превозносит скорые поезда, которые приходят точно по расписанию. И даже если вы не вполне разделяете многословие и пафос, с какими этот господин живописует железнодорожную тему, очень скоро вы неожиданно для себя почувствуете, что готовы пролить слезу над поездом 19.37 или издать восторженный вопль при виде поезда 2.52.

Остерегайтесь пожилого господина, который сидит в углу и говорит, что поезд опаздывает на две минуты, ибо он не кто иной, как Старый Мореход, тот самый, что «из тьмы вонзает в Гостя взгляд».



# Скажу вам так...

## (1923)



### ПРО НАЧАЛО

Как же трудно начинать! Я хочу сказать—как трудно начинать писать эссе (занятие совершенно добродетельное), а не нарушать десять заповедей. Гораздо проще начинать рецензию или, скажем, статью—но только не эссе. Ведь в первых двух случаях есть какой-то внешний повод, есть оправдание желанию писать, и это придает вам духу. Если надо писать рецензию— вас дожидается отданная вам на суд книга. Примерно так же и со статьей. У вас есть тема, такая, что волнует каждого, например «Взаимное обучение» или «Теологическое рассмотрение идеи бога», так что вы знаете, чего от вас ждут, и (как это ни странно с точки зрения здравого смысла и физиологии) беретесь за перо с легким сердцем. Но не иметь ничего, за что зацепиться, ровно никаких оправданий для писания, быть принужденным выуживать все из себя самого, стоять нагишом, поеживаясь, перед необходимостью придумать первую фразу—это совсем другое дело, а ведь именно в этой безрадостной ситуации и оказывается эссеист. Правда, не всегда она уж такая безрадостная... Если эссеист полностью занят только собой, если его остроумие брызжет через край, если он в настроении делиться своими сокровенными мыслями со всем миром или разливатья соловьем о мюзик-холлах перед Бертраном Расселом, деканом Ингом и председателем королевской скамьи Высокого суда, если он готов произносить монологи о смерти и бренности всего сущего перед мэром и муниципалитетом Стокпорта, если он в такой отличной форме,—этот эссеист сочтет свою задачу поистине упоительной и никогда не захочет променять ее на занудное писание рецензий и статей; он вспорхнет на сцену и замрет в свете рампы без малейшего трепета. Но такое случается редко, а обычно

эссеист, как рьяно ни защищай он свое искусство, не может до конца отделаться от чувства, что есть что-то нелепое и даже довольно бесстыдное в профессии говорить о самом себе за деньги; это чувство неотвязно гнездится где-то в глубине сознания, как наваждение, и в зависимости от темперамента эссеиста либо не дает ему вообще взяться за перо в тот день, а иногда и на следующий, либо после нескольких великолепных фраз зачина мешает ему продолжать, либо вообще не позволяет сочинить первую фразу.

Что до меня, то мне труднее всего начать; я могу стоять на краю часами и никак не решусь сделать прыжок. Я готов заниматься чем угодно, но только не нужным делом. Такая особенность, конечно, большое несчастье, но, быть может, еще хуже тому типу людей (таковы многие из моих знакомых), которые подходят под вторую вышеупомянутую категорию и после блестящего начала приходят к мертвой точке. Без малейших колебаний они берут перо, пишут на белом листе бумаги «О Резне» и сразу же начинают: «Резню можно осуждать лишь как средство достижения цели. Как самоцель, как нечто самодовлеющее против нее ничего не возразишь, а за нее сказать можно многое. И только теперь, когда замутнен чисто эстетический взгляд на мир, Резня нуждается в защите. Хотя мы и часто говорим об искусстве, нас не волнуют подлинные ценности, особенно те, что относятся к Искусству Возвышенного, которое включает в сферу своих экспериментов все жизненные явления. Вот так-то мы и пришли к непониманию Резни как проявления Возвышенного и не видим Ирода в истинном свете». В этот момент они просматривают написанное, вполне удовлетворенные началом, и обнаруживают, что поток иссяк. Они пишут на обрывке промокательной бумаги «Альбигойские войны», «Сицилийская вечерня», «Варфоломеевская ночь» — но все напрасно; они пришли к мертвой точке; пройдут мучительные часы, быть может, много новых блистательных зачинов будет написано, прежде чем дело сдвинется с места и их эссе обретет хоть какое-то подобие формы. Такие писатели представляются мне даже более несчастными, чем я сам, потому что я по крайней мере продвигаюсь вперед, стоит только придумать начало. Как скоро я набираюсь смелости позвонить в колокольчик, меня все же впускают в избранный мною дом, и мне не приходится, как многим другим, обивать пороги полудюжины особняков, так и не увидев их убранства.

Однако, хоть у других бывает и хуже, моя медлительность — большое несчастье. Всему виною робость, лень и полная неспособность сосредоточиться на чем-либо хотя бы на несколько минут. Правда, в конце концов они настолько оттягивают начало писания, что уничтожают сами себя: я прихожу в такое отчаяние, что и робость, и лень исчезают, а

некоторое подобие сосредоточенности, наоборот, появляется. Но я уже потратил даром уйму времени.

Обычно по утрам я начинаю с твердого намерения сейчас же сесть за работу, эссе должно быть написано, я и так слишком долго откладывал, больше тратить время попусту нельзя. Но войдя в кабинет, я начинаю заниматься делами, за которые в другое время никогда не берусь. Я прочищаю одну-две трубки (как ни странно, я никогда не чищу трубок в другое время), убеждая себя, что я прямо-таки рвусь начать работу. Со вкусом набив и раскурив одну из них, я усаживаюсь, но тут же вскакиваю, чтобы поправить слегка покосившуюся картину, поставить на место несколько снятых с полка книг или убрать какие-то разбросанные бумаги. Затем, вместо того чтобы сесть за стол на жесткий стул, чье неподатливое сиденье и прямая спинка напоминали бы о суровой реальности жизни, я погружаюсь в огромное, напоминающее корзину кресло, какие так любят (и не без причины) в университетах. Оно настолько глубокое и низкое, что я залезаю в него с ногами. И вот, в идеально удобной позе—голова откинута назад, колени согнуты, задранные ноги в шлепанцах у камина,—я собираюсь с силами, чтобы приступить к работе. Тянусь за ручкой и блокнотом, трубка моя раскурилась, сейчас-то как раз самое время сосредоточиться. Но увы!—я не в силах. Я могу следить за чужими мыслями, в книге или вне книги, сколь угодно долго, но предоставленные сами себе мои собственные мысли лишь бесцельно блуждают, потому что по складу ума я склонен перепархивать с предмета на предмет, влекомый властными и неожиданными ассоциациями. Мистер Пелмен и его друзья прослезилась бы над моими тщетными попытками удержаться мыслью на нужной теме; и подчас я даже готов обратиться к ним за помощью, не сдерживай меня какой-то подспудный страх, что они вообще отвратят меня от писательства, научив бойко распродавать свой товар, в самом широком смысле этого слова.

Блаженно расслабившись в большом пухлом кресле, я обдумывал свой маленький шедевр, которому предстояло появиться на свет в течение нескольких ближайших часов. Прошедшей ночью, улегшись в постель, я не спал и мысленно слепил всю вещь; она была продумана до последней запятой, и она была прекрасна. На шишечки кровати были нанизаны самые благородные мысли, а стеганое покрывало расшито поистине чудесными фразами; без сомнения, прошлой ночью я превзошел сам себя. Не удивительно, что теперь, когда вещь должна была обрести свое реальное воплощение, я чувствовал себя таким сонным. И, к несчастью, я не мог вспомнить ни единого слова из придуманных мною вчера, а те немногие обрывки, которые все же запомнились, казались сырыми и бледными. Да и сама тема

представлялась теперь не слишком уж многообещающей. Что о ней скажешь такого, чего уже не было сказано раньше? Почти ничего. Но нужно все-таки что-то делать, и вот я пишу заглавие и подчеркиваю его. Я делаю это на редкость медленно и тщательно, просто чтобы убить время и оттянуть злополучный момент, когда придется начать думать. Но уже задолго до того, как я провел черту, мои мысли витали так далеко, что целые континенты отделяли их от темы моего эссе. То, как медленно вел я черту, напомнило моего старого школьного учителя, который говорил, что наилучший способ провести прямую линию без линейки—это вести ее быстро; а отсюда мои мысли перепорхнули на других учителей, а затем на школьные каникулы, и друзей в Калифорнии, и кисти для рисования, и Уистлера, и Челси, и моего друга Икса, и девонширские сливки, и, наконец, на Колриджа. И теперь, добравшись до Колриджа, я вдруг вспомнил, что хотел посмотреть одно место в «Застольных беседах». Так что не без позорного усилия я отдираюсь от кресла и ищу сначала книгу, а потом нужное место в ней. И вот уже почти полчаса прошло с тех пор, как я прочел, что искал, а «Застольные беседы» все еще у меня в руках и я все еще занят чтением. Но я откладываю их в сторону, потому что вспомнил свой давнишний замысел—написать книгу о Колридже-критике, и начинаю снова обдумывать всю книгу, и разрозненные фразы вступительной главы приходят мне на ум. Теперь хорошо бы набросать план этой книги, я вновь хватаюсь за перо и бумагу—и тут только вспоминаю, что должен был написать эссе... Время второго завтрака пришло и ушло... Теперь уж я должен усесться за работу. Но сначала нужно убрать «Застольные беседы»—книга все еще лежит рядом со мною в кресле. Так что я кладу ее на место, но, когда снимаю руку от полки, в ней оказывается второй том «Часов, проведенных в библиотеке» Лесли Стивена, и уж по совсем непостижимым причинам я обнаруживаю, что все еще стою у полки и читаю эссе Стивена о Хорейсе Уолполе. Это уж никуда не годится, и с досадой я ставлю Стивена на место и снова плюхаюсь в кресло. Задето мое достоинство, я должен сделать прыжок. Так что без дальнейших проволочек я хватаю перо с бумагой и пишу: «Как же трудно начинать! Я хочу сказать—как трудно начинать писать эссе (занятие совершенно добродетельное), а не нарушить десять заповедей». И потом, всего с двумя-тремя остановками, я довожу дело до конца. Но что такое «конец», я не могу вам точно сказать, потому что все у меня перепуталось.

## ЭТИ УЖАСНЫЕ ПИСАТЕЛИ

Чтоб почитать для собственного удовольствия, я редко выбираю современных авторов. Сказать по правде, нынш-

ний роман—серьезный, умный, сатирический, приводит меня в ужас. Я, разумеется, не подаю и виду и никому ни в чем таком не признаюсь, но истинная правда такова—эти писатели меня пугают. Конечно, этого никто не знает—я, как и все, умею прятать страх и, ужасаясь, притворяться грозным. Издатели мне часто присылают книги (должно быть, забыв другие адреса), среди которых попадаются и новые романы, тогда мне ничего не остается, как, полистав подобный опус, взяться за рецензию. И никому из будущих моих читателей не догадаться, что я испытывал, когда ее писал. Скучающим и покровительственным тоном, который может обмануть кого угодно, но только не собратьев-рецензентов, я говорю, что мистер Алоизиус Каюк (смотри роман «В тисках у смерти») является писателем, с которым следует (или не следует) считаться, или что мисс Брандспойт, создательница «Сливков», как романистка подает надежды и мы еще услышим о ней в будущем. И все же если говорить начистоту, пока глаза мои скользят по строчкам книг, которые я разбираю так небрежно, меня охватывает страх и даже безотчетный ужас. Нет, я не отошел от темы и говорю о тех же книгах, что вначале,—серьезных, сдобренных сатирой, рисующих картину современных нравов, общества и прочего, а вовсе не об авантюрных повестях и детективах с их добродушной кровожадностью и бурными страстями, которые меня нимало не пугают, а доставляют удовольствие и радость.

Всезнайство в сочетании с беспощадностью—чего в литературе еще не было—вот что меня пугает в нынешних писателях. Меня не огорчают те из них, что ополчаются на современную промышленность и на владельцев городских трущоб,—я не был никогда предпринимателем и не сдавал в наем трущобы, и потому нападки авторов ничуть меня не задевают. Не эти, а другие книги, правдиво отражающие повседневность, рождают у меня и удивление, и тревогу, так что я их откладываю в сторону, если читаю не для дела. Их сочинители цепляются к любой подробности, к любой детали поведения и придают всем малостям такое эпохальное значение, что делается не на шутку страшно покинуть дом, смешаться с человеческой толпой. По-моему, они имеют доступ к каким-то неизвестным мне канонам и уставам и всех нас взвешивают на весьма чувствительных весах, но каждого находят слишком легким. Их представления о том, как надо поступать, держаться, говорить и двигаться, мне совершенно непонятны, их требования до того изысканны, тонки и непомерны—гораздо выше тех манер и навыков, которым я, а может быть, и вы способны научиться,—что я ни за какие блага мира не соглашусь остаться с глазу на глаз с каким-нибудь из этих беспардонных и злорадных борзописцев. Уж если мне захочется побыть среди собратьев, я лучше выберу

поэтов, эссеистов, критиков, серьезных рецензентов. Да защитят меня всемилостивые боги от этих наглых новомодных умников. В их обществе я не открою рта, не сделаю и шагу из страха, что нарушу их неписанные правила и буду высмеян в их следующем романе. Их жены и мужья, родители и дети, друзья, соседи, продавцы, квартирные хозяйки—все получают одинаковой монетой, а так как в наши дни они в довольно юном возрасте успешно делают карьеру, то воздают сторицей школам и колледжам; никто не застрахован от их загадочного гнева и стойкой, непонятной злобы.

Добро бы можно было угодить им и в отдаленном будущем, после жестокой муштры самообуздания стяжать их благосклонность. Увы, это не так. Я, например, не знаю, чем я провинился, единственное, что мне ясно, когда я робко перелистываю их романы,—я что-то делаю не так, и, более того, все люди постоянно что-то нарушают, но неизвестно почему так происходит. Как объяснили б сами романисты—такие уж мы люди. Раскройте наугад любой их опус, и вам немедля попадетс я что-нибудь такое: «На завтра Ричард познакомился с Бостоном. Последний был из тех людей, которые потребляют кьянти» или: «которые не потребляют кьянти». Довольно вам это прочесть, как вам становится не по себе (если, конечно, мы похожи), ибо вы тоже из людей, которые потребляют (а может быть, не потребляют) кьянти, и потому вы человек пропащий. Не думайте, что эти зуботычины, эти смертельные удары в спину наносятся лишь изредка, ими буквально пересыпаны романы наших проницательных сатириков. В любой их книге нет страницы, где нас бы не шпыняли самым бессердечным образом, так что в конце концов становится тоскливо. Совсем недавно мне случилось прочитать два эдаких романа кряду—мне нужно было их отрецензировать. Сюжеты их похожи. Главный герой обоих сноб (но эти новомодные героини всегда педанты, снобы или хамы), берущий в жены деревенскую простушку, которая выводится на сцену, чтоб можно было вволю посмеяться. Однако в первом бедную жену бранят за то, что она держит чашку чая, отставив в сторону мизинец, а во втором ее клсымят с не меньшей страстью за то, что она пьет, поджав мизинец. Не помню уж, о ком из этих авторов я написал, что он заметное литературное явление, но помню, что с великой радостью сбежал на чистые и вольные просторы истинного вымысла, оставив спертый воздух тайного общества по исправлению провинциальных женских нравов.

К тому же эти авторы в своем нелепом зубоскальстве заходят очень далеко и издеваются над более серьезными предметами. Они не пощадят вас, если вы женаты, и будут издеваться, если не женаты; они вас назовут неловким

плутом, если вы бизнесмен, политик или лицо какой-нибудь другой профессии, и слабонервным типом — если вы художник; прикончат вас в одном коротком и язвительном абзаце, если вы попытались расчитаться с жизнью, но будут вас третировать глав эдак с двадцать пять, если вы все-таки упорствуете в жизнелюбии, — понравиться им невозможно. Писатели былых времен, которых я люблю все больше, к обычным людям относились как к обычному явлению, героев же смешных, чудаковатых или странных они изображали чудаками, и радовались их чудачеству, и заражали этой радостью других, как делают и ныне. Они не измеряли их какой-то тайной меркой, не подвергали страшным и секретным тестам и не теряли время попусту, стараясь разом удивить и утратить читателя ради того, чтоб привести его в восторг. Они не выдавали себя за всезнаек и, уж конечно, не были немилостивы. Тогда как нашим авторам из новых не по душе никто из их героев, им, кажется, не по душе само писательство, и нравится им лишь нехитрая уловка, которая, как они думают, должна нас непременно покорить. Вся эта выставка обширных знаний — о людях, нравах, странах и профессиях, о книгах, музыке, напитках, яствах — нужна как неотъемлемая часть того же трюка. У эссеиста, например, вы встретите признание, что в чем-то он несведущ или слаб, но видели ли вы такого романиста или романистку, которые, по их словам, чего-нибудь не знают? Какое там! Они готовы позабыть о ходе своего рассказа и отклониться в сторону на много километров, лишь бы втащить туда какого-нибудь модного, малоизвестного художника-француза, какого-нибудь немца-композитора, название одной из итальянских площадей или диковинку венгерской кухни. Эта их странная взыскательность, эта извечная, жестокая, нелепая привычка язвить и хаять все и вся — другая сторона того же самого трюкачества. Они не могут нас увлечь своими сбивчивыми, жалкими рассказами и потому, оставив все попытки, предпочитают хорошенько застрашать, чтоб мы, не пикнув, дочитали их творение. Хоть им и удастся потревожить мой покой во время чтения, могу сказать, что их уловки потеряли надо мною власть. Я просто больше не поддамся их запугиваниям и ни за что не стану открывать их книги, даже когда за это предлагают плату. Пусть делают со мною что угодно: выводят в качестве героя следующих романов и говорят, что я такой уж человек; препроводив за стол, докладывают, как держу я свой мизинец — отставив, подогнув или макая в чашку с чаем. Пусть пишут, что им в голову взбредет, — меня это не трогает.

## СОВПАДЕНИЕ

Хотя мы и любим поговорить о совпадениях, в действительности мы в них не верим. В глубине души мы более высокого мнения о мироздании, ибо втайне убеждены, что вселенная не столь однозначна и примитивна, чтобы все в ней имело свой смысл. Если, к примеру, человек, проснувшись в первый день Нового года, открывает газету и по чистой случайности обнаружит среди некрологов свою фамилию, ему наверняка станет несколько не по себе. В дальнейшем, правда, он не преминет поделиться этой историей со своими друзьями, назовет ее забавным совпадением и громко, хотя и не вполне искренне, посмеется над ней. Друзья в свою очередь также сочтут этот случай забавным совпадением, после чего все будут весело смеяться, хлопать друг друга по плечу— не воспринимать же всерьез такую чепуху! Так, во всяком случае, поведут себя мужчины. Что же касается женщин, то они, реалисты, менее склонные к самообману, отнесутся к случившемуся не столь легкомысленно. При всем желании они не смогут избавиться от мысли, что подобное совпадение имеет некий скрытый смысл и что это вовсе не игра случая, а перст судьбы.

За год мы сталкиваемся с немалым числом подобных «совпадений», которые толкуем тем или иным образом, и независимо от того, предвещают ли они нам что-то хорошее или дурное, мы усматриваем в них некий знак свыше. Даже самые мелкие совпадения, настолько незначительные, что о них и друзьям-то рассказывать не стоит, откладываются в нашей памяти. Дряхлое, суеверное, любопытное существо, которое прячется в глубинах нашего сознания, видит в этих случайностях знамение судьбы. Даже самое пустячное совпадение вызывает определенное расположение духа, может привести к ссоре или примирению, к отмене завещания или к созданию шедевра. Очень глупо и даже опасно воображать, будто мы разумные существа; такие представления— с учетом наших познаний в истории рода человеческого— сами по себе в высшей степени неразумны. Поэтому совсем не вредно раз и навсегда открыто признать то вполне иррациональное влияние, какое оказывают на нас всевозможные курьезные случайности, называемые иногда совпадениями. Если это и слабость, то слабость, по всей видимости, всеобщая, а потому она не должна никого смущать.

Доказав таким образом— и, по-моему, довольно искусно,— что все мы находимся в одинаковом положении, я готов сознаться в том, в чем без этой преамбулы сознаваться не следовало бы. Итак, я готов сознаться, что всю прошлую неделю никак не мог отделаться от происшедшего со мной весьма незначительного и в высшей степени нелепого случая. К несчастью, случай этот был неприятным, после него во рту



остался гадкий привкус, и, хотя ничего дурного он как будто бы мне не предвещал (я, во всяком случае, не усмотрел в нем ничего особенного), теперь я не чувствую себя столь же уверенно, как раньше. У меня возникло такое ощущение, словно где-то что-то прогнило, и остается надеяться только, что не у нас, а снова в датском королевстве. Когда со мной происходят странные совпадения, мне кажется, что где-то в темных закоулках рассудка зарождается чувство вины, пока наконец у меня не возникает смутное чувство ответственности за содеянное, словно у человека, вообразившего, будто он совершил убийство во сне.

Так вот, на прошлой неделе, находясь на севере Англии, я отправился в гости к своему старинному знакомому, который живет в одном из тех небольших рабочих поселков — полугородах, полудеревнях, — которые обычно вырастают недалеко от крупных промышленных городов. Поселок, о котором идет речь, гнездится на вершине горы и со всех сторон окружен болотистой равниной. Место мрачное, неприветливое, и если раньше оно было унылым и заброшенным, то теперь, с появлением высоких фабричных зданий, когда горы, словно оспой, покрылись уродливыми промышленными застройками, оно производит еще более тягостное, безотрадное впечатление. Длинными узкими трубами тянутся в небо заводы, зияют тусклые глазницы тысячи окон, зеленые лоскуты нескольких еще сохранившихся полей зажаты между черными стенами, повсюду навалены громадные кучи золы, вдоль грязных улочек уныло тянутся, выстроившись в ряд, приземистые дома, а впереди раскинулась бескрайняя болотистая равнина с грозозящимися на фоне неба глыбами зубчатых черных скал. Болота хмуρο оставились на заводы, а заводы — на людей. Такие места поневоле бросаются в глаза, врезаются в память, их не спутаешь ни с какими другими. Впрочем, человек — растение отнюдь не нежное — приживается и здесь. В этих краях пышным цветом распускаются солидные добродетели и причудливые нравы.

Только в ночное время здесь и можно находиться. Ясной, холодной ночью вся неприглядность этих мест исчезает бесследно, и становится даже по-своему красиво. Когда солнце наконец садится, равнина вдруг озаряется каким-то странным светом: бледно-лиловым, зеленым, густо-оранжевым. Вершины скал расплываются в сумерках, ползущие в гору трамваи издали похожи на блестящих золотых жуков, отблески фонарей в долине загораются в небе неведомыми созвездиями. К сожалению, когда я ехал в трамвае в безобразный поселок на горе, где жил мой друг, было еще не совсем темно, и, хотя такая поездка довольно увлекательна, поскольку трамвайные пути напоминают горную железную дорогу, а сами трамваи — тяжелые скрипящие

галеоны, я с грустью смотрел в окно. Издав мучительный стон, трамвай с трудом преодолел последний, самый крутой подъем перед поселком. Мы проехали мрачные и куцые футбольные поля, крошечные муниципальные садики, настолько убогие, что своим видом они позорили даже ни в чем не повинные овощи. Еще более безотрадное зрелище являли собой грязные, покосившиеся курятники, в которых влачили жалкое существование угнетенные представители куриного рода. Мы миновали пару пивных и вскоре въехали в поселок. Несколько жуткого вида лавчонок, по одну сторону от дороги короткие прямые улочки и каменные домики, едва различимые во тьме. Трамвай остановился, и я вышел, не испытывая ни малейшего желания встретиться с аборигенами.

Выйдя из трамвая, я увидел перед собой небольшую улочку, которая сразу же привлекла мое внимание. По сторонам было всего несколько домов — небольших строений почти без окон, цветом и формой они напоминали угольную вагонетку. Ни садика, ни даже двора, ограды или хотя бы нескольких ступенек — несчастные жильцы выходили из дома прямо на улицу и входили в дом прямо с улицы. Дорога была вымощена лишь местами, под ногами хлюпала жуткая смесь из травы, шлака и грязи. Кончалась улочка небольшим пустырем, на котором трава была давным-давно вытоптана. Одним концом улица упиралась в дорогу, где заунывно громыхали трамваи, а другим спускалась к пустырю; друг на друга исподлобья смотрели два ряда мрачных, жалких домишек. Казалось, здесь не бывает ни детей, ни кошек и собак, ни даже открытых дверей — ничего, кроме непроницаемой тишины. Я подумал, что хуже улицы я еще не видел, в жизни бы не согласился жить здесь. В ней не было ничего от тех живописных темных закоулков, которые известны своими попойками и кровавыми драками. Нет, это была и всегда будет совершенно благопристойная улица, воскресной газете здесь поживиться нечем — улица как улица! Но какая же жуткая, безотрадная! Все в ней было явно не так, как надо. Ясно, что, как бы ее ни планировали, как бы ни застраивали, такая улица была изначально обречена. Подумать только, что за этими стенами живет и любит человек, центр вселенной, самое способное и благородное из всех живых существ на земле!

Но я заговорил о совпадении, которое тайно угнетало меня всю прошлую неделю. Так вот, только я начал бормотать про себя: «Сподобил же господь...», как вдруг мне пришло в голову прочесть название улицы, ведь я совершенно не сомневался, что в довершение всего в ее названии обязательно будут использованы такие слова, как «лаванда», «акация» или даже «рай». Я поднял глаза и сразу же увидел у себя над головой табличку, на которой черным по белому крупными, четкими буквами значилось: Улица Пристли.

## СТАРЫЙ ФОКУСНИК

Наверное, все со мною согласятся, что фокусники держатся особняком и не торопятся смешаться с публикой, их покровительницей и в то же время жаждущей обмана жертвой. Да и как может быть иначе? Жрецы, сивиллы, ведуны, целители, волшебники и чудодеи всегда вели себя таинственно и отчужденно и вовсе не стремились быть запанибрата с окружающими. Сегодняшние наши фокусники довольствуются тем, что развлекают публику, не притязая на чудесное (и резко осуждают тех, что выдают себя за чародеев), однако, верные традиции, стараются держаться также в стороне, объединяясь в общества факиров, магов и тому подобное и часто созывая съезды, чтоб обсудить насущные проблемы своей загадочной профессии. Укрывшись ото всех, словно подпольщики, они, должно быть, делятся секретами — новейшими приемами для трюков: наверное, их залы заседаний — это сплошной круговорот цилиндров, разноцветных лент, яиц, тузов трефовой масти, белых кроликов. По заведенному у них обычаю, заставив все столовые приборы исчезнуть и возникнуть вновь, они, мне кажется, обедают неспешно, основательно, засиживаясь за полночь и похваляясь тем, что целый Саутэнд не мог прийти в себя от изумления на трех вечерних и одном дневном сеансе или что город Вулвергэмптон был без ума от них на протяжении двух недель. Мне хочется надеяться, что их устав не запрещает им подобные забавы, они ведь тяжело трудятся и, несмотря на их профессиональную приветливость, которая на деле лишь уступка вкусу зрителей, пожалуй, были бы излишне строги без оживляющего духа этих вольных встреч. Мне нравится воображать себе, что там, на этих тайных сборищах, им служат за столом те самые молодчики, которые в ответ на просьбу мага подержать цилиндр или потрогать руку всегда выскакивают первыми на сцену, оказываясь подозрительно неловкими и манекенно, неестественно безликими. Я вижу мысленно, как эти малые уже без маскировки — без щеточек усов и в черных, а не в синих саржевых костюмах, прислуживают за столом своим хозяевам и быстро, ловко приносят сыр, печенье и бутылки с басским пивом; это, должно быть, будущие фокусники, усвоившие лишь азы своей науки, — отлично выполняющие трюки с яйцами и лентой, но неумело извлекающие из цилиндра кролика. Недолго час, когда, достигнув совершенства, они, как полноправные артисты, сверкая фраками и чернотой нафабранных усов, начнут ту призрачную жизнь, которую ведут поэты, живущие за счет приверженности человека к чуду.

Единственный знакомый мне фокусник скончался несколько месяцев назад. Когда-то он всегда перед полуднем пил пиво и закусывал в одном старинном ресторанчике, куда

заглядывал порой и я, там мы и встретились. Лерримэк — так звали фокусника — был очень старым человеком, уже не выступавшим в пору нашего знакомства. Мне помнится, что он был вдов и жил с замужней дочерью и занимался тем, что изредка придумывал какой-то новый фокус или иной раз соглашался выступить на детском празднике. Возможно, он при случае давал урок-другой, преподавая ловкость рук — искусство, в котором, как я понял, он был непревзойденным мастером. Я знал его в лицо задолго до того, как мы с ним познакомились. Всегда в одном и том же облюбованном углу, немолодой, немного сиротливый, он не искал внимания и не скрывался от него, но весь дышал покоем и уютом и вместе с бутербродом явно вкушал радость и вместе с пивом смаковал усладу жизни. Он, безусловно, не был нелюдимом и рад был завязать беседу с каждым, кто, как и он, хотел поговорить, но не был из числа тех стариков, которые всегда высматривают, настороженно и зорко, очередного собеседника, чтобы обрушить на него поток воспоминаний. По недогадливости я не сразу понял, кто он. Ему присуща была та невыразимая повадка, что отличает всех, имеющих привычку двигаться под взглядом тысяч устремленных на них глаз, но на актера он не походил. Кроме того, на нем лежал налет той странной, скорой на улыбки «обходительности», которая, я смутно чувствовал, встречалась мне и раньше, но из-за недостатка пронизательности я не узнал в ней главное и отличительное свойство наших любезных и словоохотливых кудесников. Однако я не так уж виноват, что не додумался до этой очевидной мысли, ведь никогда не ожидаешь встретить фокусника. Когда за магом закрывают занавес, нам не приходит в голову, что он живет и дальше. В отличие от актеров и актрис, чьи образы, благодаря уловкам лъстивой прессы, нам кажутся гораздо интересней в жизни, чем на сцене, фокусник — раз! — и будто растворяется в эфире, чтоб возвратиться в нужную минуту. Мне вспоминается, как я был ошарашен — я словно перенесся в край чудес, — когда, спросив у мальчика, чем занимается его отец, услышал, что тот фокусник.

Проведав от людей, что Лерримэк не то работал, не то работает сейчас иллюзионистом, я поспешил ему представиться. Приятно было наблюдать за ловкими и точными движениями его рук — сноровка не оставила его с годами. Всю жизнь мне нравилось смотреть, как первоклассный фокусник встряхивает салфетку или сгибает лист бумаги. У Лерримэка был один забавный и несложный фокус, который неизменно приводил меня в восторг: по сжатым кулакам между костяшками и сгибом пальцев туда-сюда безостановочно катился однопенсовик. Беседа шла о том о сем, а между тем на каждом кулаке самым невероятным образом сновало по монетке. Хотя он никогда не делал это напоказ, чтоб

поразить воображение собеседника, а только мимоходом, словно по привычке, как мы порою безотчетно крутим пальцами, то было, если вдуматься, тонко разыгранное действие. Почти не помню, что он говорил, ибо сегодня в памяти живет едва намеченный штрихами образ—от нескольких случайных встреч осталось только ощущение человека. Но вспоминается, что он с большим презрением отзывался о коллегах, которые гребут большие деньги в мюзик-холлах и, не имея должной ловкости в руках, изобретают или чаще покупают хитрые устройства. Он ни во что не ставил их бездарные приемы и без конца твердил, что истинному мастеру всего дороже ловкость рук. Любил он также повторять и повторял весьма настойчиво, что подлинные маги должны уметь по-разному показывать один и тот же фокус, и с удовольствием рассказывал, похмыкивая и выказывая признаки живейшего веселья, столь извинительного в старом человеке, как огорошил в свое время знаменитого иллюзиониста, когда исполнил перед ним известный фокус новым способом. В нем было много этого невинного и добродушного тщеславия.

Любимая же его история, которую я слышал от него не раз, ибо он был уже за гранью возраста, когда боишься повторяться, была о том, как он подсел в купе к картежным шулерам. Не зная, кем был по профессии наш друг, и увидав в нем будущую жертву своих плутней, эти мерзавцы предложили Лерримэку поиграть, и он немедля согласился, хотя был равнодушен к картам,— «чтоб показать им что к чему». Такого удивительного случая у этой троицы еще ни разу не бывало: все партии кончались самым невозможным образом. В конце концов, раздав колоду, он объявил, какие карты каждый держит на руках, затем нашел или, возможно, притворился, что нашел всех четырех тузов в кармане одного из этих молодцов, после чего вернул им деньги, и к полному их замешательству, сказал, кто он такой. В тот миг воистину торжествовала честность. То была славная история: поведенная обстоятельно, во всех подробностях и с точно нарастающей кульминацией, она дарила чувство сбывшегося ожидания, которое чуть-чуть сродни тому, что вызывает «Одиссея» с венчающей ее всесокрушающей фигурой Немезиды и многие другие величайшие творения. Я бы хотел услышать ее вновь.

Хотя в руках и пальцах старого маэстро таились редкие запасы хитроумия, он источал и чистоту, и простодушие, которые не так-то просто объяснить. Но он, во-первых, был художником, и, во-вторых, художником особым. Благодаря гигантскому труду и величайшему умению сосредоточиться, недостижимому для большинства из нас, он обратил в «источник чистого веселья» то, что могло бы оставаться хищническим инстинктом. Обманщик по природе, он не

присвоил ничего чужого (даже часы после сеанса возвращал владельцам). Вместо того чтобы лишать детей наследства, он одарял их радостью и чудом; вместо того чтобы создать двенадцать подозрительных акционерных обществ, он извлекал из своего цилиндра двенадцать ярдов пестрых лент; вместо того чтобы пускать по ветру сотни чужих тысяч, он прятал в свой рукав одну-две изготовленные им полукроны. Иные личности с подобными инстинктами пошли гораздо дальше Лерримэка: одни попали в «Кто есть кто», другие оказались в Южной Америке, а третьи угодили за решетку, но он, который был умнее и честнее, почел за лучшее стать фокусником. И если—сам я в это очень верю—вселенский замысел не столь серьезен и напыщен, как представляют себе многие, наверно, Лерримэк и ныне где-то выступает. Мне нравится мечтать, что в эту самую минуту тень старого маэстро стоит в кругу глазюющих забытых детских душ и извлекает прозрачного кролика из столь же эфемерного цилиндра.

## ВСЕ О СЕБЕ

«А теперь,—сказала она,—расскажите мне все о себе». Я совершенно потерялся. До этой минуты я был раскован, самоуверен, остроумен, в живом обмене репликами я мог бы сообщить о себе массу подробностей. Захоти моя знакомая узнать, что я думаю обо всем на свете, от Земли до Сириуса, и я бы говорил без умолку; я мог бы подолгу рассказывать о странах, в которых никогда не бывал, о книгах, которых в жизни не открывал; я был готов врать сколько угодно, причем врать нагло и умело. Не обратись она ко мне с этой роковой просьбой, и я бы рычал, как прелестный ласковый львенок, каковым она меня возомнила; я бы ворковал, как нежная голубка, разливался соловьем, ибо, в отличие от самозваного постановщика Питера Пигвы, у меня, можно сказать, «была написана роль льва». Но рассказать «все о себе»? От былой раскованности не осталось и следа, моя собеседница одним махом сорвала с меня красочные одежды незаурядной личности, без которых я предстал во всей своей жалкой наготе простого смертного. В голову не приходило ничего, кроме старых как мир афоризмов: подобно Сократу в первом силлогизме, я—человек, а следовательно, смертен; «Мы созданы из вещества того же, что наши сны...»; «Не знают, не разумеют, во тьме ходят...» «И уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое». Что мне было говорить? Я уставился на свою бойкую собеседницу. С ее лица не сходила полуигривая-полувыжидательная улыбка. В этот момент я, вероятно, был похож на ребенка, который смотрит из-за руин на эскадроны ворвавшейся в город

вражеской конницы. Затем я промямлил нечто настолько невразумительное, что моя знакомая, отчаявшись вытянуть из меня сокровенные признания, заговорила о другом, а я, поспешно облачившись в свой шутовской наряд, прикрыл наготу, в которую она повергла меня своим вопросом, и с готовностью поддержал новую тему. Йорик опять стал самим собой.

Просьба, сформулированная таким образом, несомненно, теряет всякий смысл. Ведь она настолько явно рассчитана на то, чтобы заставить замолчать любого нормального человека, что не приходится сомневаться в мотивах, которыми руководствовалась моя знакомая. Ужас, охватывающий собеседника, столкнувшегося с подобной просьбой, вовсе не обязательно свидетельствует о его трогательной скромности. Заданный мне вопрос был столь значительным и обзывающим, что справиться с ним мог либо гений, либо уж человек, страдающий манией величия. Если бы моя собеседница хотела узнать, чем я занимался в прошлом году и как намереваюсь провести следующий, если бы ее интересовало, нравится ли мне Шекспир и люблю ли я рано вставать,— я мог бы болтать языком до окончания века. Всегда, в любое время дня и ночи, я готов говорить о себе, то есть о своих взглядах, вкусах, причудах, занятиях, надеждах и опасениях. Я вовсе не чужд того пустого, глупого, но, надеюсь, не слишком обременительного тщеславия, какое свойственно большинству людей, играющих словами, красками и звуками. Покрасоваться я люблю ничуть не меньше, чем любой другой сочинитель, хористка или же министр. Но даже если вам достаточно самого незначительного предлога, чтобы заговорить о себе, должна быть некая черта, отделяющая наши бранные души от вселенной, должен быть положен предел нашим эгоистическим излипаниям, нам необходима определенная точка отсчета, в соответствии с которой мы либо превозносим себя, либо порицаем. Выпалить «все о себе» по существу значило бы втиснуть в себя весь мир, объяснить собою вселенную, вознести свое «я» до чудовищных высот. Эта мысль уже сама по себе повергает в уныние, бьет, словно гигантским молотом, по голове.

Для большинства людей, очень может быть, и наступит время, когда они могут вполне осмысленно рассказать о себе. Что же касается меня, то, признаюсь, так далеко я еще не зашел. Я все еще пытаюсь, пока что безуспешно, составить о себе впечатление по тем отрывочным высказываниям, которые делают на мой счет другие люди. Я до сих пор поражаюсь, когда замечаю, каким странным, причудливым существом я выгляжу в представлении своих знакомых. Насколько я могу судить, это третий этап самопознания; сколько времени он длится и наступит ли четвертый— сказать не берусь. Зато могу поручиться, что есть и два

предшествующих этапа. Когда мы еще очень молоды, не только «земля и все земное предстает (если воспользоваться цитатой из Вордсворта)... как сновиденье дивное», но и мы сами; не задаваясь вопросами, мы жадно впитываем жизненный опыт, и этот золотой век длится до тех пор, пока мы не поймем — не без некоторого содрогания, — что, кроме нас, есть и другие люди, которые видят нас со стороны, как и мы их. Иными словами, мы начинаем познавать самих себя, только когда осознаем, что мы не одни на свете. С этого момента начинается второй, самый тревожный этап самопознания, который у впечатлительных, восприимчивых людей затягивается порой до двадцати с лишним лет, а то и значительно дольше.

На этом этапе мы только и делаем, что задаемся вопросами. Крошечные, нежные Гамлеты, мы с головой погружаемся в самоанализ. Как никогда, мы силится в это время понять, кто же мы есть на самом деле, — и никогда не бываем так далеки от истины. Мы примеряем к себе все то, что читаем, и, словно флюгеры, поворачиваемся туда, куда дует ветер новых идей. Стоит нам, например, всего час почитать Суинберна, и мы становимся образцовыми язычниками, пылыми влюбленными, но достаточно всего нескольких страниц Карлейля, и в тот же самый день мы, сами того не замечая, превращаемся в убежденных философов или же стойких прагматиков. До завтрака мы можем быть стойками, после обеда — эпикурейцами, до полуночи — еще сомневающимися, но уже подающими надежды платониками. Со временем, однако, мы падаем духом: хотя философские теории продолжают привлекать нас и даже кажутся созданными специально для нас, хотя мы продолжаем отождествлять себя со своими любимыми героями — чего-то существенного нам все же в самих себе не хватает. Мы можем быть кем угодно — а мы никто, мы лишь сгусток эмоций, носители развенчанных идеалов и сомнительных убеждений. Мы уверяем себя, что другим нас никогда не понять, что окружающим не хватает прозорливости, чтобы по достоинству оценить те причудливые черты, которые, несмотря на всю нашу вопиющую бесхарактерность, безволие, непостоянство, делают нас замечательными и несравненными. Между тем сами мы ничего не можем с собой поделать, ведь мы меняемся каждый час в зависимости от того, с кем в этот момент имеем дело. Если, скажем, мы общаемся с каким-нибудь простаком, то кажемся самим себе живыми, тонкими, изысканными людьми, и в одно мгновение выбираем тот путь, по какому будем следовать всю оставшуюся жизнь. Но стоит нам оказаться в компании какого-нибудь мелкого франта, и мы слышим, как его жеманные интонации диссонируют с нашим собственным голосом, в котором мы угадываем нотки сильных, решительных людей, тех, кто рано или



поздно найдет свое место в жизни. Так мы и живем, пока не начинаем понимать, что нам нечего предъявить миру, кроме этого нелепого танца с переодеванием.

Но мы взрослеем и со временем либо перестаем заниматься самоанализом и беремся за дело, либо по-прежнему силится в себе разобраться. Возможно, мы начинаем замечать, как выглядим в глазах своих друзей и знакомых, и стараемся оправдать благоприятное впечатление, которое на них производим,—хотя и не берусь ответить на вопрос, с чего мы, собственно, взяли, что это впечатление такое уж благоприятное. Это может заразить нас тщеславием—мучительным, неотступным чувством, понуждающим любой ценой стремиться к славе; черта, кстати, вовсе не такая плохая, как может показаться. Люди, более мудрые, чем мы, не раз уже отмечали, что тщеславие—это по крайней мере естественное состояние человека, искренне стремящегося завоевать симпатии общества. Если же мы себя переоцениваем, не желая вместе с тем добиваться расположения других людей, то нас подстерегает гораздо более мрачная альтернатива—гордыня, обрекающая человека на полное одиночество. Очень многих хвалят за сдержанность и так называемую застенчивость, тогда как в действительности они просто слишком горды и не рискуют ставить себя в глупое положение. Тщеславный человек будет валять дурака, лишь бы обратить на себя внимание и вызвать аплодисменты; гордый человек требует к себе внимания, не желая при этом валять дурака, а очень гордый человек настолько высоко себя ставит, что и в аплодисментах не нуждается. Некоторые философы считают абсолютную самодостаточность конечной целью бытия, но они не учитывают, что в таком случае устрица имеет безусловное преимущество перед человеком. Но будь мы чуть умнее, мы бы со всей очевидностью заметили, что бываем истинно счастливы лишь тогда, когда сознаем, что не являемся единственными в своем роде, когда встречаем человека, во многом на нас похожего. Открытие нового континента не идет ни в какое сравнение с открытием, которое мы делаем, встречая себе подобного—друга или возлюбленную. Отныне мы больше не испытываем сомнительного удовольствия человека, которого не понимают, человека исключительного, несравненного, абсолютно самодостаточного, человека, который отгородился от мира, наглухо закрыв разукрашенные двери и окна своего рассудка. Перед этим головокружительным счастьем—счастьем быть понятым, рушатся все отделяющие нас от мира преграды и в душу проникают ослепительные солнечные лучи. Вот тогда-то и начинается бесконечный разговор по душам, и, говоря о пустяках, мы на самом деле рассказываем все о себе.

## КОММЕНТАРИЙ К ШАЛТАЮ-БОЛТАЮ

Насколько мне известно, «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье» впервые публикуются на немецком языке. Узнав об этом немаловажном обстоятельстве, я сперва удивился: мне казалось, что эти вещи, ставшие у нас классикой, уже опубликованы на всех языках цивилизованного мира. Но, поразмыслив, понял, что, будь они популярны в Германии, мы бы об этом знали. Нетрудно вообразить, что произойдет, когда книги об Алисе станут там широко известны, потому что мы уже знаем, что произошло с Шекспиром. Соберется целое полчище комментаторов, и сотни напыщенных тевтонов усядутся строчить тяжеловесные тома комментариев и критических статей. Они сопоставят и противопоставят персонажей (будет даже отдельная глава о Ящерке Билле), они предложат несметное количество противоречащих друг другу объяснений каждой остроты. А потом непременно дойдет дело до Фрейда, Юнга и их последователей, они потрясут наше воображение книгами, посвященными «сексуальному подтексту» «Алисы в Стране чудес» или «Assoziationsfähigkeit und Assoziationsstudien» Бармаглота, или глубинному смыслу конфликта между Тра-ля-ля и Тру-ля-ля — «с психоаналитической и психопатологической точки зрения». И мы впервые осознаем отталкивающую символику «безумного чаепития», а у моего доброго друга Безумного Шляпника обнаружится целый букет разнообразных неврозов. Что же до Алисы... но нет — Алису надобно пощадить. Не мне огорчать томящуюся тень Льюиса Кэрролла. Да пребудет она пока что в неведении относительно того, что на самом-то деле происходило в сознании Алисы, в этой, с позволения сказать, форменной «стране чудес».

А как бы чувствовал себя Шалтай-Болтай среди немецких критиков и комментаторов? Хотел бы я это знать, ведь мне всегда казалось, что в Шалтае-Болтае есть что-то от серьезности литератора настоящего. И не случайно он вспомнился мне как-то на днях, когда я читал исследование одного довольно-таки узколобого и начисто лишённого чувства юмора молодого критика, чье имя мне не хотелось бы обнародовать. Есть даже целая школка, объединяющая молодых литераторов в нашей стране и в Америке, в чьих работах, одновременно претенциозных и бессодержательных, всегда слышались мне какие-то странно-знакомые нотки. Но только на днях я понял, где я уже видел эти манеры, слышал эти интонации — в книге «Алиса в Зазеркалье». Шалтаю-Болтаю нужно воздать по справедливости; он пророческая фигура, и, создавая его, Льюис Кэрролл высмеял все племя критиков, которого тогда и не существовало. Теперь же, когда оно существует и то и дело донимает нас своими несносными сочинениями, самое время научиться ценить

кэрролловский характер-шарж и воспринимать его в истинном свете — как шедевр сатирического предвосхищения. Я не собираюсь утверждать, что такое объяснение исчерпывает смысл образа Шалтая-Болтая, ибо не удивлюсь, если другие, более расширительные интерпретации этого образа будут предложены членами Геософского общества или кем-нибудь еще. Но меня интересует Шалтай-Болтай как литературный персонаж, и поэтому я ограничусь лишь этим аспектом. Давайте же рассмотрим текст, пока он еще в девственном виде и не отягчен интерпретациями немецких профессоров.

Как вы помните, Алиса обнаружила Шалтая-Болтая (кто был всего лишь яйцом из лавки) на верхушке высокой и страшно узкой стены и сначала приняла его за чучело. Это, как вы увидите, и есть наше введение в тему: запомните *высокую* стену, такую узкую, что Алиса недоумевала, «как он может сохранять *равновесие*» (курсив мой), и *чучело*. Запомните это и подумайте теперь о всеобщем кумире маленького литературного кружка, об этом по-совиному мудром юном критике мистере Дыркине,— больше я ничего не скажу.

Все эти критики любят сразу же показать свое полнейшее презрение к аудитории. Они пишут дишь для немногих избранных, для тех, кто способен оценить Флобера, Стендаля и Чехова. Лишь для них. Шалтай-Болтай обнаруживает такой же взгляд в самом начале разговора. «У некоторых,— замечает он,— не больше ума, чем у грудного младенца». Он сразу же спрашивает Алису, что означает ее имя, и раздражается, так как она не может ответить,— важный момент, не нуждающийся в комментариях. Потом Алиса, воплощающая в этом разговоре здравый смысл, задает самый существенный вопрос: «А вы не думаете, что безопаснее было бы спуститься вниз?» И продолжает, вовсе не для того, чтобы загадывать загадки, а из чистосердечного беспокойства за это странное существо: «Ведь стена такая узкая!»

Весь этот абзац чрезвычайно важен. Заметьте, Шалтай-Болтай считает, что любой, самый простой вопрос—это загадка, которую он должен с блеском разрешить. Он не способен допустить, что Алиса, твердо стоящая на земле, может быть умнее его, может дать разумный совет, а не только искать ответы на пустопорожние головоломки. Он-то, конечно, предпочитает оставаться наверху, и его привлекает именно ужина́ этой стены. И снова на той же странице мы видим, как Шалтай-Болтай вдруг приходит в страшное волнение, когда Алиса договаривает за него про «всю королевскую конницу, всю королевскую рать». То, что он считал величайшим секретом, оказалось общеизвестным трюизмом, и только слепая гордыня мешала ему разглядеть это раньше: нет нужды ставить точки над «i» и проводить далее аналогию.

Очень типичен и педантизм, который он обнаруживает

немного позднее, в споре о возрасте Алисы. «Я думала, вы хотели спросить, *сколько мне лет!*»—воскликнула девочка. «Если бы я хотел, я бы так и спросил». И тут же выдает себя с головой, добавляя: «Если бы ты со мной посоветовалась, я бы тебе сказал: «Остановись на семи»,—но сейчас уже слишком поздно». Здесь есть нежелание примениться к реальности, приверженность раз установленным правилам, нетерпимость, ненависть к переменам, застойность, которые отличают этот тип сознания.

Можно проанализировать весь разговор фраза за фразой и найти в каждой реплике Шалтая-Болтая нечто типичное для третьеразрядного литературного критика. Но перейдем к концу главы, где разговор касается литературных тем. Здесь становится совершенно очевидным авторский замысел всей главы. После разговора о подарках к «дням нерождения» Шалтай-Болтай, как вы помните, восклицает: «Вот тебе и слава!» Алиса, конечно, не понимает этой реплики, в чем и признается, а Шалтай-Болтай с презрительной усмешкой бросает: «Конечно, не понимаешь и не поймешь, пока я тебе не объясню». С каждым шагом теперь сатира становится все менее завуалированной, пока не достигает зенита в его восклицании: «Непроницаемость!— вот что я сказал». Кто не знает этих созданий высшего порядка, которые, когда они пишут (как они полагают) литературно-критические работы, толкуют об «уровнях» и «намерениях», о «статике» и «динамике», об «объективных корреляциях», черт бы побрал их ученый жаргон! И вот Шалтай-Болтай, покачиваясь на высокой узкой стене, вопит в каком-то экстазе: «Непроницаемость!» Шалтай-Болтай— воплощение и символ всех этих критиков с их ученным жаргоном. Алиса, как всегда, говорит от лица всего здравомыслящего человечества, когда она задумчиво произносит: «Это не просто— вложить в одно слово столько смысла». Конечно, не просто, но Шалтай-Болтай со своей братией докучает нам неуместными вычурными терминами, в надежде создать видимость чрезвычайно глубокомыслия и не прилагая ни малейших умственных усилий.

В Америке есть один журнал, издающийся на благо самым элитарным умам, журнал, в котором любая статья пестрит устрашающими именами и претенциозными специальными терминами, почти ничего, а то и вовсе ничего не означающими. И если бы это от меня зависело, на каждой его странице было бы напечатано жирными черными буквами благословенное слово «Непроницаемость».

Но не менее выразителен и ответ Шалтая-Болтая на просьбу Алисы объяснить смысл стихотворения «Бармаглот». Тут уж он просто из кожи лезет, чтобы сделать все от него зависящее. «Давай-ка послушаем его,—восклицает Шалтай-Болтай.—Я могу объяснить все стихи, которые когда-либо

были написаны, и большую часть тех, что пока еще не написаны». Конечно, может, как и вся эта братия! Они вечно объясняют стихи, вечно рукоприкладствуют, разнося в пух и прах своих ближних — поэтов.

Но что, собственно, означало упоминание тех стихов, которые «пока еще не написаны»? Мне кажется, это относится к сочинениям друзей этих критиков, членов маленьких литературных кружков. Ведь такие стихи не назовешь написанными, и только после того, как дружески расположенный критик объяснит их, они начинают существовать как самостоятельное литературное произведение.

И наконец, совершенно закономерный штрих, что Шалтай-Болтай сам пишет стихи. Уже один этот факт убедительно доказывает, что Льюис Кэрролл, внезапно постигнув образ грядущего, задумал эпизод с Шалтаем-Болтаем как сатирический. Спору нет, сами стихи лучше — хотя бы по форме — тех, которыми нас мучат молодые критики, но, вероятно, Кэрролл не мог даже в пародии спуститься ниже определенного уровня. Однако в стихотворении — если его можно назвать стихотворением, — прочитанном Шалтаем-Болтаем, есть такие приемы, которые даже слишком знакомы нынешним читателям поэзии. Резкость переходов, незавершенность, расплывчатость символики — да, все это очень знакомо. Такие строки, как

И рыбки молвили ему:  
Сэр, мы не можем, потому

или

Узрев закрытое окно,  
Хотел я дернуть ручку, но  
не оставляют сомнений в том, кто был провидческой мишенью этого гения сатиры. И стоит только вспомнить, что нам пришлось претерпеть от подобных особ, а более всего (если уж говорить начистоту) от мистера Дыркина и мистера Прочерка, чтобы убедиться, что Алиса вновь говорит от нашего имени, когда она твердит, уходя прочь от нелепой фигурки, взгромоздившейся на высокой стене: «Никогда в жизни не встречала такого несуразного...» К этому ничего не прибавишь. Эпизод исчерпан. Шалтай-Болтай и его последователи уничтожены.

## ПРОПОВЕДНИКИ

Их было четверо, трое мужчин и женщина, я увидел их на сборище в Гайд-Парке. В 90-е годы появилось множество юмористов из лондонских кокни, истинных виртуозов острого словца, которые не скупясь делились с нами своими «откровениями»; взлетев в одночасье на вершину славы и проблистав один сезон, они исчезали безвозвратно. Так вот,

в ту пору митинги в Гайд-Парке вошли в моду как общедоступные упоительные празднества юмора. В погожие воскресные деньки все сотрудники «Панча», прихватив блокноты, собирались под Мраморной Аркой. При одном упоминании Гайд-Парка женщины прыскали, давясь от смеха, и на глазах у них выступали слезы, а мужчины задыхались от хохота, едва не падая с кресел. Ныне же, когда мы растратили почти все, что имели, весь наш пироксилин, наши идеалы и даже наши традиционные шутки, только зеленая юность или сентиментальная старость могут считать митинги в Гайд-Парке славным праздником остроумия. Что до меня, я потерял к ним всякий интерес, поскольку теперь там выступают искусственные витии, знатоки риторики. Стоит такому мастеру произнести несколько фраз, как вам уже скучно от его дешевых ораторских приемов, гримас и зычного голоса, от его подержанной жалкой диалектики. В тот день, когда я увидел тех четверых — назовем их проповедниками, — я обходил стороной собравшиеся толпы, не имея охоты слушать очередных оракулов. Кругом, как обычно, было шумно: одни ораторы во всю глотку славили господу бога, другие зычно сомневались в беспредельности его могущества и влияния на дела людские, а третьи не менее громогласно отрицали его существование. Мыслителей, святых, ангелов — всех немилосердно приносили на закляние, дабы позабавить простой люд, жаждущий развлечения в воскресный день. Здесь всякий праздный зевака мог выбрать на свой вкус любую из пяти или шести предлагаемых ему совершенно различных систем мироустройства. Я уже собрался уходить, когда на пяточке между двумя большими толпами заметил проповедников, трех мужчин и женщину. Один из них говорил, а трое остальных сопровождали его речь одобрительными возгласами. Слушателей у них не было. Что-то в этой четверке, какая-то трогательная отверженность, привлекло меня, и я направился в их сторону. Я знал, что стоит мне подойти к ним, как все их красноречие обратится на меня, поэтому я остановился в толпе как можно ближе к тем четверым, но чтобы они не заметили, что я их слушаю.

С моей стороны это было явное малодушие, за что я и поплатился (как водится в подобных случаях) — как ни старался, не мог разобрать ни слова. Неподалеку бушевали страсти на политическом митинге, сыпались каверзные вопросы, раздавались выкрики, свист, а там, где стоял я, другая толпа, вдохновляемая вспотевшим от усердия представителем Армии спасения, гнусавила тошнотворный гимн. Так что мне пришлось довольствоваться созерцанием презренной всеми четверки, такой нелепой и трогательной. Всех трех мужчин украшали бороды. Это не было случайным совпадением — судя по некоторым признакам, их отпускали из

принципа. Бороды были длинные и явно росли как им вздумается, так сказать, бороды, добившиеся самоопределения. У двух пожилых проповедников бороды казались густыми и вполне пристойными, но у третьего, истощенного молодого парня с глазами навывкате, борода была такой жалкой, клокастой и нечесаной, что просто жуть брала. По всей вероятности, они представляли какую-то малочисленную секту, где все мужчины обязаны носить бороды. Помоему, нечто подобное встречается во всех сектах, объединяющих горстку верующих. И это естественно, поскольку все члены такой секты становятся проповедниками, а бритый подбородок никак не вяжется со столь высоким саном. Действительно, бороду проповедника не спутать ни с какой другой—такая она длинная и косматая. Легко понять, почему испокон веков между бородой и проповедничеством существует знаменательная связь. Если хочешь вернуться к природе, проще всего—отпустить бороду. Бреющийся мужчина так или иначе смирился с этим миром. Тот же, кто провидит день Страшного суда, вряд ли станет по утрам скрести себе щеки или править бритву, отвлекаясь от апокалипсических видений. Негоже проповеднику, даже самому захудалому, общаться с брадобрелями, у коих на уме только спорт да чаевые, и им дела нет до гнева господнего, который, того гляди, на нас обрушится. Итак, члены маленьких сект, состоящих из одних проповедников, по праву завешиваются бородами. Вот и эти трое, предоставив своим бородам полную волю, просто исполняли свой долг.

Когда я подошел, один из проповедников постарше, в свой черед взобравшись на деревянный ящик из-под мыла, взывал к легкомысленным людям, и вскоре его сменил другой. От ораторов в Гайд-Парке их отличала сдержанность (насколько я мог судить со стороны) и спокойное достоинство. Они произвели на меня впечатление людей, которые видят свой долг не в том, чтобы обличать, яростно спорить, бросать вызов и ниспровергать, а в том, чтобы без ненужного надрыва вещать ту истину, которая открылась им одним и на которую у них своего рода монопольное право. Время от времени трехголосый хор качал головами в знак поддержки и что-то одобрительно выкрикивал. Самым колоритным в этой компании был молодой парень с неприглядной бородой и истощенным лицом. Когда он взошел на ящик из-под мыла, вдруг стало тихо с обеих сторон—там, где пели гимны, и там, где бушевали политические страсти,—и до меня донеслись первые два сказанные им слова. Тонким высоким голосом фанатика, который сидит на исключительно духовной малокалорийной диете, то есть довольствуется чаем, хлебом с маслом да святыми видениями, он прокричал: «Мы веруем...» Но тут снова поднялся шум, и я не разобрал больше ни слова, так что по сей день не знаю, во что же они

верили. Скорее всего их учение возникло из какой-нибудь древней ереси, которая веками таилась в глухих углах, в домах пекарей и седельников в каком-нибудь захолустье. Наверное, на собраниях их секты только и речь, что о конце света да грядущем царствии божьем. Несмотря на всю их благочинность и кроткий вид, глаза проповедников горели апокалипсическим огнем, особенно глаза молодого парня, да и бороды они отпускали не ради какой-нибудь легковесной преходящей веры. А что, если им даже точно известен день, когда наступит конец света и звезды упадут с небосвода, словно перезрелые плоды, и они проделали долгий путь с ящиком из-под мыла, чтобы пробудить нас? Возможно, они даже с радостью пожертвовали бы вечным блаженством, лишь бы на полчаса завладеть нашим вниманием, но мы не вняли им, и они видят, как ангел смерти заносит меч над нашими головами. Но нет, если бы наши дела были так плохи, вряд ли бы они хранили спокойствие и, возвысив голос, не позволили бы всяким глупым крикунам сбить с толку обреченных.

Женщина молчала, хотя, как и ее спутники, одобрительно покачивала головой. Это была коренастая пожилая женщина, на вид более здоровая и более здравомыслящая, чем мужчины. Она, конечно же, пришла с одним из них и доводилась ему матерью, женой или сестрой. Отдав ему свое сердце, она приняла и его веру и жалела по-матерински не только близкого ей человека, но и эту бедную веру. Рядом с бородатыми фантазерами со всей их космической благоглупостью она казалась сильной и земной, незыблемой, как холм. Если бы муж или сын пристрастился к выпивке, а не к проповедничеству, она и тут была бы рядом, ходила бы с ним по пивным, следила, чтобы он не перебрал лишнего и не влип в историю. И вот теперь она стояла в Гайд-Парке возле ящика из-под мыла, вместе со всеми качала головой, но все происходящее доходило до нее как бы сквозь сон. В ее сознании проносились неясные образы, всплывали чьи-то лица, звучали слабые голоса из прошлого, вспоминалось теплое, прижавшееся к ней детское тельце. Солнце клонилось к закату, кругом толпились люди, пели, кричали, свистели, проходили мимо, прямо над ее головой монотонный голос бубнил такие знакомые ей слова, а она стояла рядом («дура душой», — наверное, думала она про себя), ныли усталые ноги, а она все качала головой, хотя проповедников никто не слушал, и ни одной живой душе не было до них дела.

Глядя на этих бедняг, помыслами равных богам, а разумом подобных овцам, я задавался праздными вопросами. Откуда они пришли и куда идут; в какую странную обитель направятся эти бородачи со своим ящиком из-под мыла? На что они живут? Ходят ли на работу в мастерскую или на



фабрику, где невозмутимо сносят грубые шутки окружающих, свято веря в свое избранничество, в то, что их ведет непостижимый свет истины в душе? Есть ли еще верующие в их секте или они ее единственные представители, добровольно взявшие на себя проповедническую миссию? Где их свела судьба и чем они тогда занимались? О чем будут говорить по дороге домой? Живут ли они, ни на минуту не забывая о своем призвании, своем великом предназначении, или по будням ведут обычную жизнь простых ремесленников, лавочников с косматыми бородами? Что их привело сюда — пылкая вера, неудержимый порыв нести нам слово божье, независимо от того, услышим ли мы их? А если эти проповедники неведомой нам веры, говорил я себе, такие, на наш взгляд, нелепые, постигли истину, каким-то чудом нашли ключ к разгадке тайны бытия и, стоя на ящике из-под мыла, проникли в самую суть добра и зла, и день, когда эти трое встретились, войдет в века, а тот молодой человек с глазами навывкате повернет весь ход истории человечества... что тогда? Между тем, строя предположения и теряясь в догадках, я спешил прочь от проповедников и их спутницы. Я и без того задержался, а мне не хотелось опаздывать к чаю.

## О ВУЛЬГАРНЫХ ОПТИМИСТАХ

Бывает оптимизм, унылее которого нет, право, ничего на свете. Рядом с адептом этой философии, которого заслуженно зовут вульгарным оптимистом (ибо такого рода оптимизм вульгарен), нельзя не тосковать о нежных утешениях Лепарди и Шопенгауэра и о блаженной грусти «Шропширского парня». Кто не встречал это железное, неколебимое бодрчество и не отшатывался от бесчувственной решимости видеть во всем одно только «хорошее» (как это глупо называется), которым отличается подобный оптимизм от прочих, более мудрых жизненных теорий? Та неприкрытая вульгарность, которая лежит на всем, что от него исходит, особенно видна в его любимом изречении о том, что худа не бывает без добра — о темных тучах на серебряных подкладках. В грозу или в осеннюю погоду нет ничего прекрасней темных туч, и каждый умственно здоровый человек, а умственно здоровый — значит поэтический, не может не испытывать порой какого-то душевного подъема и дивного волнения чувств при виде мрачной и причудливой громады облаков, преобразивших мир в зубчатое подобье Эльсинора, но тут является вульгарный оптимист и, как настырный коммивояжер, трубит об их серебряных изнанках. Он не довольствуется серебром, которое лежит в его карманах и баулах; такими же холодными, блестящими кружочками ему хотелось бы набить ночное небо и все прочее. Его вселенной

имя Мишура, там все обито и покрыто этим блеском. Разве он знает мудрую печаль, которая знакома добрым людям и подлинным философам? Чтоб удержать свою застывшую улыбку, он не помилует ни солнце, ни луну, ни звезды, ни вселенную; свои бравурные уроки он умудряется извлечь из сумерек и из бушующего моря, из грустных старых песен, из памяти о первой, горестной любви. Не для него играют под сурдинку скрипки, он понимает только оглушительный тромбон. Теперь, когда ему подобные заполнили и редакции газет, и кафедры соборов, мы с каждым днем все глубже погружаемся в непреходящую печаль. На них, на этих бодрячках, лежит вина за бойкие газетные сообщения и жизнерадостные проповеди и беседы, которые сейчас так часто превозносят. Что может быть несноснее бодряческого суесловия?

Пристрастие к такому оптимизму может сказаться на привычках человека и на его манере говорить, на убеждениях и жизненной позиции или на всем одновременно. Вульгарных оптимистов в этом роде немало есть среди священников; надо сказать, они скорее не вульгарны, а болезненны — подвержены какому-то неведомому нервному расстройству. По большей части неприязнь к священникам никак не связана ни с их религией, ни с их воззрениями, ни с их особыми обязанностями и вызвана скорее нарочитостью, с какой они ведут себя в кругу мирян. Боясь, что в их служении отпала надобность и среди множества людей, с которыми они встречаются по долгу службы, немало есть настроенных враждебно, священники стараются держаться бодро и показать, что люди они светские и славные ребята, из-за чего и надевают на себя личину, которая не может не отталкивать любого здравомыслящего человека. От этой их непрошибаемой веселости и лихорадочной приязни становится не по себе. Они все топят в сахарной водичке. Их лоб не омрачает даже слабое подобье тени, улыбка никогда не сходит с их лица, в раскатах гомерического хохота слышны отчетливые истерические нотки. Похоже, что их мир придумали в редакции «Панча». Под барабанный грохот их бодряческих советов, пожалуй, даже дети перейдут в агностицизм — учение хоть и унылое, но все же не такое мрачное, как их наигранное жизнелюбие. В Америке, где обожают крайности, вульгарный и несносный оптимизм ораторов и проповедников дошел до столь высоких степеней, что только возвращенье джина спасет ее народ от слабоумия. Там эта заводная бодрость, плод близорукости и полного бесчувствия, слывет наивысшей мудростью. Если вы прочитали книги доктора Сэмюэла Джонсона, который долго размышлял и много написал о пустоте людских желаний, вы укрепились духом перед лицом неотвратимых горестей и тягот жизни, но, прочитав труды доктора Фрэнка Крейна,

который каждый божий день талдычит миллионам, что ничего плохого не случится, и все, что происходит, только к лучшему, вы лишь впадете в небывалое уныние, ослепнув и оглохнув от медных труб дешевого бодрячества.

Довольно трудно вынести знакомых, которые твердят, что все прекрасно, и фамильярно хлопают вас по плечу, но уж совсем невыносимы люди, которые готовы хлопать по плечу все человечество и каждое событие приветствовать улыбкой одобрения. Таких философов сейчас осталось мало, но их влияние мы ощущаем до сих пор. Нет ничего ни на земле, ни в небе, о чем бы помечтали эти мудрецы, ибо их философия мечтать не может, и это составляет ее главное отличие. Безмозглость и полнейшая бесчувственность — вот в чем секрет такого оптимизма, который силится впихнуть все сущее в какие-то свои нарядные коробочки, замалчивая то, что не вмещается туда. Пожалуй, самое тяжелое, когда такие оптимисты уповают на технический прогресс и думают, что человечество спасут новейшие удобства и приспособления. Кому из нас не попадался человек, который в глубине души уверен, будто теперь покончено, скажем, с доктриной перво-родного греха, ибо две дюжины булавок можно купить всего лишь за полпенни, или такой, что не желает больше слушать «печальную и тихую музыку человечности», так как теперь и Глостер, и Данди могут одновременно слушать голос Джорджа Роби? И разве вы не видели людей, которые предпочитают уноситься мыслью в будущее в надежде, что тогда никто не будет знать обманутых желаний и одеваться в траур по умершим, надо лишь научиться строить комнаты округлой формы и обеспечить электричеством деревню? По слову Проповедника, непримиримого врага подобных мудрецов, «напрасно они пришли и отошли во тьму», и даже имена их скрыла тьма.

Этот бездумный оптимизм всегда несет с собой уныние — ведь глупость, близорукость и бесчувственность не могут привести нас ни к чему другому. Бесспорно, те, что исповедуют подобное бодрячество, живут в особом, маленьком мирке — осколке нашего большого мира, где нет ни воздуха, ни солнца, а потому и не бывает тени, и речи их нам кажутся почти бессмысленными. Эти философы не признают ни слез, ни смеха и большей частью нечувствительны к тому, что называется у нас поэзией. Шелли, который верил в совершенство человека и проповедовал свою прекрасную анархию, был величайшим оптимистом в мире, однако в нем нет ничего гнетущего или вульгарного, ведь он поет, а не витийствует о том, что видится его воображению, и одаряет нас не мыслью, а пьянящей радостью, которую всегда в нем вызывала мысль, и этот благородный хмель нам очень дорог. Мы узнаем в нем собственное отрочество или хотя бы лучшее, что было в наших душах и превратилось в поэтиче-

скую песнь. Из-за того что он так рано умер, и Шелли, и его творения рисуются нам в золотистой дымке юности и гордой, как у барса, красоты, и мы вполне готовы этим удовлетворяться. Будь Шелли пожилым, очкастым, грузным человеком и возглашай он те же чувства, что когда-то, мы бы к нему совсем иначе отнеслись. Но мы не ищем у него ни мудрости, ни утешения и обращаемся в тяжелые минуты жизни к простому человеку с длинным носом, бродившему по берегам Грасмира, хотя не верим в силу чистотела и в добродетельных селян, им воспеваемых. Был оптимистом и другой великий поэт — Браунинг, но пылкость темперамента и гениальный дух трагизма спасли его стихи от привкуса вульгарности, к которой даже он бывал порой опасно близок. В течение шестидесяти лет старался стать вульгарным оптимистом Теннисон, но, к счастью для потомков, не мог изжить свою природную печальную мечтательность (в которую порою приносил дешевую струю), и потому мы и сегодня слышим, как он возвещает:

На гребне скал уже мерцают огоньки,

Отходит долгий день; плывет неспешная луна,

И бездна стонет стоголосо...

Но очень многие великие писатели, по большей части те, с которыми мы никогда не расстанемся, не будучи ни пессимистами, ни оптимистами (о них не скажешь точно, кто каков), необычайно здраво относились к жизни — не как юнцы, которые упоены своими радужными грезами и облекают в них вселенную, не как сердитые подростки, которые ругают мир за собственную угловатость, а так, как люди взрослые, бывалые и зрелые, не раз глядевшие в лицо беде, но сохранившие способность улыбаться, пусть даже их улыбка тронута печалью. Таким среди поэтов был Шекспир, Лэм — среди эссеистов, среди писателей такими были Теккерей и Филдинг, и Джонсон среди, скажем, литераторов. Когда я вспоминаю, что они извели: нужду, поденный труд, телесные недуги, безумие сестер, кончины и душевные болезни юных жен и всякие другие жизненные тяготы, — когда, читая их, я думаю об этом и открываю для себя их юмор и умение тронуть сердце, их гнев, и мудрую способность удивляться, и их поистине неиссякаемую доброту, я понимаю, как нам нужно относиться к жизни, в которой нет ни горечи алоэ, ни приторности сахарной водицы. Та светлая печаль, которой веет от таких писателей, нимало не похожа на обжитую хмурость пессимистов или бряцающую медью бодрость оптимистов. Почти не находя себе прямого выражения, эта печаль пронизывает все их книги, она их воздух, их пространство, контрастный фон для смеха и веселья, едва приметная завеса задника, рядом с которой все житейские безделицы становятся такими яркими и маленькими, и трогательными, и прелестными, она прокрадывается на их

лица, когда борьба, комедианство и пиры окончены и, как им кажется, никто на них не смотрит. Наверное, так же чувствуют все мудрые и добрые, если они не мистики и не пророки. Но ничего похожего не чувствует вульгарный оптимист, не размышлявший никогда о человеческой тщете и не знакомый с человеческими ценностями. Он непрестанно оглашает петушиным криком тьму и никогда не озарит нас радостью, если не ощутит печали.

## МАНЬЯКИ

В моем толковом словаре слово «маньяк» трактуется как «человек с чудачествами». По-моему, это толкование хромает, и нам бы следовало отличать маньяка от любителя чудачеств. Чтобы почувствовать, что это разные понятия, довольно вспомнить, как употребляются они в обычной речи. Когда мы говорим о ком-нибудь «маньяк», мы, несомненно, выражаем неприязнь к такому человеку, тогда как к чудакам, если, конечно, мы не рьяные блюстители условностей, испытываем нечто вроде умиления. Все чудаки исполнены фантазий и причуд и любят поэкспериментировать над собственным существованием, им тесно в жестких рамках общего уклада, и потому они живут «не обтесавшись», желая только одного — чтоб их оставили в покое. Наша страна всегда была страной чудаков, ими кишмя кишит английская литература прошлого, где они служат источником неистощимого веселья, которое нам облегчает душу. Даже в имевшем склонность к этикету подтянуто щеголеватом восемнадцатом столетии чудачество цвело и процветало. Как метко выразилась миссис Мейнелл, «столетие засунуло себе в парик солому». Так, письма Уолпола встречают нас феерией заскоков и причуд, мы словно различаем в них жужжанье слухов о том, что тот или иной вельможа — истый сумасброд. Да и сам автор с его пристрастным и сварливо-элегантным стилем, с его любовью к завитушкам ложной готики и замком в Стробрерри-Хилл, похожим на гигантское пирожное, нам кажется большим оригиналом. Среди писателей у нас немало было чудаков, и вся литература Англии, не знавшей академии, росла и развивалась с неподрезанными крыльями и потому полна чудачеств, причотей, своеобразия и духа самоутверждения. Все наши старые романы пестрят диковинными личностями, ибо старинные писатели и впрямь встречали их в реальной жизни. Во всех творениях Лэма нет ничего причудливее самого их автора. Но все это естественно. Иным хотелось бы, чтобы натура человека была приглажена, словно голландский садик, они досадуют, когда она берет свое, являясь то как малорослое и узловатое растение, то как ветвистое, покрытое плодами дерево, но мы, надеюсь,

не из их числа. Все мы, сторонники многообразия, отнюдь не представляющие дела так, будто владеем совершенной меркой, которой нужно мерить человечество, не только не питаем неприязни к чудаку, но горячо его приветствуем и горько сожалеем, что он так быстро исчезает в жизни. Его все больше вытесняет, а может быть, уже и вытеснил, маньяк, и это далеко не лучшая замена.

Чудак бывал обыкновенно старым джентльменом, который делал все по-своему и только и хотел, чтобы в его дела никто не вмешивался. Маньяк обычно человек не старый, который требует, чтоб люди поступали одинаково, вернее, так же, как и он, и пристаёт ко всем без исключения. Чудак изобретал особый образ жизни, который был удобен только для него, маньяк прокладывает путь для человечества, а так как он владеет средством от всех зол, он агрессивен, боевит и пылко проповедует свою религию, как всякий новообращенный. Но самое в нем главное—это его неколебимая уверенность в том, что его причуда спасет мир. Он вызывает смех совсем не потому, что у него есть странности, как есть они у дона Адриано де Армадо, который «чересчур чопорен, чересчур франтоват, чересчур жеманен, чересчур неестествен и, по правде, если можно так выразиться, чересчур обыноземен», а потому, что он лишен какого-либо чувства меры. И это нас смешит—ведь юмор чутко реагирует на всякое смещение ценностей, потерю равновесия и соразмерности. В тех людях, что желают спасти мир, нет ничего особенно смешного, великие пророки и преобразователи рождают либо ненависть, либо любовь и восхищение, но уж никак не смех и не презрение, ибо их цели и пути по большей части соразмерны. В то время как маньяк, который верит, что человечеству довольно сделать еще один нелепый, крохотный шагочок, чтобы достигнуть совершенства, и хочет единым мановением своей малюсенькой волшебной палочки вернуть на землю золотой век,—это всего лишь горе-реформатор, усвоивший повадки и осанку великого пророка.

Двадцатый век—пора маньяков, и горе-реформаторов становится все больше. Видя вокруг такое множество людей, исполненных энергии, благих намерений, гражданских чувств, горячего стремления к переменам, иные удивляются тому, как незначительны свершения. Не нужно забывать, как много среди нас маньяков, и каждый тянет в свою сторону, и каждый хочет нас улучшить, и каждый предлагает собственный, нелепый, маленький рецепт. Наши дороги вымощены философским камнем, и эликсира жизни достало бы на всех желающих. Было не слишком весело, когда в маньяках значились одни мужчины, но с той поры, как пала крепость женского благоразумия, у нас явились женщины-маньячки, поистине всесокрушающий тип личности. Приходится признать, как ни печально, что медицина (которая гораздо

больше, чем хотелось бы, подвержена досужим вымыслам) несет ответственность за худших из маньяков. Ибо всего несносней те из них, которые убеждены, что мы избавимся от трудностей, начав употреблять другую пищу или иначе одеваться. Есть среди них такие, что свято верят в силу простоты, точнее, в то, что нужно завести особую одежду и спать в особых помещениях, употреблять особые продукты и стряпать по особым рецептам,— и эти люди тшчатся показать всем нам, которые готовы жить в любом жилище и пить и есть что ни придется, как неестественно и сложно мы живем! Иные из таких фанатиков уверены, что человек сумеет возвратить себе доисторическую цельность, потягивая постоянно воду, причем как можно более горячую и в неумеренном количестве. Другие уповают возвратиться в рай, питаясь вегетарианской мясной тушенкой (не думайте, что я оговорился, именно так: вегетарианской мясной тушенкой, я сам ее когда-то пробовал). Есть и такие, что идут гораздо дальше,— они едят лишь то, что приготовлено на солнечной энергии. Одна неистовая секта утверждает, что без исподне-го из впитывающей ткани нам не видать земли обетованной. Встречаются сообщества, что тренируют чувство ритма и душевного покоя путем неторопливого жевания,— надо признать, что это небольшая плата за ощущение ритма и спокойствия (как я заметил, частое употребление слова «ритм» в неподходящем и расплывчатом значении всегда свидетельство того, что перед нами труд напыщенного и незрелого мыслителя, это любимое словцо из лексикона самых крайних из маньяков). Есть среди них уверенные в том, что более возвышенные мысли приходят к нам благодаря глубокому дыханию, я, например, не удивился бы, если бы они и в самом деле оказались правы. Иные метят выше. Они считают, что только плотная завеса дыма мешает нам увидеть райские врата; один такой субъект недавно разразился криком: «Не проповедуйте свободу, раз вы находитесь в плену у табака». «Не проповедуйте совсем, раз вы находитесь во власти ложных аналогий»,— могли бы в легком забытьи пробормотать им мы, жертвы сего приятного и добровольного пленения. Кое-кому из них открылось, что человек исполнил бы свое высокое предназначение, если бы не разлитое море пива и виски, но море это можно переплыть, твердят ему маньяки, в надежном судне под названием «Лимонный сок». А если мы коснемся тут образования или проблемы пола... Но мы не станем их касаться, по крайней мере по своей охоте, заметим лишь, что помешавшихся там много—мирады, и этим ограничимся.

Надо сказать, что и белье из впитывающей ткани, и пища, которая готовится на солнечных лучах, и все другое, за вычетом одной мясной тушенки для вегетарианцев, на свой лад хорошо и, без сомнения, полезно (что было бы

нетрудно доказать), и нам жилось бы много лучше, питайся мы и одевайся так, как нам советуют. Но совершенно очевидно, что ни один такой совет не может стать ни философским кредо, ни стержнем социальных перемен, как это представляется маньякам. И потому, хотя вначале слушать их забавно, мы покидаем их со скукой и досадой—их мир нам чужд. Трудно сказать, из-за чего они так расплодились в наше время. Доподлинно известно, что в отличие от нищих маньяки жили с нами не всегда и в прошлые века их не было на свете, особенно в периоды сложившихся режимов власти, общеизвестной и общепринятой философии и единой религии. В такие времена для чистоплотности, порядка, чувства меры и понимания того, что представляет ценность, имелось собственное место, и у маньяка с его болезненным мировоззрением не было питательной среды. Но в переходные эпохи, когда единый мощный луч разъят на сотню меркнущих и загорающихся разноцветных лучиков, когда система власти, и религия, и философия теряют свою цельность, на сцене появляются маньяки. Вот уже лет сто пятьдесят, как их становится все больше,—это маньяки от науки. Чтобы найти похожее явление, нам следует, отбросив около шестнадцати столетий, перенестись в другую переходную эпоху, когда на свете процветали их родоначальники—волхвы и маги. В те дни духовных сумерек, среди перемещавшихся деревьев, среди вздымавшихся и падавших холмов, сидел маньяк, который, воздевая длинные, худые руки, взывал «декдем»<sup>1</sup> и принимал любого светлячка за восходящее светило. Но когда эти времена кончаются и появившееся солнце, заливая всю землю ясным светом, рассеивает призраки и открывает взору контуры холмов, деревьев и ручьев, когда выходят в поле люди и обращают лица к горизонтально падающим солнечным лучам, не думая о длинных и дрожащих тенях, отбрасываемых их телами, и кажется, что первозданный мир, покрытый утренней росой, дарован человеку,—тогда все возвращается на место. Только маньяков там не видно. Они умчались вместе с мотыльками.

## О НЕЛЮБВИ К ЧУЖИМ

Пожалуй, лишь одна история о Чарлзе Лэме, единственная среди всех, которые известны, мне никогда не представлялась остроумной. Есть много способов рассказывать о том,

---

<sup>1</sup> «Декдем» по-валлийски означает «приди ко мне». Это слово употребляет Жак, персонаж комедии У. Шекспира «Как вам это понравится», считая его «греческим заклинанием, чтобы заманивать дураков в круг».— *Прим. перев.*



как было дело, но я пишу по памяти и приведу, должно быть, самую распространенную из версий. Однажды Лэм обрушился с великим жаром на нрав и репутацию какого-то лица, и собеседник, удивленный пылкостью писателя, прервал его, сказав: «Не ожидал, что вы знакомы с этим человеком». «Ну что вы, я в глаза его не видел! — воскликнул Лэм в ответ. — Я не способен ненавидеть тех, кого я знаю». Эту историю всегда приводят как пример его прелестного чудачества, парадоксальности и прочего, из-за чего я никогда не мог ее понять, ибо как таковая она досадно мало отвечает цели: при всей своей бесспорной неожиданности, ответ писателя был прост и искренен и ни в малейшей степени не отражает какого-то особого отличия или великого своеобразия его ума, как думают его биографы. И отвечая в простоте души, все мы ответили бы теми же словами. Уж таковы мы, англичане, — приберегаем ненависть для тех, кого не знаем.

Другие нации добрее к посторонним: любезнее, радушней, вежливее, и ланкаширское присловье «при виде чужака хватайся за кирпич» только доводит до гротеска то, что мы чувствуем на самом деле. Но мы зато не опускаемся до резни и вендетты и не преследуем жестоко наших ближних. Все это мы предоставляем странам, превосходящим нас радушием и вежливостью. Уж если мы знакомы с человеком, мы можем с ним поссориться или, в конце концов, подраться, но ни за что на свете не дойдем до ненависти. А так как в душах у людей всегда есть накопившаяся ненависть, которую необходимо разрядить, мне кажется, что наш английский способ изливать ее на посторонних на самом деле выше всяческих похвал. Возьмем английскую гостиницу и поезд, два хорошо известных всем примера британской черствости и холодности чувств. Это поистине резервуары ненависти, предохранительные клапаны для сброса горечи и злости, которые сообщают безмятежность нашей личной жизни, спасая от разрывов и семейные и дружеские узы. Мы применяем их как сток для нашей мрачности и желчи. В краях, где радуют гостиницы, дома унылы, и жители тех стран, где в поездах царит учтивость и приветливость, способны заколоть и отравить своих друзей и родственников. Британцы тоже склонны к этим зверствам, когда находятся среди чужих: сидят в вагоне поезда или ночуют в незнакомом месте. Мы отравляем окружающих холодным и надменным взглядом или сражаем наповал сердитым шорохом газет в читальнях, зато потом, очистившись душой, исполняясь благости и мира, мы можем смело возвращаться к нашим близким.

Боюсь, из-за любви к поспешным выводам я попаду когда-нибудь в беду. Ибо нимало не уверен, что все мы это вправду совершаем, уверен я лишь в том, что делаю так сам. Среди знакомых и друзей меня считают кротким человеком, но, оказавшись за границей, на чужбине, я всюду сею

разрушение и смерть. Я отправляю в ссылку целые народы, подписываю сотни смертных приговоров. Довольно мне разок проехаться в метро, и я заткну за пояс Тамерлана и переплюну самого Нерона. Ватага школьников, ввалившихся в автобус или рассеявшихся в вагоне пригородного поезда, способна разбудить во мне такое, что даже Ирод бы не стал со мной тягаться. Ни пол, ни возраст не смягчают мое сердце—виновных ждет жестокая расправа. Из-за безделья, вроде скрипучих башмаков, владелец попадает на галеры или всю жизнь гнет спину на плантациях. Довольно малости: бессмысленного взгляда, слишком густого слоя пудры на носу, пронзительного голоса, не в меру пышных бакенбардов—и я немедля хлопаю в ладоши и призываю своих верных палачей. Но я поистине ужасен, когда мое холодное неистовство и впрямь имеет под собой какую-либо почву. Положим, я сижу в концертном зале, где люди из Союза Возмутителей Спокойствия, как водится, швыряют заготовленные пушечные ядра на принесенные с собою жестяные блюда (что составляет их обычную экипировку), тогда, гонимый беспредельной злобой, я отправляюсь на восток, чтоб отыскать для этих бедолаг чудовищные пытки или придумать по дороге новые. Сошку помельче, вроде дам из этого Союза, подосланных шуршать во время исполнения особо припасенными пакетами, я приговариваю к десятидвенадцати годам лишения свободы и содержу их на безлюдных островах. В каких краях я ни бываю, за мною всюду тянется один и тот же страшный след: лишение гражданских прав, изгнания, аресты, казни и темницы. Зато когда я возвращаюсь вновь к родным и близким, вся моя ненависть уже избыта и я могу смириться, с чем угодно. Трудно придумать лучшее распределение чувств—ведь там, где люди мне не нравятся, я не могу ничем им повредить (иначе как в своем воображении), а там, где я и вправду мог бы совершить недоброе, мне этого уже не хочется.

Признаюсь заодно, что неприязнь, питаемая мной к иным из незнакомцев, по большей части чувство совершенно вздорное, и многие мои ближайшие друзья, когда я знал их только с виду или понаслышке, казались мне отталкивающими личностями. Даже потом, когда нас наконец познакомили, предубеждение мое рассеивалось очень медленно. Нет человека, которого я полюбил бы с первого же взгляда. И первым впечатлениям я никогда не верю—они меня подводят; хоть я готов отстаивать их в споре, впадая в крайности и раздувая до небес, на деле я ничуть на них не полагаюсь и исхожу из них лишь в чрезвычайных случаях. Все те, что любят прихвастнуть, будто при первой встрече с человеком какой-то «голос» им сказал, что это их великий недруг или друг и после так оно и вышло, страдают небольшой понятной слабостью—пристрастием к самообману. Встречая новое

лицо, мы все испытываем то, что нам приятно называть предвиденьями, внезапными прозрениями, нечаянными вспышками критического чувства, но для людей благоразумных все это значит очень мало. Наверное, в эту самую минуту какой-нибудь схоластик тщится доказать, что все такие скороспелые оценки точны, надежны и заслуживают веры, ибо идут из подсознания, а лишь оно одно слывет сейчас непогрешимым, и все-таки я их считаю крайне ненадежными и вижу в них лишь сумму мелких впечатлений от голоса, прически, платья и манеры человека — от разных разностей, не стоящих внимания. И потому шестое чувство, интуиция, чудесный дар заглядывать в чужую душу — всем этим славятся обычно женщины, — не более чем утешительная сказка. Будь женщины и впрямь одарены такою дивной силой, плохо пришлось бы нам, мужчинам, но так как сила эта им отнюдь не свойственна, им и самим приходится довольно трудно в жизни.

По-моему, никто из незнакомцев не вызывает в нас такую неприязнь, как те, о ком мы много слышим, никогда не видя, иначе говоря, друзья наших друзей, с которыми мы так легко сближаемся, когда их наконец встречаем. Трудно поверить даже на минуту, что все эти скучнейшие неведомые личности хотя бы вполовину так умны, добры и интересны, как нам о том толкуют непрерывно, и в нас живет неколебимая и тайная уверенность, что наши пылкие друзья на сей раз заблуждаются. Возможно, эта наша неприязнь замешана на ревности, но главное — нам докучают эти разговоры, эти рассказы о чужих, а потому и безразличных нам успехах, нимало не похожие на славное перемывание косточек всем тем, кто входит в общий круг. Я кончу, как и начал, Чарлзом Лэмом, ибо он выразил однажды очень ярко то чувство, которое присуще каждому из нас. Эта история есть в дневниковых записях у Мура: «Кенни сегодня вспомнил, как Лэму долго досаждала дама, превозносившая какого-то «очаровательного человека». Она его хвалила и расхваливала, пока не завершила так свою тираду: «Благодаренье богу, я-то его знаю». «Благодаренье богу, я его не знаю, — немедля отозвался Лэм, — и потому пошел он лучше к черту».

По-моему, мы все так отвечаем.

## ВО СЛАВУ ОБЫКНОВЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ

Огромное число мужчин, особенно немолодых, в душе страшится «новых» женщин — эмансипированных, отвергших вышивальную иглу и пальцы, оставивших домашние пределы, занявших в мире положение мужчины и до какой-то степени усвоивших его привычки. И ополчаясь против них, насмешничая и брюзжа, мужчины просто уступают тайным

страхам. При виде молодой особы, решительной, умелой, энергичной они пугаются, как дети, ибо им ясно, что игра проиграна: они не смогут больше важничать и похвалиться деловитостью перед благоговейно вторящим им женским хором,—проникнув за кулисы делового театра сильной половины человечества, женщины вывели, что актеры слабы. Я, правда, тоже возражал против подобных женщин, но льщу себя надеждой, что делал это по другой причине. Признаюсь честно и без похвальбы, они мне не внушают опасений и, более того, внушают мне спокойствие—мы с ними так похожи. Представим себе худшее, что может совершить такая женщина: усесться в людном месте, попыхивая сигаретой или даже трубкой, держа на столике стакан спиртного и погрузившись в чтение газеты. Но так вести себя могу и я, и делал это много лет, не числя за собой особых достижений, только выходит это у меня гораздо лучше, вот и вся разница. Такие женщины теряют нечто очень ценное: их остроумие, достоинство, изящество, присущая их полу сдержанность страдают очень сильно, а обуздать без этих свойств мое неистовое самонение, мое раздувшееся честолюбие и указать мне мое место, как делают их более нежные подруги, едва заметно улыбнувшись или слегка взмахнув рукой, им будет не под силу. Вот почему я выступаю против «новых» женщин: если их род умножится, все люди будут жить в мужеподобном мире и мы, мужчины, сможем невозбранно хвастать и распускать павлиний хвост, творя погибель собственной душе.

Боюсь же я не их, а «прежних» женщин, которые сидят за рукоделием, пекут затейливые пудинги, немного говорят по-итальянски, рисуют для забавы акварели. Лишь хрупкие, серебровласые немолодые дамы, которых отличают утонченные манеры и основательное знание жизни, умеют усмирить мое зазнайство. Чтоб я не сделался несносен, меня, как всех мужчин, порой необходимо возвращать на землю. Так, мыслящие молодые люди, герои ненышних романов, в которых повествуется о нравах в Челси, невыносимы потому, что окружают их передовые женщины (которые вступили в свет, чтобы пробить себе дорогу в жизни, как это называется обычно), и потому эти юнцы обречены—их некому держать в узде, тогда как всякая другая женщина их осадила бы в два счета, мгновенно угадав за всей их болтовней бесчисленные маленькие слабости. Ибо помимо многих свойств, которые мы здесь уже упоминали, обычной женщине присуще и такое, которого бывают напрочь лишены ее «передовые» сестры,—я говорю о здравом смысле, а женский здравый смысл в хорошей дозе прекрасно отрезвляет особей мужского пола, которые имеют склонность к позе и рисовке. Он проявляется через какую-то холодную, но искрометную и очень женскую иронию; довольно легкого укола, чтоб пузыри мужского

чванства в мгновение ока выпустили воздух. Нет средства лучшего для этой цели. И если говорить начистоту, каждый из нас, мужчин, признаётся, что и его великая эгоистическая сущность гораздо больше претерпела от этого сугубо женского словесного оружия, чем от всех, вместе взятых, бурных эскапад своего брата мужчины. Что же касается развязных шуток других, мужеподобных, женщин, непогрешимости их тона, педантизма и разящего сарказма, надо сказать, что все это на нас не действует, и рядом с прежним женским способом атаки и защиты, рядом с приемом вежливой, улыбчивой иронии это не более чем театр теней.

Джейн Остин владела этим средством в совершенстве и приводила всех в восторг, а нас, мужчин, нередко и в смущение. В блистательной портретной галерее Г. К. Честертона «Викторианский век в литературе», переливающейся фейерверком остроумия, есть следующее чудо пиротехники, которое уместно здесь продемонстрировать: «Джейн Остин родилась еще до того, как стену, которая, по слухам, отделяла женщин от правды, взорвали сестры Бронте или прелестно разобрала по камешкам Джордж Элиот. Однако ничего не скажешь, о людях она знала много больше, чем каждая из них. Быть может, ее и ограждали от правды, но очень малую частицу правды удалось утаить от нее. Когда Дарси, признавая свои пороки, говорит: «Я всегда был себялюбцем в жизни, хотя и не в мыслях»,—это несравненно ближе к покаянию умного мужчины, чем бурные срывы байронических героев Бронте и обстоятельные оправдания Джордж Элиот». Любый мужчина, желающий сберечь свое безмерное самодовольство, почтет за благо встретиться с десятком женщин, родственных Жорж Санд или Джордж Элиот, вместо одной-единственной Джейн Остин, хрупкой и утонченной старой девы, чья жизнь прошла в уютом сельском уголке. Но для того, чтоб насладиться обществом другого человека, и для спасения моей души я выберу Джейн Остин и прочих обладательниц холодного и ясного ума, которые достаточно мудры, чтобы не льстить мужской породе подражанием.

Живущая обычной жизнью женщина способна обуздать надутое самодовольство и эгоизм своей мужской родни, ибо глядит на мир иначе, чем мужчина: и более общо, и более лично. Круг интересов у нее не только уже, но и шире, чем у сильной половины человечества. Ее одновременно занимают сущие безделицы: кто что сказал и как держался, и самые серьезные материи, великие первоосновы жизни—рождение, смерть и выбор спутника. И если первые имеют частное и личное значенье, вторые составляют грандиозные начала жизни, которых женщина не вправе забывать нигде и никогда, ибо они равно важны повсюду—на островах Фиджи и в Англии. Такая близость к частному и общему и

превращает ее в то, что лишь глупцы бы стали отрицать, иначе говоря в необычайно здравую особу: не чувствуя доверия к погоне за химерами, главной утехе и занятию мужчин, она не сводит глаз с житейски ясного и точного. Ее заботит человек, конкретный человек из плоти и крови, а об идеях она судит по тому, способны ли они приблизить счастье. Ее могучая любовь и редкостная преданность сосредоточены на людях— на собственной семье, а не на внешнем мире, и если так выходит по случайности, что фокус этот временно смещается, последствия бывают и плачевны, и, как мне кажется, совсем не безобидны. Сегодня миллионы женщин заняты работой и отдают своей профессии, к примеру банковскому делу, ту самую великую заботу и привязанность, которые, по замыслу природы, предназначались не делам, а людям— мужчинам и беспомощным младенцам, и это очень грустная замена.

Между двумя такими крайностями— между житейскими безделицами и общими гигантскими основами существования— лежит все то, что занимает ум мужчины: вся философия, искусство, и наука, и политика; мечты, фантазии и умозрения— все то, что Стивенсон назвал «разумными забавами». Мужчинам кажется серьезным очень многое, что на поверку женщина (я говорю о женщине вообще, а не о миссис имярек или о мисс такой-то) серьезным вовсе не считает. Так возникает «высшее, по-матерински мудрое сочувствие к мужскому чванству и тщеславию», как выразился тот же Стивенсон. И правда такова, что, ощутив его как «высшее», лицо мужского пола, в котором говорят здоровые инстинкты, пытается смирить свое тщеславие и чванство. Свои дела и увлечения такой мужчина временами поверяет женской точкой зрения— он позволяет оценить их той, что видит в них замысловатую игру возросшего дитяти, и не более; тут его ценности не только подвергаются сомнению, но тихо отрицаются и заменяются другими, его чудовищному эгоизму наносится чувствительный удар, и, если мания величия ему не свойственна, он ощутит, что получил невиданный урок смирения. Испытывая боль, он может попросить сочувствия и утешения у матери, сестры, жены, которые дадут ему просимое— он просит не напрасно,— как дали только что его ребенку, когда, играя у камина, тот обжег мизинчик; и будут утешать его, мужчину, как ребенка, которого жалеет взрослый. Это пойдет ему на пользу, если он не похож на сэра Уиллоуби Пэттерна. Не раз, когда меня переполняло чванство из-за того, что удавалось то или иное маленькое дело, казавшееся страшно важным не только для моей особы, но и для рода человеческого, мне попадалась женщина, несмелая, спокойно говорившая, чье тихое и явное презренье к миру фикций, в который я был погружен, внезапно низводило меня с облаков на землю и возвращало

истинное чувство меры. Должно быть, многие мужчины (не считая Пэттернов), всецело посвятившие себя какой-нибудь науке, области искусства или политике, вложившие туда все честолюбие, которое им свойственно, порою замечали эту царственную отрешенность женщин, это безмолвное, но несомненное презрение к большим мужским заботам и сознавали благодетельность такого отношения. В тех случаях, когда на нас не действуют ни окрики, ни ропот, ни угрожающие жесты наших сотоварищей-мужчин, нас отрезвляет эта мягкая и терпеливая усмешка. Она напоминает нам, что наше истинное место—в детской, среди детей, больших и самых шумных. Как только женщины покинут свою крепость и спустятся с воинственными кличами на поле брани, как поступает кое-кто из них уже сегодня, мужское самомнение, освободившись от узды, начнет цвести махровым цветом. Мужчина превратится в Супермена, и боги, глядя на него с небес, будут безудержно смеяться.

# Комические персонажи английской литературы (1925)



## ПАСТОР АДАМС

Подлинный герой романа Филдинга «Джозеф Эндрюс» — это Абраам Адамс. Всем известно, что роман этот был начат как пародия на Ричардсонову «Памелу», а Джозеф — брат Памелы и слуга леди Буби, которая преследует его примерно так же, как ее племянник мистер Буби преследовал его сестру; и что затем, после нескольких глав, мысль о пародии была отброшена, впрочем не совсем. Джозеф был задуман как дубина, которой Филдинг решил отдубасить Ричардсона, и даже когда пародия кончается и начинается собственно повесть, Джозеф, хотя номинально и становится ее героем, остается дубиной. А центральное место занимает его друг, наставник и товарищ по странствиям пастор Адамс. С его появлением на сцене, которое совершается при содействии миссис Слипслоп и кое-каких второстепенных действующих лиц, сюжет приходит в движение. Пастор Адамс одновременно и замечательный комический персонаж, и героическая фигура и от многих других комических персонажей его масштаба отличается тем, что чудаковат не по сути своей, а лишь в некоторых ситуациях. Он не ставит себе целью смешить, мало того, у него, в сущности, нет чувства юмора; обладай он чувством юмора, он не был бы так наивен, не столь доверчиво относился бы к людям и не попадал бы так легко в бесчисленные затруднительные положения. Поначалу кажется, что он — один из тех комических персонажей, что служат всего лишь мишенью для насмешек своих авторов. Из одной переделки он попадает в другую; ни один священник еще не вел себя так недостойно; он таскается из трактира в трактир, не имея чем заплатить по счету; чуть не в каждой главе его бьют кулаками и палками, надувают и высмеивают; его обливают свиной кровью и другими мало аппетитными жидкостями, вываливают в грязи свиного хлева, он (без



всяких дурных намерений с чьей-либо стороны) оказывается в постели с миссис Слипслоп; нет конца унижениям, которым он подвергается. И все же он не только мишень для насмешек. Мы видим, как он, по простоте своей, раз за разом попадает впросак, и все-таки не только все больше ему сочувствуем, но и все больше проникаемся к нему уважением. Уже при первом чтении он быстро затмевает остальных действующих лиц и завладевает нашим вниманием, а уж когда книгу знаешь, каждой новой встречи ждешь с нетерпением. Он принадлежит к той же героикокомической породе, что и Дон Кихот, чьи невинные глаза и многострадальное тело мы со временем начинаем воспринимать как немой, но грозный приговор миру, так легкомысленно от него отмахнувшись. Задумать такую фигуру легко, но трудно вдохнуть в нее жизнь, придать ей правдоподобие и индивидуальность, и немалая заслуга Филдинга состоит в том, что пастор Адамс, как отметил Сейнтсбери, «куда более реален, чем половина пасторов, читавших проповеди в прошлое воскресенье, и куда более индивидуален».

Мало какой комический персонаж удостоился столько искренних похвал, как пастор Адамс; критики один за другим включались в этот хвалебный хор, и его чудачества, его рассеянность и наивное тщеславие отмечены в десятках широко известных трудов. Когда Филдинг в начале «Джозефа Эндрюса» официально знакомит нас с мистером Абраамом Адамсом, он сообщает нам, что то был человек ученый, владевший несколькими древними и современными языками, что он «много лет положил на самое прилежное учение и накопил запас знаний, какой нечасто встретишь и у лиц, учившихся в университете», и далее, что это был «человек благоразумный, благородный и благожелательный, но в то же время в путях мирских столь же неискушенный, как впервые вступивший на них младенец». Был он крайне щедр, дружелюбен и отважен и в то же время весьма простодушен, рассеян и доверчив. А проживал в глухом сельском приходе, с женой и шестью детьми, на «прекрасный доход, равный двадцати трем фунтам годовых». Это, по всей видимости, тип, часто встречающийся в комической литературе,— рассеянный ученый, наивный педант, шаблонный предмет для насмешек еще в Древней Греции и доживший до наших дней в лице чудака из юмористического журнала, который укладывает зонтик в постель, а сам остается стоять в прихожей. Но Филдинг берет эту шаблонную фигуру, вдыхает в нее жизнь, приводит ее в движение и наделяет индивидуальностью, а затем отправляет странствовать по старой дороге, издавна составляющей костяк большой комической литературы, по дороге, перевидавшей столько прославленных чудаков и безумцев, и вовлекает в одно приключение за другим. Мы помним, как Адамс с целой седельной

сумой проповедей и с девятью шиллингами и тремя пенсами в кармане прибывает в гостиницу, где лежит в постели Джозеф Эндрюс, ограбленный и избитый. Добряк Адамс в это время направляется в Лондон, чтобы издать там три тома своих проповедей и получить за это, как он в простодушии своем полагает, изрядную сумму денег. Уплатив и за себя и за Джозефа, он обнаруживает, что денег у него осталось очень мало, и решает занять три гиней у хозяина гостиницы «под отменный залог». Тот согласен его выручить, но просит показать залог.

«Тогда Адамс, указуя на свою седельную суму, с высокой торжественностью в голосе и взоре объявил, что здесь, в этой суме, лежат не более и не менее как девять рукописных томов проповедей и стоят они сто фунтов так же верно, как шиллинг стоит двенадцать пенсов; и что один из томов он вверит хозяину, не сомневаясь, конечно, что тот честно вернет залог, когда получит свои деньги; иначе он, пастор, окажется в слишком большом убытке, ибо каждый том должен принести ему свыше десяти фунтов, как его осведомило одно духовное лицо в их округе.— Потому что,— добавил он,— сам я никогда не имел дела с печатанием и не беру на себя определить точную оценку таким предметам».

Хозяину, однако, проповеди в качестве залога пришлось не более по душе, чем Домблдону — поручительство Бардольфа, и в займе он отказывает. После этого первого разочарования бедного Адамса ждет и второе: пастор Барнабас и его приятель-книгопродавец дают ему понять, что проповеди — не ходкий товар, если только не содержат в себе крамольных мыслей. Но это компетентное мнение не до конца разрушает его веру, и от намерения все же следовать дальше в Лондон его удерживает только печальное обстоятельство, обнаруженное Джозефом, а именно что все девять томов проповедей остались дома, потому что миссис Адамс упаковала вместо них рубашки и другие полезные предметы. Теперь ему ничего не остается, кроме как возвращаться домой вместе с Джозефом, имея на двоих одну лошадь и один шиллинг наличными. После еще нескольких мелких приключений, в следующей же гостинице, где они с Джозефом останавливаются, уже примкнув к компании миссис Слипслоп, вспылчивый Адамс, закатив оплеуху угрюмому хозяину, запретившему своей жене перевязать Джозефу раненую ногу, затевает ту самую грандиозную потасовку, в которой столь видную роль играет кастрюля, полная свиной крови. Чуть позже, после жаркого побоища, он вызволяет Фанни из рук насильника, и тут их обоих настигает ватага деревенских жителей и препровождает к судье, который и отпускает их с миром

после уморительного допроса. На следующий день рано утром, сидя у огня в харчевне, они слышат голос Джозефа, которого Адамс умудрился потерять, до того как встретился с Фанни, и это — великая минута; Фанни при звуке знакомого голоса, поющего песню, падает в обморок, а Адамс от волнения швыряет в огонь своего любимого Эсхила. Без гроша в кармане и с прелестной Фанни, на которую может польститься любой охочий до травли лисиц помещик, какого им доведется повстречать, Адамс и его юные друзья продолжают путь к дому, и на этом пути их ждут новые злоключения, слишком многочисленные и сложные, чтобы подробно их здесь пересказывать.

Некоторых персонажей бывает лучше описать, других же лучше показать в действии, и, поскольку Адамс принадлежит к этим последним, я предпочту не рассуждать о нем, а показать его отношение к превратностям судьбы, его преследующим. Приключения его по большей части нелепы, однако разнородны. Некоторые из них, самые пустяковые, очень близки к тем клоунадам и грубым розыгрышам, которые так любил Смоллетт, тогда как Филдинг не находил в них особого удовольствия. Однако и эти пустяки у него связаны с характером. Так, например, еще в самом начале повести мы узнаем, что однажды Адамс, шагая по дороге один в темноте, вброд перешел огромную лужу, потому что не заметил сухой тропинки, по которой можно было ее обойти; и что даже тогда, промокнув до нитки, он уселся на приступку и стал читать Эсхила и читал до тех пор, пока какой-то прохожий в ответ на его вопрос не показал ему гостиницу, стоящую от них в ста шагах. Тут, конечно, нет большой тонкости описания, перед нами традиционный рассеянный ученый. На том же уровне, хотя немного забавнее, эпизод в конце книги, глава, полная ночных тревожений, столь характерных для плутовского романа. Адамс, Джозеф и Фанни гостят в доме у леди Буби, и другой гость, некий щеголь Дайдаппер, восплавав страстью к Фанни, задумал под покровом темноты пробраться к ней в спальню. К несчастью, попадает он не к Фанни, а к миссис Слипслоп. Адамс, услышав шум и заподозрив неладное, врывается в комнату и воображает, что Слипслоп — мужчина, а миниатюрный Дайдаппер — женщина. Последний спасается бегством, Адамс же, схватившись с миссис Слипслоп, предстает перед сбежавшимися домочадцами в весьма компрометирующей позиции. Все разъясняется, и добрый пастор уходит к себе, но по ошибке сворачивает не направо, а налево и, очутившись в комнате Фанни, укладывается в постель, не потревожив девушку (она умаялась после пережитых накануне страхов и поэтому спит особенно крепко) и не обнаружив своей ошибки. Там его рано утром застает Джозеф, и его доверие к этому доброму человеку подвергается серьезному испытанию. Такие перипетии

тии хорошо знакомы читателям плутовских романов, и здесь достаточно будет сказать, что кое-какие черты данного характера в «Джозефе Эндрюсе» несомненны (ведь первый поступок Адамса подсказан его врожденным рыцарством, а второй — его рассеянностью), но что этого недостаточно для придания всему эпизоду чего-то большего, чем буффонада знакомого типа. Смоллетт умел изображать подобные заварухи так же искусно (если не лучше, поскольку делал это с удовольствием); но, обратившись к некоторым другим сценам с участием Адамса, мы убедимся, что Смоллетт остался далеко позади, что перед нами наконец постине великий Филдинг.

В авторском предисловии к «Джозефу Эндрюсу» (коротеньком, но весьма содержательном эссе) Филдинг излагает свой взгляд на Смешное, а также касается характера пастора Адамса, но, к сожалению, не связывает одно с другим. Нам сообщают, что единственный источник подлинно Смешного — притворство, а притворство проистекает либо из тщеславия, либо из лицемерия. В конце предисловия нам также сообщают, что Адамс — самая примечательная фигура в этой книге, что подобной не встретишь «ни в какой другой из ныне существующих книг», что это «образец совершеннейшей простоты, чье доброе сердце расположит в его пользу всех добрых людей» и т. д. Ни слова о притворстве как единственном источнике Смешного, ни слова о тщеславии и лицемерии, а между тем Адамс, бесспорно, главный комический персонаж романа. Дело, разумеется, в том, что в глазах Филдинга Адамс не укладывается в категорию Смешного, и здесь писатель ближе к сатире или к бурлеску, нежели к юмору, во всяком случае — к нашему более позднему представлению о юморе. Адамс — фигура героикомическая; он вызывает не только сочувствие, но в конечном счете также и уважение. Можно сказать, что моральные соображения в романе препоручены ему, и, несмотря на его чудачества, верить их в более надежные руки было бы невозможно. Когда леди Буби, всемогущая в своей деревне, запрещает ему объявить о предстоящем браке Джозефа с Фанни, он не боится открыто ее послушаться, а потом проявляет еще большее геройство в разговоре на ту же тему со своей женой. Когда сквайр-охотник не без труда зазвал его к себе в гости, а потом подговорил остальных гостей поиздеваться над бедным оборванцем-пастором, Адамс сперва принимает это издевательство вполне благодушно, но потом взрывается и отважно дает отповедь всей компании. Этот его монолог как нельзя лучше выражает его характер, некоторые места в нем и смешны, и трогательны, как, например, когда он восклицает:

«...Мой внешний вид свободно мог навести вас на мысль, что ваше приглашение явилось для меня благо-

деянием, хотя в действительности мы располагаем достаточными средствами; да, сэр, если бы нам предстояло пройти еще сотню миль, у нас достало бы, чем покрыть наши расходы благоприличным образом. (При этих словах он извлек полгиinei, найденные им в корзине.) Я вам это показываю не в похвальбу своим богатством, а чтобы вы видели, что я говорю правду».

В этой фразе насчет «похвальбы своим богатством» заключена вся бесконечная наивность оратора, но в общем речь его слишком длинная, чтобы цитировать ее целиком,— это прекрасная, смелая отповедь, и ее мужественное достоинство очевидно, несмотря на все зловонные лужи и грязь свиного хлева, рваные рясы и засаленные ночные колпаки. Здесь наш пастор—воплощение воинствующей церкви.

Но не за это мы его любим, и не за это его любил Филдинг. Как правильно заметил Рэли, Филдинг, подобно большинству его современников,—моралист, пусть моралист-романтик, поскольку не устает подчеркивать, что на свете нет ничего лучше «доброй воли». Доброе сердце, по словам Рэли, совсем не то же, что формальное следование моральному кодексу: «Филдинг охотнее всего бичевал именно педантизм формального моралиста. Он умеет в одно мгновение убрать весь «пышный мусор», под которым прячется человек, и обнажить его подлинное ничтожество или порочность. Раз за разом он показывает, что подлец может рядиться в одежды праведника, а у повесы может быть золотое сердце». Помимо неоспоримых достоинств Филдинга как рассказчика, именно это постоянное противопоставление врожденного стремления к добру и формального следования моральному кодексу наряду с глубоким знанием человеческой природы и с тем, как он наслаждается, высмеивая тщеславие и подмечая иронию повседневной жизни,—все это и придает творчеству Филдинга ту основательность и интеллектуальную силу, что явственнее проступают не при первом чтении, а при третьем или четвертом. И можно добавить, что Адамс, именно потому, что он часть этого основательного интеллектуального сооружения,—великий литературный образ, но, строго говоря, не великий комический образ, ибо величайшие комические образы рождаются во время моральной передышки, они парят намного выше притворства, тщеславия и сложных мотивировок; а у Филдинга не бывало моральных передышек, и в нем слишком сильно было здоровое прозаическое начало, чтобы он мог вознестись в царство чистой фантазии и абсурда. Он, конечно, в полной мере наделил Адамса «сердечной добротой», но не скрыл, что по части тщеславия и притворства тот тоже небезгрешен. Адамс и сам из тех моралистов, чье сердце часто говорит одно, а кодекс другое, но в отличие от большинства филдинговских персо-

нажей кодекс его хорош, а сердце и того лучше, так что расхождение между тем и другим только выявляет какой-нибудь мелкий просчет в том рецепте поведения, который он так красноречиво проповедует в разные моменты повествования. Проявления тщеславия неизбежны у такого сильно чувствующего человека и так невинны, что мы вслед за Филдингом смеемся над ними лишь так, как можно смеяться над шалостями ребенка, и мы любим его за это не меньше, а может быть, и больше; однако за ироничной авторской подачей таких пустяков улавливаешь нотку предостережения, которую можно истолковать так: в этом человеке, невинном, как ребенок, чистосердечном и безупречном в своих побуждениях, все же налицо слабость, присущая всему грешному роду человеческому,—изощренный самообман и тщеславие; и вы, те, кто кичится своей прозорливостью, загляните в свое сердце и проверьте, в ваших ли возможностях увидеть в вашем собственном притворстве и неумном тщеславии всего лишь повод для беззлобного смеха, а если нет... И авторская ирония резвится вокруг этой гротескной, но симпатичной фигуры с ее неиссякаемым милосердием, подобно зарнице, что освещает, но не вредит, если человек надежно укрылся в святилище доброй воли.

Держа в памяти этот образ, мы можем теперь вернуться к повествованию, рассмотреть тот или иной эпизод и убедиться, как замечательно Филдинг справился со своей задачей. Как превосходны отдельные его наблюдения, например:

«Мгла уже покрыла половину земного шара, когда Фанни шепотом попросила Джозефа остановиться и отдохнуть, потому что она так устала, что больше не может идти. Джозеф тотчас убедил Адамса, еще ничуть не притомившегося, сделать привал. Тот, едва уселся, стал скорбеть об утрате своего любезного Эсхила, и только мысль, что в темноте он все равно не мог бы читать, несколько утешила его».

Кто, однажды прочитав, забудет описание Адамса в доме у Уилсона, когда этот последний рассказывает печальную историю своей жизни, и в частности разглагольствует о тщеславии как «худшей из страстей»?

«Вторым моим выводом было то (говорит Уилсон), что тщеславие—худшая из страстей и более всякой другой отравляет душу. Поскольку себялюбие куда более распространенный порок, чем мы обычно признаем, ненависть и зависть к тем, кто стоит между нами и желанным благом, очень естественны. Однако на путях любострастия и честолюбия таких препятствий немного; и даже когда мы одержимы скупостью, далеко не в каждом видим мы помеху нашим целям; а вот тщеславный всегда ищет превосходства над другими, и

все, чем выделяется другой или за что другого хвалят, становится предметом его неприязни.

Адамс тут начал шарить у себя по карманам и затем вскричал:

— Увы! У меня ее нет при себе!

И когда джентльмен спросил, что он ищет, он ответил, что ищет проповедь о тщеславии, которую считает наилучшим своим сочинением.

— Эх, как глупо! Как глупо! — промолвил он. — Мне бы нужно всегда носить эту проповедь в кармане. Была бы она хоть милях в пяти отсюда, я охотно сбегал бы за ней, чтобы вам ее прочитать.

Джентльмен отвечал, что нет в том нужды, ибо он исцелился от этой страсти.

— Вот потому-то, — ответил Адамс, — я и хотел прочитать ее вам; ибо вы, я уверен, оценили бы ее. Право же, ни к чему я не питаю большей вражды, чем к этой глупой страсти — тщеславию!»

Этот мастерской сатирический выпад, отмеченный многими критиками, разит одновременно две мишени: достаточно забавно уже то, что у Адамса хватает тщеславия, чтобы вызваться пройти десять миль с единственной целью дать собеседнику полюбоваться тем, как он, Адамс, бичует тщеславие; но еще, пожалуй, забавнее, что эта маленькая бравада, которая у Уилсона, как пишет автор, вызвала только улыбку, следует непосредственно за утверждением Уилсона, будто тщеславие — худшая из страстей. На самом деле тщеславие, конечно, не худшая из страстей, и Уилсону стоило бы задуматься над этим пустячным случаем и пересмотреть свое отношение к тщеславию, хотя это могло бы заставить его пересмотреть и всю свою шкалу моральных ценностей. Не менее любопытна восьмая глава книги третьей с подзаголовком, «которую одни читатели найдут слишком короткой, а другие слишком длинной». Адамс и его юные друзья прибыли в харчевню, и после более чем скромного ужина из хлеба с сыром и кружки эля пастор с великолепным презрением отзывается о неразумии людей, которые поступают надеждой на вечное блаженство ради стяжания богатства на земле, тогда как и в самом невысоком положении, и при самом скудном достатке в жизни есть столько отрадного. Другой путник, степенного вида мужчина, покуривающий трубку у огня, немедленно с ним соглашается и, к великому восторгу Адамса, произносит обличительную речь о богатстве. Затем оба моралиста по очереди осуждают любовь к деньгам и высказывают презрение к золоту. Кончается дело тем, что незнакомец, католический священник в одежде мирянина, просит у Адамса взаймы восемнадцать пенсов заплатить по счету. Добрый Адамс обещает дать ему половину всех денег, какие у него есть при себе, составляющие полгиней, но

обнаруживает, что кто-то обшарил его карманы и оставил его без гроша.

«— Увы!— вскричал Адамс,— деньги я, конечно, потерял, потратить их я никак не мог, сэр, это верно, как то, что я христианин: сегодня утром у меня в кармане было целых полгиней, а сейчас не осталось и полпенни. Не иначе как дьявол забрал их у меня!

— Сэр,— ответил с улыбкою патер,— вам не к чему оправдываться: если вы не склонны одолжить мне денег, я удовлетворен.

— Сэр,— воскликнул Адамс,— будь у меня при себе самая крупная сумма на свете— да будь у меня даже десять фунтов!— я бы отдал их целиком, чтобы выручить из беды христианина. Можно ли быть худшему несчастью, чем эта потеря? Оттого, что у меня нет в кармане денег, я заподозрен в том, что я не христианин...»

Незнакомец решает незамедлительно тронуться в путь и, вызвав хозяина, объясняет ему положение дел. Хозяин, покряхтев, соглашается поверить ему в долг, и незнакомец спешит скрыться в ночи.

«Едва он ушел, как хозяин, покачивая головой, объявил, что заподозри он только, что у этого молодчика нет денег, он бы не дал ему ни глотка; он, мол, и не надеется когда-нибудь еще его увидеть, потому что и с лица-то он отъявленный плут.— Ну и пройдоха!— воскликнул хозяин.— А я-то по его разговору насчет богатства подумал, что у него по меньшей мере фунтов сто в кармане».

И тогда, сообщает нам автор, Адамс, у которого в кармане тоже пусто, пожурил хозяина за подозрительность, неподобающую христианину, а затем удалился на покой и уснул, даже не подумав о том, как наутро будет с ним разбираться.

Уже на следующий день происходит отличная сцена, в которой Адамс проявляет себя как верный друг и добрый христианин, но весьма бестактный собеседник. Фанни похитили из гостиницы, а Джозефа и Адамса, несмотря на их неистовое сопротивление, привязали к столбикам кровати. Джозеф в отчаянии и громогласно сетует о потере возлюбленной. Адамс, сильно помятый и разобиженный, сидя спиной к Джозефу, ибо так, спиной друг к другу, их привязали, пытается его утешить, указывая, что он, как мужчина и как христианин, обязан призвать на помощь рассудок.

«— А потому утешься, дитя мое, говорю тебе, утешься! Правда, ты потерял самую красивую, самую добрую, прелестную и милую молодую женщину, ту, с кем ты, быть может, располагал жить в счастье,



целомудрии и чистоте, ту, от кого, быть может, надеялся иметь много милых крошек, которые стали бы вашей радостью в молодые ваши лета и утешением в старости. Ты ее не только потерял, но у тебя есть основания опасаться грубой обиды, какую могут учинить над нею похоть и сила. Немудрено, что ты вообразил всяческие ужасы и пришел в отчаяние...»

Джозеф, естественно, перебивает эту речь иступленным воплем, но Адамс напоминает ему, что он христианин, что ничто не свершается с нами без попущения божьего и что долг человека и христианина — смиряться. Затем он приводит причины — надо сказать, превосходные, — по которым мы не вправе сетовать на свою участь. Но когда он доходит до «в-третьих» и только еще вошел во вкус, бедный Джозеф, в котором Филдинг неожиданно пробудил живого человека, снова его перебивает и говорит то, что несчастные, сраженные невзгодами люди испокон веков говорили краснобаю-философу, когда любовь к диалектике одерживала в нем верх над сострадаaniem:

«— О сэр! — воскликнул Джозеф. — Все это очень верно и очень хорошо, и я мог бы слушать вас до вечера, когда бы не было у меня такого горя на сердце, как сейчас.

— Разве стал бы ты, — говорит Адамс, — принимать лекарство, когда ты здоров, и отказываться от него, когда болен? Разве мы подаем утешение не угнетенному скорбью, а радующемуся или беззаботному?

— Да вы не сказали мне еще ни слова утешения, — возразил Джозеф.

— Не сказал. — вскричал Адамс. — А что же я делаю? Что еще могу я сказать тебе в утешение?

— О, скажите мне, — взмолился Джозеф, — что Фанни вернется в мои объятия, что я вновь обниму это милое создание во всей его прелести, во всей незапятнанной чистоте!»

В конце концов Адамсу, наделенному изрядной силой характера, удастся-таки утихомирить юношу; но на самом деле ответить на его горестное восклицание нечего, разве что возвысить голос и прикрикнуть на него. А в общем, в этом коротеньком диалоге заключена вся история философских и религиозных учений.

Позже по ходу дела, в доме у пастора, Джозеф говорит о том, как ему не терпится жениться, он-де чувствует, что не будет знать ни минуты покоя, пока Фанни не станет его женой. И Адамс берется рассудительно попенять ему за такое нетерпение. Начинает он с небольшой тирады о браке вообще, затем изобличает чувство страха, свидетельствующее о недостатке веры в ту силу, на которую мы единственно должны уповать. Далее он указывает, что все страсти

преступны, если предаваться им без меры, и даже любовь, если не подчинить ее долгу, может привести к забвению одного. Уже чувствуя себя на церковной кафедре, он продолжает:

«— Ты слишком склонен к страсти, дитя, и так безгранично привержен к этой молодой женщине, что, если бог потребует ее у тебя, боюсь, ты не расстанешься с ней без ропота. Поверь же мне, ни один христианин ни к одному предмету или существу на земле не должен настолько прилепляться сердцем своим, чтобы не мог он в любой час, когда этот предмет будет потребован или отобран у него божественным провидением, мирно, спокойно и без недовольства отрешиться от него».

Но весь эффект его проповеди оказывается сведенным на нет, потому что в эту минуту кто-то врывается в комнату и сообщает Адамсу, что его младший сын утонул. В мгновение ока моралист исчезает, и место его занимает отец:

«Пастор сперва застыл в безмолвии, а потом заметался по комнате, в горчайшей муке оплакивая свою утрату».

Теперь актеры поменялись ролями.

«Когда Джозеф, равно ошеломленный этим несчастьем, достаточно оправился, он попробовал утешить Адамса и с этой целью привел немало доводов, которые в разное время запали ему в память из проповедей, как частных, так и публичных (ибо Адамс был великим противником страстей и ничего так охотно не проповедовал, как преодоление их разумом и верой), но сейчас пастор не был расположен внимать увещаниям.

«— Дитя, дитя,— сказал он,— не хлопочи о невозможном. Будь это кто другой из моих детей, я мог бы снести удар с покорностью, но мой маленький лепетун, любимец и утеха моих преклонных лет... чтобы он, бедный крошка, был выхвачен из жизни, едва ступив на ее порог! Самый милый, самый послушный мальчик, никогда не огорчавший меня...»

Добрый пастор безутешен и жалобно перебирает все добродетели погибшего сына. Однако через несколько минут мальчик, насквозь промокший, появляется в комнате, потому что, хотя он действительно упал в воду, некий корабейник успел его выудить. Радость Адамса, сообщает нам автор, так же неумемна, как только что была его скорбь. Он осыпает сына поцелуями, от облегчения пускается в пляс. Но к сожалению, едва эти бурные восторги улеглись, полагает нужным снова взять на себя роль моралиста и наставника и сызнова начинает внушать Джозефу, что последний, если хочет быть счастливым, не должен без меры предаваться

страстям. Это уже слишком, даже для верного Джозефа, и он возражает, что давать советы легче, нежели следовать им. Тогда Адамс, чувствуя, что его авторитет колеблется, говорит, что Джозефу не понять всей силы отцовской любви, что утрата ребенка — одно из тех великих испытаний, кои могут вызвать и безмерную скорбь; а когда Джозеф в ответ заявляет, что утрата любимой женщины может причинить не меньшую скорбь, Адамс, припертый к стене, бесстрашно парирует:

«— Да, но такая любовь неразумна, дурна сама по себе, и ее следует преодолевать. Она слишком отдает плотским вождением.

— Однако же,—говорит Джозеф,—нет греха в том, чтобы любить свою жену и дорожить ею до безумия!

— Нет, есть,—говорит Адамс,—человек должен любить свою жену, это несомненно; но должен любить ее с умеренностью и скромностью.

— Боюсь, я буду повинен в некотором грехе, несмотря на все мои старания,—говорит Джозеф,—потому что я, конечно, буду любить без всякой меры.

— Ты говоришь неразумно, как ребенок!—воскликнул Адамс...»

И все было бы хорошо, не будь каждый из нас опутан сложной сетью самых разных отношений со многими людьми, и Адамс, играя роль отца и наставника, забыл, что он еще и супруг и что его дражайшая половина находится в этой же комнате.

«— Напротив,—говорит миссис Адамс, которая прислушивалась к последней части их беседы,—вы сами говорите неразумно. Надеюсь, дорогой мой, вы никогда не станете проповедовать такой бессмыслицы, будто мужья могут любить своих жен слишком сильно. Когда бы я узнала, что в доме у нас лежит такая проповедь, я бы ее непременно сожгла; и заявляю вам: не будь я уверена, что вы меня любите изо всех сил, я бы ненавидела вас и презирала—уж в этом я за себя отвечаю. Тоже мне, хорошенькие правила! Нет, жена вправе требовать, чтобы муж любил ее изо всех сил, и кто не любит так свою жену, тот грешник и мерзавец. Разве он не обещал любить ее, и беречь, и лелеять и все такое? Я-то это помню, как если бы только вчера затвердила, и никогда не забуду. Впрочем, я знаю, что вы поступаете не так, как проповедуете, потому что вы всегда были для меня любящим и заботливым мужем, уж это-то правда, и мне невдомек, к чему вы только стараетесь вбить в голову молодому человеку такой вздор».

Теперь нам самое время оставить за дамой последнее слово (а она еще много чего имеет сказать) и проститься с

нашим другом Адамсом, с его париком, ночным колпаком и рваной рясой, его Эскилом, унылыми холодными правилами и веселым горячим сердцем, когда он, подобно многим другим философам, стоит лицом к лицу с рассерженной женщиной и все его прекрасные теории разлетаются вдребезги. «Я уверена, что вы поступаете не так, как проповедуете». Последнее слово осталось за ней: он, едва ли не единственный из подобных ему персонажей, проповедует хорошо, а поступает и того лучше; и «пасторы, читавшие проповеди в прошлое воскресенье», недаром потратили время, если сделали хотя бы вполовину столько добра, сколько сделал старый Адамс, когда сидел, весь промокший, в канаве или воевал в харчевне под хохот шести поколений.

## БРАТЯ ШЕНДИ

Мой дядя Тоби собрал богатый урожай похвал, притом вполне заслуженных, однако часть их он по справедливости мог бы уступить своему обойденному вниманием брату Уолтеру. Яркий мундир привлек взгляды многих, кто просто не заметил доморощенного философа в старом парике и пыльном кафтане. К тому же Тоби показан на более интересном фоне. Ему мы обязаны походами во Фландрии, не столь кровопролитными военными действиями на лужайке за домом и, наконец, самой, пожалуй, нерешительной осадой—осадой вдовы Уодмен; в то время как мистер Шенди, поглощенный более высокими материями, преподносит нам всего лишь рассуждения Слокенбергия о носсах и другие столь же пресные яства. Тоби живописен; мы так и видим, как он, в парике с косичкой и бантом, в треуголке с потускневшей золотой тесьмой и огромной розеткой из тафты, в голубом с золотом мундире (который «стал ему донельзя тесен») и красных плисовых штанах, собирается в поход на вдову Уодмен; душа радуется, когда вообразишь, как молодецвато он ковыляет к вдове, либо руководит из будки выдуманной осадой, либо, сидя у камелька в доме брата, попыхивает трубкой, и его глупая красная физиономия так и лоснится довольством. Такие картинки не скоро забываются, и Тоби живет в нашей памяти еще долго после того, как мы закрыли и отложили в сторону книгу, в которой он обретается, так что можем когда угодно возобновить с ним знакомство и застать его где-нибудь поблизости от его игрушечных укреплений. Благодаря своему простодушию, доброте и увлеченности невинными затеями, благодаря своей человечности он—фигура более привлекательная, чем его брат; Стерн позаботился о том, чтобы мы в него влюбились, и порой перебарщивает в своей чувствительности, подсыпая

в кружку Тоби слишком много сахара. Взять хотя бы знаменитый анекдот про Тоби и муху:

«— Ступай,— сказал он однажды за столом большущей мухе, кружившей у него под носом и ужасно его изводившей в течение всего обеда, пока наконец ему не удалось после многих безуспешных попыток поймать ее на лету;— я тебе не сделаю больно,— сказал дядя Тоби, вставая со стула и переходя через всю комнату с мухой в руке,— я не трону ни одного волоса на голове у тебя; ступай,— сказал он, поднимая окошко и разжимая руку, чтобы ее выпустить;— ступай с богом, бедняжка, зачем мне тебя обижать? Мир велик, в нем найдется довольно места и для тебя и для меня».

Им восхищались много раз, в том числе весьма компетентные судьи. Даже Колридж, у которого среди его заметок и отрывков из лекций встречаются блестящие критические пассажи о Стерне, назвал это место «истинно прекрасным». На мой же взгляд, этот анекдот, пусть и мастерски рассказанный,— дешевка, и направленность его до грубости примитивна: на заднем плане ясно виден сам Стерн, как он раскланивается и ухмыляется, а затем пускает шапку по кругу в расчете, что мы оброним в нее прочувствованную слезу. И все же, несмотря на такие щедрые дозы патоки, Тоби остается привлекательнее своего брата. А вот как фигура комическая, этот его не столь обаятельный брат— не меньшая удача. Когда видишь их рядом, трудно сказать, который лучше, и, пожалуй, именно в контрастном их сопоставлении и заключается особенная пикантность. Семейство Шенди и несколько их слуг— Трим, Обадия, Сюзанна— и приближенных— доктор Слоп и Йорик— лучше всего воспринимаются как групповой портрет, в котором, впрочем, и каждая отдельная фигура выписана на диво.

Глава семьи мистер Уолтер Шенди («мой отец»), как рассказывает нам автор, разбогател на торговле с Турцией, но к началу книги он уже удалился от дел и поселился в своем наследственном поместье. Он чрезвычайно пунктуален как в делах, так и в развлечениях (все, читавшие первые главы «Тристрама Шенди», несомненно, это помнят), немного вспыльчив и грубоват в разговоре, но, в сущности, человек очень добрый и щедрый. Подобно многим бывшим коммерсантам, как в том веке, так и в нынешнем, он нажил состояние с помощью здравого смысла, много лет исходил из того, что дважды два— четыре, а теперь решил, что здравый смысл ему больше не нужен, и проводит время в попытках выяснить, не равняется ли дважды два пяти. Это очень знакомый образчик восемнадцатого века— доморощенный философ, собиратель курьезов и раритетов из области метафизических теорий, знаток головоломных диалектических диспутов. Он достиг той стадии, какой большинство не вовсе

безмозглых людей достигает на третьем году обучения в университете, стадии парадоксов, на которых строятся студенческие конкурсные работы, когда предпочтение неизбежно отдается не простым, а сложным и путаным теориям, когда наиболее хитроумная аргументация всегда кажется наиболее приемлемой, когда ничего не упрощается, кроме того небольшого в нашей жизни, что упрощать никогда не следует. Мысль, безмерно обрадованная открытием, что она вообще способна двигаться, целыми днями пляшет и прыгает и никак не хочет остепениться. Большинство людей рано или поздно, обычно еще в молодости, изживают эту стадию, но иные, как, например, Сэмюел Батлер, тоже коммерсант на покое, достигают ее поздно и навсегда: до конца своих дней они остаются блестящими студентами. Мистер Шенди, во многом схожий с Батлером (хотя его приверженность идеям, пожалуй, менее эгоистична, нежели у Батлера),— блестящий третьекурсник, и ему следовало бы писать конкурсные работы, вместо того чтобы пытаться—притом безуспешно—вовлечь в дискуссии свою нелюбопытную родню. Достигнув такого состояния духа уже в зрелых годах, он являет нам все его симптомы. Стерн недаром наделил мистера Шенди коммерческой карьерой: когда человек посвящает долгие годы наживанию денег, интеллект его, как правило, бездействует, так что, затворив за собою в последний раз дверь конторы, он открывает для себя наряду с прелестями садоводства и то восхитительное обстоятельство, что на свете существуют парадоксы. Вполне вероятно, что и в наши дни в уютных загородных домах с библиотеками проживает несколько десятков мистеров Шенди, задавшихся целью доказать, что для рождения таланта нужна каменистая почва, что весь наш политический прогресс пошел от десяти пропавших племен, что грех—изобретение арабов, что мир не будет спасен, пока не будут истреблены все рыжие. Такие люди, даже удалившись от дел, не становятся учеными, но им удается собирать целые груды разрозненных сведений, свои книги (по большей части библиографические курьезы) они воспринимают с непосредственностью ребенка и поэтому верят им безоговорочно. Тристрам Шенди, желая подчеркнуть врожденный талант своего отца как оратора и диалектика, недооценивает ученость мистера Шенди, когда замечает:

«А между тем он, как это ни странно, никогда не читал ни Цицерона, ни Квинтилиана de Oratore, ни Исократа, ни Аристотеля, ни Лонгина из древних, а также ни Фоссия, ни Сциоппия, ни Рамé, ни Фарнаби из новых авторов и, что еще удивительнее, ни разу в жизни не обогатил своего ума ни единой лекцией о Кракенторпе, или Бургерсдиции, или каком-либо голландском философе, или комментаторе, он не знал

даже, чем аргумент *ad ignorantiam*<sup>1</sup> отличается от аргумента *ad hominem*<sup>2</sup>, так что я отлично помню, когда он привез меня в \*\*\* для зачисления в колледж Иисуса, как, естественно, удивило моего уважаемого наставника и двух-трех его ученых коллег, что человек, даже не знающий, как называются его инструменты, столь искусно ими орудует».

Мистер Шенди обладает большей эрудицией, чем можно заключить из этой цитаты, ибо свои диковинные теории он подкрепляет множеством примеров и иллюстраций. К тому же нам известно, что когда-то он написал биографию Сократа. Шендианская система—это система умственных вывертов, согласно которой судьба человечества зависит от того, предпримет ли оно те или иные мелкие шаги, например добьется ли, чтобы дети рождались ногами вперед; согласно которой мир будет спасен по прихоти одного человека, в случае мистера Шенди—«магическим влиянием имен, даваемых при крещении». У доморощенного ученого и философа восемнадцатого века мысль, несомненно, работала весьма прихотливо, и они изобретали без счета панaceй, но им в этом смысле далеко до их потомков, фантазеров наших дней, когда мистери Шенди и следовало бы жить. Я не сомневаюсь, что, живи он среди нас, он был бы совершенно счастлив. Но он сидит в своем Шенди-Холле, с женой и братом Тоби, и бед на его долю досталось больше, чем их суждено изведать многим другим философам.

Худшая из этих бед состоит в том, что он—философ, логик, оратор без публики. Немудрено, что он раздражителен—ведь для прирожденного спорщика худшего положения и не придумаешь. И жена его и брат начисто лишены любознательности. Как сказал Колридж, «он жаждет сочувствия, соразмерного тому, сколь несуразны и сколь мало сочувствия вызывают предлагаемые им темы», причем самые несуразные из них ему всего дороже, как родителям хромыe дети; и вдобавок он, как и многие из нас, не желает, чтобы его слушатели сразу либо соглашались с ним, либо решительно ему противоречили. Он желает, чтобы сначала ему возражали,—тогда ему представится возможность пустить в ход все свое красноречие и силу убеждения, и в конце концов это неизбежно вынудит его оппонентов с ним согласиться. Тристрам, угостив нас прелестным образчиком того, как его отец привел аргумент *ad hominem* на тему об именах («Ваш сын—ваш милый сын, чей ласковый и честный нрав позволяет ожидать от него столько хорошего—ваш Билли, сэр! Неужели вы могли бы наречь его Иудой?»), продолжает так:

---

<sup>1</sup> Рассчитанный на невежество (*лат.*).

<sup>2</sup> Обращенный к личности (*лат.*).

«Но ведь если уж говорить правду о моем отце, то он был прямо-таки неотразим, как в речах своих, так и в словопрениях; он был прирожденный оратор: θεοδιδάκτος<sup>1</sup>. Убедительность, так сказать, опережала каждое его слово, элементы логики и риторики были столь гармонически соединены в нем—и вдобавок он столь тонко чувствовал слабости и страсти своего собеседника,—что сама Природа могла бы свидетельствовать о нем: «Этот человек красноречив». Короче говоря, защищал ли он слабую или сильную сторону вопроса, и в том и в другом случае нападать на него было опасно».

Но такие краснобаи, чья сила убеждения подчинена их тщеславию, не только стремятся подвести своих слушателей к тем или иным выводам. Этого им мало, ведь они не торгаши, не политики, они артисты и, вооруженные своими фантастическими теориями, с тем большим наслаждением развивают сложные доводы в свое оправдание и защиту, но они, как и все артисты,—ничто, если не имеют публики, достойной их искусства. Раздражительность мистера Шенди обусловлена не тем, что он не может доказать свою правоту, скорее он раздражается потому, что знает: вся его сложная аргументация, все софизмы, с помощью которых он в более созвучном обществе мог бы добиться согласия с самыми нелепыми своими теориями, на его слушателей расходуются впустую. А поскольку эти трудно доказуемые теории по большей части призваны продемонстрировать его мастерство, он имеет тем больше оснований сердиться на то, что все это мастерство тратится зря; он подобен жонглеру, который из сил выбивается ради публики, состоящей из слепых. Его наивное интеллектуальное тщеславие, всегда и всюду свойственное людям его склада, остается неудовлетворенным.

С его точки зрения, трудно определить, который из его слушателей хуже, брат или жена. У миссис Шенди, этой достойнейшей женщины, нет в голове ни одной мысли. У нее имеется несколько убеждений, которых не поколебать никакими доводами, но в остальном она, будучи хорошей женой, готова согласиться со всем, что бы ни сказал ее малопонятный муж, так что его ждет либо упрямый отпор, сломить который безнадежное дело, говори хоть до хрипоты, либо мгновенная и нерассуждающая поддержка. Когда речь идет о практических вопросах, например о приглашении доктора Слопа вместо привычной повивальной бабки—а в пользу этого шага мистер Шенди готов привести множество тончайших соображений,—она просто отказывается его слушать:

---

<sup>1</sup> Наученный богом (греч.).



«В числе многих превосходных доводов, при помощи которых отец мой убеждал мою мать предпочесть помощь доктора Слопа помощи старухи, был один очень своеобразный; обсудив с ней вопрос как христианин и собираясь вновь обсудить его с ней как философ, он вложил в этот довод всю свою силу, рассчитывая на него как на якорь спасения. Довод подвел его, не потому, что в нем заключался какой-нибудь изъян; но, как отец ни бился, ему так и не удалось растолковать матери всю его важность.— Вот дурацкое положение!—сказал он себе однажды вечером, выйдя из комнаты после полуторачасовых бесплодных попыток убедить свою жену.— Вот дурацкое положение!—сказал он, кусая губы, когда затворял дверь.— Владеть искусством тончайших рассуждений и иметь при этом жену, которой невозможно вбить в голову простейшего силлогизма, хотя бы от этого зависело спасение твоей души...»

Когда обсуждаются другие вопросы, не столь непосредственно ее касающиеся, она просто спешит согласиться и тем лишает мужа возможности вступить в словесную борьбу, составляющую его уладу. Нет на свете создания менее любопытного:

«Отца ужасно раздражало то, что моя мать никогда не спрашивала значения вещей, которых она не понимала:— Что эта женщина неученая,—говорил отец,— такое уж ее несчастье,—но она могла бы задавать вопросы.— Моя мать никогда их не задавала. Короче говоря, она покинула эту землю, так и не узнав, вращается ли она или стоит неподвижно. Отец тысячу раз с большой готовностью ей это объяснял, но она всегда забывала. По этой причине разговор между ними редко складывался больше чем из предложения—ответа—и возражения, после чего обыкновенно следовала передышка в несколько минут (как в случае со штанами), а затем он снова продолжался...»

Диалог под занавес на тему о необходимости шить Тристраму штаны как нельзя лучше доказывает, что миссис Шенди не только чужда философии, но и принадлежит к породе тех приятных, но невыносимых собеседников, чья роль сводится к роли Эха. У иных мужей такая крайняя покладистость, несомненно, вызвала бы чувство, близкое к зависти, но не надо быть мистером Шенди, чтобы находить это свойство досадным и убийственным для любой беседы.

«— Пора бы нам подумать,—сказал отец, полуобернувшись в постели и придвинув свою подушку поближе к подушке матери, чтобы открыть прения,—пора бы нам подумать, миссис Шенди, как бы одеть нашего мальчика в штаны.

— Конечно, пора,— сказала мать.

— Мы позорно это откладываем, моя милая,— сказал отец.

— И я так думаю, мистер Шенди,— сказала мать.

— Не потому,— сказал отец,— чтобы мальчик был недостаточно хорош в своих платящих и рубашонках.

— Он в них очень хорош,— подтвердила мать.

— И чуть ли не грех был бы снять их с него,— добавил отец.

— Да, это правда,— сказала мать.

— Однако мальчишка очень уж быстро растет,— продолжал отец.

— Он в самом деле очень рослый для своих лет,— сказала мать.

— Ума не приложу,— сказал отец,— в кого это он, черт возьми, пошел.

— Я и сама не понимаю,— сказала мать.

— Гм! — сказал отец...» —

и так далее до конца главы. В этом диалоге, как, впрочем, и во всех разговорах супругов, автор под якобы небрежным стилем скрывает компактность и экономию, чтобы при минимальной затрате слов, по выражению Колриджа, «передать мельчайшие оттенки мысли и чувства, которые кажутся пустяками, а на самом деле именно в данном месте особенно важны», знаменуют новый поворот в повествовании и открывают новую главу в истории английского романа.

Не более благодарной публикой оказывается для мистера Шенди и его брат Тоби. Кое-какие идеи у Тоби имеются, но любознательности у него не больше, чем у миссис Шенди, и досаду он, вероятно, вызывает еще большую, потому что ему случается, как назло, проявить какой-то проблеск интереса к рассуждениям брата, а когда последний, возрадовавшись этому, входит во вкус, неожиданно гасит этот проблеск, словно разом выключая свое любопытство; так что к тому времени, когда мистер Шенди достиг высот красноречия, мысль Тоби уже снова бездействует и он преспокойно насвистывает «Лилибулерио». Бедному мистеру Шенди дано увидеть вдали землю обетованную, и вот он уже снова один в безводной пустыне. Знаменательное это было переживание для нашего философа, когда после появления доктора Слопа и Обадии они с Тоби ждали на нижнем этаже как будто целую вечность, а на самом деле два часа и десять минут. Мистер Шенди, в безумной надежде, что ему представился случай разразиться «метафизическим рассуждением на тему о длительности и простых ее модусах», замечает: «Не знаю, как это случается, а только мне кажется, что прошел целый век». Он отлично знал, как это случается, и вознамерился поделиться этим знанием с Тоби. Но Тоби, в кои-то веки

проявив интерес, что должно было бы его порадовать, только разогорчил его, не оставив ему ни малейших шансов разъяснить свою мысль.

«— Все объясняется,—проговорил дядя Тоби,— сменой наших идей.

Мой отец, который, подобно всякому философу, испытывал зуд рассуждать обо всем, что ни случается, а также давать всему объяснение, ожидал для себя величайшего удовольствия от беседы на тему о смене идей, нисколько не опасаясь, что она будет выхвачена у него из рук дядей Тоби, который (честнейшая душа!) обыкновенно все принимал так, как оно происходило, и меньше всего на свете утруждал свои мозги путанными мыслями. Идеи времени и пространства—или как мы доходим до этих идей—или из какого материала они образованы—родятся ли они с нами—или мы уже потом подбираем их по дороге—еще в платьицах—или когда уже надели штаны—вместе с тысячей других изысканий и пререканий о Бесконечности, Предвидении, Свободе, Необходимости и так далее, на безнадежных и непровержимых теориях которых свихнулось и погибло уже столько умных голов,—никогда не причиняли ни малейшего вреда голове дяди Тоби; отец мой это знал и был крайне поражен и раздосадован нечаянным решением вопроса моим дядей.

— А понимаешь ли ты теорию этого дела?—спросил отец.

— Ни капельки,—ответчал дядя.

— Но есть же у тебя какие-то идеи относительно того, что ты говоришь?—сказал отец.

— Не больше, чем у моей лошади,—ответчал дядя Тоби».

Об это веселое невежество разбиваются все попытки мистера Шенди что-нибудь объяснить. Тоби остался недоступен для каких-либо идей и только равнодушно недоумевал, пока его брат, себе на горе, не упомянул о «регулярной смене различных идей, которые следуют друг за другом, как...». Тут Тоби, чья мысль наконец пробудилась, готовый оседлать своего конька, перебивает: «Как пушки в артиллерийском обозе», за что ему тотчас и влетает. Большим препятствием для ораторских упражнений мистера Шенди является то, что Тоби все принимает буквально, и все, что слышит, соотносит со своим опытом, в основном военным, так что услышанное либо ему непонятно, и он кротко посвистывает да курит трубку, либо дает толчок его собственному ходу мыслей, коему он тотчас и следует. В книге есть памятная главка, в которой рассказано, как мистер Шенди в отчаянии бросился на кровать, узнав, что доктор Слуп раздавил Тристраму нос щипцами (длинные носы—одно из пристрастий мистера

Шенди, в чем читатель убеждается себе на горе),—а потом имеет несчастье, обращаясь к Тоби, выразить это отчаяние метафорически.

«— Доставалось ли когда-нибудь, братец Тоби,—воскликнул отец, приподнявшись на локте и перевертываясь на другой бок, лицом к дяде Тоби, который по-прежнему сидел в старом, обитом бахромой кресле, опершись подбородком на костыль,—доставалось ли когда-нибудь несчастливцу, братец Тоби,—воскликнул отец,—столько ударов?—Больше всего ударов, насколько мне приходилось видеть,—проговорил дядя Тоби (дергая колокольчик у изголовья кровати, чтобы вызвать Трима),—досталось одному гренадеру, кажется из полка Макэя.

Всади дядя Тоби ему пулю в сердце, и тогда отец не так внезапно повалился бы носом в одеяло.

— Боже мой!—воскликнул дядя Тоби».

Во всей книге нет, кажется, ничего очаровательнее следующих за этим глав, где появляется Трим и рассказывает историю своего брата Тома, которого пытали на дыбе всего лишь за то, что он женился на вдове еврея, торговавшей колбасой; и дядя Тоби награждает своего капрала пенсией за долгую службу и за доброту; а мистер Шенди, приняв сократическую позу, сжимая двумя пальцами одной руки указательный палец другой, разглагольствует о Человеке и Судьбе, в то время как Тоби сидит в своем старом кресле, обитом бахромой с двухцветными шерстяными помпончиками, а затем эти два милейших человека спускаются по лестнице, обсуждая имя Трисмегист, и Тоби нечаянно ударяет мистера Шенди костылем под коленку, а тот забывает о боли на радостях, что так удачно сумел ему возразить; спустившись же с лестницы, они как раз успевают спросить у Сюзанны, как себя чувствует ее хозяйка, и обоим от нее влетает, и оба качают головами, причем женатый ворчит, что, когда хозяйка рожает, все женщины в доме задирают нос, точно стали на дюйм выше ростом, а холостяк возражает: «Это мы становимся на дюйм ниже. Стоит мне встретить беременную женщину, как я это чувствую». Таким образом, скепсис и нескончаемое умственное тщеславие первого и наивная вера второго касательно таинств рождения, секса и смерти звучат вперебивку, и они, забыв о своих разногласиях, в такт покачивают головами.

Никто не удивляется, узнав, что многие из умственных вывертов мистера Шенди позаимствованы Стерном у Бэртона и других старых авторов. Мистер Шенди был вполне способен и сам поживиться за чужой счет. Гораздо труднее осознать, что целый ряд самых характерных высказываний дяди Тоби—тоже плагиат. Так, когда мистер Шенди изматывает себя и брата рассуждениями о различных толкованиях,

предложенных миру учеными мужами касательно причин появления коротких и длинных носов, и Тоби отвечает: «Есть только одна причина, почему у одного человека нос длиннее, чем у другого: так угодно богу»,—он не только передает мысль Грангузье, как указывает мистер Шенди, но дословно его цитирует. А между тем до того убедительно характеризует Стерн своих персонажей, что нам кажется: все эти изречения принадлежат самому Тоби, и звучат они в его устах так же естественно, как слова «доброе утро», с которыми мы обращаемся друг к другу за завтраком. Все, что он говорит и делает, свойственно именно ему, и никому другому; стоит нам встретиться с ним раз или два, и уже никакой плагиат не заставит потускнеть его яркую индивидуальность. Мистер Шенди—не менее искусно написанный портрет, но подан по-другому и не столь прочно завладевает нашим воображением; мы знаем, как он мыслит и как говорит, но в остальном фигура его немного расплывчата и не так легко вспоминается. Тоби осязаем и реален, как гора. В любую минуту мы можем его увидеть—вон он, в своем поношенном мундире и при костыле, безмятежно покуривает трубку у камина. Хотя говорит он в книге намного меньше, чем мистер Шенди, мы знаем о нем больше: мы знаем, что он был ранен во время осады Намюра, что вышел в отставку и поселился с капралом Тримом в своем домике поблизости от Шенди-Холла; знаем, как он впервые оседлал своего конька—увлекся фортификациями и осадными, и куда это увлечение завело его. Он представлен более конкретно и на более широком фоне, поэтому и кажется нам почти с самого начала более знакомой фигурой. Как мы уже видели, он—простодушнейший из смертных, и сделай он еще шаг по пути простодушия, рисковал бы свалиться в идиотизм. Спасает его от этого мужество и вера. Он изведал много страшного, он стоял под огнем, когда его брат, столь смелый в своих теориях, склонялся над грессбухами, но его наивная вера в бога и в людей ни разу не поколебалась, а теперь, когда он на покое, когда он изведал самое худшее и оставил его позади, эта вера никогда уже и не будет поколеблена. Чтобы до конца оценить его, нужно знать его прошлое и помнить, что в свое время он проявил такое же мужество перед лицом неприятеля, какое его брат со своими диковинными теориями проявляет перед лицом здравого смысла и контраргументов других теоретиков. Стерн знал, что делает, когда изобразил мистера Шенди отставным купцом и столь же безошибочно изобразил этого простодушного, доброго, щедрого, по-детски наивного дядю Тоби отставным армейским офицером. Армия подарила гражданскому миру множество таких дядей Тоби (не обязательно чудаков)—людей, которые насмотрелись кровавых ужасов, но остались невинны, как младенцы. Оно не так уж и удивительно. Жизнь у солдата

спокойная, в некоторых отношениях спокойней, чем у иной незамужней женщины, одиноко существующей на каком-нибудь тихом курорте. Солдатская жизнь отгораживает мужчину от всевозможных проблем и соблазнов, избавляет от многих ловушек, закрывает перед ним много дорог к бесчестию; а взамен требует всего лишь соблюдения нескольких несложных нравственных правил. Требует повиновения и храбрости, воспитывает дух товарищества, не дает мальчику повзрослеть и удерживает его от многих подлостей. Солдат—это часто ребенок, повидавший самое худшее, что может показать жизнь, и все же оставшийся ребенком; и, думается мне, именно благодаря этому своеобразному сочетанию силы, мужества и детской наивности солдат неотразим как мужчина—для нормальной женщины никакое иное сочетание достоинств не может быть столь привлекательно.

Стерн недаром провел свои детские годы в скитаниях из лагеря в лагерь; он знал, о ком пишет. И Тоби и капрал Трим, хотя тот и другой четко индивидуализированы,—типичные отставные солдаты. У них мало идей и очень ограниченный круг интересов, но полным-полно воспоминаний. А поскольку они служили в одной и той же роте, запас воспоминаний у них общий, и Трим служит Тоби не только как камердинер, стремянный, цирюльник, повар, портной и нянька, он еще служит ему как память, к которой Тоби может обратиться, когда в чем-нибудь не уверен.

«— Это ведь у Макэя в полку,—сказал мой дядя,—несчастливого гренадера немилосердно выпороли тогда в Брюгге из-за дукатов?—Господи Иисусе, он был не виноват!—воскликнул Трим с глубоким вздохом.—А заporоли его, не во гнев будь сказано вашей милости, чуть не до смерти. Лучше бы им сразу его расстрелять, как он просил, тогда бы он отправился прямехонько в рай, ведь он был не больше виноват, чем ваша милость.—Благодарю тебя, Трим,—сказал мой дядя Тоби».

Литература кишмя кишит старыми солдатами, но второго такого, как этот Трим, не найти. В нем есть все—педантизм и нравоучительность, пристрастие к ненужным деталям, когда он что-нибудь рассказывает, смесь угодливости и нахальства, под которой кроется подлинная, горячая преданность, словом—все свойства, присущие этому типу. Он всегда тут как тут и, несмотря на кажущуюся почтительность, на все эти «не во гнев будь сказано» и «с вашего позволения», вечно вмешивается в разговор; а воспринимает он все еще более буквально, чем его хозяин, поэтому его непрощенные реплики порой приводят к самым нелепым результатам. Это он, когда мистер Шенди толковал о преподавании грамматики, и в частности об употреблении вспомогательных глаголов, заметил: «Датчане, не во гнев будь сказано вашей

милости, во время осады Лимерика стояли на левом фланге, так они все были вспомогательные». Но малый он очень полезный, и кое-какие вольности ему охотно прощаешь; ведь он умеет все — и набрать материала для игрушечной осады, и спланировать кампанию для завоевания сердца вдовы. Ими залюбуешься, когда они вместе, эти два воина, закаленные в боях, господин и слуга. Один без другого пропал бы. Сталкиваясь, их воспоминания высекают друг из друга огонь:

«— Что касается меня, Трим, то, хотя я не вижу почти никакой разницы, будет ли мой племянник называться Тристрамом или Трисмегистом — все-таки, поскольку брат мой принимает случившееся так близко к сердцу, Трим, — я бы охотно дал сто фунтов, лишь бы этого не случилось. — Сто фунтов, ваша милость! — воскликнул Трим. — А я бы не дал и вишневой косточки. — Не дал бы и я, Трим, если б это дело касалось меня, — сказал дядя Тоби, — но мой брат, с которым тут спорить невозможно, утверждает, будто от имен, которые даются при крещении, зависит гораздо больше, чем воображают люди невежественные, — от самого сотворения мира, — говорит он, — никогда не было совершенно ничего великого или геройского человеком, носящим имя Тристрам; он даже утверждает, Трим, что с таким именем нельзя быть ни ученым, ни мудрым, ни храбрым. — Все это выдумки, с позволения вашей милости, — возразил капрал, — когда полк называл меня Тримом, я дрался ничуть не хуже, чем когда меня называли Джеймсом Батлером. — И про себя скажу, — проговорил дядя Тоби, — хоть мне и совестно хвастаться, Трим, а все-таки, называйся я даже Александром, я и то исполнил бы под Намюром только мой долг. — Сущая правда, ваша милость! — воскликнул Трим, выходя на три шага вперед. — Разве человек думает о своем имени, когда идет в атаку? — Или когда стоит в траншее, Трим? — воскликнул дядя Тоби с решительным видом. — Или когда бросается в брешь? — сказал Трим, продвигаясь между двумя стульями. — Или врывается в неприятельские ряды? — воскликнул дядя, вставая с места и выставя вперед свой костыль, как пику. — Или перед взводом солдат? — воскликнул Трим, держа наизготовку свою палку, как ружье. — Или когда он взбирается на гласис? — воскликнул дядя Тоби, разгорячившись и ставя ногу на табурет...»

Тоби наивно гордится талантами Трима («Он может прочесть ее не хуже меня, — сказал мой дядя. — Уверю вас, лучшего грамотея не было во всей моей роте, его бы первым произвели в сержанты, только вот не повезло бедняге») и всегда готов показать его публике, что Трим и сам очень

любит, идет ли речь о том, чтобы прочесть вслух текст проповеди, или ответить по катехизису, или показать ружейные приемы. Трим и его хозяин, действуя заодно, лучше всего проявляют себя в истории с Лефевром, и один вид этих двух старых простаков, когда они хлопчут о том, как получше обстряпать доброе дело, хотя спасти жизнь их собрату по оружию уже невозможно, действует на читателя как бальзам.

Тоби принадлежит к группе персонажей, которые, строго говоря, отличаются от обычных комических образов; это прелестные люди, они завоевывают наши сердца, как малые дети, и своими шалостями и невинными забавами вызывают точно такую же снисходительную улыбку. Очень возможно, что в любом комическом образе, если это не просто шарж, есть что-то детское. Даже в Фальстафе, хотя он, по чести говоря, далеко не праведник, где-то скрыт ребенок, жадный до новых ощущений, громко требующий к себе внимания,— беспечный, неисправимый, очаровательный ребенок, и этому-то ребенку мы готовы потакать, ради него прощаем старого греховодника, в чьем сердце он до сих пор живет, прощаем так часто и так легко. Но дядя Тоби (как и все те действующие лица, которые, вероятно, были созданы под его влиянием)—ребенок в первую очередь. Мы все время видим, как он гарцует на своем коньке. Стерн так старательно обыгрывает этого конька, что Тоби уже почти невозможно себе представить вне осад и фортификаций. Автор, не скупясь на подробности, рассказал нам, как все это началось, когда Тоби после ранения еще лежал в постели и как, благодаря неоценимой помощи Трима, из интересного чтения постепенно возникла захватывающая игра. Если какому-нибудь незадачливому читателю не довелось узнать, в чем состоял конек дяди Тоби, здесь ему придется удовлетвориться самым кратким описанием. Тоби и Трим доставали план любого укрепленного города, который осаждал Мальборо и союзники, увеличивали его в масштабе, соответствующем размерам лужайки, а затем с помощью бечевки и вбитых в землю колышков переносили нужные линии с бумаги на местность. Затем Тоби определял «глубину и скосы рвов, покатость гласиса и точную высоту banquetов, брустверов и проч.» и поручал Триму возводить эти миниатюрные укрепления. А когда это было исполнено, наши два энтузиаста, согласуясь с последними известиями с театра военных действий, подвергали город осаде и методично проводили ее шаг за шагом по примеру союзников. Какие поразительные уловки и приспособления, включая пару искромсанных ботфортов и две турецкие трубки, потребовались для того, чтобы лужайка мало-помалу приобрела все большее сходство с полем сражения,— об этом мы умолчим за недостатком места, пусть читатель дознается до этого сам, труд его



окупится. Достаточно сказать, что и слуга и хозяин с головой ушли в это необычное времяпрепровождение; что они готовы загубить любой предмет (включая оконный шнур с гирями в доме мистера Шенди, в чем Тристрам убедился на горьком опыте, когда рама с грохотом захлопнулась в самый неподходящий момент), если он может пригодиться осаждающим войскам; что мысли их почти неотрывно прикованы к фортификационным работам. Свет еще не видел таких энтузиастов.

Стало уже привычным, что комический литературный персонаж — это жертва какой-нибудь всепоглощающей страсти, человек одной идеи, игрушечный чертик в коробке, выскакивающий, только когда нажмешь пружинку, человек, существующий где-то на полпути от разума к абсурду, достаточно сумасшедший, но и достаточно нормальный для того, чтобы стать мишенью для смеха. Чем смешнее поглощающая его страсть, тем смешнее он сам. Такие персонажи с их любимыми словечками и характерными жестами, слишком неразумные, чтобы принимать их всерьез, и недостаточно сумасшедшие, чтобы вызывать жалость или страх, всегда хранятся в запаснике у юмориста, всегда под рукой, когда по ходу дела требуется комическая разрядка. Они не домогаются нашей симпатии и не заслуживают ее; они только исполняют свой номер и получают свою порцию презрительного смеха, после чего их выпроваживают со сцены и за пределы нашего воображения. В лучшем случае они — принадлежность сатирической литературы. Но дядя Тоби, хотя он, как никто другой, одержим всепоглощающей страстью, очень далек от людей такого типа. Стерн понимал, что персонаж, которого он создал симпатичным, остается таковым, даже если увлечен какой-нибудь несусветной ерундой, но к его увлеченности следует добавить и что-то еще. Раз мы ему симпатизируем, а может быть, питаем к нему и более теплое чувство, мы можем радоваться его радостям, нам перепадает что-то от его волнений и восторгов, мы уже не просто наблюдаем со стороны, как он валяет дурака, потому что он нас самих понемножку превращает в дураков, в таких же счастливых дураков, как он сам. Мы все еще смотрим на него немного со стороны, все еще посмеиваемся над ним, над его коньком и навязчивой идеей, но в нашей веселости пробивается что-то сочувственное, дружелюбное, теплое. Как счастливые любовники или друзья всегда подтрунивают друг над другом, потому что обнаруживают друг в друге и наивность и ребячливость, точно так же и мы обнаруживаем в нашем комическом персонаже ребенка и, глядя, как он гарцует на своем коньке, словно глядим на ребенка, занятого веселой игрой. Дай ему бог здоровья, пусть тешится своими осадами и фортификациями! Ни в одном романе или пьесе каждый (включая автора) не выступает так отчетливо «в

своим нравом», как в «Тристраме Шенди», и все же мы очень и очень далеки от Джонсона и современных ему моралистов-сатириков. Стерн позаботился о том, чтобы дядя Тоби получился прежде всего симпатичным, а уж потом чудаковатым, так что за каждым его движением мы следим с интересом и сочувствием. Когда Трим, к великой радости Тоби, додумался до того, что из лужайки выйдет отличная декорация для игрушечной войны или что пара ботфортов, если срезать у них раструбы, вполне сгодится вместо осадных мортир, мы тоже, хоть и смеемся над этими великовозрастными детьми, в глубине души радуемся и охотно подкинули бы полкроны к Тримовой гинее, если б только могли дотянуться до руки изобретательного Трима. Радость энтузиаста заразительна, и ничто так не радует сердца, как лицезрение столь редких в литературе наших дней невинных забав, прыжков и кувырков, бесполовых выходов и неожиданных триумфов этого беспечного ребенка, которого не в силах убить ни время, ни все ужасы и жестокости жизни. По счастью (хотя у Стерна это, возможно, не счастливая случайность, а тонкий расчет), в самом занятии Тоби есть что-то детское, ибо что это, как не разгул фантазии, не попытка скопировать в крошечном масштабе нечто очень далекое от игры, огромное и страшное! Что это, как не игра в те же оловянные солдатики, только более взрослая и изобретательная! Интересно и то, что во всей книге дядя Тоби, по воле автора, оказался самым (если не единственным) целомудренным из действующих лиц. Будучи Стерном, Стерн, конечно, не мог отказать себе в удовольствии использовать это целомудрие как трамплин для множества скользких намеков; и все же он поступил правильно и со своей, и с нашей точки зрения, наделив Тоби целомудрием (чем больше мы вчитываемся в этого «скучного» писателя, как весьма неудачно назвал его Голдсмит, тем больше поражаемся его бесконечной изощренности), хотя бы уже потому, что капитану Тоби Шенди, будь он многоопытен и любопытен в любовных делах, нелегко было бы укорениться в нашем воображении на роли большого симпатичного ребенка. Вся прелесть облетела бы с него, как цвет яблони, и Тоби, лишенный этой детской невинной прелести, не мог бы с успехом провести осаду стольких сердец и так долго противостоять подкопам, минам и штурмам Времени.

Для пользы рядового читателя, а не специалиста, изучающего литературные курьезы, ни один роман первого и даже второго ряда так не нуждается в значительных сокращениях (не морального порядка), как этот «Тристрам Шенди». Непристойности, встречающиеся в повествовании, могут показаться скучноватыми, особенно потому, что их успех зависит не от способности читателя честно признать факты нашей физиологии, а оттого, как их воспримет читатель

(чаще — читательницы), чья показная стыдливость окажется и шокированной, и заинтригованной; но не эти непристойности грозят лишить книгу интереса для широкой публики, а следовательно, требуют изъятия. Бесконечные второстепенные эпизоды, утомительные отступления, псевдоученость, которые отрывают нас от общения с семейством Шенди и ничего или почти ничего не дают нам взамен,— вот что нужно без всякой жалости выкорчевать из любого издания, предназначенного для рядового читателя. Эти никчемные главы затрудняют продвижение по страницам романа и, если только читатель не наделен исключительной силой воображения и терпением, мешают ему оценить семейство Шенди, в особенности его групповые черты, в соответствии с намерением автора. Как групповой портрет семейство это задумано и представлено на удивление тактично. Здесь достигнуто полное равновесие между сатирой и чувствительностью. Мы уже отмечали, что все Шенди, как позволительно их назвать, интеллектуально разобщены. У них происходят разговоры, каждый участник которых не понимает, да и не имеет ни малейшего желания понять, о чем говорят остальные; каждый гнет свою линию и держит на запоре все окна и двери, чтобы в сознание его, боже сохрани, не проникло что-нибудь извне. Такое полное отсутствие интеллектуального согласия и понимания, такая рабская приверженность каждого к жестко ограниченному набору идей, такая железная решимость отвергать любую мысль, если она выражена в неприглядной форме,— все это убийственно для философии, науки и просто нормального общения и вызывает жуткое представление о человечестве как о наборе марионеток, пляшущих на веревочках считанных инстинктов. Сатирик, человеконенавистник, мог бы разложить эти трагикомические фигурки по отдельным коробочкам и создать из них сцену или рассказ, который истрепал бы нервы доброму десятку поколений. А вот Стерн, показав нам это полное отсутствие интеллектуального контакта, восстанавливает равновесие, делая упор на том, что я бы назвал эмоциональным сродством своих героев. Пусть эти Шенди неспособны мыслить одинаково, зато они способны одинаково чувствовать. Любая невзгода бросает их, так сказать, в объятия друг другу и порождает богатый урожай слез, рукопожатий и умиленных похвал. Короче говоря, сердца у них золотые. Даже мы, привыкшие довольствоваться меньшим количеством слез и рукопожатий, растерялись бы, сообразив, какая, в сущности, нам предлагается удручающая сатира, если бы автор так упорно и так часто не подчеркивал это единство чувств, взаимное доверие и любовь, связывающие всех Шенди. Что же важнее — умы, которые в этой книге только и делают, что пререкаются, или сердца, которые там неизменно бьются в унисон? Ответом, пожалуй, может послужить то, что из Шенди-Холла мы

уносим с собой картину человеческого счастья и постепенно понимаем, что эти симпатичные чудачки, гарцующий философ, простодушный капитан и прочие, невзирая на их перепалки и завихрения, каким-то образом открыли для себя секрет счастливой жизни.

## ДВА УЭЛЛЕРА

В нашей литературе есть один любопытный период, и по сей день в должной мере не изученный критикой. Он начался примерно в двадцатые годы прошлого столетия и завершился где-то в сороковых; кратко его можно охарактеризовать как период некоего безудержного оптимизма или, если хотите, период, когда преобладало шумное и веселое умонастроение. Мир со всеми его обитателями тогда еще чувствовал себя в безопасности; для всего хватало и времени и досуга; прекрасное лицо земли еще не было обезображено, и чугунок, мчащая джентльменов в цилиндрах из Бирмингема в Лондон со скоростью целых двадцать миль в час, еще не изгнала с дорог почтовые кареты и не оставила без работы трактирщиков, еле ступающих под тяжестью подносов с дешевым спиртным; новые идеи, кроме разве что вызывавшего благопристойный интерес животного магнетизма или же френологии, появлялись не часто и не привлекали большого внимания, и Дарвин еще не поведал миру свою мрачную теорию происхождения видов, а мистер Арнольд еще не осчастливил нас своим пониманием культуры. Англия в большей мере, чем когда-либо, была островом, чуть ли не самостоятельным континентом, который не желал знаться с Европой и блаженствовал в разлитом море ромового пунша и доброго старого черного хереса из Ост-Индии; она осушала стакан за стаканом, поедала свои пудинги и сыры, культивировала свои чудачества и отпускала свои шуточки с таким провинциальным и почти что буколическим увлечением. Этот период породил литературу, отличную своим оптимизмом от всего написанного до и после; как раз в те дни появились Бархэм, Худ, Леввер, Сертис, Теодор Хук, Мэрриет, Пикок, Уоррен и Уокер со своим «Оригиналом» и сотня других; даже критика подчинилась господствующей тенденции, откуда и возник Кристофер Норт и его буйные «Ночи в таверне Эмброза». В бесчисленных томах, которые заправлялись спиртным, создавались эти господа, родился целый мир, отражавший представление о райской жизни, скажем, какого-нибудь драгунского капитана; мир, где скакали на лошадях, пили грог, ели устриц и жареные почки с перцем (что так гневно осуждал По, нападая на Левера), угощались макаронами и негусом, встречались в трактирах, рассказывали курьезные истории и устраивали всевозможные

розыгрыши; здесь толпились обходительные мошенники с пышными бакенбардами, разбитные горничные, придурковатые иностранцы (непреренно графы или бароны), хищные старые девы, красноносые и смешные, подагрические старички и флиртующие молодые люди. Трудно представить себе — в худших ее образцах — что-либо глупее этой литературы, читатели которой обречены были постоянно любоваться тупоумными вояками, лошадиными барышниками и разными франтами на их скучных дурацких пирушках, сознавая, что ни единая живая мысль, по-настоящему занятный характер или хотя бы остроумная фраза не вынырнут из этого тошнотворного потока разбавленного бренди. В лучших же своих образцах, даже при недостатке идей и частых просчетах вкуса, эта литература, исполненная мужественной веселости и дружелюбия, временами где-то соприкасалась с поэзией, ибо был в ней какой-то мальчишеский задор и веселая непосредственность, возносившие сей придуманный мир над переменчивым временем и превращавшие его в некую населенную усатыми драгунами Валгаллу, так что порой начинает казаться, будто все эти вояки, эти бесшабашные майоры и их плутоватые слуги, избавленные от каждодневных забот, донельзя прожорливые и разудалые и к тому же наделенные неослабной энергией, и в самом деле переодетые боги. Но весь этот материал должен был, подобно вину в бочке, как-то перебродить и облагородиться в душе гения, прежде чем стать настоящей литературой; и, к счастью для этой эпохи, чье умонастроение иначе так бы и осталось неведомым для потомства, внезапно появился молодой способный репортер, который получил в издательстве заказ на самую обычную литературную поденщину. В итоге, сами понимаете, родился «Пиквик».

Столь длинная преамбула понадобилась мне потому, что понять все достоинства и недостатки «Пиквика», одного из бесспорных шедевров нашей литературы и, вероятно, нашего вклада в литературу всемирную, можно, лишь рассмотрев его на фоне эпохи, его породившей. Ведь он есть не что иное, как обычная жизнерадостная повесть тридцатых годов, пересозданная и одухотворенная вмешательством гения, — ведь и «Гамлет» есть не что иное, как обыкновенная елизаветинская мелодрама, гениально пересозданная и одухотворенная. Притягательная сила «Пиквика» таится не в сюжете, не в забавных поворотах, коими он изобилует, и даже не в целом полчище смешных персонажей (сколь бы хороши они ни были сами по себе), но, как подсказывают предыдущие страницы, в самой атмосфере романа. Пожалуй, это не столько прозаическое произведение (каким, к примеру, является «Дэвид Копперфилд»), сколько своего рода поэма-эпопея, воспевающая дружелюбие, бодрость духа, пиры и веселье. Здесь возникает мир, озаренный своим особым

светом, живыми лучами юмора и общительности, что приближает его к нам и придает ему свойства одной из тех утопий, которыми издревле тешились воображение человека, его жаждащее утешения низменное начало и начало божественное, устремленное к мирозданию. Мистер Честертон, на достояние которого не грех покуситься, когда речь идет о Диккенсе, говорил то же самое: «Но еще до того, как он написал первый свой рассказ, ему явилось видение. Ему открылся диккенсовский мир—сеть белых известняковых дорог, карта, испещренная множеством причудливых городов, грохочущие дилижансы, многоголосые базарные площади, шумные постоялые дворы, чудаки и бахвалы. Это и был «Пиквик»».

Итак, если притягательная сила «Пиквика» таится скорее в его комической атмосфере, нежели в его персонажах (хоть их около сотни, и по большей части комических), то, естественно, напрашивается предположение, что фабула в нем менее важна, чем кажется поначалу. Извлеките какую-нибудь его причудливую фигуру из того мира, в котором она обитает, и с ней произойдет то же, что с маленькой рыбкой, только что сверкавшей серебром и золотом в зеленоватой воде: потеряв свою красоту и блеск, она лишь открывает рот и бьется у вас на ладони. Большинство комических персонажей «Пиквика», выхваченных из книги, мгновенно увядают и блекнут; мы уже не в состоянии понять, чем нас только что забавляли эти заводные игрушки, господа Потт, Лео Хантер и прочие; но стоит нам вернуть их на место, и они тут же вновь обретают свою самобытность.

Вопрос осложняется еще тем, что Диккенс зачастую менял свое отношение к иным из главных героев (слегка видоизменяя характер книги по мере того, как вживался в нее), так что на первых страницах мы видим одних людей, а на последних—других; мы как бы наблюдаем их в движении. Так, мистер Пиквик сперва кажется нам глуповатым и напыщенным старым ослом, который всего-навсего служит поводом для разного рода розыгрышей и шуток; но к моменту его благополучного водворения в Даличе он уже превращается для нас в почтенного старого джентльмена, глубокомысленного и весьма симпатичного, то есть становится совсем другим человеком. Подобные же перемены происходят и с господами Снодграссом и Уинклем, которые постепенно из фарсовых фигур превращаются в серьезных молодых людей, благородных и доблестных любовников. Впрочем, ни в первичном своем состоянии, ни в последующем оба они не так уж и комичны. Среди второстепенных персонажей—а причудливая их толпа на редкость велика в этой книге—любой читатель без труда может выбрать себе того, кто ему больше по вкусу. Так, должен признаться, я с юных лет питаю нежность (не разделенную почти никем из

моих друзей) к нашему старому знакомцу мистру Джинглю—не к тому жалкому раскаявшемуся грешнику, которого мы встречаем в конце книги, а к продувному малому, чья необычная рубленая речь звучит в наших ушах на протяжении многих начальных глав. Есть что-то неотразимое в том, как этот третьестепенный персонаж умудряется быть на переднем плане в каждой ситуации, возникая внезапно в совершенно неожиданных местах. Его появление в палатке во время матча крикетистов Дингли Делла с объединенным Магльтоном («Сюда—сюда—превосходная затея—море пива—огромные бочки; горы мяса—целые туши; горчица—возами; чудесный денек—присаживайтесь—будьте как дома—рад вас видеть—весьма!») является одной из лучших сцен романа, где так живо рассказывается о том, как человек этот, неизвестно откуда взявшись, тут же стал главным действующим лицом, а потом «...ел, пил и болтал без устали». Должен признаться, что каждое его последующее появление становится все менее интересным; и все же припоминаю, как сожалел я о том, что Диккенс не написал целой книги о приключениях этого забавного плута, и как его раскаяние в конце романа всегда раздражало меня: ведь это же все равно, как если бы пустилась каяться сорока!

Ну а до чего великолепны студенты-медики! Трудно найти что-нибудь смешнее описания вечеринки у Боба Сойера, во время которой внизу распаляется гневом миссис Редль, готовясь сыграть роль злого рока, неутомимый Джек Хопкинс рассказывает потрясающие истории из больничной практики, меж тем как жеманный джентльмен в прюнелевых ботинках силится вспомнить свой прославленный анекдот, а господи Нодди и Гантер, затеяв нелепую ссору, кричат друг другу «сэр!»; в финале злополучной пирушки Бен Аллен провожает пиквикистов до самого Лондонского моста, сообщая им о своем решении перерезать горло любому сопернику Боба Сойера, после чего раздражается слезами, нахлобучивает шляпу на глаза и, вознамерившись воротиться домой, принимается громко стучать в дверь конторы рынка Боро, временами задремывая на ступенях, и стучит так до рассвета в твердой уверенности, что он здесь живет.

В толпе второстепенных персонажей, которые то набегают, как волна, то уносятся, как ветер, по крайней мере один пользуется моей особой симпатией, и это тот «рыжий субъект внушительного вида, востроносый, обладающий привычкой загадочно выражаться и птичьей манерой вскидывать голову после каждой произнесенной фразы», а именно попутчик мистера Пиквика в его путешествии в Ипсвич, мистер Питер Магнус. Есть своеобразное обаяние в том, с каким живым интересом и изумлением относится мистер Магнус ко всему вокруг—словно он только что появился на свет. То обсто-

ительство, что оба они с мистером Пиквиком едут на крыше почтовой кареты в один и тот же город с намерением остановиться в одной и той же гостинице, переполняет его чувством восторга от возможности таких совпадений. Любую банальность он изрекает с огромным воодушевлением (он прямо заявляет: «Я не любитель оригинального. Мне оно не нравится, не вижу никакой необходимости в нем»). Все удовольствия (например, беседа с попутчиком) и все страхи (например, опасение потерять багаж) гиперболизируются в его уме. Уже собственное имя рождает у него восторг, и он радостно сообщает, что его инициалы совпадают со словами «post meridiem», так что «в спешных записках близким приятелям» он может просто подписываться — «Пополудни», что чрезвычайно всех забавляет. Трудно допустить, чтобы подобный человек, этакое рыжеволосое чудо в очках, мог когда-нибудь утратить равновесие духа. Приставая ко всем подряд не хуже болячки, он при этом никогда и нисколько не раздражается, предпочитая беспокоить других, но не беспокоиться самому. Но возможно, здесь есть и другое объяснение. Мистер Магнус едет в Ипсвич делать предложение одной особе — той самой леди средних лет в желтых папильотках, в чью спальню случайно забредает мистер Пиквик, поэтому не исключено, что перед нами просто по уши влюбленный мистер Магнус. Рыжие волосы, очки, пыливый нос и почтенный возраст не мешают человеку влюбиться, и вот мистер Магнус, несомый течением страсти в уже зримую гавань, не оставляет без внимания любую мелочь и склонен «все познать, всему вокруг дивиться», ибо вовсе он не пассажир, едущий в Ипсвич на крыше дилижанса, а Адам, обитающий в раю, где на траве еще не просохла первая утренняя роса. Счастливец мистер Магнус, он тоже мог бы стать героем целого романа!

Но не он, а два его спутника по этому путешествию должны послужить темой нашего очерка — ведь только они предстают перед нами в полный рост. И конечно же, это два Уэллера: тучный кучер, только что с должной солидностью высказавший свое философское суждение о жизни сторожей на заставах, и его сын, щеголеватый молодой камердинер, сидящий позади него, который уже успел подкрепить одно из гениальных открытий мистера Магнуса фразой такого рода: «Это я называю истиной, не требующей доказательств, как заметил продавец собачьего корма, когда служанка сказала ему, что он не джентльмен». Эти-то два философа, столь же типично английские, как говядина с портером, коим всегда найдется место у них в желудке, без сомнения, являются двумя великими представителями нашей комической эпопеи сельской жизни. Они принадлежат своему времени — таких диковинных манер и такой речи теперь не сыскать, — но одновременно они принадлежат и всем временам, и, разуме-



ется, всей английской истории, ибо они есть английский народ, все, кто прошли по дорогам Англии, от первых кентерберийских паломников до сегодняшних клерков, собирающихся на свой ежегодный обед. Они вдвоем олицетворяют собой весь английский народ, точнее, наше простонародье, но каждый из них представляет собой свою особую социальную группу. Старый Тони Уэллер, в общем-то, сельский житель, ну а Сэм уже горожанин. У них много общего — сказывается наследственность; в обоих заложено что-то уэллеровское, ими, несомненно, ощущаемое (так, в обоих начинает говорить фамильная гордость всякий раз, как они чувствуют себя одураченными); и при всем этом семейном сходстве они все же заметно отличаются друг от друга по характеру и представляют собой два абсолютно разных типа существования. Уэллер-старший, толстый, румяный, хриплоголосый и пестро одетый, олицетворяет собой некий прежний жизненный устав: в самом складе его ума есть что-то исконное и патриархальное, а его несколько туманный оракульский слог напоминает подлинно народную речь; он не острый и не зубоскал, подобно своему сыну, а «яркая личность», один их тех непостижимых шутников и пророков из сельской пивной, в ком так нерасторжимо смешаны простота и замысловатость, кто порой нам кажется редкостным дураком, а порой — редкостным мудрецом, кого просто уразуметь и понять, но кем можно просто наслаждаться, как стихотворением или солнечным закатом. Можно сказать, что Уэллер-старший — это Добрая Старая Англия. Сэм является собой более современную форму существования английского народа; по сути дела, он продукт нескончаемых улиц больших городов, и в особенности самого большого из них — Лондона, с его невиданной терпимостью и добродушием и беспредельной иронией, Лондона, где, как на оселке, непрерывно оттачивается остроумие его неимущих обитателей.

Хотя Сэм, вероятно, родился в деревне, основную часть своей жизни он провел в Лондоне; и пусть он даже появился на свет не в Сити, душой он, конечно, настоящий лондонец, ибо, пожалуй, в нем, как ни в ком другом, воплотились черты подлинного кокни. Он прошел хорошую школу жизни. «А как вышвырнуло меня вверх тормашками в мир поиграть в чехарду с его напастями,— рассказывает он мистеру Пиквику,— поначалу я работал у разносчика, потом у ломовика, потом был рассыльным, потом коридорным. А теперь я — слуга джентльмена». Он спал под арками моста Ватерлоо и знает в городе все ночлежки, включая и «двухпенсовую веревку» — «дешевую ночлежку, по два пенса за койку». Родитель Сэма спешит сообщить мистеру Пиквику, что в свое время он порадел-таки о воспитании сына: «...я отпускал его одного бегать по улицам, когда он был малышом,

чтобы он сам выпутывался из беды. Это единственный способ сделать мальчика сметливым, сэръ». Сэм с успехом прошел через эти университеты. Его сведения о Лондоне, как мы узнаем, пространны и своеобразны. Когда мистеру Пиквику требуется узнать, где можно получить стакан грога (чтобы избавиться от неприятного привкуса Додсона и Фогга), Сэм, нимало не задумываясь, сообщает: «Второй поворот направо, предпоследний дом по той же стороне. Займите отделение у самого камина, там у столика нет средней ножки, а у других есть, и это очень удобно». (И как же нам повезло, что они выбрали именно эту таверну, ведь как раз здесь впервые появляется Уэллер-старший.) Столь же пространны и своеобразны сведения Сэма о жизни в целом. Впрочем, его беганье по улицам, его многочисленные и весьма разнообразные занятия, его знакомство с арками мостов и ночлежками лишь помогли ему отточить свой юмор; они сделали более холодным его ум, но не сердце; так возник новый для литературы образ, на что указывал мистер Честертон, а именно смысловый комедийный слуга, знающий жизнь куда лучше своего барина, но при этом отнюдь не подлец.

Приобретенный опыт породил у Сэма, как и у большинства истинных философов, циничное отношение к мелочам жизни — выборам и махинациям адвокатов, — однако у него уцелела вера в реальные ценности: еду и питье, путешествия и приключения, службу и любовь. Будучи настоящим кокни, он по большей части справедливо воспринимает происходящее как некое грандиозное зрелище, на которое умный человек может глядеть и посмеиваться да по временам кивать головой и подмигивать другим веселым философам. Лондон уже многие годы является величайшим из городов и, наверно, самой долговечной из всех великих столиц, которые краткий срок покичились перед миром живописностью своих башен и кружевом улиц, а затем по воле богов рассыпались в прах; и долговечнее прочих столиц он, наверно, оказался потому, что всегда превосходил их терпимостью. Душа Лондона была недоступна ожесточению; никогда добрая улыбка и легкая ирония не исчезали полностью вместе с солнечным лучом из лабиринта его темных улиц. Его неимущие обитатели, хоть и замурованы среди кирпичей и известки и как будто обречены лишь на серые будни и существование на грани нищеты, никогда не теряли вкуса к жизни, и им было достаточно нескольких часов досуга и двух-трех свободных шиллингов, чтобы снова очутиться в своем привольном сказочном мире. Дабы вполне понять, какой духовный и телесный вред способен принести современный город своим жителям, не стоит задерживаться в Лондоне, а лучше посетить какой-нибудь из мрачных провинциальных, как грибы растущих городов, где живут люди с бесцветными лицами, на вид абсолютно анемичные и подав-

ленные. А наш кокни, этот неумный зубоскал, прокладывающий себе дорогу сквозь толпы участников великого спектакля лондонской жизни и сознающий, что он находится в самом ее центре, по-прежнему шагает через этот мир—мир неиссякаемой иронии, устриц, портера и жареной рыбы, споров на деньги и драк, песен и плясок и каких-то чудаков, разглагольствующих в питейном доме, шагает через все это переплетение затейливых улиц, а вместе с ним мы осязательно приближаемся к самой сути той действительности, которую знал Диккенс, и того донельзя укрупненного мира, который он создал в своем воображении.

Сэм Уэллер—идеальный представитель всех кокни. Он знает, чего хочет, и до того самонадеян, что может позволить себе шутить и нахальничать с жизнью. Он готов ко всему—будь то выпивка, схватка или приключение. Насмешливость, столь свойственная лондонским беднякам, этим зрителям ошеломляющего спектакля контрастной лондонской жизни, невольно приобщающимся к иронической философии, и есть тот воздух, которым дышит Сэм Уэллер. Почти каждый день что-нибудь из происходящего на улицах Лондона вызывает в нашей памяти замечание Сэма, подобное его замечанию по поводу поведения итенсуиллских избирателей.

«—Сущая потеха, сэр,—ответал мистер Уэллер.— Наши собрались в «Городском гербе» и уже надорвали себе глотки.

— А!—сказал мистер Пиквик.— До такой степени они преданы своей партии?

— В жизни не видел такой преданности, сэр.

— Деятельные люди?—сказал мистер Пиквик.

— На редкость,—ответил Сэм.— Еще никогда не видел, чтобы люди столько ели и пили. Дивлюсь, как они не боятся лопнуть.

— Это излишняя доброта здешних помещиков,— заметил мистер Пиквик.

— Похоже на то,—коротко ответил Сэм».

Или вот еще его реплика Пиквику после того, как им довелось выслушать разглагольствования клерков у Додсона и Фогга о достоинствах «превосходного дельца».

«—Славные здесь люди,—сказал мистер Уэллер своему хозяину,—и нечего сказать, забавное у них понятие о развлечениях, сэр».

Или взять его светскую беседу с лакеем в Бате.

«—Давно ли вы в Бате, сэр?—осведомился напудренный лакей.—Я не имел удовольствия слышать о вас раньше.

— Я пока еще не произвел здесь особенной сенсации,—пояснил Сэм,—потому что я и другие модные жентльмены приехали только вчера вечером.

— Славное местечко, сэра,—сказал напудренный лакей.

— Похоже на то,—заметил Сэм.

— Хорошее общество, сэра,—продолжал лакей.— Лучшая прислуга, сэра.

— Я бы тоже так сказал,—отозвался Сэм.— Приветливые простые ребята, слова из них не вытянешь.

— О, совершенно верно, вот именно, сэра,—подтвердил напудренный лакей, истолковав замечание Сэма как величайший комплимент.— Вот именно. Вы это употребляете, сэра?—осведомился рослый лакей, извлекая маленькую табакерку с лисьей головой на крышке.

— Да, но чихаю,—ответил Сэм.

— Признаюсь, это нелегко, сэра,—согласился рослый лакей.— К этому нужно привыкать постепенно, сэра. Лучше всего практиковать на кофе. Я долго носил с собой кофе. Он очень напоминает рапé, сэра.

Резкий звонок поставил напудренного лакея перед постыдной необходимостью спрятать лисью голову в карман и поспешить со смиренной физиономией в «рабочий кабинет» мистера Бентама. Кстати, знал ли кто человека, который ничего не читает и ничего не пишет, но у которого не было бы маленькой задней комнаты, именуемой «рабочим кабинетом»?

— Вот ответ, сэра,—сказал напудренный лакей.— Боюсь, что он покажется вам обременительным по величине.

— Не стоит об этом говорить,—отозвался Сэм, беря письмо в самодельном конвертике.— Есть надежда, что мое истощенное тело как-нибудь выдержит.

— Надеюсь, мы еще встретимся, сэра,—сказал напудренный лакей, потирая руки и провожая Сэма до порога.

— Благодарю вас, сэра,—отозвался Сэм,—но не трудитесь, не утомляйтесь чрезмерно; вы очень любезны. Подумайте, как вы нужны обществу, и не допускайте, чтобы вам повредила непосильная работа. Ради ваших ближних берегите себя; вы только подумайте, что бы для нас значило вас потерять!

С этими трогательными словами Сэм Уэллер удалился.

— Это очень странный молодой человек,—сказал напудренный лакей, глядя вслед мистеру Уэллеру с выражением, явно говорившим, что он не может его раскусить».

Зато в нем отлично разобрались потомки.

Сэм шутник вдумчивый и сознательный—пожалуй, он

даже не шутник, а остроумец,—и вы вряд ли встретите у него какую-нибудь невзначай оброненную нелепицу. Его смешные рассказы, вроде, скажем, тех невообразимых повествований, коими он потчует своего доверчивого хозяина, кажутся мне наименее интересными, хотя было время, когда я просто упивался историей про пирожника с кошками, или другой—про грузного старого джентльмена с часами, или еще той, где говорится про меланхоличного джентльмена, который из принципа заказал на три шиллинга сдобных пышек, съел их, а потом пустил себе пулю в лоб; впрочем, вполне возможно, что в детстве я их так любил, что сумел высосать из каждой все питательное вещество юмора, так что остались только пустые косточки. Признаюсь и в большей ереси, а именно что я в отличие от многих поклонников «Пиквика» не питаю также особого пристрастия к шутивным сравнениям Сэма Уэллера и его образным иносказаниям. Часть из них, подобно шутке о солдате, приговоренном к плетям, превратилась в некий свод расхожих цитат, а две-три—и среди них, конечно, уже приводившаяся выше острота относительно продавца собачьего корма—являются настоящими перлами, которые бережно хранит наша память; и тем не менее львиная доля этих шуток, по-моему, не так уж смешна и довольно натужна. По-настоящему же Сэм Уэллер значителен той ролью, которая отведена ему в повествовании, а вовсе не в качестве автора забавных афоризмов. Пожалуй, самое лучшее из всего придуманного Диккенсом—это отношения между Сэмом и его барином, исполненные комизма и при этом глубоко правдивые и, пусть это звучит странно, символические; ибо если предположить, что Сэм Уэллер является достойным представителем простых англичан, то нетрудно вывести из этих отношений почти всю историю нашего народа. Ведь Сэм одновременно и отчаянно предан, и отчаянно непочтителен, словом, он по самой сути своей самобытен и независим, что вообще присуще его соотечественникам, и в особенности беднякам, обитающим в больших городах; впрочем, он, подобно им, откровенно чтит и поддерживает существующую аристократическую традицию, сразу узнавая настоящего «джентльмена». По мере того как движется повествование и мистер Пиквик из старого дурака незаметно превращается в тучного английского Дон Кихота в очках и гетрах, отношения между слугой и господином углубляются. По справедливому замечанию мистера Честертона, свойственное Сэму жизнерадостное знание жизни поставлено на службу еще более жизнерадостному незнанию жизни его хозяина; и вот неумный зубоскал с лондонских улиц отправляется в тюрьму, чтобы посвятить себя заботам об этом счастливом младенце, и ничто не может принудить его вернуться на волю.

Мистер Уэллер-старший, как уже говорилось, во многом

похож на сына, но при том, что ему отведена в записках меньшая роль, он, мне думается, куда смешнее. Он принадлежит другому миру и вместе со своим трактиром и каретой вызывает у нас в памяти образы сельской жизни, тогда как Сэм непременно заставляет нас вспоминать о лондонских улицах. Этот старый кучер исполнен какой-то особой деревенской степенности и важности, за которыми, однако, таится огромное чувство юмора. Он, подобно Сэму, философ, о чем тот не упускает случая нам сообщить.

«— Да вы философ, Сэм,—сказал мистер Пиквик.

— Должно быть, это у нас в роду, сэр,—ответил мистер Уэллер.—Мой отец очень налегает теперь на это занятие. Мачеха ругается, а он свистит. Она приходит в раж и ломает ему трубку, а он выходит и приносит другую. Она визжит во всю глотку и—в истерику, а он преспокойно курит, пока она не придет в себя. Это философия, сэр, не правда ли?»

Это вершина философии: перенесенная из сферы размышлений в сферу поступков и прошедшая там через суровые испытания, она выходит из них победительницей. Разумеется, в основе всей системы взглядов мистера Уэллера-старшего заложен страх перед вдовой. Как мы узнаем от Сэма еще при первой с ним встрече в «Белом олене», не случись крючкам из Докторс-Коммонс навязать старому Уэллеру лицензию на брак, когда он пришел туда после смерти первой жены, оставившей ему четыреста фунтов стерлингов, он бы уже второй раз не женился и мы были бы лишены возможности насладиться его умозаключениями, порожденными житейским опытом. Он, так сказать, философ-практик. Нам нетрудно уловить это уже из первых его речей, когда он, Сэм, и мистер Пиквик встречаются в таверне.

«— Ну, Сэмми,—сказал отец,—я тебя не видел два года, даже больше.

— Что и говорить, старина!—ответил сын.—Как мачеха?

— Я тебе вот что скажу, Сэмми,—начал мистер Уэллер-старший с большой торжественностью.—Не было на свете вдовы лучше этой моей второй суженой—славное было создание, Сэмми, а теперь скажу о ней одно: она была такая на редкость приятная вдова, и как жаль, что она изменила свое положение! Она не годится в жены, Сэмми.

— Не годится?—переспросил Уэллер-младший.

Мистер Уэллер-старший покачал головой и ответил со вздохом:

— Я проделал это на один раз больше, чем следовало, Сэмми, на один раз. Бери пример с твоего отца, мой мальчик, и всю жизнь остерегайся вдов, в особенности если они держат трактир.

Подав этот отеческий совет, весьма взволнованный, мистер Уэллер-старший набил трубку табаком из жестянки, которую носил в кармане, и, раскурив новую трубку от прежней, весьма энергически задымил».

Вскоре мы убеждаемся, что наш философствующий старый кучер способен превращать свои личные и частные горести в общечеловеческие проблемы. Так, он открыл верное средство от подагры.

«— Подагра, сэр,— отвечал мистер Уэллер,— это напасть, которая приключается от слишком покойной жизни со всеми удобствами. Если когда-нибудь вас скрутит подагра, сэр, тотчас женитесь на вдове, у которой голос очень зычный и которая умеет им пользоваться, и у вас подагры как не бывало. Чудесное лекарство, сэр. Я принимаю его регулярно и могу поручиться, что оно прогоняет всякую болезнь, которая происходит от слишком веселой жизни.

Открыв этот бесценный секрет, мистер Уэллер осушил второй стаканчик, подмигнул, глубоко вздохнул и медленно удалился».

Вся сила его здравомыслия воплотилась в его отношении к той разновидности евангелического христианства, которая пользуется особым покровительством миссис Уэллер и представляет собой некую смесь из чая, гренок, ананасного рома, фланелевых жилетов и душеспасительных носовых платков для негритянских младенцев. Характеристика, которую пастырь Стиггинс дает старому Уэллеру, называя его «сосудом гнева», в действительности является ему похвалой и признанием его недюжинного ума и супружеской выдержки. Не то чтобы старик не знал пределов своих возможностей, просто за всем этим стоит несомненная мудрость, о чем ясно свидетельствует его ответ Сэму, когда тот спрашивает его, почему он вообще позволяет мистеру Стиггинсу совать свой красный нос в «Маркиза Гренби».

«Мистер Уэллер устремил серьезный взгляд на сына и ответил:

— Потому что я женатый человек, Сэмивел, потому что я женатый человек. Когда ты женишься, Сэмивел, ты поймешь многое, что сейчас не понимаешь; но стоит ли столько мучиться, чтобы узнать так мало, как сказал приютский мальчик, дойдя до конца азбуки,— это дело вкуса. Я думаю, что не стоит».

Замечательный ответ! Он говорит нам куда больше, чем все книги, написанные на эту тему.

Тони Уэллер, как и его сын, располагает массой любопытных и необычайных сведений, которые порождают множество мудрых замечаний о жизни. Есть здесь, к примеру, высказывание о связи бедности со страстью к устрицам и маринованной лососине, страсти, возрастающей вместе с

нищетою, каковой предмет обсуждается на крыше кареты, едущей в Ипсвич, к немалой пользе мистера Пиквика, готового записывать все на свете. Есть здесь и другое высказывание — касательно сторожей на заставах, о которых мистер Уэллер-старший придерживается того мнения, что «все эти люди повстречались с каким-нибудь разочарованием в жизни... А потому они ушли от мира и заперлись в этих будках, чтобы жить в одиночестве и чтобы отомстить людям, заставляя их платить пошлину». Конечно, многие из его философских мыслей неизбежно должны казаться туманными какому-нибудь поверхностному читателю и требуют более глубокого исследования, чем мы можем себе позволить на страницах данного очерка. Когда они с Сэмми обсуждают его «валентинку», некоторые из высказанных им литературных суждений отличаются несомненной тонкостью, хотя нельзя не сожалеть о том, что столь зрелый мыслитель испытывает такое отвращение к поэзии.

«— Уж не стихи ли это? — перебил отец.

— Нет, нет, — ответил Сэм.

— Очень рад это слышать, — сказал мистер Уэллер. — Стихи — ненатуральная вещь. Никто не говорит стихами, разве что приходский сторож, когда является поздравить с рождеством, или уорреновская вакса да ролендовская помада, а не то какой-нибудь подозрительный малый. Никогда не опускайся до поэзии, мой мальчик!..»

Пожалуй, он прав, утверждая, что слово «одураченный» здесь уместнее, чем слово «одурманенный», хотя последнее «понежней будет»; и, пожалуй, многие строгие судьи присоединятся к его вопросу: «Что толку называть молодую женщину Венерой или ангелом?.. Ты можешь называть ее грифоном, или единорогом, или уж сразу королевским гербом, потому что, как всем известно, это коллекция диковинных зверей...» При том, что он человек более глубокомысленный и вдумчивый, чем его сын, он, судя по всему, заметно уступает ему в практических делах. Так, его совет мистеру Пиквику на суде «наплевать на репутацию и держаться за алиби» хоть и подан от души, но навряд ли может быть с пользой применен. Дальнейшие его планы по спасению мистера Пиквика из Флитской тюрьмы (бегство «в складной кровати» или в одежде старушки) пусть и очень изобретательны, однако скорее оригинальны, нежели пригодны для дела; то же касается и последней его затеи, измышленной им совместно с его приятелем-столяром и состоящей в том, чтобы вынести старого джентльмена в рояле, — что и говорить, весьма хитрый замысел!

«В нем нет никакой машины... Он там свободно поместится и в шляпе и в башмаках, а дышать будет через ножки, они внутри выдолблены. Нужно запа-



стись билетами в Америку. Американское правительство ни за что не выдаст его, когда узнает, что он при деньгах, Сэмми. Пусть хозяин живет там, пока не помрет миссис Бардл или пока не повесят Додсона и Фогга (мне кажется, Сэмми, что это случится раньше), а тогда пусть возвращается и пишет книгу про американцев. Это окупит все расходы с излишком, если он им хорошенько всыплет!»

Как раз в этих юридических делах и проявляется главная слабость мистера Уэллера-старшего. Те из нас, кто числит себя среди поклонников Тони Уэллера, человека и философа, не могут не сожалеть о его прискорбном восхищении мистером Соломоном Пеллом, этим «другом лорд-канцлера», и мы с грустью читаем, как наш старик, явившись в сопровождении целой толпы друзей-кучеров, с благоговейным восторгом созерцает процесс потребления этим стряпчим несметного множества порций рома на три пенса. Вторая слабость старого мистера Уэллера, касающаяся вдов, есть, по его собственному признанию, уже нечто совсем другое, поскольку вдовы—исключение из любого правила и одна вдова стоит по меньшей мере двадцати пяти обычных женщин; это, по его словам, «любовная слабость», ахиллесова пята, которая имелась не только у мистера Уэллера, но также и у прочих великих людей—героев и гигантов мысли, достаточно вспомнить Сократа с его Ксантиппой или Наполеона с его Жозефиной. Обстоятельство, породившее гибель империй, заставило и нашего кучера пережить временное унижение, но, хоть он и не сумел отыскать какое-нибудь спасительное средство для себя самого, он откроет его другим—для того он и стал философом.

У нас нет здесь места анализировать все смешные, а порой и трогательные эпизоды, в которых участвуют два Уэллера. В конце романа оба они находят себе пристанище—Сэм в доме мистера Пиквика в Даличе, а старый мистер Уэллер неподалеку от Шутерс-Хилл в придорожном трактире (где его, разумеется, тоже высоко почитают как оракула), в одной из тех гаваней домашнего тепла и уюта, в которые Диккенс любит помещать своих благородных героев, прежде чем навсегда с ними проститься. Мы улыбаемся при мысли о столь неожиданном завершении этой эпопеи в солидном и навевающим дрему викторианском интерьере; оказывается, герои изъездили все эти известняковые дороги Англии и прошли через все свои удивительные приключения лишь для того, чтобы в конце жизни спать в мягкой постели и угощаться сдобными пышками и крепкой мадерой в обществе семи скучных соседей, приглашенных на седло барашка. И все же таков был финал многих реальных эпопей—невероятных подвигов и актов мужества; и именно эта мечта о тепле, уюте и скучной благопристойности

заставляла множество людей рисковать жизнью в бурных морях или в окопах и годами поддерживала в них мужество под багровым враждебным небом. Стоит вспомнить, что позднее Диккенс попробовал воскресить своих любимых героев, однако попытка не увенчалась успехом: что-то было утеряно, ушла куда-то прежняя безоблачность; автору предстояло создать другие, столь же забавные и колоритные фигуры, но он никогда уже не смог воспроизвести атмосферу своего первого романа, которая родилась из навечно утраченного впоследствии настроения и, несомненно, была чем-то вроде майского утра английского юмора, когда Дух Комизма, еще юный и наивный, вдруг пустился резвиться, подобно школьнику, сбежавшему с уроков.

### МИСТЕР КОЛЛИНЗ

Джейн Остин только раз достигла поэтических высот, и случилось это, когда она, в ранний период своего творчества, создала мистера Коллинза. Для многих читателей, особенно тех, кто предпочитает ее поздние романы, мистер Коллинз всего лишь одна из фигур в целой галерее комических персонажей, таких, как мистер и миссис Беннет, сэр Уолтер Эллиот, миссис Харрис, мистер Вудхаус, мисс Бейтс; он занимает свое место в этой восхитительной компании, и больше сказать о нем как будто нечего. Но я всегда выделял его среди других персонажей, созданных Джейн, как образ более крупный, или, скажем так, наделенный, по воле автора, дополнительным измерением. Написанное позднее Джейн—более компактно, она крепче держала в руках вожжи и не могла бы создать его. Эту разницу можно пояснить двумя сравнениями. Так, сэр Уолтер Эллиот очень хорош, это статичный, но отлично написанный портрет (о нем хочется узнать и побольше), и то немногое, что он говорит, звучит изящно, с безошибочной интонацией спокойного самолюбования; но создан он без увлеченности; писательница не любит его (я, конечно, не хочу сказать, что она его не одобряет), не любит настолько, чтобы потакать ему. В романе «Доводы рассудка» он играет свою роль в развитии сюжета, и это все. О мистере Вудхаусе мы знаем гораздо больше; местами Джейн явно ему потакает, а то, как она говорит о нем, как описывает его мнительность, принадлежит к лучшим из ее комических пассажей; но сам он занимает очень уж скромное место в компании, населяющей Хайбери. После первого описания мы уже знаем, чего от него ждать, и получаем то, чего ждали, но не более; он—скорее стоячий пруд, а не бурный поток чудачеств. А вот мистер Коллинз—живой человек с первой же минуты нашего с ним знакомства, нет, еще до этой минуты: он весь

уже виден в письме, которое мистер Беннет читает вслух за завтраком, в письме, по поводу которого Элизабет замечает: «Он, наверно, какой-то чудак. Не пойму я его... слог у него очень уж напыщенный... И почему он просит прощения за свои наследственные права, как будто был бы и рад от них отказаться, но не может... Как вам кажется, сэр, он умный человек?» И мистер Беннет, сей великий знаток человеческой глупости, отвечает от имени нас всех: «Нет, милая, едва ли, скорее наоборот. Его письмо — такая смесь подхалимства и самомнения, что это может оказаться весьма интересным. Мне просто не терпится на него поглядеть». Нам всем не терпится на него поглядеть. С первого своего появления на сцене он — живой человек и таким остается. Хотя нам кажется, что мы заранее знаем, что он скажет и сделает, он всякий раз преподносит нам больше того, что мы ждали, как то всегда бывает с неумными людьми в действительной жизни; мы знаем, в каком духе он выскажется, но сказать то же самое за него не в силах (с комическими персонажами калибром помельче это было бы вполне возможно), ибо глупость его всякий раз хоть не намного, да обгоняет наше воображение. Таким образом, он, как заметил где-то мистер Сейнтсбери, «персонаж самой высокой, самой шекспировской комедии». И как обладатель столь знатной родословной, он существует не просто для развития сюжета (хотя и участвует в нем) и не просто занимает свое место в определенной группе, но ведет самостоятельное существование и заставляет автора снова и снова потакать ему, точно так, как Фальстаф в одной сцене за другой шантажировал Шекспира.

Лишь после того как мистер Коллинз провел у Беннетов целый вечер, мисс Остин описывает его со стороны. Таким образом, мы успеваем увидеть его своими глазами, а мистер Коллинз успевает показать себя во всей красе, без каких-либо авторских намеков или подсказок. Описание же — это первый абзац главы 15, и тут следует отметить, что мисс Остин дает его не в юмористических тонах, а сухо и деловито, словно описывает какое-то малопривлекательное насекомое. Она даже прямо говорит, что, выпустив его на сцену, предоставляет читателям самим забавляться на его счет:

«Мистер Коллинз не был умным человеком, и то, чего не додала ему Природа, лишь в малой мере возмещалось образованием и общением; проведя большую часть своей жизни под надзором полуграмотного и прижимистого отца, он, хоть и учился в университете, лишь проходил там положенные курсы, но не завел никаких полезных знакомств. Воспитание самодура-отца приучило его к раболепию, но теперь оно отчасти умерялось важностью, свойственной недалеким людям, ведущим уединенную жизнь, а также порожденной неожиданным и рано доставшимся ему благосостоянием».

ем. По счастливой случайности его рекомендовали леди Кэтрин де Бёр как раз в то время, когда место приходского священника в Хансфорде оказалось свободным; и почтение, которое он испытывал к ее высокому званию, преклонение перед ней как своей покровительницей в сочетании с наилучшим мнением о себе самом, о своем авторитете в качестве служителя церкви и своих правах в качестве главы прихода превратили его характер в своеобразную смесь из высокомерия и низкопоклонства, самодовольства и смирения».

Совершенно очевидно, что тут имеется отличный материал для остросатирического портрета попа-лилоблюда восемнадцатого века, фигуры знакомой и легко вызывающей чувства презрения и гадливости, не без примеси веселья; но к крупной комической фигуре такое презрительно-гадливое отношение просто невысказано, иначе это уже не была бы крупная комическая фигура. На поверхностный взгляд все комические литературные персонажи, разумеется, достойны презрения, и умные литературоведы, стараясь опровергнуть такой взгляд, порой впадали в другую крайность и без меры превозносили привлекательные черты некоторых знаменитых комических героев; и все же эти, вторые критики гораздо ближе к истине, ибо всякий комический персонаж, даже второго ряда, есть нечто большее, нежели сатирический портрет или набросок, и призван вызывать нечто большее, нежели чувство гадливости, а то и откровенного презрения. Чтобы стать произведением искусства, он должен всеми правдами и неправдами выдать нам вексель на наше сочувствие, по которому мы готовы платить, хотя подчас и не сознаем, что платим. Если бы задать этот вопрос самой мисс Остин, она при всей своей прозорливости, вероятно, ответила бы, что ставила себе задачу чисто сатирическую; как дочь священника, она не одобряла принятую в то время систему зависимости сельского духовенства от покровительства землевладельцев и презирала подхалимов, поддерживавших эту систему, а потому и решила написать карикатуру на этот тип в лице мистера Коллинза. Хотя писать его, несомненно, доставляло ей удовольствие, думаю, что мы сейчас испытываем еще большее удовольствие, читая о нем. Ей он был слишком близко знаком, слишком тесно связан в ее сознании с другими, более серьезными проблемами. У всех разумных персонажей «Гордости и предубеждения» мистер Коллинз вызывает либо скуку, либо досаду. Элизабет Беннет очень скоро почувствовала, что он невыносим,—это даже удивительно, если принять во внимание безусловно присущее ей чувство юмора; она избегает его общества даже тогда, когда опасность повторного предложения руки и сердца для нее миновала (а опасность была упоительная, нам, во всяком

случае, так представляется на расстоянии). Правда, она едет погостить в Хансфорд, но лишь для того, чтобы переменить обстановку и не обидеть свою подругу Шарлотту, ставшую к тому времени миссис Коллинз. «Разлука,—объясняет нам автор,—усилила ее желание снова повидать Шарлотту и ослабила ее отвращение к мистеру Коллинзу». Ее отец, как мы помним, надеялся, что мистер Коллинз окажется законченным болваном, и не ошибся. Ему на долю выпал хотя бы один чудесный день и вечер, когда «он слушал его (мистера Коллинза) с величайшим наслаждением, сохраняя, однако же, на лице выражение полнейшего хладнокровия...», и можно не сомневаться, что нижеследующий диалог запал мистеру Беннету в память как одна из лучших минут его жизни. Говорит мистер Коллинз:

«В беседах с леди Кэтрин я не раз позволял себе заметить, что ее очаровательная дочь словно рождена быть герцогиней и что не это высокое звание придало бы ей веса, а она сама послужила бы ему украшением... Такие пустячки доставляют удовольствие ее светлости, и такого рода знаки внимания я почитаю своим долгом ей оказывать...

— Вы рассуждаете весьма здраво,—сказал мистер Беннет,—и ваше счастье, что вы обладаете талантом льстить достаточно тонко. Осмелюсь спросить, подказаны ли бывают эти знаки внимания вдохновением или же они суть результат предварительной подготовки?

— Обычно они имеют отношение к тому, что происходит во время нашей беседы, и хотя я, забавы ради, сочиняю порой такие безделки впрок, я всегда стараюсь о том, чтобы звучали они как экспромты».

Не это ли предел мечтаний для джентльмена, издавна занятого коллекционированием нелепостей? Однако уже на следующее утро мистер Беннет только о том и мечтает, как бы избавиться от своего молодого родича, и ни разу больше не выражает желания узнать что-нибудь новенькое о леди Кэтрин и ее поместье. Подобно нам, он был бы готов **читать** про мистера Коллинза без конца, но общаться с ним и выслушивать его благоглупости—это другое дело. Это быстро надоело ему, как надоело бы и нам. В том отчасти и заключается сила искусства, что оно может прсобразить самого скучного человека в прелестного литературного героя.

Джейн Остин предлагает нашему вниманию множество снобов, и мистер Коллинз, разумеется, входит в их число. Но он стоит особняком, потому что он—не обычный сноб. То, что мы именуем снобизмом, для него стало страстью, а в угодливости и подхалимстве он видит высокую поэзию. Одно из определений сноба—это «человек, который низменно восхищается низменными вещами», но если принять это

определение, то мистер Коллинз под него не подпадает, ибо хотя он и восхищается низменным (а именно леди де Бёр и собственной жалкой карьерой), но восхищается не неизменно. Он восхищается ими так, как мало кто из нас способен восхищаться чем бы то ни было. В его глазах их омывает «свет, невиданный ни в море, ни на суше». Положение, которое он занимает в Хансфорде, его место в Розингсе, милостивое отношение к нему леди Кэтрин—это уже не средства для достижения какой-то цели, а самоцель, это основа его существования; все остальное с этим сопряжено и этим измеряется, а его восхищение, удивление и самодовольство слились в единую всепоглощающую страсть. Будь он постарше, он не был бы столь великолепной диковиной и нравился бы нам меньше, но он молод («высокого роста, грузноватый молодой человек лет двадцати пяти»), и к тому же он носит духовный сан. Надо сказать, что молодые люди часто бывают одержимы какой-нибудь страстью и под воздействием ее забывают обо всем на свете; и если предмет их страсти соответственно значителен, если, скажем, ими владеет любовь или честолюбивый замысел, они вызывают у нас уважение и сочувствие и даже поставляют нам материал для трагедий. Если же такая страсть расходуется на какую-нибудь леди Кэтрин и ее ломберный стол, результат получается сугубо нелепый. Но не забудьте, мистер Коллинз ведь еще и священник. Священнослужителей всех мастей во все времена любили выводить в комедиях просто потому, что есть что-то неотразимо комическое (во всяком случае, на взгляд беспристрастного наблюдателя) в контрасте между торжественностью их сана и их чисто человеческими слабостями. Нам трудно примириться с тем, что человек, облеченный чуть ли не божественной властью, может всерьез расстроиться из-за подгорелого овощного рагу. И поэтому, когда мы впервые слышим о мистере Коллинзе и читаем в его письме к мистеру Беннету такой пассаж:

«Однако в настоящее время у меня созрело решение. Приняв на прошлую пасху пасторский сан, я оказался тем счастливым смертным, который удостоился прихода в поместье ее светлости леди Кэтрин де Бёр, вдовы сэра Льюиса де Бёра. Благодаря доброте и расположению этой леди я стал священником здешнего прихода, в каковой должности моим самым искренним стремлением будет оказывать подобающее уважение ее светлости и совершать обряды и церемонии, предписанные пастырю англиканской церкви...» —

эта явная несообразность сразу настраивает нас на веселый лад.

Комплекс «леди Кэтрин—Розингс—Хансфорд» занял место, которого достойна в мечтах молодого человека разве что Елена Троянская или покорение Востока; но так как моло-

дой человек еще и священник, этот комплекс стал для него важнее самого бога. Мистер Коллинз — романтик, ибо для него все мгновения ценны, поскольку овеяны тайными чарами; в сердце его поет «соловей, пожирающий время» (как Стивенсон, защищая своих «фонарщиков», назвал поэтическое начало, скрытое в человеке); но отнестись к нему серьезно, хоть и не лишить его, надеюсь, нашего сочувствия, нам мешает одно: мы знаем, что эта ярkokрылая птица — не кто иной, как наша старая знакомая леди Кэтрин де Бёр, озаряющая жизнь мистера Коллинза то приглашением на партию в карты, то советом касательно «новых полок в шкафах на втором этаже».

Этот человек с простой и отнюдь не сплошь прозаической душой, так рано в жизни достигший благополучия, до того счастлив, до того упоен своей удачей, что, несмотря на свою напыщенность, это самый счастливый человек во всей книге. Он быстро надоедает другим, ему же ничего не надоедает. Он приезжает к Беннетам в Хартфордшир как в сказочную страну. Восхищается мебелью, картинами, обедом и своими пятью кухнями; куда бы ни пошел, везде находит, чем восхититься и чему подивиться; танцует неважно, но готов постараться; в вист играть не умеет, но охотно садится за ломберный стол и заявляет, что будет рад поучиться; узнав, что одна из девиц не может стать его женой, тут же делает предложение следующей по порядку; ничто его не обескураживает. Да и может ли быть иначе, пока он остается хансфордским викарием и пользуется благосклонным покровительством такой высокой особы, как леди Кэтрин? Как счастливый любовник приглашает весь мир разделить его радость, так у мистера Коллинза, ослепленного безумца под маской педанта и моралиста, все его скудное воображение поглощено одним: как могло такое чудо с ним случиться; он так упоен тем, что нашел свое место, что трудно ожидать, чтобы он мог поставить себя на место другого; он — маленький мальчик, притворяющийся взрослым; и его снобизм и подхалимство так откровенны, неприкрыты и осязаемы, так явно определяют каждое его слово и поступок, что уже перестают быть снобизмом и подхалимством, а образуют новый вид страсти, неслыханную поэзию, вызывающую смех лишь потому, что питается она столь странными яствами и так пышно прославляет столь жалкие триумфы. Пусть на первый взгляд он всего лишь на редкость глупый и подленький лизоблюд, но его врожденная глупость, его молодость, его изумление при виде собственной удачи — все это превращает его в невинного младенца. Он не только самый счастливый, но и самый наивный персонаж в этой книге. На что уж миссис Беннет и бестолкова и пуста, на что уж прозрачны ее намерения и уловки, но по сравнению с мистером Коллинзом она умнейшая женщина. В подтвержде-

ние этого приведем отрывок из диалога, который между ними происходит после того, как Элизабет, к великой досаде своей маменьки, отказала мистеру Коллинзу:

«У миссис Беннет эта новость все же вызвала некоторую тревогу: она бы охотно согласилась, чтобы Элизабет отвергла сватовство мистера Коллинза, намереваясь этим еще больше воспламенить его чувства. Однако она не смела этому верить и не смогла скрыть своих опасений.

— Но положитесь на меня, мистер Коллинз,— добавила она.— Уж я-то сумею ее образумить. Сию же минуту поговорю с ней начистоту. Она упрямая и своенравная девчонка—сама не понимает своего счастья. Но она у меня научится его понимать.

— Простите, что перебиваю вас, сударыня,— вскричал мистер Коллинз,— но если она в самом деле так упряма и неразумна, то я не уверен, насколько она вообще способна стать подходящей супругой для человека в моем положении, который, естественно, ищет в брачном союзе счастья. Поэтому, если она будет и дальше отказываться принять мое предложение, лучше, пожалуй, не принуждать ее. Боюсь, что при столь непостоянном нраве она не сможет содействовать моему благополучию.

— Ах, сэр, вы меня не поняли,— всполошилась миссис Беннет.— Лиззи бывает упряма только в таких исключительных случаях. Обычно же она на редкость покладистая девушка. Я сейчас переговорю с мистером Беннетом, и ручаюсь вам, что он мигом это уладит».

Но этот небольшой диалог неминуемо возвращает нас к лучшему во всей литературе комическому предложению руки и сердца.

Именно в этом объяснении с Элизабет мистер Коллинз предстает во всей своей славе; напыщенность и недомыслие, какими отмечены все его речи, здесь доведены до совершенства; его благостное и наивное самолюбование, отсутствие воображения и неспособность понять чувства и точку зрения другого человека, его рассудительность, граничащая с идиотизмом,—нигде эти черты не проявляются так ярко; и здесь же как никогда отчетливо обрисована его собственная шкала ценностей, несоответствие между его чувствами и предметами, эти чувства вызывающими, вся невообразимая чепуха, засоряющая его мозги. Для начала он, как помнит читатель, уверяет Элизабет, что то, что ему угодно именовать ее скромностью (а на самом деле ее отвращение к его обществу), только украшает ее. Разумеется, ничто другое не могло бы так возмутить Элизабет, натуру прямую и смелую, чем это упоминание о ее мнимой стеснительности. Но на этом мистер Коллинз не останавливается. Исходя из предпосылки мужс-



кого превосходства, над которой мисс Остин не упускает случая лукаво подшутить, он сообщает, что, «едва переступив порог этого дома» (а произошло это всего несколько дней тому назад), он сразу наметил ее себе в спутницы жизни. Тут он прерывает себя и произносит слова, слушая которые, Элизабет с трудом удерживается от смеха:

«Но прежде чем дать волю моим чувствам по этому поводу, мне следовало бы поделиться с вами соображениями, исходя из которых я собираюсь жениться и которые заставили меня приехать в Хартфордшир и выбрать себе здесь подругу жизни».

Дальнейшее, вероятно, казалось очень забавным самой мисс Остин и ее друзьям, но нам оно кажется еще забавнее, потому что наши взгляды на брак более романтичны. Нам ясно, что, хотя у мужчины может быть много причин для женитьбы, единственная из этих причин, интересующая женщину, которой он делает предложение,—это его желание наслаждаться ее обществом и ею самой, в особенности же, в данной ситуации, ею самой. Но мистер Коллинз в простоте душевной все глубже увязает в трясине, поскольку он, как мы уже убедились, обуреваем одной-единственной страстью и ему не хватает ни воображения, ни любопытства, чтобы по-настоящему полюбить, а потому он начинает приводить причины, глубоко безразличные его собеседнице:

«Я собираюсь жениться, считая, во-первых, что всякий хорошо обеспеченный служитель церкви (подобный мне) должен быть примерным семьянином в своем приходе. Во-вторых, я уверен, что этот шаг сделает мою жизнь еще более счастливой. И наконец, в-третьих—хотя, быть может, об этом следовало упомянуть в первую голову,—я руководствуюсь в данном случае советом и пожеланиями высокородной леди, которую имею честь называть моей покровительницей. Дважды она соизволила (без всякой просьбы с моей стороны!) высказать свои взгляды по этому поводу. И даже в субботу, накануне моего отъезда из Хансфорда, когда миссис Дженкинсон в перерыве между двумя партиями в карты поправляла скамеечку в ногах мисс де Бёр, леди Кэтрин сказала мне: «Мистер Коллинз, вам следует жениться. Служитель церкви, подобный вам, должен быть женатым человеком. Выбирайте разумно, выбирайте достойную. Помните о моих вкусах, но считайтесь, конечно, и со своим. Пусть это будет девушка работающая, неизбалованная, умеющая вести хозяйство при скромных доходах. Я вам это очень советую. Найдите себе как можно скорее такую жену, привезите ее в Хансфорд, и я нанесу ей визит».

Затем он объясняет, что внимание со стороны леди Кэтрин—не последняя из выгод, какие он может предло-

жить своей будущей жене. Все это служит подтверждением его наивности, его полной неспособности отрешиться от изумления перед столь счастливо сложившимися обстоятельствами и взглянуть на дело с другой точки зрения; но он и на этом не останавливается и дальше городит нечто совсем уж несусветное. Он говорит, что как наследник земельной собственности мистера Беннета почел своим долгом взять в жены одну из своих кузин, а ведь это очень бестактно: какой девушке понравится, чтобы ее жалели и снисходили до нее, а Элизабет к тому же едва ли могла оценить по достоинству безмятежно-спокойное упоминание о близкой кончине ее отца. Но еще бестактнее — и притом так глупо, что до этого не додумался бы ни один заурядный сноб или подхалим, — его следующее утверждение, а именно что он не гонится за деньгами и знает, что за Элизабет если и дадут приданое, то самое ничтожное. В этом-то месте разгневанная девушка наконец прерывает его и спешит отклонить его предложение. Однако мистер Коллинз, как истинный маньяк, не способен поверить, что кто-либо, находясь в здравом уме, добровольно откажется от усад Хансфорда и Розингса. Он напускает на себя глубокомысленный вид, как мальчик, подражающий взрослым, и дает понять, что ее отказ — всего лишь девичья стыдливость. Он заявляет, что вовсе не обескуражен. Это, конечно, лишь усиливает раздражение Элизабет, и она не только повторяет свой отказ, но идет с козыря — уверяет, что и леди Кэтрин не одобрила бы его выбора.

Для мистера Коллинза это страшная мысль, и он на всем скаку осаживает коня.

«Неужели леди Кэтрин могла бы плохо о вас подумать? — спросил мистер Коллинз очень серьезно. —

Но нет, это даже представить себе невозможно».

Он, видите ли, за нее ручается. И даже когда мисс Беннет вновь, и в самых недвусмысленных выражениях, отклоняет его руку, этот неотвязный поклонник отказывается ей верить. Не в том дело, что в самомнении своем он полагает, будто ни одна девушка не может его отвергнуть: он влюблен не в себя, в свою внешность, манеры и проч., но в свое положение, в благосклонность леди Кэтрин, в почтительность своих прихожан, так что его неспособность понять отказ Элизабет вызвана не тупым самомнением, а своего рода самоотверженной преданностью, смешной, как мы видели, лишь потому, что на очень уж нелепые цели она растрачивается. Когда Элизабет, выведенная из себя, заявляет, что просто не знает, как его убедить, он отвечает с высокомерным достоинством:

«Позвольте мне, дорогая кузина, утешать себя мыслью, что вы отклонили мое предложение лишь на словах. Я убежден в этом по следующим причинам.

Мне вовсе не кажется, что я недостойн вашей руки или что условия жизни, которые я в состоянии вам предложить, могут не удовлетворить вас. Мне особенно благоприятствует мое положение в обществе, связи с семьей де Бёр и родство с вашим семейством. И при всех ваших совершенствах, вы должны понимать, что вам может не представиться нового случая выйти замуж. Незначительность вашего приданого может свести на нет всю притягательную силу вашей красоты и прочих превосходных качеств...»

Вся эта тирада — образец того, чего не следует говорить женщине, сплошная гигантская бестактность, и произнести ее не мог бы ни один пусть самый изобретательный подхалим, а только круглый простак. Если в ней и проскальзывает обида (а какое-то время мистер Коллинз, несомненно, был сильно обижен на Элизабет), то я объясняю это не обычным уязвленным самолюбием, а более высокой страстью, встающей на защиту своих жертв. Отвергнутым оказался не только он сам, Уильям Коллинз, но леди Кэтрин, и Розингс, и хансфордский приход, нераздельно царящие в его сердце; только это и могло вызвать обиду нашего чопорного молодого маньяка. По-своему он уже влюблен, но не в молодую девушку, а в идею, включающую, между прочим, и старую дуру; и он ошарашен и немного обижен, потому что другой человек не пожелал разделить его мании. Он не может, не хочет в это поверить: это неслыханно, чудовищно.

В последующих главах, приехав с Элизабет в Хансфорд, мы застаем мистера Коллинза уже вступившим в законный брак, в роли маньяка вполне счастливого. Элизабет, пишет автор, «заранее готовилась увидеть его в ореоле славы». И ожидания ее оправдались: мистер Коллинз достиг славы и не намерен с нею расставаться. Вот он ведет своих гостей в сад полюбоваться видами:

«Он мог точно определить, какие поля простираются в каком направлении и сколько деревьев насчитывается в самой отдаленной роще. Но из всех прекрасных видов, какие могли прославить его сад, или всю округу, или все королевство, ни один не шел в сравнение с изумительным видом на Розингс, открывавшимся почти от самого его дома в прогалине между деревьями парка».

Вот что значит быть одержимым страстью, быть хотя бы отчасти поэтом; и когда мы видим, как мистер Коллинз услаждается на нескончаемом пиру счастья, как самые пустячные события приводят его в экстаз, мы невольно задаемся вопросом: не лучше ли быть способным на такой, пусть и смехотворный фанатизм, чем быть вовсе недоступным для подобных переживаний? Как горячо он убеждает своих гостей, что скоро, в воскресенье, они удостоятся чести

узреть леди Кэтрин в церкви, а может быть, и в Розингсе! Как он ликует, когда эта высокая особа присылает ему приглашение на всю компанию.

«Признаюсь,—говорил он,—мне не показалось бы странным, если бы ее светлость пригласила нас в воскресенье на чашку чая и провести вечер в Розингсе. Зная ее беспредельную доброту, я даже был готов к этому. Но кто бы мог подумать, что она удостоит нас такого внимания? Кто бы мог вообразить, что она пригласит нас к обеду (притом в полном составе) так скоро после вашего приезда!»

Он уже не может говорить ни о чем другом и заранее расписывает великолепие Розингса, дабы уберечь своих гостей от слишком сильного потрясения. К вечеру он не находит себе места, торопит всех одеваться, через парк летит как на крыльях и с восторгом обращает всеобщее внимание на красоту и роскошь, их окружающие. Нам нет нужды следовать за ним по пятам; достаточно сказать, что все другие персонажи, вместе взятые, не в силах создать такую картину прочного счастья; и счастье это длится в течение всего визита вплоть до последней речи мистера Коллинза, в которой он сообщает Элизабет, как радостно ему было ввести ее в столь высокое общество, как она, вернувшись в Хартфордшир, сможет рассказать, что воочию убедилась, до чего леди Кэтрин благоволит к миссис Коллинз, и как горячо он надеется, что она, Элизабет, будет так же счастлива в браке, как он (а он не забыл своего предложения и как оно было принято), ибо он и дражайшая его Шарлотта обо всем думают и судят в полном согласии. Последнее едва ли полностью соответствует истине, однако же ближе к истине, чем думает мисс Беннет, ибо нам совершенно ясно, что Шарлотта, не питавшая иллюзий относительно мистера Коллинза, когда выходила за него замуж, и расценивавшая его увлеченность леди Кэтрин и Розингсом примерно так же, как сама Элизабет, теперь готова во всем поддакивать мужу. Вот и еще раз мания победила здравый смысл, и мистер Коллинз сыграл Дон Кихота, одержав верх над Санчо Пансой, в данном случае — собственной женой. Джейн Остин не жаловала романтику и безусловно удивилась бы, что один из ее откровенно карикатурных персонажей взят на вооружение для защиты романтической жизненной позиции; а между тем неоспоримо, что этот ее нелепый мистер Коллинз с его безграничным снобизмом и изумленной растерянностью, столь наивно и простодушно шагающий под знаменем подхалимства, так что оно уже перестает быть таковым, — что этот мистер Коллинз одновременно и романтический вымысел, и, пожалуй, самый удачный из всех созданных ею героев. Нам интереснее пировать с ним в Розингсе, чем скучать с Дарси в театре и в бальной зале, ибо, хотя ни один здравомыслящий

человек не разделит мании мистера Коллинза и не станет восхищаться тем, чем восхищается он, всякий позавидует его душевному состоянию, ведь оно сродни поэту, придающему значение тому, что никогда еще не считалось значительным, и в своей увлеченности верящему, что нет в мире ничего слишком скучного, а стало быть, недостойного внимания. Потому-то он чуть не плачет от радости при виде въезжающего в ворота фаэтона и испытывает странные восторги за чайным столом у вдовы баронета.

## ДИК СВИВЕЛЛЕР

Дик Свивеллер, как и Пистоль, весь слеплен из громких фраз. Но он более правдоподобен, чем адъютант Фальстафа, в нем больше от живого человека, чем от гротескной марионетки. Сейчас, через столько лет, мы лишь с трудом можем себе представить Пистоля; он — часть канувшей в вечность эпохи, когда в лондонских трактирах кишмя кишели обтрепанные, обносившиеся вояки, задиры и бахвалы, тощие, голодные крысы, вечно, казалось, переживающие короткий период довольства и безделья между двумя войнами, двумя походами, а на самом деле предпочитая трактир биваку, обычно умудрявшиеся вообще избежать опасностей и тягот походной жизни и проводившие время не как солдаты, а как скандалисты и тунеядцы. Тип этот был так знаком, что его сразу узнавали, стоило на сцене появиться длинному мечу и длинным усам, и Пистоль был лишь одним, хоть и сугубо комическим, его образчиком. Но теперь, хотя его поразительные реплики, эти яркие перлы, понахватанные им у авторов трагедий, эти блестящие красноречия «плаща и шпаги» обрели прочное (и, надо надеяться, бесплатное) пристанище в нашей памяти, сам Пистоль — всего лишь выцветшая фигура на старом гобелене. Не то Дик Свивеллер. Он — наш современник. Пусть его шляпа и полуфрак, его словесные выкрутасы и пьяненькая болтовня — все это уже позавчерашний день, но сам Свивеллер существует поныне и, возможно, сидит сейчас развалиясь на высоком табурете (что почти равносильно акробатике) в «Главной конторе» за углом; нам же хуже, если мы ни разу его не встречали. Вернее было бы употребить множественное число и сказать, что Свивеллеры как семейство, как тип существуют и сегодня. Они не выражаются столь цветисто, как Дик, их представитель в литературе, но характерные черты у них те же, и Дик — только квинтэссенция их, воспарившая в облака на крыльях громких слов.

Молодые люди, у которых хватает воображения на то, чтобы ценить искусство, но не на то, чтобы творить его, которые искушены в софистике, но еще не богаты опытом,

обычно проходят через стадию, когда жизнь кажется бессмысленной, если в ней отсутствует искусство. Это не только значит, что искусство им необходимо, что их воображение жаждет этой богатой, животворной пищи; это значит, что самое свое существование они должны так или иначе уподобить искусству, что их поступки, жесты, речи должны равняться на поступки, жесты, речи, знакомые им по любимым произведениям искусства—романам, стихам, театру. У них не хватает воображения, чтобы претворить жизнь в искусство, подметить эпос, трагедию и комедию, таящиеся в окружающей их повседневности; но хватает воображения, чтобы претворить искусство в жизнь, изображать персонажей из эпоса или трагедии (но не комедии, ибо тогда они увидели бы себя со стороны и эффектные позы их рассыпались бы прахом) и преобразить окружающий их мир и людей, его населяющих, с помощью разноцветных фонариков и скрытых оркестров, играющих песни судьбы. Это—период напыщенности. Молодые девушки, к примеру Кэтрин Морленд у Джейн Остин, движутся, как сомнамбулы, в самой прозаической обстановке, воображая себя героинями готических романов. Серьезные молодые люди, запахнувшись, как в плащ, в байроническую мрачность, бродят по темным улицам, упиваясь безысходным отчаянием. Но бывают молодые люди, наделенные, помимо воображения, еще и чувством смешного,—те, вступая в лабиринт, не выпускают из рук шелковой нити здравого смысла, что позволяет им, наслаждаясь своим романтическим лицедейством с великолепными жестами и грандиозными монологами, наслаждаться и нелепостью такого занятия, ибо они сами отлично знают, что лицедействуют. Выходит, что они—ходячие пародии на искусство. Хорошая пародия—это плод двойного наслаждения: пародист наслаждается, подражая подлинным достоинствам другого писателя—его музыкальности, звучной фразе и проч., а одновременно предоставляет своему чувству юмора подмечать недостатки, преувеличивать их и подчеркивать. Так и наш приятель Свивеллер, безусловно принадлежащий к этой интересной категории молодых людей, упивается собственной напыщенностью, причмокивает от восторга, произнося высокопарные фразы, но сам отлично знает, что смешон, и в этом тоже черпает радость. Единственная разница состоит в том, что Свивеллер, в отличие от пародиста, не ставил себе определенной задачи: он оказался в этом счастливом состоянии непреднамеренно, точно так же, как непреднамеренно оказался по уши в долгах.

Когда мы с ним только знакомимся, Дик Свивеллер прозябает в комнате над табачной лавкой (очень удобно—стоит выйти на лестницу и потянуть носом, и можно не покупать табака) близ театра Друри-Лейн. Свое жилище он не забывает называть «квартирой» или «апартаментами», на

самом же деле снимает небольшую комнату, где из всей обстановки внимания заслуживает только кровать, которая напоминает книжный шкаф и которую предлагается считать книжным шкафом всем посетителям, желающим сохранить с хозяином дружеские отношения. Финансы его в плачевном состоянии. Он кругом в долгах и постепенно лишает себя доступа в целые районы Лондона, поскольку задолжал во все близлежащие лавки. Узнаем мы это с его собственных слов:

«Я заносу в эту книжечку названия улиц, на которых мне нельзя показываться до закрытия лавок. Сегодняшний обед исключает для меня Лонг-Эйкр. На прошлой неделе я купил пару башмаков на Грейт-Квин-стрит — следовательно, там прохода тоже нет. На Стрэнд я могу теперь выйти только одним переулком, но предстоящая покупка пары перчаток преградит мне и этот путь. Скоро совсем некуда будет податься. Так что через месяц, если уважаемая тетушка не пришлет мне до тех пор денег, я буду вынужден делать крюк мили в три за черту города, чтобы перейти с тротуара на тротуар».

Никогда еще финансы не были так своеобразно слиты с топографией.

Дика постигает удар — его избранница мисс Софи Уэклс согласилась стать женой некоего Чеггса, огородника, выходца из «тмы внешней». Позже он поступает в контору Самсона Брасса и остается прикованным к ней на много месяцев (если позволительно сказать, что такой непоседливый персонаж вообще может быть прикован), пока наконец его не сваливает с ног горячка, от которой его выхаживает его диковинная подружка Маркиза. Казалось бы, здесь нет материала для веселого, беззаботного существования; не из таких элементов складывается жизнь, полная поэзии и романтики; а между тем Дик, душа поэтичная и романтическая, умудряется быть счастливым. Более того, из всех действующих лиц он, пожалуй, самый счастливый.

Помогает ему в этом безудержная любовь к литературе. Если ему недоступны романтические аксессуары и поэтические подвиги, то доступен поэтический слог. Он до краев набит цитатами. Пышные фразы облачают его, как шелк и бархат. На крыльях метафор он парит, где хочет, высоко над скучной действительностью, недостижимый для превратных обстоятельств. Роскошные эпитеты прислуживают ему, повелителю слов. Эта страсть к словам, поразительным в отдельности и граничащим с чудом в удачных сочетаниях, — признак литературного склада и литературной одаренности, и Дик Свивеллер, подобно мистеру Полли, одному из немногих подлинно достоверных комических героев в современной литературе, и в отличие от стольких нынешних критиков, разбирающихся в идеях, но равнодушных к

выразительным средствам, к силе слова и тем самым отлученных от литературы, сколько бы они о ней ни рассуждали, наделен недюжинным литературным даром и все свое существование подчиняет некоей хаотичной литературе, которую читает непрерывно и с неослабным наслаждением. Правда, от тревог и тоски его ограждает редкостная беспечность, позволяющая некоторым людям забывать все невзгоды за стаканом вина, застольной песней и дружеской беседой. Но не в этом его секрет. Стакан холодного джина с водой и в самом деле помогает ему на время отогнать тоску и заботы; но когда он называет джин «искрометным вином» и предлагает своему собутыльнику (пользующемуся тем же стаканом) «раздуть затухающее пламя веселья крылом дружбы», он уже не просто забывает о тоске, он по-настоящему счастлив и опьянен не столько джином, сколько такими вот звучными фразами. Он блаженно бредет в тумане — не винных паров, а романтического искусства. «Какое это имеет значение,— замечает он по поводу того, не скроем, что накануне вечером был мертвецки пьян,— какое это имеет значение, покуда нас на пир зовет веселый звон стаканов и осеняющие нас крылья дружбы не роняют ни перышка!» И что такое головная боль и пустой кошелек, когда под рукой полный бокал метафор и сверкающие холмы новорожденных словесных перелов?

Мудро поступило вакхическое общество «Аполлонов Вельведерских», избрав нашего друга Свивеллера своим Пожизненным Великим Мастером. Мудро не только потому, что он — мастер застольных речей и песен и зорко следит за тем, чтобы «крыло дружбы не уронило ни перышка», словом, потому что он — лучший кандидат на этот пост, но и по более серьезной причине, а именно потому, что он — один из избранных, которые и служат Аполлону и пользуются его поддержкой. Каждое слово мистера Свивеллера — это косвенное прославление светозарного музыкального бога. Никогда он не покидает «чертог, сияющий огнями», не принеся жертвы в виде грозди метафор этому божеству, благословляющему неземными словами и напевами любое сборище, на коем председательствует мистер Свивеллер. Что может быть лучше такого братского диалога между ним и мистером Чакстером, членом того же вакхического общества:

«— Может, зайдете? — спросил Дик. — Я в одиночестве. Свивеллер соло. Теперь пора...

— Ночного колдовства...

— Когда гробы стоят отверсты...

— И по кладбищам бродят мертвецы.

Закончив этот обмен цитатами, оба джентльмена приняли театральные позы, после чего сразу же перешли на прозу и проследовали в контору. Такие поэтические взлеты, свойственные всем Блистательным Апол-



лонам, связывали их между собой тесными узами и помогали им хоть ненадолго отрываться от холодной, скучной земли».

Тот, кому встречались в жизни невезучие юные клерки, живые души, задыхающиеся в паутине повседневной скуки, замурованные в темницах из кирпича, известки и конторских книг,— тот, конечно же, видел, как они утешаются подобными фантазиями, на короткие мгновения вырываясь в безумный мир романтики, далекий, как Альдебаран, от их двойной бухгалтерии и позволяющий забыться в таких вот невеселых дурачествах. Вы ведь помните, что мистер Свивеллер и мистер Чакстер, поздоровавшись и осведомившись о здоровье друг друга, «по обычаю древнего братства, к которому они принадлежали», тут же исполняют припев дуэта «Все отменно хорошо» и заканчивают его длинной трелью? И после такой разрядки они действительно чувствуют, что все у них отменно хорошо: как ни печально их положение, как ни давит на них самая холодная и унылая проза жизни, они еще в состоянии глотнуть поэзии, потому что на выручку к ним явился их покровитель, сам бог Аполлон.

Преимущество такого характера, как у Дика Свивеллера, состоит в том, что ситуации, которые для обычных людей были бы нелепыми или тягостными, ему, неисправимому романтику, необходимы как воздух. Так, например, вся история с Софи Уэклс для Дика сущая находка. Вокруг этой утраченной пассии (которая мигом ответила бы ему согласием, если б он только задал ей решительный вопрос) нагромождены горы его бессмертных изречений. Во всей книге нет ничего прелестней его прощального диалога с ветреной Софи, в котором он с упоением играет роль отвергнутого вздыхателя:

«Мисс Софи сидела у двери, взволнованная и смущенная комплиментами мистера Чеггса, и, решив попрощаться с ней, Ричард Свивеллер на минуту задержался около ее стула.

— Корабль мой меня поджидает, матросы готовят ладью, но прежде чем с глаз ваших скрыться, за Софи любезную пью,— сказал он вполголоса, мрачно глядя на мисс Уэклс.

— Вы уходите?— с деланным безразличием спросила она, а сама замерла от ужаса при виде того, к чему привели все ее ухищрения.

— Ухожу ли я?— с горечью проговорил Дик.— Да, ухожу. А что?

— Ничего. Только что рано,— ответила мисс Софи.— Впрочем, вы сами себе хозяин.

— Я сердцу своему хозяином не стал,— сказал Дик,— когда я вас впервые увидал. Мисс Уэклс, я свято верил вам, в блаженстве утопая, но прелесть ангела с

коварством сочетая, вы предали меня шутя, как бы играя.

Мисс Софи прикусила губку и притворилась, будто ее очень интересует мистер Чеггс, который жадно пил лимонад в другом конце залы.

— Когда я шел сюда,—продолжал Дик, видимо позабыв об истинной цели своего прихода,—грудь моя бурно вздымалась, сердце замирало и настроение было соответствующее. А ухожу, исполненный страстей, о которых можно только догадываться, ибо описать их нет сил,—ухожу, подавленный мыслью, что на мои лучшие чувства сегодня надели намордник.

— Я не понимаю, о чем вы говорите,—сказала мисс Софи, потупив глазки.—Мне очень грустно, если...

— Вам грустно, сударыня!—воскликнул Дик.— Грустно, когда вы владеете таким сокровищем, таким Чеггсом...»

И теперь, испив до дна эту чашу разочарования, он вполне счастлив. Как и многие вполне серьезные люди, он больше наслаждается мыслью, что Софи навеки для него потеряна, чем наслаждался бы ее постоянным обществом. Любовь без взаимности—это тема, для которой у него припасено множество подходящих цитат, оригинальных и трогательных оборотов речи; и потому всякий раз, как мы застаем его под мухой или когда он вообще не прочь пооткровенничать, он поминает обрученную с огородником, а для него навеки утраченную Софи, хотя к этому времени успел, вероятно, вообще забыть о ее существовании. Когда Квилп, этот страшенький весельчак, требует, чтобы Дик назвал красавицу, за которую можно предложить тост, мы не удивляемся, что он не задумываясь называет Софи. Но сколько горечи, сколько бездонного отчаяния он вкладывает в слова «Сей светлой прелести и неги образец будет возложен на алтарь Чеггса!» И дальше эта жертвенная метафора повторяется, нам еще раз напоминают, что Софи «возложила себя на алтарь Чеггса». Упор на имени счастливого соперника знаменателен, он позволяет думать, что наш Блистательный Аполлон, оскорбленный в своих лучших литературных чувствах, все же простил бы девушке ее воображаемую измену, если бы она не выбрала себе в спутники жизни какого-то Чеггса. Его романтическая душа, как видно, уязвлена главным образом мыслью, что имя Чеггса пребудет в веках. И еще долго после сцены с Квилпом, уже поиграв с Маркизой в криббидж, Дик возвращается к этой теме, но теперь настроение его переменялось, горечь почти улеглась, и говорит он все еще не без грусти, но как человек, не сломленный трагедией, сумевший выдержать взгляд этой Горгоны, и лишь молчаливым жестом выражающий сочувствие неудачникам, обращенным в камень.

«— Эти робберы,—продолжал мистер Свивеллер, надевая ночной колпак так же, как он всегда надевал шляпу, то есть набекрень,—эти робберы наводят меня на мысли о семейном очаге. Супруга Чеггса играет в криббидж, а также в безик и теперь, вероятно, бросается от одной игры к другой. И полон день ее забав, ей не дают всплакнуть, слезинку вдруг ее поймав, твердят забудь, забудь! Ан нет, не забудет! Я уверен,—добавил Ричард, поворачиваясь в профиль и с удовлетворением разглядывая в зеркале бакенбарды, чуть виднеющиеся у него на щеке,—я уверен, что клинок уже вошел в ее сердце. И поделом ей!»

Так и видишь бедную Софи, как она глядит на унылое море Чеггса, а вдали, подобные золотой дымке на горизонте, блаженные острова Свивеллера тают, бледнеют и пропадают из глаз.

Как мистер Самсон Brass, так и мисс Салли Brass держались того мнения, что Дик Свивеллер ошибся в выборе поприща и стряпчего из него не получится, проживи он хоть тысячу лет. К этому выводу, под которым мы готовы подписаться, они пришли потому, что Дик показал себя очень уж непонятливым, когда мистер Brass намекнул, что странный жилец, не выспавший еще тогда своих двадцати шести часов, мог выразить пожелание, чтобы, если с ним что случится, все его имущество было передано мистеру Brassу. У Дика, смыслившего в таких мелких плутнях не больше, чем сам Аполлон, память, как на грех, оказалась превосходная. И еще оказалось, что молодой джентльмен, наделенный храбростью, воображением и тактом, тоже не зря коптит небо. Ведь когда новый жилец проспал двадцать шесть часов и были употреблены все усилия разбудить его как бы нечаянно—стучком в парадную дверь, передвижением комодов на верхнем этаже и приказанием маленькой служанке время от времени падать с лестницы, и все это не помогло,—не кто иной, как Дик, стал колотить большой линейкой по верхним панелям двери, чем потревожил-таки спящего, и не кто иной, как он, предстал перед разъяренным жильцом, когда Brassы обратились в бегство. Мало того, что он не отступил: он мужественно справился со всей ситуацией, весьма, надо сказать, необычной, и даже прочитал нотацию ненасытному поклоннику Морфея:

«— Мы тут думали, сэр, уж не скончались ли вы, и просто обезумели от страха,—добавил Дик, осторожно слезая с табуретки.— Короче говоря, здесь не потерпят, чтобы одинокие джентльмены спали за двоих, не внося за это дополнительной платы.

— Вот как!—воскликнул жилец.

— Именно так, сэр,—сказал Дик и, положившись на милость судьбы, понес первое, что пришло в

голову.— Нельзя извлекать двойную порцию сна из одной кровати с одной постелью, а если вы намерены и впредь позволять себе такие вольности, извольте платить как за комнату с двуспальным ложем».

Вот так, коротко и ясно.

Сколько бы мы ни ломались и ни жестикулировали, сколько бы ни зажигали цветных фонариков и ни трубили в игрушечные трубы со стен бутафорских цитаделей, короче говоря, сколько бы ни играли в романтику, нередко случается, что, когда нас посещает подлинная романтика, она подкрадывается незаметно, пока мы заняты этой игрой. Мистер Свивеллер, способный нагородить романтики вокруг чего угодно, затеял дружбу с заморенной маленькой служанкой Салли Брасс—крошечной девочкой, существовавшей где-то невидимо, как крот, а теперь известной нам благодаря прихотливой фантазии нашего друга под именем Маркизы,— можно сказать, просто от нечего делать. Обнаружив, что она подглядывала через замочную скважину в контору, когда он находился там в одиночестве («чтобы не так скучно было»), он спустился к ней на кухню, угостил ее вареной говядиной с хлебом и глотком горячего пива, в чем она остро нуждалась, и обучил игре в криббидж. Собеседницей она была не бог весть какой, так как понятия не имела ни о чем, что творилось за стенами дома, хотя в стенах дома знала наперечет каждый брошенный взгляд и каждое сказанное слово, но Дик решил, что и такая аудитория сгодится, и дал ей почувствовать, на что способен Блистательный Аполлон в часы досуга. Диковинная эта пара играет в карты в мрачном подвале: фантастический клерк в надетой набекрень обшарпанной шляпе и спортивной куртке с тесными рукавами и заморыш-служаночка с острой, как у мышонка, мордашкой, в причудливых обносках, но наконец-то раз в жизни сытая, вся сосредоточенная на новой усладе—картах, и немного встревоженная непонятными ей жестами и речами посетившего ее бога, непринужденно болтающего под воздействием горячей влаги:

«— Преисполненный сих намерений, Маркиза,— величественно произнес мистер Свивеллер,— я попрошу у вашей светлости разрешения сунуть доску в карман, осушить этот кубок до дна и откланяться, добавив напоследок, Маркиза, что жизнь наша потока быстрее, пусть мчится, пусть мчится она, покуда невинная фея вином угощает меня. Маркиза, ваше здоровье! Надеюсь, вы меня извините, что я не снимаю шляпы, но ваш дворец малость сыроват, а мраморные полы у вас, если дозволено так выразиться, склизкие от грязи.

Оберегая себя от этого последнего неудобства, мистер Свивеллер уже давно сидел, задрав ноги на решетку очага, и в такой позе он и приносил Маркизе

свои извинения, медленно допивая последние капли нектара.

— Итак, барон Самсоно Брассо и его прелестная сестрица в храме муз?—громовым голосом произнес мистер Свивеллер, тяжело опершись левой рукой на стол и подняв правую ногу, как это принято у разбойников в мелодрамах.

Маркиза кивнула.

— Ха!—воскликнул мистер Свивеллер, грозно насупив брови.—Прекрасно, Маркиза!.. Впрочем, нет. Эй, там, подать вина!—Эти театральные реплики сопровождалась соответствующей пантомимой: он поддал сам себе кубок раболепно, принял его надменно, осушил жадно и причмокнул губами смачно».

В этот вечер мистер Свивеллер, удалясь к себе в спальню и наскоро поразмышляв о навеки утраченной Софи, несколько часов, лежа в кровати, играл на флейте, очень медленно и очень плохо, свою любимую мелодию «Гони тоску». Но романтика уже осеняет его своими крылами. Во всем Диккенсе не найти, пожалуй, любовного романа, столь крепко сбитого и добротного, как тот, что связал между собой Дика Свивеллера и Маркизу. В сущности, в нем налицо все элементы и драматические повороты сюжета, необходимые в любом хорошем романе. Завязка его—совершенный ненароком добрый поступок, когда мужчина как бы с пьедестала сходит к изумленной и очарованной женщине, находящейся еще на стадии личинки. За этот поступок воздастся сторицей, когда Дик будет метаться в бреду, а Маркиза за ним ухаживать, проявляя самоотверженность, рядом с которой любая мужская забота покажется небрежной и эгоистичной. Затем, после того как разрешился эпизод с Китом и Дик получил в наследство долгожданную ренту, снова наступает его очередь: он на шесть лет отдает девочку в школу, и она за это время из личинки превращается в куколку и наконец выпархивает на солнце. Последнее место действия—их домик в Хэмстеде (с садом и беседкой для курения), где они живут в счастливом браке. Вот так мы и мыслим себе добротный роман, и, возможно, он, хотя и написанный раньше, умеряет наше горе от мысли, что Флоренс Домби не досталась Тутсу, а это—скверная история, ведь Тутс—безусловно непревзойденный у Диккенса образ мужской любви.

Мы не знаем, чем занимался мистер Свивеллер в своем хэмстедском уединении, если не считать того, что он предавался размышлениям в курительной беседке, играл с женой в криббидж да изредка принимал у себя своего собрата-Аполлона мистера Чакстера. Но нам известно, что, пока Маркиза училась в пансионе, директриса этого заведения, к которой он навещался каждый месяц, отзывалась о нем как

о «джентльмене эксцентричном, весьма начитанном и с потрясающей памятью на цитаты». Что он питал склонность к литературе, что как поэт он был страстно привержен к словам и не переставал ими восторгаться—это мы уже знаем, но приведенное выше мнение директрисы подсказывает и ответ на вопрос, чем он занимался в Хэмстеде. Он писал. Какой именно жанр он почтил своим пером, об этом можно только гадать; но если вспомнить, как наш приятель любил театр и как сам был склонен к лицедейству, то позволительно предположить, что писал он пьесы, грандиозные трагедии, полные душевного огня, в пяти действиях каждая. Возможно, настанет день, когда кто-нибудь из нас, роясь у букиниста в ящичке с надписью «Любая книга три пенса», случайно прочтет на обложке «Гонзало, или Месть разбойника. Трагедия Ричарда Свивеллера». И посвящена она будет Маркизе.

## МИСТЕР МИКОБЕР

Странная это мысль, что зловещий мистер Мэрдстон, сам того не ведая, сыграл роль Провидения и своим указующим перстом отчасти восстановил равновесие в делах бедного маленького Копперфилда. Но именно так оно и было. Десятилетний Дэвид прочно упрятан на складе фирмы «Мэрдстон и Гринби», где грязь и подгнившие полы и хозяйничают старые серые крысы. Но ему нужно жилище, притом дешевое, и мистер Мэрдстон, вспомнив, что у одного вечно нуждающегося агента фирмы сдается комната в его квартире на Виндзор-Тэррес, Сити-роуд, решает, что там-то и можно поселить Дэвида. Мальчика приводят в контору, где его взорам предстает

«...плотный, средних лет мужчина в коричневом сюртуке, черных штанах в обтяжку и черных туфлях, с головой (большой и блестящей), на которой произрастало не больше волос, чем на яйце, и широким лицом, обращенным прямо ко мне. Одежда его была поношенная, но воротник сорочки выглядел весьма внушительно. В руках он держал щегольскую трость с двумя большими порыжевшими кистями, а на сюртуке висел монокль—для украшения, как я впоследствии убедился, потому что пользовался он им очень редко, а когда пользовался, все равно ничего не видел».

Это—мистер Микобер, неподражаемый, несравненный мистер Микобер. С этой минуты мы знаем, что, когда покончим с мытьем бутылок и наклеиванием этикеток на темном складе, дома нас будет ждать это богоподобное существо; что к тому времени, когда «Мэрдстон и Гринби» превратится в тягостное воспоминание и Виндзор-Тэррес на

Сити-роуд уже почти изгладится из нашей памяти, мы еще не разделаемся с великим Микобером, он еще долго будет появляться в самых невероятных местах и присылать нам письма, когда мы их меньше всего ожидаем,—письма, что сто́ят больше всех тех денег, какие ему удастся занять у нас на протяжении многих лет; короче говоря (как выразился бы сам этот великий человек)—что в Банке Юмора нам открыт счет и предоставлен неограниченный кредит. Вся наша жизнь расцвела присутствием Микобера, так что никогда уже вкус ее не будет прежним, никогда уже, что бы с нами ни случилось, она не покажется безнадежно однообразной и пресной. Вот уж не думал мистер Мэрдстон, что, наскоро выбрав Дэвиду квартирному хозяина, он тем самым расплатился с нами за все свои грехи и более того—что мы еще остались у него в долгу. Появился Микобер, и равновесие восстановилось. Пожалуй, это единственный случай в жизни сего джентльмена, когда он и активный баланс появились одновременно.

Мистер Микобер, без всякого сомнения, самый крупный комический образ у Диккенса. Он, как никто другой, соединяет в себе юмор характера и юмор речи; он был бы до крайности забавен, даже если бы нам его только описали, если бы позволили только посмотреть на него издали и не дали встретиться с ним лицом к лицу и послушать его рассуждения; он и задуман юмористически, но вдобавок, разумеется, до крайности смешна его речевая характеристика. Он всегда говорит примерно то, чего мы от него ждем, но говорит это все лучше, от встречи к встрече все больше становится самим собой, как то и свойственно таким людям в жизни. Он не только самый крупный комический образ Диккенса, но, за исключением Фальстафа, самый крупный комический образ во всей английской литературе, уж на что богатой чудаками. Фальстаф стоит выше, потому что он сам—гениальный комик; в нем сочетаются два знакомых комических типа: насмешник и жертва насмешек, ибо он смеется над самим собой, и в этом он уникален. Добавьте еще его поразительную многогранность, бьющее через край остроумие и юмор во всех видах, от примитивной буффонады до своего рода комической философии, хоть и ограниченный сравнительно узкими рамками (возможно—по необходимости, ведь даже Шекспир не мог бы продлить существование такого Фальстафа, каким мы его знаем по первой части «Генриха IV»; бесконечно подкидывать угля в печь этого остроумца свыше человеческих сил), однако же обеспечивший ему место намного выше всех остальных комических персонажей. Микобер—из другой категории, это серьезный дурак, из тех, что не предлагают нам своего остроумия и юмора, а только самих себя, не угощают нас шутками, но сами—одна сплошная шутка. Если бы Микобер, как и все

подобные ему (а мы нередко встречаем их в жизни), хоть на минуту понял, что он смешон, все его очарование пропало бы; но, к счастью, он этого не понимает, и мы в его присутствии тоже должны сохранять торжественную серьезность. Лишь после того, как его величество нас покинет, мы можем позволить себе расхохотаться.

Роман, которому Микобер служит украшением, отличается от других романов Диккенса своим автобиографическим элементом: Диккенс использует в нем немало впечатлений собственного детства. А сквозь все воспоминания его детства и юности гордо шествует одна необыкновенная личность — его отец Джон Диккенс, и он-то и стал мистером Микобером. Временами эти двое, «Блудный отец» (как назвал его Диккенс) и смешной персонаж, так сближаются, что описание Микобера, когда он в конце одиннадцатой главы сидит в тюрьме Маршалси со своей петицией в парламент, почти слово в слово повторяет автобиографические заметки Диккенса, где описана аналогичная сцена в Маршалси, главную роль в которой играл его отец. Таким образом, можно сказать, что при постройке этого комического сооружения сама Природа заложила фундамент и наметила общие контуры, а Диккенс всего лишь добавил декор, те художественные штрихи, без которых холодная печатная страница не может заменить теплое дыхание действительности. Вполне вероятно, что так создаются все самые удачные персонажи романов и пьес: это, с одной стороны, не старательные образцы портретной живописи, а с другой стороны, не полностью вымышленные лица; но если речь идет о персонажах комических, то прототипами им послужили люди, которых автор знал давно, наблюдал с любовью и усмешкой, о которых много думал, как бы пробуя их на вкус, а потом исподволь преобразил своим искусством, отбросив второстепенное, а главное расцветив и приукрасив, так что в результате получаются характеры, которые за время короткого знакомства, занявшего всего несколько глав, производят на нас такое же впечатление, какое их прототипы произвели бы на нас в жизни, если бы мы знали их много лет. Жаль, что мы не можем точно и четко описать этот творческий процесс, поставить рядом человека живого и человека вымышленного и проследить, как именно свершилось это преобразование.

Созданные таким путем комические образы потому так поражают наше воображение, что отличаются не только дикой нелепостью своих речей, которой их способен наделить столь изобретательный юморист, как Диккенс, но и некоторой трехмерностью и богатой психологией, что возносит их на уровень много выше эфемерных созданий, в том числе более поздних детищ того же Диккенса, чьи образы подчинены какому-нибудь одному эксцентричному жесту или



излюбленному словечку, персонажей, у которых нет нутра, а только маска, костюм и веревочки. Микобер же, хотя речь его до ужаса нелепа, как у всякого, а тем более у диккенсовского комического персонажа, наделен в то же время, как и всякий живой человек, и богатой психикой и трехмерностью, а потому, в отличие от стольких других забавных персонажей, являет собой интересный предмет для выкладок любого теоретика. Обзор философских суждений о Микоберах занял бы не один увесистый том.

Истинно великие речевые нелепости подобны истинно великим образцам поэзии; они не поддаются разбору, как не поддается разбору тонкий аромат; они — просто-напросто чудодейственные нагромождения слов. Почему они так нелепы — это загадка и загадкой останется. Встречая их, мы можем только наслаждаться и благодарить, а разбор побережь для других случает. В конечном итоге речь, конечно, неотделима от характера, поскольку является его выражением, а относительно характера мистера Микобера много чего можно сказать, так что его прелестные высказывания, из которых особенно нелепые, как мы видели, не поддаются разбору, можно упомянуть лишь вкратце и мимоходом. Самое характерное для них — это перепады с высокого стиля на низкий. Мистер Микобер увлекается цветистой, чисто театральной риторикой, но она неизменно терпит крушение: стоит создаться впечатлению, что его ладья, подхваченная волнами, благополучно вышла на просторы красноречия, как мы слышим скрежет кия по камню и понимаем, что он сел на мель. Его привычка все подряд рядить в тогу фальшивого словесного величия (чего уж лучше — стóрожа при водокачке он назвал «клеветом Власти»), словно он не безденежный коммивояжер, балагурящий с друзьями, а государственный муж, обращающийся к сенату обширной империи, — такая привычка нелепа и сама по себе, но тем более нелепа потому, что он неспособен выдержать заданный тон, ему не хватает либо выдумки, либо слов, и он, запутавшись, выдыхается. И уже совсем нелепо то, что, хотя сюжет, можно сказать, иссякает, манера остается: мы так и видим, что в ту самую минуту, когда его пафос разваливается на куски, выпренность тона обозначается еще отчетливее, и его «благодарно рокочущий голос» и «напускная светскость поведения» становятся заметнее, чем когда-либо. Можно ли вообразить что-нибудь более изящное и светское, чем интонация, с которой он произносит это свое «Короче говоря...», которое возникает всякий раз, как первый поток красноречия вот-вот пересохнет и он уже подыскивает (как правило, безуспешно) новый источник возвышенных и звучных слов? Вспомним всего одну сцену, прощание с Дэвидом перед отъездом в Плимут в главе двенадцатой, мы и там обнаружим несколько превосходных примеров этих стилистических перепадов.

Мистер Микобер при своей склонности к лицедейству сознает всю торжественность минуты и пребывает в скорбно-дидактическом настроении. «Промедление,—говорит он Дэвиду,—это вор, крадущий у нас время. Хватайте его за шиворот». Об отце миссис Микобер, которого эта последняя не преминула втиснуть в разговор, он замечает: «В общем и целом мы никогда... короче говоря, никогда, вероятно, не встретим человека, который, дожив до его лет, сохранил бы ноги, словно созданные для гетр, и способность читать мелкий шрифт без очков». А чуть дальше он знакомит нас со своими ценнейшими взглядами из области экономики и этики: «Ежегодный доход двадцать фунтов, ежегодный расход девятнадцать фунтов девятнадцать шиллингов и шесть пенсов, и в итоге—счастье. Ежегодный доход двадцать фунтов, ежегодный расход двадцать фунтов и шесть пенсов, и в итоге—горе. Цветок убит морозом, листья увяли, дневное светило откачивается озарять эту печальную картину, и... короче говоря, человек скапутился. Как я». А сказав это, сообщает нам автор, мистер Микобер с явным удовольствием выпил стакан пунша и стал насвистывать матросский танец. Оно и неудивительно: ведь изобразив весь ужас своего положения с помощью столь высокой риторики (сам-то он не чувствует неровностей своего стиля), он уже вполне счастлив. Он оратор, артист; он обладает так называемым «артистическим темпераментом», может быть являет собою лучший его образец.

Следует, однако, отметить, что по профессии мистер Микобер не артист, а торговый агент. Но если у многих, возможно даже у большинства артистов, нет ни проблеска артистического темперамента, зато многие господа, подвизающиеся в деловой сфере, на ее задворках, в сомнительных учреждениях и притом, подобно Микоберу, на не совсем понятных должностях, наделены этим темпераментом в полной мере. Одним из типичнейших, самых поразительных представителей богемы, каких я знал, был некий беспутный часовщик в городе Мейдстоне в Кенте. Вот там, на причудливых выселках бизнеса, в фантастических городках, где возникают на один сезон фантастические акционерные общества, и обретаются наши Микоберы. «Человека подлинно крупного и значительного,—как справедливо заметил мистер Честертон,—который говорит как никто и чувствует без подсказки, вы не найдете ни на министерской скамье, ни на званом обеде, ни в литературном салоне и, уж во всяком случае, не в артистических кругах—богема его не знает». Да, он притаился в конторе «Бристольского кожевенного завода» либо где-то в Восточном Ланкашире числится местным представителем «Имперской компании патентованных циновок». В таких местах, за дверью обшарпанного дома в глухом переулке провинциального города,—вот где скрываются

наши Микоберы, «непрославленные и невоспетые», личности, подобные заходящему солнцу, и можно только пожалеть человека, которому не довелось встретиться хотя бы с одним таким чудом.

Слишком много говорили и писали о том, что мистер Микобер никогда не терял надежды. Всех словно гипнотизировало его любимое изречение «жду, когда что-нибудь подвернется». Правильно, надежды он не терял, был законченным оптимистом, но одним только оптимизмом его не объяснишь, анализ можно и нужно продолжить. Темперамент его, разумеется, крайне эластичен, настроения подобны ртути, и часто он смешит нас именно этими молниеносными переходами от бездонного отчаяния к благодущию и веселости. Вспомните, когда в дом к нему являлись кредиторы, в большинстве какие-то чумазые мужчины, и, стоя внизу лестницы, кричали наверх: «Мошенники! Воры!» — мистер Микобер, преисполненный обиды и горя, доходил до того, что замахивался на себя бритвой; но через полчаса, с великим старанием начистив башмаки, он выходил из дому, как всегда элегантный и что-то про себя напевая. Когда маленький Дэвид пришел навестить его в тюрьме, мистер Микобер заплакал и умолял своего юного гостя остерегаться его участи, но тут же занял у него шиллинг, послал за портером, пристроился к жареной бараньей ноге, которой обедал его сосед по камере, и вновь обрел свой великолепный апломб. Он буквально жонглирует настроениями и способен покрыть расстояние между двумя полюсами в пределах одного предложения. Один из самых забавных, если и не самых быстрых таких переходов совершается в Кентербери, когда они встречаются с Дэвидом впервые после давно минувших лондонских дней. Втроем (потому что миссис Микобер тоже здесь, приехала посмотреть на Медуэй) они садятся за стол: рыба, телятина, жареная колбаса, куропатка и пудинг, крепкий эль, а после обеда горячий пунш; атмосфера праздничная, все пьют за здоровье друг друга, мистер Микобер произносит витиеватый панегирик в честь миссис Микобер (вполне заслуженный), и в заключение все поют «За счастье прежних дней» и «Дай руку, товарищ и брат», и с начала до конца мистер Микобер оживлен и радушен. А на следующий день рано утром Дэвид получает от него письмо, явно написанное через четверть часа после того, как они расстались накануне вечером:

«Мой дорогой юный друг!

Жребий брошен — все кончено. Скрывая заботу под маской болезненного веселья, я не поведал Вам сегодня о том, что никакой надежды на денежный перевод не осталось! В связи с такими обстоятельствами, слишком унижительными, чтобы о них думать или рассказывать, я освободился от денежной ответственности, вызван-

ной проживанием в этой гостинице, выдав долговую расписку на срок в две недели с сего числа с обязательством уплатить по ней по месту моего жительства в Пентонвилле, Лондон. Когда срок уплаты наступит, платить будет нечем. В итоге — гибель. Молния вот-вот ударит, и дерево рухнет.

Пусть несчастный человек, который сейчас к Вам обращается, послужит для Вас маяком на жизненном пути. С этой целью и в надежде на это он Вам и пишет. Будь он уверен, что окажет Вам такую услугу, быть может, луч света проник бы в мрачную темницу, где предстоит ему отныне влачить жизнь, хотя долговечность его в настоящее время, мягко выражаясь, крайне проблематична.

Эти строки, мой дорогой Копперфилд,— последние, которые вы получите от Нищего Отщепенца

Уилкинса Микобера».

Получив это поразительное послание, Дэвид тут же бежит в гостиницу в надежде утешить своего друга, но по пути встречает лондонский дилижанс, «на крыше которого восседали мистер и миссис Микобер. Мистер Микобер— воплощение спокойствия и благодушия—улыбался, внимая миссис Микобер и уплетая грецкие орехи из бумажного пакета, а из кармана у него торчала бутылка». «Нищий Отщепенец» испарился, как только было написано то душе-раздирающее письмо, а его место, по-видимому, сразу же занял мистер Микобер, эlegantный светский человек и, между прочим, очень довольный собою автор.

Секрет мистера Микобера заключается в том, что он живет не в нашем мире, а в своем собственном, и там он—человек талантливый, которого за ближайшим углом ждут щедрые награды, там долговая расписка или несколько слов в записной книжечке ничем не хуже наличных денег, там все и крупнее, и проще, и ярче, и романтичнее, чем в окружающем нас мире. Короче говоря (вспомним еще раз его голос!), он живет в воображении; он наделен подлинно артистическим темпераментом. Стоит обстоятельствам хоть немного вывести его из равновесия, и он с криком «Прощай!» кидается вниз головой в бездну отчаяния, но очень скоро не только выбирается из темной пучины на свет обычной своей бодрости, а еще и взмывает в эмпирей счастья: полутонов он не признает, потому что его здоровое, романтическое и (что скрывать) несколько театральное изображение враждебно полутонам; ему подавай либо зеленое мерцание рампы и приглушенную музыку струнных, либо полное освещение и победный гром оркестра в полном составе. Но реальный мир, заметив, что Уилкинс Микобер не желает в нем жить, решил жестоко отомстить ему: пусть же этот Микобер не вылезает из трудностей; пусть никто (кроме

миссис Микобер) не признает за ним никаких талантов, и проекты его (по ее же словам) снова и снова встречают оскорбительный отпор; пусть ни зерно, ни уголь не обеспечат ему процветания, и он, по уши в долгах, существует в пустыне, усеянной вексельями и долговыми расписками; и кредиторы и судебные приставы только и делают, что выпускают его из долговой тюрьмы и тотчас препровождают обратно, и он только и знает, что менять одно убогое жилье на другое да носить в заклад остатки имущества, чтобы было на что пообедать; пусть его и его жену и непрерывно растущее семейство швыряет как щепку в житейском море и никогда им не удастся свободно вздохнуть, разделаться с долгами, стать честными гражданами и не стыдиться глядеть людям в глаза; пусть положение их остается безвыходным. Если не считать прямых преступлений—а в том, чтобы занимать деньги с таким размахом, есть уже опасное сходство с преступными деяниями,—нельзя и вообразить себе существование более жалкое, неудобное и безнадежное. Да, реальный мир, похоже, отомстил на совесть.

Но на поверку ничего подобного не произошло, ибо мистер Микобер, обитая в собственном мире, неуязвим. Приведенная выше картина его жизни правдива, если смотреть на нее извне, из реального мира, но сам мистер Микобер, судя по его разговорам, видит ее иначе, как и его жена, как и всякий, кто подпал под его колдовские чары и обретается с ним под кущами его собственного личного Эдема. Если человек, только что повздоривший со сторожем при водокачке, способен быстро успокоиться, упомянув о «терзаниях израненной души, особенно чувствительной после недавнего столкновения с Клевретом Власти», значит, он не подвержен разъедающему воздействию неблагоприятных обстоятельств; «пращи и стрелы яростной судьбы» со свистом пролетают мимо, не задевая его; воображение подарило ему волшебный плащ, оберегающий от всех опасностей. Мистер Микобер видит себя как центрального героя грандиозной романтической повести, к которой самые ужасные события только добавляют новые захватывающие главы и требуют от главного актера все больше благородных поз и пышного красноречия. Если действительность представляется человеку в такой романтической дымке, то прекрасной, то зловещей, вся в алых, черных и золотых тонах, тогда начисто исчезает безнадежная скука, какой представляется жизнь мистера Микобера в пресном пересказе реального мира. Он шествует своим путем под грохот эпических барабанов, слышит трубы трагедии, пение флейт и скрипок романтики. Для него настоящая минута—всегда кризис, перелом то ли к лучшему, то ли к худшему, это неважно, лишь бы насладиться им как очередной, самой интересной сценой в пьесе; прошлое—отнюдь не мрачный перечень бед, от которого

отворачивается память, а скорее уж рассказ Отелло о «боях, осадах, удачах», о волнующих приключениях на суше и на море и чудесных избавлениях от неминуемой беды; а будущее, что уже маячит за углом,—счастливая развязка.

Что значит бедность с ее унижительной необходимостью вечно изворачиваться и во всем себя урезывать, с ее убожеством и серостью, для души, так преданной высокой романтике, так опьяненной пышными образами и фразами, так сытно вскормленной медом и млеком слов? Что значат факты, если их сначала отправляют на карнавал романтической фантазии, и оттуда они возвращаются, как разряженные, возбужденные гости, все еще пляшущие под музыку в своих трагических и комических масках? Дэвид, когда жил у Микоберов, незаметный и робкий, как мышонок, был десятилетним мальчуганом, мойщиком бутылок на складе; но мистер Микобер, встретив его снова чуть ли не через десять лет, поднимает бокал «за те дни, когда мы с мистером Копперфилдом оба были моложе и плечом к плечу пробивали себе дорогу в жизни». А в Кентербери, узнав от Дэвида, что тот учится в школе, он замечает: «Хотя ум моего друга Копперфилда и не нуждается в том развитии, которое было бы ему необходимо, не знает он так всесторонне людей и жизнь, это отнюдь не мешает ему быть богатой почвой для произрастания... короче говоря, он с легкостью усвоит самые обширные классические познания». Позже, когда они встречаются в обществе Трэдлса, мистер Микобер рассуждает о своих делах подобно тому, как историк романтического толка, трудящийся над летописью всего мира, мог бы рассуждать о состоянии какой-нибудь великой империи в критический период ее истории.

«В настоящее время, Копперфилд,—продолжал мистер Микобер, искоса поглядывая на Трэдлса,—положение наше скромное и, я бы сказал, неприятное, но вам хорошо известно, что в течение моей карьеры я неоднократно преодолевал препятствия и справлялся с трудностями. Вы знаете также, что были в моей жизни периоды, когда мне приходилось выжидать заранее предусмотренных мною благодетельных перемен. В эти периоды я бывал вынужден несколько отступить, дабы сделать—хочу думать, что меня не обвинят в самонадеянности, если я скажу—дабы сделать прыжок! И сейчас я как раз нахожусь на одном из таких важных этапов своей жизни. Вы застали меня в минуту, когда я отступил, но лишь затем, чтобы сделать прыжок».

А в следующем затем обзоре ситуации, в своей прощальной речи, в которой он умудряется озарить все вокруг неземным светом, подвергнуть сказочному превращению всю мишуру и прозу жизни, перед нами уже весь Микобер, воспаривший высоко над миром «контор и свидетельских показаний».

«Дорогой мой Копперфилд, нет нужды говорить вам, какая это для нас, в теперешних наших условиях, великая отрада иметь под нашей кровлей душу, которая сияет... да, смею сказать, сияет в вашем друге Трэдлсе. При том, что в соседнем доме живет прачка, выставляющая в окне своей гостиной миндальные леденцы на продажу, а в доме напротив живет агент с Боу-стрит, вы легко можете себе представить, что общество мистера Трэдлса является источником утешения для меня и для миссис Микобер. В настоящее время, дорогой Копперфилд, я занимаюсь комиссионной продажей зерна. Это занятие не относится к числу приносящих значительную прибыль, другими словами, оно вообще ничего не приносит, и следствием такого положения вещей являются затруднения денежного порядка. Однако именно сейчас — рад обратить на это ваше внимание — у меня есть основания ждать, что в самом непродолжительном времени кое-что подвернется (я еще не вправе говорить, что именно), и это позволит мне обеспечить не только себя, но и вашего друга Трэдлса, к которому я питаю живейшую симпатию. Быть может, вас не удивит, что, исходя из состояния здоровья миссис Микобер, мы считаем вполне возможным прибавление к тому залогу любви, который... короче говоря, прибавление семейства. Родным миссис Микобер угодно выражать недовольство по этому поводу. Со своей стороны могу только сказать, что это, в сущности, не их дело, и такие их чувства я с презрением отвергаю!»

Это ли не образец парламентского красноречия нашего друга, ведь за каждой его фразой нам видится по меньшей мере пять тысяч годового дохода и полновесная пенсия. Что значит пустой карман по сравнению с таким словесным богатством! Пусть комиссионная продажа зерна — занятие не ахти какое, но когда мы слышим, что оно «не относится к числу тех, которые приносят значительную прибыль», нам почему-то представляется, что стоит говорящему протянуть руку, и к услугам его будут несметные сокровища, он умеет мгновенно перенести нас в атмосферу благоденствия. Что значит счет в банке для человека, на которого, чуть он открывает рот, богатства сыплются дождем, как в сказке, у которого не язык, а сущий алхимик.

Существуя на свете не как жалкий бедняк, еле сводящий концы с концами и скрывающийся от кредиторов, а как герой поразительной летописи под заглавием «Жизнь и деяния Уилкинса Микобера, Любовника, Супруга, Отца, Финансиста и Философа», мистер Микобер инстинктивно хватается за любую ситуацию, равно благоприятную или зловещую, и выжимает из нее все возможное. Перед лицом

таких романтических порывов, такого умения оценить критический момент, насладиться даже пучиной отчаяния и разлукой навеки, невезение вынуждено отступить. И все то будничное и убогое, из чего соткана большая часть наших дней, бесследно исчезает: нельзя даже представить себе, чтобы в жизни мистера Микобера была хоть одна скучная минута. Казалось бы, что может быть тоскливее, чем перспектива получить место поверенного у захудалого стряпчего в городе с древним собором или чем переезд всей семьей из Лондона в Кентербери; но мистер Микобер накануне своего переселения к Урии Хипу рассуждает, как герой древности, только что видевший пожар Трои и теперь пускающийся в увлекательнейшую Одиссею. Да он и есть такой герой. Это мы и слепы, и глухи, и погрязли в унылой повседневности.

«Можно было бы ожидать,—говорит он,—что в канун переселения, открывающего перед нами совершенно новую жизнь, я обращаюсь с прощальным словом к двум друзьям, коих вижу перед собой. Но все, что я имел сказать, я уже сказал. Какого бы положения в обществе я ни достиг, пребывая в кругу собратьев по ученой профессии, недостойным членом которой я собираюсь стать, я приложу все усилия, дабы не посрамить ее, а миссис Микобер, безусловно, послужит ей украшением».

Теперь, когда он может расстаться со своим инкогнито (с фамилией Мортимер и очками, несомненно доставившими ему огромное удовольствие), он говорит как человек, который долго пробыл в изгнании или полжизни скрывался в далеких краях, и речь его взмывает ввысь в соответствии с торжественностью этой минуты:

«Туча, омрачавшая горизонт, рассеялась, и дневное светило вновь засияло на горных вершинах. В будущий понедельник, в четыре часа дня, как только наш дилижанс прибудет в Кентербери, нога моя ступит на родную землю и зваться я буду Микобер».

При первом же упоминании об Австралии («единственно возможная страна для меня и моего семейства», хотя совершенно ясно, что до этого он о ней и не думал) он усматривает для себя новую роль и с головой окунается в нее. Нам сообщают, что уже через час он шагает по улицам Кентербери, «всей своей грубой повадкой заявляя, что здесь он лишь ненадолго, проездом, и разглядывая встречных телят глазами австралийского фермера». А когда планы эмиграции уточнились, он уже становится заправским колонистом. Что может быть лучше тех мер, которые он принимает для ознакомления своего семейства с условиями жизни в Австралии?

«Старшая моя дочь ежедневно в пять часов утра отправляется в одно заведение по соседству для изуче-



ния, если можно так выразиться, процесса доения коров. Мои младшие дети получили указание наблюдать, настолько близко, насколько позволят обстоятельства, нравы свиней и кур, разводимых в беднейших кварталах этого города, и уже два раза чуть не попали под колеса и были доставлены домой чужими людьми. Сам я на прошлой неделе уделял особое внимание искусству хлебопечения, а мой сын Уилкинс, вооружившись палкой, отправлялся пасти скот, когда грубые наемники, в чью обязанность это входило, разрешали ему безвозмездно им помогать, что, должен с сожалением отметить, случалось редко, ибо, как правило, они с ругательствами гнали его прочь».

На корабле он весьма искусно сочетает два типа — моряка и колониста. В соломенной шляпе с низкой тульей и клеенчатом костюме, с подозрительной трубой, «то и дело поглядывая на небо словно в ожидании непогоды», он — заправский морской волк, и мы можем не сомневаться, что он выполнил свое намерение — услаждать небылицами пассажиров, собравшихся в кубрике у огня. А кроме того, он запасся для себя и для своего семейства огромными складными ножами и деревянными ложками и заставляет жену и детей пить пунш из «страховидных оловянных плошек», хотя в комнате сколько угодно стаканов, очень уж ему хочется, чтобы Альбион увидел в нем «обитателя лесной глуши». «Роскошества старой родины мы оставляем позади», — заявляет он с нескрываемой радостью, которая сама по себе — верх роскошества. Счастливый мистер Микобер! С каждым часом он вписывает новые страницы в свою романтическую летопись, пребывая в им же сотворенном прекрасном мире, закованный в броню своей неумемной фантазии, победитель обстоятельств, лишь добавляющий к ним новые варианты своих настроений, как добавляет он в пунш лимонов. В истории романтического идеализма он фигура более крупная, чем большинство его теоретиков, поскольку, изрекая свои «несколько слов» и взирая сквозь монокль на чашу с горячим пуншем, он раскрывает многие философские тайны успешнее, чем целые тома наших Шеллингов и Шлегелей. Счастливый мистер Микобер! С восторгом сочетает он роли Финансиста, Моряка и Пионера, хотя на самом деле всего лишь переезжает в сладком сне из Англии, какой она никогда не была, в Австралию, какую ему еще предстоит выдумать, из одной химеры в другую.

Знаменательный это был день для мистера Микобера, когда он посетил некий дом (надо полагать, в Плимуте) и услышал, как хозяйская дочка исполняет две свои любимые баллады: «Храбрый белый сержант» и «Крошка Тафлин», ибо когда отзвучала «Крошка Тафлин», он уже знал, что либо покорит сердце очаровательной певуньи, либо погиб-

нет. Как мы знаем, он добился успеха, так что Эмма, когда пришло время, сделалась его спутницей в странствиях, делила с ним и радость и горе, словом—стала его женой, миссис Микобер. Лучшего выбора он не мог сделать. Среди выдающихся жен в мировой литературе миссис Микобер достойна занять место рядом с леди Макбет. Микобер и сам великий человек, но хотя это факт, не следует забывать и другого факта, а именно—что при всем своим величием он уподобился бы кораблю без компаса, если бы не «благотворное влияние, которое и освящает, и усугубляет... короче говоря, влияние Женщины в возвышенном облике Супруги». Такой подходящей подруги жизни не было, кажется, ни у одного мужчины. В хорошей жене мы ценим неколебимую верность, несокрушимую преданность, и миссис Микобер как нельзя лучше отвечает этим требованиям, ведь ее верность и преданность не имеют границ. В житейской сутолоке, осаждаемая кредиторами, связанная все растущим семейством, не в ладах со своими родными, она никогда не покинет мистера Микобера. Если найдется циник, который усомнится в силе ее привязанности, пусть перечитает летопись Микоберов, и он будет вынужден согласиться: да, миссис Микобер никогда не покинет мистера Микобера. Если условием счастливого брака позволительно считать некоторую общность вкусов и темпераментов, такая общность у Микоберов налицо. По счастью, характер у миссис Микобер столь же эластичен, как у ее мужа, она так же способна с невероятной быстротой вознестись из бездны отчаяния в эмпиреи застольного веселья. Будь это женщина другого склада, с устойчивыми настроениями, каменным взглядом следящая за вибрирующей стрелкой духовных состояний своего мужа, от ее верности было бы мало толку: дневное светило неминуемо закатилось бы за мрачный горизонт. Но она не уступает мужу в эластичности. «Я сам видел,—вспоминает Дэвид,—как в три часа она теряла сознание, получив налоговую повестку, а в четыре часа ела бараньи отбивные в сухарях и пила теплый эль (оплатив то и другое двумя чайными ложечками, снесенными в заклад). Однажды, когда у них только что описали имущество, я почему-то возвратился с работы уже в шесть часов и застал ее в обмороке—она лежала (разумеется, с одним из близнецов на руках) возле каминной решетки, и растрепавшиеся волосы закрывали ее лицо; но никогда я, кажется, не видел ее такой бодрой, как в тот же вечер, когда она, сидя у камелька, уплетала телячью котлету и рассказывала мне про своих папу и маму и какие у них бывали гости». Однако счастливый брак предполагает не только общность, но и разнообразие. Стороны не должны обладать совсем уж одинаковым характером, быть отражением друг друга, они должны быть достаточно различны для того, чтобы каждый компаньон мог внести в товарищество нечто, чего второму

компаньону недостает, чтобы служить друг для друга и сдерживающим, и стимулирующим началом. Захлопывает ли это последнее условие врата Эдема перед миссис Микобер? Ни в коем случае.

Если в союзе Микоберов Уилкинс парит на крыльях воображения и риторики, то Эмма воплощает начало логическое. Ее задача — неизменно поддерживать своего пылкого и увлекающегося супруга, но при этом обуздывать его порывы и указывать ему путь. И не было еще на свете любящей женщины, лучше приспособленной для выполнения этой задачи. «Эмма на вид очень слабенькая, но в умении проникнуть в суть дела никому не уступит», — говаривал ее отец, а он, несомненно, разбирался в людях. Тем, как миссис Микобер проникает в суть дела, нельзя не восхищаться. Мистер Микобер, наделенный столь богатым воображением, готов воодушевиться любым грандиозным проектом, в любую минуту ринуться в бой, но на долю миссис Микобер остается нелегкая работа: с беспощадностью, отпугивающей более робкие умы, отметить все второстепенные детали проблемы, а затем излагать главные ее аспекты с безупречной, можно сказать сверхчеловеческой, четкостью. Даже на заре политической экономии, в дни «экономического человека», когда учебники были такие же нудные, как сегодня, но, в отличие от нынешних, были хотя бы понятны, — даже тогда экономические проблемы не излагались так ясно, как излагает их миссис Микобер. Ее оценка «Медуэйской торговли углем» — непревзойденный образчик логического мышления.

«— Да, мы все вернулись, — отвечала миссис Микобер. — Я уже советовалась с другими ветвями моего семейства, какое поприще следует избрать мистеру Микоберу, ибо я настаиваю, что мистер Микобер должен избрать себе какое-нибудь поприще, мистер Копперфилд, — добавила она, словно я возражал против этого. — Ясно, что семья из пяти человек, не считая служанки, не может питаться одним воздухом...

— Конечно, сударыня, — согласился я.

— Эти другие ветви моего семейства, — продолжала она, — полагают, что мистер Микобер должен немедленно заняться углем.

— Чем, сударыня?

— Углем. Торговлей углем. Собрав некоторые сведения, мистер Микобер стал склоняться к мысли, что для человека с его дарованиями могут быть шансы на успех в «Медуэйской торговле углем». А раз так, то мистер Микобер, разумеется, решил, что первым делом надо поехать туда и увидеть Медуэй. Мы так и сделали. Я говорю «мы», мистер Копперфилд, потому что я никогда, — тут миссис Микобер пришла в волнение, — никогда не покину мистера Микобера!

Я что-то пробормотал, выражая свое одобрение и восхищение.

— Мы поехали и увидели Медуэй,—продолжала миссис Микобер.—Мое мнение таково, что торговля углем на этой реке, возможно, требует таланта, но капитала она требует несомненно. Талант у мистера Микобера есть, капитала нет. Кажется, мы видели большую часть Медуэя, и такое мнение у меня сложилось. Очутившись так близко отсюда, мистер Микобер заключил, что было бы безрассудно не заехать сюда, чтобы посмотреть на собор. Во-первых, потому что собор заслуживает этого, а мы его никогда не видели, а во-вторых, потому что в городе, где есть собор, что-нибудь может подвернуться...»

Если не считать единственного эмоционального отступления касательно ее верности мистеру Микоберу, которое не только прощительно, но и само по себе достойно восхищения, поскольку доказывает, что кристально ясный ум всего лишь слуга горячего женского сердца,—ни один автор ученого трактата на эту тему не мог бы выразиться понятнее. Не хуже и ее речь позднее, на обеде у Дэвида, когда она со свойственной ей основательностью анализирует перспективы своего мужа. На уголь положить нельзя; и зерно, по ее словам, занятие благородное, но не прибыльное,—«комиссионные в сумме двенадцати с половиной шиллингов и девяти пенсов за две недели не назовешь прибылью, как бы скромны ни были наши запросы». Обсуждает эта преданная и дальновидная супруга также пивоварение и банковское дело, но и там и тут, как явствует из ее слов, предложения мистера Микобера натолкнулись на решительный отпор. А между тем, замечает миссис Микобер, жить нужно. Как же быть? Послушаем, как рассуждает сама эта замечательная женщина, здесь она предстает перед нами во всем блеске.

«— Прекрасно. Итак, что же я советую?—продолжала миссис Микобер.—Вот здесь, перед нами, мистер Микобер, человек разнообразных дарований, огромного таланта...

— Полно, любовь моя,—перебил мистер Микобер.

— Прошу вас, мой дорогой, разрешите мне кончить. Здесь, перед нами, человек разнообразных дарований, большого таланта... я могла бы сказать человек гениальный, но, быть может, я как жена, пристрастна к нему...

Мы с Трэдлсом вполголоса возразили: «Нет».

— И этот самый мистер Микобер не имеет ни положения, ни занятий, которые бы ему приличествовали. Кто несет за это ответственность? Разумеется, общество! И вот я хочу обнародовать этот позорный факт и потребовать от общества, чтобы оно загладило

свою вину. Мне кажется, дорогой мистер Копперфилд,—продолжала она энергически,—вот что должен сделать мистер Микобер: он должен бросить перчатку обществу и заявить: «А ну, поглядим, кто ее поднимет! Пусть этот человек немедленно выступит вперед!»

Я осмелился спросить миссис Микобер, как же это сделать.

— Объявить во всех газетах,—ответила миссис Микобер.—Из чувства долга перед самим собой, перед своим семейством, позволю себе сказать—перед обществом, которое до сей поры не обращало на него внимания, мистер Микобер, по моему мнению, обязан поместить объявление во всех газетах, ясно указав, кто он такой, какие у него таланты, и закончить так: «А теперь дайте мне прибыльное занятие. Обращайтесь письменно, оплатив почтовые расходы, по адресу Кемден-Таун, почта, до востребования У.М.»

Стоит мистеру Микоберу завести речь о юридическом поприще, как миссис Микобер выражает опасение, что, начав с подчиненного положения, он не сможет затем подняться «на вершину древа»,—мысленным взором она уже видит его на посту судьи или канцлера. Заходит ли речь об Австралии, она уже тут как тут: спрашивается о тамошнем климате и условиях жизни—позволят ли они такому человеку, как мистер Микобер, подняться достаточно высоко по общественной лестнице? Как благородно она внушает своему супругу (только что заявившему, что «Британия пусть выкручивается как знает»), что его задачей в этой далекой стране будет не ослабить, а укрепить узы между собой и Альбионом! Ни одна жена не могла бы столь успешно ратовать одновременно за интересы своего мужа и интересы общества. Вспомним ее последний вдохновенный совет:

«— Я хочу, чтобы мистер Микобер занял свое место на носу корабля и твердо сказал: «Я еду покорять эту страну. У вас есть отличия? У вас есть богатства? У вас есть очень прибыльные должности? Так давайте их сюда. Все это мое!»

Мистер Микобер обвел нас всех взглядом: он, казалось, считал, что это весьма здравая идея.

— Скажу ясное: я хочу, чтобы мистер Микобер стал Цезарем своей фортуны,—произнесла миссис Микобер убежденно.—В этом, дорогой мистер Копперфилд, я вижу его предназначение. Я хочу, чтобы мистер Микобер незамедлительно занял свое место на носу корабля и твердо сказал: «Довольно проволоочек! Довольно разочарований! Довольно безденежья! Все это было на старой родине. Теперь у меня есть новая. Я жду возмещения. А ну-ка, давайте мне его»».

После этого у мистера Микобера уже не будет никаких

оправданий, если он откажется «проявить в Австралии свои таланты и завоевать там жезл власти». Все, на что способен боевой дух, женский ум и любящее сердце, отдано ему без остатка.

Логические выкладки миссис Микобер поистине неотразимы, но к миру, в котором мы живем, они не имеют отношения: она живет в мире мистера Микобера и выражает логические и научные позиции его мира. Вечно в отблесках пламенного воображения мистера Микобера, постоянно пребывая в гигантской тени, им отбрасываемой, она, естественно, уже давно перестала видеть пошлую реальность: всю эту реальность поглотил диковинный романтический мир, созданный мистером Микобером себе на потребу. А поскольку нет оснований полагать, будто такому миру, пусть и диковинному, и романтическому, и призрачному, не нужны свои философы-логики, миссис Микобер и выступает в этой роли, она добавляет свою долю к более эмоциональным, более риторическим, более подвластным воображению речам и поведению мужа, придает законченность его миру, подобно тому как придает законченность его жизни своим участием в их счастливом браке. И вовсе не удивительно, что эта женщина, которая, несмотря на свой болезненный вид, никому не уступит в умении проникать в суть дела,— что эта женщина пребывает в состоянии хронического счастливого психоза. Богатое и пылкое воображение, неустанно созидующее, всегда одерживает победу. В конечном итоге даже самая строгая логика оказывается лишь его усердной служанкой. Все мы, одновременно создания и создатели, существуя то внутри, то вовне гигантской трагикомедии, сотканной из крошечной ночи и бесчисленных звезд, в которой мы вынуждены играть предназначенные нам роли и все же умудряемся хоть изредка выступать как соавторы,— добавлять от себя то возглас, то жест,— все мы невольно воздаем должное творческому воображению, усматривая в нем печать божественного начала, а значит, рано или поздно подпадаем под его чары, позволяем его спектральному дождю орошать нас, а его сказочным солнцам дарить нас теплом. В притче о безумном рыцаре, может быть самой чудесной и значительной из всех сказок, Санчо Панса— человек грубого и трезвого ума, воплощенное здравомыслие, и взгляд его прикован к сугубо земным предметам; и все же в конце, протрусив следом за своим господином по стольким извилистым дорогам, он становится таким же фантазером, как и сам Дон Кихот, и носится легким галопом среди всяких сказочных чудес. Так и миссис Микобер взяла в мужья не только самого мистера Микобера, но и весь сонм его грез и химер, так что и она пребывает среди сказочных чудес как идеальная жена и возможный персонаж для несчетных легенд.

До сих пор ничего еще не было сказано о той роли, которую автор уготовил мистеру Микоберу в сюжете романа,—о роли, которая подверглась суровой критике, в том числе со стороны самых горячих его поклонников. Об эмиграции и о чисто материальных успехах мистера Микобера в конце романа мистер Честертон выразился так: «Как мог человек, создавший такого Микобера, под конец отправить его на покой и показать его нам преуспевающим колониальным мэром? Он не преуспел, и не мог преуспеть, ибо царство Микобера—не от мира сего». Сказано хорошо, но даже если согласиться с таким мнением о Микобере, есть что сказать и в защиту Диккенса. Если материальный успех нам преподносят как поэтическую справедливость (а на такую мысль наводит именно то, что Диккенс отправил Микобера в колонии, ибо викторианцы были склонны рассматривать колонии как некий черновой набросок христианского рая и по их понятиям младший сын, несправедливо обвиненный в подлоге и без дальних слов сосланный за море, получил вполне заслуженную награду в виде стада из 10 000 овец),—тогда он просто ни к чему, ибо мистер Микобер и сам поэт и живет поэзией, и никакая поэтическая справедливость ему не нужна. Но если материальный успех—просто новая декорация, на фоне которой мистеру Микоберу легче проявлять свою *микоберность*, тогда его можно оправдать. Последнее, что мы узнаем о Микобере, это что он—«деятельный и всеми уважаемый сотрудник» выходящей в Порт-Мидлбэе газеты «Таймс», и, видимо, он чувствует себя как нельзя лучше, когда строчит одну за другой редакционные статьи для этого влиятельного органа печати. До чего же разительно сходство между Микобером и ранней колониальной и американской прессой, с таким успехом кормившей публику громкими фразами, риторикой и заглавными буквами! После того как настоящая работа началась и пионеры занялись делом, такой Микобер в любой колонии ценился бы на вес алмазов и рубинов—не только как чудак (в этом качестве он где угодно ценится дорого), но как оратор, автор пышных фраз, неиссякающий родник красноречия, как живое воплощение романтического взгляда на жизнь, неувядаемой веры и надежды. Каторжный труд и грошовая риторика приобщили к культуре многие дикие уголки земного шара. Для пионерской деятельности требуются сначала великие работяги, а затем великие говоруны; и не случайно из всех современных государств именно Америка собрала богатейший урожай ораторов и присудила им наивысшие награды. Я не сомневаюсь, что Порт-Мидлбэй обязан своим существованием красноречию мистера Микобера, а значит, наш герой заслуженно удостоился там самых высоких почестей.

Зато для его роли как сыщика в истории Дэвида

Копперфилда действительно не подыщешь оправданий. Читая эти главы, не можешь отделаться от ощущения, что здесь Микобер подвергся насилию со стороны своего создателя: даже юмор натянут и ненатурален. Да что там, весь этот эпизод—сплошная нелепость. Урии Хипу и в голову не пришло бы взять на работу такого человека; мистер Микобер и недели не продержался бы в его конторе; и даже если предположить, что то и другое возможно, он, безусловно, не мог бы утаить, что темные махинации Урии ему известны, и тем более сам до них докопаться, составить их перечень, а затем выждать время для разоблачения злодея. Мистер Микобер в роли финансового ревизора не более убедителен, чем был бы Шелли в роли полицейского сыщика. Вот этот прием—втискивать своих великих комических персонажей в сюжет на самые несусветные роли—один из серьезных изъянов в творчестве Диккенса. И нам просто непонятно, как у человека хватило ума сотворить таких персонажей и как хватило глупости так плохо с ними обойтись, пока мы не сообразим, что к историям, рассказанным Диккенсом, мы относимся не так, как он сам к ним относился. Нам представляется, что истории эти существуют благодаря персонажам; нам дела нет до того, как развиваются события, лишь бы на страницах время от времени появлялись эти полюбившиеся нам создания; многие ли из нас, для кого персонажи Диккенса—живые люди, о которых мы знаем не меньше, чем о близких своих друзьях, могли бы записать хоть один из его сюжетов? Мы давно забыли, как построена фабула. Но Диккенс, писатель до предела добросовестный, воображал, что персонажи существуют для сюжета,—ведь только в «Пиквике» они самоцель, и какая прелестная. И поэтому, когда ему удавалось создать какого-нибудь грандиозного шута, будь то Микобер, или Пексниф, или Скимпол,—ему казалось, что он обязан оправдать количество страниц, занятых такой великолепной фигурой, и он спешил подчинить ее сюжету—обычно до безобразия грубо. Такова была, однако, лишь позиция благонамеренного автора, поверхностного Диккенса; на самом-то деле он был не так глуп и в глубине души сознавал, что эти грандиозные комические фигуры сами себе служат оправданием и вовсе не требуется придумывать для их существования никаких замысловатых сюжетных ходов. Если бы он этого не сознавал, он ни за что не давал бы им занять столько места в книге, не позволял им столько дурачиться и крепко привязывал бы их к сюжету.

Единственное, что в литературе ценнее сюжета,—это характер. Характер—сам по себе уже полсотни сюжетов, основа бесчисленных мифов; и даже это не все, особенно если характер комический. Трагических героев трудно отделить от их историй, мы воспринимаем каждого из них в грозном свете его судьбы и участи; а великие комические



персонажи не умещаются в своих книгах, служащих для них только введением, ибо они—дети свободы и вместе с заумными своими фантазиями свободно существуют у нас в сознании. Книги, в которых мы их встретили, мы, возможно, забыли, даже имен их, возможно, уже не помним, но самые эти образы, давно уже ставшие нам друзьями, над которыми мы готовы снова и снова смеяться и плакать,—их мы не забываем. Их чудачества как-то обогатили нашу жизнь; эти великие фигляры, смеша нас до упаду, запали нам в душу благодаря человеческой философии автора: расставшись с ними, затворив за собой дверь харчевни, где огни, озарявшие их, теперь лишь тускло мерцают за пеленой дождя и ветра, мы более пытливо вглядываемся в ночь, поглотившую последний взрыв смеха, и с обостренным нетерпением предвкушаем завтрашнюю суету и комедию. Только юмор характеров способен всколыхнуть душу. Юмор ситуаций, не вытекающих из характеров, как бы искусно эти ситуации ни были построены, в лучшем случае только сложная игра, всплески на поверхности воды. А юмор характеров проникает глубже и неизбежно, но бережно касается самых корней единой для всех нас человеческой природы.

# Открытый дом (1927)



## ОТКРЫТЫЙ ДОМ

Рядом со мной за столиком обедал мужчина, похожий на кого-то из моих давних знакомых; я никак не мог вспомнить, кого же он мне напоминает, и тут меня осенило. Дядя Джордж! Конечно, это был другой человек, дядя Джордж теперь уже состарился или умер. Сосед по столику напомнил мне прежнего дядю Джорджа, каким я знал его в детстве, и сразу в тайниках памяти пробудились воспоминания о давно минувшем. Должен вам сказать, что дядя Джордж не доводился мне родственником, он был дядей моего старого школьного приятеля Гарольда и самой замечательной личностью в семействе Торло. Жил он в другом городе—я так и не узнал, где именно,—и, разъезжая по деловым надобностям, любил нагрянуть к нам неожиданно. В нашем провинциальном обществе его считали большим космополитом. В те годы для таких несмышленишек, как мы с Гарольдом—а впрочем, и для всех Торло,—дядя Джордж был пришельцем из большого мира. В его рассказах перед нами как наяву вставали Лондон, Париж, Нью-Йорк. От него мы узнавали о мюзик-холлах, метрдотелях, шулерах, красавцах-экспрессах, с умопомрачительной скоростью пронесившихся мимо как символ богатства, перед которым открыт весь мир. Присутствие дяди Джорджа в доме я ощущал сразу же, едва переступал порог, и нисколько не удивлялся, когда Гарольд, его сестра или мать сообщали шепотом: «Дядя Джордж приехал!» А вот и он собственной персоной в большом кресле у рояля просвещает нас, шутит, загадывает девчонкам загадки, предлагает спеть хором (любитель легкой музыки, он иногда привозил ноты нового мюзикла, ставшего гвоздем сезона в «Гейети») или рассказывает, какой забавный случай приключился с ним в лондонской гостинице. По доброте своей он делает вид, будто такой же простой смертный, как и

мы, а на самом деле он сказочный гость, все равно что Гарун аль-Рашид, и сам прекрасно это понимает.

Вместе с дядей Джорджем в памяти моей ожило все семейство Торло. Такие люди встречаются нам только в детстве, возможно потому, что в провинции раскрываются все их лучшие стороны, а в лондонском климате они блекнут и никнут. Если сказать в двух словах, они были само радушие, само гостеприимство, искреннее и душевное: двери в их доме были всегда открыты. Они совсем не походили на лощеных лондонских остряков, светских львиц и вульгарных толстосумов, чьи дома поистине стали чем-то вроде привокзальных гостиниц. Больше всего на свете они любили, когда в их доме собирались родственники и друзья, друзья родственников и родственники друзей. У них не водилось лишних денег, они были небогаты, но миссис Торло не раз до последней монетки опустошала свой потертый хозяйственный кошелек, чтобы принять гостей как радушная хозяйка. Торло никогда не устраивали чинных обедов и не могли себе этого позволить, даже если бы захотели, поскольку в их тесную столовую всегда набивалось гостей раза в три больше, чем можно было в ней рассадить. Зато Торло славились своими чаепитиями, тут уж кипяток лился рекою, и невесть откуда выплывало невероятное количество непарных чашек и блюдец; и еще замечательно получались у них ужины на скорую руку, когда за столом было много веселой суеты и все вокруг так хлопотали, чтобы каждому нашлось место, непрестанно передавали друг другу то одно, то другое, что забывали о еде.

Дом Торло был пронизан лучами такого горячего гостеприимства, что, казалось, на столе в избытке всякой снеди, а пиршеству нет конца. Довольно было чашки не очень горячего чая и половины бутерброда, чтобы самозабвенно предаваться веселому обжорству. стакан дешевого портвейна в этом доме не мог сравниться с целым ящиком марочного вина в любом другом месте. В атмосфере всеобщего праздника утрачивало всякое значение, что ты ешь, разные там кексы, эль, да все это казалось сущими пустяками. У Торло собирались вечерами по субботам и воскресеньям — «заглядывали на огонек», как принято было говорить, и если вы впервые оказались в этом доме, то, наверное, подумали бы, что попали на рождество, Новый год, день рождения или свадьбу. Несколько человек беседовали в холле, кто-то закусывал в столовой, дамы болтали в большой спальне, а в гостиной толпилась куча народу. Никогда больше не приходилось мне видеть такой комнаты, как эта гостиная. Довольно тесная, она, похоже, могла вместить бесконечное число гостей. То, что гостиная бывала битком набита, вовсе не означало, что никто больше не мог в нее втиснуться (всем всегда находилось место), — просто трудно было вообразить

нечто подобное. Лица присутствовавших обыкновенно воспринимались на трех уровнях, поскольку одни гости стояли, другие сидели на стульях, а большинство располагалось прямо на полу. Мой приятель Гарольд, свято убежденный в том, что музыка доставляет тем больше наслаждения, чем громче она звучит, не жалея сил, колотил по клавишам рояля, а вокруг стоял ужасный гвалт, щеки гостей пылали, и все были несказанно счастливы.

Всюду, где бы ни поселились Торло, вокруг них сразу же возникала атмосфера радушия. Помню, как-то летом они сняли небольшой коттедж—на краю заболоченной пустоши, и вот солнечным утром в субботу или в воскресенье, проделав немалый путь пешком, я наконец добрался до них. Еще издали я услышал громкие голоса и смех. Коттедж был битком набит гостями, и все они ели, пили, передавали друг другу тарелки, кто-то заваривал чай, кто-то ставил чайники на огонь, кого-то отправляли за водой, а кого-то за молоком. Все объясняли друг другу, как это им вздумалось заглянуть к Торло, и каждого нового гостя встречали оглушительным хором приветствий. (Я смутно припоминаю, что и дядя Джордж был там, хотя, возможно, меня вводит в заблуждение неосознанное желание литератора нарисовать этакую идиллическую картину.) Думаю, поселись Торло в чумном бараке на каком-нибудь богом забытом болоте, все равно к ним набилась бы толпа хохочущих гостей. Дело не просто в том, что им нравилось собирать вокруг себя людей,—эта страсть есть у многих, но, побывав раз в подобных домах, забываешь о них навсегда. Весь секрет в том, что Торло излучали такое добросердечие и жизнерадостность, что гость сразу же чувствовал себя как дома. В их обществе невысказано было держаться чопорно, надменно или скованно, и каждую случайную встречу они превращали в радостное семейное торжество. Если вас просили спеть, вы без лишних уговоров вставали и пели. Помню, я, нимало не стесняясь, до хрипоты распевал комические песенки, и по сей день, наверное, разные люди в самых далеких уголках вспоминают обо мне как о подававшем надежды певце, будущем Генри Литтоне—«помните, приятель Гарольда, который исполнял комические песенки». Люди, некогда вместе со мной бывавшие у Торло, в самых неожиданных местах останавливали меня и, держа за пуговицу, спрашивали, не разучил ли я новые комические песенки, а стоило мне открыть рот, как они тут же покатывались со смеху.

И вот теперь, когда они все с такой отчетливостью ожили в моих воспоминаниях, я многое отдал бы за то, чтобы сегодня вечером снова отправиться к Торло. Увидеть мистера Торло, веселого задиру с ослепительно голубыми глазами, вспомнить, как он разносит гостям сомнительный портер,

подтрунивает над девицами и распекает их кавалеров. Увидеть его жену, миниатюрную темноволосую женщину, такую подвижную, будто вся она на пружинках; всегда улыбающаяся, неутомимая, она сновала в толчее, как блестящий челнок. Увидеть толпу раскрасневшихся, орущих и счастливых людей, большинство из которых я даже не знал по имени и чьи лица теперь стерлись из моей памяти. Милые смешные человечки, куда им до элегантных, образованных, блистательных личностей, знакомством с которыми я могу теперь похвастаться. Но в моих воспоминаниях они согреты прошлым неповторимым счастьем и светят мне из удивительного золотого века с его скромными провинциалами, дешевым портером, шуточками и комическими песенками. Неужели этот радушный дом, полный света и тепла, постигла та же участь, что и все вокруг, неужели он осиротел, и теперь в нем царит мрак и запустение? Как бы то ни было, но в моей памяти, пусть всего лишь на час, в нем загорается свет, ярко пылает огонь в камине, двери широко распахнуты, приглашая гостей в открытый дом воспоминаний.

## БЕРКШИРСКИЕ ЗВЕРИ

Я увидел себя в большом парке вместе со старой знакомой нашей семьи — назовем ее мисс Твидлтоп, — особой ничем не примечательной и довольно безликой, с которой я не встречался уже целую вечность. Такие люди имеют обыкновение неожиданно-негаданно являться в снах через много лет, когда мы и думать о них забыли. Загадочным образом проникают они к нам в подсознание, по-хозяйски осматриваются там, а потом, вытерев ботинки и вдохнув поглубже, всплывают в наших снах. Итак, я прогуливался по парку вместе с мисс Твидлтоп и почему-то знал, что мы здесь не одни, а в компании друзей, с которыми решили пройтись и осмотреть окрестности. Не могу объяснить, откуда мне все это было известно, потому что сон начался с того момента, как мы то ли очутились в хвосте, то ли ушли вперед, оставив далеко позади наших спутников; кстати сказать, мне так и не довелось их увидеть. Мои сны словно эпизоды одного большого романа, печатающегося с продолжениями: я никогда не знаю, начало это или конец, хотя сам я одно из главных действующих лиц, а еще и драматург, режиссер, рабочий сцены. Поскольку у меня всегда довольно смутное представление о событиях, предшествовавших моему выходу на сцену, то я стараюсь в общих чертах обрисовать для себя ситуацию. Так и на сей раз я знал, что мы здесь на прогулке в дружеской компании.

Мы вышли на проезжую дорогу; она уходила вдаль, изгибаясь широкой петлей, хотя местность была совершенно

ровная. Окрестности напоминали Ричмонд-парк, только более ухоженный и искусно спланированный. Скорей всего это были владения какого-нибудь герцога или иной знатной особы. Не спеша, чтобы не утомить мисс Твидлтоп, мы брели по дороге, болтали о том о сем, как вдруг впереди я увидел нечто, поразившее меня,—стадо диковинных зверей. Они были разных размеров, но самый крупный из них наверняка вдвое превосходил взрослого слона. Да они и были похожи на слонов, только туловище у них заметно сужалось от чудовищно огромной головы к хвосту, и, хотя огромные уши напоминали слоновьи, хоботов у зверей не было. Я не укротитель диких львов, и в присутствии незнакомых животных мне, честно говоря, бывает немного не по себе, но, думаю, даже укротитель львов и охотник на слонов вряд ли решились бы приблизиться к этим исполинам, словно бы сошедшим с иллюстраций к «Истории Земли». Между тем мисс Твидлтоп шествовала вперед как ни в чем не бывало, хотя не могла не заметить удивительных созданий, к которым мы с каждым шагом приближались.

— А вот и беркширские звери,—произнесла она чуть нараспев небрежным светским тоном. Это было сказано между прочим, как если бы ваш спутник сообщил вам: «Это Кантри Корт» или «Это памятник Альберту», не видя в том причин для волнений и полагая, что вы воспримете его слова столь же невозмутимо. Судя по всему, мисс Твидлтоп не сомневалась, что я, как все на свете, прекрасно знаю, кто такие беркширские звери. Тем временем мы подошли к ним совсем близко, и я разглядел, что шкура у них темно-зеленая, довольно морщинистая и блестящая, напоминающая нечто среднее между кожей дешевой дамской сумочки и переплетами тех уродливых изданий поэзии, какие обычно преподносятся в подарок; только перед нами было существо в несколько тысяч раз крупнее самой вместительной сумочки или самого грандиозного тома со стихами Теннисона. Звери ошеломляли своими размерами. И тут я заметил, что все они, как мужские, так и женские особи, как старые, так и молодые, были в очках. Да, да, в очках без оправы, какие любят носить очень умные, образованные люди. Разумеется, очки у зверей были во сто крат больше человеческих. У взрослых чудовищ каждое стекло казалось величиной с суповую тарелку. Когда звери поворачивали головы, стекла в очках вспыхивали на солнце. Меня это несколько не позабавило. Помню, сначала я счел все это немного странным, не более того. Но потом, если мне не изменяет память, мне почудилось, что звери, уставившись на нас сквозь очки или поверх их, выглядели как-то особенно устрашающе.

Все это, разумеется, промелькнуло у меня в сознании за одно мгновение, пока мисс Твидлтоп произносила свою фразу. Вместо того чтобы сознаться, что мне ничегошеньки

не известно о беркширских зверях, и, воспользовавшись случаем, расширить свои познания в области естественной истории страны сновидений, я как последний идиот и к тому же сноб, уступая дурному светскому предрассудку, сказал столь же небрежно: «Действительно, беркширские звери». Словно не кто иной, как я, много лет присматривал за ними или полжизни отдал охоте на этих животных, преследуя их по вольным пастбищам (каких же размеров должны быть эти пастбища!), словно я был тем самым полоумным окулистом, который снабдил их очками,— вот что подразумевал мой небрежный тон. Но тут я решил, что, пожалуй, самое время повернуть назад. Два исполина медленно двинулись в нашу сторону, и при виде этого кровь застыла у меня в жилах. А мы все шли им навстречу, будто это были обыкновенные коровы или овцы, а не чудовища высотой в двадцать футов. Правда, очки наводили на мысль, что перед нами не простые чудовища, они, должно быть, имеют представление о приличиях и, вполне возможно, что даже отрицают насилие, как те книжники, чей воинственный пыл уходит в полемику и научные споры. До сих пор остается загадкой, почему мы считаем близорукость признаком добродушия, но как бы то ни было, убийца в очках кажется нам особенно отвратительным и извращенным, словно младенец, которого застали на месте преступления при попытке отравить свою няню.

От стада отделилось одно чудовище, вероятно вожак, судя по его особо выдающимся размерам, и всей своей тушей двинулось нам навстречу. В каких-нибудь десяти ярдах чудовище остановилось, опустив голову и глядя на нас поверх очков. Оно до сей поры так и стоит у меня перед глазами—с невероятно огромной головой, темно-зеленой морщинистой шкурой, очками, воздвигнутыми на плоском носу шириной не менее восемнадцати дюймов. Медлить было нельзя—бежать, скорее бежать, хотя вокруг никакого укрытия, где можно было бы спрятаться. Но крик замер у меня на губах, поскольку мисс Твидлтоп, не удостоивая чудовище вниманием, невозмутимо шагала вперед, будто мимо табачной лавки. Звери не вызвали у нее никакого интереса. Но если она знала их и не боялась, то и у меня не было причин для паники. Правда, не эти рассуждения удержали меня от бегства, а просто-напросто страх, что старая дева поднимет меня на смех. Я уже чувствовал себя черным жуком, раздавленным мальчишкой. Еще мгновение—и эти диковинные очки обогрятся моей кровью.

Однако ничего подобного не случилось. Мы прошли под самым носом вожака, а он только проводил нас взглядом, чуть печальным и скептическим. Трудно было в это поверить, но очки без оправы сделали свое дело. Наверное, зверей не случайно заставили носить очки. В стародавние времена, когда эти животные были обыкновенными чудови-

щами без очков, никто в мире не мог сравниться с ними в коварстве и свирепости, но теперь благодаря простой конструкции из стекла и проволоки они стали добродушнее многих наших ближних. Наверное, женские особи учились вязать на гигантских спицах, а мужские предавались философствованиям и рассуждали о смысле учености и познания, но не берусь утверждать с уверенностью. Правда, кое-что я все-таки выяснил, поскольку мисс Твидтоп обронила еще две фразы, прежде чем отправиться назад в чулан моих забытых воспоминаний. «Вообще-то,— произнесла она своим небрежным тоном,— теперь их разводят только ради их пения».

Она держалась все с той же светской непринужденностью, а я вел себя все так же глупо, и вместо того, чтобы откровенно сознаться в своем невежестве и попросить объяснения, я снова изобразил полную осведомленность и сказал: «В самом деле? Только ради пения?» Я, несомненно, рассчитывал, что, когда мы присоединимся к остальному обществу, я, задав как бы между прочим один-два вопроса, выясню все, не расписываясь в собственном невежестве. Но меня ждало разочарование, я получил по заслугам за свою глупость. Мисс Твидтоп слегка возмутилась, уловив в моем тоне сомнение в столь редких способностях зверей. «Да,— заявила она с вызовом.— Они прекрасно поют». Но не успела добавить больше ни слова, так как вдруг все исчезло— и она, и чудовище, и парк, и яркий солнечный день, захлопнулась крышка ящика с ночными чудесами. Нос мой вдохнул утреннюю прохладу, и парк скрылся где-то далеко-далеко за Сириусом. Но я знаю, что в сумрачной стране сновидений есть край, где живут беркширские звери и поют хором песню утренних звезд. До чего же красиво они поют!

## АМЕРИКАНСКИЕ ЗАМЕТКИ

Вот уже несколько недель, как большую часть дня я провожу с приезжими американцами, нахлынувшими ныне в город. Я всякий раз переносюсь в Нью-Йорк на ленч или на чаепитие в Чикаго и начал уже бойко рассуждать о Среднем Западе и называть проспекты—авеню. Не подвергая свою мораль проверке в Эллис-Айленде, не поддаваясь уговорам прочесть очередную лекцию в бессчетном женском клубе и не обедая мороженым и свежим тортом из кокосовых орехов, я накопил немало наблюдений и даже стал задумываться в шутку, не написать ли мне, не покидая Лондона— дабы не упускать счастливый случай,—еще одну из этих всем известных книг американских впечатлений. Это совсем нетрудно. Все сведения из истории и географии я бы списал в энциклопедии. Из старых номеров нью-йоркских сатириче-



ских изданий я выбрал бы пяток-другой смешных историй и разбросал бы их там-сям для оживления рассказа. Ну, а добыть потребные для дела фофотографии Ниагарского водопада (с американской стороны), небоскреба Вулворта, огромного нью-йоркского вокзала, названия которого я никогда не помню, и президента Кулиджа мне б не составило труда. На протяжении двух глав, а то и больше я мог бы восклицать на все лады, что это замечательная нация, превозносить ее гостеприимство и радушие и снова повторять, что это замечательные люди, радушнее которых нет на белом свете. Я мог бы также выразить уверенность, что будущее мира в их руках, но нет, я прежде бы удостоверился, что гонорар за предстоящие мне лекции и отчисления под эту книгу составят больше некоторой суммы. Подобный опус, созданный без всякого труда и совершенно легковесный, наверное, попал бы в список лучших книг сезона, особенно рекомендуемых издательством, а это очень льстит писательскому самолюбию. Я думаю, такая книга принесла бы деньги, как их всегда приносит явное бесстыдство. Но все-таки пока я не уверен в будущих доходах, я ограничусь краткими заметками — немногочисленными блестящими из припасенной впрок коллекции сокровищ.

С американцами то сложно, что мы не знаем, как к ним относиться, они для нас ни то ни се. И сложность эта возникает с первой же минуты, определяя все дальнейшее. Сначала кажется разумным считать их нашими «заморскими кузенами», и большинство британцев так и делает. Вы скажете, они такие славные и держатся вполне пристойно: жестикулируют, и говорят, и одеваются без всяких вычур, не то что греки или русские; при всех различиях, которых с каждым днем становится все больше, у нас один язык; они и с виду нас напоминают, это не чужаки, а родственники — все обстоит как можно лучше. Увы, все обстоит совсем не так прекрасно. Начав от этого конца, мы вскоре испытаем недовольство, ибо за сходством вскроются непостижимые различия. Досадно, когда люди, столь на нас похожие, и говорят, и мыслят так нелепо. Кузену бы достало здравомыслия не называть железнодорожную станцию «депо». Все знают, что родня нам докучает больше, чем соседи, и эти злобно-сумасбродные кузены гораздо больше задевают наши чувства, чем истинные чужаки. В нас постепенно появляется предвзятость, и мы кончаем тем, что ополчаемся на все это чудное племя. Намного лучше считать их поначалу чужестранцами, такими же далекими, так турки и литовцы, мало-помалу открывая общие черты и радуясь нечаянному сходству. Уж если это иностранцы, воскликнем мы в конце концов, то самые прекрасные на свете, а думать так приятней и полезней. И все же трудности на этом не кончаются.

Готовясь нанести последнюю великую обиду, я предпош-

лю ей легкие суденышки приятных впечатлений в надежде, что смягчу удар. Позвольте мне начать с того, что, чем я больше узнаю американцев, тем меньше понимаю, на чем основана их слава хвастливой и самодовольной нации, тем больше удивляюсь, когда они приносят извинения, а это происходит очень часто, за тех, других, мифических, по-моему, американцев, которые самодовольны и хвастливы. Возможно, мне везло, и я их просто не встречал, но не могу отделаться от мысли, что молодцы, которые кричат, что в их стране все—больше и все—лучше и что Америка выиграла мировую войну, и есть те самые несуществующие янки, которые все переводят в денежные знаки и обитают в том же странном мире, что и болтливые ирландцы и шотландцы, не пропускающие фразы без крепкого словца. К тому же самомнения Европе и самой не занимать. Чтоб посмотреть, как выглядит бездонное, незыблемое самомнение, возьмите англичанина, выпускника закрытой школы и колледжа, который думает, что только извращенцы равнодушны к крикету, и засмеет невиннейшего человека, не знающего в совершенстве всех тонкостей охотничьего ритуала. Чтобы увидеть окончательную уозость и неумение понять чужую жизнь или чужую точку зрения, заговорите с первым же французом, с которым вы столкнетесь на бульварах. Чтобы узнать, как выглядит надутое, огромное, ошеломляющее чванство, взгляните на немецкого учителя. Американец скромн рядом с ними, пожалуй, даже слишком скромн, можно сказать, томим желанием учиться у других и очень простодушен в своем стремлении снискать немного одобрения европейца. У большинства его сограждан, с которыми я только что встречался (хотя они, конечно, могут отличаться от тех, что оставались дома), совсем другая слабость: они, по-моему, недостаточно американцы, недостаточно уверены в себе и слишком часто жаждут походить на снобов из английского поместья, на тошнотворных завсегдатаев бульваров и на неумных немцев-педагогов. А если говорить об остальном, я с удовольствием признаю, что оценил их доброту и щедрость, которая идет от истинной сердечности, соединенной с пылким интересом ко всем и всяческим занятиям и людям. Нельзя не восхищаться такими энергичными, здоровыми, разумными людьми, такими привлекательными женщинами, такими крепкими мужчинами. Во многих-многих случаях, бывали ли они гостями, хозяевами, спутниками или собеседниками, я ощущал неловкость за себя и за других британцев.

И все-таки мое к ним отношение ужасно осложняется одним особым обстоятельством, в котором я спешу покаяться, хоть все равно не вижу, как его загладить. Сознаю, что американцы не кажутся мне настоящими людьми. Не кажутся, как и китайцы. Но раз уж они говорят и выглядят, как

люди, а не фарфоровые или лаковые статуэтки, я их считаю чем-то вроде идеальных роботов. На большее мое воображение не способно. Я не могу увидеть в них живые личности. И не могу поверить про себя, что им дано мечтать, желать, иметь бессмертную душу. Как это правильно и мудро, что именно они придумали бихевиоризм, теорию, в которой упраздняется сознание и человека объясняют через поведение — реакции и стимулы. Такими мне и кажутся американцы — им подбирают способ поведения и отмеряют, сколько нужно плоти, нервов, все это чистят, одевают, делают разумным, милым, приятным в обхождении и, наконец, заводят, как часы. Не верится, что и они наделены сознанием и что в мозгу у них идет безостановочная, потаенная работа. Я не могу вообразить, что они сами сознают себя как личности. Вчера, когда мы расходились после ужина, где только я был гостем-англичанином, я усомнился в том, что спутники мои куда-то направляются, мне показалось, что, захлопнув дверь, они рассеются и растворятся в воздухе.

Мне неизменно представляется, что эти люди действуют и движутся все разом, как говорят — одно и то же и в одно и то же время, словно один какой-то вездесущий человек. Поэтому, когда я слышу, что некое произведение распродано в Америке в количестве пятидесяти тысяч экземпляров, мне чудится, что сомкнутой колонной все эти пять десятков тысяч человек шагают к магазину, как на демонстрации. И я не ощущаю боли, читая о чудовищных пожарах и страшных железнодорожных катастрофах, унесших сотни жизней, если они случаются в Америке, ибо из-за того, что люди там не настоящие, я не могу поверить, что они и впрямь убиты или искалечены; мне кажется, что их упаковали и куда-то увезли, остановив завод, который прежде привели в движение. При таком моем отношении к Америке заокеанская поездка могла бы обернуться редким приключением, ибо случилось бы одно из двух: либо американцы постепенно на глазах очеловечились и обрели бы каждый ум и душу мне на диво, либо я оказался бы единственным живым среди несметных миллионов роботов и кончил тем, что стал бы солипсистом. Быть может, все эти убийства, которых совершается так много в том краю, всего лишь дело рук заезжих солипсистов, уверенных, что, превращая в трупы говорящих кукол, они участвуют в смешном спектакле театра теней. Но очень может быть, что те американцы, которых я встречал последние недели — спешащие, улыбчивые, говорливые созданыя, — сочли, что я и мне подобные в такой же мере нереальны, ведь жизнь умеет пошутить! Должно быть, в эту самую минуту они себе доказывают, что мы никак не можем быть живыми, а кто-нибудь из авторов уже строчит эссе на эту тему. И только справедливо кончить этой отрезвляющей мыслью.

## СОН В ЛЕТНИЙ ДЕНЬ

Когда-то я был юн и дерзок духом и пылко следовал учению таких философов, как Гегель, стоявших на позициях крайнего идеализма. Как и они, я отрицал материю и верил, что сознание—первопричина мира, а так как споры были главной моей страстью и огорошивать людей рискованными парадоксами было моим излюбленным занятием, я черпал много радости из этих взглядов. В начале одного романа Э. М. Форстера—и что это за дивное начало!—описан философский спор студентов-старшекурсников, или, точнее говоря, пирушка, участники которой говорят об «умном»—о том, реальны ли коровы, пасущиеся на лугу. Одни считают, что коровы там пасутся, глядят ли на них люди или нет, другие говорят, что для того, чтобы коровы обрели существование, необходимо посмотреть на них поверх забора. Как много вдохновенных и счастливых вечеров я вызывал этих животных к жизни, заглядывая в споре за воображаемый забор! Как часто время весело катилось за полночь, пока я в соответствующем тевтонском обрамлении—за кружкой пива, с трубочкой в зубах—метал в юнцов попроще (и, должно быть, поумнее) все эти крепкие орешки на счет реальности и мнимости, все эти парадоксы о том, что значит высшая свобода, теперь уже изгладившиеся из памяти, как карточные фокусы, которые я знал когда-то в детстве—в более нежную и, надо думать, менее несносную пору моей жизни. Я не веду теперь метафизические споры, а если б вел, стоял бы на других позициях. Но и сейчас мне свойственны порой такие состояния, какие и не снились самым романтичным из философов-идеалистов, когда я чувствую примерно то же, что индусы, которые, уединясь в джунглях, проводят время в неподвижности и созерцании вечных истин, считая внешний мир пустой игрой воображения.

Довольно любопытно, что чувствую я это именно тогда, когда и сам живу примерно так же, как индийские философы. Недолгою порой, когда на землю падает достигшее расцвета лето, затапливая нас на время солнцем, как водой, меня вдруг покидает ощущение реальности. Это сияющее лето пришло и к нам в последнюю неделю, и утра стали шествием голубизны и золота, полуденной жарой искрятся дни, закаты освещают небо бронзой, и среди этого великолепия я двигаюсь, как человек, бредущий в полусне. Не знаю, что со мною происходит, наверное, дело в непривычности синего купола и яркой, спекшейся земли, объемлющих меня со всех сторон. Я понял бы того, кто счел бы окружающее грезой в ту нескончаемую пору, когда стоит дождливая, туманная погода, и призраки холмов видны в слезящиеся окна, и в серый сумрак театра теней погружены поля, деревья и дорога, но мне тогда не изменяет чувство

подлинности, и я, как истый сын земли, ступаю, ощущая под ногами ее твердь. Напротив, можно было б думать, что солнечный потоп, в котором все приобретает четкий, ясный контур и мир лежит коробкой новых красок, заставит каждого из нас принять несокрушимую реальность жизни, но, как мне кажется, само всецелье света гонит явь и превращает все вокруг в иллюзию.

Нельзя сказать, что я один кажусь себе живым. И я не думаю, что остальные люди мне лишь снятся, но все-таки на них лежит налет какой-то фантастичности, и потому, хотя они доступны для общения и нимало не утратили твердости своей телесной оболочки, мне чудится, что все они участвуют в спектакле, идущем под открытым небом. Когда я издали гляжу на них при блеске солнца, гляжу на эти яркие фигурки, пересекающие зелень луга или стоящие на фоне полыхающих цветов, они мне видятся другими, чем обычно, как будто здесь в саду дается костюмированный бал. Белеют пятна женских платьев, неспешно движутся мужчины, одетые в костюмы из фланели, у розовых кустов и у клубничных грядок, как бабочки, трепещут личики детей — все и знакомо до смешного, и в то же время незнакомо, как будто по какому-то невысказанному поводу все люди вдруг переоделись, а я об этом ничего не знал. Я не хочу сказать, что мне это не нравится, они мне так милее во сто крат. О да, я ими очарован, но все-таки они меня смущают и заставляют чувствовать себя немного не в своей тарелке. Конечно, я и сам лишь маска в карнавале, но, так как мне себя не видно, мне кажется, что я в нем не участвую, а лишь гляжу на остальных, принарядившихся для праздника, куда меня забыли пригласить. Когда я вижу то особое достоинство, с каким ступают старики, и замечаю, как сияет молодежь, таинственно прелестная, даже красивая при ярком свете солнца, то начинаю понимать, что ощущает муж актрисы, когда она, в которой все ему знакомо до мельчайшей черточки: все повороты головы, и переливы голоса, и каждый взмах ресниц, вдруг появляется на сцене в чепчике и фижмах или в каком-то странном, пышном кринолине, с обсыпанными пудрой волосами, — щемяще незнакомая, она проходит перед ним в чужом обличье и улыбается из прежнего, утраченного мира. Если мне ведом отголосок чувства, которое ему случилось пережить, то потому только, что я брожу в разгаре лета среди своих чудесно изменившихся друзей.

Как бы то ни было, на этой сцене мы все играем свои роли, участвуя в какой-то титанической феерии, которая и впрямь затягивает дни вуалью грезы. Вот уже третьи сутки я двигаюсь, и говорю, и исполняю свою роль в волшебном мире. Нет ничего сейчас прекрасней сада, где колдовская путаница розовых кустов склоняется над яркими лужайками,

где радостное облачко люпинов и дельфиниумов висит на фоне дальнего пожара маков, где блеск и тень листвы сплетаются в подвижные узоры, и все же этот сад не более чем видимость. Я восхищаюсь, затаив дыхание, но, так сказать, не верю жизни на слово. Ведь каждую минуту он может — раз! — и скрыться, словно не был. Все эти золотисто-изумрудные лужайки и тлеющие угольки цветов хрупки, словно стеклянные. Когда я днем сижу в шезлонге и уношусь на острова блаженства, имя которым Бутерброды с Огурцами и Китайский Чай, любясь на лежащую передо мной картину, она мне кажется лишенной всякой плоти, и при желании, будь у меня такое злое сердце, ее нетрудно было бы проткнуть мизинцем. Какой-нибудь недобрый и досужий полубог мог бы свернуть ее, как свиток, и обнажить привычную траву и листья, упругие на ощупь, которые садовники стригут и подрезают, а после грузят на тележки и увозят. Все это просто превосходный трюк или, скорей, божественная пьеса, поставленная наспех, но с размахом — на диво слаженно, без мысли о расходах, — которую сегодня нам показывают, а завтра увезут в другое место. Когда мне в полдень хочется полчаса подумать, я не решаюсь закрывать глаза — а вдруг, когда я их открою, празднество исчезнет и чары света, запаха и цвета умчатся вдаль, оставив нам все тот же серый сад под тусклым небом и невидимкою стоящего Просперо со сломанной волшебной палочкой в руках?

Смешно смотреть, что делается за оградой сада, к каким уловкам прибегает наша деревушка, стараясь доказать свою «всамделишность». Как только открываются большие деревянные ворота, слишком высокие, чтоб можно было заглянуть за верхний край, она немедленно ставит два-три ярких, необсохших задника, где есть изображение волнистых крыш и серовато-розовых домов с едва прописанными интерьерами, где нарисован спящий кот, собака или две собаки, где лишь едва намечены луга, все в золотых и белых звездочках мазочков, и где слепящее стекло дорог уходит в голубое и зеленое; по мере вашего передвижения она переставляет декорации. Но этим ей не провести и самого занятого материалиста. Сегодня утром (то было третье утро летнего дурмана) я вышел из дому на цыпочках в надежде, что она устала притворяться и я смогу застать ее врасплох, — не тут-то было! Она была готова к моему приходу: фасад у деревенской школы был совсем как настоящий, он выглядел как сделанный из камня — довольно дорогая вещь для «реквизита», — из окон доносился шум, искусно подражавший детским голосам, поющим гамму, наверное, чтобы я вспомнил собственное детство. Здесь был викарий в белой пелерине, но тотчас скрылся на своей новехонькой машине. Но и с викарием, и с пеньем гаммы, которые так замечательно

придуманы, что я снимаю перед ними шляпу, я все равно не верил ни минуты, что это явь, а не гигантская дневная греза. Я шел в полнейшем одиночестве среди бесцельных и летучих образов вещественного мира. В том зале жизни, куда слетаются лишь призраки, кто-то неведомый, но близкий мне по духу развесил дивные сквозные гобелены, чтобы, пока на нас глядит с небес этот цветущий полдень года, мы сбросили на время иго повседневности и тяжкое давление угрюмой и безжалостной действительности, которая воспрянет вновь с дождем и ветром. Пока стоит в зените лето, мы можем, если нам немного повезет, изведать лучшее, что есть у двух различных ликов мира: невозмутимое спокойствие философов-индусов, укрывшихся в чащобе джунглей, и удовольствие ребенка, который смотрит пантомиму.

## КАК Я МЕНЯЛ СУКНО НА ЛОМБЕРНОМ СТОЛЕ

Все соглашались, что на ломберном столе нужно обновить сукно. Вместо гладкого зеленого поля, на котором так радует глаз хоровод червей и пик, наш ломберный столик давно стал похож на чаклую лужайку в парке в каком-нибудь закопченном промышленном районе. Сукно выцвело, протерлось, стало невзрачным, достойным разве что шестерок треф. Собирались пригласить местного столяра, но я поднялся на дыбы и заявил, что все сделаю сам. Домашние удивились, стали снисходительно посмеиваться надо мной, но ничто не могло поколебать мою решимость. Осмотрев стол, я понял, что мне предстоит приятное занятие, вполне в пределах моих скромных навыков. Планки, натягивающие сукно или фетр (это действительно оказался фетр, хотя все считали его байкой), были привинчены шурупам и легко снимались, а уж отодрать старое покрытие и приладить новое не составляло никакого труда. Я не мог допустить, чтобы из-за какого-то равнодушного мастерового меня лишили удовольствия поработать отвертками и молотком и прикрепить на ломберном столе ровно натянутую ярко-зеленую ткань. Купив фетр, я со всех ног ринулся домой, словно приобрел новые ноты или получил долгожданную посылку с книгами. Дома я обложился отвертками, ножницами, молотками, гвоздями, трубками, табаком, спичками и поистине восхитительно провел утро.

Странно, но я нахожу все больше удовольствия в том, чтобы сделать что-то своими руками. Похоже, в моем случае традиционная эволюция мужских увлечений развивалась в обратной последовательности: обычно начинают на столярном поприще, а затем постепенно переходят к книгам и интеллектуальной деятельности и уже не изменяют им до конца жизни. Мальчишкой я терпеть не мог заниматься поделками и увлекался только книгами и спортивными

играми. Журнальчик «Сделай сам» тщетно давал мне наставления и советы, а самый великолепный набор инструментов, где аккуратными рядами были уложены сверкающие стамески и долото, не вызывал во мне душевного трепета. Ни одна кривобокая лодка, плод кропотливого труда, не отчаливала от берега озера или деревенского пруда, чтобы, доплыв до середины, перевернуться вверх дном. Я никогда ничего не мастерил и даже не имел перочинного ножа. На рождество и дни рождения мне дарили книги, футбольные мячи, крикетные биты, клюшки и тому подобное; помню, как я был возмущен до глубины души, когда мне однажды подарили конструктор (это был огромный макет петли Нестерова из многих сотен кусочков прессованного картона; в конце концов конструктором занялся мой отец). В одной школе, куда я ходил всего лишь год, отводилось время для так называемого урока ручного труда, во время которого на свет божий являлись уродцы-пеналы и убогие железные пресс-папье. Для меня этот урок был сущим наказанием, и я не сомневался, что все эти бесформенные деревяшки и куски металла предназначены специально для того, чтобы мучить меня. Во всем остальном я был самым обычным мальчиком, азартным футболистом, бесстрашно играл в защите, умело орудовал битой на крикетной площадке, увлекался пантомимой, за один присест мог уплести три порции жирного пудинга, но неизменно отдавал предпочтение книге, а не паровому двигателю и без крайней нужды ни за что не брал в руки молоток.

То, что я впервые приобрел себе ящик с инструментами несколько лет назад, проливает свет на весьма своеобразную историю моего развития. С годами у меня пробуждается все более глубокий интерес к вещам, которыми я пренебрегал в детстве. Сегодня я допытываюсь, почему вращаются колеса. У меня появилась своего рода страсть, хотя я и пытаюсь скрыть ее от посторонних, к тому, что один мой знакомый гравер называет «механикой». Я не только починил граммофон и пишущую машинку, но я не могу отказать себе в удовольствии частенько похвастаться своими достижениями. Я еще не устроил у себя дома мастерскую, но стремительно приближаюсь к той части мужской половины человечества, представители которой все время что-то чинят дома и мастерят. К старости я, вероятно, утрачу всякий интерес к книгам и займусь выпиливанием лобзиком или собиранием детских конструкторов. Я еще новичок в этом деле, но полон энтузиазма и надеюсь, что со временем достигну вершин мастерства. Пока я строгаю из рук вон плохо, неважно пилю, но закручиваю гайки и забиваю гвозди уже почти как профессионал, уверенно, не суетясь и без промаха. Для меня поменять сукно на ломберном столе — одно наслаждение. Только представьте себе — вывернуть, а потом снова закру-



тить четырнадцать шурупов, вбить множество гвоздей, чтобы туго закрепить натянутый фетр. Трудно сказать, что доставляет мне больше удовольствия—гвоздь, который можно было бы сравнить с афоризмом из собрания мудрых изречений, и нужно только слегка придержать его пальцем, а потом весело ударить по нему молотком, или шуруп, такой хитрый, неподатливый, со своим характером, к которому не сразу подберешь ключи, но вот он постепенно сдается и уже вполне послушен вашей воле.

Пожалуй, я все-таки отдаю предпочтение шурупам. Я наслаждался каждым мгновением, преодолевая недолгое сопротивление всех четырнадцати, наслаждался их плавным скольжением, тем, как точно они садились в отверстие. Стоит ли удивляться, что, вынужденный иметь дело главным образом с человеческими душами, я получал такое удовольствие от возни с шурупами? Целые дни я провожу в размышлениях о людских помыслах и чаяниях, дивлюсь их мужеству, трусости, бесстыдству и тщеславию, восхваляю одно и порицаю другое, брожу на ощупь среди призраков той Вальпургиевой ночи, что зовется литературой. Я вижу все уловки ближних моих, старающихся показать, что они лучше и умнее или хуже и глупее, чем есть на самом деле, разыграть страсти, которые они никогда не испытывали, или же скрыть переживания, оставившие в них неизгладимый след. Я часами выстраиваю теории или впитываю чужие идеи, а оглянувшись назад, обнаруживаю, что это всего лишь обман. Я растрачиваю свой ум и сердце то на одно, то на другое, вкладываю в свое детище всю душу, сражаясь с непокорством чистого листа, но в конце концов так и не знаю, удалось ли мне создать что-либо стоящее или я просто тешил собственное тщеславие. Правда, пока я обдумываю свой замысел, я порой переживаю мгновения глубочайшего удовлетворения; знаю я и тот миг радости, когда удастся выйти из безнадежного тупика, но в остальном я не испытываю ничего, кроме раздражения, пока поглощен этой адски тяжелой и все же такой захватывающей работой. Наконец поставлена последняя точка, я снова свободен и могу безмятежно ублажать себя новой фантазией. Не слыша похвал своему творению, я страдаю, но, когда хвала доходит до моего слуха, она коробит меня, кажется грубой и преувеличенной, я злюсь или начинаю конфузиться. И так из года в год. Я сам выбрал себе эту стезю и не променяю ее ни на что другое, даже на «яхты и скрипичные квартеты». Но порой так приятно, забыв обо всем, натянуть зеленое сукно на ломберном столе и посадить точно на место славный крепкий шуруп.

С этим шурупом вам все ясно, он упрямо вгрызается в дерево и, если понадобится, пребудет на своем месте полвека или по вашему желанию вернется к вам через каких-нибудь

пять минут. Этот шуруп предназначен для определенной работы и вполне соответствует тому, что от него требуется. Он никого не обманывает, всегда один и тот же, всегда надежен, в то время как материал, с которым я работаю, сбивает с толку своей изменчивостью, пугающей многоликостью. Закрепив последний шуруп, вы вправе с чувством глубокого удовлетворения окинуть взглядом плоды своего труда: вы создали что-то новое, пусть всего лишь поменяли сукно на ломберном столе, но это факт, не поддающийся сомнению. Мои манипуляции с шурупами, ножницами и молотком окончены, и теперь у наших ослепительных коронованных особ и вальтеров есть новая ровная лужайка, где они могут выяснять свои мудреные отношения. Человеку, который целый день занят такой работой — то есть прикидывает, как лучше сделать, а потом не спеша то режет, то забывает, — не так уж плохо живется, если его зарплата хватает на ужин с бифштексом и пивом, а еще остается на табачок и на то, чтобы разок-другой сходить в театр. Если такой мастерской недоволен ворчит на жизнь — он просто глупец. Но когда его отправляют на грохочущую огромную фабрику, где он с утра до вечера отмеряет и режет фетр, колотит молотком по гвоздям, вставляет шурупы в отверстия, а потом кто-то другой их выкручивает, тогда вряд ли можно осуждать его, если он восстанет против такой жизни. Ему кажется, что его надули в деньгах, но правда это или нет, несомненно одно: его обкрадывают в чем-то несравненно более важном, лишая достойного интересного дела, той честной и увлекательной работы, которая приносит человеку истинное наслаждение. Когда-то люди знали только такую работу, какой мы теперь занимаемся время от времени ради собственного удовольствия, вроде того, как я менял сукно на ломберном столике; тогда они вскапывали сады, подстригали траву, собирали урожай, ткали и красили полотно, плыли по водным путям, мастерили полки и буфеты, вязали чулки, тачали сапоги, валили деревья, печатали книги и тому подобное. Но я еще не встречал человека, который работал бы на фабрике ради собственного удовольствия, так сказать посвящал бы свой досуг участию в массовом производстве. Человечество не станет счастливее, даже если экономисты придут к согласию и определят равную для всех продолжительность и оплату труда; счастливое будущее возможно при одном условии — если работа вновь обретет свой исконный смысл; тогда мы день напролет будем с удовольствием прибавлять сукно на ломберных столах, и у нас еще останется свободное время для партии-другой перед сном.

## РАСПРОСТИВШИСЬ С РОЯЛЕМ

Ну вот, его и увезли. Я его продал, и довольно выгодно, хоть он ни в чем не провинился. Можно сказать, я покарал его за песни, пожалуй, за душещипательного Вольфа, чье музыкальное сопровождение к Morike и Eichendorff *lieder*, этим прелестным юным девам мелодии, утратившим дорогу и блуждающим в чащобе звуков, рояль знал назубок. Без этого продолговатого лоснящегося ящика, сверкающего сбоку безликой слоновой кости, в гостинной стало пусто, сиротливо. Как раз сейчас мой милый «Бродвуд» трясут по улицам в телеге. Когда я увидал, как грузчики его выкатывают и покупатель отсчитал мне пачку грязных фунтовых бумажек («Фунтовыми лучше, как между чужими»,— он с не внушающим доверия удовольствием старался подчеркнуть свою сомнительную честность), я ощутил себя предателем, Иудой. Прошло около двух часов, но мне по-прежнему тоскливо. Смешно мы все устроены, ведь всю эту продажу я затеял для удобства. Прервав аренду дома и продавая разные предметы обстановки, я заодно решил расстаться и с роялем, а если позже мне придется обставлять жилище, к моим услугам будет новый и роскошный инструмент. Не тосковать бы мне сейчас, а радоваться, что с этим гадким делом уже кончено. Поток оценщиков и покупателей, любителей немного подработать на посредничестве и хватов перекупщиков, мутный поток разнообразнейшего люда прошел через мой дом за эти дни. Трусая за мной по комнатам, как фокстерьеры, коротыши из Пекэма, украшенные усиками щеточкой, поглядывали даже на мои ботинки и, кажется, готовы были сделать «маленькое предложеньице». Немало черных пиджаков и полосатых брюк высоких молодцов из Найтсбриджа, сочувственно или скорее с родственною нежностью оглаживавших спинки моих стульев, было представлено стеклу моих шкафов на обозрение. Глядя, как все они приходят и уходят, я то желал продать свое добро за истинную цену, то жаждал поскорей покончить с этой мукой.

Стоит вам отступить на шаг от повседневности, как жизнь выносит на поверхность странный люд. Если вы продаете лишние предметы обстановки, рояль и что-нибудь другое или хотите уступить аренду дома—а мне случилось заниматься всем этим одновременно,— как тотчас разверзается пучина: дно Лондона пускает в свет своих курьезных чудищ. Есть среди них и мелкотравчатый народец, немного промышляющий заказами на перекупку и не доросший до солидности агентов по продаже. Всего только посредники, они снуют по городу в надежде ухватить одну-две фунтовые бумажки, которые никак им не даются в руки. Ко мне таких людишек приходило несколько. Похожие, как братья, все в ветхих синих саржевых костюмах, не без претензии на

элегантность, и с доверительной сипотцой в голосе, они старались затолкать вас в угол и там уж бесконечно разглагольствовали, зачем-то прибавляя ваше имя к каждой фразе. Чтобы добиться своего и совершить дешевую покупку, они старались поселить в вас панику. В ту пору я встречал немало пессимистов, но всем им было далеко до этих мелких маклеров. В конце концов их похоронный тон сменялся непритворным гневом, по крайней мере он казался таковым. Нигде и никогда не слышал я таких непримиримых обличителей рабочих, готовых бастовать из-за прибавки в три-четыре шиллинга; куда мы катимся и чем все это кончится? После чего они просили вас запомнить их слова, и, чтобы вы могли получше это сделать, они их повторяли поминутно и предрекали полный крах, особо напирая на опасность положения. Пока вскипал их гнев, и набирали силу их зловещие пророчества, и громче становились их проклятия рабочим той или иной профессии, серее становились лица говоривших, линяла синева их саржевых костюмов, и вот они уже сидели на развалинах каких-то исполинских предприятий и силились любой ценой спасти общественное благо, стеная и склоняясь долу под бременем возложенной на них ответственности. Вы вздрагивали, словно от удара, когда, нарушив транс, они перебивали себя фразой «Вернемся к делу, мистер Бизли», и снова предлагали крохотную сумму, и снова возникали перед вами, точно призрак наиболее призрачной из экономик, преследующий в джунглях Лондона свою малюсенькую сделку.

Два-три подобных призрака нашли и мой рояль. Они к нему принюхивались несколько минут, брали аккорд-другой и, осторожно отведя меня в сторонку, перечисляли хриплым шепотом его изъяны, словно боясь, что он обидется, услышав. Все приходившие смотреть его либо напоминали мне, что это старый инструмент, плохой сохранности, немодной формы, которая уже не пользуется спросом, после чего сообщали свою цену, либо играли, ласково касаясь клавишей (то большей частью были пожилые люди), покачивая головой и восхищаясь звуком и бормоча, что «Бродвуд» — старая и замечательная марка, но, к сожалению, никто теперь не покупает инструменты, и потому они не могут предложить мне истинную цену. Среди хваливших, но не покупавших был очень старый человек, который мне пришелся по душе, и, будь я побогаче, я отдал бы ему рояль в подарок. Он долго, дольше прочих, брал беглые, глубокие аккорды, сливавшиеся в некое подобье пьески, не лишённой чувства, — я бы назвал ее «Романс настройщика» и написал большими буквами заглавие, — после чего он горячо одобрил звук. Потом он сказал, что это «превосходный, просто превосходный инструмент, сэр», но в магазине у него нет места, совсем нет места — все заставлено, и он пока не покупает новых

инструментов, ему не удастся ничего продать. Я осторожно возразил ему, что обставляющие дом молодожены всегда нуждаются в роялях. «О нст, сэр,— начал он, как доктор Джонсон, но только очень грустно и тоскливо,— они теперь к роялям равнодушны. Им подавай машину, перво-наперво машину. Да и потом у них есть радио и граммофон, они обходятся без инструмента, эти молодые люди, рояль им ни к чему. О сэр, теперь другое время». И мы печально поглядели друг на друга и вместе устремили взор на мир, где проносились тысячи автомобилей и где, сливаясь в общий гул, гнусаво выли репродукторы и граммофоны, где бархат пыли оседал на позабытых клавишах слоновой кости и где терялись в паутине струны, чей серебристый звук усиливал недавно чары ночи. Да, сделка после этого была бы грубой прозой. Расстались мы с великой нежностью, как люди, вернувшиеся вместе с кладбища, где похоронен герр Клавир.

Но вот я его продал; под рокот струн рояль мой повезли по улице. Вот деньги, которые мне уплатили за него, и где-то, предвкушая мою радость, меня ждет новый, лучший инструмент— все получилось так, как было мной задумано, и так, как в самом деле лучше для меня, но не могу сказать, что это меня радует. Я, право, не сентиментальный человек, меня не окружают фотографии моих отсутствующих друзей— я не увешиваю ими кабинет и спальню, и томики моих любимых книг не переложены давно засохшими цветами, и в ящиках стола не спрятаны программки старых танцевальных вечеров, к которым прикреплен был розового цвета карандашик— чудесный символ испутившей дух беспечности. Нет, я не собиратель памяток и сувениров, которые мертвеют в тусклом свете собирающихся сумерек, так что в конце концов вся комната становится одним мерцающим воспоминанием, и я, признаюсь, презирал всегда любителей копить подобные жечужины дешевых сантиментов— гроши в неисчерпаемой сокровищнице чувств. Но я не в силах не грустить из-за рояля. На пачку этих замусоленных бумажек можно купить собранья сочинений нескольких писателей, сделать запас отличнейших сигар, куда-нибудь поехать и понежиться на солнце, обзавестись подарками для всех домашних на рождение; в конце концов, рояль не вложишь в книгу и не засунешь в ящик, где держат ленточки и театральные программки. И все-таки мне жалко его, жалко, да и немного гадко на душе, словно я выгнал старого и верного слугу. Я задаю себе вопрос, что бы я мог еще придумать, нельзя же, согласитесь, назначать роялям пенсии, как людям. Задвинуть его в детскую? Там не хватало места. Впихнуть в чулан, чтоб он там плесневел и разрушался? Нет, хуже этого быть ничего не может. Пожалуй, как всегда, я принял верное решение, но удивительно, как иногда тоскливо на душе от этих совершенно правильных решений.

Вскоре его не будут больше щупать и обшаривать; подправив там, подчистив здесь, его преобразят в Предмет, Достойный Сделки. С тех пор как его вывезли, я больше не ходил в гостиную, и не пойду уже сегодня — меня, наверное, ждет там призрак моего рояля, такой же длинный и блестящий, как он сам. Да и другие призраки, другие тени его, наверное, обступили кругом, как это часто происходит в моей памяти. Ведь если люди любят музыку, рояль для них не просто часть домашней обстановки. И пусть в гостиной нету призраков, но все равно меня там встретит пустота — огромное зияющее место, которое покажет со всей ясностью, что перевернута еще одна страница жизни. А как мы им гордились раньше, в те дни, когда поставили его в своей убогой, маленькой, полупустой гостиной, которая приобрела от этого какой-то импозантный вид! «Ну все, теперь она обставлена!» — твердили мы друг другу радостно, любуясь на рояль то так, то эдак, неторопливо открывая дверь или влетая вихрем в комнату, чтоб он предстал во всей своей красе. А как нам нравился его глубокий, благородный звук, и мы, счастливые и возбужденные, не отходили от него всю первую неделю, по очереди атакуя Перселла, и Моцарта, и Баха, и Скарлатти, уверенно играя правой рукой и только изредка касаясь клавишей нетвердой левой. По воскресеньям мы устраивали ужины, и, съев четыре блюда и отведав настоящего бургундского, все наши гости собирались у рояля, и Э. так мило напевала пленительную песню Вольфа, и возносился духом Д., играя Брамса или русских, и Эдвард оглушал всех Шубертом, а Фрэнк лишь слушал, улыбаясь, и ничего не упускал из виду, пока я силился продраться сквозь аккомпанемент или тянул басовые, чтоб поддержать составившийся хор! Один живет теперь в чужих краях, с другим я почему-то не встречаюсь, двух остальных мне больше не видать — их голоса умолкли навсегда. И раз уж столько кануло и больше не вернется, можно расстаться и с роялем. Я сосчитаю деньги и подведу еще одну черту.

# Мартышки и ангелы (1928)



## ЧУЖИЕ СВЕРШЕНИЯ

Спустившись раньше времени к обеду, пройдя в гостиную и не застав там ни души, я подсел к радио. Я люблю радио, благодаря нему жить стало еще фантастичней и смешнее. Какая милая нелепость—застать свою семью в гостиной в Шропшире и в то же время в Альбертхолле или в концертном зале Борнмутской оранжереи! Занятно, чуть дотронувшись до ручки, услышать рядом голос человека, глубокомысленно толкующего вам о моде на игру в шары в очередном сезоне или об отношениях в семье в Белуджистане. Как хорошо, что можно его выключить—задуть, как огонек свечи, ничуть при этом не обидев! Итак, я включил радио, и кто-то тотчас же заговорил со мною тонким, ясным голосом. Я, видимо, попал на славословие какому-то неведомому гению. То, как я понял, был большой ученый, и голос из приемника не уставал перечислять: «Он был не только выдающимся ботаником и замечательным геологом, но внес немалый вклад и в астрономию. Как заявляет Астроном Его Величества, он сам обязан ему многим». Тут я не стал ждать продолжения и выключил приемник. Уж это я был вправе сделать. Хоть я и не геолог, не ботаник, не астроном и не ученый, но это было в моей власти, и я ее употребил. Я вовсе не желал, чтоб мне расписывали—а это непременно бы последовало дальше,—что неизвестный гений знал двенадцать языков, был чемпионом в легком весе среди борцов-любителей, играл за Англию в хоккей, всех обошел в соревнованиях на милоу и, уж конечно, был прекрасным музыкантом. С меня довольно было услышанного. Я просидел в гостиной до обеда, размышляя, потом поднялся и поел с отменным аппетитом, как делаю почти всегда. Но как-то трудно записать это по части достижений. Если когда-нибудь придет пора превозносить мои заслуги (хотя не вижу для

того причины), вряд ли удастся скрыть их скудость, признав, что я был выдающийся едок.

Меня давно уже тревожит вся эта чужая образованность и грандиозные успехи. Ни разу не читал я биографии какого-нибудь замечательного человека, где не было бы сказано, что он умел и знал гораздо больше, чем я успел бы совершить за десять жизней. Начать с того, что даже те из гениев, которые болеют, как это было с Чеховым и Стивенсоном, всегда отлично развиты физически, наделены изрядной силой и обладают редкостной выносливостью. И на восьмом десятке лет они расхаживают, бегают, взбираются на горы намного лучше каждого из нас. Дальше мы узнаем, что все они способны к языкам. Нам никогда не увидеть, как кто-нибудь из них корпит над изучением грамматики или хотя бы пробегает взглядом ряды неправильных глаголов, но вместо этого нам сразу заявляют, что все они на удивление свободно владеют кучей иностранных языков и говорят на них без всякого акцента. Работа их не ограничена одной какой-то областью, а непременно обнимает несколько наук, и в каждой они доки. В великой книге тайн природы они читают как по нотам. Мне лишь вчера попались строки в биографии одного известного писателя, необычайно тонкого, изысканного человека, где говорилось, что не было в стране цветка, травинки, дерева и птицы, которых он не знал бы досконально: их свойств, происхождения и названия. Но мало этого, среди всех этих выдающихся персон нет человека, который не был бы «искусным, чутким музыкантом» (о них обычно говорится в этих выражениях) или любителем-акварелистом, мастерски владевшим кистью, или блистательным стилистом. Сложись их жизнь иначе и удели они своим талантам должное внимание, внушают нам всегда, они добились бы серьезного успеха, а может, и всемирного признания в любом из упомянутых искусств. Так говорит творимая апологетами легенда.

Я потрясен, я ничего не понимаю. Как это получается, терзаюсь я вопросом, и в голосе моем, срывающемся в крик, легко услышать зависть и досаду. Подумайте, каких усилий стоят музыка, и акварели, и писательство (вскользь упомянутые и немедленно забытые), как много нужно прилежания и тяжелого труда, как много долгих лет необходимо провести за инструментом, за столом, перед мольбертом. Не так уж трудно побренчать на пианино, как делаем мы все, для вида лишь беря аккорды левой, намалевать две-три веселых акварельки и, нацарапав несколько корявых строчек, украсить их фигурами старинной речи, но стать серьезным музыкантом, писателем, художником — совсем другое дело. Добро бы говорилось лишь о первом, это б я мог еще понять, но о втором, и вместо развлечения? Нет, это слишком! А тут еще и спорт, и знание языков, наук, ботаники



и зоологии! Я сокрушен и ошарашен. С меня довольно и досужих разговоров о столь чудесной одаренности моих собратьев, чтоб ощутить себя не больше комара. Как хорошо, что никого из них мне не случилось видеть в жизни. И мудрено ли, что биографы, сняв перед ними шляпу и из почтения понизив голос, ведут рассказ на протяжении двух увесистых томов (по крайней мере до тех пор, пока злокозненное время не сотворило новых Стрейчи и Гуиделла)? Во всех этих томах нет ни единого сочувственного слова, ни одного вселяющего бодрость взгляда, который бы предназначался нам, обычным смертным, живущим как бы на другой планете, где нам отпущено так мало времени и где его приливы и отливы несут с собой такие горькие потери, что мы бываем рады сохранить хоть жалкие крупички знаний и умений, которыми успели овладеть.

Когда я ставлю себя рядом с кем-нибудь из этих исполинских Крайтонов, мне кажется, что я ленив и темен, словно готтентот. Я знаю, что у эссеистов принято изображать себя гораздо большими ленивцами и неучами, чем они есть на самом деле. Завел такую моду Лэм (смотри его эссе «Школьный учитель прежде и теперь»), со временем она вошла в традицию. Но я ничуть не лицемерю, в моих словах нет ничего от этого забавного притворства. Я вовсе не хочу прослыть лентяем и невеждой. Мне бы хотелось все уметь и знать: водить корабль, быть кларнетистом, иметь ораторский талант и выступать в собраниях с красивыми и длинными речами, играть по очереди Гамлета с Фальстафом и делать кресла с подлокотниками. Мне бы хотелось знать как можно больше о молекулах, о крупном финансировании и бирманском лесоводстве, о музыке елизаветинского времени, о чибисах, кометах и тропических болезнях, о Малых Антильских островах, об американской Гражданской войне и об английской акварели. Но правда остается правдой, и я нимало не надеюсь стать образованным и истинно культурным человеком. Я просто не успею это сделать, и лишь успею позабыть немного, изученное прежде, ибо запас моих познаний неуклонно истощается. Так, я утратил всякое понятие о тех предметах, азы которых знал когда-то очень основательно. Поймите меня правильно, я вовсе не кичусь своим невежеством, как делают иные наши признанные классики, я нахожу его постыдным, но никакой моей вины, наверное, тут нет. Как раз сейчас мне вспомнилось, что прежде я владел немецким и мог читать в оригинале Гёте, Гейне, но вряд ли бы сумел сейчас спросить сигару или комнату на этом языке. Из памяти изгладилось чуть ли не все, что я узнал когда-то из истории и философии (хоть некогда и полагал их делом своей жизни), но это, видимо, неважно, и то облагораживающее влияние, какое можно было оказать на ум, подобный моему, они, наверное, уже и

оказали. Я никогда не смыслил ничего в природе, не знал названий птиц, цветов, деревьев и тому подобного, и проживи я целое тысячелетие, я все равно не стал бы знатоком из тех, что сразу узнают любое дерево и птицу. Тут, правда, у меня есть скромные успехи, ибо я каждый год стараюсь заучить названия трех цветов и птиц, и все же почему-то не бываю тверд в своих познаниях. Но что такое эти крохи в сравнении с громадою утраченного!

Пожалуй, я пишу теперь немного лучше и стал играть получше в бридж. Все остальное составляет горестную повесть о разрушительных набегах времени. Почти не обучаясь новому, я забываю то, что знал когда-то. Мои умения ржавеют, чахнут, блекнут и ветшают. Я больше не сажусь за пианино и разучился танцевать; в футбол я не играю; бильярд и шахматы смешно и вспоминать; в былые годы я немного рисовал, но больше не рисую; и даже по-французски говорю я скверно; я задыхаюсь, прибавляю в весе, и у меня немеет правый бок. Я бы смирился, если бы таков был общечеловеческий удел, но это, видимо, не так. Ведь существуют выдающиеся личности, которые все знают и все могут. Ко мне вернулся бы душевный мир, если о них писали бы такое: «По части атомной теории (или международных отношений, или болезней почек, ультрафиолетовых лучей, природы солнечных пятен) такой-то превзошел всех современников, но что касается физических и умственных достоинств, общественных и политических воззрений, успехов и талантов в музыке, изобразительном искусстве и литературе, он был ничуть не лучше прочих полуграмотных фигляров». Но ничего такого никогда не пишут. Подчас меня охватывает дерзость, и я готов бываю заподозрить, что эти нескончаемые перечни свершений и заслуг не слишком точно соответствуют реальности и кое-где грешат преувеличением. Но, к сожалению, чтобы подвергнуть их проверке, я слишком мало знаю. И все-таки, когда о ком-нибудь из этих государственных мужей, являющих собой блестящий образец разносторонне развитых талантов, сообщается, что, среди прочих совершенств, они владели превосходным слогом, я не ленюсь и открываю том такого гениального стилиста-самородка и — в изумлении развожу руками. А что, если и прочее, вся эта глубочайшая ученость, спортивные рекорды, музыкальность и умение рисовать, превозносилось с тем же основанием? Не скрою, недоверчивость мою питает зависть, но все же не могу не сомневаться.

## ПЕРВЫЙ СНЕГ

Роберт Линд однажды сказал о персонажах Джейн Остин: «Даже легкий снежок становится целым событием в их

жизни». Рискую показаться этому остроумному и тонкому критику небезызвестным мистером Вудхаузом, я тем не менее осмелюсь утверждать, что выпавший прошлой ночью снег стал поистине событием. Сегодня утром я радовался ему не меньше детей, которые никак не могли наглядеться на чудо за окном и щебетали так весело, будто неожиданно настали рождественские праздники. Признаться, и меня, как ребенка, заворожила его таинственная магия. Для меня это первый снегопад после долгих месяцев, проведенных вдали от Англии в изнуряющем пекле тропиков, и, кажется, я целую вечность не видел, как дивный снежный ковер ложится на землю. В прошлом году, путешествуя по Британской Гвиане, я встретил трех молоденьких девушек, только что вернувшихся из своей первой поездки в Англию. Неизгладимое впечатление произвели на них бесчисленные толпы людей на лондонских улицах, и—подумать только!—все совершенно незнакомые (это особенно поразило моих собеседниц, выросших в городке, где все друг друга знают), но больше всего восхитил их снег. Они впервые в жизни увидели его в одно прекрасное утро в Сомерсете и пришли в такой телячий восторг, что, отбросив всю свою напускную благочинность, выбежали из дома и принялись носиться по искристой белой глади, оставляя на девственном снежном покрове узоры из следов, совсем как дети сегодня утром в нашем саду.

Первый снег не простое событие, это приход сказки. Вы засыпаете в таком знакомом вам мире, а утром обнаруживаете, что все вокруг неузнаваемо преобразилось,—ну разве это не колдовство? Снег опускается неслышно, как бы крадучись, и в этой волшебной тишине свершается снежное таинство. Если бы снег высыпал сразу одной сокрушительной лавиной, разбудив нас среди ночи, он тотчас лишился бы своего очарования. Но снег падает бесшумно, долгими часами, пока мы спим. За опущенными шторами идет преобразование огромного мира, там хлопочут мириады эльфов и домовых, а мы, ни о чем не подозревая, ворочаемся с боку на бок, зеваем и потягиваемся. А утром глазам открывается поразительная метаморфоза! словно неведомая сила перенесла ваш дом на далекий континент. И хотя все вещи на прежних местах, они кажутся иными, и комнаты стали как будто меньше и уютнее, словно кто-то старался превратить ваше жилище в хижину дровосека или укромную избушку. За окном, где вчера еще темнел сад, простирается белая мерцающая равнина, а вдалеке вместо привычного глазу скопления крыш—деревушка из старой немецкой сказки. Вы не удивитесь, если все ее жители—почтовая барышня в очках, сапожник, старый учитель—превратятся в сказочных персонажей, обладателей шапок-невидимок и сапог-сорокоходов. Да и мы сами уже другие, не те, что накануне. Иначе и быть не может, когда кругом все измени-

лось. В доме чувствуется какое-то странное движение, та легкая возбужденность, какая бывает перед дальней дорогой. Дети не помнят себя от восторга, но и взрослые дольше обычного бродят по комнатам, переговариваются и не торопятся приниматься за дела. От зрелища за окном невозможно глаз отвести. И чудится, будто стоишь на палубе отплывающего вдаль корабля.

Сегодня утром, когда я проснулся, мир за окном зиял зябким сизым провалом. В призрачном свете занявшегося дня самые обыденные дела—умывался ли я, брился, причесывался, одевался—казались каким-то таинственным ритуалом. Вошло солнце, и к тому времени, как я сел завтракать, снег, тронутый яркими солнечными лучами, отливал нежным гладким румянцем. За окном столовой открывался вид, как на прелестной японской гравюре. В саду, залитом ярким светом, вырисовывался изящный силуэт сливового деревца, склонившего ветви под тяжестью чуть розоватого снега. Но через час-другой все вокруг потонуло в холодной сверкающей синеве. И снова мир неузнаваемо преобразился. Ничто уже не напоминало о японской гравюре. Я посмотрел из окна кабинета на сад, дол, низкие холмы вдалеке—под бледно-серыми небесами простиралась ослепительная снежная гладь, и в черных силуэтах деревьев мерещилось что-то мрачное. И вправду, эта новая картина внушала непонятную тревогу. Будто бы наше мирное селение уже не в самом сердце Англии, но где-то в суровой степи, а из темнеющего вдали перелеска вот-вот выскочат всадники, посланцы чьей-то злой воли, прогремят выстрелы, и снег вдали обогрится кровью. Вот что представилось мне при взгляде на этот пейзаж.

Но вновь все изменилось. Прошло ледяное оцепенение, и природа больше не хмурится зловеще. Идет густой снег, падает пушистыми хлопьями, и за его плотной пеленой уже нельзя ничего разглядеть, на крышах вырастают сугробы, ветви деревьев все ниже гнутся к земле, и петушок на деревенской церкви, едва различимый сквозь белую мглу, словно явился к нам из сказки Ганса Христиана Андерсена. Мой кабинет в боковом крыле дома, и я вижу, как дети прильнули к окнам. Я вспоминаю стишок, который ребенком повторял, прижавшись носом к холодному стеклу и глядя на летящий снег:

Снег, снежок,  
Покрывай лужок!  
Щиплет белый пух старуха,  
То-то много будет пуха!

Может быть, это колдуют северные чародеи в суровом горном крае чудес? Хотя метеорологи уверяют, что в наших местах снега выпало не больше нормы, мы не склонны им верить, и я подозреваю, что снег валит так густо, потому что

много-много детей, прижавшись носами к оконным стеклам, распевают: «Снег, снежок, покрывай лужок!»

Сегодня утром, увидев обновленный белый мир, я пожалел, что снег редко нас балует и зимы в Англии не бывают снежными. Как славно, подумалось мне, когда вокруг царство чистого, сверкающего на морозе снега, а не тянутся бесконечной вереницей серые, тусклые дни, с дождем и промозглым ветром. Я позавидовал моим друзьям в восточных штатах Америки и в Канаде, им-то каждый год обеспечена настоящая зима. Они знают, что к определенному сроку выпадет снег и будет лежать до весны, не превращаясь в грязное месиво. Снег, мороз, ясное солнечное небо и воздух, похрустывающий, как печенье,— вот оно, думал я, истинное блаженство. Но потом я понял, что все это не для нас. Через неделю мы взвоем от скуки. Уже на следующий день чары рассеются, и нам останется лишь неизменное однообразие дней да горечь злых ночей. Не снег сам по себе, не заснеженный мир очаровывают нас, а первое явление снега, внезапная тихая перемена. Из вечного и прихотливого колдовства ветра и воды рождается снежное чудо. Разве променяешь такой порядок вещей на неизменный земной цикл, вершащийся по календарю? Кто-то точно заметил: во всех странах климат, а у нас в Англии погода. Что может быть скучнее климата, о котором могут рассуждать разве что ученые и ипохондрики. Но погода—это Клеопатра нашей планеты, и неудивительно, что мы, ее подданные, обречены испытывать на себе титанические смены ее настроения и поэтому любим поговорить о ней. Окажись мы в Америке, Сибири, Австралии, где климат строго соответствует календарю, нам тут же начнет доставать капризов нашей погоды, ее веселых шалостей, приступов ярости и внезапных слез, а утреннее пробуждение уже не сулило бы нам неожиданностей. Что и говорить, наша погода непостоянна, но не более, чем мы сами, и ее переменчивость прекрасно гармонирует с нашим непостоянством. Солнце, ветер, снег, дождь—как радуют они нас поначалу и как быстро надоедают! Если снег пролежит неделю, он потеряет для меня всякую прелесть, и я буду с нетерпением ждать смены декораций. Но первый снегопад был событием. И нынешний день неповторим, у него особый, ни на что не похожий колорит, и я прожил его, чувствуя себя чуть-чуть другим человеком, словно провел его в обществе новых друзей или в незнакомой стране, например в Норвегии. Можно шутя выбросить на ветер пятьсот фунтов в поисках средства от душевной апатии и все же не изведать всю полноту чувств, пережитых мной сегодня утром. Так что, пожалуй, персонажам Джейн Остин жилось совсем не дурно.

## В ПОТЕМКАХ

На прошлой неделе несколько ночей кряду меня мучила бессонница. Дело не просто в том, что я с трудом засыпаю. Сон может сморить меня разве что после долгого дня, проведенного на свежем воздухе. Кто из побывавших на войне не помнит то блаженное забытие, когда проваливаешься в сон, будто оглушенный милосердным ударом мешка с песком? Там, на фронте, сон вовсе не казался таким темным коридором, минуя который вы на следующее утро являлись к завтраку. Сон дарил нам райское забвение. Хотя с тех пор прошло уже двенадцать лет, но я по сей день помню, как однажды я спал мертвым сном. Недели три сидели мы в окопах почти без блиндажей, в глине, по колено в воде. Настоящих боевых действий не вели, но не прекращались бессмысленные тревоги и вылазки по приказам храбрых генералов, коротавших время за вином и сигарами где-нибудь в отдаленном замке, подтверждая тем самым, что англичане издавна предпочитали помпезность парадов подвигам на поле брани. Мы уже много дней не спали по-человечески, не смыкали воспаленных, будто свинцом налитых век. Наконец глубокой ночью нас отвели с позиций. Пошатываясь, мы плелись по разбитой дороге. Некоторые падали в изнеможении, другие спали на ходу. Преодолев несколько миль, уцелевшие остатки нашей части добрались до какого-то местечка, которое показалось нам темным скоплением барачков и странных домов без окон. Во всей этой картине было что-то хорошо знакомое и в то же время фантастическое, похожее на лунный пейзаж. Два глотка горячего сладкого чая, глоток обжигающего рома — и мы, точно мумии, с ног до головы в засохшей глине, рухнули на пол. В тот же миг опустился чудный бархатный занавес, отрезав нас от всеобщего бредового фарса, от захлебывающихся своей болтовней политиков, от парней с остекленевшими глазами. Я спал восемнадцать часов.

Однако в обыденных обстоятельствах мне приходится приманивать к себе сон, вот почему я прочел так много книг, преследуя Морфея по бесконечным лабиринтам то назидательных романов восемнадцатого века, то психоаналитических откровений века двадцатого. Я никогда не мог понять, как это люди засыпают, едва коснувшись подушки. По-моему, это признак тупости, и такая сонливость меня настораживает. Когда в половине одиннадцатого этих сонь начинает одолевать зевота, а это непременно случается с ними в моем присутствии (выводы, по-моему, напрашиваются сами собой, и я готов разделить с вами это удовольствие), мне кажется, они утрачивают право считаться людьми, живыми душами, поверяющими друг другу свои тайны в час, когда все звери спят крепким сном. Я не сетую, что мне приходится

подкрадываться ко сну исподволь, на цыпочках. Ведь тем самым я продлеваю день и говорю себе в оправдание, что нежелание навсегда проститься с днем уходящим, хотя бы и бессознательное, свидетельствует о доброте душевной, когда медлишь прогнать слугу, пусть даже и не слишком расторопного. Не сетую я и на то, что, к своему огорчению, просыпаюсь затемно, когда грядущий день, еще не готовый к встрече со мной, затаился, будто серый озябший звереныш, и ты чувствуешь, как он сопротивляется любым нашим благим начинаниям. Говорят, чем ближе к старости, тем чаще для меня день будет начинаться до рассвета, и признаться, подобная перспектива меня вовсе не радует. Но пока я не ропщу, поскольку случаются вещи похуже, такие, от которых я мучился всю прошлую неделю. Я бодрствовал не на исходе одного дня и не при рождении следующего, а где-то на границе между ними, в самый глухой непостижимый час ночи.

Вот это уже выше моих сил. Я приучил себя продлевать день и как-нибудь примирюсь с тем, что он начинается до срока, но бессонница в те жуткие часы, когда уже кончилось славное сегодня, но еще не настало лучезарное завтра,—это настоящий кошмар. Ты просыпаешься, протираешь глаза, ожидая увидеть свет дня, утреннюю почту, вдохнуть дразнящие запахи завтрака, и видишь, что кругом кромешная тьма и все мертво. Начинаешь вертеться с боку на бок, то поджимаешь ноги, то вытягиваешь их, то прячешь руки под подушку, то снова вынимаешь, но все напрасно—сна как не бывало. И с ужасающей ясностью осознаешь, что очутился на черной «ничейной полосе» времени. Бесполезно искать спасения в чтении. Глаза устали, строчки расплываются и набегают друг на друга. Но даже если зрение не подводит вас, чтение все равно не помогает, поскольку литература как-то сразу утрачивает свою привлекательность. Такое ощущение, будто силишься проглотить остывшую вареную картошку. Даже неизвестная пьеса Шекспира не смогла бы увлечь вас. Помню одну душную ночь в Лондоне. Я приехал поздно, гостиница была переполнена, и меня поселили почти под самой крышей в комнатке с окном, выходящим в глубокий колодец двора. Заснул я сразу же, но около двух часов ночи проснулся и потом уже тщетно вертелся и взбивал подушки. Оставалось одно—приняться за чтение, и я зажег свет. В моем чемодане всегда найдется книга, но в тот раз мне нечего было читать, кроме оказавшихся в номере двух вечерних газет. Я уже просмотрел их на сон грядущий, но теперь мне пришлось приняться за них всерьез. Никогда в жизни не изучал я с таким вниманием вечерние газеты. Я проштудировал каждую строчку—спортивные репортажи, светскую хронику, городские новости, объявления. За окном медленно тлела ночь, а я сидел в своем душном «ласточкином

гнезде» и читал всякий вздор о том, что лорд А. отбыл в загородное поместье, а мисс Б., звезда мюзик-холла, печет пудинги. Долго еще после той ночи вид вечерней газеты вызывал у меня содрогание.

И все же гораздо хуже, когда глаза отказываются вам служить и вы не можете занять себя первым попавшимся чтивом. Тогда вы остаетесь один на один с самим собой, как это из ночи в ночь случалось со мной на прошлой неделе. Я убедился, что в подобной ситуации вообще невозможно думать—ни о серьезных вещах, ни о пустяках. Бесплезно пытаться строить планы на будущее. Нельзя даже забытья в сладких грезях. Ночные потемки, неподвластные времени, обступают тебя, и ты становишься их добычей, вырванной из спасительного течения повседневных дел и забот. Нет, тебя не мучает страх перед чем-то осязаемым, и, право же, появление грабителя или небольшой пожар показались бы благодеянием. Не терзают тебя и муки совести, как в плохой мелодраме. Абсолютное одиночество в темнице сознания. Днем мы с легкостью переключаемся с предмета на предмет, порой совершенно забывая о своем «я», и, оказывается, в этом наше счастье. В потемках от себя не убежать даже с помощью зыбкой лестницы мысли, ум обреченно топчется в своей клетке, вновь и вновь меряя ее шагами. Жизнь дает о себе знать лишь биением пульса, столь явственным в ночной тишине, или же призраком смутной мечты; выплывают чьи-то неясные оживленные лица, вдруг доносится откуда-то смех и тут же тонет во мраке страшной ночи. Но все это признаки жизни вне тебя. А где-то в глубине твоего существа тоже теплится жизнь, бессонный, чувствующий, содрогающийся комочек—птица, бьющаяся о прутья клетки.

В ночных потемках нашему «я» не за что ухватиться, оно лишено какой бы то ни было связи с внешним миром, и мысль устало влачится по замкнутому кругу сознания, как по цирковому манежу. Да ведь это воплощенный ад. Вот какими ужасами пугать бы нас священникам. Поверьте, старомодная геенна огненная вскоре показалась бы нам, грешным, вполне пристойным местом. Ручаюсь, что мы довольно быстро привыкнем к расплавленному железу и сере, даже войдем во вкус, а сами черти окажутся весьма занятными собеседниками. Но ночные потемки и холостая работа ума, если их растянуть подольше, ввергли бы вас в бездну ужаса и отчаяния. Вот это уже настоящий кошмар. При одной лишь мысли, что где-то впереди мне уготованы такие мучения, безмерная тоска охватывает меня. Вот почему я избегаю литературы определенного сорта, в которой есть отдаленный намек на эту пытку. Я имею в виду весьма изобретательные творения наших молодых романистов, которые препарируют сознание одного главного героя, исследуя его вдоль и поперек. Самоанализ таких героев, их неспособ-



ность отключиться от себя принимают столь уродливые, болезненные формы, что под пером своих создателей они поистине превращаются в солипсистов. Эти несчастные ни на мгновение не могут отрешиться от самосозерцания. Их пытливый взор обращен только на свою персону, все и вся воспринимают сквозь призму своего «я». Неизменно унылые и подавленные, они и на читателя нагоняют тоску. Теоретически такие романы претендуют на глубочайшую правдивость, но почему-то на практике, в конкретном воплощении, они безнадежно далеки от правды жизни. Это ясно всякому, кто еще сохранил немодную ныне привычку соотносить литературу с жизнью. И все же не могу не признать, что кое-что в этих романах изображено довольно верно—я имею в виду глухие потемки, которыми ночь мстит бессонному сознанию.

## НАШ ТЕАТР

Последнюю неделю нашу деревню лихорадит от волнения: с труппой «талантливых лондонских актеров», как пишется в афишах, к нам прибыла на ежегодные гастроли мадам имярек. Для выступлений снят большой барак из кирпича, стоящий чуть правее церкви, который служит местом деревенских развлечений и славится своими танцами и партиями в вист. В этом бараке-театре способны разместиться двести человек, верней, их может разместить мадам, которая прекрасно знает толк в таких вещах, и так как там есть стулья и скамейки без спинок и со спинками и есть стоячие места, вам могут предложить различные билеты по цене от шести пенсов до двух шиллингов.

Мадам, как и положено, соорудила сцену, занавес и прочее. Не стану утверждать, что сцена эта очень велика—пожалуй, лошадь заняла бы ее без остатка—или что освещение не оставляет желать лучшего: рампа отсутствует, и свет не столько падает на сцену, сколько на зрителей из первых двух рядов (что мне известно по собственному опыту), к тому же вряд ли стоило запикивать оркестр за занавес (рояль и скрипку—справа от просцениума, а барабан—слева), впрочем, указывать на недочеты—дело легкое. И все же это подлинная сцена, где отдается эхом поступь подлинных актеров, да и другой нам не дано, поэтому мы рады насладиться этой. Вчера перед началом представлений ведущий выразил надежду, что старые друзья и покровители мадам окажут ей поддержку, и я уверен, что она в нас не обманется. Полные сборы ей обеспечены ежевечерне, ведь даже из Литтл-Кума и Лонг-Чемптона к нам будут прибывать автобусы, набитые любителями театра. К тому же следует учесть, что каждый день нас ожидает новая програм-

ма—четыреактная или пятиактная пьеса, эстрада и «на закуску препотешный фарс». Вся эта щедрость в старом вкусе и вправду стоит денег зрителя: спектакль, эстрада, фарс на каждом представлении.

Но мало этого. Как нам тогда же объяснил ведущий, все пьесы различаются по жанру. Так, в среду мы увидим драму, которая «ничуть не хуже, а может, и получше «Узника Зенды», как заявляют многие из критиков». В четверг нас ожидает презабавная комедия «Кто каков» (просьба не путать с прошлогодней «Кто есть кто»), и всех, кто хочет посмеяться от души, просят пожаловать сюда в четверг; отличной драмой из военной жизни порадует нас пятница, и, наконец, в субботу вечером будут давать «Любовь цыгана» — великую трагедию любви и ненависти, — которой увенчается неделя. Я жду ее с великим нетерпением.

Вчера, к восторгу публики, переполнявшей зал, показывали «Сельского бродягу», который открывал сезон. Я сам был на спектакле и потому могу сказать, как было дело. Кто, как вы думаете, брал у входивших плату? Вы полагаете, что это поручили особо приглашенному для этой цели человеку? О нет, вы слишком простодушны. Сама мадам, загримированная под матрону, встречала вас у входа, и, глядя, как величественно принимает она деньги, протягивает сдачу и дает билеты, вы понимали, что она не зря играет благородных матерей семейств в течение сорока последних лет. Мадам сама взимает плату и, несомненно, сосчитает выручку, прежде чем чинно выплывет на сцену, изображая преданную мать и потерявшую покой супругу. Мадам давно работает на сцене. А знаете, кто проводил меня на место? Тот самый человек, который через четверть часа предстал как непутевый братец Джек — транжира, хлыщ, гуляка, способный на подлог и на отцеубийство. Правда, с его висков теперь спускались маленькие смоляные бачки, вступавшие в решительный контраст с его каштановыми волосами и ясно говорившие, что это не служитель, указавший место, а негодай и злостный интриган.

«Сельский бродяга» — отнюдь не новомодная поделка в жанре мелодрамы. Сам Крамльс, должно быть, открывал гастроль этой пьесой. Она написана в правдивом, старом стиле, который требует, чтоб каждое лицо, едва его упомянули в ходе действия, было замечено одним из персонажей и тотчас появилось на подмостках под общий возглас «Вот и он!», чтобы, не успев пройти трех метров за кулисами, актер опять выскакивал на сцену и, наконец, чтобы все «хорошие» герои любили резонерствовать и были глуповаты, а все «плохие» были грубиянами и еще большими глупцами. Мы словно попадаем на чужую, странно непривычную планету, где случай то и дело сводит всех знакомых и обитатели немножко полоумны, но говорят, как истые ораторы. Нам,

жителям деревни, это нравится: мы знаем слишком хорошо, что происходит в нашем мире, и нам приятно на часок-другой перенестись в другой и дивно непохожий.

Хотя герои пьесы и вели себя диковинно, они пришлось нам по душе. Нам полюбился Гарри Золотое Сердце, тот самый сельский бродяга, которого боготворили все его собратья-рыбаки. Он был такой кудрявый, в высоких сапогах и синей шерстяной фуфайке и говорил так громко, благородно и все тянулся то к хлысту, то к револьверу. Мы-то прекрасно знали, что он не посягал на жизнь отца и возвратился в старый дом, откуда был когда-то изгнан, только затем, чтобы сменить одежду, которую принес с собой зачем-то,—затея очень странная, конечно, но все-таки не покушение на убийство. Мы знали, что он сбежит из Портлендской каменоломни, где отбывает каторгу и тяжело трудится при этом: кладет в ведро две половинки кирпича и снова вынимает,—мы, как и прочие герои, его там видели воочию. А так как нам понравился забавный ростовщик-еврей, который называл всех «*мое милы*» и ничего так не любил, как ползанье на четвереньках, мы понимали, что и он, при всех своих несовершенствах, сумеет все же убежать и оказаться вовремя на месте, чтобы указать, какой из сыновей «нанес удар отцу в одежде брата». Если вы полагаете, что на отце была одежда брата, вы ничего не поняли в сюжете, хотя, не спорю, приведенные слова, а в третьем и четвертом действии они звучали поминутно, наводят на такую мысль.

На мой взгляд, Джек, беспутный брат, был чересчур загадочной фигурой. Не успевал он появиться на подмостках, как вас одолевали трудные вопросы. Конечно, он был франт, и франт почти что лондонский—так говорили все герои,—а это, несомненно, существо совсем иной породы, чем мы с вами, но все-таки зачем он выходил на сцену в смокинге и белых гетрах? Должно ли это было означать, что он совсем погряз в роскошной жизни? А если так, зачем поверх жилета и белой, накрахмаленной сорочки он надевал визитку, да еще чужую, ибо она была на пять размеров больше требуемого? Зачем для посещения Портлендской каменоломни он облачался в теннисный костюм—рубашку с распахнутым воротом и спортивную куртку, дополнив их соломенную шляпою и стеклом? Быть может, так ему удобней было насмехаться над несчастным братом-каторжником, одетым в эту пору в серый байковый костюм, который испещрен был клеймами, и обреченным складывать в ведро по половинке кирпича? И мудро ли, что *На-йоми*, кузина щеголя и героиня пьесы, с презреньем отнеслась к его искательствам и предпочла отдать свою любовь и руку его брату, который удовлетворялся синей шерстяной фуфайкой и сапогами с отворотами, не признавая расточительства и прихотливости в одежде. *На-йоми* была превосходна. Она переносила нас в

то время, когда вместо язвительных девиц не толще спички на сцену выходило пять пудов чистой добродетели и женственности; вооруженные корзинками и чепчиками, в кульминационные моменты эти героини произносили длинные периоды во вкусе восемнадцатого века и одаряли кольцами, доставшимися им от матерей в наследство, тех, кто завоевал их сердце. Услышав, как *На-й-оми* восклицает «*Гос-с-с-поди, помилуй*», что она делала необычайно часто в период Портлендской каменоломни, вы тотчас понимали, что все окончится прекрасно.

И все же лучше всех были отец с матерью. Отец, такой богатый и бездушный, был самый озабоченный из всех людей, каких мне доводилось видеть: и лоб его, и щеки были исчерчены багровыми полосками морщин. Его воротничок был так высок и туго накрахмален, что у него не поднялась рука сменить его до окончания пьесы, он был в нем и тогда, когда, прикрывшись бородой и форменной фуражкой, явился в каменном карьере, стараясь делать вид, что он надсмотрщик. Ему пришлось порядком потрудиться в этом действии: он дважды выходил на сцену как отец семейства и был одет в причудливый цилиндр и сюртук и дважды или трижды — как надсмотрщик. К тому же вместе со словами своей роли он выдыхал невероятно много воздуха, из-за чего не только разрывал их паузой, но завершал в придачу звуком «а». «*Ве-э-э-рно-а, ве-э-э-рно-а*», — получилось у него, когда он, в виде исключения, один раз с кем-то согласился. «*Га-а-рри-а, ты-ы-а бо-о-льше-а мне-э-а не-э-а сы-ы-н-а-а*», — восклицал он. Я понимаю, что письменно это немножко странно выглядит, но у него звучало впечатляюще.

Однако лучше всех была мадам, игравшая мать. Роль ей досталась небольшая, но и одна минута пребывания ее на сцене стоила часа игры всех остальных актеров. Даже отец казался рядом с нею бледной тенью и выглядел как новомодный бормотун. Она нам возвращала великую классическую древность мелодрамы, была единственной из всех высокородной римлянкой. Не опускаясь до вульгарной речи, она чудесно выпевала свои реплики, которые благодаря двум-трем высоким нотам переносили нас в стихию оратории. Услышав ее плач: «*Поми-и-и-луй, это наше чадо*», вы сознавали, что такое благородная манера, ловили отблеск театра тех времен, когда воистину он был Театром. Каким возвышенным трагизмом веяло от всей ее фигуры во втором действии, когда муж выгнал ее из дома на улицу, где бушевала буря со всем неистовством, какое могли изобразить свисток и барабан шумовика, или когда, набросив куртку добродетельного Гарри на пышные нагие плечи, вернее, лишь на часть их ввиду прискорбной малости сего предмета туалета, она стояла, затмевая страшным блеском глаз сверкающие молнии, и низким, грудным голосом, перекрывавшим грохот

грома, повествовала о своей великой, страстной любви к сыну! Потом она величественно удалилась, и я бы присягнул, что ее вправду поглотила бездна ночи, смешно было и думать, что где-то в глубине кулис, за лоскуточком занавеса, она потягивает что-то из стакана, не отрывая глаз от кассы. Могу сказать, что если покровители ее таланта не откликнутся—за одного могу вам поручиться,—значит, искусства драмы больше нет.

## ОСМАТРИВАЯ СТРАТФОРД

«Признайтесь, что вы там не были»,—сказали они. Я заметил, что не раз бывал там проездом. Но это совсем не то, возражали они, ведь я ничего не осмотрел, не знаю, где родился Шекспир, где был похоронен, не видал домика Энн Хеттеуэй и не присаживался на краешек кровати в спальне. Я сказал, что меня это нисколько не огорчает. «Мы знаем, вы не любитель достопримечательностей,—признали они,—но сам осмотр не займет много времени. Это будет восхитительная поездка: только взгляните, какое чудесное утро». Утро, действительно, было чудесное—весна, вся в золоте и лазури, и ни клочка облаков, насколько видит глаз. И я не только согласился посетить Стратфорд на Эйвоне, но и собственноручно помог опустить брезентовый верх у машины, так как явно настал момент сделать ее по-летнему открытой.

Мы впятером залезли в машину, прихватив с собой гораздо больше провизии, чем могло понадобиться. Есть ли на свете что-нибудь более ужасное для человека, наделенного тонким умом, чем отправиться в подобную увеселительную прогулку, или, как говорят, «слегка прошвырнуться»? Суета, спешка, неудобства, сэндвичи с яйцами вкрутую, пыль и пронизывающий ветер—уж лучше весь день работать, чем так развлекаться.

Мы еще не доехали до Стратфорда, как все сидевшие на заднем сидении дружно признали, что не припомнят более холодной поездки. Это было до крайности странно и обидно. Казалось бы, вы путешествуете в цветущем июньском великолепии. Небо по-летнему синее, дороги поблескивают на солнце; вы проезжаете мимо стариков, сидящих на траве без пиджаков и попыхивающих трубками; и со стороны вы сами, казалось бы, безмятежно поджариваетесь в золотом горниле лета. Но холод был ужасающий. Ветер, сухой северо-восточный ветер дул всю дорогу, так что щеки у нас окоченели, а подбородки буквально ныли от холода. И в то же время вокруг нас, насколько мы могли разглядеть слезящимися от ветра глазами, был прекрасный, располагающий к отдыху день. Казалось, будто мы одни заколдованы.

Истинный храм поклонения литературе, конечно же, библиотека. А помимо нее вы можете вдруг постичь дух писателя в самых разных местах, в самом неожиданном окружении: в осеннем лесу или на вересковой пустоши, в баре или любуясь пальмой на скале, окруженной бурунами. Но официальное учреждение с документальными свидетельствами о рождении, браке и смерти, с музеем, похожим на антикварную лавку, с выставленными в боевом порядке кроватями, письменными столами, креслами, гусяными перьями, книгами отзывов, цветными открытками и разговорчивыми зрителями,— все это просто напыщенная бессмыслица. И те, кто действительно получает удовольствие от подобных зрелищ, никогда не любили по-настоящему ни книг, ни их авторов. Стратфорд—просто Мекка для таких людей. Надеюсь, что самому Шекспиру это известно и что он наблюдает бессмертным оком за местом, где родился. И как же, должно быть, ему весело! Я слышу его оглушительный хохот, вижу, как он призывает других бессмертных (и конечно, Сервантеса в их числе, потому что если уж эти двое не неразлучные друзья, то, верно, в мире теней вообще забыли о дружбе), чтобы показать им местное отделение Мидлендского банка, которое тщится выглядеть полизаветински романтичным и даже украсило свои стены скучной росписью на шекспировские сюжеты. Он покажет им, что все в городе крыто соломой и начищено до блеска. Он, увидит, как мы заплатили положенное, чтобы взглянуть на парад предметов, не имеющих в действительности ни малейшего к нему отношения, на комнаты, набитые реликвиями Гаррика и Хеттеуэйев. Его отношение к торжественно-напыщенным официальным лицам всегда было слегка злорадным и ироническим, и теперь он, должно быть, радуется тому, что ухитрился оставить после себя так мало фактов о своей жизни и так мало предметов для посмертного поклонения. Он, верно, с наслаждением наблюдает, как его биографы корпят над своими компиляциями, прекрасно зная, что все достоверные факты уместятся на двух-трех листках из блокнота и что им предстоит толочь воду в ступе, начиная страницу за страницей примерно такими словами: «Мы можем изобразить Шекспира юношей...», или: «Без сомнения, поэт уже к этому времени...», или: «Едва ли драматург...»

Оставив так мало—в сущности, почти ничего—после себя, Шекспир, должно быть, испытывает злорадное удовольствие, наблюдая за усилиями своих сограждан создать для туристов Музей Шекспира. Надеюсь, он видит, как они обшаривают каждый уголок, собирая сомнительные бумаги о его шелковице или портреты мэра за 1826 год. И я уверен: много приятных минут доставили ему некоторые зрители музея. Там есть одна добрая женщина, очень любезная и услужливая, которая повторяет все известное ей о Шекспире

каким-то зачаровывающим шепотом с певучей интонацией и кончает всегда замечанием, сказанным одним и тем же тоном. Я мог бы слушать ее часами. Потом там есть мужчина, который обожает добавлять «в летнее время» так, будто положение полностью меняется зимой. «А вот документ, который вызывает огромный интерес у большинства посетителей в летнее время»,— сообщил он нам, и снова: «А вот это «скамья отдохновенья». В летнее время многие дамы любят присесть на ней».

Мы не смогли уделить ему должного внимания, так как вынуждены были то и дело выглядывать из окна. По нашему убеждению, трое мужчин (два из них были, несомненно, Бардольфом и Нимом) собирались угнать наш автомобиль. Как только мы подъехали, они подошли к нам под каким-то ерундовым предлогом—кажется, предложили сфотографироваться. В наши дни фотографы-любители и паломники по шекспировским местам—народ наивный, а у тех троих, Нима, Бардольфа и еще одного, вид был уж слишком потрепанный. Мы немного подождали. Мужчины продолжали самым подозрительным образом слоняться вокруг, делая вид, что хотят что-то сфотографировать. В конце концов мы заперли машину (плохая защита, как мне говорили, против вора) и вошли в музей, попросив одного зрителя поглядывать на нее. Естественно, мы и сами на нее поглядывали.

Но что, собственно, делали там Бардольф и Ним? Вскоре густой и пыльный поток машин, велосипедов, автобусов, проходящих мимо нас по главной улице, подсказал нам ответ. В полдень начинались местные скачки, и весь Бирмингем прикатил сюда. Быть может, и сам Шекспир смешался с этой толпой. Я совершенно ясно разглядел Пистоля в котелке, повисшего на подножке автобуса. Он, верно, спешил на встречу с Фальстафом, который, без сомнения, и подсказал своим друзьям, что хорошо бы машине «перейти к другому владельцу».

Да, Шекспир сам посмеялся бы от души, проводи он теперь денек в этом городишке. Он посмеялся бы над важничавшими представителями художественных промыслов, раскинувшими свои лавки под благодатной сенью его славы, над дорогими отелями, стремящимися уверить Миссури и Калифорнию, что они—старинные постоялые дворы, лишь недавно перебравшиеся сюда из Чипсайда; над шекспировским «тем» и хеттеуэйевским «сем»—куда ни кинешь взгляд; над превращением его суетливого городка в святилище, где мировой судья Шеллоу направляет стопы и взоры судебного исполнителя К. Шеллоу. Он посмеялся бы, но он бы и понял. Мудрыми, слегка удивленными глазами он посмотрел бы на маленького человечка из Китая, склонившегося над плоской могильной плитой в старой приходской церкви. Он понял бы и пожилую американку (у нее был тот

иссушенно-любопытствующий взгляд, какой появляется у некоторых американок и указывает, что они созрели для экспорта, как сушеные фрукты), которая воскликнула, подойдя к зрителю в домике Энн Хеттеуэй: «Что ж, я прекрасно провела здесь время и ни за что на свете не хотела бы упустить ничего из увиденного!» Он понял бы, хотя сам едва ли уж так прекрасно проводил время в этом домике. Он посмеялся бы, но сразу же проник бы вглубь, где под всеми этими ужимками и фиглярством скрыт драгоценный человеческий материал.

И был момент, на следующий день пополудни, когда я ощутил, что действительно ступил на его землю. Это было в саду при Новом доме, удивительно прекрасном в свете утреннего солнца. Здесь, не потревожив ни травинки, можно было бы сыграть всю сцену в саду из «Двенадцатой ночи». Тут был газон, будто созданный для Виолы и сэра Эндрю. По этой мощеной дорожке могла бы спуститься Оливия, похожая на прекрасного белого павлина. А за этой клумбой могла бы показаться фигура Марии, порхающей, как скворец. Да, из-за одного этого маленького сада стоило сюда приехать: в нем было больше от Шекспира, чем во всех этих документах, креслах и памятниках. Здесь были высажены бордюром тюльпаны, знать елизаветинских времен среди цветов. Белые, уже раскрывшиеся и очень величественные, казались благородными дамами в стоячих воротничках. Разноцветные, во всей роскоши алого и желтого,—кавалеры в камзолах и полосатых штанах. В мощеных, покрытых трещинами дорожках было что-то от гордыни и фантазии и завязанных крест-накрест подвязок, словно тут прошелся Мальволио. И в довершение всего здесь росли рядами душистые английские травы: тимьян и шалфей и майоран, а по краю—пахучая лаванда. Помню, когда мы ушли из сада, чтобы осмотреть место, где похоронен Шекспир, оно не произвело на меня впечатления. Да и не удивительно—ведь мы только что видели место, где Шекспир все еще жил.



# Раек (1929)

## МОЙ ДЕБЮТ В ОПЕРЕ

Я принадлежу к числу очень немногих писателей, выступавших в Бичемской оперной труппе. Правда, пение не входило в мои обязанности, хоть я и пел. Правда и то, что я выступал в этой труппе всего один вечер. Меня не приглашали выступить снова, но, с другой стороны, я и не напрашивался на новое приглашение. Одного раза было вполне достаточно, ибо мое честолюбие не распространяется на оперу; но теперь никто уже не скажет, что я не выступал в опере, точно так же, как нельзя сказать, что я не бывал в Африке,—при мне мой вечер с Бичемской труппой и мой полдень в Алжире.

Время действия—десять лет назад, весна 1919 года. Место действия—провинциальный город. Я только что вернулся с Великой войны, как теперь называют это мрачное, бесконечное, отвратительное чередование героизма и скуки. Я пишу статьи и обзоры для местной газеты по гинее за столбец. На одной из главных улиц города я неожиданно встречаю старого однополчанина, и мы с ним принимаем по четверти пинты—вернее, это он потом весьма приблизительно определяет выпитое каждым из нас как «четверть пинты». Тут выясняется, что на этой неделе он работает в Бичемской оперной труппе. Я вспоминаю, что он постоянно подвизался в местных театрах. Я сам видел его в ролях восточного слуги, полицейского, присяжного, лесничего и в роли епископа в «Ричарде Третьем». Поистине жалкой бывала неделя в нашем театре «Ройял», если он не появлялся на сцене в качестве того или иного лица без речей. Сегодня он с пятью приятелями занят в «Ромео и Джульетте» Гуно. Я не самый большой поклонник этой оперы. Слушать ее у меня нет особого желания, но выступить в «Ромео и Джульетте» я бы не отказался. Я даже выражаю

готовность — так нетерпеливы, так опрометчивы мы, любители, — отдать плату за вечер (целых два шиллинга шесть пенсов) человеку, чье место я займу. Это можно устроить. Я должен подойти к театру в семь тридцать и ждать моего однополчанина у служебного подъезда.

И вот я там, и он там, и мы оба, бросив последний взгляд на толпы ожидающих зрителей, входим в служебный подъезд. Мы поднимаемся по лестнице, потом спускаемся по лестнице, потом идем по стольким коридорам, что я окончательно теряюсь. Наконец мы добираемся до костюмерной, где жарко, как в печке, что вполне естественно, ибо она расположена, по-видимому, где-то возле центра земли. Здесь висит одно большое зеркало, стоят несколько больших театральных корзин, неистребимый запах грима и один унылый маленький человечек без пиджака. На стене предупреждение: *Курить строго воспрещается*. Мы все тут же закуриваем — все, кроме маленького человечка, который уже курил, когда мы вошли, и, кажется, курит без перерыва по меньшей мере лет сорок. Он открывает одну из корзин и начинает бросать нам костюмы.

Мне достается черно-желтый камзол и трико — одна штанина черная, другая в черную и желтую полоску; теперь я похож на толстую осу. Человечек принимается за наши лица и в каждое по очереди втирает красную и коричневую краску. Потом мы надеваем коричневые или черные парики, густые и коротко подстриженные, и венчаем их небольшими круглыми шляпами наподобие тех, что носят стражники в Тауэре. В парике очень жарко, и шляпы через него не чувствуешь. Но мало этого — нам вручают длинные, чуть не восьмифутовые пики. Мы, оказывается, городская стража Вероны, и я не сомневаюсь, что мы выгладим как надо, а может быть, даже лучше, чем надо. Мы все служили в армии, и держу пари, мы в два счета разогнали бы настоящую городскую стражу Вероны, а заодно Виченцы и Падуи. Только не с этими пиками, конечно. В провинциальном театре во время спектаклей такой большой оперной труппы, как Бичемская, за сценой трость негде поставить, не говоря уже о шести трехметровых пиках. Когда мы тащим свои пики по лестницам и коридорам, Монтекки и Капулетти дружно осыпают нас проклятиями. «Чума на оба ваши дома!» — бормочем мы, тщетно стараясь расцепиться.

Мы добираемся до кулис. Опера началась, но мы еще некоторое время не заняты. Мне кажется, что нужна невероятная смелость, чтобы выйти на эту ярко освещенную площадку, однако я вижу людей, которые пробегают туда и обратно, даже не повернув головы. Меркуцио или какой-то другой бородатый кавалер взмахивает руками, берет верхнюю ноту, затем возвращается за кулису и закуривает. Но вот нас собирают. Помощник режиссера замечает наше

существование. Я никогда не встречал человека более беспокойного вида. Все, что он делает,—это одна последняя отчаянная попытка. Каждый вечер он умирает сотней смертей. Он хватается пикой и показывает нам, как ее надо носить.

Наши обязанности, объясняет он, просты. Мы появляемся на сцене дважды. В первый раз мы выходим, стоим, уходим обратно. Ничего не может быть проще, хотя он явно не верит, что для нас это окажется просто. Будь мир таким, каким он представлял его себе, идя в помощники режиссера, это было бы просто. Теперь же он несколько не удивится, если мы гордо обойдем сцену, протыкая декорации своими пиками. Он единственный нормальный человек в этом сумасшедшем мире. Но вот приближается решительный момент. Все больше и больше людей с шумом теснятся к выходу на сцену. Наконец, кроме нас, в кулисе никого не остается. Пора? Да. События в Вероне достигают кульминации. Что же делать? Только одно: позвать городскую стражу. Но придет ли городская стража? Она придет. В это время стражники, опасливо неся свои шесть пик, пробираются по узкому проходу между задником и стеной, чтобы появиться в центральной арке. Мы появились. Нас не встретили аплодисментами; никто не обратил на нас внимания—ни на сцене, ни в зале,—но мы мужественно проделали все, что должны были проделать. Мы вышли, постояли и ушли обратно. Половина оперы была спасена. Вернувшись за кулисы, я услышал гром аплодисментов и мысленно полюбопытствовал, адресована ли часть их нам и говорят ли зрители друг другу: «Солисты и хор—так себе, но городская стража превосходна, особенно третий, с черной штаниной». А что было бы, если бы я вышел на поклон вместе с Ромео и Джульеттой? Я вижу, как стою между ними с пикой в руке и грациозно раскланиваюсь. Однако я возвращаюсь в нашу подземную костюмерную вместе с остальными. Маленький человечек по-прежнему здесь и погружен в еще более глубокое уныние. Наверное, он был здесь всегда. Может быть, театр был построен вокруг него.

Скоро наш второй, и последний выход. Мы опять за кулисами, и помощник режиссера, теперь совершенно безнадежно, как человек, смирившийся со своей судьбой в этом идиотском мире, дает нам указания. В наши действия будет внесено восхитительное разнообразие. На сей раз нам предстоит выйти, растянуться, остановиться и уйти обратно. Раньше зрители видели нас как плотную массу, теперь мы предстанем перед ними разбросанными группами. Потом, несомненно, будет много разговоров: некоторым хотелось бы большей монолитности, других приводит в восторг именно эта разбросанность, при которой индивидуальные черты—например, черная штанина, красиво обтягивающая ногу,—становятся более выпуклыми.

Вот наконец и вторая большая сцена. Собралась вся Верона. Мы сдвигаем шляпы набок, хватаем пики и идем, величественно растянувшись. Мне достается почетный пост. Я стою на страже у самых церковных дверей, точнее — между этими дверями и рампой, до которой меньше метра. Я стою изящно и непринужденно. Я размышляю о том, что будет, если я уроню пику, в которой теперь уже, кажется, не три метра длины, а все десять. Не вышибет ли она мозги музыканту, играющему на английском рожке внизу, в траншее? Им там тоже хватает дела. Я всех их хорошо вижу. Я вижу ряды лиц в партере и в ярусе. Хористы поют, и я подхватываю, обнаружив, что Гуно мне вполне по силам. Может быть, глупо, что стражник, стоящий на посту с пикой, запел, но это ничуть не глупее, чем когда поет любой другой. Действие развивается. Я чувствую сильное желание уронить свою пику или еще каким-нибудь образом принять более заметное участие в происходящем. Почему скромный городской стражник — скажем, тот, с черной штаниной, — не может вдруг сделаться героем «Ромео и Джульетты»? Или почему мы, копьеносцы, не можем взять на себя руководство событиями и для начала очистить сцену? Вот было бы веселье! А что, если послать в дирекцию записку с требованием выдать нам по пять фунтов на каждого и угрозой в случае отказа очистить сцену силой оружия? В конце концов мы вынесли оперу на своих руках. Сверх того, мы несли наши пики, и что касается меня, то моя мне надоела. Ну вот, кончилось. По крайней мере, настоящая опера кончилась — та часть, в которой действуют копьеносцы, хотя там кое-что еще осталось доделать Ромео, Джульетте и другим мелким персонажам. Мы возвращаемся в недра земли, волоча пики по полу, бросаем черные и желтые трико и стриженные парики унылому маленькому человечку, моемся, одеваемся, получаем свои деньги и отправляемся пить пиво.

Таков был мой дебют в опере, состоявшийся десять лет назад. Я ничего не выдумал, ничего не преувеличил и не приукрасил; и все же я не жду, что мне поверят.

## ВОЗВРАЩЕНИЕ МИСТЕРА ПИКВИКА

Быть может, вы и бывали в «Зеленом драконе» — название распространенное, — но едва ли это тот самый «Зеленый дракон», о котором я говорю. Он стоит неподалеку от моего дома, на перекрестке двух дорог, в приятном уединении: до ближайшей деревни от него всего несколько миль. Это настоящий старинный постоялый двор, все еще славящийся своими бифштексами и пивом, тяжелой дубовой мебелью и сверкающей кухонной утварью. Так он и стоит посреди тех серо-зеленых лужаек в цветущей сельской

местности, вечно подернутых туманной дымкой, в которых воплотилась сама душа Англии. И уж если попадете вы в эту долину, не миновать вам ее гостеприимной утробы— «Зеленого дракона».

Так вот, недавно, под вечер, взобравшись на гору у Литтл-Чанберри и спустившись через Лонг-Моулфорд, я подумал, что как раз успею до закрытия не спеша выпить в «Зеленом драконе» рюмку-другую. Это было волшебное время дня— сумерки, лиловатый воздух и едва различимые поля,— время, когда, как говорится, может произойти все что угодно. И когда я почти дошел до гостиницы, что-то действительно произошло. Я увидел темную громадину, беззвучно ползущую по дороге мне навстречу. Я ясно мог различить машину, но было в ней что-то необычно громоздкое и призрачное. Она все скользила, я твердо шел ей навстречу, и получилось так, что мы поравнялись с гостиницей одновременно. Теперь я увидел, что это междугородный автобус, самый большой из всех, что мне когда-либо доводилось видеть. И странно— у него не было огней, а изнутри не доносилось ни единого звука. А ведь в нем было полно народу: в сумерках я мог различить ряды голов и смутные пятна лиц. Он как-то призрачно и в то же время неуклюже развернулся и вдруг остановился всего в одном-двух ярдах от того места, где я стоял. Окна гостиницы освещали огромную эмблему или монограмму, нарисованную сбоку. Я прочитал буквы П.К.

Ни звука, ни движения. Я стоял, уставясь на автобус, и мне постепенно становилось жутковато. «Приветствую вас!»— воскликнул я. Мои слова будто сняли заклятие. В ту же минуту поднялась суета и сумятица. Пятна лиц превратились в весьма энергичных людей, которые все разом задвигались и заговорили. Я не мог разглядеть их как следует, но они представлялись самым удивительным сборищем— участниками не то живых картин, не то маскарада. Потом общий гвалт перекрыл голос, который показался мне странно знакомым. «Присядь, старикан,— кричал голос,— присядь и успокойся, не то шею свернешь, как сказал церковный колокол петушку на флюгере». Мне удалось разобрать и ответ на это странное приказание. «В чем дело, Сэмми?— раздался осипший голос.— Ведь мы приехали, не так ли? Ты и сам собираешься выходить». «Так что же из этого, старина,— воскликнул первый из говорящих.— Пока не трогайся с места. Я сейчас помогу хозяину, а там придет и твой черед, как сказал бараний окорок почтовой лошади».

Через секунду я увидел, как выскочила проворная фигурка, нырнула в темноту, а затем появилась вновь— уже с лесенкой, по которой спустилось несколько человек. Первый из них показался мне довольно маленьким, полным круглолицым человечком средних лет. Он подошел ближе, и в

темноте сверкнули его очки. «Прекрасная гостиница,— обратился он к одному из своих спутников.— Полагаю, здесь для всех нас найдется место, не так ли?» Теперь вступили и другие голоса. «Ах, что за божественная ночь,— пробормотал кто-то.— Все в природе спит, кроме безответно влюбленного соловья!» Он мог бы продолжать в том же духе, если бы его не перебил парень, принесший лесенку: «И кроме сборщиков дорожных пошлин, сэр. Они-то не спят. Хотя, возможно, вы и не причисляете их к Природе, сэр». «Довольно, Сэм,— сказал пожилой джентльмен,— мистер Снодграсс не спрашивал твоего мнения». Может быть после этого, прикоснувшись к шляпе, Сэм произнес: «Простите, сэр». Мне трудно судить, как было дело, потому что к этому времени я уже заблудился в лабиринте чудес и земля под ногами казалась мне зыбкой почвой сновидений.

Другие пассажиры толпой выходили из автобуса и смутно виднелись во мраке; они потягивались, похлопывали друг друга по спинам. Все, казалось, говорили наперебой, но время от времени чей-нибудь голос поднимался над общим гомоном. Я услышал, как кто-то кричал: «Где Боб Сойер?», но так и не узнал, был ли он с ними. Худощавый молодой человек весьма эксцентричной наружности пробрался сквозь толпу, взглянул на вывеску и обратился к тому, кто, казалось, был главным в этой компании: «Остановимся здесь, а? — славное местечко — давно его знаю — «Зеленый дракон» — много спален — дивное пиво — хоть залейся — горы бифштексов — яблочный пирог — стилтонский сыр — тем и славится. Я найду — скажу, кто мы такие — большая компания — знаменитые путешественники — особый прием — постели проветрить — ужин на стол — без задержки — все самое лучшее — а не то — репутация заведения навеки загублена — гостиница закрыта — продана — детишки в работном доме — из кожи лезут, чтоб с голоду не помереть — влиятельные гости — самая лучшая гостиница — всем будут рассказывать — редкая удача для хозяина — особо высокая плата — через неделю — толпы любопытных туристов — через год — две гиней за ночлег — американцы — состояние сколочено — можно и на покой — сельский джентльмен — сыновья в Оксфорде — дочери при дворе — все счастливы — на веки вечные». Когда он умолк, я расслышал осипший голос где-то в хвосте толпы: «Как, ты сказал, зовется ента харчевня?» И после того, как ему повторили название, воскликнул: «Слышь, Сэмми, «Зеленый дракон»». Сэмми откликнулся не без раздражения: «Так что из того, старый болван?» «А то, Сэмми,— продолжал осипший,— что все «Зеленые драконы», какие мне только довелось видеть, завсегда содержатся вдовами, и в барах там завсегда стоит чучело попугая». Это утверждение услышал пожилой джентльмен в очках, стоявший рядом со мной. «Удивительно любопытное обстоятельство, мистер Уэл-

лер»,—воскликнул он и собрался было достать большую записную книжку, но тут его отвлекли.

Отвлек его джентльмен в темных очках, который суетливо пробирался к стоящим впереди. «Боже мой, мистер Пиквик,—воскликнул он.—Неужто мы здесь остановимся? И это действительно «Зеленый дракон»? Знаете, я никогда не останавливался в гостинице под таким названием! Не правда ли, удивительно и прямо-таки замечательно! Вы, конечно, знали, что я тоже еду с вами? Магнус—Питер Магнус. А это кто? Ваш друг, мистер Пиквик?» Он уставился на меня. Все они уставились на меня. Неуверенно я сделал вперед шаг-другой. «Я, прости господи, что-то не припомню этого джентльмена»,—моргая, сказал мистер Пиквик. В этот момент худощавый молодой человек с отрывистой речью подошел ближе и, казалось, был готов пожать мне руку. «Вздор!—воскликнул он,—прекрасно знаю его—здесь все свои—и он меня знает—Альфред Джингль, эсквайр—пришел нас приветствовать—депутация из одного человека—представитель графства—помощник шерифа—собирается прочесть официальный адрес—вон он, в левом кармане—внимание—мы вас слушаем, сэр!» Мистер Пиквик обернулся к одному из своих спутников и прошептал: «По-моему, Джингль прав, слух о нашем возвращении через сто лет дошел до этих людей». Теперь он повернулся ко мне: «Что ж, сэр, вот и мы. Останавливаемся впервые за наше столетнее путешествие, ведь сегодня ровно сто лет, как мы его начали. Только теперь, разумеется, все наши друзья с нами, в чем вы легко убедитесь, оглядевшись вокруг. Мы готовы, сэр». Неужели они ждут от меня официальных приветствий? Да, несомненно, все лица уставились на меня, и ни звука, ни шороха. Но до чего же безжизненными, призрачными казались они!

«Видал новый автобус Бардсли?—раздался голос у меня за спиной.—Вот это размер! Да и обошелся недешево! Он называет его «Пиквик»». Гостиница закрывалась, и посетители выходили на улицу. По-прежнему серебрился в сумерках огромный междугородный автобус, но пиквикисты исчезли. Остался лишь говоривший, да еще двое-трое с любопытством глазевших на автобус, и только. Где теперь были мистер Пиквик, Тапмен, Снодграсс, Джингль, два Уэллера и все остальные? Похоже, что автобус был вполне реальным, хотя подъехал он без огней и водителя. Быть может, это вечернее виденье, в котором мои старые друзья возвратились таким удивительным образом, возникло в тот момент, когда я уставился на машину и она вкатила прямо в мой сон, потеряв огни и водителя в самый момент перехода? Но что имел в виду мистер Пиквик, говоря о столетнем юбилее? Я, все еще слегка как в дурмане, вновь и вновь обдумывал это по дороге домой. И само собой, вернувшись, я первым делом

взял томик «Пиквика». Во второй главе я прочел, как пиквикисты начали свое незабываемое путешествие 13 мая 1827 года, и тогда я стал размышлять—а только ли сном это было?

## МОЯ СУДЬБА

На одной из боковых улочек я заметил вывеску «Мадам Дэш, хиромантка» и тотчас же решил сорвать завесу тайны со своего характера и со своей судьбы. Взбираясь вверх по узкой лестнице, которая, судя по разномастным надписям, принадлежала многим лицам, таким, как «Поппльворт и сыновья, землемеры», «Дж. Дж. Бэртон и К°, сыскные агенты» и прочим, я поначалу никак не мог найти табличку мадам Дэш. Ни на одной двери не значилась ее фамилия. Бредя по лестнице, которая на каждом марше делалась все уже и грязнее, я наткнулся вновь и вновь на Поппльворта с сыновьями, на Бэртона с его компанией и, обойдя три этажа, нигде не отыскал ее квартиры. Спустившись вновь на улицу, я стал глядеть на окна в этом доме. В одном висели кружевные занавески. «Ага, это оно и есть...» — подумал я, и сам Дж. Дж. Бэртон не мог бы рассчитать все лучше. Вскрабкавшись наверх, я постучался в дверь, ближайшую к завешенному кружевом окну, и мне ответили, что я могу войти.

Внутри царила полутьма, так как часть комнаты, примыкавшая к окну, была отделена портьерой. Оттуда показалась голова хозяйки: «Хотите, чтобы я вам погадала? Подождите мину-у-точку». Я сел в руину кожаного кресла и начал дожидаться в темной, душной комнате, пропитанной дешевыми куреньями. Четыре вазы с бумажными цветами и две гравюры—«Вифлеемская звезда» и «Отплытие на запад (с благодарностью к Канадской службе пассажирских перевозок)» — полностью завладели моим вниманием. Так пробежала не одна минута, а все десять, в течение которых за портьерой журчал немолчный шепот. Но вот оттуда показались две понурые немолодые женщины—владелицы табачной и кондитерской лавчонок, я мог бы в том поклясться, чьи половины дали деру с десятков лет тому назад,—и мне было предложено занять их место рядом с мадам, у самого окна.

Она ничем не походила на обольстительную и зловещую сивиллу, то была низенькая, кругленькая женщина в летах, на красном, круглом лице которой смешно сидели очки, едва поддерживаемые пуговкою носа. В черном платье и грязноватом сером вязаном жилете она смахивала на хозяйку дешевого приморского пансиона, любительницу зимнею порой заглядывать на заседания местного геософского обще-



ства. Однако у нее было открытое, внушавшее расположение лицо; вне всякого сомнения, когда она была свободна от работы, другой немолодой, такой же славной женщине приятно было посидеть с ней за бутылкой портера или за чашкой чая. Сейчас она была сама серьезность. Усадив меня по другую сторону маленького столика, она посмотрела мне в лицо и протянула кристалл, велев прикрыть его руками и думать лишь о том, что я хотел бы от нее услышать. Взглянув на мою левую ладонь, она сказала: «Да, так я и думала», словно мы продолжали давний разговор. Ее манера была доверительной и непринужденной. «Как она умно начинает», — отметил я.

«Ну да, так я и думала, — сказала она снова, — вы человек ранимый, очень сдержанный, и так оно всегда и было, поэтому вас никогда не понимали. У вас ведь очень любящее сердце, но люди этого не чувствуют, поэтому вы им уже не верите. Других вы видите насквозь; когда они вам что-то говорят, вы знаете, что они думают на самом деле, и знаете, когда они вам говорят неправду, виновны они или не виновны. Но вы ведь сдержанный, и вас неверно понимают, да, то и дело плохо понимают. Вот вы и разуверились. Вы поспеваете за мной, голубтчик?»

Этой своей любимой фразой, к которой вскоре прибавилось слово «теперь», она все время уснащала свою речь: «Теперь вы поспеваете за мной, голубтчик?» — произнося ее то грустно, а то живо и даже с торжеством, звеневшим в голосе. Не знаю, как бы она обходилась без нее, столь безграничным было содержание этого вопроса. И как китайский мандарин, я всякий раз кивал в ответ. Я соглашался с каждым ее словом. Ее оценка моего характера до удивленья совпадала с моей собственной.

Настал черед моей правой руки. «Да, потрудиться вам пришлось немало, но и по сей день работа не дала вам то, что вы заслуживаете. Другие пользуются вашими способностями. Вы поспеваете за мной, голубтчик? Да, люди и поныне присваивают ваши мысли. Уж вы-то свое дело знаете, не правда ли? Вы настоящий мастер, я это вижу по ладони. Но скоро наконец вам повезет, вас ждет удача в мае и в июне. Это для вас особенно счастливая пора. Вас ждет ответственная должность, очень ответственная, очень скоро. Хотя у вас и так все складывается неплохо, жизнь не дала еще вам настоящий шанс. Вы поспеваете за мной, голубтчик?»

О да, я попевал. Ведь так я сам об этом думал. Правда, я затруднился бы сейчас назвать по имени мерзавцев, которые, используя мой ум, крадут плоды моих усилий, но твердо знал, что эти люди существуют.

«И вот еще что, — продолжала мадам. — Глядя на вас, легко подумать, что вы невероятно крепкий и здоровый, но это ведь не так, совсем не так. Не слишком вы себя

прекрасно чувствовали, начиная с ноября, не слишком хорошо, совсем не так, как выглядели. Вы понимаете, что я хочу сказать?»

Я бурно согласился. Ведь это истинная правда, я выгляжу всегда гораздо крепче, чем я есть на самом деле, и на мою беду, никто не может этого понять—ни родственники, ни друзья, ни даже доктора, никто из них не в состоянии себе представить, какие муки я претерпеваю втайне.

Покончив наконец с ладонями, она взглянула на кристалл, который я держал все это время. «Я вижу *нотч*»,— произнесла она многозначительно, и я, не удержавшись, вскрикнул от испуга. «Да, начинается на букву «н» и «о», вы знаете кого-нибудь, чье имя начинается на эти буквы?» Но это ничего нам не дало, ибо таких людей среди моих знакомых было множество. Она назвала еще несколько букв, но то была наименее ценная часть сеанса, и я не дал себя увлечь разгадываньем смутных порождений алфавита.

«Деньги придут к вам с двух сторон,—сказала она, пристально глядя в кристалл,—из двух источников, я это ясно вижу. Вы знаете, откуда их пришлют? Получите вы их очень скоро». Но я привык к тому, что деньги только уплывают в разных направлениях, и промелькнувшая в моем мозгу картина двух денежных потоков, двух золотистых струй, которые ко мне стекаются, наполнила меня неведомым и явственным блаженством. Я плохо понимал, откуда их пришлют (а если и догадывался, не знаю, почему я должен доверять свои секреты всему миру), но на какой-то миг почувствовал волнение человека, в чьи руки вот-вот свалится богатство.

«Я вижу тут высокого мужчину, очень прямого и в летах—вот он где стоит,—который хочет вам добра. Вы можете ему довериться. И тут еще один, довольно молодой, темноволосый, узколицый, он тоже вас не подведет. Оба они дадут вам много денег. И вы все время что-то там подписываете и подписываете. Вы поспеваете за мной, *голубчик*?» На что я возразил ей неуверенно, что мне всегда приходится подписывать немало всякого.

«Нет, то будет особый случай,—ответила она.—Тут вы подписываете что-то новое, и это доставляет вам большую радость». Не отрывая взгляда от кристалла, она замолкла ненадолго. «Я вижу вас в каком-то городе, среди высоких зданий, которые стоят на очень узких улицах, вас привела туда работа, которая идет у вас прекрасно. Высокие дома на очень узких улицах. Наверное, где-нибудь в Манчестере или в Ливерпуле».

«Должно быть, где-нибудь еще»,—немедля отозвался я. Одно дело, когда вам говорят, что вас ждет редкая удача в каком-то незнакомом городе, и совсем другое—узнать, что вы отправитесь в Манчестер или Ливерпуль. Я был разоча-

рован, но поспешил себя утешить мыслью, что в топографии мадам не слишком разбирается.

«Быть может, улицы и не такие узкие,—ободрила меня она.—Наверное, там только дома высокие. Но все равно, я вижу, там вас ждет великая удача». И у меня возникла твердая уверенность, что этот город все-таки Нью-Йорк и что меня там ждут контракты на сценарии и пьесы, на многочастные романы и на статьи в еженедельниках по пятьсот долларов каждая о том, какой мне видится американка, и что прямые, как струна, мужчины, всюду меня сопровождая, будут блюсти мои интересы, как свои собственные.

«Теперь вы сами можете спросить меня, о чем хотите»,— закончила она, но я почувствовал, что спрашивать, пожалуй, больше не о чем. Тогда, послушав еще несколько минут, какой я сдержанный, чувствительный, привязчивый, ранимый, и как меня никто не понимает, и что, хотя я остроумный и догадливый, мне до сегодняшнего дня не очень-то везло, но вскоре повезет по-настоящему, и если мне чего и не хватает, то только капли веры, я все же задал ей вопрос, но лишь о том, сколько я должен заплатить. «Полкроны,—ответила она.—Конечно, если вы довольны».

Еще бы я был не доволен! Не зная ровным счетом ничего—ни мой жизни, ни профессии, ни возраста, она сумела мне сказать все то, что я хотел бы от нее услышать и что в душе всегда сам думал о себе, все то, чего никто и никогда не понимал, кроме меня и этой доброй прорицательницы. Такое действо стоило и сотни полукрон. Как будто ваша греза превратилась в предсказание пророчицы. Я словно увидел себя в волшебном зеркале.

Два человека ждали за портьерой своей очереди. Хотя я окинул их лишь беглым взором, я сразу понял, что и они, должно быть, люди сдержанные, любящие, тонкие, ранимые, что их не понимает окружение и что, хотя удача их пока не слишком баловала, она им скоро улыбнется и в недалеком будущем преподнесет большое, настоящее богатство. Я думал о них с нежностью, минуя «Поппворта с сыновьями, землемеров» и «Дж. Дж. Бэртона и К°, сыскных агентов» и возвращаясь в наш привычный мир.

## В БАРСЕТШИРЕ

Уже несколько недель подряд по вечерам я устраиваю себе праздник—перед сном отправляюсь в Барсетшир. В Англии найдется немало графств, о которых мне известно куда меньше, чем о Барсете. Для меня Хантингдон, Бедфорд и Херефорд—всего лишь географические названия. Вы спросите почему? Дело в том, что я не навещаю туда

каждый вечер перед сном, и мне не рассказывают о том, что происходит в округе. Зато о событиях в Барсете мне известно все. Вот последние новости. Мистер Хардинг оставил должность попечителя Хайремской богадельни. Прауди назначен епископом, а Эребин произведен в деканы. Мери Торн получила наследство и вышла замуж за Фрэнка Грешема. Люси Робартес стала леди Лафтон и по-прежнему хороша собой. Лили Дейл отказала Джонни Имсу, который в Лондоне весьма преуспел по службе. Бедного мистера Кроули обвинили в том, что он украл чек на двадцать фунтов, а архидьякон Грэнтли обеспокоен перспективами охоты на лис в Пламстеде.

Итак, как вы уже догадались—если вы достаточно разумный человек и разделяете мою любовь к Троллопу,—я перечитываю «Последнюю хронику», и миссис Прауди в любой момент грозит кончина. Если бы Троллоп не услышал случайно в клубе, как некий господин жаловался, что по горло сыт этой самой миссис Прауди, он не стал бы ее убивать, и мы прочли бы еще полдюжины историй о Барсете и его обитателях, с которыми так сроднились душой. Да падет проклятие на несчастного! Одна миссис Прауди стоит десятка таких, как он. Почему никто вовремя не позаботился о том, чтобы прикончить этого брюзгу? Если ему не нравилось читать Троллопа, мог бы закрыть книгу и отложить подальше. Люди почему-то забывают о таком простом средстве и позволяют себе свысока судить о литературе. Нет закона, обязывающего читать то, что нам не по душе, так что выбирайте чтение по вкусу и не поднимайте шума. Я полагаю, что в аду этим хулителям и гонителям книг, «особам из Порлока», а также членам клуба, которым скучно читать о миссис Прауди, уготована пытка бескнижьем.

Барсет—столица края, где было бы неплохо провести остаток дней, именно потому, что он совершенно не похож на привычный нам мир. Это, по сути дела, царство покоя. Правда, многого там недостает, причем действительно важного. Например, в Барсете нет поэзии. На всем лежит ровный солнечный свет, и нет той золотистой романтической дымки, которая ранним весенним утром придает такое очарование лужайкам и ручьям у дома Ричарда Февереля. В Барсете нет лирической атмосферы. Там солнце, луна, звезды—астрономические понятия, и не более того. Если вы попытаетесь рассказать обывателям Барсета о Моби Дике, они посадят вас под замок. Я чуть было не сказал, что Дон Кихоту предложат за полчаса покинуть город, но тут вспомнил нашего доброго друга, мистера Хардинга, он бы непременно привел Дон Кихота к себе в дом и сыграл бы ему на виолончели.

Поскольку в Барсете нет поэзии, то, следовательно, нет и возвышенных чувств, нет тех выпренных нелепостей, кото-

рые настолько далеки от реальности, что обретают уже политический смысл, поскольку говорят нам не о том, какова жизнь, а о том, какой ей следует быть. Мистер Микобер вполне мог бы оказаться среди пилигримов в Кентербери, но, будьте уверены, в Барчестере ему совершенно нечего делать, здесь его никто не приютит и не обогреет. Не нашлось бы там и места клерка для Дика Свивеллера, а миссис Гэмп некого было бы выхаживать денно и ночью. Я вовсе не хочу сказать, что в Барсете не над чем посмеяться, смешного здесь вполне достаточно—чего стоят одни Стэнхоупы на приеме у Прауди (они будто бы сошли со страниц современного романа, живописующего нравы Челси),—но напрасно искать здесь обаятельных глупцов или святых безумцев. Они могут существовать только в яркой атмосфере, подернутой дымкой и пронизанной лучами далекого необыкновенного светила.

Однако, с другой стороны, в Барсете не бывает нервных потрясений, навязчивых идей, необдуманных поступков (единственное исключение—мистер Кроули, да и он забрел сюда скорей всего по ошибке из какого-то иного мира). Большое удовольствие провести часок-другой в обществе литературных персонажей, которые отдают себе отчет в собственных поступках, твердо намерены жениться на самой хорошенькой девице в округе или обзавестись годовым доходом в 500 фунтов, а не поглощены бесконечной утомительной болтовней. Я готов согласиться, что во всем графстве не найдется и двух стоящих идей. Зато в Барсете, хотя там черным-черно от ряс священников, на удивление мало религии. Одного мистера Кроули занимают мысли о боге, но он явно не от мира сего и едва избежал позора. В Барсете много говорят о политике, и мы даже раза два попадаем на выборы, но политика здесь как бы невзаправдашняя, все страсти кипят вокруг того, кто сторонник, а кто противник герцога Омниума, кто за красные цвета, а кто за голубые.

И хотя от барсетширцев случается услышать беглые замечания о музыке, живописи, книгах, совершенно ясно, что всем в Барсете глубоко наплевать на искусство. Если бы вы вздумали рассуждать в здешнем обществе об изящном, то вскоре обедали бы дома в полном одиночестве. Нет, в Барсете не забивают себе головы идеями. Здесь признают только реальные вещи, такие, как пудинги и закладные, лошади, свадебные хлопоты и портвейн. Хотя с моей стороны предательство произнести это даже шепотом, но, что поделаешь, истина дороже,—я, кажется, знаю, почему там такие тоскливые вечера. Вы, должно быть, и сами уже догадались. Все начинают зевать где-то около половины десятого. После того как детей уложили спать, лошадей завели в стойла, съели обед и пропустили по стаканчику, делать больше нечего. Вот почему миссис Прауди—это

поистине находка, дар providения. Она запретила играть в вист—прежний епископ Грэнтли завел эту скверну во дворце,—но начала плести такую сеть интриг, что взбудоражила весь Барсет, и благодаря ей вечера здесь затягивались за оживленной беседой до половины одиннадцатого. Она то и дело давала поводы для взволнованных пересудов, словно швыряла булыжники в затянутый тиной пруд. Мне бы не хотелось задумываться о том, какой была бы жизнь в Барсете в паузах между событиями, после того, как сыграли очередную свадьбу или получили повышение по службе, все улеглось, и впереди безмятежная жизнь до конца дней. Скорей всего от банальных проповедей, пудингов и зевоты стало бы смертельно скучно.

Однако это не имеет значения, поскольку мы оказываемся в Барсете именно тогда, когда там что-то происходит, и хотя эти события не заставляют нас открывать рты от изумления или всей душой сострадать несчастным, достаточно того, что они позволяют нам приятно провести время, перемещаясь из Барчестера в Оллингтон, из Грешембери в Хогглсток вслед за последними новостями. Здесь сохраняется блаженное равновесие между волнением и незыблемым покоем. И кажется, будто мы прожили неделю-другую с милыми старыми друзьями, и они затеяли небольшой скандал или незамысловатую интригу просто для того, чтобы мы незаметно провели время, которое так долго тянется по утрам и вечерам. Я не знаю других книг, которые давали бы такое удивительное отдохновение душе. Это не означает, что я призываю наших современных авторов писать, как Троллоп. Если бы они изображали мир, похожий на Барсет, они просто водили бы нас за нос, делая вид, будто королева Виктория все еще правит нами. Мы взвинчены, не знаем сами, чего хотим, увлекаемся дерзкими замыслами и не способны на решительные поступки, плывем по течению, вечно рассуждаем о любви и не находим в ней никакого удовлетворения, живем в обществе, похожем на калейдоскоп, столь свободны в своих поступках, что пребываем в полной бездеятельности, но все решаем, чем бы достойным заняться, нас никак нельзя назвать людьми с твердыми принципами, и мы не знаем, хозяева ли мы своей судьбы или всего лишь мошки-однодневки, порхающие, покуда светит солнце. Романисты должны изображать нас именно такими, какими мы предстаем перед ними. Теоретически рассуждая, самые увлекательные и выдающиеся романы должны создаваться именно в такие времена, когда все свободно, переполнены идеями, готовы обсуждать что угодно или вторить любому отрицанию общепринятого.

Но я начинаю сомневаться, соответствует ли теория реальной действительности. Обитатели Барсета, такие благополучные, ничем не примечательные, интеллектуально неда-

лекие, консервативные во взглядах на общество, оказываются более интересными литературными персонажами, чем молодые интеллектуалы и свободные от предрассудков девицы, кочующие из студии в ночной клуб, из Оксфорда во Флоренцию на страницах романов, которыми завалены наши письменные столы. «Как умно, как тонко, как прекрасно написано», — бормочем мы, пролистав несколько глав, но без сожаления предоставляем этих болтунов самим себе и спешим на Паддингтонский вокзал, чтобы снова сесть на поезд в Барчестер и побывать за обеденным столом у Торнов в Аллаторне или заглянуть в кабинет бедного епископа Прауди.

Сэр Уолтер Рэли со свойственной ему меткостью очень удачно заметил в одном письме: «Утром я лежал в постели и читал Троллопа. Странно, что кто-то предпочитает ему Теккерея. Троллоп берет зауряднейших людей, которые наводят на нас тоску как в жизни, так и в книгах, и пишет о них многотомный роман, потому что понимает, что такое человеческое сочувствие, в то время как другие считают его чем-то само собой разумеющимся или недостойным их высокого внимания. Хорошо, если бы развивалась традиция Троллопа, это было бы весьма полезно». Как говорят проповедники — вот тема для размышлений на будущей неделе. Много ли найдется современных нашумевших романов, в которых был хотя бы проблеск человеческого сочувствия? В этом высказывании Рэли меня удивляет только одно — почему он читает Троллопа в постели *по утрам*. По моему глубокому убеждению, самое подходящее для этого время — вечер, когда так приятно погрузиться в сон на соборной площади в Барчестере.

## ДИККЕНСОВСКАЯ ЯРМАРКА

Диккенсовская ярмарка и живые картины должны быть многолюдными. Только представьте себе, что мистер Пиквик или миссис Гэмп выходят на сцену, видят перед собой пустые ряды кресел и слышат жидкие хлопки — ужасное зрелище! Уж если устраивать ярмарку действительно по-диккенсовски, все жители города должны быть там — с едой и питьем, улыбками и кивками, запахом пота и суетой, притоптыванием и приветственными хлопками.

Диккенсовская ярмарка, которую я посетил в прошлый четверг, была такая же многолюдная, как страницы «Пиквикского клуба». Те, кто, как я, опоздал на утреннее представление, не имели ни малейшей надежды усесться, а я так даже не был уверен, найду ли местечко, чтобы стоять. Тем не менее я пошел по коридору вдоль зала за весьма решительным человеком средних лет (может быть, это был майор

Бэгсток?) и оказался среди столиков, накрытых для чая. Отсюда я мог вполне прилично видеть сцену, однако мне все время угрожала опасность влезть локтем в блюдо с пирожными, когда, забывшись, я откидывался назад.

Эта ярмарка устраивалась в пользу церкви, так что викарий был распорядителем. Он-то и говорил о Диккенсе перед началом живых картин. «Один из гигантов викторианской эпохи»,— произнес он, когда я вошел. Закончив, он, обливаясь потом, нервически улыбаясь и делая какие-то таинственные знаки, занял место внизу у сцены, а старичок с коротенькой трубкой во рту выглянул сбоку из-за занавеса. Это был явно сигнал оркестру, потому что он сразу же заиграл, и через одну-две минуты занавес заколыхался, распался посередке, слегка помедлил и, наконец, со скрипом раздвинулся. И мы увидели письменный стол в одном из углов сцены, стол с двумя зажженными свечами и несколькими внушительными фолиантами в кожаных переплетах. За столом сидел человек. То был сам Диккенс, что-то быстро писавший гусиным пером гигантских размеров. Зал зааплодировал.

Мне было трудно расслышать, что сказал Диккенс, потому что он обладал своеобразным искусством говорить себе в бороду. Однако я понял, что он все время изъяснялся стихами, и стихи эти напомнили мне прологи к старинным пантомимам, когда злой волшебник и добрая фея поочередно бросали друг другу вызов, а затем соединялись в дуэте для баритона и сопрано. (Я убежден, что это как раз те стихи, какие выбрал бы и сам писатель.) И Диккенс произнес бы несколько фраз дурными стихами, и старичок с трубкой выглянул бы сбоку из-за занавеса, и оркестр сыграл бы несколько аккордов или марш. Потом появились бы диккенсовские персонажи, то в виде процессии, то в сценке на заднем плане...

Как и следовало ожидать, восторг зрителей был неописуемый, ибо каждый получал удовольствие от двойного узнавания: сначала они узнавали разных диккенсовских персонажей, а затем в этих дамах в старинных шляпках и мужчинах в цилиндрах—своих родственников и знакомых. Я же наблюдал как бы со стороны, потому что не знал никого из актеров и не всегда мог расслышать, что говорит Диккенс. Там было много молодых людей ягнячьего вида в цилиндрах, которые никого конкретно не изображали, хотя, без сомнения, могли бы сойти за Копперфилдов, Свивеллеров и Пипов.

Большинство главных персонажей несколько изменилось. Мистер Пиквик, к примеру, становился все моложе: в прошлый четверг ему нельзя было дать и тридцати пяти. Миссис Гэмп выглядела теперь гораздо respectable. Мистер Микобер, с огорчением должен отметить, очень



похудел, а вместо сверкающей лысины демонстрировал отвратительную сморщенную желтоватую макушку, подозрительно напоминающую крашеный холст. Квилп не был ни карликом, ни уродцем, а скорее смахивал на молодого джентльмена, чье любимое времяпрепровождение было что-то разыскивать на полу. Бамбла не было: его представляла супруга; не прошло и двух секунд, как я догадался об этом. Оливер Твист был (с миской, все как положено) и явно наслаждался ролью, но он выглядел удивительно чистеньким, аккуратным и смахивал на мальчиков, прислуживающих в отелях. У Билла Сайкса из-под пальто пальто высовывался кролик: Билл явно пристрастился к браконьерству. Фэджин, Скрудж и Урия Хипп, счастливы признать, ни капельки не изменились.

Что-то странное ощущалось в Сэме Уэллере, но что именно, я никак не мог понять, пока не кончились живые картины и мы не вышли на воздух, где фотографировались девицы в платьях 1840-х годов (очаровательное зрелище). Тогда-то я увидел, как Сэм Уэллер, надевший теперь пенсне, попросил не более и не менее как самого Диккенса принести ему чашку чаю. Поза, тон голоса сказали мне все: Сэм Уэллер оказался супругой Диккенса. Это было довольно-таки странно. Но потом мне стало казаться, что здесь, на воздухе, где актеры курили трубки, девицы хихикали перед фотографом, дамы оживились за чаем, веселые старички играли в кегли, мистер Пиквик мешался у всех под ногами, а викарий старался быть в четырех местах одновременно,—повторяю, мне вдруг показалось, что все это больше похоже на Диккенса, чем живые картины. Как только эти милые люди перестали притворяться диккенсовскими персонажами, они действительно ими стали. И если бы вдруг я увидел самого великого писателя, играющего в кегли, я бы не удивился.

Это вовсе не значит, что живые картины были неудачны. Они пользовались колоссальным успехом. Викарий объявил, что, хотя это и не предусмотрено программой, они будут повторены вечером,—факт говорит сам за себя. Каждый персонаж получил свою долю аплодисментов. Даже Эдвин Друд, робкий юноша, стоящий в глубине сцены с поднятыми руками и выглядевший так, будто его сейчас стошнит, был принят восторженно. Что же касается персонажей вроде мистера Пиквика, мистера Микобера, миссис Гэмп, их моментально узнавали и радостно приветствовали. Один пожилой джентльмен, стоявший рядом со мной, так топал ногами, что это стало угрожать всему зданию. Собравшиеся не только видели своих друзей в маскарадных костюмах, они узнавали других своих старых знакомых из огромного сказочного диккенсовского мира и хлопали в ладоши, завидя их. Вдумайтесь в это. Собралось несколько сотен самых обыкно-

венных людей, жителей маленького городка, и все они с первого взгляда узнавали персонажей великого романиста. Совсем недавно А. Моруа признался, что в Англии, в числе прочего, его удивил актер мюзик-холла, с успехом развлекавший аудиторию, перевоплощаясь в разных диккенсовских персонажей. Этого не могло быть во Франции, отметил Моруа, потому что там никакие литературные персонажи не пользуются такой широкой известностью. Но если вам нужно еще более убедительное доказательство славы Диккенса, вы найдете его здесь—на ярмарке и живых картинах.

Если бы памятники Диккенсу стояли буквально на всех лондонских площадях, эта ярмарка все равно была бы лучшим свидетельством его славы. Строго говоря, со времени Диккенса и не было по-настоящему знаменитых писателей. Мы говорим: все знают Бернарда Шоу,—и действительно, почти всем знакомо его имя, но лишь потому, что оно так часто мелькает в газетах. Спросите девяносто девять человек из сотни, кто такой Джон Тэннер, и они в недоумении уставятся на вас. Киппс и мистер Полли, Клейхенгер, Генри Мейчин, Сомс Форсайт—кто все эти люди? Ни один человек из сотни, двух, а то и пяти сотен не скажет вам этого, и, однако, мы воображаем, что все знают Уэллса, Беннета, Голсуорси.

Хотел бы я, чтобы кто-нибудь встал на углу лондонской улицы и задавал подобные вопросы каждому прохожему. Мне встречались образованные люди, которые частенько бывали в библиотеках, считали себя любителями чтения, и, однако, не знали имен наших лучших современных прозаиков и поэтов. Чтобы понять колоссальную известность Диккенса, надо вообще выйти за пределы литературы: Чарли Чаплин—вот единственный возможный его соперник. Но много ли стоит такая слава? Конечно, много, больше, чем все памятники, титулы, посвящения, мемориалы, комментарии, издания «Такой-то и его век», вместе взятые.

А вот вопрос для тех моих братьев-писак, кому не по нутру эти наивные утверждения, кто и сейчас негодует и напускает на себя брюзгливый вид. Кто сказал, что каждый должен садиться писать с ощущением, будто у него миллион читателей? Сказал ли это вчера Нэт Гоулд или сегодня Этель М. Делл? Нет, это было сказано еще позавчера Гёте.

# Любимые эссе (1932)

## ОБМАНЧИВАЯ ВНЕШНОСТЬ

Я столько раз становился жертвой недоразумений и терпел незаслуженные упреки, что мне давно пора бы привыкнуть к этому,— не переживать молча (знаю по опыту, что оправдываться бессмысленно), но стараясь сохранить невозмутимость, не принимать несправедливость близко к сердцу. Случается, не проходит и дня, чтобы мне не пришлось вновь убедиться, до чего же несчастный я человек. Не далее как вчера вечером, когда мы играли в бридж, моя кузина обвинила меня в бестактности и самодовольстве, после того как я умудрился (признаться, довольно искусно) получить в пиках четыре взятки сверху. Она уже раз проиграла, не добрав объявленные взятки, а теперь ей, разумеется, было досадно. За ломберным столом моя кузина азартно торгуется, опрометчиво назначает взятки и, проиграв, неизменно забывает платить карточные долги, во всяком случае мне. Однако я не собираюсь обсуждать здесь довольно своеобразные представления моей кузины о порядочности, речь о другом. К несчастью, я прекрасно понимаю, что у кузины было достаточно оснований высказать мне свои упреки. Лицо мое, конечно же, расплылось в бестактной улыбке торжества—омерзительное зрелище,— между тем я вовсе не чувствовал себя ликующим триумфатором, а всего лишь ощущал в душе легкое довольство собой. Мне в голову не приходило, что я так и сияю от радости,—я просто забыл о том, какую скверную шутку может сыграть со мной моя физиономия. Вполне допускаю, что для всех партнеров это было пренеприятное зрелище. Меня давно мучает вопрос: отравляют ли жизнь другим людям их лица так, как мне мое, чудовищно преувеличивая и искажая все чувства, или же от этого несчастья страдаю один я—невозмутимый философ, физиономия которого с давних пор повадилась разыгрывать

мелодрамы; человек с непритворной душой, но с лицом голливудского комедианта.

Вступая в самостоятельную жизнь, я полагал со свойственной юности самонадеянностью, что вполне владею своим лицом. Я был убежден, что при такой непроницаемой внешности, как у меня, ничего не стоит скрывать свои истинные чувства. Изнывая от скуки на званых вечерах, я думал, что никто не замечает этого. Изю всех сил стараясь изобразить вежливую и даже горячую заинтересованность, я заставлял себя улыбаться и следил, чтобы улыбка не сходила с лица, глаза оживленно блестели и тому подобное. Если к концу вечера улыбка становилась немного натянутой, я полагал, что впрямую украдкой расслабиться, дав волю приятной скуке. Поскольку я не видел себя со стороны, прошло некоторое время, прежде чем я расстался со своими иллюзиями. В обществе чужих людей нам не грозит прозрение, но я, естественно, завел знакомства, и мои новые приятели быстро помогли мне избавиться не только от иллюзий относительно моей внешности, но и от многих других. С обычной дружеской бесцеремонностью проникнув в мое сознание, они обследовали его, словно новый дом, мимоходом распахивая окна то здесь, то там, чтобы свежий восточный ветер выдул всю чепуху из моей головы. Кто-нибудь из них замечал: «Скучновато было у имярек вчера вечером. Судя по твоему виду, ты просто подыхал от скуки». Вскоре еще несколько подобных высказываний открыли мне глаза на истинное положение вещей, и я понял, что обманываюсь в себе. Оказывается, не в моей власти приказать моему лицу выразить то, что я в данный момент не думаю и не чувствую. Мое представление о себе как о приятном собеседнике, природном дипломате и светском человеке, неизменно обаятельном, но в душе уставшем от общества, рассыпалось в прах, и, взглянув правде в глаза, я волей-неволей был вынужден оценить себя заново.

Однако сама по себе такая переоценка не встревожила меня и не вызвала особого разочарования. Я без сожаления отказался от тяжелой обязанности блюсти дипломатический этикет и гордо сказал себе, что внешний облик наиболее ярких личностей никогда не бывает приглаженным и бесстрастным. Что может быть лучше открытой честной наружности, без всяких хитростей являющей миру все разнообразие чувств ее обладателя. Так я рассуждал тогда и продолжаю так считать по сей день, хотя, пожалуй, теперь мое мнение стоит большего, поскольку я сужу беспристрастно. В то время я вообразил, что у меня открытое лицо честного малого, и был вполне доволен этим до тех пор, пока ряд недоразумений, вроде того, что произошло вчера вечером, не заставили меня снова изменить мнение о своей персоне. Так я в очередной раз расстался со своими иллюзиями, и теперь

уже навсегда. Я обнаружил, что меня уговаривают не выходить из себя, хотя я чувствую всего лишь легкую досаду; всегда спрашивают, чему я так радуюсь, тогда как у меня просто хорошее настроение, и просят не пялить глаза на незнакомых людей, когда я всего-навсего бросил на них любопытный взгляд. Наконец-то мне открылась истина. Мало сказать, что мое лицо не выражает правдиво мои чувства—оно их страшно утрирует. Где бы я ни появился, всюду я распространяю о себе чудовищную клевету. У меня такое впечатление, будто мне навязали чужое лицо, принадлежавшее какому-то неведомому человеку, с которым у меня нет ничего общего. Неудивительно, что обо мне так часто судят превратно, принимая за мои истинные чувства гримасы и ужимки моего лица, которым я не в силах управлять. Откуда им знать, что мое лицо живет своей независимой жизнью, и достаточно малейшего сигнала, как оно тут же начинает выделывать номера, мне самому глубоко отвратительные.

Увы, таков мой удел. Лицо мое как бы принадлежит человеку, относящемуся к совершенно чуждому мне типу людей. Напыщенные, вспыльчивые, эти люди склонны к крайностям, тогда как я по натуре—сама умеренность. Я не претендую на то, что достиг абсолютного философского спокойствия и отрешенности, но—что бы там ни говорили знакомые, сбитые с толку моей физиономией,—меня не назовешь человеком с сильными чувствами, из породы тех, кому просто необходимо возбуждаться по любому поводу; они счастливы лишь тогда, когда ввергнуты в бездну отчаяния, и считают свою жизнь пропадающей, если не переживают душевных бурь, им надо всегда пылать и гореть, любить и ненавидеть, смеяться и рыдать. Не то чтобы я относился к ним с презрением, просто при всем желании я не смог бы им подражать. Мои чувства неглубоки, ровны и вряд ли вырвутся из-под узды. Мне неведомы экстаз восторга и ужас отчаяния, и вряд ли суждено мне познать их во время тех благих ежедневных трудов, когда воспаряю я духом. К ближним я отношусь со спокойной доброжелательностью, не выходящей за рамки ровной симпатии или сдержанного неодобрения. Даже тот тип, который присвоил себе мое лицо, вызывает у меня лишь неприязнь, далекую от злобы и ненависти. Когда мне везет за картами (вчерашний вечер не идет у меня из головы), я чувствую лишь приятное удовлетворение, разве что с ничтожной долей торжества. Когда проигрываю, что случается гораздо чаще, то, уверяю вас, не испытываю ничего, кроме мимолетного огорчения, и, спокойно вздохнув, говорю себе «увы!». За свою жизнь я, наверное, совершал не слишком благовидные поступки и, конечно, старался по мере сил делать добро, но никогда не выступал я в амплуа подлеца или героя. Если жизнь—это мелодрама, а

порой кажется, что так оно и есть, то я в ней самый что ни на есть второстепенный персонаж. Короче говоря, упитанный, благополучный, уравновешенный мужчина в расцвете сил, с философским взглядом на жизнь, чуждый кипению страстей, да страстей-то у меня найдется так мало, что кипеть особенно нечему.

Вот каков я по характеру. Однако при взгляде на меня людям мерещится невесть что в силу некоего загадочного свойства моего лица, которое никак не назовешь правдивым зеркалом чувств. Дело в том, что лицо мое, подхватив малейший шепоток, усиливает его до крика. За картами, когда удача улыбается мне, оно неприлично ухмыляется, злорадно торжествуя. Яростно оскаливается на ни в чем неповинного незнакомца, в обществе не в меру разговорчивых визитеров вопит: «Ну вы и зануды!», кривится и морщится, вспыхивает или меркнет, угрюмо мрачнеет, пышет злобой, тарачится в изумлении, ухмыляется или свирепо пялится в ответ на самое безобидное замечание собеседника. И нет конца этому бенефису скверного актеришки старой школы, который страшно переигрывает и отчаянно гримасничает на сцене. Говорящая обезьяна с мегафоном была бы бледной карикатурой на обладателя такой физиономии. Пока окружающие, не отрывая глаз, следят за захватывающим спектаклем, я, скромный малый, способный испытывать лишь приятные всплески эмоций, невинно сижу за кулисами, совершенно позабыв о том, какая ужасающая пародия на меня разыгрывается перед зрителями, пока какое-нибудь недоразумение не напомнит мне о моем глупом и прискорбном положении. Интересно, только ли мне так не повезло или же при раздаче лиц обидели всех? Возможно, другие бедняги оказались в противоположной ситуации — ими владеют титанические страсти, но они не могут передать всю силу порывов своей души, поскольку лица отказываются им повиноваться, выражая лишь чуть заметную досаду или умиротворенное удовольствие. Мне хотелось бы познакомиться с таким товарищем по несчастью, мы бы поделились своими переживаниями, и постепенно между нами завязалась бы крепкая дружба. По крайней мере мы с наслаждением лицезрели бы друг друга.

## ЭТИ НАШИ АКТЕРЫ

Перейдя площадь Пиккадилли, я попал в совершенно неведомый мир. Мне помог в этом один мой приятель, брат которого работает в агентстве по найму киноактеров. Покружив сначала в лабиринте улочек за Риджент-стрит, мы поднялись по длинной узкой лестнице и оказались в небольшом клубе, где было шумно, накурено и царила непринуж-

денная атмосфера. Здесь собирались люди из мира кино, главным образом актеры. Среди завсегдатаев клуба не было статистов из массовки, подрабатывающих за гинею в день, не было и кинозвезд. Сюда приходили характерные актеры. И потому мы подкреплялись холодным говяжьим окороком и салатом в окружении типажей — все они с таким воодушевлением ели, пили, курили, жестикулировали и разглагольствовали, будто на них были направлены кинокамеры. А какие неподражаемые сцены встречи закадычных друзей происходили в соседней комнате, где был бар, гостиная или курительная! Статные силачи с нависшими густыми бровями и тяжелыми подбородками воскрили рокошущим басом: «Привет, старик!», похлопывая по спине стряпчих, врачей, благородных отцов семейства. Молодые смельчаки, увенчанные волнистой шевелюрой, пожимали друг другу руки с таким видом, словно случай свел их где-нибудь в джунглях бразильских джунглей. Вино и виски лились рекой, как на торжестве в честь совершеннолетия молодого сквайра, когда старый парадный зал оглашается радостными возгласами домочадцев. «Как дела, старина?» — вопрошали они друг друга, и, ей-богу, многозначительные взгляды, которыми они обменивались, поднятые брови и крепкие рукопожатия — все говорило о том, что страсти в этой драме стремительно накаляются.

Из клуба мы отправились в контору агентства. Это был зал ожидания. Здесь только ждали, ждали, ждали. Фотографии с изображением этой комнаты я бы разослал всем охваченным смятением родителям, дочери которых собрались в киноактрисы. Пусть скажут они этим барышням: «Ты воображаешь, что мигом окажешься в Элстри на съемочной площадке в роли обворожительной, сверкающей бриллиантами леди Элен, раскрывающей объятья красавцу Джеймсону Томасу. Какое заблуждение! От зари до зари ты будешь просиживать в этом зале ожидания, вопреки всему надеясь на чудо, веря, что и для тебя найдется какая-нибудь «роль», и будешь рада-радешенька за гинею в день бултыхнуться в грязный пруд, где плавают утки, или выпрыгнуть на ходу из автомобиля». Мы прошли в кабинет управляющего, где повсюду на стенах висели фотографии, запечатлевшие благородные профили с автографами их признательных обладателей. Зазвонил телефон, требовались статисты для команды эсминца. Сразу же объявили, что есть запрос на моряков, и в комнату стали впускать по несколько человек — опрятно одетых и улыбающихся, хотя некоторые из них уже давно не зарабатывали даже гиней в день.

Два агента, скользнув по ним беглым взглядом, тут же выносили приговор: «К сожалению, вы не подходите по росту» или «Увы, вы недостаточно молоды». Получив отказ, претенденты уходили, по-прежнему улыбаясь. Думаю, эти

улыбки заставили бы дрогнуть сердца Дрейка и Нельсона, и, отдавая должное мужеству этих людей, они обязательно взяли бы их в матросы. Что до меня, то я не гожусь для работы киноагента, я слишком мягкосердечен. У меня не повернулся бы язык отказать этим улыбающимся людям, живущим надеждой. Все они заслуживают медалей, а не каких-то там гиней за то, что не падают духом и каждый день приходят сюда в чистых воротничках, выглаженных брюках и аккуратно вычищенных пиджаках. Выслушать бы исповедь каждого из них и сочинить трогательный сценарий об этих подвижниках долготерпения. Будь я знаменитым режиссером, я бы снял о них фильм и начал бы его такой сценой: в убогой и грязной клетушке этот бедняга утюжит брюки, а потом отправляется в агентство, чтобы улыбаться и ждать, ждть и улыбаться.

В комнату вплыла солидная, исполненная достоинства дама, вылитая герцогиня, сказали бы мы, если бы настоящие герцогини держались сообразно своему титулу. Не теряя величественности, она доверительно склонилась к агенту за конторкой. «Может быть, найдется что-нибудь другое для меня, дорогой?» — спросила она. Насколько я понял, она была не вполне довольна ролью в массовке, которую ей предлагали. Несколько фраз я не смог разобрать, потом до меня донеслось: «Поймите, дорогой мой, я совсем не против драки с этими индийскими матросами. Пока они трезвые, такая потасовка даже забавна. Но сниматься с ними, когда они накачаются пивом,—это уже выше моих сил, право же, это слишком. На мне живого места нет»,—заявила она, величественно улыбаясь. Глядя на нее, можно было подумать, что она объявляет об открытии благотворительного базара. «Вы понимаете меня, дорогой, не правда ли? Вот именно. Если подвернется что-нибудь, ну сами знаете, этакое...» — и, одарив всех благосклонной улыбкой, она удалилась.

После нее вошел самоуверенный молодой человек с бакенбардами. Нет ли чего-нибудь подходящего для него? «Вы можете расстаться с бакенбардами?» — спросили его. Он покачал головой. «К сожалению, не могу. Я с ними одно целое» — и с этими словами они покинули нас, все трое — молодой человек и неотделимые от него бакенбарды. В этом странном мире кино есть уникальный вид садоводства — выращивание волос. Знаменитый режиссер может вызвать бурный рост бород, усов и баков на мили вокруг. Дело в том, что взыскательные режиссеры не терпят накладных бород: им подавай только настоящие. Недавно такой господин приступил к съемкам фильма из жизни викторианской Англии и никак не мог подобрать актеров — у всех были бритые подбородки и щеки. Однако через месяц по улочкам за Риджент-стрит и Шефтсбери-авеню толпами разгуливали



мужчины с окладистыми бородами и дандририйскими баками. Едва прошел слух, что требуются бородачи, как все попрятали бритвы. И теперь снова извлекли их на свет, когда объявили набор в команду эсминца.

Затем меня повели в заведение, где проводят время актеры и актрисы рангом пониже. Похоже, здесь прежде был ночной клуб, и стены его до сих пор хранили отголоски того вымученного веселья по заказу, от которого совсем не весело в таких клубах. Я увидел просторную, вытянутую в длину комнату, посредине нее — танцевальный круг, а за ним столики и бар с напитками. И здесь тоже не было обычных людей — одни типажи. Фат в монокле пил пиво в обществе колоритного старого актера. Партию в бридж составили сыщик, чудаковатая квартирная хозяйка, стареющий аристократ и утонченная девица. Женщины-вампы и крашенные пергидролем наивные провинциалки пили чай и увлеченно болтали. Деревенские простаки одалживали спички и табак у парней с Ист-Энда. Прелестная юная мать толковала мрачной старой деве, как она отбрила помощника режиссера. Поистине в этом зале можно было увидеть весь калейдоскоп лиц, мелькающих в массовке на съемочной площадке. Заметив меня в обществе известных агентов, некоторые актеры решили, что я новый режиссер, и явно старались привлечь мое внимание.

Думаю, киношники всех мастей время от времени заглядывают в этот клуб, но на сей раз здесь сидели главным образом фигуранты, которых нанимают за гиную в день. Кое-кто из них еще молод и лелеет честолюбивые надежды прославиться на этом обманчивом поприще. Были здесь и не актеры, а просто случайные люди, которые нашли для себя рынок, где то и дело возникает спрос на прямые или сломанные носы, козлиные бороды или импозантную внешность. Попадались и бывшие корифеи, некогда блиставшие в мюзик-холле или в серьезной драме. Ныне они довольствовались временной работой за двадцать один шиллинг от щедрот того нового бизнеса, по вине которого прогорело столько театров. Я заметил одного опустившегося старика и узнал в нем знаменитого артиста мюзик-холла. Когда-то он был гвоздем программы, а теперь почитал за счастье изобразить бездомного или нищего в маленьком эпизоде. Говорят, когда у него нет работы, он спит на набережной. В очередной раз придя в кино, вы сможете увидеть на экране его разрушенное временем лицо — оно появится на пять секунд.

# По Англии (1934)



## БИРМИНГЕМ

Утром я проснулся с неясным, волнующим душу предчувствием радости. Мне казалось, что рутинная моя ежедневная встреча с миром будет сегодня нарушена. И тут я вспомнил, что третьего дня потерял безопасную бритву и купил себе другую, оригинальной конструкции, а в придачу к ней получил тюбик тоже совершенно оригинального крема для бритья. Мне не терпелось заняться новыми игрушками, но, встав, я прежде всего внимательно изучил рекламу на коробочках. Бритве, как утверждали ее создатели, было суждено произвести в мире переворот: она сконструирована по ранее неизвестному принципу, и стóит хоть раз ею побриться, как вы уже никогда не возьмете в руки никакую другую. Таким же чудом предстал крем: прекрасный, мягкий, моментально пенящийся—намыливать им щеки, говорилось в рекламе, одно удовольствие. Правда, он не без недостатка: его хочется разводить просто так, даже когда нет нужды бриться. Вдохновленный этими панегириками, я тут же принялся за бритье. И что же? Крем оказался совсем дрянным—обычное мыло и то пенится лучше. Не работала и бритва, и не потому, что я не умел с ней обращаться, она просто не брила, и все. Я скреб щеки добрых десять минут, но без толку. Для меня до сих пор остается загадкой, на что эти обманщики рассчитывают, когда запускают подобные товары в производство? Надеются, что несколько покупателей, вроде меня, хоть разок, да клюнут на приманку? Или искренне верят, что выпускают хороший крем и хорошие бритвы? Но ведь была же у них возможность испытать свои изделия на себе? И вообще, какой смысл тратить столько средств и труда на выпуск, рекламу и продажу заведомого брака? Хотелось бы мне знать истинную историю этого дурацкого крема и никчемной бритвы.

Недобритый, вновь разочарованный, я влез в автобус, курсирующий между Ковентри и Бирмингемом. Он был набит битком, и удовольствия поездка мне не доставила. Погода стояла пока хорошая, но похолодало, и ветер пронизывал чуть ли не до костей. Мы медленно тряслись по вполне живописным окрестностям, там и сям украшенным большими новыми пивными барами. Эти бары— примечательная черта ландшафта центральных графств. Одни из них спроектированы просто прекрасно, другие воплощают идею «доброй старой Англии», как ее, эту Англию, представляют в окрестностях Лос-Анджелеса. Но как бы изящно или безобразно ни выглядели эти постройки, каждая обошлась в копейчку, а это доказывает, что пивовары (основные их владельцы) пока не боятся за свое будущее. Тем не менее все эти заведения, как я заметил, стараются привлечь внимание публики чем-нибудь, помимо пива: перед одними разбиты площадки для игр в шары, другие рекламируют кухню, третьи— музыку. Несомненно, их хозяева предложили бы посетителям еще больше всяких развлечений, если бы не протесты трезвенников, которые возражают против баров на том основании, что там только и делают, что пьют, и в то же время энергично ополчаются на всех, кто предлагает в них какую-нибудь альтернативу выпивке. Старый трюк: приложить все силы, чтобы пивная оставалась скучным заведением с сомнительной репутацией, а потом поднять вопль, какое это, мол, скучное и сомнительное заведение. Представьте, что мы заставили бы трезвенников отпустить длинные волосы и не мыть их, а затем высмеяли бы их в фельетонах за нечистоплотность: «Вы только взгляните на их волосы!»

Среди сельских просторов вдруг появился дорожный транспарант с надписью «Бирмингем». Кругом ничего не было, кроме отливающих желтым полей, живых изгородей и осеннего тумана. На секунду мной завладела сумасшедшая надежда, что это и правда Бирмингем, только его снесли, а развалины расчистили. Не то чтобы я имел зуб на этот город. Прежде мне и бывать здесь не доводилось, да и знал я о нем крайне мало. Но то малое, что я знал, говорило не в его пользу. Бирмингем мне всегда смутно представлялся самым типичным продуктом индустриализма XIX века, городом с большими доходами и мелочными взглядами, городом, отправляющим христианских миссионеров из одних ворот и тут же посылающим медных идолов и пулеметы из других. Бирмингем производит массу товаров, главным образом из металла, но никогда ни один из них не возбудил в моей душе нежных чувств. Я ни разу не произносил слов «старый добрый Бирмингем» и не слышал таких слов от других. Клеймо «Сделано в Бирмингеме» вызывает у меня только недоверие, а знаменитые представители семьи Чемберле-

нов—герои не в моем вкусе. Да и сколько шуток ходит по стране об идиотизме здешнего муниципального наблюдательного комитета! С другой стороны, в любом путеводителе вы прочтете о Бирмингеме немало доброго. В XVIII веке, например, здесь организовали научное «Лунное общество», членами которого были Джеймс Уатт, Мэтью Боултон, Джозеф Пристли, Джозайя Уэджвуд, Эразм Дарвин, сэр Уильям Гершель, Сэмюел Парр. Неплохое созвездие! Впечатляет и количество важных изобретений, сделанных или доведенных в этих местах до ума, от паровой машины до газового освещения и гальванизации. Промышленные успехи города нельзя объяснить только географией и геологией, одним удобным расположением в районе, где много угля, железной руды, дерева и песка. Не последнюю роль тут сыграла история. В средние века Бирмингем не имел особого значения и в нем не заправляли гильдии, его не опутывали всевозможные запреты, как другие большие поселения тех времен. Не входя в число привилегированных, он принимал на жительство и давал работу нонконформистам, а поскольку промышленная революция была по сути нонконформизмом, городу удалось воспользоваться всеми ее преимуществами. Так что шуточки о наблюдательном комитете и чулочках девиц из кордебалета—лишь последние звенья длинной цепи исторических причин и следствий. Но сделавшись черным рабом индустрии, Бирмингем сумел выиграть несколько битв за свободу по другим направлениям, что, естественно, делает ему честь. Однако, пока я над всем этим размышлял, поля за окном исчезли, и мы затряслись мимо домов, магазинов и заводов. Была ли открывшаяся панорама достойна второго по величине города Англии? Да, конечно. Она напоминала грязную свалку.

Когда автобус остановился, какой-то бирмингемец предложил мне донести мои два чемодана до гостиницы. Он был молод, этот бирмингемец, с опухшим, давно не бритым лицом, почти заросшим густой, похожей на паклю щетиной, и одет в потрепанный коричневый пиджак, латаные брюки и совершенно разбитые ботинки. По дороге в гостиницу я задал ему кучу вопросов, но он отвечал как-то невнятно, и большинство ответов я не разобрал. Тем не менее выяснилось, что ему двадцать два года, что с шестнадцати лет он сидит без работы, пособия не получает, матери у него нет, а отец тоже безработный. До гостиницы было далеко, один из моих чемоданов весил вполне прилично, так что я предложил парню, если надо, передохнуть. Однако у этого обездоленного создания была, видимо, хорошая закваска—он не только не остановился, но и не сбавлял шага, пока не поставил чемоданы рядом со швейцаром, который презрительно посмотрел на него и заговорил с ним таким тоном, каким вы не решитесь отогнать вертявую дворнягу. Я дал

ему за труды флорин, и он ушел очень довольный—такие деньги ему удавалось собрать за целый день, да и то, если повезет.

Вблизи гостиницы Бирмингем выглядел неожиданно величественно. Здесь, на углу Колмор-роу вы действительно ощущаете, что попали во второй город Англии. Громадное здание муниципалитета выходит в конце улицы на площадь Виктории, а вдали видна Хилл-стрит, уходящая под мост, высоко вскинутый у Почтамта. Если в Бирмингеме и есть лучшие виды, то я их не заметил. На секунду даже может показаться, что наконец-то вы нашли английский провинциальный город с подобающими большому городу атмосферой и величием; что наконец-то перед вами не будет скопищ мрачных, пыльных фабрик и человеческих муравейников, которые на этом острове называют городами; что несколько горожан, имеющих вкус и головы на плечах, взялись навести красоту в каменной мешанине; что у Бирмингема все же достало ума заниматься не только винтами, клапанами и монометрами, но и самим собой. Смешные фантазии! И единственный способ не разочароваться—тут же на углу этой улицы сесть в закрытую машину и умчаться, больше ничего не осматривая.

Уехать я не мог, поэтому сделал почти то же самое—спрятался в картинной галерее и музее, которые объединены под одной крышей и о которых мне много говорили. Директор заведения стал убеждать меня, что в Бирмингеме всегда были свои мастера, и в доказательство провел от стенда к стенду с поделками из серебра, иногда безвкусными, но всегда тонкой работы. Показал он мне и на удивление удачные картины учеников городской школы живописи—одному из этих учеников исполнилось всего пятнадцать лет. Бирмингем, уверял директор, вовсе не скупится на свой музей. Так, деньги для покупки двух великолепных китайских сервизов—что-то между двумя и тремя тысячами фунтов—были собраны всего за пару дней, хотя никакой практической пользы и никакой прибыли от этих предметов искусства ждать не приходится. Мне показалось забавным, что два других, не менее роскошных фарфоровых сервиза подарил музею знаменитый комик, чьи шутки о ханжестве бирмингемцев до сих пор звучат у меня в ушах.

Картинная галерея музея славится двумя богатыми коллекциями—старой акварелью и работами прерафаэлитов. Около прерафаэлитов, где представлено особенно много графики, я не задержался: Берн-Джонс и его коллеги не доставляют мне последнее время удовольствия. Очаровал меня, как всегда, только Форд Мэрдокс Браун, но он, по-моему, не совсем прерафаэлит, и его работы обладают своей, какой-то особой волшебной силой. Их секрет, видимо, заключается в необычной смеси жизнеподобия и фантастики.

Вглядываясь в его эмигрантов и рабочих, вы вдруг почувствуете себя неуютно; вам кажется, что кто-то, может быть сам Форд Мэрдокс Браун, смотрит на вас из-за картины. Если это так, то он вас видит куда лучше, чем вы его полотно: галерея отлично построена, просторна, но освещение в ней посредственное—больше света падает на пол, чем на стены. А вообще-то хорошо, что в Бирмингеме скопилось столько прерафаэлитов; дух, атмосфера их картин так отличны от духа самого города, что сразу понимаешь, до чего широк и разнообразен наш мир. Но мне одинаково не по нутру отношение к жизни и искусству как бирмингемцев, так и Берн-Джонса; я предпочитаю открытые дороги, что ведут мимо бухгалтерий, с одной стороны, и теплиц, где девушки склонились над цветами,—с другой. Мне близок тот синтез жизни и искусства, который предстает на полотнах наших старых добрых мастеров акварели. Какой бы ни была личная судьба этих художников, мне они кажутся самыми счастливыми из всех людей, живших в Англии. Они бродили по стране, когда ее природа была еще не изгажена, они видели то, что действительно стоило видеть, и воплотили увиденное в пленительных рисунках и акварелях. Если искать параллели в словесном творчестве, то им близки наши лирические поэты. Да, бог создал этих живописцев в самое удачное время, чтобы они успели запечатлеть в карандаше и красках очаровательнейшие уголки старой Англии, как бы навечно открыв нам туда окошки. Даже их имена звучат наподобие деревушек или сортов яблок: Тернер, Гиртин, Котман, Кокс, Варли, Бонингтон. В коллекции Бирмингема больше акварелей Кокса, чем в любом другом городе; правда, они не равноценны—все перечисленные художники писали много, и не всегда одинаково удачно. Тем не менее лучшие из их произведений могли бы заставить вас визжать от удовольствия, не находясь вы в картинной галерее, где повышать голос почему-то не принято. Это просто беда изобразительного искусства, что смотреть его приходится в явно бесчеловечных заведениях, где нельзя расслабиться, закурить, поспорить и где вы инстинктивно начинаете ходить на цыпочках, пока не занюют ноги. Мне, кстати, в этой галерее повезло—я попал в залы, временно закрытые для публики, и дружелюбный смотритель дал мне полюбоваться прекрасными творениями Гиртина, Котмана и Де Уинта. Там есть маленькая акварель Де Уинта «Урожай», которую так и хочется украть,—пара маленьких повозок, небо и холмистые поля, тающие вдали. Эта акварель скрасила мне утро. Долгих лет, отделявших меня от Питера де Уинта, как не бывало: он показывал, и я видел, он говорил, и я слышал; его настроение в тот далекий осенний день стало моим. И каким бы мрачным ни вставал Бирмингем перед моим внутренним взором, стоит мне только вспомнить этот зал галереи и

неяркие тона на маленьком полотне, как моя душа наполняется светом, теплом, жизнью. Множество людей уже испытало подобные чувства от маленькой акварели, и многим еще предстоит их испытать. А сколько за картину было заплачено? Находчивый человек может сделать интересные подсчеты. Результат, я думаю, ясно докажет, что Бирмингем, как и любой другой город с приличной картинной галереей, платит за радость, доставленную каждому из своих жителей, меньше чем пенс. У входа в музей ежедневно вывешивают число посетителей. По рабочим дням здесь бывает в среднем восемьсот человек, по выходным цифра подскакивает до нескольких тысяч. Дело, как мне объяснили, совсем не в том, что страсть к искусству просыпается у бирмингемцев именно по воскресеньям, нет, в музей в свободные дни приходят парни и девушки, которые приглядываются совсем не к картинам, а друг к другу. Аполлон вынужден в это время служить Венере. Ну и что из того? Если молодым людям положено где-то знакомиться, то уж лучше здесь, чем в другом месте. Но хотя Венера—дама строгая, у Аполлона тоже бывает возможность замолвить словечко за себя. Какая-нибудь картина вдруг привлечет взгляд, задержит внимание—и вот красота уже проникла в душу, начала там свою работу. И поди знай! Благодаря тому что парень с девушкой погуляли и «поладили» здесь прошлым воскресеньем, музей через двадцать лет, может быть, получит в дар новые шедевры. Того же мнения, кстати, придерживается и мудрый директор. Конечно же, в Бирмингеме есть и противники «музейных прогулок»—а где их нет, этих противников? Их вообще раздражает общение молодых людей разного пола, и куда бы те ни отправились в воскресенье, они брюзжат с одинаковой злобой; когда же добьются, чтобы молодежь выгнали на улицу, то начинают брюзжать, что она болтается на улице. Эти ненавистники забывают, что как сам город, так и воскресные дни созданы для блага людей. И если социальные институты не отвечают исконным потребностям обычной человеческой природы, то именно их-то и надо менять.

Я перекусил в одной из закусовых, ставших сейчас очень модными в больших провинциальных городах. Там вы всегда увидите шеф-повара в высоком белом колпаке, которого все посетители называют Джо или Фред, и пару официантов в белых жакетах; вас усадят на высокий табурет и подадут несколько ломтиков холодного мяса, немножко салата и, возможно, сыр. Все очень мило, удобно и даже полезно, если вы не любите переедать. Однако я хочу воспользоваться возможностью и заявить, что в этих закусовых посетителей просто-напросто обдирают. После легкого завтрака им приходится платить столько, сколько в другом месте они заплатили бы за три-четыре плотных блюда. А собственно, почему?

Пока вы держитесь самых центральных улиц—Колмор-роу, Нью-стрит, Корпорейшн-стрит,—город производит вполне столичное впечатление. Такой же столичной оказалась мне в первый выход и толпа; день был погожий, публика разглядывала витрины универмагов, заходила в кафе, в кинотеатры. И кругом были аркады; ни в одном другом городе я не видел их столько. Бросается в глаза и местная страсть перекидывать мосты над улицами; чаще всего это крытые переходы от одного высокого здания к другому на высоте третьего или четвертого этажа. В конце Нью-стрит можно перейти на Передайз-стрит, а оттуда попасть на Изи-роу, где стоит белоснежный Мемориал, построенный в память четырнадцати тысяч бирмингемцев, погибших в первую мировую войну (не исключено, что некоторые из них были убиты пулями и снарядами из выплавленного в Бирмингеме металла). За Мемориалом расположена площадь Баскервилла, названная так в честь знаменитого английского печатника Джона Баскервилла; и мне думается, есть нечто символическое, даже зловещее в соседстве памятника жертвам войны и известного типографского заведения. Среди монументов этой части города выделяется статуя Джозефа Пристли, чей дом был разграблен и сожжен толпой незадолго до того, как ему самому пришлось уехать из страны. Неплохо, чтобы обугленные остатки его книг и лабораторных приборов лежали рядом на постаменте.

Устав ходить пешком, я влез в трамвай. Куда этот номер идет, я не знал и, сказав кондуктору, что поеду до конца, получил билет за три пенса. Солнце, точно предчувствуя события, предательски спряталось за тучу. Для мягкого полумрака время еще не наступило, был день, но этот день вдруг совершенно изменился, сделался пасмурным, унылым. Да, более мрачной поездки я не припомню за всю свою жизнь. Конечно, я был усталым, да и трамвай не самый приятный вид транспорта для подобных поездок. Ирландский поэт, подписывавший свои произведения «АЕ», окрестил его «роскошным крутобортым галеоном улиц», но как ни напрягай воображение, сидя в трамвае, никогда не почувствуешь, что плывешь на роскошном галеоне. Городские жители последнее время недаром предпочитают более современные средства передвижения. Когда трамвай неуклюже скрипит и скрежещет по рельсам, будто захворавший слон,—зрелище действительно тоскливое. Так что и он помог испортить мне настроение. Но главное зло заключалось в самом Бирмингеме. Уже через две минуты от всей его величавости и «столичности» не осталось и следа: мимо милая за милей похоронной процессией тянулись жалкие, убогие кварталы. Я не буду утверждать, что Манчестер, Ливерпуль или Глазго, да и города поменьше, если на то пошло,



предложат вам зрелище лучше; я сейчас не собираюсь их сравнивать. Ясно одно — за те полчаса, что я смотрел из окна трамвая, я не увидел ничего, ни одной мелочи, которая могла бы поднять человеку настроение. Возможно, передо мной во всей своей красе развертывался не просто Бирмингем, а наша городская, наша индустриальная цивилизация в целом. И она, если смотреть фактам в глаза, была отвратительной. Мили грязи, запустения, какой-то даже не грубой, а гнилой, анемичной пошлости. Поймите меня правильно, это были вовсе не трущобы. С трущобами дело обстоит проще: они всем ненавистны, они мозолят глаза, и можно добиться, чтобы их снесли, только приложи усилия. Нет, это были самые обыкновенные районы большого промышленного города. Тот из нас, кто не живет в них, не ходит тут по магазинам, не отдыхает тут после работы, как правило, ничего особенного не замечает, не обращает внимания: он проезжает мимо на машине или в трамвае, даже не давая себе труда внимательно всмотреться. Но моей задачей было именно всмотреться, и если до поездки я чувствовал себя несколько усталым и подавленным, то после нее настроение у меня испортилось вконец. Повторяю, я не увидел ничего, что хоть как-то, хоть ненадолго могло поднять настроение. Я испытывал сильное отвращение к бесконечным рядам магазинов, к выставленным и вывешенным в них тошнотворным кускам мяса, микстурам от кашля, безвкусной мебели, дешевой одежде, засиженным мухами пирожным, к рекламе, к результатам скачек, к распродажам уцененных товаров, к купонам на скидку, вранью, скуке, уродству. Неужели все это, спросил я себя, соответствует духовному уровню тех людей, которые заполнили тротуары? И поскольку я не нежное тепличное растение с пером в руке и вряд ли сильно отличаюсь от этих людей, я вынужден был ответить на свой вопрос отрицательно. Нет, люди давно переросли среду обитания, вырвались вперед. А почему самые новые и самые большие здания вдоль всего маршрута оказывались либо кинотеатрами, либо барами? Потому что они дают возможность уйти от действительности, становятся чем-то вроде убежищ, отдушин. Вероятно, среди прохожих не нашлось бы и одного на тысячу, кто напрямик мог бы заявить: «Чертов кавардак, меня от него тошнит». Но я уверен, что не менее шестисот человек из тысячи подсознательно ощущают этот кавардак, он их мучит изнутри, заставляя ходить на сладенькие фильмы или глушить себя выпивкой. Я теперь, видимо, знаю, что будущим историкам покажется самым противоречивым и ироничным в нашем времени: никогда не было еще такого количества людей, которые ничего не делают, и никогда еще не было столько дел, которые надо делать.

Кондуктор объявил последнюю остановку. Моя поездка закончилась. Я вышел из трамвая и увидел, что мы вползли

на вершину холма, где гулял холодный ветер, подымая тучи пыли, песка и обрывков грязной бумаги. По одну сторону тянулась высокая кирпичная стена, огораживающая, как выяснилось по афишам, стадион. С другой стороны был пустырь, весь в клочках запущенных огородных участков с мотающимися на ветру остатками зелени. Дальше на ярд тянулась свалка старых автомобилей и металлолома. Я дошел до конца кирпичной стены, и передо мной открылась огромная дымная котловина города, где из густого марева торчали верхушки бесчисленных труб. Ветер внезапно стих, и грязные обрывки улеглись вдоль обочины, чтобы через секунду, мерзко шурша, снова закружиться в воздухе. Тяжело постанывая, выполз трамвай, и я замахал ему руками, словно с тонущей в океане лодочки вдруг увидел корабль. На обратном пути я почти не смотрел в окно, но кое-что все-таки бросилось мне в глаза. Например, лозунг на грязной, прокопченной часовне: «Люди, станьте братьями!» А что будет, подумал я, если мы действительно станем братьями? А будет такое, что божьи люди, вывесившие лозунг, за голову схватятся: начнутся пожары, взрывы и разрушения. Хотя, скорее всего, мне эти идеи пришли в голову просто от дурного настроения.

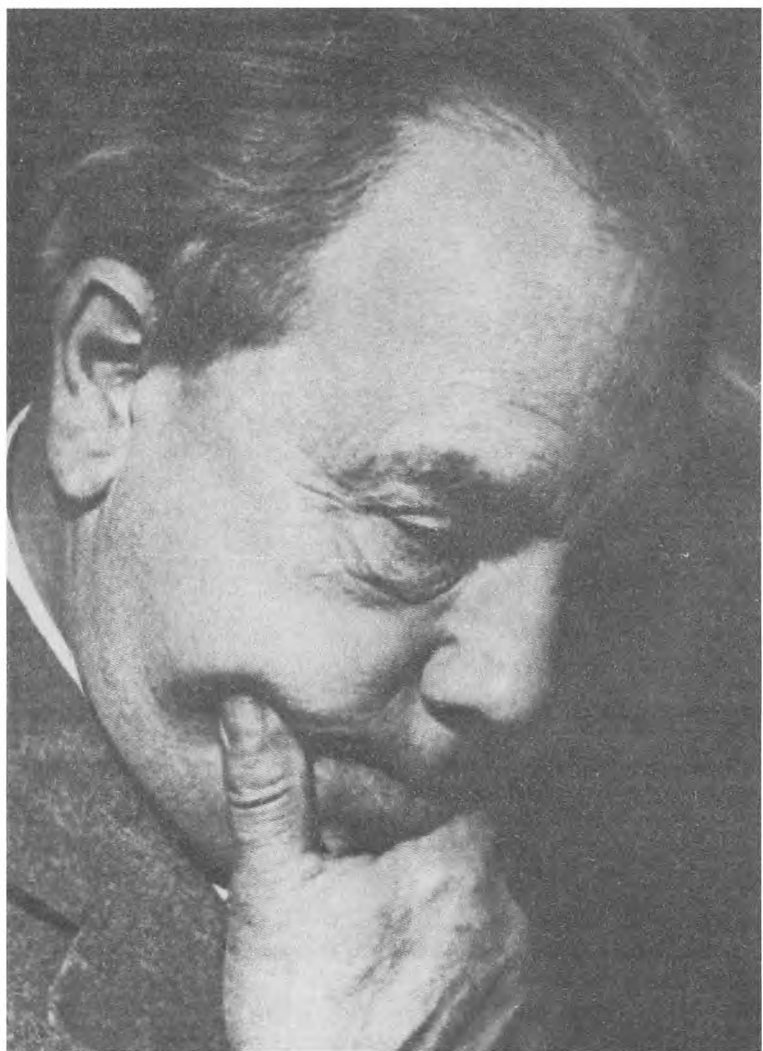
Я хотел поработать и остался в номере, чтобы привести в порядок мысли, а кое-что и записать. Но работать было почти невозможно из-за оглушительного грохота. По-видимому, мы выводим сейчас породу людей, которые смогут спать, думать и отдыхать в сотрясающихся от шума помещениях; комнаты действительно не только пропускают звук, они ходят ходуном от ужасного скрежета тормозящих и набирающих скорость машин. Я жил в своей гостинице несколько дней, платя за эту честь немалые деньги, но отдыха на мою долю выпало лишь чуть-чуть. Тихими были лишь предрассветные часы, но к тому времени я уже настолько уставал и взвинчивал себя, что становилось не до сна. Так что если мы все-таки не создаем сейчас новую звуконепробиваемую генерацию, то с этим шумовым идиотизмом надо поскорей кончать—у нас всех не выдержат нервы. Будь я диктатором, я бы настоял на создании бесшумных машин и звукопоглощающих приспособлений, а тем смекалистым, но недалеким людям, что своими изобретениями добавляют в мире грохота, пригрозил бы высылкой из страны. Но пока что, ни слова не говоря, отправил мальчишку-посыльного за ватой, которая до сих пор остается лучшим средством от шума, куда более эффективным, чем все эти модные новинки из резины и гипса.

Ужинать я отправился в тот день поздно, и только ближе к одиннадцати вышел на Колмор-роу, чтобы подышать перед сном воздухом. Вид центральных улиц Бирмингема поразил меня: от огней и реклам было светло как днем, и ... почти

совершенно безлюдно. Такой иллюминации в провинциальном городе мне еще не приходилось видеть. Площадь Виктории сверкала, точно Place de la Concorde<sup>1</sup>. Но старые привычки есть старые привычки: театры и кино уже закрылись, публика разбрелась по домам спать, и центр города сиял и переливался огнями в пустоте, словно ожидал прибытия горожан с другими привычками. И можно не сомневаться—долго ждать себя они не заставят.

---

<sup>1</sup> Площадь Согласия (фр.).





Дом, где родился Пристли. Брэдфорт.

The Author  
of  
"The Good  
Companions"  
— With his  
Good  
Companions.



THE AUTHOR OF "THE GOOD COMPANIONS" AND "ANGEL PAYMENT" AT HIS EXPERIMENTAL  
MR. J. W. PRIESTLEY - SHAPED BY MRS. PRIESTLEY.



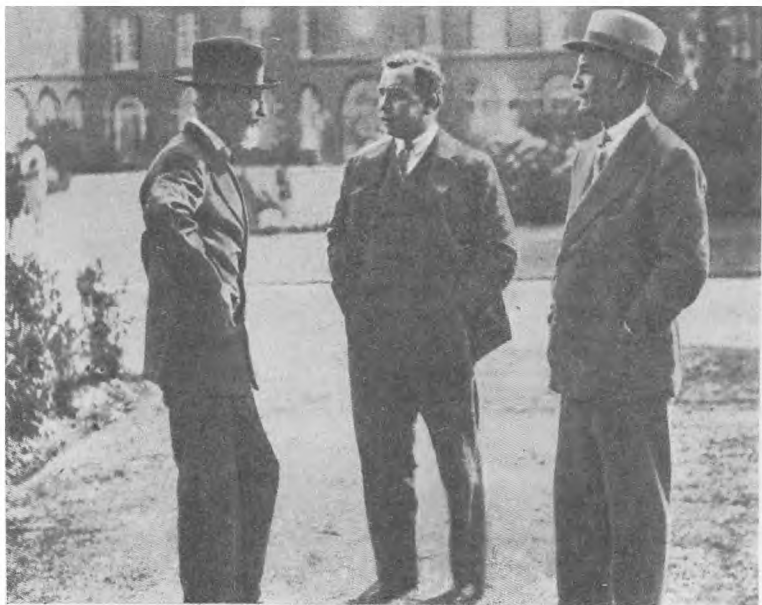
THE WIFE AND DAUGHTER OF THE AUTHOR OF "THE GOOD COMPANIONS" - MRS. J. W. PRIESTLEY AND HER YOUNG PATRON

Пристли за работой. Жена и дочь Пристли. 1930 г.



Пришли с женой на приеме у Дж. Б. Шоу. 1932 г.

В кругу семьи. 1933 г.



Грэхем Каннингхэм, Дж. Б. Пристли и Джон Голсуорси. 1936 г.





Пришли на радио. Программа «Постскрипумы», 1940 г.



Пришли в семье  
шахтера. 1941 г.

Дружеский шарж  
работы Боуви.





Пристли с женой Жакеттой Хоукс. 1964 г.



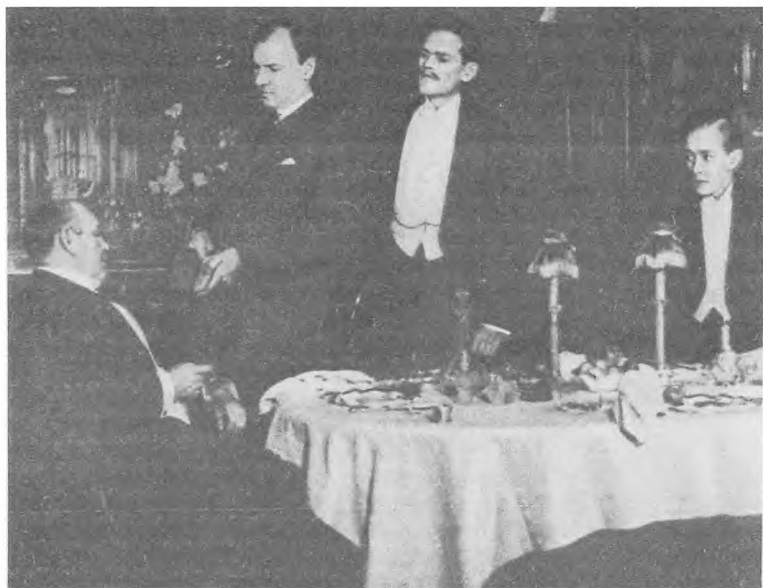
За чтением сигнала книги «Путешествие в Россию».



За работой над книгой «Человек и время». 60-е годы.



Автошарж.



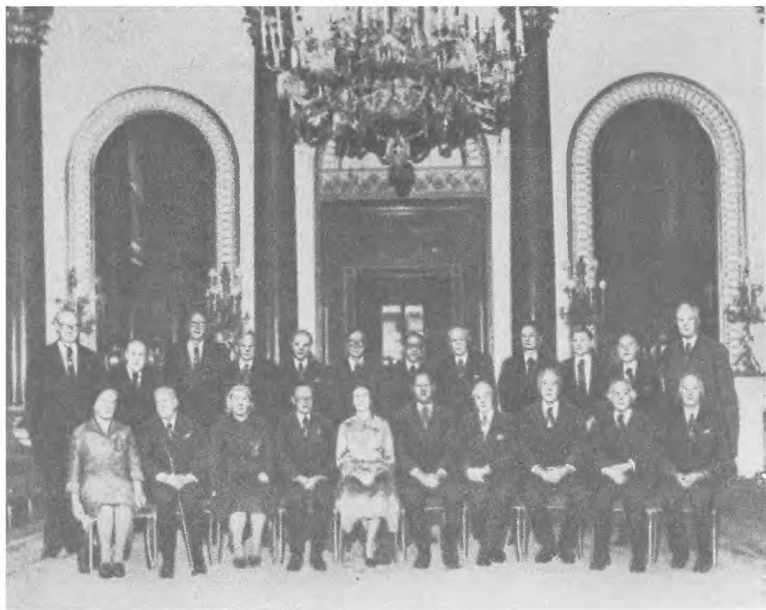
Сцена из спектакля «Визит инспектора» с участием Ральфа Ричардсона и Алека Гиннеса. Олд Вик, 1946 г.

Сцена из спектакля «Время и семья Конвей».



Пристли. Рисунок Д. Хокни. 1973 г.





Вручение ордена «За заслуги» в Букингемском дворце. 1977 г.

Дж. Б. Пристли. Рисунок И. Воробьевой. Москва, 1952 г.





# Поездка в Россию (1946)



## МОСКВА

Я предпочитаю играть в открытую и поэтому хочу сразу же выложить карты на стол. Вот они. Мы, моя жена и я, приехали в Россию в качестве гостей ВОКСа (Всесоюзного общества культурных связей с заграницей) и встретили самый радушный прием. Выяснилось, что я один из самых популярных в Советском Союзе авторов, и это весьма польстило—чтоб не сказать больше—моему самолюбию. Кроме того, хоть я и не коммунист и не марксист, я долго был социалистом. И наконец, мне нравятся русские, и мы с ними прекрасно ладили.

Наверное, следует добавить, что мой визит в Советский Союз носил культурный, а не политический характер. Я побывал всюду, где хотел побывать; помимо этого, у меня в Москве состоялось несколько бесед о положении и правах иностранных писателей в России и о возможности культурного обмена между нашими странами. Но этим все и ограничивается. (В мои задачи не входило, скажем, обсуждение внешней политики Кремля.) С другой стороны, за полтора месяца я проехал тысячи миль, увидел все, что хотел увидеть, и, стараясь оправдать свою репутацию опытного наблюдателя и знатока жизни простых людей, я воспользовался этой возможностью, чтобы смотреть, слушать и делать выводы.

Советская Россия началась для нас с берлинского аэропорта Красной Армии, сооруженного на скорую руку и разительно отличавшегося от аэропортов Западной Европы полным отсутствием всякой официальности. В Москву мы летели—надо признаться, не без страха,—на самолете Красной Армии «Дакота», которым управляла молодая и веселая женщина-пилот; самолет был до отказа набит офицерами Красной Армии и завален багажом, то и дело меняв-

шим положение в пространстве. Все курили, играли на аккордеонах и пели; бутылки переходили из рук в руки; царила праздничная атмосфера, очень русская и очень сердечная; впоследствии, летая на русских самолетах, мы много раз с удовольствием погружались в нее, но во время первого полета это веселье казалось нам совершенно неуместным и даже опасным. Надо сказать, что советские летчики заслуживают самых добрых слов, а для взлета и посадки им достаточно любой полоски земли, весьма отдаленно напоминающей летное поле. Но сначала мы этого не знали и почувствовали большое облегчение, благополучно приземлившись в Москве, где нам были оказаны чуть ли не королевские почести.

У людей осталось не так уж много иллюзий, и мне не хотелось бы разрушать одну из самых стойких, однако в интересах правды я должен сообщить, что первое утро в Москве мы провели, бродя по улицам вдвоем—как в Лондоне, Нью-Йорке или любом другом городе. (Если, конечно, за нами не следовали по пятам агенты тайной полиции, умело загримированные под воробьев.) Здесь нужно заявить со всей определенностью, что мы не были окружены стеной из переводчиков, детективов и диктофонов; мы видели все, что нам хотелось, причем часто принимали решение в последнюю минуту и приходили, когда нас никто не ждал; если же у нас возникало желание остаться одним (моя жена немного говорит по-русски и в случае необходимости может объясниться с окружающими), нас оставляли одних. В Московском театре сатиры идет очень забавная пьеса под названием «Миссия мистера Перкина в страну большевиков», которая начинается с того, что американский бизнесмен и его секретарь обшаривают свой гостиничный номер в поисках спрятанных микрофонов; в ней добродушно высмеивается пресловутая легенда, будто за каждым, кто приезжает в Москву, непрерывно следят, а показывают ему лишь очень немногое и тщательно отобранное.

При нашей первой встрече Москва выглядела мрачновато, но потом пошел снег, и мы почувствовали ее своеобразную красоту. Кое-где она напоминала нам Манчестер в ноябре кое-где Блэкпул (особенно в парках); но повсюду, словно в восточной сказке, виднелись зеленые или позолоченные луковицы—купола церквей. Следов войны не так много, но сразу понимаешь, что этот город выстоял в долгой и суровой битве. Люди большей частью одеты плохо. Несмотря на превосходное метро, транспорт все еще оставляет желать лучшего. Москвичи, люди довольно живые и энергичные, в первую минуту производят впечатление угрюмых и погруженных в себя.

Из-за транспортных затруднений, вызванных войной, снабжение продовольствием в Москве хуже, чем в большин-

стве советских провинциальных городов. Людям, получающим продукты по низким нормам, живется, конечно, еще очень трудно. Но москвичи, которым продукты выдаются по более высоким нормам,—служащие государственных учреждений, ученые, писатели, артисты, преподаватели, квалифицированные рабочие,—живут лучше, чем мы в Лондоне. Преподаватель московского института получает столько же масла, сколько в Англии целая семья, независимо от того, чем занимается ее глава. Мои русские друзья никак не могли поверить, что мы в Англии подходим к распределению продуктов с гораздо более уравнивательных позиций, чем они. У нас было много споров на эту тему.

Русская система нормированного распределения зиждется на строго утилитарной основе. Чем ты ценнее для государства, тем больше продуктов тебе выдают. Если ты выполняешь важную работу, объясняют русские, ты должен хорошо питаться, чтобы выполнять ее как следует. Такого рода привилегии—это награда за квалификацию и ответственность. Они распространяются также на жилище, одежду, на весь уровень жизни, но предоставляются только вместе с работой, так что бесполезный человек не может пользоваться ими. Эти различия часто несколько преувеличиваются с целью доказать, что в Советском Союзе быстро создается классовое общество; я со своей стороны не могу разделить эту точку зрения и предпочитаю рассматривать их как вынужденную меру.

Как ни странно, в Москве есть магазины, где продаются самые лучшие продукты, от икры до шоколада, в таком выборе, какого не увидишь в Лондоне. Это государственные комиссионные магазины. Здесь покупают не по карточкам, но платят за все гораздо дороже, а прибыль идет государству. В этих магазинах вокруг прилавков всегда толпится много самого разного народа. Люди могут позволить себе покупать продукты по высоким ценам—хотя бы иногда, чтобы принять гостей,—потому что почти у всех есть лишние деньги.

Вот как это получается. Возьмем в качестве примера Ивана и Наташу—молодую пару с ребенком. Иван работает—ну, скажем, механиком и зарабатывает тысячу двести рублей в месяц. Наташа—швея (может быть, я видел ее во время посещения швейной фабрики), ее заработок—пятьсот рублей в месяц. Месячный доход семьи составляет тысячу семьсот рублей. С жильем в Москве все еще очень трудно, так что у этой семьи, наверное, всего одна или две комнаты. Но платят за квартиру они не больше двадцати пяти—тридцати рублей в месяц. Ребенок ходит в детский сад при швейной фабрике (не исключено, что я видел его там), где он всегда под присмотром и всегда вовремя накормлен. Наташа обедает в фабричной столовой, Иван—в заводской; оба обеда стоят всего несколько рублей. Ясно, что при такой

невысокой стоимости жизни у Ивана и Наташи остается довольно много свободных денег.

Оба они являются членами профсоюза, получающего от государства субсидию в размере восьми—двенадцати процентов заработной платы, и профсоюз заботится об их благосостоянии (сюда входит медицинское обслуживание, дома отдыха и т. д.). По вечерам они, вероятно, ходят в свои профсоюзные клубы на спектакли любительских театральных коллективов, концерты, танцы, лекции. Иногда бывают в знаменитых московских театрах—некоторые из них, бесспорно, относятся к числу лучших в мире,—но не слишком часто, потому что спрос на билеты очень велик. Билеты в драматические и оперные театры, в концертные залы стоят довольно дешево, так же как книги и все, что имеет отношение к просвещению и искусству. В Москве, заплатив меньше, чем стоит порция мороженого, вы можете попасть на такой спектакль, которого в Америке не увидишь ни за какие деньги.

Жизнь Ивана и Наташи и всего их поколения была нелегкой. В тридцатые годы, ценой великих усилий и лишений, они помогали своей стране создавать тяжелую промышленность, которая затем была безжалостно разрушена фашистскими захватчиками. Они сражались и победили—и сразу же приступили к восстановлению своей экономики. Стоит ли удивляться, что они плохо одеты, живут в неудобных перенаселенных квартирах, а транспорт оставляет желать лучшего. Но перед ними горы работы, а о безработице они никогда и не слышали; каждый твердо знает, что все его таланты и способности найдут себе применение и будут реализованы до конца. Они росли свободными от опошляющего влияния денег, которое так часто ведет к душевной убогости. (Здесь не встретишь преувеличенного внимания к сексу, столь обычного в других странах.) Они любят футбол, волейбол, любят веселые ярмарки в парках; в то же время они страстно хотят учиться, читать, спорить о прочитанном, наслаждаться великим искусством.

Воспоминания о посещении заводов, музеев, магазинов, театров, школ и даже городского суда сейчас уже несколько смешались; но один московский вечер сияет среди них, как красная звезда на кремлевской башне. В одном из самых больших залов Москвы была объявлена лекция о моем творчестве с показом сцен из спектаклей; в афише сообщалось, что я приму в ней участие, выступлю и прочту отрывки из своих произведений. Билеты раскупили за несколько часов, но всем желающим их не хватило, и вечером у подъездов собралась огромная толпа. Я встал, чтобы обратиться к переполненной аудитории, но не смог говорить из-за шума, доносившегося снаружи. Двери в глубине зала

начали приоткрываться, потом широко распахнулись, и толпа молодежи ворвалась в зал и рассыпалась по проходам. Нечто подобное можно увидеть на футболе в Лондоне, на бое боксеров-профессионалов в Нью-Йорке — но на встрече с писателем? Такое бывает только в Москве.

## КОЛХОЗЫ

С самого начала я твердо решил независимо от маршрута и программы моей поездки по Советскому Союзу непременно побывать в колхозах. Для этого было несколько причин, хотя, честно говоря, меня трудно назвать знатоком сельского хозяйства. Я хотел посмотреть, возможен ли социализм в деревне — просто потому, что очень многие отвечают на этот вопрос отрицательно. Кроме того, я помнил мрачную историю ликвидации кулачества — богатых крестьян, которые выступали против коллективизации. И наконец, мне любопытно было узнать, что такое эта коллективизация применительно к сельскому хозяйству.

Итак, я решил побывать в колхозах в разных частях огромного Советского Союза. Некоторые из них находились в часе езды от Москвы, другие на Украине, третьи еще южнее, а один — возле самой границы с Турцией. Столь же разнообразной оказалась и их продукция — овощи, зерно, фрукты, виноград. Некоторые были почти разрушены войной и могли много рассказать о зверствах оккупантов. Других война не коснулась; это были большие богатые хозяйства, которые словно улыбались гостю. Но куда бы мы ни приехали, всюду нас встречали доброжелательные, услужливые, словоохотливые и сказочно хлебосольные люди. Мой интерес не ослабевал до самого конца путешествия, чего нельзя сказать о желудке, которому нелегко было привыкнуть к колхозным трапезам, скромно называемым «выпить — закусить». Здесь, дома, считается, что я люблю и умею поесть, но среди советских земледельцев я оказался самым настоящим слабаком. Сколько раз я в полубморочном состоянии выползал из-за стола, где тем временем появлялись все новые блюда и бутылки вина.

На мой взгляд, в колхозах плохо только одно — это их название, по крайней мере в переводе на английский. Термин «коллективный» наводит на мысль о каком-то насильственном объединении, и многие за пределами России наверняка думают, что в колхозах люди ведут ужасный общинный образ жизни и, должно быть, едят и спят все вместе в одном огромном сарае. Трудно вообразить что-нибудь более далекое от действительности.

Колхоз, коллективное хозяйство, — это просто-напросто совместное хозяйство. Несколько сотен людей объединяются

в одно большое хозяйство, вместо того чтобы в одиночку копать на маленьких клочках земли. В Англии это, вероятно, не дало бы особенного выигрыша, но в России выигрыш бесспорный—ведь большие хозяйства позволяют на все сто процентов использовать технику. (До войны в Советском Союзе было столько тракторов, что они могли бы вспахать всю обрабатываемую в Англии землю меньше чем за два дня.) Государство предоставляет колхозам технику на договорной основе (в 1940 году в стране было семь тысяч машинно-тракторных станций). Русское сельское хозяйство, как и сама страна, отличается масштабностью—это совсем не то, что наше мелкое неспециализированное хозяйство. Кроме того, русский климат с его долгой зимой и коротким жарким летом, как правило, требует, чтобы большая часть работ производилась в очень сжатые сроки. Одной крестьянской семье и несколькими батраками это не по плечу; тут нужен, так сказать, механизированный батальон сельскохозяйственных рабочих.

Участие колхозников в общем труде измеряется трудоднями (в зависимости от конкретных условий минимальное количество трудодней может меняться), за которые они получают соответствующее вознаграждение. Часть урожая у колхозов покупает государство. Другую часть колхозы могут продавать на местных рынках. (Какую именно—это зависит от рода сельскохозяйственной продукции.) Остатки распределяются между колхозниками пропорционально их участию в общем труде. Они, конечно, получают и свою долю денег от продажи урожая. Так что уровень жизни колхозников самым непосредственным образом связан с процветанием их колхоза. В некоторых богатых виноградарских колхозах на Кавказе, где я побывал, в районах, не затронутых войной, крестьяне живут по-настоящему хорошо. Один из них, например, сделал подарок Красной Армии—сто тысяч рублей.

У колхозников, как правило, есть свои небольшие участки земли. Обычно, если колхоз не слишком крупный, все колхозники живут в одной деревне, в собственных домах; в деревне есть кооперативный магазин, школа, больница и нечто вроде общественного центра. (В одном колхозе я видел прекрасно оборудованный театр с залом на тысячу мест.) У председателя колхоза небольшая контора в центре деревни.

Я успел хорошо познакомиться и с председателями, и с их конторами, потому что наши визиты всегда начинались отсюда; здесь нам предварительно рассказывали о колхозе, о том, что он производит, сколько человек в нем работает и так далее. Скоро я полюбил эти простые маленькие комнатки с крашеными стенами, с портретами Ленина или Сталина и картинами, запечатлевшими трагические эпизоды войны; с



запахом зерна, яблок или винограда; с неизменной пожилой женщиной-бухгалтером, щелкающей на счетах; с серьезным, полным сдержанного достоинства председателем — неиссякаемым источником цифр. Часто к нам присоединялся кто-нибудь из районного Совета или местный комиссар, плотный широколицый человек.

Дальше всегда происходило одно и то же. Эти люди водили меня по колхозу, а моя жена, готовая проверить свое знание русского языка на практике, отважно заговаривала с улыбающимися крестьянками и заглядывала в их дома, где и я, разумеется, тоже побывал. (Они маленькие и, по нашим понятиям, довольно душевные, но вполне удобные.) После двухчасового осмотра колхоза председатель объявлял, что теперь мы должны немножко закусить перед дорогой. Мы шли к одному из крестьянских домов, где суетились взволнованные женщины, и приступали к обильной трапезе, запивая съеденное вином и крепчайшей водкой.

Эти обеды непременно сопровождался тостами; звучали торжественные и трогательные речи с выражением самых искренних и дружеских чувств к британскому народу. (Мне бы очень хотелось, чтобы премьер-министр Эттли слышал, как крестьяне в далеких русских селениях произносят его имя.) Здесь я должен предупредить будущего путешественника по Советскому Союзу, что, куда бы он ни попал, ему повсюду придется не только выслушивать бесчисленное множество речей, но и отвечать на каждую из них. Однако вскоре я с радостью подчинился этому правилу — хотя всячески хитрил, стараясь, чтобы на мою долю досталось меньше сокрушительных спиртных напитков, чем полагается выпить гостю, — потому что мне грели сердце речи сельских должностных лиц и рядовых крестьян, так серьезно говоривших о взаимопонимании между нашими народами и о своей надежде на жизнь в мире. (О том, что некоторым из них пришлось пережить во время войны, рассказать невозможно.) И несмотря на то что в эти самые дни Бевин и Молотов совсем потеряли друг друга из виду в тумане противоречий, факт остается фактом: здесь, в сердце Советской России, простые и славные люди встретили меня как друга. И я надеюсь сохранить их дружбу.

Я не специалист в области сельского хозяйства, поэтому не сумею оценить колхозную систему с профессиональной точки зрения; пусть этим занимаются люди более сведущие. Но я кое-что знаю о человеческой природе, и, уезжая из последнего колхоза, я мог с уверенностью сказать, что с точки зрения психологической этот грандиозный эксперимент оказался достаточно успешным.

Многие мои собратья по перу, которых, впрочем, никто и никогда не видел в поле ранним зимним утром, любят рассуждать о крестьянских добродетелях, уходящих корнями

в землю. К сожалению, как показала война, кроме крестьянских добродетелей, существуют и крестьянские пороки — узость взгляда, мелочная скаредность, угрюмая заскорузлая жадность. Как сохранить добродетели, но избавиться от пороков — вот в чем проблема.

И мне кажется, что в советских колхозах началось решение этой психологической и социальной проблемы. Я встретил там добросовестных тружеников-земледельцев, воплотивших в себе все то лучшее, простое и знакомое, что есть в человеке, — это видно по их лицам, сияющим широкими улыбками. Старые же крестьянские пороки уходят в прошлое. Расширяется кругозор, исчезает угрюмая жадность. В этих людях, которые так стойко сопротивлялись и бились с захватчиками до последней капли крови, нет ни скупости, ни скаредности, ни безразличия ко всему на свете, кроме урожая и прибыли. Это граждане, а не крепостные рабы. Из зловных противников просвещения они превратились в его горячих сторонников. Они сохраняют лучшие из своих чудесных старых обычаев, но избавляются от фанатизма, суеверий и предрассудков. В достойном и разумном мире, который им хочется увидеть не меньше, чем нам с вами, они по справедливости должны занять почетное место — и они его займут.

## ЮЖНЫЕ РЕСПУБЛИКИ

Мы часто забываем, что СССР, или Советский Союз, состоит из целого ряда отдельных республик. (Достаточно вчитаться в полное название страны, и все станет ясно.) В некоторых из них я побывал, в том числе на Украине, в Грузии и в Армении. Я поехал на Украину потому, что это вторая по богатству и значению республика; численность населения там почти такая же, как в Англии, а территория гораздо больше. Грузию и Армению я выбрал потому, что они находятся на Южном Кавказе, в самой романтической части Советского Союза, по эту сторону Центральной Азии.

До сих пор мы обычно летали, но в Киев отправились поездом. Наше пятисотмильное путешествие началось вечером в пятницу и закончилось в воскресенье утром. На самолете мы добрались бы туда за три с половиной часа, но знакомый англичанин в Москве посоветовал нам для интереса поехать поездом. И он оказался прав. Я не променял бы этот медленный поезд ни на что на свете. Он привез нас в самую гущу современной русской жизни. Поезд был невероятно длинный и набитый не просто доверху, но даже с верхом — на крышах вагонов сидели сотни демобилизованных красноармейцев, а некоторые стояли между вагонами и на буферах. К счастью, поезд двигался с черепашьей скоро-

стью. Он не мог идти быстрее, потому что весь его пятисотмильный путь пролегал по одному бесконечному полю недавних боев. На каждой станции мы видели разрушенные старые здания; само железнодорожное полотно, большей частью совсем новое, было, судя по всему, только что на скорую руку восстановлено. Мы начали понимать, какие огромные разрушения принесла война, жестоко уничтожившая результаты многолетнего напряженного труда русских.

Едва поезд останавливался, тут же, как по волшебству, возникал импровизированный рынок. Люди высыпали из вагонов и покупали у живописно одетых крестьянок в белых платочках жареных цыплят, вареные яйца, оладьи, молоко, хлеб, фрукты, овощи. Все страшно суетились, спешили, но не утрачивали добродушия. Я заметил, что это характерно для советских людей — они суетливы и суматошны, но неизменно доброжелательны и почти никогда не бывают грубыми и мрачными.

В Киев мы приехали в воскресенье утром. Несмотря на ранний час, нас встречали писатели и представители властей. (Скажите, кто из нас в Лондоне встанет на заре, чтобы встретить иностранного гостя?) Киев — самая подходящая столица для богатой, плодородной, веселой Украины, здесь царит более живая и непринужденная атмосфера, чем в Москве. Весь центр города, включая его красивейшие здания, лежит в развалинах, при виде которых мы вспомнили Берлин. Берега широкого Днепра круты и обрывисты, и все же Красная Армия сумела форсировать реку и взять эти высоты.

Украинцы, красивые коренастые люди с удивительным чувством юмора, любят хорошо повеселиться, поэтому наша обширная программа, требовавшая, надо сказать, большой выносливости, включала драматический театр, оперу, балет, приемы в городе, приемы за городом — словом, все, кроме столь необходимых нам иногда нескольких часов тишины и покоя. (На улицах Киева установлены громкоговорители, а все шоферы непрерывно сигналият.) Чувствуется, что республика быстро возвращается к богатой и радостной жизни. Однако глубже всего мне врезались в память тени войны, та страшная цена, которую эти люди заплатили за победу над фашизмом.

В одной деревне, где мы побывали, до войны было семьсот жителей; из них фашисты расстреляли и повесили сто человек. Наш шофер, крепкий, коренастый красноармеец, любивший ездить «с ветерком» и одновременно разговаривать с моей женой, мимоходом упомянул о том, что он помогал вытаскивать трупы детей из колодца. В колхозе, когда был провозглашен тост за мир, я обернулся к старушке, которая усердно подкладывала мне на тарелку и подлива-

ла в рюмку, и увидел на ее морщинистом лице слезы. В другой деревне, которая долго была занята оккупантами, я спросил, был ли среди них кто-нибудь, кроме немцев. Мне ответили, что были румыны, венгры, итальянцы, испанцы и даже французы. Таким образом, в этой советской деревне квартировали незваные гости из половины стран Европы. Неудивительно, что русские так заботятся об обеспечении своей безопасности.

Прошел почти год после полного освобождения Украины. За этот год на шахтах Донбасса добыто сорок миллионов тонн угля, восстановлено больше двадцати тысяч миль железных дорог; украинское сельское хозяйство, несмотря на ужасные разрушения и систематическое разграбление фашистами, достигло восьмидесяти процентов довоенного объема производства. В республике издается восемьсот пятьдесят две газеты и работает около ста театров. Культурная жизнь Украины очень своеобразна и отлична от русской. Я убедился в том, что украинские ученые и деятели искусства горячо стремятся как можно больше узнать о Великобритании и хотят, чтобы в Великобритании как можно больше знали о них. Как и повсюду в Советском Союзе, английский язык занимает на Украине первое место среди иностранных языков. Украинцы — мужественные и веселые люди, удивлявшие фашистов своей силой и стойкостью, — хотят быть нашими друзьями.

Из Москвы мы полетели на Южный Кавказ, в Тбилиси, столицу Грузии. Это было нелегкое десятичасовое путешествие, хотя трехлетней дочке главного пилота, то и дело выглядывавшей из пилотской кабины, оно, по-видимому, не причиняло никакого беспокойства. Мы летели над степями, над Черным морем, потом среди высоких, покрытых снегом гор, а дочка пилота, громко причмокивая, уплетала наш шоколад. (У русских отличный шоколад.)

Тбилиси — далекий сказочный город, где тебе дадут все, чего ты пожелаешь, за исключением двух вещей — горячей ванны (сейчас она недоступна почти во всей Европе) и обычного завтрака. Здесь завтрак не обходится без вина, жареного мяса, лука, сдобного теста. Грузины — романтический и красивый народ, как и подобает жителям гор, а лучших танцоров в народном стиле я просто никогда не видел.

После долгой езды по тряским дорогам мы добрались до далеких колхозов и виноградарских совхозов, где делают чудесные столовые вина, которые потом расходятся по всем русским городам. Ночью мы безуспешно боролись с изжогой после обильной грузинской трапезы в удивительном по красоте месте над огромной золотой виноградной долиной, окаймленной высокими темными кипарисами. Вдали, наподобие высокого фриза, виднелись снежные пики Кавказских

гор. В этом сказочном краю мы приобрели много новых друзей в лице местных руководителей и крестьян, которые были в полном восторге от того, что принимают гостей из Англии. Они жарили свинину и баранину, открывали бесчисленные бутылки, пели для нас в странной полувосточной манере, танцевали и даже заставили меня—с помощью красивой маленькой девочки, которой давно уже полагалось спать,—изобразить несколько па грузинского танца, тем самым поставив рекорд для писателей средних лет и выше средней упитанности.

В поезде Тбилиси—Ереван, который вез нас в столицу Армении, было жарко, как в печке, едущей по пустыне. Мы уже далеко забрались на юг и в конце путешествия увидели гору Арарат—тень в небе по ту сторону турецкой границы. Армяне—живые умные люди; у их народа древняя культура и трагическая история. Они верят (и я вместе с ними), что наши наконец надежное прибежище в Советском Союзе. На местной электростанции я разговаривал с невысоким инженером-армянином, вернувшимся из Америки во время кризиса. «Здесь заставляют работать по-настоящему,—сказал он,—но мне это нравится. Чувствуешь, что приносишь пользу, участвуешь в строительстве...»

Это действительно так. До революции Ереван был просто скоплением глинобитных домиков—они кое-где еще сохранились в старой части города. Теперь это двухсотпятидесяти тысячный город с университетом (и большим отделением английского языка и литературы, где я побывал), институтами, больницами, бульварами, прекрасным оперным театром и несколькими драматическими, где идут армянские пьесы. Если сравнить Ереван с британскими городами, равными ему по величине, то сравнение будет не в их пользу. Ереван гораздо красивее и удобнее.

Все это было создано за двадцать восемь лет в очень трудных условиях. А поскольку армяне умные люди и все схватывают на лету, их можно встретить не только здесь, на Южном Кавказе, но во многих частях Советского Союза, где они занимают ответственные посты. Армяне в Америке—там их очень много—считают, наверное, что они живут лучше, поскольку дома у них больше, а водопровод совершеннее, но вернемся к этому разговору еще через двадцать восемь лет—может быть, тогда все будет по-другому.

Из Еревана, пролетев мимо горы, где Прометей был прикован к скале, мы попали в Сухуми; как все города Черноморского побережья, это курорт—и одновременно столица Абхазии, удивительной маленькой республики с собственным, совершенно непостижимым языком. Абхазские крестьяне славятся необыкновенным долголетием. Более четырех тысяч из них перевалили за сто. Нас возили в гости к величественному и стройному, как юноша, старцу, которо-

му, кажется, уже больше ста пятидесяти; он был женат семь раз, и одной из его младших дочерей восемьдесят лет. (Нам сказали, что в соседней деревне живет человек, на десять лет старше.) Я, честно говоря, не верю, что ему сто пятьдесят лет, но, судя по его внешности и воспоминаниям, он, конечно, самый старый из всех, кого я видел, а Бернард Шоу рядом с ним просто мальчишка. Русские ученые изучают причины удивительного долголетия жителей этого маленького региона. Мое собственное объяснение состоит в том, что человек, способный без вреда для здоровья есть эту пищу и пить убийственную местную водку, которой нас угощали праправнуки старца,—такой человек может жить почти вечно. Когда мы фотографировались с долгожителем, он долго опраивал свой национальный костюм, подтвердив тем самым, что тщеславие, как я и предполагал, не покидает нас до самого конца.

В Сухуми я получил в подарок великолепный старинный грузинский кинжал в чеканных серебряных ножнах. Мне подарил его руководитель грузинского танцевального ансамбля—так советские люди называют эти замечательные труппы певцов и танцоров. Я горячий поклонник этой грузинской труппы и мечтаю, чтобы она приехала в Лондон; если это случится, она сразу же покорит нашу публику—так изысканно бесшумно скользят девушки, так брызжут энергией мужчины. У меня в ушах до сих пор звучат неотвязные мелодии, под которые они танцевали, а перед глазами плывут фантастические фигуры,двигающиеся словно во сне. Электричество и промышленность преобразают эти далекие края, но лучшее, что есть в древней народной культуре, ревностно оберегается.

Я всегда считал, что сферой проявления национализма должна быть не политика и экономика, где он ведет к войне, а культура, где он разнообразит жизнь. Старые имперские режимы в своей тупости всегда пытались подавлять национальные культуры. Советский же Союз, проявляющий во внутренней политике мудрость, которой ему подчас недостает на международной арене, не сделал этой ошибки. Он сознательно оказывает содействие их развитию, и бескрайняя советская земля сверкает и звенит от танцев и песен.

## СТАЛИНГРАД

Самолет пошел на посадку. Я протер маленький иллюминатор и увидел за крылом огромную коричневую степь, таявшую в холодной голубой дали. Потом мне показалось, что кто-то бросил на коричневый ковер блестящую серую ленту. Я понял, что это Волга, река, которая является не только величайшей рекой России, но и чем-то бóльшим—ее

сокровищем, ее символом, ее судьбой; именно здесь, на Волге, фашисты были впервые остановлены, а затем потерпели сокрушительное поражение.

Ландшафт накренился, вдалеке замелькали разрушенные здания. Мы приземлялись в Сталинграде, там, где произошел перелом в ходе войны. Но аэропорт, оказавшийся просто огромным неровным полем, был, очевидно, довольно далеко от города, который скрылся теперь из виду. Навстречу нам бросился невысокий энергичный, похожий на валийца человек с широким сияющим лицом, приветствуя нас и объясняя, что нас ждут здесь уже несколько дней. (Мы застряли на Кавказе из-за нелетной погоды.) Это был помощник комиссара. Ни на минуту не умолкая, он быстро усадил нас в машину, и мы затряслись по ухабам разбитой дороги на Сталинград, до которого предстояло проехать несколько миль. Было холодно, ясно и свежо.

По обочинам еще лежали остатки сбитых фашистских самолетов, сожженных танков и бронемашин, хотя наш гид сказал, что огромное количество этого лома уже пошло на переплавку. Наконец мы сделали поворот и выехали на главную дорогу. «Сталинград!» — сияя, воскликнул наш спутник и указал рукой туда, где на много миль тянулись развалины. Сталинград — большой речной порт и один из трех самых длинных городов в мире; его длина по берегу Волги — около пятнадцати миль. Когда мы его увидели, он напоминал Ипр, только увеличенный в двадцать раз.

Пока машина пробиралась среди развалин, наш новый знакомый указывал нам то на одну, то на другую груды обломков. Здесь был технологический институт, там — городская больница, школа. Повсюду виднелись какие-то странные жилища, сооруженные из расплюснутых бензиновых баков и тому подобных материалов. Их обитатели выходили и улыбались нам. Однако было ясно, что до прихода захватчиков здесь стоял большой красивый город. Мы словно смотрели — только не на экране, а в жизни — фильм по роману Уэллса «Облик грядущего».

Наконец, к очень позднему ленчу, мы добрались до наскоро сооруженной гостиницы «Интурист». Мы не без труда втиснулись со своими чемоданами в крошечный, но сверкавший чистотой и аккуратно прибранный номер, где гудела огромная печка и стояли две кровати, обеденный стол и стулья. Горничные, красивые приветливые девушки, светловолосые, но с широкими, типично славянскими лицами, бросали на нас любопытные взгляды. После Кавказа с его экзотикой мы чувствовали себя здесь почти как дома — что-то в этих сталинградцах, русских с головы до пят, напоминало нам наши родные края: моей жене Уэльс, а мне — север Англии. Если вы усмотрите тут противоречие, я ничего не могу поделать. Мы оба сразу почувствовали это и во время

нашего очень позднего и очень плотного ленча сказали об этом друг другу.

Здесь не стоит снова подробно рассказывать о славной Сталинградской битве, но я должен напомнить вам ее основные этапы, чтобы вы могли понять, с каким чувством мы осматривали город. В результате отчаянных боев генерал Паулюс захватил весь Сталинград, кроме узкой полосы (мы видели ее) вдоль Волги, через которую Красная Армия получала подкрепление и боеприпасы. Подтянув большие резервы, русские форсировали Волгу выше и ниже города, перерезали вражеские пути подвоза боеприпасов и в конце концов окружили фашистские армии. Дважды Паулюс получал ультиматум о капитуляции, но отклонял его, потому что Гитлер посылал ему безумные приказы продолжать сопротивление. Наконец Красная Армия сосредоточенным огнем артиллерии и ракетных минометов пробила оборону противника, и ошеломленный Паулюс сдался. Это стало началом того ужасного конца, который мы сами видели в Берлине. Здесь, в этом русском городе в тысяче двухстах милях от Берлина, был, можно сказать, подписан смертный приговор фашизму.

Самые яростные бои, как вы, вероятно, помните, шли на территории огромного металлургического завода «Красный Октябрь», где нам удалось побывать. Здесь сражались за каждый квадратный метр. Часть завода еще восстанавливается, но большинство печей и прокатных станов уже выпускает продукцию; на заводе пока еще очень много женщин, которые выполняют не только обычную работу, но часто и довольно сложную, требующую высокой квалификации.

Несколько лет назад я написал небольшую книжку о жизни британских женщин в годы войны; я хорошо знаю, какой тяжелый труд выпал на долю многих из них, поэтому я не был поражен тем, что приходится делать женщинам в России. (Думаю, что многие наши предвоенные критические замечания по поводу советской жизни теперь уже никто не станет повторять, потому что за это время мы тоже узнали, «почем фунт лиха».) И все же я не могу спокойно смотреть, как женщины поднимают тяжести. Правда, в России очень внимательно относятся к женщинам-работницам, которые собираются стать матерями,—это мы видели повсюду. Но вообще тяжелый физический труд вряд ли полезен матерям или даже будущим матерям, и я надеюсь, что после того, как демобилизованные красноармейцы вернутся на фабрики и заводы и страна окончательно персядет с военных рельсов на мирные (трудно даже представить себе, каких усилий это потребует в масштабах Советского Союза), женщины уступят место мужчинам и получат более легкую работу. Мне кажется, так оно и будет, поскольку сегодня русские уделяют особое внимание семье и семейной жизни.



По общему признанию, в сфере семейной жизни у русских еще немало трудностей, особенно среди научных работников и высококвалифицированных рабочих. Бывает, что муж работает в одном месте, а жене поручают не менее ответственную работу в другом, как это часто случалось и у нас в годы войны. В условиях мирного времени из такого положения, разумеется, можно найти выход. Однако у критиков советской системы есть и более серьезные аргументы, и от них так просто не отмахнешься. Они, эти критики, говорят, что в Советском Союзе женщины, которым приходится работать наравне с мужчинами, постепенно перестают быть женщинами. Согласиться с этим утверждением или опровергнуть его можно, конечно, только после всестороннего исследования. Но мне кажется—впрочем, тут надо сделать поправку на краткость моего пребывания в стране,— что эта критика основана на неверном по существу сравнении. Если говорить откровенно, то, по-моему, не у русских слишком мало секса, а у нас его слишком много. В капиталистических странах, особенно в Америке, сексу придадут чрезмерное значение, используя его, с одной стороны, в коммерческих целях, а с другой стороны— в качестве допинга. Советские же юноши и девушки, с которыми я не раз встречался и за которыми с большим интересом наблюдал, производят впечатление непривычно нормальных, сильных и страстных людей, чье сексуальное развитие протекало в здоровой атмосфере. И это, на мой взгляд, одно из величайших и наименее известных завоеваний советской системы.

В тот вечер в Сталинграде нам представилась возможность— не первая и не единственная— увидеть, как отдыхают молодые рабочие. Мы пришли в профсоюзный клуб завода «Красный Октябрь». Этот клуб, как и многие окружающие его дома рабочих, был уже восстановлен, и я не удивлюсь, если окажется, что его восстанавливали в первую очередь, а жилые дома— во вторую. Вот в чем существенная разница между англосаксонским и русским подходом к проблеме. Для нас город— это прежде всего жилые дома, поэтому мы сосредоточиваемся в первую очередь на жилищном строительстве. Для русских же, как они постоянно подчеркивали в разговорах со мной, город— это прежде всего общественные здания. Конечно, они не отказались бы от собственного дома вместо одной или двух комнат, но раньше они хотят построить большой клуб, университет или технологический институт, оперный и драматический театры— они хотят наладить сначала общественную жизнь, а потом уже личную. И это различие мы всегда должны учитывать.

Вечер в клубе «Красного Октября» был в самом разгаре. Нас пригласили туда главным образом послушать «джаз», как здесь называют любую легкую музыку. До начала «джаза»

еще оставалось время, и мы немного походили по клубу. Я побывал в зале, где юноши и девушки, почти подростки, репетировали что-то вроде цыганских таборных песен и танцев. Эти ребята очень напоминали нашу английскую танцующую и поющую молодежь: семеро из десяти были робки и неловки, двое — потрясающе самоуверенны, а десятый по-настоящему талантлив. Мне даже показалось, что я не в далеком Сталинграде, а дома в каком-нибудь молодежном центре. Вот почему нужно видеть все это своими глазами, не пытаясь представить себе Россию по газетным сообщениям о том, что сказал Молотов Бевину.

«Джаз» оказался танцевальным оркестром; музыканты были в элегантных смокингах, а их дирижер, маленький подвижный весельчак, исполнял одновременно обязанности конферансье, и его шутки имели большой успех у публики. В перерывах между музыкальными номерами выступали красивые девушки-волжанки. Оркестр играл на удивление хорошо, русские — прирожденные музыканты, но это американизированное развлечение было по уровню гораздо ниже местных народных песен и танцев. Я расспросил об этом оркестре и об этих девушках и узнал, что все они — участники заводской художественной самодеятельности, которые добились таких успехов, что скоро станут признанными профессионалами. Какие бы ограничения ни существовали в советской жизни, вряд ли кто-нибудь станет отрицать, что любой талант имеет здесь полную возможность реализации и развития.

Поздно вечером мы приехали в наскоро сооруженный дом городского Совета, где нас ожидали местные руководители, готовые ответить на наши вопросы о восстановлении разрушенного города. (Полночь для советского государственного служащего такое же рабочее время, как и любое другое время суток.) После беседы нас повели в небольшую комнату, блестящую от золота, — в ней были собраны подарки городу Сталинграду: золотые щиты, памятные доски и свитки из Франции, Норвегии, Эфиопии и других стран. Мы видели там Меч Почета, подаренный городу королем Георгом, и ощутили странное волнение, глядя на этот шедевр английских ювелиров и оружейников, сумевших так чудесно выразить в ажурном золоте и сверкающей стали все наши мысли и чувства.

На следующее утро мы должны были встать рано, чтобы успеть на самолет, улетающий в Москву. Мы погуляли несколько минут возле гостиницы, пока наш багаж укладывали в машину. На углу недалеко от нас стоял немецкий военнопленный с повязкой, на которой было написано «trusty»<sup>1</sup>. Он стоял один и курил сигарету. Сейчас по всей

<sup>1</sup> Заключенный, заслуживший определенные привелегии своим образцовым поведением (англ.) — *Прим. перев.*

России оборванные остатки вермахта восстанавливают большую часть того, что они разрушили. Вид у них мрачный и понурый, это явно не самые трудолюбивые рабочие в мире, но выглядят они вполне здоровыми. Перед нами был один из них, без всякой охраны, с драгоценной сигаретой во рту — и все же это он и ему подобные вели себя как взбесившиеся садисты, грабя, разрушая и убивая на всем пространстве от Балтийского до Черного моря. Русских можно назвать несговорчивыми, но они не злопамятны и не мстительны.

Когда самолет начал разбег, в иллюминаторе в последний раз мелькнуло широкое сияющее лицо маленького помощника комиссара, человека, в котором валлийская восторженность соединилась с йоркширской прямоотой. Он и такие, как он, помогли спасти мир, сражаясь за каждый камень Сталинграда. И я верю, что теперь они восстановят его так, как того заслуживает этот великий город.

## ЛЕНИНГРАД

Мы отправились в Ленинград в самом конце нашего путешествия, поскольку решили возвратиться домой через Скандинавию. Это, как выяснилось, было мудрым решением, потому что получаешь гораздо больше удовольствия, оставая самое лучшее под конец, — а во многих отношениях Ленинград показался нам самым лучшим городом. Театры и музыка Ленинграда уступают московским. Киев и южные города — веселее, жизнерадостнее. В Сталинграде острее ощущаешь драматизм недавних военных дней. Но Ленинград покорила нас сразу, как только мы вышли из московского экспресса «Красная стрела». Он предстал перед нами ясным зимним утром, под ногами похрустывал снег, и разноцветные итальянские палаццо, загородная красота широких ленинградских набережных, бесчисленные каналы и мосты — все это было восхитительно. Нам, живущим на Западе, этот город ближе, чем Москва и остальные русские города. Море здесь совсем рядом, а Азия где-то невероятно далеко. Надеюсь, когда-нибудь, жарким июньским утром, плывя по Финскому заливу, я увижу этот прекрасный город, мерцающий над водой.

Несмотря на долгую блокаду, следы войны теперь уже не очень заметны, хотя, осмотрев некоторое количество больших зданий, обнаруживаешь, что почти во всех еще остались разрушенные помещения — результат артиллерийского обстрела. А мы осмотрели множество заводов и фабрик, побывали в школах, клубах, больницах, театрах, потому что ленинградцы — вероятно, самые вдохновенные наши гиды — считали, что мы должны увидеть как можно больше. В

ленинградцах чувствуется огромная гражданская гордость, что вполне понятно. Двести пятьдесят тысяч человек погибло здесь во время блокады.

Обстоятельства стоят того, чтобы вспомнить о них. Был период, когда фашисты перерезали все линии снабжения, кроме одной, проходившей с северо-востока по льду Ладожского озера. Той страшной северной зимой в городе не было топлива и почти не было продовольствия. Старики не вставали с постели, молодые помогали им, как могли. Город постоянно подвергался бомбежке и артиллерийскому обстрелу. Инженеры и рабочие с таких предприятий, как огромный завод «Динамо» (где мы побывали и разговаривали с некоторыми из них), шли сражаться в окопы. Фашистов можно было остановить, голод — нельзя. Умирили целыми семьями. Каждое утро у дверей больниц лежали застывшие трупы. Люди тащили по темным улицам санки с мертвыми и умирающими. Многие даже теперь не могут вспоминать об этих днях без слез. Двести пятьдесят тысяч человек отдали свои жизни ради спасения Ленинграда.

Вдумайтесь в это как следует. Самая жестокая в мире дисциплина не может заставить людей приносить такие жертвы: полумертвых от голода носить боеприпасы рабочим, ставшим солдатами; не щадя сил, делать все возможное и невозможное во имя победы; бежать из плена и целые годы сражаться в тылу врага — на это идут добровольно. У Гитлера были эсэсовцы и гестапо, но куда девались немецкие Ленинграды и Сталинграды, когда война велась уже на территории гитлеровской железной империи? Блокада Ленинграда продолжалась девятьсот дней. Да, русские суровы, и, конечно, их правительство было беспощадно к изменникам и трусам. Но страх не может заставить человека проявлять преданность и героизм. Он должен всей душой верить в то, что он защищает. Ошибка Гитлера заключалась в том, что он считал, будто советский режим навязан русским силой и они не станут его защищать. Есть люди, которые до сих пор это повторяют. Им надо приехать на несколько дней в Ленинград, посмотреть и послушать.

В воскресенье утром нам удалось увидеть кусочек старой, дореволюционной России. Большая православная церковь оказалась открытой, и мы вошли внутрь. Нигде никаких скамеек: в православной церкви вы должны стоять. Много ладана; в углах эхом отдается голос священника. Вереница старых, бедно одетых людей, ожидающих своей очереди поцеловать священные иконы. Это снова была Россия Достоевского.

До этого мы побывали в церкви, неожиданно большой и пестрой, в одной украинской деревне, где нашим гидом был местный священник, прочитавший нам затем коротенькую проповедь о мире между народами. Но, конечно, мы видели

еще много церквей, некоторые из них действовали, другие были закрыты. Если человек в Советском Союзе хочет пойти в церковь, он может это сделать; но члены партии относятся к посещению церкви с откровенным неодобрением. Тем не менее в церковные дела никто не вмешивается. В знаменитой Киево-Печерской лавре я вместе с небольшой группой экскурсантов осмотрел знаменитые подземные пещеры, по которым нас водил длинноволосый, фанатичного вида монах, то и дело бросавший быстрые взгляды на наши деньги, оставленные на тарелке в уплату за свечки.

Лично мне ближе молодая Россия — та, которую мы встретили в Ленинградском университете, старом здании с самым длинным коридором, какой я видел в своей жизни. В этом удивительном коридоре нас окружила шумная толпа студентов, решивших, очевидно, вознаградить себя за нехватку английских книг веселым днем, проведенным в обществе английского писателя. Об этой нехватке книг, особенно учебников и дешевых изданий английских классиков, нам не раз с грустью говорили во время нашей поездки. Английский язык стал теперь первым иностранным языком в Советском Союзе, заняв место немецкого. Многие тысячи студентов изучают английский, но они и их преподаватели, которые повсюду так тепло приветствовали нас, могли бы добиться гораздо большего, не будь этого злополучного книжного дефицита. Мы должны как можно скорее прийти им на помощь. Мы также должны присылать сюда лучшие театральные труппы, чтобы наши русские друзья могли слышать живую английскую речь.

Ленинградцы — большие знатоки литературы. В гостинице, где мы остановились, была превосходная кухня, меня уже много лет так не кормили, но нам подавали столько блюд и в таких количествах, что мы в конце концов сдались и честно сказали об этом нашему молодому gidу и переводчику. Откуда, спросили мы, у него такое преувеличенное представление о нашем аппетите? Оказалось, что он, будучи прилежным студентом отделения английской литературы, использовал романы Диккенса и Теккерея в качестве руководства по английской кухне и гастрономическим вкусам. Пришлось объяснить, что мы уже совсем не такие едоки, какими были наши прадеды.

Но и типично русский завтрак, устроенный в нашу честь в клубе ленинградского Союза писателей, оказался столь же обильным и занял еще больше времени; к счастью, однако, он то и дело прерывался остроумными речами и тостами (произнесенными не мною) и прекрасной музыкой. Творческие союзы с их красивыми большими клубами — неотъемлемая часть советской жизни. Может быть, писатели, композиторы и ученые здесь слишком часто встречаются друг с другом — кажется, они даже отдыхать ездят все вместе, — но

мы, в Англии, встречаемся слишком редко, и профессионально-общественная жизнь у нас развита слабо. Это отчасти объясняет, почему советское гостеприимство в отношении иностранных писателей и ученых настолько превосходит наше, плохо организованное и вообще оставляющее желать много лучшего. Нет смысла призывать к расширению культурных связей, что я часто делал в России, если мы со своей стороны не научимся должным образом принимать наших гостей.

Я еще почти ничего не сказал о великолепных советских театрах, хотя во время поездки ходил в театр почти каждый вечер. Тем, кто думает, что все советские пьесы посвящены Ивану Грозному, цементным заводам или партизанским героям, я хочу сообщить, что в Ленинграде среди других превосходных пьес я видел забавную комедию из повседневной жизни об одном очень озабоченном человеке, который все время уносит чужие портфели. Такие комедии надо как можно скорее вывозить за границу и показывать тем, кто все еще представляет себе большевиков боролатыми чудовищами.

Мы осмотрели в Ленинграде ряд предприятий, в том числе большую табачную фабрику, где в лабиринте помещений на нескольких этажах маленькие подергивающиеся машинки сворачивали миллионы сигарет. (Потребление сигарет в России, очевидно, выражается астрономическими цифрами.) Сигареты были знакомого русского образца, но различных марок; в других городах—в Москве и на юге—я видел еще ряд сортов, причем диапазон цен очень широк. Я спросил директора фабрики, выпускают ли они в порядке эксперимента новые виды сигарет. Он удивился и ответил, что, конечно, они это делают и, прежде чем предложить новую продукцию потребителю, обсуждают ее качество с представителями государственного контроля. Не могу не сказать об этом, так как всю жизнь мне говорили, что при социализме людям приходится брать то, что им дают, и что отсутствие свободной конкуренции означает и отсутствие сколько-нибудь широкого выбора товаров. Но с сигаретами в России этого не произошло. Да и почему это должно было произойти?

Советские официальные лица всегда говорят о работе очень серьезно, и, на мой взгляд, одна из главных причин этого в том, что у русских есть три великолепных способа убивать время. Во-первых, русские сигареты, такие успокаивающие и ароматные. Во-вторых, восхитительный русский чай, растущий на юге,—его здесь пьют весь день и половину ночи. В-третьих, русские разговоры—русские очень словоохотливые, живые и неутомимые собеседники, а мрачные молчаливые субъекты, которых они посылают за границу, по-моему, просто притворяются таковыми. Когда же сигаре-

ты, чай и разговоры соединяются, искушение убить время становится непреодолимым.

Финляндский вокзал находится в одном из разрушенных пригородов Ленинграда; строго говоря, никакого вокзала нет, неповрежденным осталось только железнодорожное полотно и платформы. Наш поезд отправлялся после полуночи; было холодно, шел мокрый снег—не очень-то приятно в такую ночь стоять на разрушенном вокзале. И все же многие наши новые ленинградские друзья—драматурги, поэты, писатели—пришли проводить нас с цветами и подарками. Последнее, что мы увидели в России, были их приветливые улыбки, которые остались в наших сердцах, когда огни исчезли в темноте и за окном повисла только туманная снежная пелена. Они встретили нас как друзей; они простились с нами как с друзьями; и что бы ни случилось, мы останемся их друзьями навсегда. А вы?

## РУССКИЕ И МЫ

Я приступаю к последней и, по-моему, наиболее важной из этих статей. Поэтому разрешите мне вернуться к тому, с чего я их начал. Я посетил Советский Союз не как политический деятель, а просто как писатель, чьи последние романы и пьесы приобрели там большую популярность. Я не вел никаких официальных бесед, хотя частных бесед с русскими друзьями было множество—о советских взглядах, перспективах и политике. Я не знал, что происходит за кулисами Кремля, точно так же, как я не знаю, что происходит за кулисами Даунинг-стрит. Наконец, мне чрезвычайно нравятся русские—они прямодушны, сердечны, благородны, они радуются тому же, чему радуюсь я, и это связывает нас узами дружбы.

Еще очень многое из того, что повсюду научились делать хорошо, в России делается плохо. (Хотя, с другой стороны, есть вещи, которые в России делают лучше, чем во всем мире.) Стоит русским познакомиться с вами и почувствовать, что вы их друг, как они тут же признают эти недостатки, отбросив излишне официальный тон, и обещают—я полагаю, не без основания,—большие и скорые перемены к лучшему. В некоторых отношениях Россия похожа на великана, который отправился в школу. Но какая это школа! С 1918 года здесь напечатали 821 000 различных названий книг и брошюр общим тиражом около десяти миллиардов экземпляров, в том числе 31 618 000 экземпляров произведений Пушкина и 24 000 000—Толстого. Если это тьма, покажите мне свет.

Чувствуя себя новичком на международной арене, но уже пройдя путь, на котором приходилось приносить огромные жертвы и случалось совершать непродуманные эксперимен-

ты, советский народ болезненно чувствителен к критике, на которую другие просто не обратили бы внимания. Но даже американцы, склонные к такой критике (содержавшейся, например, в «Докладе о русских» Уайта), гораздо легче высказывают ее, чем воспринимают. И в конце концов, если кто-то приходит к вам в дом и потом всем сообщает, что ковер у вас дырявый, в ванне пятна, посуда выщербленная, вы едва ли почувствуете к нему особую симпатию. Стоит ли требовать этого от русских?

Они дружелюбно относятся к другим народам и об английском народе всегда говорят с горячим интересом и даже любовью, признают, что английская культура немало им дала. Но иностранные правительства до сих пор вызывают у них подозрения, несмотря на помощь, которую они оказывали России во время войны. Русские не могут забыть тяжелых первых лет революции, когда мы начали против них интервенцию, поддерживая белых. Они до сих пор помнят тот долгий период, когда капиталистическая пресса искажала каждый шаг России и использовала каждую возможность для насмешек над ее борьбой и жертвами. Однако, несмотря на весь официальный «реализм» их позиции, они, по-моему, недооценивают изменения, происшедшие в мире за последние несколько лет.

На мой взгляд—это лишь догадка, ибо я знаю столько же, сколько и вы,—большая часть того, что за пределами России воспринимается как зловещая политика в духе Макиавелли, есть чаще всего результат обычной бюрократической тупости, трусости или некомпетентности, и мы бы без труда их узнали, если бы только речь шла не о русских, а о ком-то другом. Маленький пример из личного опыта. Мы приехали в Россию по приглашению, и тем не менее, пока мы ждали в Берлине советского самолета, советские официальные лица не вступали с нами в контакт: пришлось нажать на все кнопки, но даже после этого прием, оказанный нам в аэропорте Красной Армии, был, мягко говоря, не слишком радушным. Зато в Москве и вообще повсюду в Советском Союзе нас встречали на редкость тепло и сердечно.

Во всех своих речах, которых за время этой поездки я произнес великое множество, я призывал строить мосты между нашими странами, открывать двери и распахивать окна. Этот призыв всегда находил горячий отклик, и на пресс-конференции в ВОКСе, посвященной культурному обмену между Советским Союзом и Великобританией, мои предложения были поддержаны с большим энтузиазмом. Новые попытки воспрепятствовать этому обмену, если они будут предприняты, могут быть частью обдуманной политики изоляции Советского Союза, но с таким же успехом они могут оказаться еще одним проявлением бюрократической трусости и тупости.



Во многих важных вопросах—таких, например, как представление о демократии,—мы и русские стоим на противоположных позициях, и тут, конечно, необходим более откровенный обмен мнениями. Следует только помнить, что Советский Союз вовсе не считает себя жестоким и злым великаном, каким он видится многим из нас. Он принес большие жертвы ради создания своей тяжелой промышленности, которая затем почти целиком была уничтожена фашистами. Теперь он должен восстанавливать эту промышленность и все разрушенные города. Поэтому он хочет безопасности, чтобы иметь возможность спокойно трудиться. Поэтому же ему нужны дружелюбные соседи, а не банды, вторгшиеся на его территорию следом за фашистами. На месте русских мы сами стремились бы к тому же. Я утверждаю, что СССР по своему существу не агрессивная держава, алчущая новых земель (у него их больше чем достаточно), но уставшая от войны и все же грозная страна, которой нужна безопасность для залечивания глубоких ран.

Конечно, в советской жизни больше недостатков и неудобств, чем это явствует из советской пропаганды. Однако я предпочитаю то, что я видел собственными глазами, всем пропагандистским заявлениям. Я уезжал не разочарованным, а ободренным и освеженным. Мне стало ясно, что русские всегда выставляют себя в невыгодном свете. Они слишком много говорят об одном и том же—о материальном производстве, о количестве тракторов, выпускаемых у них в течение часа,—и очень мало о моральных и духовных ценностях, хотя тут они намного опережают капиталистические страны с их опустошенной, надломленной молодежью. Советские люди добились успехов в таких областях, которые нельзя нанести на карту и проиллюстрировать в пропагандистских листках.

Русские, по-моему, прирожденные коллективисты, с готовностью принимающие общественную жизнь и общественный труд. Но не раз во время путешествия мне казалось, что марксизм как философия жизни—не как политическое и экономическое учение—со своей педантичной диалектикой слишком узок для экспансивной, но самоуглубленной русской души. Этим, как и долгими годами изоляции, возможно, объясняется недостаток свежего воздуха, который я иногда ощущал, разговаривая с советскими писателями и деятелями искусства. (Впрочем, за пределами Советского Союза есть немало мест, где он еще заметнее.) С другой стороны, я увидел, что советские писатели не обречены, как воображает большинство из нас, следовать в своем творчестве жесткой партийной линии, писать почти по приказу. Да, здесь не публикуют произведений, направленных против советской политики,—согласие с генеральной линией партии для писателей естественно, они дышат тем же

воздухом, стремятся к тем же целям. Но они часто высказывают довольно смелые собственные идеи, как это делают хорошие писатели в любой стране, и, конечно, ни в каком отношении не чувствуют себя скованными; они скорее склонны жалеть своих коллег в капиталистических странах, чем завидовать им.

К несчастью, размеры которого пока еще трудно себе представить, своей худшей, и только худшей стороной советская система обращена к журналистам, иностранным корреспондентам, работающим в Москве. Они проводят целые дни в гостинице «Метрополь» или в ее окрестностях, где ничего или почти ничего не видят, и воюют со строжайшей цензурой. В результате иностранные журналисты, приезжающие сюда с самыми дружескими чувствами, нередко уезжают недовольными и раздраженными. Они в этом, разумеется, не виноваты. Но не надо считать их экспертами по советской жизни, о которой они, как правило, знают чрезвычайно мало. Русские могут объяснить свои действия тем, что эти журналисты работают в газетах, известных враждебным отношением к Советской России, но, по-моему, это говорит только о близорукости. Мне много пришлось повидать, и я знаю, о чем говорю, когда заявляю, что на месте Сталина я бы рискнул широко распахнуть все двери в эту страну. У Советской России куда больше друзей и куда меньше врагов, чем ей представляется.

Конечно, побывав там, вы непременно ощутите то, о чем русские помнят всегда. Во многих странах, как я уже имел случай убедиться, есть люди, которые ненавидят Советский Союз—им просто *хочется* его ненавидеть—и принимают только факты, дающие пищу их ненависти. Если вы скажете им, что прекрасно провели там время, что многое из увиденного восхитило вас, что вы прониклись искренней симпатией к советскому народу,—они сразу помрачнеют, отвернутся от вас и обратятся к кому-нибудь другому. И вот об этом русские никогда не забывают.

Сейчас с Россией принято разговаривать откровенно, и я, получавший там откровенность за откровенность, ничего против этого не имею. Но—существенная оговорка!—это должен быть *дружеский* откровенный разговор. Я подчеркиваю, что цель русских—не власть, не слава, не чужие владения, а дружба, настоящая крепкая дружба. Они этого не скажут, потому что у них есть гордость и горькие воспоминания о доставшихся на их долю насмешках и оскорблениях. Но по сути своей это сердечные, порывистые и открытые люди, стремящиеся учиться и желающие учить, прирожденные художники и ученые, в которых сохранилось столько детской непосредственности. Эти люди не хотят жить в изоляции, не хотят быть неверно представленными и неверно понятыми, не хотят вызывать подозрения и подоз-

ревать сами. То, что они совершили в нечеловечески трудных условиях, пожалуй, просто не с чем сравнить; они вели войну, подобной которой не знало человечество, и их упорство и самоотверженность поставили их в один ряд с величайшими героями мира. Теперь им столько предстоит восстановить и построить заново! Много лет назад мы сделали ужасную ошибку, за которую мы все тяжело заплатили,—когда отказали им в поддержке и помощи и даже сами напали на них. Давайте же исправим эту ошибку—мы уже начали исправлять ее во время войны,—предложив им наконец не только поддержку и помощь, если они нуждаются в них, но лучше всего и прежде всего нашу искреннюю дружбу.

Ибо в основе этой революции под стальным фасадом марксизма лежит глубокое чувство, которое легко обнаружить в книгах великих русских писателей. Это чувство братства, убежденность в том, что все люди братья и каждому нужна помощь другого. И это чувство, незримый поток, текущий глубоко под землей, существует, несмотря на жестокие репрессии, политическую полицию, неожиданные аресты, трудовые лагеря. Здесь, на мой взгляд, и кроется причина того, что русские так серьезно реагируют на всякое несогласие; что колкость или насмешка может вызвать у них взрыв гнева; что так медленно сходятся они с людьми. Люди холодные, практичные, расчетливые ведут себя иначе и спокойно обмениваются ничего не значащими любезностями. Их подозрительность и скрытность объясняется тем, что не только коммунист подозревает своего врага—капиталиста, но и русский, не поездивший по свету, как и в прежние времена, подозревает Запад. Но прежде всего в русских заложено какое-то непостижимое женское начало, удерживающее их от слишком быстрого проявления этого чувства. (Если вы решили, что русские—холодные угрюмые люди, посмотрите первый попавшийся русский кинофильм.) Поэтому мы должны делать новые и новые попытки, всеми возможными способами проявляя наш искренний интерес и растущее дружелюбие. Критика без дружбы никуда нас не приведет—сейчас не то время. Но дружелюбная критика, высказанная и принятая, улучшит и обогатит нашу и их жизнь, ведь мы можем многому научиться друг у друга.

Я закончу, как и начал, личным заявлением. Русские—чудесные люди, и я никогда добровольно не скажу о них и о жизни, которую они строят, ни одного дурного слова. Я отдал им свою дружбу. И я буду снова и снова предлагать ее русским, даже если они решат, что моя дружба им ни к чему.

А теперь я хочу поблагодарить их за величайший из даров, о котором они и не подозревают,—за то, что, вернувшись из их страны, я стал намного больше уверен в будущем человечества.

# Радости (1949)



## ОПРАВДАНИЕ ВОРЧУНА

### Вместо предисловия

Ворчать я начал чуть ли не с пеленок, о чем свидетельствуют многие семейные легенды. Я и на свет божий появился уже с кислой миной — решил, видимо, что закинули не на ту планету. (Даже теперь, годы и годы спустя, эта мысль не представляется мне такой уж нелепой.) Для роли ворчуна природа снабдила меня всем необходимым: одутловатое лицо, отвисшая нижняя губа, «змеиные глазки» (так, во всяком случае, утверждают ближние) и зычный, но скрипучий и въедливый басок. Более подходящих данных и за деньги не купишь.

В Уэст-Райдинге, графство Йоркшир, где я провел первые девятнадцать лет жизни, общественное мнение и все местные обычаи неизменно поддерживают и вдохновляют ворчунов. В дифирамбах мои земляки усматривают нечто постыдное, эдакое вкрадчивое лицемерие, свойственное жителям южных графств. Зато недостатки они выискивают неустанно и чертыхаются от всего сердца. Острие критики затачивается тут наново каждое божье утро. Итак, незаурядные способности к ворчанию проявились у меня на закате викторианской эпохи и в короткий, но яркий век Эдуарда VII. Я их вполне успешно развивал, занявшись ненадолго торговлей шерстью — ведь ни в одной другой торговле вы не услышите столько горьких жалоб и брюзжания. В первую мировую войну мне выпало служить с такими мрачными и неутомимыми ворчунами, каких даже в английской армии редко встретишь, но и тут я в грязь лицом не ударил. После войны я отточил мастерство, проворчав себе дорогу через аудитории Кембриджа, редакции Флит-стрит и различные сферы литературной и театральной деятельности. Я брюзжал во всех уголках земного шара; на море, в горах и пустынях.

Я брюзжал дома и за границей, чем доводил женскую половину семьи до полного отчаяния.

Нет, женщины никогда не могли меня понять. Просто у нас по этому вопросу разные взгляды. Они полагают, что от ворчания жизнь становится хуже, я же считаю, что от умелого ворчания она только улучшается. Предположим, мне подадут в гостинице плохой завтрак; я пару минут ворчу, и вот равновесие восстановлено: на одной чаше весов — плохой завтрак, на другой — ворчание. «Да уймись ты, наконец, — пеняют они мне, — и без твоего нытья тошно». Но у меня иная арифметика. «Плохо позавтракал, — отвечаю я, — зато прекрасно поворчал». Посему главное обвинение — что я, мол, намеренно порчу себе и другим жизнь — я должен решительно отместить.

В оправдание могу еще добавить, что обычно я чувствую себя совсем не так мрачно, как это может показаться. По какой-то неизвестной причине я слегка переигрываю именно тогда, когда чем-то недоволен. Если, к примеру, я слегка раздражен или чуть выбит из колеи, то окружающим представляется, будто я впал в дикую злобу или страшную тоску. Внешность обманчива. Но от этой театральнораторской тяги к преувеличению мне часто приходится страдать. Люди просто не понимают мои истинные чувства. Конечно, у меня бывает неважное настроение, но я вовсе не терзаюсь так уж безутешно. (Когда репетиция в театре не ладится, меня стараются выпроводить из зала, начинают заговаривать зубы, предлагают выпивку, льстят — и все для того, чтобы я не мозолил глаза актерам, этим, видите ли, необычайно чувствительным созданиям.) Много лет назад, на званом приеме, где я по обыкновению что-то там ворчал, незнакомая девушка вдруг накинулась на меня и предложила идти домой, чтобы не портить радость другим. Меня ее реакция так огорошила, что я до сих пор не могу оправиться. Я бы с радостью послал ей экземпляр этой книги с дарственной надписью (сожалею, что не знаю ее имени, и надеюсь, что жизнь у нее сложилась счастливо), однако факт остается фактом — меня просто не так поняли. Ворчание, которое она подслушала — я ведь, черт побери, не с ней разговаривал! — было не более чем светской болтовней, разновидностью социального поведения. Мою досаду не стоило принимать всерьез. Я, как обычно, бессознательно переигрывал, преувеличивал. И тут уж меня следует скорее пожалеть, чем ругать, хотя, конечно, и последить за собой мне иногда не мешает.

Наконец, последний довод защиты. В значительной части моих произведений содержится резкая критика наших порядков, а это в конечном счете тоже форма ворчания. Согласен, в чем-то я тут потакаю своим наклонностям, но ведь не только. Я всегда понимал, что писатель должен

отрабатывать данные ему привилегии и говорить от лица тех, кому опасно говорить от своего лица. За правду писатель может поплатиться, нажить кучу неприятностей—у меня, кстати, этих неприятностей бывали целые горы,—но все-таки никто не выбросит его с работы, не пустит имущество с молотка, не оставит четверых детей без ботинок. Так что в печати я ворчал скорее в интересах других людей, чем в своих собственных. К тому же я так устроен, что всегда нахожусь в оппозиции к правящей партии и власть предрежащим. Своеобразный подхалимаж, только навыворот. Нет, я вовсе не врожденный бунтарь, поскольку лишен фанатизма, но во мне есть кое-что от анархиста—даже друзей бросаю, когда они достигают власти. И еще: жизнь меня в целом баловала, но неловко же выставлять свою удачливость напоказ, поэтому мое нытье и вечные поиски недостатков можно считать осознанной борьбой с hubris<sup>1</sup> и чем-то похожим на «плюнь через левое плечо». А отсюда—еще больше ворчливости.

Славные парни, которые умеют делать хорошую мину при плохой игре, тогда как у меня она кислая и при хорошей, не раз в досаде вопрошали: «Неужто ничто на свете его не радует?» Эта книга и есть мой несколько запоздалый ответ. И никто меня не упрекнет, что я сидел и дожидался, пока все в жизни наладится. Современное положение в мире... но не будем о том, о чем вам и без того прожужжали все уши. Захлопнем-ка заодно двери сумасшедшего дома наших экономических проблем, как государственных, так и частных, забудем на время и про ужимки управляющих банками, бухгалтеров и сборщиков налогов. К слову, пока я пытался припомнить, рассортировать и записать все, что доставляло мне в жизни радость, на мою голову свалилась масса неприятностей в театре: две свадьбы, повальные заболевания, долгий и суматошный переезд в другое здание; к тому же у меня выдирали остатки зубов—по два за раз и со столь удачно продуманными интервалами, что челюсти ныли, не утихая; о мелочах же, вроде вынужденного поста и умерщвления плоти, даже упоминать не стоит. Вообще любые беды и напасти, какие только могут обрушиться на писателя, родителя, домовладельца и просто пожилого, мало двигающегося человека, не обошли меня в это время стороной. Об образе жизни Рэли, которому я, по мнению некоторых людей, подражаю, оставалось только мечтать. Но хотя напасти практически не давали мне передышки, я не бросал работу над этой книгой о радостях; мне хотелось, чтобы она стала моим оправданием, покаянием в том, что частенько брюзжу, омрачил завтрак, чуть не загубил обед и испортил настроение к ужину; мне хотелось

---

<sup>1</sup> Гордыня (греч.).

извиниться за раздражительность, ворчание, бурчание и карканье, за кислую физиономию и отвисшую губу. И пусть теплые отсветы радостей, которые грели мне душу не так уж редко, правда по большей части тайком, дойдут с этих страниц и до вас, мои многострадальные родственники и терпеливые друзья.

## 1. ФОНТАНЫ

Без радостного волнения я не могу любоваться даже самыми маленькими из них. Они завораживают меня днем, когда солнце пронизывает лучами их струи и водяную пыль, превращая каждую капельку в драгоценный камень. Завораживают ночью, когда в подсветке из разноцветных огней они взламывают темноту то изумрудным, то рубиновым, то сапфировым дождем. А еще лучше, если подсветка вдруг гаснет, и струи взмывают во всем великолепии своей ослепительной кипящей белизны. Самым ярким впечатлением от Бадфордской выставки моего детства был не аттракцион «водяные горы», не фейерверк, не сомалийская деревня, а Волшебный фонтан, который менял цвет под звуки вальса, исполняемого венгерским оркестром, и, казалось, был перенесен сюда из сказок Шехерезады. Да, изобретение фонтанов делает человечеству честь, и я уверен, что мою любовь к ним разделяют девяносто девять современников из ста. Но где они, эти фонтаны? Увы, их нет. Чем не повод для борьбы? Начать можно с писем в «Таймс», потом устроить собрания, принять единогласные резолюции, направить делегации к премьер-министру и, наконец, организовать процессии, массовые демонстрации и даже беспорядки. Какой толк от разговоров о демократии, если мы мечтаем о фонтанах, а нам их не дают. Дорого? Но их стоимость—мелочь по сравнению с огромным количеством идиотских расходов, которые нам навязывают. Города битком набиты дрянью, совершенно не нужной нормальным людям, а вот фонтанов у нас нет. Давайте уничтожим в стране безработицу, увеличим производство, улучшим социальное обеспечение, сократим разрыв между импортом и экспортом, сбалансируем «это» и спланируем «то». Но давайте одновременно строить и фонтаны—множество фонтанов, высоких, сверкающих голубым и зеленым огнем, похожих на вино, на бриллианты,— пусть над каждой площадью зажжется радуга. Безумие? Может быть. Но все холодные и горячие войны приводят человечество к мрачному безумию. Отчего бы нам не испробовать радостного безумия? Пусть в небо бьет не кровь, а вода—изящный, мощный, прекрасный фонтан.

### 3. ДЕТЕКТИВНЫЙ РОМАН НА НОЧЬ

Детективы перед сном доставляют мне радость не только дома; еще большее удовольствие я получаю от них, когда куда-нибудь уезжаю и словно теряюсь в большом мире. Дневная суета окончена; можно поудобнее устроиться в постели, зажечь в этом маленьком пристанище лампу и дать отдых как телу, так и душе. Но почему именно детективы? Почему не выбрать просто хорошую книгу? Да потому, что за редким, редчайшим исключением, хорошие книги будоражат, пробуждают мысль. В спальне им, по-моему, не место. Тогда почему бы не воспользоваться какой-нибудь усыпляющей чепухой в кожаном переплете, вроде велеречивых мемуаров или нудных путешествий? Тут я могу ответить только за себя: если книга очень скучна, я начинаю размышлять об оставленной работе и часами не могу уснуть. Нет, уж лучше детектив, хотя его особые качества и достоинства далеко еще не оценены. Специалисты как-то обсуждали по радио популярность детективных романов, и у меня просто уши вяли. Эти мудрецы наперебой бубнили лишь про насилие и преступления, будто вся суть именно в них. (Кстати, тому, кто любит на ночь детектив, и в голову не придет участвовать в подобной передаче.) Нет, истинных любителей привлекает в жанре не криминальная атмосфера. Более того, реки крови нам не по нутру — мы огорчаемся, что писатели по традиции всовывают в каждый роман одни убийства. (Можно написать прекрасный детектив без всякой уголовщины. Я даже подумываю, не взяться ли за работу самому. Разве трудно обойтись, к примеру, исчезновением или двойной жизнью?) Нынешняя серьезная литература по большей части игнорирует нашу любовь к увлекательному повествованию. Романист выступает сейчас критиком общества, философом, поэтом, сумасшедшим — кем угодно, только не рассказчиком. А у нас не всегда подходящее настроение для социальных обличений, психологических прозрений, поэтических витаний или философствований об устройстве мира. Нам иногда хочется посмаковать какую-нибудь закрученную, захватывающую историю. Только, ради бога, не сентиментальную чушь про любовь или что-то подобное. На ночь нам — во всяком случае мне, а вы решайте сами — требуется книга, которая по-своему отображала бы жизнь и одновременно распутывала какой-нибудь увлекательный ребус. Как раз все это и дает детектив. Конечно, детективное повествование крайне условно, в нем множество шаблонных ходов — вспомните хотя бы традиционные встречи героев под занавес, как правило в библиотеке, или обеды в Сохо, за которые полицейский инспектор платит из своей зарплаты, хотя только одного вина подадут на шесть фунтов. Но недостатки детектива — продолжение его достоинств. Ведь



мрачному хаосу реального мира тут противопоставляется небольшая, четко поставленная и изящно решаемая задачка. А забыть на час-другой о сложных, нерешенных, страшных проблемах, которые со всех сторон наваливаются на вас, и поломать голову над тайной телефонного звонка — что может быть лучше! («Теперь известно, что сэр Руфус умер не позже десяти. Тем не менее без пятнадцати одиннадцать он позвонил леди Бриджет. Что вы на это скажете, Траверс?») Все очень ясно и просто, куда проще, чем сохранить трезвую голову в реальной жизни середины XX века. После тревожных газетных заголовков упорядоченный мирок детектива приносит явное облегчение: вы чувствуете, словно вошли наконец в парк после долгого блуждания по джунглям. Да и сон слаще после этих детективных упрощений, обычно не менее нравственных, чем учение Сократа. Лампа моя, правда, горит слишком долго, но должен же я узнать, как покойник умудрился позвонить по телефону. Зато, когда ребус решен, я засыпаю очень крепко. И до чего все-таки славно отключиться от суеты и бедлама реального мира, вытянуть ноги, ноющие после долгого дня, поудобнее устроиться на подушках и снова встретиться с чудачковатыми сыщиками, играющими на скрипках или поливающими орхидеи, с ворчливыми полицейскими, томящимися в своих кабинетах, и знать, что и мне и им вот-вот подкинут новую удивительную задачку.

#### 4. КОНЕЦ РАБОТЫ

Кончив долгую и трудную работу, я чувствую удовлетворенность, которая часто перерастает в радость. Радуюсь я вовсе не своему творению, поскольку сразу не умею оценить результат, редко уверен, что удачно воплотил замыслы, даже бывает, с тоской думаю о зря потраченных силах и времени. Нет, радость мне приносит ощущение свободы. Слишком долго я жил в плену одной-единственной идеи, а теперь освободился. Завтрашний день, как никакой другой, сулит мне неисчерпаемые возможности. Время и пространство раздвигаются. Перед внутренним взором, словно ящерицы на плитах памяти, мелькают десятки новых идей, но мне нет до них дела. Сейчас я хозяин, а не раб. Захочу, могу поехать в Китай, могу научиться играть на кларнете, перечитать Гиббона, заняться метафизикой, вырастить в теплице экзотические цветы, поваляться в постели, пообедать со старыми друзьями и остроумными знакомыми, полюбоваться картинами, сводить детей в концерт, прибраться, наконец, кабинет и перестать орать на жену. До чего прекрасен и интересен мир! Сколько в нем солнечного света, звезд, удовольствий! Скоро, само собой, тюремная дверь захлопнется снова, но

пока я на свободе, и перед моим восхищенным взором высятся горы сокровищ. На миг, пусть всего лишь на миг, ко мне приходит радость.

## 5. ВСТРЕТИТЬ ДРУГА

Бывают места, где оказываешься в такой обстановке, что охватывает отчаяние. Не чувствуешь себя самим собой. Все и вся здесь против тебя. Ты в стане Врагов и совсем одинок. К любому твоему слову, к любому поступку относятся с полным равнодушием. Кажется, ты оторвался от своего мира, даже утратил его навсегда. Чтобы преодолеть эти обстоятельства, стать своим среди пустоглазых чудищ, надо заново родиться. Иначе как существовать в такой чужеродной атмосфере? Целыми днями живешь в каком-то кошмаре и только вечером, ложась со вздохом облегчения в постель, начинаешь ощущать себя нормальным человеком. И до чего же здорово вдруг встретить в таком месте друга! Перед тобой внезапно появляется знакомая физиономия, каждая черточка которой принадлежит родному, разумному миру. Его глазами ты видишь себя таким, каким привык видеть всегда. Чужеродная атмосфера рассеивается. Друг выслушает твою болтовню и поймет тебя. Уже сама форма его носа возвращает тебя в твой прежний, уютный и разумный мир. «Привет! А ты-то тут что делаешь?» Наконец-то звучит голос любящего тебя человека. Вот радость, так радость!

## 7. ПОХОД

Ослепительным утром в начале лета 1919 года я вылез из автобуса у Баждена в верховьях реки Уорф, чтобы с рюкзаком за плечами перейти через перевал в Уэнслидейл. Начинаясь мой пеший поход. Однако не совсем обычный. Он был первым после четырех с половиной лет идиотской, как мне казалось, службы в армии. Меня только что демобилизовали, и, сняв форму, я вдруг снова почувствовал себя нормальным штатским человеком, которому плевать, что о нем думают крикливые солдафоны с багровыми физиономиями. Меня ожидало беззаботное лето, а затем учеба в Кембридже. Но и это еще не все. Словно волшебный талисман, я нес с собой в путь заказ от редактора «Йоркшир обсервер» на серию статей о моем путешествии с оплатой по гинее за статью. Хотя до войны—мне тогда было около семнадцати—я кое-что успел опубликовать, заказ я получил впервые, и более прекрасного заказа у меня с тех пор уже не было. Писать, что душе угодно, да еще за деньги! Передо мной открывалась литературная карьера! Добавьте к этому

яркое утро, верховья Уорфа, недавнюю демобилизацию, работу для газеты, теперь представьте, что бы вы почувствовали на моем месте, и *удвойте результат*. Проселок, ведущий к Айсгарту—в ту пору это был еще проселок, а не шоссе,—извиваясь, терялся в голубом небе; над вересковыми пустошами заливались жаворонки; среди скал поблескивали и журчали ручейки; высокое солнце и ласковый ветерок казались просто райскими. Я шагал по дороге с полным блаженством—даже теперь, тридцать лет спустя, стоит мне в тишине вспомнить тогдашний день, и я снова всей кожей ощущаю золотистый горный воздух и холодок ключевой воды. Юность, по-моему, не столь уж счастливая пора, как принято считать, но в ней бывают минуты, когда вы чувствуете себя просто сказочно и возносите духом на такие высоты, которые по эту сторону рая будут вам уже недоступны. Ну, а статьи, что я написал, оказались никудышными.

### 13. СТРОИТЬ ПЛАНЫ В УЮТНОЙ ОБСТАНОВКЕ

Никто еще не воспевал это занятие, хотя оно может доставить немалую радость. Вы должны быть вдвоем, максимум—втроем, скажем муж с женой или родитель с детьми. Большие сборища исключаются, как исключаются посторонние, даже друзья, кроме самых старых и любимых. Лучшее время—поздний вечер, лучшее место—у домашнего камина. А планировать можно что угодно—переезд на другую квартиру, долгий отдых, какое-нибудь новое дело. (Если компания женская, сойдет и свадьба.) Итак, вы придвигаетесь ближе к огню, один из вас берет бумагу и карандаш, хотя много писать вряд ли придется, и вот... равнодушный хаос внешнего мира вдруг отступает, вы чувствуете себя сметливым, деловитым, знающим все ходы и выходы, способным довести любое дело до конца. Но главное—все сейчас овеяно теплом ваших личных отношений, пронизано нежностью друг к другу. Люди, которые надеются после смерти попасть в рай, зачастую думают, что им там будет нечего делать. Явная нелепица. Глупо полагать, что к их прибытию рай будет полностью, до последней завитушки, обихожен. И уж где-где, а там строить планы будет куда как уютно.

### 17. СТУК ФУТБОЛЬНОГО МЯЧА

Когда я был мальчишкой, наша семья жила в новом пригородном районе неподалеку от спортивной площадки. В

каникулы мы с ребятами делились на команды и целыми днями гоняли в футбол. Обедать мы бегали порознь и как придется, где-то между двенадцатью и двумя, лишь бы не мешать игре. Влетишь домой, запыхавшийся, красный, схватишь два-три куска пирога—и назад. (Неужели в пожилом возрасте я все еще тоскую по футболу? Вряд ли. Большинство же моих тогдашних друзей не дожили до двадцати пяти лет—первого июля 1916 года они все погибли среди воронок и колючей проволоки.) Утром ли, днем, в сумерках я, бывало, спешил на игру мимо недостроенных домов, постукивая бутсами, прислушиваясь к глухим ударам по мячу, которые не спутаешь ни с какими другими,—и сердце мое наполнялось радостью. Даже теперь, спустя сорок лет, если где-нибудь в загородном проулке я услышу призывно зовущий стук мяча, у меня начинают чесаться пятки, я вдруг теряю голову и забываю, что годы ушли и я давно уже толстый и неуклюжий. Но прежде чем сожаления захлестнут меня с головой серой, горьковато-соленой волной, в душе на долю секунды сверкнет, словно драгоценный камень, былая радость—не воспоминание о прежнем удовольствии, нет, а именно сама радость.

## 20. РОДИНА

Когда мои соотечественники бурно восторгаются, узрев белые скалы Дувра на горизонте или ослепительные луга маргариток и лютиков на уютных склонах юго-восточной Англии из окна вагона, меня эти восторги не трогают—ведь если я какое-то время не был дома, я могу обрадоваться даже тому, что обычно ненавижу. Я проникаюсь нежностью к угрюмым тупикам железнодорожных путей, к платформам, над которыми словно бы повис вечный ноябрь, к запустелым буфетам, к газетным киоскам с их «Еженедельной Сплетницей» и «Ежедневной Балаболкой», к аляповатым коттеджикам, к унылым городкам, где никто и не нюхал, что такое веселье, к афишам пошлых оперетт, к сумрачной, заплесневелой громаде Лондона. Чертова цивилизация! Чертова страна! Сплошной бедлам! Но это мой дом... я дома...

## 24. ПЕРВАЯ СТАТЬЯ

Уже в шестнадцать лет я кропал статьи и рассылал их по тем редакциям, чьи адреса удавалось достать. Статьи эти были двух видов. Первые, серьезные, очень серьезные, торжественно подписанные «Дж. Бойнтон Пристли», пестрели словами «возрождение», «значимость», «последствия», и создавалось впечатление, что их автору не менее ста пятиде-

сяти лет. Пристроить их не удавалось. У какого издания найдется достаточное число престарелых читателей? Вторые были сатирические или пародийные, в общем юмористические, и их пронизывал мрачноватый, жестокий юмор школьной стенгазеты. Одну из них как-то принял, заплатив мне гонорар, лондонский еженедельник. Рождение писателя состоялось. (Чтобы его не обвинили в бесчувственности, отец по этому поводу угостил меня одной из своих дешевых сигар, которыми, как он, видно, знал, я не первый месяц балуюсь.) И вот настал день, когда номер со статьей вышел в свет. Я ехал в трамвае, ходившем в нашем Брэдфорде от Даквортлейн до Годвин-стрит, и внезапно увидел, как пожилая дама открыла и начала листать еженедельник, не догадываясь, само собой, что его талантливейший сотрудник стоит чуть ли не в метре от нее. Наконец она дошла до той самой, заветной страницы, поколебалась, замерла и... принялась читать. Вот радость так радость! Не для нее, понятное дело, а для меня. Да и то радость недолгая, всего секундная, потому что на лице дамы скоро появилось то самое выражение, какое обычно появляется у всякого читателя, слушателя, зрителя и покупателя. Я потом наблюдал его тысячи раз, а последние годы вообще стараюсь не замечать. Ума не приложу, как рассказать об этом забавном выражении. В нем немало простодушия—иначе я давно бросил бы писать,—однако это чудесное простодушие разбавлено долей кисловатой опаски и даже некоторой подозрительностью: «Ну-ну, посмотрим». И вот гордый, только что самодовольно ухмыляющийся Поэт и Творец летит кувырком в пропасть мрачных сомнений и неуверенности. После той поездки в трамвае, стоит мне только увидеть читателя, слушателя или зрителя, как я сразу пытаюсь уцепиться за что угодно, лишь бы удержаться над этой пропастью. А перед глазами у меня вдруг мелькнет синее крыло—это уносится прочь птица радости.

## 26. ДОБИВАТЬСЯ ПРОСТОТЫ

Однажды я долго беседовал с молодым критиком, человеком искренним и, если оставить пока в стороне его взгляды, симпатичным. В конце беседы он пристально посмотрел на меня и медленно произнес: «Не могу понять. Рассуждаете вы куда глубже и тоньше, чем пишете. Ваши сочинения кажутся мне простоватыми». «Но я убил не один год, чтобы научиться писать просто,—отвечал я.—В том, что вы считаете недостатком, я вижу одни достоинства». Тут-то и разверзается пропасть между его поколением и моим. Он и его собратья, чьи убеждения формировались в начале тридцатых, хотят, чтобы литература была сложной. Они выросли в

атмосфере протеста против издержек массовой культуры своего времени и не желают иметь ничего общего с толпой. Пропуском в их закрытое сообщество может стать лишь произведение, в котором сам черт ногу сломит, а хорошими писателями они считают только тех, кто заставит их попотеть. Им подавай заумь и помпезность—поэтов, смахивающих на политических проповедников и критиков, что подходят к литературе, как профессора на консилиуме к ложу короля. В отличие от наемного писаки, стремящегося угодить публике, истинный художник для них тот, кто, даже начиная с простых мыслей и впечатлений, потом непременно усложняет форму, чтобы отпугнуть «дураков». Их восхищает лишь все трудное, отсюда—мода на Донна и Хопкинса. Литература, по их мнению, должна отображать изломанные и болезненные тайники их собственных душ. И тут нет позы, как ошибочно полагают критики старшего поколения. Этих людей можно справедливо обвинить, скажем, в узости и элитарности, но голько не в лицемерии. Они искренне верят, что настоящий художник обязан прятаться от толпы за изгородь из колючей проволоки, поскольку в XX веке толпа представляет угрозу истинным ценностям и не может не внушать страха. Что касается меня, то я родился в XIX веке, и мое мировоззрение складывалось в годы, предшествующие первой мировой войне. Хорошо ли это, плохо ли, но я не боюсь толпы и не отождествляю искусство с интroversией и самокопанием. (Это отождествление—самая серьезная ошибка критической мысли наших дней.) Будучи не меньшим, как сейчас говорится, «интеллектуалом», чем эти мои молодые друзья, я все же не нахожу никакой стеклянной стенки между собой и простыми людьми в заводских цехах, в магазинах или закусовых. Не верю, что мои мысли и чувства чем-то отличаются. Поэтому я предпочитаю широкую аудиторию и сознательно стремлюсь к простоте. О чем бы сложном я ни писал, мне важно знать, что написанное можно прочесть в любой закусовой. (И было время, когда меня слушали и понимали в тысячах закусовых.) На особую тонкость и глубину я не претендую, но не так я и прост, как кажется. Трудясь сам в поте лица, я, возможно, облегчаю жизнь читателям, ну а для умников, которые хотят поломать голову над чем-нибудь заковырившим, я и вовсе—открытая книга. Но мне чужд взгляд на литературу как на исключительно умственную деятельность. А современным критикам я советовал бы заняться решением шахматных задач или поискать ключи к шифрам. Рекламирывать им мой товар бессмысленно. Но если кто-то из них считает, что простоты, свойственной моим произведениям, добиться легко, пусть сам возьмет и попробует, скажем, в своем следующем письме в «Таймс». Конечно, сейчас мне писать легче, чем прежде, но на это ушли годы тяжелой

работы. И все же до сих пор не уверен, что пишу прозу, похожую на понятные и убедительные речи (такие, какие мне самому, бывало, удавались). Но я сознательно стремлюсь к этому, чего никак не уразумеет мой молодой критик, любитель сложностей. Кстати, привычка к простоте приводит временами к небольшим удачам. На радио, например, меня как-то попросили произнести речь по случаю дня рождения К. Г. Юнга, жизнью и трудами которого я восхищаюсь. Представьте себе: за тринадцать с половиной минут объяснить Юнга так, чтобы любой человек понял, что к чему! Мои друзья уверяли, что это невозможно. Им вторили психологи. Однако смею утверждать, что свою задачу я выполнил, и тому есть неопровержимое доказательство. Работа была та еще, но, когда я ее кончил, я ощутил настоящий, как горный мед, вкус радости.

### 37. ПУГАТЬ ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ ЧИНОВНИКОВ

Забава может показаться довольно жестокой, и удовольствие от нее садистское, но у меня есть оправдание: почти все чиновники с первого же взгляда испытывают ко мне неприязнь, а некоторые не любят даже заочно. Раз так, за дело! В качестве жертвы лучше выбрать того чиновника, кому светит повышение по службе или присвоение титула, если он, конечно, не наделает глупостей. Теперь увлеченно, подкрепляя слова красноречивыми жестами, представьте ему на рассмотрение грандиозный, но совершенно безумный проект, затрагивающий вместе с его департаментом полдюжины других. При этом следует намекнуть, что влиятельные люди (но никаких конкретных имен!) уже поддержали начинание. Затем отметите как мусор все его возражения и подробно, с размахом разрекламируйте самые уязвимые стороны проекта. А когда чиновник уже взовьется на дыбы, внезапно смените тактику. Начинайте играть роль сдержанного, враждебно настроенного интригана: никакой теплоты и энтузиазма в голосе, никаких улыбок и жестов. Пристально, долго, пока у одного из вас не сдадут нервы, смотрите ему в глаза и, прервав молчание, мрачно, очень официально заявите: «Итак, мистер Крикли, будучи заместителем министра землетрясений по отделу гама и шума, вы решительно отказываетесь от проекта? Правильно я вас понял?» Затем покачайте головой, сделайте какую-нибудь запись в блокноте, пробурчите про прессу и запрос в парламенте, объявите про свидание с очень важной персоной и, мрачно усмехнувшись на прощанье, твердым шагом выходите из кабинета. Удовольствие? Трудно сказать.

## 39. ВАЛЯТЬ ДУРАКА В КРУГУ РОДНЫХ

Описать это развлечение в деталях практически невозможно, а приводить в пример даже самые удачные остроты и вовсе самоубийственно. Для него, этого развлечения, хороша большая семья, но совсем не обязательно, чтобы ее члены обладали каким-то сверхъестественным чувством юмора. За обеденным столом вы вдруг принимаетесь молотъ вздор, другие подхватывают, добавляют что-нибудь свое, и вот уже весь стол корчится от смеха, а у младших детей по раскрасневшимся рожицам катятся слезы. Стороннему наблюдателю, особенно если он человек нервный, зрелище не доставит радости, скорее покажется неприятным. Но оно и не предназначено для посторонних, тонкокожие они там или толстокожие. Чтобы оценить его по достоинству, надо быть здесь своим, самому принимать участие в этом шумном балагане. Дело в том, что где-то в глубине всех вас сейчас невидимо объединяют общие корни, а над головами расцветают невидимые цветы. Семья становится одним, коллективным существом. Без чувства сопричастности у вас вообще ничего не получится. И человек, жизнь в котором потихоньку угасает, с нежностью и сожалением будет на старости лет припоминать именно эти сценки, когда никто не заботился о собственном достоинстве, настоящем остроумии, манерах, а лишь давился от хохота и отпускал плоские шуточки про бильдюгу с хреном и касторку. Ушедшая в прошлое радость—семья в сборе, и все дурачатся.

## 47. БРЮКИ

Помню дни, когда я радовался жизни просто от того, что на мне нормальные длинные брюки. В пятнадцать лет я был обладателем всего лишь одного костюма с такими брюками—выходного. Носил я в основном бриджи—их застегивали на пуговку под коленом, на икры же натягивали толстые длинные носки, подвернутые сверху. После многих лет футбола ноги у меня были мускулистые, стройные, так что выглядел я в бриджах вполне пристойно, но я стеснялся их, чувствовал себя великовозрастным балбесом, застрявшим в затхлом мирке детства. С тем же успехом меня могли возить в школу и в детской колясочке. Обреченный на эти бриджи—употребляю тут это слово, потому что в семье существовали строгие правила, когда какие наряды надевать,—я все время боялся, что жители городка не увидят, какой я на самом деле. Стоило же надеть брюки, как моя внешность и мое внутреннее «я» гармонично сливались. Я вступал в мир мужчин, расправлял плечи, все мое существо пело—и только благодаря брюкам, ничего другого для



счастья не требовалось. В те редкие дни, когда мне разрешали надеть в школу взрослый костюм, я не шел, а словно летел по воздуху. Трудно представить, что полметра материи могут так возвышать человеческий дух. И сейчас, мрачно глядя по утрам на обломки некогда сиявшего мира, я должен напоминать себе: «Пусть ты стареешь, пусть стал толстым и сварливым, но зато на тебе *нормальные длинные брюки*».

## 50. СОКРОВИЩЕ

Прошло более полувека, но я помню все так ясно, словно это было вчера. Яркое летнее утро, мне около четырех лет, и я сижу на лужайке у дома. Сердце переполняет радость от какого-то смутного ощущения,—я и слов таких не смог бы тогда найти,—что где-то рядом скрыто Сокровище. То ли оно в земле, прямо под лютиками и маргаритками, то ли в золотистом воздухе. Никто со мной о нем не говорил, и что это за сокровище, я не знаю. Однако каждое утро ожидание согревало меня. Сокровище — недалеко, где-то рядом, только протяни руку. Наверное, то была сама земля, солнечные лучи, тепло, но иногда мне кажется, что я ищу это Сокровище всю свою жизнь.

## 53. ДЕРЕВО

Не такой уж я безрукий, как многие другие книжные черви, но никакому ремеслу все-таки не обучался и с деревом дела почти не имел, разве что приходилось пилить и колоть дрова да вбивать гвоздь-другой. Однако около верстака плотника, столяра или краснодеревщика, вообще в любом месте, где работают с этим материалом, меня охватывает пусть маленькая, но радость. Стоит мне взять в руки только что отструганную планку или просто взглянуть на нее, вдохнуть ее запах, и на душу нисходит покой. Даже стружки поскрипывают надеждой. Тут явно скрывается какая-то тайна, которую одним атавизмом не объяснишь. Ведь на заре веков наши далекие предки обтесывали лишь камни. Их кремневые орудия попадались мне в музеях и вне музеев, но сердце оставалось совершенно холодным. Нет, обработка дерева, требующая острых металлических инструментов, никак не может быть очень древней. Не тут ли и зарыта собака? Может быть, дерево как раз и волнует нас своей повизной? Но ведь легкие сплавы и пластмассы куда новее — их только что изобрели, однако душу они не трогают. Все дело, видимо, в том, что дерево, как бы его ни разрубали, ни пилили, ни строгали, всегда остается живым. Я кладу ладонь на свой письменный стол, и мне кажется, что я коснулся

плеча брата. Это дерево долго, терпеливо впитывало в себя солнце и дождь, холодок весенних зорь и тепло осенних закатов, оно жило неосознанно, как живет все живое. И заметьте себе — почти нет людей, кто работал бы с деревом и ощущал себя несчастным, несостоявшимся. А когда люди создают книгу о Плотнике, они называют ее Новым заветом.

### 63. ОТКЛОНИТЬ ПРИГЛАШЕНИЕ

Отклонить приглашение — радость, доступная только зрелому возрасту, и совершенно непонятная молодости. В молодости мы ужасно маемся, если не можем куда-нибудь пойти. Нам кажется, что жизнь нас обделила, что она пронесится мимо, пока мы тоскуем и плачем за решеткой. Нас, видите ли, не позвали на танцы, на вечеринку, на матч, на пикник, на экскурсию, на праздник — да это же плевков в душу, унижение, которое не забудется долгие годы! Или, скажем, приглашение получено, а возможности пойти нет. Как же тут не клясть судьбу? Так вот мы и терзаем себя по весне жизни. Но сейчас, когда дело двинулось к зиме, мне совершенно безразлично, пригласили меня куда-то или нет; более того — легкомысленно приняв приглашение, я потом ощущаю радость при мысли, что никуда не пойду. Достиг я этого не сразу, а как бы в два этапа. Сначала, после многих лет разочарований и суеты, я вдруг решил, что, отклонив приглашение, ничего не теряю. Теперь, на втором этапе — и я надеюсь, что больше уже не переменюсь, — мне и в голову не придет размышлять, теряю я что-то или нет. Вы думаете, я избегаю удовольствий? Наоборот, не ходя по приглашениям, я их как раз и получаю.

### 66. УЙТИ С ГОЛОВОЙ В РАБОТУ

В молодости мы, писатели (композиторы, художники), обожаем порассуждать о своей работе, о творческих планах, но по-серьезному работать не любим — теплая компания таких же незаурядных личностей, как мы, нам приятнее тяжелого труда в затворничестве. Со временем же сесть за работу становится все легче, а в пожилом возрасте нас так и тянет уйти в свой одинокий труд с головой; мы даже злимся, если нас отвлекают. Последние годы я часто получаю радость просто от того, что гляжу на свой письменный стол с разложенными на нем неприязательными орудиями моего ремесла (художникам, надо сказать, с этими орудиями повезло больше). Старые, верные друзья: пишущая машинка, бумага, карандаши, ластик, блокноты, справочники — они всегда наготове, всегда ждут меня. Маленький и такой

знакомый мирок! Внешний же мир, огромный и безумный, отступает на задний план, его на время можно вообще забыть. И душа моя ликует не меньше, чем тогда, в молодости, когда я шел на вечеринку и воображал, как ошеломлю чем-нибудь публику. Теперь мне стало легче выполнять в срок договора и зарабатывать деньги, однако в затворничестве кроется и немалая опасность, как ясно по серым и самодовольным книгам пожилых писателей. Стены уютного кабинета могут наглухо отгородить тебя от большого, суматошного мира. Вероятно, эти отшельнические радости сгубили больше людей, чем пьянство и дурная компания.

## 74. ТРИ МАЯКА

Из некоторых окошек моего дома в ясные ночи видны вспышки трех маяков. «Ну и что?»—спросите вы. Сам не знаю и ничего доказывать не буду. Читайте дальше.

## 76. ВЕРМЕР

Впервые я посетил картинную галерею Амстердама в жарком июне 1914 года, когда мне было девятнадцать лет. Я пришел полюбоваться полотнами Рембрандта, и вот стоял перед ними, преисполненный уважения, даже издавал, когда требовалось, возгласы удивления, восхищения и восторга. В душе же у меня ничего не перевернулось. Понадобится еще лет двадцать, прежде чем я созрею для этих полотен. Но именно в тот июньский день я открыл для себя Вермера и, пожалуй, первый раз в жизни ощутил радость от сочетания красок на холсте. Конечно, и раньше мне нравилась та или иная картина, но по-настоящему волшебную силу живописи я не чувствовал. Наконец повезло: Вермер и я, мы оба были готовы к встрече. Я понял, что изображение предмета—неважно, кирпичной стены или уголка комнаты,—может вызвать удивительный, долгие годы неослабевающий восторг. И все потому, что художник вдруг открывает вам глаза на форму и цвет, обогащает ваше виденье. Мне кажется, именно тогда я осознал—а большинство людей, уверен, так никогда и не могут к этому прийти,—что правильной смотреть с картины на предметы, чем с предметов на картину, иными словами, зритель не должен узколюбо слышать свое виденье с виденьем художника, а, наоборот, должен позволить художнику обогатить себя. Так что весь тот июнь, последний перед тем, как человечество узнало, какой страшной может быть война, я разглядывал кирпичные стены и живописные интерьеры комнат под обаянием Вермера. Это было радостно, если не сказать больше. Да,

радостно и весело. Золотисто-зеленые пастбища изобразительного искусства до того истоптаны и загажены сейчас стадами напыщенных, истошно вопящих, взмыленных от груза культуры ослов, что мы порой забываем простую истину: искусство должно веселить, радовать. Стоит мне войти в картинную галерею, и я еле сдерживаюсь, чтобы не крикнуть всем этим унылым типам: «Да бросьте вы ходить на цыпочках! Получайте удовольствие, радуйтесь, черт возьми. Или уходите отсюда».

## 78. ЧИТАТЬ, ЧТО ХОЧЕШЬ

Не то, чтобы праздник души, скорее так, светлые мгновения, но все же... Много лет, год за годом, мне приходилось читать кучи книг, которые совсем не хотелось читать,—я читал их в школе и институте, читал, чтобы делать внутренние рецензии, читал для обзоров, критических статей и биографий, читал как член комитета по литературным премиям, как журналист и социолог. Теперь наконец я сам выбираю себе чтение, и это чертовски приятно. «Анализ «Видения о Петре Пахаре»» — нет, сэр, спасибо. «Меттерних и...» — увольте. «Тайные тропы герцогства Тосканского» или «Красоты Цейлона» — ни за что. «Жизнь и эпоха лорда Мрачнера» — держите у себя. «Еще раз о проблемах гештальт-психологии» — сами читайте. «После Потсдама» — вот и оставим на после. «Значение...» — нет и нет. «В ритме блюза» — к чертям. «Дело об исчезнувшем попугае» — это что, детектив? Тогда с радостью.

## 81. КОГДА МЕНЯ УЗНАЮТ

Я очень доволен, когда меня узнают и приветствуют по имени метрдотели, бармены, официанты, гардеробщики и лифтеры. Сколько угодно можете меня презирать, но каков есть — таков есть, от правды не уйдешь. И все же, признаваясь в своих грехах и слабостях, хочу добавить, что никогда не покупал и не вымогал для себя эту легкую, быстро-преходящую радость. Чтобы доказать, что дело тут не в деньгах, я явно прижимист в чаевых. Но сдержать польщенную улыбку при этих приветствиях мне не по силам. О-хо-хо!

## 87. ПОДГОТОВКА К СТАРОСТИ

Будет чертовски обидно, если я не доживу до преклонного возраста: ведь втайне, но с огромным удовольствием я уже готовлюсь к роли чудаковатого старикана. Мне со временем

придется слегка оглохнуть, чтобы спокойно пропускать мимо ушей возражения, глупые замечания и советы. Я уже вовсю начал запасаться кричащей одеждой. Пора уже учиться свирепым взглядам и львиному рыку. Хотя одной свирепости мало, поскольку я не желаю только пугать: аудитория может быстро заскучать и разбежаться. Нет, у вашего покорного слуги будут в запасе разные настроения. Отчего бы иногда (и тут потребуются много репетиций) не удивить и не очаровать гостя изысканной вежливостью или неотразимой улыбкой? У меня уже готов богатый набор суждений и предубеждений, которого хватит для целой дюжины стариканов. Осталось подкопить анекдоты да время от времени перетряхивать их с пылесосом. Не мешает подумать и про всякие байки, заранее подобрав для них нужный тон. Начинать вранье можно будет с Джозефа Конрада, которого я в глаза не видел, затем пускать в ход Гарди, Китченера, Эдуарда VII и всяких веселых девиц из варьете. Не забыть бы и про путешествия: «Ах, эта Индия (Китай, Золотой Берег, Маркизские острова) в старые добрые времена!» Если же мои молодые слушатели примутся зевать, я их живо взбодрю одним из двадцати скандальных высказываний, которые тоже пора сочинять и проверять на практике. Долго ли осталось?

## 89. КОГДА ОРКЕСТР НАСТРАИВАЕТ ИНСТРУМЕНТЫ

Рассказывают, будто некий азиатский гость, попавший впервые на один из наших симфонических концертов, был особенно восхищен звуками настройки инструментов, приняв их за начало программы. Не вижу тут ничего странного. Действительно, что может быть прекраснее этого никем не сочиненного вступления к любым симфониям, концертам и поэмам? Предвосхищая все, что затем последует, оно великолепно в своих обещаниях. Ничто не захватывает воображения сильнее, чем эти нестройные звуки. Проверка инструмента, настройка его, попытка исполнить трудное место — да это же сплошной хаос, скажете вы. Пусть так, но этот хаос словно бы схвачен в предельный момент, который предшествует творению. В нем уже предугадывается стройность и красота, что вот-вот польется со сцены. Кроме того, этот «хаос» никогда не обманывает ожиданий, чего не скажешь о самих сочинениях. Вслушиваясь в него, мы не вздыхаем от нескончаемой тяготы контрапунктов или утомительных крещендо. В нем нет ничего показного и фальшивого. Звуки его столь восхитительны, столько всего обещают, что мы и в сотый раз слушаем их, будто впервые, — даже от раза к разу с большим удовольствием. К тому же этой музыке не грозит

выйти из моды, она принадлежит сразу всем музыкальным школам—вам одновременно улыбается тут старик Гайдн и подмигивает Шонберг. В создании ее принимают участие сразу все инструменты—от малой флейты до контрафагота, она обходится без дирижера и не набивается на аплодисменты. Интересно, существуют ли пластинки, где записано, как музыканты настраивают инструменты? Если существуют, то мой день рождения—тринадцатого сентября.

## 99. ТАНЦЕВАТЬ

Недавно нашей семье пришлось развлекать около десятка молодых людей, и по их просьбе мы повели всю компанию в модный ресторанчик, где можно было потанцевать. Мне наказали побыть с молодежью часок-другой, а потом уйти— пусть их спокойно веселятся. Я поворчал и смирился. Однако станцевав по обязанности несколько раз, я так увлекся, что и пара дюжих полицейских не вытащила бы меня из переполненного зала.словно вошедший в раж старейшина племени, потея, сопя, я вертел по площадке девиц всех ростов и размеров, выделявая такие па, о существовании которых раньше и не подозревал. Молодые парни из нашей компании, эти хилые отпрыски упаднического века, вскоре начали устраивать себе перерывы, охлаждаясь пивком, а я все не мог уgomониться. Мне не случалось бывать в этом ресторанчике раньше, и вряд ли я попаду туда снова, но пока я был там, я плясал под сменяющие друг друга оркестры. И получал при этом массу удовольствия. Трудно сказать, почему я так мало танцевал в своей жизни. Правда, в конце двадцатых годов мы с соседями то и дело устраивали танцы в просторных гостиных. Но с той поры я танцевал лишь в тех случаях, когда нельзя было отвертеться (я не имею сейчас в виду вечеринки в каких-нибудь отдаленных, экзотических местах, где я готов подурачиться под любую музыку—от шотландской до грузинской). Нет, мне не дано знать, почему я так редко танцую. Ведь плохим танцором я себя не считаю. А уж по сравнению с другими пожилыми писателями я и вовсе хоть куда: у меня отличное чувство ритма, я один из тех замечательных людей, кто, несмотря на солидный вес, очень легок в движениях. И все же стараюсь не появляться на танцах; если же меня вынуждают, долго мнусь, прежде чем войти в круг, зато, войдя, не могу остановиться. А когда еще и музыка хороша, то я прямо захлебываюсь радостью. Мне все равно, с кем танцевать, лишь бы партнерша слушалась. В этот момент я увлечен музыкой, а не ею. Большинство писателей, как я заметил по их романам, видят в танцах нечто чисто сексуальное, некую разновидность любовной

игры: стоит героям пройти круг-другой по площадке, и они уже прямо млеют от страсти. Так же относятся к танцам и многие наши моралисты, поскольку негодование отшибает у них проницательность. Но хотя корнями танцы, несомненно, уходят в нашу грешную плоть, одной сексуальностью их ограничивать нельзя. Они скорее возвращают нас к эротическим ощущениям ранней юности — туманным, не направленным на определенный предмет. Ведь попадая в силовые поля страсти, мы не чувствуем тут себя рабами, и вздохи неразделенной любви, пронизывающие мелодию, не заставляют нас страдать. Ритм — вот чему с готовностью подчиняется наше тело. Нас берут в полон ударные инструменты. Острота сознания притупляется, болезненное ощущение собственного «я», закрепленного в определенном месте и времени, исчезает... и вот уже перед нами темнеет тропинка, уходящая в древний глухой лес, а мы сами — звенья долгой цепочки скачущих и кружащихся предков. Время как бы останавливается. Танцуя, все мы превращаемся в золушек на балу.

### 93. ЯБЛОНИ В ЦВЕТУ

Вот они цветут под лучами солнца — яблони, груши, вишни, сливы, миндаль. В горных долинах северо-востока Англии, где прошло мое детство. Среди послевоенных развалин Пикардии. Позже в Кембридже и Чилтерн-Хандредз, где под их нежной сенью я читал издательские рукописи и писал рецензии. Цветут на склонах речных каньонов штата Аризона. Цветут в нашем саду в Уайте. Я любовался ими во множестве мест и множество раз за свои пятьдесят лет. Но и сейчас при виде пенящихся ветвей душу мою переполняет та же радость. Да проживи я тысячу лет и останься у меня хоть капелька зрения, эта радость, я уверен, не потускнеет. Землю от тлена и смерти не избавишь. Но каждую весну, когда погожим утром люди любятся деревьями в цвету, они оказываются в раю. Мы часто жалуемся на жизнь, забывая, что мы ведь все-таки жили, мы видели цветущие под лучами солнца яблони, груши, вишни, миндаль, и даже самые достойные из нас не могут требовать чего-то большего или выдумать что-нибудь прекраснее.

### 95. ГОТОВИТЬ ЖАРКОЕ

Мне сейчас редко удается делать жаркое; куда чаще я готовил его в самые мрачные дни войны, когда на голову могла свалиться любая неожиданность. И всегда я получал при этом удовольствие. А жаркое выходит у меня просто удивительное. Можете проехать из конца в конец всю

Англию, но таким вас нигде не попотчуют. Один из моих сыновей как-то съел без всякого понуждения четыре огромных порции. Оно получается густое, сытное, необычайно вкусное. Мясо я для него не выбираю—сойдет любое. Овощи нарезаю тоже, какие есть дома в это время года. Спешить мне некуда: варево часами стоит на медленном огне, густеет, разжижается, снова густеет, а я присматриваю за ним, пробую, что-то бормочу себе под нос, потом добавляю красного вина, а в самом конце—ложку меда. Все, жаркое готово. Один запах чего стоит! Мужчины и детвора уписывают его за обе щеки с благодарностью. Женщины же, которые терпеть не могут, когда мы составляем им конкуренцию, сначала морщат носы, недоверчиво снимают пробу, выгибают брови, спрашивают, чего это я туда набросал, жалуется на беспорядок в кухне, но... как-то рассеянно и незаметно приканчивают свои порции. Ничего удивительного! Ведь это благородное блюдо заправлено не только луком, красным вином и медом, оно еще приправлено любовью и радостью.

## 99. ПРИОБРЕТАТЬ КНИГИ

Надо признать, что в последние годы покупка книг радует меня далеко не так сильно, как прежде,—слишком много времени провел я на кухне писательского и издательского дела. Зато когда мне было около семнадцати и я учился на приказчика в конторе по торговле шерстью, большей отрады я просто не знал. Денег мне, конечно, не хватало, и, чтобы наскрести шиллинг на том «Библиотеки для всех» или «Классиков мировой литературы» (мой выбор поначалу пал именно на эти серии), приходилось экономить на обедах. В крытом рынке стоял ларек, где за два пенса можно было купить пакет черствых булочек. Кое-какие продукты вообще стоили в те дни дешево. За три пенса, к примеру, продавались две небольшие тяжелые полоски из тертых орехов с финиками, иногда даже промазанные шоколадом. Наестся ими не удавалось, но аппетит они на время глушили, словно тупым оружием. А сэкономленная подобным способом мелочь шла на поэмы Вордсворта или, скажем, на какое-нибудь нудное чудище, вроде «Калевалы». Купив книгу, я тащил ее к себе в мансарду, где приспособил под полки аккуратно подрезанные и покрашенные ящики от апельсинов. И полки, и сами книги были легкими, но по своей культурной ценности их содержимое тянуло на тонны. В те далекие годы я предпочитал—и это было вполне разумно—те произведения, которые наши предки называли Возвышенными; они обычно печатались мелким шрифтом на тонкой китайской бумаге. Устроившись у сердито фыркающей газовой горелки



(она согревала мне только руки, правда сначала я подсушивал на ней ноги), голодный, серьезный, каким может быть только семнадцатилетний паренек, я проводил час-другой за чтением одного из мировых гигантов, а затем частенько брался писать стихи про Атлантиду. Познакомившись тогда на пустой желудок с Возвышенным, я—теперь уже толстый и сытый—больше к нему не возвращаюсь. Но время от времени, разворачивая очередной пакет с новыми книгами, я ощущаю отголоски прежней радости—вот и еще наберется на одну полку. Да и тома шедевров, купленные по шиллингу годы назад, все еще хранятся у меня. Их легко найти: на обратной стороне обложки есть подпись: «Дж. Бойнтон Пристли» (мне казалось тогда, что эта надпись добавляет мне лет, веса, чуточку Возвышенности, а заодно сообщает миру, что книга, лишившая меня пары порций мясного и пудинга, принадлежит мне). А когда я постарею еще больше, то, возможно, захочу наново перечитать именно эти книги и снова возвращусь к серии «Сто лучших книг» и опять увягну с головой в «Калевале».

## 112. ЖЕНЩИНЫ И ИХ НАРЯДЫ

Женщина, уверяющая, что она равнодушна к одежде, так же подозрительна, как и мужчина, которому все равно, что подают на стол,—у них явно не все в порядке. Мужчин же, которые издеваются над нежной привязанностью слабого пола к нарядам, следует прогонять в пустыню. Лично мне суматошные дамские совещания по поводу новых туалетов доставляют самую искреннюю радость. В это время женщины, по-моему, чувствуют себя полностью в своей стихии. Они становятся самими собой: полудетьми, полуколдуньями, и наиболее разительно отличаются от мужчин. Обратите внимание, к примеру, на их предельно трезвый реализм по отношению к себе. Наш брат всегда разглядывает себя сквозь розовые очки. Он просто-напросто не желает поверить, что так пухат или, скажем, так костляв, как утверждают ближние. Женщины от подобных иллюзий свободны. Не менее здраво они оценивают и друг друга. Посему на дамских совещаниях, в отличие от любых мужских совещаний, никакого столкновения иллюзий вы не заметите. Они всегда стоят на твердой почве факта, и все личные недостатки тут же принимаются в расчет: левое плечо Кейт выше правого. Мег широковата в бедрах, у Филлис короткие ноги. Основная, и вполне разумная, идея этих совещаний такова: раз мы несовершенны, то давайте делать все возможное, чтобы исправить положение. (Если бы политики, включая самых влиятельных, придерживались тех же идей на международной арене, они изменили бы мир за неделю.) И все-таки на дамских

совещаниях царит не только жесткий реализм. Душу каждой женщины греет одна великая иллюзия, в которой женщина и не подумает засомневаться. Это святая вера, что благодаря новому платью (если, само собой, тут кое-что ушить, а там кое-что переделать) она станет неотразимой красавицей и для нее откроется дверь в новую, волшебную жизнь. Что касается меня, то я нахожу все это просто восхитительным.

## 114. ВЕРНУТЬСЯ К НАЧАЛУ

Когда, дорогой читатель, пробьет наш последний час, мы либо навеки уснем, либо начнем существование в ином мире. Я не боюсь ни того, ни другого. Долгие годы одну из самых больших радостей мне доставляли именно те последние минуты дня, когда сознание потихоньку угасает, уплывая в сон (тем более радость, что засыпаю я, как правило, с трудом). Перспектива чего-нибудь нового тоже неизменно вызывала у меня радостное волнение: надежда на новый день, новую жизнь, на еще одну попытку, на капельку чуда, ожидающего утром где-нибудь за углом. К тому же я не так добродетелен, чтобы надеяться на рай, но и не так уж грешен, чтобы угодить в ад; я, видимо, окажусь где-то посередине, и тамошнее место и компания вряд ли будут совсем уж незнакомыми. Поэтому тут все в порядке: ни вечного сна, ни иного мира пугаться не имеет смысла. В жизни, правда, я иногда труслив как заяц—боюсь собак, лошадей, грозы, самолетов, ну а смерть меня не очень-то пугает. Даже нужно, чтобы в конце коридора висела эта ее черная бархатная завеса—на таком фоне ярче виден каждый отблеск радости. Например, фонтаны. Без радостного волнения я никогда не мог любоваться даже самыми маленькими из них... *Вот мы и вернулись к началу!*

# Вопиющий в пустыне (1957)

## ВТОРАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

На днях, читая вступление к «Speculum Mentis»<sup>1</sup> Коллингвуда, я обратил внимание на следующий отрывок: «Картины, статуи, стихи и струнные квартеты пользуются неизменным спросом именно из-за их низкого качества, ведь потребитель не покупает лучшие вещи, потому что не в состоянии оценить их. Пусть всякий, кто сомневается в этом, пойдет на выставку и собственноручно убедится, на каких картинах проставлена пометка «продано»...» Написаны эти слова больше тридцати лет назад. Что касается меня, то за последние десять лет я побывал на очень многих выставках и всегда был готов купить картину, которая мне особенно понравилась. Могу сказать, исходя из собственного опыта, что на любой выставке, если только это выставка-продажа, через несколько дней распродаются как раз самые лучшие, а не худшие картины. Со времен Коллингвуда покупатель изменился. Возможно, у него стало меньше денег, зато гораздо больше вкуса и понимания. По существу, произошла революция, которую, насколько я знаю, не предвидел ни один социолог и которая даже теперь заслуживает больше внимания, чем ей уделяется. Думаю, мы сэкономим немало времени и нервов, если постараемся разобраться, что же все-таки произошло и продолжает происходить до сих пор.

Не берусь сказать, что делается в других странах, но твердо убежден, что у нас, англичан, обострилось зрительное восприятие, зато нам явно отказывает литературное чутье. Еще много лет назад я заметил, что мои собственные дети гораздо больше интересуются внешней стороной жизни и меньше увлекаются чтением, чем я в их возрасте. Тогда мне не пришло в голову, что в восприятии, быть может,

<sup>1</sup> «Зеркало разума» (лат.).

происходят какие-то сдвиги. Теперь я уже уверен: то, что произошло в моей семье, происходило и в тысячах других. Результаты этих перемен дали о себе знать в послевоенные годы. Все, что апеллирует к глазу, немедленно вызывает живейший интерес. Крупные выставки, как мы уже имели возможность убедиться, сразу же привлекают огромное число людей. Исправно посещаются выставки и поскромнее, если только они достаточно представительны. Издается и распродается все большее число художественных альбомов, несмотря на их высокую цену. Выпускается все больше книг, в которых текст сводится лишь к подписям под фотографиями. Неизменным спросом пользуются популярные иллюстрированные журналы. Как хорошо известно рекламодателям, люди предпочитают картинку тексту. Визуальные потребности удовлетворяются в первую очередь. Тот метод, что раньше практиковался в основном в детских садах, теперь распространился повсюду, используется в самых разнообразных целях.

Послевоенное искусство — лишнее тому подтверждение. В балете танцуют под музыку, но в первую очередь он все же радует глаз, и популярность балета неизменно растет. (Даже здесь, на острове Уайт, где мы безнадежно отстали от моды, единственным окупающимся импортом местного совета по искусствам является балет — довольно, впрочем, низкого качества.) Балет на льду, который приносит баснословные прибыли, не гнушается посредственной музыкой и бессмысленными словами, но задуман, разумеется, главным образом как зрелище. Чтобы хоть как-то выжить, современный театр, особенно в крупных постановках, уже давно вынужден звать к зрительному восприятию, не слишком заботясь о наших мыслях. Наиболее преуспевающие театральные режиссеры делают упор на визуальный эффект, как будто ставят балет, а не драму. Больше всего страдают от этого шекспировские спектакли, в которых постановщики зачастую жертвуют замечательными стихами ради пышных массовок и броских клоунад. Такое впечатление, что Великого поэта используют теперь, словно веревку для сушки белья. Сегодняшние постановщики Шекспира, которых, судя по всему, мало интересуют слова его пьес, готовы пренебречь и всем остальным.

Возможно, за последние несколько лет интерес к кино как к главному, вседоступному развлечению, несколько спал, однако как повседневный досуг, как зрелище, созданное совместными усилиями режиссера и оператора, оно привлекает все больше молодежи. Об этом свидетельствует популярность Британского института кинематографии и сотен его местных филиалов. Прямо с балета юные лондонские интеллектуалы несутся в кинотеатры Уэст-Энда, если там идет фильм, получивший высокую оценку самых придирчивых

критиков, из тех, кто занимается визуальными формами искусства. Этих молодых людей не встретишь на спектакле, лишенном внешних эффектов, каким бы оригинальным и интересным он ни был. Им больше не нужны слова и идеи, даже если это слова и идеи Элиота и Фрая. Удовлетворения, насыщения требуют в первую голову визуальные чувства, зрителю нужны предметные образы, по возможности красивые и значительные, но на худой конец — какие угодно.

Обратимся напоследок к телевидению — «большой кормушке», как принято теперь выражаться в мире кино. Показательно, что вокруг радио, даже в лучшие его времена, никогда не поднималось столько шума, как вокруг телевидения. Достаточно два раза успешно сняться в передаче «Кто ваш отец» — и вас отнесут на руках с Лайм-Гроув в ресторан «Каприз». Вот он, весело пялится на нас, гигантский глаз телеэкрана! Нажмите на кнопку — и в квартиру ворвется мир. Вы можете, конечно, услышать слова и музыку — без музыки, могу вас обнадежить, не обходится нынче ни одна передача, но спросите любого режиссера на телевидении, к чему он стремится любой ценой. Пощекотать визуальные чувства телезрителя, в первую очередь угодить глазу. А ведь учтите, телевизоры, стоящие у нас на ковре перед камином, пока что далеко не совершенны: будут и новые передачи, и большие экраны, и цветное изображение, и идеальная видимость — все еще впереди. А поскольку главная задача телевидения — угодить глазу, оно и в дальнейшем будет уделять повышенное внимание тем событиям внешнего мира, которые действуют на наше зрительное восприятие. Дети уже стали рабами телевизора, а потому сейчас растет (будем надеяться, только физически) новое поколение зрителей, а не читателей и слушателей. Если только со временем не возникнет резкая реакция — ведь человек сродни маятнику, — то зрительное восприятие окончательно возобладает над остальными чувствами. И тогда человечество, можно сказать, «сыграет в ящик».

Если рассматривать картины и фотографии, смотреть балет, фигурное катание, фильмы и телевизионные передачи, то читать, уютно устроившись в кресле, уже невозможно. Более того, когда кругом так много шума, вообще нелегко сосредоточиться, уйти в себя. Отыскать укромное местечко в тишине теперь стало гораздо сложнее, чем раньше. (Рано или поздно иным из нас придется обзавестись аппаратом, который смог бы включать тишину вместо звука.) В самом деле, многие современные молодые люди настолько привыкли к шуму, что если в комнате наступает тишина, то она кажется им такой зловещей, что приходится — исключительно из чувства самосохранения — включать радиоприемник или проигрыватель. Литература в такой атмосфере развиваться не может. Этому противятся все наши духовные привычки и

установки. Внутренние потребности не развиваются. Исчезло чувство слова, вера в его магическую силу. Почти совсем не ощущается интерес к идеям, которые также во многом способствуют развитию литературы. (Педагоги, особенно в Америке, обратили внимание на то, что неумение учащихся мыслить абстрактными категориями во многом вызвано увлечением наглядными методами преподавания.) Таким образом, отсутствуют необходимые предпосылки для формирования истинного читателя. Забыто волшебное слово, некогда открывавшее сказочную пещеру с сокровищами.

В создавшейся ситуации некоторые критики, на мой взгляд, приносят больше вреда, чем пользы. Я имею в виду тех из них, которые смотрят на происходящее свысока, с некоторым даже презрением, изображая из себя суровых богословов и великих инквизиторов от искусства. С непрекращаемым апломбом, от которого трепещут студенты и приходят в негодование их родители, они во всеуслышание заявляют, что Литературой могут считаться лишь несколько книг всего нескольких тщательно отобранных авторов, все же остальное—чужь, на которую нечего тратить время. (Опусы самого критика, надо полагать, являются исключением.) Так, Стендаль—это Литература, а Дюма—нет: Генри Джеймс—Литература, а Уильям Джейкобс—нет. Ни к чему хорошему такой снобизм не приводит. Разумнее было бы предположить, что все написанное, за исключением произведений чисто информативного характера, то есть стихи, романы, очерки, даже критические статьи—это Литература, которая может быть ужасающей, а может быть прекрасной и даже великой. Молодой человек, который увлекается Дюма, может со временем полюбить и Стендаля. Если читать Джейкобса, художника по-своему оригинального, то можно дорасти и до Джеймса. Многие из тех девушек, которые в пору моей молодости получали в подарок на рождество или на день рождения переплетенного в мягкую кожу «Омара Хайяма» Фицджералда, впоследствии стали читать и раскупать более современных поэтов, в результате чего поэзию стали широко издавать самые крупные издательства. Литература не умрет до тех пор, пока есть читатели, берущие в руки самые разные книги. Именно когда чтение как таковое оказалось под угрозой, когда мы стали потворствовать более доступным визуальным искусствам,—у нас, на нашу беду, появились критики, которые в большей степени стараются предостеречь людей от чтения, чем поощрять любовь к нему. Такие критики становятся союзниками внешнего, а не внутреннего восприятия. И если теперь они потрясены тем успехом, какого добились—отчасти за счет литературы—зрелищные искусства, то сами в этом виноваты: кто как не они способствовал тому, чтобы отвадить людей от книжных магазинов?

Книги, разумеется, продолжают выходить, причем в огромных количествах, число издателей почему-то растет день ото дня, отчего все громче звучит громкоголосый хор разорившихся. Вместе с тем нельзя отрицать, что теперь мы ведем себя недостойно литературной нации. Теперь книги и их авторы занимают в нашей жизни гораздо меньше места. Сам по себе интерес к книгам, не говоря уже о былой страсти к чтению, не тот, что был прежде. (Дилан Томас, например, прославился не столько своей жизнью и книгами, сколько безвременной кончиной.) Теперь парижская атмосфера покажется английскому писателю весьма непривычной, ведь Париж, в отличие от Лондона, по-прежнему остается литературной столицей. Сартр, не будучи писателем первой величины, способен вызвать больше волнения на берегах Сены, чем все английские писатели, вместе взятые, даже если они в одних подштанниках будут маршировать по набережной Виктории, отчаянно взывая пусть не к литературному, но хотя бы к зрительному восприятию публики. Революция, происходящая в нашем обществе, отчасти вызвана и безжалостной травлей образованного среднего класса, который долгое время был основным создателем и потребителем литературной продукции. Если бы сильных мира сего фотографировали с книгой в руках, а не верхом на скаковой лошади, магнаты и тред-юнионисты — главные политические силы нашего народа, решили бы, что эти фотографии не передают духа нации. Бородатые молодые люди и неопрятные девицы с конскими хвостами — все, что осталось от среднего класса, — соблазнились визуальными развлечениями, они ждут, чтобы их жизнь нашла свое отражение в новых формах искусства, они забывают древнюю магию слов, не испытывая ни малейшего интереса к отвлеченным идеям. Иногда мне кажется, что увлечение визуальным искусством сознательно поощряется (традиционное искусство субсидий не получает), ведь в этом случае с молодежью гораздо проще иметь дело. Любопытный глаз менее расположен к бунту, чем пытливый ум. Любители киномонтажа, балетоманы и поклонники «Одинокой песни на льду» ни за что не подымутся на баррикады. (А если издатели полагают, что есть еще пытливые люди, то почему бы не посадить для острстки парочку таких людей на скамью подсудимых? Припугнуть их прокурором, оштрафовать или бросить за решетку? Чему-нибудь это их да научит!) А пока что мы, писатели, должны считаться с этой революцией как со свершившимся фактом. Не исключено, что в самом скором времени нам придется зарабатывать на жизнь, стирая друг у друга белье. Впрочем, все лучше, чем вгрызаться друг другу в глотки.

## КТО ПРОТИВ АМЕРИКИ?

Рецензии на «Путешествие по радуге» в основном оказались доброжелательными, если не считать, разумеется, анонимного разноса в «Таймс», и тем не менее многие рецензенты в очередной раз упрекают нас в нападках на Америку. Уверяю вас, что нападать на Америку совершенно не входило в наши планы, о чем, кстати, говорится в самом начале книги. В главах, написанных мною, анализируется и критикуется экономическая, социальная и культурная система, которую я называю «реклампотребом». Но реклампотреб и реклампотребитель—это вовсе не синонимы Америки и американцев, и даже Техаса и техасцев, на что я также предусмотрительно обратил внимание читателей. Американцы сами постоянно выступают с резкой критикой реклампотребля. Во многих американских изданиях принципы и ценности реклампотребля подвергаются сомнению, насмешке и порицанию. Знаю я об этом потому, что читаю многих современных американских авторов, чего желаю и нашим критикам, которые, судя по всему, не читают даже те современные английские книги, что присылают им на рецензию издатели.

С другой стороны, как я отмечал в нашей книге и о чем мне уже не раз приходилось писать в этой рубрике, реклампотреб существует и за пределами Америки. Правда, по ту сторону Атлантики мы сталкиваемся с наиболее масштабными и уродливыми формами этого движения, однако и другие страны делают все, чтобы не отстать. Послевоенная Британия—одна из самых процветающих колоний реклампотребля. Банкет, который состоялся на прошлой неделе в Гилдхолле в честь открытия коммерческой телевизионной программы, был абсолютным реклампотребом от начала до конца. Одна из причин, отчего мы так носимся с монархией, заключается в том, что она оказалась где-то посередине между традиционной Британией и новой Британией реклампотребля, между портретом коронованной особы и «Дейли скетч». Как я уже говорил, мы, англичане, находимся в более опасной ситуации, чем американцы, поскольку многие из нас (а рецензенты—все без исключения) опасности не сознают. Нам почему-то кажется, что раз мы ходим в такие клубы, как «Атенеум», «Бифштекс» и «Гаррик», посещаем Лондонскую библиотеку, носим идеального покроя сорочки и рассчитываем удостоиться почетного звания Придворного Постельничего, значит, мрачные джунгли реклампотребля находятся от нас как минимум на расстоянии Нью-Йорка.

Такие рецензии только упрочат репутацию американофиоба, которой я пользуюсь на протяжении уже более четверти века. Ведь в обществе на меня возложена роль «Человека, который не любит Америку». Только у себя дома, в кругу



многочисленных американских друзей, я имею возможность выйти из этой роли. В течение двадцати лет американские репортеры, безуспешно пытаясь заставить меня сказать что-нибудь грубое про их страну, придумывают оскорбительные замечания, отдающие сильным антиамериканским духом, и приписывают их мне. Я считаю Гилбертом Хардингом англо-американских отношений. Присутствующие на званых обедах, будь то в Лонг-Айленде или в Санта-Монике, всякий раз поражаются, когда я оказываюсь не в состоянии оскорбить сидящих за столом. В моих самых заурядных, бодрых комплиментах пытаются отыскать злую иронию. В комических преувеличениях моих путевых очерков читателям слышатся злобные выкрики и гневный ропот. И при этом — что само по себе забавно — никто не дал себе труда задуматься, почему же человек, который так ненавидит и поносит Америку, постоянно ездит туда, не жалея ни времени, ни денег.

На это, впрочем, какой-нибудь циничный умник незамедлительно ответит, что я попросту практичный малый (что неверно), который ездит в Америку в погоне за долларом. Но этот умник глубоко ошибается, он сильно отстал от жизни, ведь американцы уже давно перестали платить приезжим за то, что те ругают их страну. Теперь на репутации американофоба много не заработаешь. Во всяком случае, частые поездки в Америку таким образом не окупятся. В действительности все обстоит гораздо проще: я езжу в Америку не только по делам, но и потому, что люблю там бывать. Я, разумеется, критикую и ворчу, но в основном оттого, что полюбил эту страну, ее народ и чувствую себя в Америке почти как дома. Ведь у себя на родине, среди своих соотечественников, я критикую и ворчу еще больше. Не стану же я ругать Афганистан и Патагонию, боливийцев и албанцев — я их не знаю и мне до них дела нет. Америку же я знаю и люблю.

Начнем с того, что я лучше знаю эту страну, чем большинство американцев. Я постоянно углубляю свои познания в американской истории и литературе. Я считаю себя другом этой нации, а потому отношусь к ней с интересом, заботой, а в случае необходимости и с чистосердечной критикой, свойственной друзьям. Я имею в виду не ту Америку, какую мы знаем по комиксам, статьям экономистов и политических обозревателей, по статистическим таблицам или же заявлениям таинственных официальных лиц, одним словом, не абстрактную Америку. Я знаю и все больше привязываюсь к живой Америке, стране, где живут живые люди. Я люблю Центральный парк воскресным утром, подернутые сумерками волшебные башни Нью-Йорка, белые деревни, рассыпанные по огненно-красным осенним лесам Новой Англии. Я люблю величественные реки, по которым

мне приходилось столько раз плыть; ночные поезда, которые оглашают своим тоскливым воем огромные печальные равнины; раскаленное солнце, пряный аромат и прозрачный воздух пустыни, на горизонте которой протянулись фиолетовые горные цепи; гигантские деревья, за которыми поблескивают подернутые рябью безбрежные воды Тихого океана. Люблю всех тех людей (или большинство из них), с которыми пришлось говорить, есть, пить, ругаться и целоваться на земле, растянувшейся на три тысячи миль. Я могу говорить и писать, как американец. На худой конец, если бы за мной гналась полиция, я мог бы даже притвориться американцем.

И вот что еще забавно. Среди нас есть и такие, кого никогда не заподозришь в антиамериканизме, наоборот, в Америке их ценят за дружбу. А между тем многие из них — как раз те самые люди, которые втайне ненавидят эту страну, не переносят ее народ. Им было бы совершенно безразлично, сомкнись завтра воды Атлантического и Тихого океанов над Канзас-Сити. Они не любят Америку, а лишь заискивают перед ее богатством и мощью, американцев они терпят лишь постольку, поскольку те нужны им. Их публичные высказывания в расчете на американские подачки не имеют ничего общего с тем, что говорится в личной беседе, в том числе и с автором этих строк. Если бы богатство, сила, влияние перекочевали с северной части американского материка в южную, эти люди превозносили бы на банкетах не Соединенные Штаты, а Аргентину и Бразилию. Но истинная дружба проявляется не в пустых комплиментах и славословии, а в постоянном интересе и в искренней заботе, которые порой требуют прямоты. Слабость нынешнего положения Америки, к которой мы относимся словно к новоявленному миллионеру, только что объявившемуся на старомодном курорте, состоит в том, что истинную дружбу к ней доказать нелегко. Эта страна производит слишком неоднозначное, противоречивое впечатление, в результате чего американцы очень часто сами толком не знают, кто же их настоящие друзья.

Есть и еще одна сложность. Все мы (и прежде всего сами американцы) с недавних пор почему-то вообразили, будто мир политической интриги, газет и радио, общественных отношений и пропаганды, мир комиксов — это и есть реальный мир. Следуя такой извращенной логике, если нам не нравится, как государственный департамент решает германскую проблему, значит, нам не нравится вся Америка, и мы уже не хотим любоваться ее алыми кленами, громадными реками, равнинами, пустынями, побережьем Тихого и Атлантического океанов. Это значит, что все без исключения сто пятьдесят миллионов человек, населяющих эту страну, нам глубоко противны. Если мы не согласны с Ричардом Никсоном, с той или иной группировкой американских сенаторов,

с «Ридерс дайджест», «Таймом», «Сатердей ивнинг пост», с газетной империей Херста и с Уэстбруком Пеглером, значит, больше мы никогда не сможем себе позволить выпить бокал мартини в «Кофи-хаус», пойти послушать Бостонский симфонический оркестр или взглянуть на пустыню с самой высокой точки Санта-Фе. Представьте себе, что я не пожелал впустить в дом приехавших ко мне в Олбани друзей из Нью-Йорка, пока не убедился, что они целиком поддерживают британскую политику на Кипре и являются горячими поклонниками Идена, Батлера и Макмиллана. Подобное допущение наверняка покажется читателю верхом идиотизма, а между тем многие антиамериканские высказывания, рассыпанные по нашим периодическим изданиям, обоснованы ничуть не лучше.

Взять хотя бы этот журнал. Своими антиамериканскими настроениями он хорошо известен, в американской прессе я встречал на него массу ссылок. И что же это значит? Только то, о чем я уже говорил: этому журналу по вполне понятным причинам не нравятся многие американские политические идеи и концепции, которые, впрочем, вызывают не менее резкую критику и у самих американцев. Но это вовсе не значит, что журнал издается мужчинами и женщинами, которые питают неприязнь к самой Америке, к американской идее как таковой; которые сожалеют, что Америка победила в Войне за независимость, а Ли не одержал верх над Грантом; которые презирают американские обычаи, привычки, нравы, манеру говорить, которые переходят на другую сторону улицы, когда видят американца; которые не желают признавать решительно ничего американского и которые в глубине души считают Америку и американцев своими врагами. В таком случае они и впрямь были бы настоящими американофобами. Людей, которые ненавидят Америку (в том числе и славных представителей своей профессии), мне доводилось встречать и в Лондоне, и в Париже, и в Риме, и во многих других местах—только не в редакции этого журнала, и я что-то не припомню, чтобы в американской печати о работниках журнала отзывались как об американофобах. Словом, камни, как всегда, летят не в тот огород.

Когда миссис Смит говорит мистеру Смиту, что ему нужно выгладить брюки и постричься, никому не придет в голову обвинить миссис Смит в ненависти к мистеру Смиту. А ведь я прожил в Америке больше времени, чем в любой другой стране, если не считать Англии; больше, чем в Шотландии, Уэльсе, Ирландии. И в Америке у меня больше друзей, чем в любой другой стране, кроме Англии. Если бы меня выслали из Англии, я бы, наверное, подался за океан, при условии, конечно, что американцы согласились бы принять меня. Я искренне привязан к этой стране, а потому, не колеблясь, критикую ее. Когда я разговариваю по душам с

приятелем, он, надо думать, ждет от меня всей правды, а не дежурных комплиментов. Мне многое не нравится в американской жизни—как, впрочем, и в английской. Но если в «Путешествии по радуге» я критикую реклампотреб, то вовсе не потому, что реклампотреб родился в Америке и я хочу в очередной раз поддеть янки. С критикой реклампотребы я выступаю только потому, что считаю эту тенденцию недостойной Америки, ее народа, той поразительной, уникальной в истории революционной идеи, какую эта страна олицетворяет. Американская нация возникла из благородной мечты. И если помнить об этой мечте (которую, как жжется, подзабыли многие проамериканцы) означает быть американофобом, тогда я и в самом деле против Америки.

## ЕДИНОРОГ

Мы проигрываем, потому что ставим на Льва, а не на Единорога. Мы забываем, что Лев— существо брренное, когти его притупились, клыки пообломались, зрение с возрастом ослабло, он потерял скорость и прыгучесть, захирел, стал жалок и немощен по сравнению с орлами, парящими в небе, и медведями, которые с ревом вылезают из своих громадных зимних пещер величиной с ель. Мы слишком долго держали его в неволе. Он обленился, засиделся за решеткой. Если он и рычит, так только потому, что проголодался, своим ревом он больше не вселяет ужас в своих и наших врагов. К нему спокойно подбегают самые жалкие зверьки, дергают его за хвост, издевательски визжат, возятся и скачут под тоскливым взглядом его желтых глаз. Теперь, когда он так сдал, укрощение Львов воспринимается как избитый трюк и больше не пользуется популярностью. Все это мы знаем, но продолжаем по привычке ставить на него деньги— и постоянно проигрываем.

Даже теперь мы не рискуем ставить на Единорога— этого диковинного существа, который в одно прекрасное утро проник на наш герб по недосмотру членов геральдической палаты. Какой-то недоумок, впоследствии уволенный без пенсии, распахнул калитку, которая не значилась ни на одном плане палаты, и выпустил это сказочное чудовище. Мы терпим его, ведь он, что ни говори, погожим летним днем выглядит довольно мило, да и дамы (благослови их бог!) всегда питали к нему слабость,— но ставить на него большие деньги, нажитые в Сити, даже когда коэффициент ставок явно в его пользу, мы, конечно же, не решаемся. Времена нынче трудные, нужно быть осмотрительным, а потому самые крупные суммы по-прежнему тратятся на старого, бедного Льва. Все солидные, осторожные люди говорят в один голос: если уж ставить, так только на Льва. В результате все та же пустота, все тот же мрак, в котором время от времени

призрачным светом вспыхивают какие-то кошмарные лица. И мрак этот сгущается с каждым днем.

Мы предпочитаем не вспоминать, что Единорог, как существо потустороннее, не подвержен разрушительному ходу времени. В отличие от Льва он так же молод, как и прежде; так же быстр и силен, у него такой же зоркий глаз, такой же мощный и разящий рог, что и много веков назад. Он был и остался волшебным существом. Заколдованное царство, которое он олицетворяет, быть может, большинством из нас забыто, но оно есть, оно ждет только, чтобы мы его вновь для себя открыли. Конечно, если мы утратили веру в Единорога, если в душе боимся его, если нарочно притворяемся, что его нет с нами,— тогда он не сможет помочь нам, ибо останется неподвижным и бессильным до тех пор, пока мы не произнесем волшебное слово, которое освободит его от чар. Очень может быть, мы так никогда и не выговорим это слово, заявим даже, что не помним его, ведь нам теперь кажется, что магия волшебных слов больше не действует. Многие из нас, островитян, верят теперь в совсем другое, мрачное колдовство, не имеющее ничего общего с Единорогом и всем тем, что он собой символизирует, и чем больше мы покоряемся этому колдовству, тем сильнее оно на нас действует.

Околдованные этими дьявольскими чарами, задуманными, возможно, чтобы превратить нас в социальное ничтожество, мы падаем ниц перед огромным цементным алтарем всего прозаичного, нетворческого, неинициативного, неизобретательного. Мы поклоняемся унылому конформизму. Нас устраивает только все самое скучное, мы доверяемся только одним занудам. Творческих личностей, людей с фантазией, по нашим понятиям, следует старательно избегать, и недалек тот день, когда эти люди вынуждены будут выбирать между ссылкой и тюрьмой. Оригинальность, интуиция, энтузиазм мешают нашему продвижению в обществе. Солидный человек— наш идеал!—никогда не станет на пути торжествующих тупиц. Никакого риска, никаких глупостей! Под руководством благоразумных, надежных людей, идущих по проторенной тропе, мы на ощупь двигаемся от одного несчастья к другому. Добропорядочность, здравый смысл гасят любые проблески надежды. Загипнотизированные сгущающимся мраком, мы слышим, как в ратушах, банкетных залах, на радио и телевидении раздаются авторитетные голоса: «Господин председатель, друзья, коллеги-лунатики, надеюсь, что сегодня вечером я буду столь же скучен, невыразителен и напрочь лишен творческого порыва, как и в последний раз, когда я имел честь выступать перед вами...» И погружившись в этот кошмарный сон, мы забываем, что у нас еще есть Единорог.

И тут мы подходим к нашему главному, самому парадок-

сальному заблуждению. Мы, островитяне, хотим поразить мир. Мы могли бы тратить время, силы, деньги, чтобы оказаться в том положении, когда безразлично, потрясен мир или нет (в этом случае мы и в самом деле произвели бы неизгладимое, сногшибательное впечатление). Мы же избрали другой путь и делаем все от нас зависящее, чтобы любой ценой поразить мир. По нашему разумению, все люди планеты должны во весь голос кричать: «Да здравствуют островитяне!» Но мы что-то не слышим этих восторженных криков. Об этом сетуют в своих выступлениях члены парламента, сокрушаются авторы газетных передовиц. Но мир почему-то не желает серьезно к нам относиться, он лишь пожимает плечами, презрительно хмыкает, посмеивается, громогласно хохочет. Самые солидные, в высшей степени респектабельные джентльмены демонстрируют миру нашего знаменитого старого Льва — но все напрасно. «Пожалуйста, взгляните,—упрашивают они публику,—это наш Лев. Понимаете, Британский Лев. Тот самый, о котором вам рассказывали в школе. Он, и никто другой. Если хотите, можете похлопать его по спине, только будьте осторожны. Пожалуйста, перестаньте бросать в него апельсиновые корки. Нет-нет, только не уходите! Смотрите, он разевает пасть. Сейчас зарычит. Зевает? Ну и что, стойте, не торопитесь уходить, друзья. Ровно через минуту член парламента от Подбери-Пенс, уже успевший с самой лучшей стороны зарекомендовать себя, положит голову Льву в пасть. Скажите хоть слово, и директор автомобильной компании «Чудо жести» — он вот-вот появится — проедется верхом на Льве. Что, не хотите? Ну знаете, вам не угодить!» Но все уговоры бесполезны. Номер со Львом не удался.

Но неужели нами, островитянами, никто больше не интересуется? Неужели мы не заслуживаем хотя бы одобрительного шепота, уважительного взгляда? В этом-то и заключается парадокс сложившейся ситуации. Последние одиннадцать лет я довольно много путешествовал, и повсюду, от Копенгагена до Куэрнаваки, от Тбилиси до Токио, происходило примерно одно и то же. Уже поздно вечером, после нескольких рюмок виски, водки, шнапса, сакэ, текилы или любого другого напитка, который пьют в тех краях, местные жители говорили, что мне посчастливилось жить в стране с благороднейшим из существ, к которому они питают глубочайшее уважение и необычайное восхищение. «Вы имеете в виду Льва?» — радовался, хотя и удивлялся, я. Мой вопрос неизменно вызывал бурю возмущения: «Кому нужен ваш Лев?!», «Кончайте с этим Львом!» Нет, нет, мой остров, оказывается, известен вовсе не Львом, а несравненным Единорогом. «Вот это зверь так зверь, дружище!», «Мы приветствуем в вашем лице Британского Единорога, товарищ!», «Вы должны им гордиться, уважаемый коллега!» И

после еще двух рюмок того напитка, какому в тот вечер мы отдавали должное, они признавались, что в их странах теперь не найти существа, который был бы таким старым и вместе с тем вечно молодым, таким непреходящим, таким неотразимым в своих чарах. А мы, островитяне, понимаем, как нам повезло?

Если только мне не очень хотелось спать, я, как настоящий патриот, делал вид, что мы преисполнены радости от сознания того, как нам повезло. Я давал понять своим собеседникам, что премьер-министр, министр финансов и все ответственные работники его аппарата, лорд-хранитель печати, лидер оппозиции, архиепископы, председатели крупнейших промышленных объединений и синдикатов, министерство угольной промышленности и другие министерства, да и вообще все сильные мира сего преклоняются, все как один, перед Единорогом. Я подробно описывал, как мы балуем это прелестное создание, сгибаемся под тяжестью налогов, лишь бы он был сыт и счастлив. Не мог же я в такое позднее время, в такой далекой стране открыть горькую и нелепую правду: мы так много времени и сил уделяем дряхлому, убогому Льву, кормим его, холим, лелеем, что Единорога почти не замечаем. Не мог же я признаться, что некоторые из моих влиятельных соотечественников, хотя у них и хватает ума подозревать о существовании Единорога, боятся и ненавидят его, надеясь про себя, что вскоре он умчится навсегда. Не мог же я объяснить, что этим людям спокойнее жить там, где волшебный рог уже больше не отражается в лунном свете. И хотя у меня в ушах звучат самодовольные и испуганные голоса этих людей, я ничего не говорил о них иностранцам, которые теперь восхищаются мною — представителем сказочной земли Единорога.

Я уверен — и все, что я узнаю из газет или по радио, лишний раз убеждает меня в этом, — что Лев нам больше помочь не в состоянии и что спасти нас теперь может один только Единорог. Для нас опять, как бывало в разные времена и раньше, наступил час Единорога. Речь идет, естественно, о геральдическом знаке, о символе воображения, творчества, находчивости, оригинальности и самобытности нашего национального характера. Именно эти качества и их проявление в нашей жизни и культуре всегда вызывали искреннее и глубокое восхищение у всего мира. Мир до сих пор поражается Британией поэтов и художников, дерзновенных ученых и страстных преобразователей общества, мечтателей и безумцев. Если мы хотим произвести на мир впечатление, то лишь Британия Единорога способна на это. Если нашей стране, в чем я убежден, грозит упадок, спасти ее могут только качества Единорога. Если мы и впредь будем подавлять в себе воображение, творчество, изобретательность, пытливість, то мы погибли. А между тем среди наших

государственных мужей едва ли найдется хотя бы один бескорыстный приверженец Единорога, превратившегося в прах. А что еще, собственно, мы можем предложить миру? Ведь Лев вызывает лишь неприязнь и презрение. Некогда грозный рык превратился в сипение, клыки сгнили. О том, чтобы силой подчинить себе далекие страны или хотя бы вызвать их расположение, теперь не может быть и речи. Так что же остается? Торговать? Но и торговать нельзя тупо, по старинке. Даже коммерция должна теперь вестись в духе Единорога. Разве мы более предприимчивы и усердны, чем наши конкуренты? («Не смеши меня, приятель» — как сказал бы американец.) Какие преимущества теперь у наших заводов? Неужели мы научились лучше других удовлетворять спрос взыскательных клиентов? Неужели британские коммерсанты дальновиднее всех остальных? Короче говоря, что у нас есть такого, чего нет у наших соперников?

На этот последний и самый страшный вопрос я могу лишь ответить: *у нас есть Единорог и все, что с ним связано.* Да, это ненадежно; да, это рискованно. Разумеется, мы будем совершать ошибки, может быть, даже придется пересмотреть старые порядки и законы, но ведь это все-таки лучше, чем держать на голодном пайке миллионы людей, которые опять без дела слоняются по унылым улицам, стали жертвами рутины, робкого конформизма, утратили интуицию, смелость, задор. А потому — да здравствует Единорог! Дайте дорогу безумцам, всем тем, кто потерпел неудачу. Оказывайте поддержку ярким личностям, творцам и первопроходцам, даже мятежникам, чудакам и безумцам, всем тем, у кого еще осталось что-нибудь за душой, у кого не все дома, у кого огонь в крови и поэзия в сердце! Теперь или никогда. Вопрос стоит именно так, ведь если мы не поставим против Льва на Единорога, если вновь не превратимся в ярких, творческих, изобретательных людей, — мир, который ждал от нас большего, в скором времени отберет и то немногое, что мы еще имеем. Будущее лишь в том случае будет иметь для нас смысл, если мы вступим в него смело и победоносно — верхом на Единороге.

## ШОУ

Без малого сорок пять лет назад, когда я только начинал вести еженедельную рубрику в «Брэдфордском первопроходце», я познакомился с группой ярых шовианцев, которые только и жили книгами и высказываниями своего Учителя. Когда они смотрели его пьесы, то решительно всё — костюмы, парики и прочее — вызывало у них гомерический хохот. Тогда они казались мне довольно глупыми людьми, да и сейчас я вряд ли переменял бы о них свое мнение. Из-за



них я стал с предубеждением относиться и к замечательному, несравненному Д.Б.Ш., и прошло много лет, прежде чем я наконец от этого предубеждения избавился, да и то не полностью. С Шоу я встречался множество раз, причем не только на заседаниях и званых обедах, но также у него и у себя дома. Хотя нас и объединяла любовь к театру, я никогда не чувствовал себя с ним достаточно непринужденно: он был гораздо старше меня, почти на сорок лет; ни в качестве хозяина, ни в качестве гостя ему никак нельзя было отказать в тактичности, и тем не менее он ясно давал понять гостю, что тот грешит многими слабостями, которых хозяин был начисто лишен; с другой стороны, как мне показалось, и у него имелось два недостатка, от которых, пожалуй, был свободен я: Шоу любил поговорить и покрасоваться. Впрочем, к тому времени он уже утвердился в роли Патриарха; в его прежней и более значительной роли рыжебородого Мефистофеля в костюме от Йегера мне так и не довелось его увидеть, хотя сделать это было совсем не сложно, ведь Шоу часто бывал в Брэдфорде.

По-моему, роль Мефистофеля больше удавалась Шоу потому, что именно в это время и создавались лучшие его произведения. Хотя он и стал чуть ли не символом старости, самые запоминающиеся пьесы были написаны им в зрелом возрасте, в том числе даже «Святая Иоанна» и «Дом, где разбиваются сердца». Последнюю пьесу я считал одно время его высшим достижением, но когда я смотрел ее в последний раз, в третьем акте мы все сидели под гигантской бомбой, и эмоциональное воздействие пьесы показалось мне каким-то несообразным. Эта несообразность отличает и самого Шоу. Когда я был еще мальчишкой, ограниченные люди считали его рисующимся интеллектуальным клоуном, который готов сказать что угодно, лишь бы привлечь к себе внимание. Такое мнение о нем с презрением отвергали даже те, кто, как, скажем, Честертон, резко расходился с Шоу во взглядах. Разумеется, считать Шоу интеллектуальным клоуном абсурдно. И все же в этой точке зрения, как часто бывает в суждениях ограниченных людей, заложена и определенная доля истины. Шоу придерживался самых различных взглядов, но не так, как большинство из нас. Казалось, он никогда не вкладывал в них чувства. Свои идеи он выдвигал и отстаивал бесстрастно. Его самые горячие поклонники объясняют это тем, что Шоу был чуть ли не святым. Его противники, напротив, усматривают в этом некоторое шарлатанство. Ясно лишь, что в отношении Шоу к своим идеям проявляется не только его сила, но и слабость.

Уэллс, которого я знал лучше, был полной противоположностью Шоу. Уэллс всегда вел себя гораздо хуже, чем Шоу: он был излишне нетерпимым, вечно пускался в интриги, то и дело выходил из себя, поносил и оскорблял своих противни-

ков. (Беллок как-то заметил, что Уэллс был хамом и никогда не скрывал этого: Беннет был хамом, который выдавал себя за джентльмена, а Шоу был джентльменом, выдававшим себя за хама.) Сдержанный, добродушный и обходительный Шоу выгодно отличался от вспылчивого Уэллса и в спорах с ним неизменно одерживал победу. И тем не менее я со своей стороны всегда искренне восхищался честностью Герберта Уэллса, его прямодушием, всегда отдавал должное его упрямому стремлению во что бы то ни стало дознаться до истины. Мне всегда казалось, что подкупающим качествам Уэллса Шоу противопоставлял не только личное обаяние, незаурядный полемический дар, но и неискренность, недоговоренность.

Так, Шоу мог выиграть спор о Сталине и Советском Союзе, но при этом именно Уэллс, а не Шоу был ближе к истине, именно Уэллс не шел на сделку с собственной совестью. Когда я читал Шоу или разговаривал с ним с глаза на глаз, мне иногда казалось, что, рассуждая на некоторые темы, он намеренно закрывает глаза на происходящее в мире. Не то чтобы Шоу откровенно кривил душой, просто в пылу полемики он не желал считаться с реальными фактами. Он мог, к примеру, выступать в поддержку диктаторов и даже восхищаться ими, тогда как сам ни за что не смог бы мириться с их тиранией. Он мог увлеченно поддерживать «ликвидацию» антисоциальных элементов, словно речь шла всего лишь об исключении этих людей из летней школы. Для него это были не живые люди, которые кричат от боли и обливаются кровью, а вымышленные персонажи, действующие лица, не занятые в третьем акте.

У меня создавалось впечатление, что для Шоу жизнь кончилась 1914 годом. Порой казалось, он уговаривает себя, будто все мы до сих пор живем в эдвардианском мире отвлеченных дискуссий, когда тот самый оратор, что еще совсем недавно до хрипоты спорил с вами с трибуны, через несколько дней как ни в чем не бывало с улыбкой протягивал вам руку в гостях. В то радостное, безмятежное время было забавно послушать остроумного ирландского социалиста, даже если вы не верили ни одному его слову. Но позднее все переменилось. На смену старому миру пришел новый мир, мир паспортов и виз, тайной полиции и таинственных исчезновений, концлагерей и газовых камер. Изменения затронули даже Англию. Социализм перестал быть чудачеством, он стал угрозой. Д.Б.Ш. просто повезло, что к тому времени он был уже почтенным стариком и избежал грубых нападок и изощренной клеветы, свойственных новому времени.

В том, как Шоу решал не отвлеченные, а сугубо бытовые проблемы нашей жизни, по-моему, есть что-то неискреннее и двусмысленное, особенно если вспомнить нелепое поведение

его многочисленных последователей. Он притворялся, например, что его нисколько не занимают вопросы пола, как будто секс—это выпиливание лобзиком или собирание марок, тогда как на самом деле он просто закрывал на эту проблему глаза. Такое притворство самым пагубным образом отразилось на некоторых его пьесах. Его старообразным энергичным героиням очень не хватает стриндберговских концовок. Что же касается его стандартных кошечек, от Клеопатры до Ориинти, то они всего лишь рисованные куклы, в которых нет ничего живого. Не удивительно поэтому, что самая выигрышная роль, которую он создал для актрисы, была роль Жанны д'Арк.

Все это, несомненно, отрицательно сказалось бы на драматургии Шоу, если бы не его поразительное умение использовать в большинстве пьес не только сильные, но и слабые стороны своего дарования. Сугубо оригинальное выражение взглядов, оптимистическое видение мира позволили Шоу создать свою собственную комедию, которая выдвинула его в один ряд с крупнейшими драматургами мира. Правда, комедия Шоу светит, но не греет. Его искрометное показное остроумие грохочет, ослепляет, бьет—но не задевает. За разящими выпадами действующих лиц простирается, словно безмятежный пейзаж, на фоне которого происходит кровавое сражение, безграничное добродушие автора. С самого начала проявив себя блестящим полемистом, Шоу воплотил свой дар в комедии споров, этой моцартовой опере остроумных дискуссий. И я совершенно не преувеличиваю, он писал именно оперы, а не обычные пьесы, которые ругал, как критик и не принимал как читатель. Он сам рассказывал мне, что почти всегда начинает писать пьесу, еще не зная, чем она кончится; что своих героев он не видит, а слышит—сначала дуэт, затем трио и, наконец, весь ансамбль. Такой метод, наряду с отсутствием тонких оттенков и настроения, значительно облегчает задачу репертуарных трупп, которые именно поэтому так часто в спешке обращаются к драматургии Шоу. Достаточно лишь разучить роли, один раз прогнать текст—и спектакль готов.

Попробуйте репетировать Чехова в таком же ураганном темпе, и вам никогда не передать того, что хотел сказать русский классик. Все дело в том, что эти два драматурга, лучшие в XX веке, не имеют между собой ничего общего. И вот что любопытно. Не изысканный, неуловимый Чехов, а простой, прямолинейный Шоу оказывает на нас пагубное влияние. Влияние Чехова не повредило еще ни одному драматургу. Зато влияние Шоу сродни поцелую смерти—после него не выживал никто. И объяснить это не составляет труда. Чехов открыл новый драматический метод, в то время как пьеса Шоу—это сугубо личный *tour de force*<sup>1</sup>, который

<sup>1</sup> Ловкий трюк (*фр.*).

совершенно невозможен без его уникальных стиля и темперамента. Я никогда не замечал, чтобы Бернарда Шоу по-настоящему интересовал драматический метод. Правда, очень может быть, к тому времени, как мы познакомились, ему уже успел надоест театр. Шоу издевался над содержанием пьес, о которых писал в «Сатердей ревью», что, впрочем, вовсе не мешало ему самому впоследствии заимствовать из них самые избитые приемы. Если он чувствовал, что сцена затянута, то отвлекал зрителя зрелищем великолепного мундира или маскарадного костюма. Его нарочитое шутовство, в отличие от исключительного остроумия, бывает порой просто утомительным.

Кем бы ни был Шоу—святым или шарлатаном, он прежде всего был ирландцем, а не англичанином. Все то, что на кокни или на ланкаширском диалекте звучит вызывающе, на богатом, мягком ирландском броуге покажется всего лишь прелестной, добродушной шуткой. Его полемические приемы, нередко бывавшие оскорбительными, восходили к дублинской традиции. В соответствии с этой же традицией Шоу воспринимал общественную деятельность как своего рода спектакль, в котором, помимо него, были заняты такие «звезды», как Уайльд, Джордж Мур, Йейтс, «АЕ», Джеймс Стивенс. Подобно чеховскому Гаеву, Шоу был «человеком восьмидесятых годов», хотя и с эдвардианским налетом. Впоследствии, хотя он и оставался с нами, но нашему времени уже не принадлежал. Его желание прожить долгую жизнь, как и у героя назидательной сказки, сбылось, однако все оказалось совсем не так, как он предполагал. Шоу превратился—и не по своей вине—в очень суетную и дряхлую Знаменитость. Помню, я как-то повстречал его в Большом Каньоне, он брюзжал, не находил в нем ничего примечательного и не пожелал даже взглянуть на него. Он просто завидовал его величию. Позже многие ошибочно принимали претенциозный, самоуверенный тон, который он сохранил до самой смерти, за глубокомысленность, несмотря на то что Шоу часто вел себя, в сущности, довольно глупо. Его жена отнюдь не была гигантом мысли, но она сумела, как мне казалось, сохранить ту непредубежденность, которую сам он уже давно утратил.

По всей видимости, убеждения Шоу сформировались слишком рано, что давало ему огромное преимущество в спорах, но отрицательно сказывалось на его философии. Бертран Рассел, знавший Шоу много лет, говорил, что Д.Б.Ш. необыкновенно находчив, но не мудр. Мне же казалось, что он, по природе своей, все же обладает житейской мудростью (ни один человек его времени не дал, кажется, столько дельных советов, как он), но как философ-позитивист упрям, несговорчив, эксцентричен, непоследователен. По сути своей он был—и пришлось очень ко

времени — великим бунтарем, викторианским разгребателем грязи. Если у него почему-то возникали сомнения в своей позитивистской мудрости, он умело скрывал их за характерным язвительным смешком, подобно тому как прятал большую часть лица за окладистой бородой — сначала рыжей, а потом седой. То, что он был иконоборцем, еще вовсе не значит, как полагают многие, будто все его произведения со временем безнадежно устареют. Думаю, те его книги, что должны были устареть, и так уже устарели. Однако лучшие его вещи — комедии, уникальные по стилю и духу, — отличаются той жизнестойкостью, что неподвластна ни времени, ни любым социальным преобразованиям. Может измениться отношение к его пьесам (любопытно, что такие ранние произведения, как «Оружие и человек» и «Поживем — увидим», в свое время считались отталкивающими по своему мрачному колориту, а теперь поражают своим искрометным остроумием и прелестной невнятицей), но сами они будут жить. А даже если забудутся его книги, то сохранится память о легендарном человеке, наполовину святом, наполовину клоуне, нелепом в своем йегерском костюмчике, упрямом в своих причудах. Сохранится память о замечательном человеке, который своей уверенной поступью шагал в неизведанное будущее, достойное его великого духа, — остроумнейший из странников, напевающий мелодию Моцарта.

## У ТЕЛЕВИЗОРА

Здесь, на острове, где я взял напрокат отличный большой телевизор и где неподалеку находится мощная передающая антенна, я — телезритель. Телевизор мы поставили в комнате, в которой раньше слушали музыку, так что теперь я могу, никому не мешая, сидеть в темноте и смотреть на экран сколько душе угодно. Я откидываюсь в кресле, кладу ноги на табурет, курю и, не отрываясь, смотрю в одну точку. За исключением тех дней, когда передают международный крикетный матч, я сижу у телевизора только по вечерам. Тяжело сопя после сытного обеда, я вразвалку иду по коридору, включаю телевизор, плюхаюсь в кресло, вытягиваю ноги и впиваюсь в свое волшебное зеркало, словно какая-нибудь девяностокилограммовая леди из Шаллотта с сигарой в зубах. Поначалу я уверял себя, что смотрю все подряд только ради дела, из профессионального интереса, но в последнее время такого рода отговорки больше не действуют. Я просто стал одним из телезрителей. Трудно подсчитать, сколько часов я уже просидел у экрана, уставившись как замороженный на говорящие и передвигающиеся фигурки. Иногда мне начинает казаться, что я просто схожу с ума.

Считается, правда, что только первые года четыре—самые тяжелые, но и за более короткий срок мои интересы переменятся настолько, что я стану совсем другим человеком. За это время меня вполне могут упечь в дом для престарелых. Остается только надеяться, что и там бывают хорошие телевизоры.

Поскольку я всего лишь телезритель, у меня и в мыслях нет подвергать работу телевидения обстоятельной, уничтожающей критике. Более того, учитывая специфику этого средства информации, его особые задачи, работники телевидения и так делают все, что в их силах. Большинство из них, я знаю точно, фанатики своего дела, на другой работе они чувствовали бы себя как в ссылке. У меня вряд ли получилось бы лучше. Думаю даже, гораздо хуже. Все насмешки и колкости в их адрес кажутся мне совершенно неоправданными. Трудности, с которыми они сталкиваются, обычно не принимаются в расчет. Критики, которые их ругают, как правило, не делают или почти не делают скидку на черную магию, заключенную в телевидении как таковом. О телевизионных передачах они говорят так, словно смотрят не на экран, а сидят в театре, в кино, в концертном зале или в кабаре. Поэтому все то, что будет говориться в дальнейшем, не следует воспринимать как резкую критику в адрес работников телевидения. Удачи вам, друзья! Огромное спасибо, Мэри, Питер, Сильвия, Дерек! Но ведь я тоже телезритель, один из ваших постоянных клиентов, хотя и не звоню пожаловаться, что в своих передачах вы не учитываете мои самые сокровенные пожелания. А потому позвольте мне объяснить, что значит телевидение для меня.

Общее мнение о телевидении, которого придерживался и я, пока сам не стал телезрителем, сводится к тому, что оно необычайно захватывает, оказывает огромное влияние, но в то же время представляет серьезную потенциальную опасность. Как никакое другое средство информации, телевидение, час за часом, вечер за вечером, наполняет наши квартиры такими броскими и соблазнительными образами, что своим воздействием на рассудок и воображение превосходит все остальные виды развлечений. Любого телезрителя оно способно превратить в знающего и вдумчивого специалиста, человека с самым широким кругозором. Сидящие у экрана дети со временем могут стать профессорами Оксфорда и Кембриджа или же бандитами и шлюхами. Так что мы играем с огнем и взрывчаткой—зато с каким огнем, с какой взрывчаткой! Примерно так рассуждал и я, прежде чем сам превратился в зядлого телезрителя. Теперь же, когда мне по собственному опыту известно, что делается на экране, я уже не могу рассуждать таким образом. Разумеется, телевидение преследует свои цели; безусловно, оно обладает совершенно специфическим воздействием, однако его цели и

воздействие вовсе не таковы, какими мы их себе представляем. Если только я правильно понимаю то, что происходит на экране, паникеры боятся совсем не того, чего надо бояться. Их можно сравнить с человеком, который ждет нападения волка и не замечает, что по руке ползет ядовитый жук.

Установите телевизор, включите его и... пожалуйста! В углу вашей гостиной загорается окно в мир—вечно меняющийся, бескрайний, многообразный, живой. Так, во всяком случае, принято думать. У меня же сложилось несколько иное впечатление. Начать с того, что телевидение не только не приближает ко мне реальный мир, но еще больше его отдаляет. Когда я особенно вживаюсь в роль леди из Шаллотта, то ощущения реального мира за экраном не возникает и вовсе. Мне начинает казаться, будто я нахожусь в затемненной курительной комнате огромного космического корабля и изредка поглядываю в иллюминатор на какую-то неведомую планету, бурная жизнь которой меня абсолютно не занимает. Чем дольше я лениво смотрю на экран и слушаю голос диктора, тем сильнее ощущение, что я попал на какое-то потустороннее астральное тело. Все эти конференции, прибытия и отбытия бесконечных министров, крушения и наводнения, забастовки и локауты, самолеты и гоночные автомобили, атомные станции и рыбацкие деревушки, ученые и кинозвезды волнуют меня ничуть не больше, чем какого-нибудь тысячетлетнего, убеленного сединами Мудреца, который смотрит с Тибета на землю в «магический кристалл». В лучшем случае все это представляется мне, как заметил совсем по другому поводу один из героев Йейтса, «тем сном, что боги сонные туманят зеркало жизни гладкое». В этой связи я вспоминаю одну довольно, впрочем, придурковатую старушку, которая, посмотрев некое кино, решила, что каждый из фильмов является составной частью длинной непонятной киноленты, в которой как-то странно, но занятно перемешаны принц Уэльский и ковбой, индейцы и Стэнли Болдуин, тонущие корабли, смазливые девочки и лорд-мэр Лондона. В сущности, эта старушка была одной из первых Телезрительниц. Теперь-то я понимаю, каково ей пришлось. Правда, может быть, и у меня тоже не все в порядке с головой.

Стоит только телевидению обратиться к какой-нибудь спорной, животрепещущей теме, как она сразу же становится отвлеченной. Уже сам по себе телевизионный аппарат, которым управляет, быть может, какой-то дьявольский ум, враждебный человеческому роду, создает фатальный потусторонний эффект. Ведь даже те проблемы, которые раньше казались самыми жгучими и насущными, вообще перестают быть проблемами. На телеэкране они не только не решаются, но обходятся стороной. Мне, например, почему-то становится безразлично, что происходит с «Нефтью», или с «Занято-

стью замужних женщин», или с «Молодежью и религией в наше время», или с «Нашим отношением к старикам», или с тем, «Куда идет Англия». Я просто смотрю на экран. Порой такие передачи производят впечатление разрозненных отрывков из наспех написанных и плохо поставленных пьес. Я не знаю—да и не хочу знать,—является ли жестикулирующий на экране премьер-министр настоящим премьер-министром или же это актер, исполняющий роль премьера в одной из тех политических пьес, которые теперь так часто показывают. Когда смотришь телевизор, между Югославией и Руританией нет, в общем-то, никакой разницы. После того как на протяжении получаса ведущий взалхлеб рассказывал о «Перспективах отечественного рыболовства» или об «Африке на распутье», он с упреком смотрит на меня, а затем спрашивает, что же думаю я по поводу перспектив рыболовства и Африки. Уж он-то мог бы знать, что я как Телезритель ровно ничего по этому поводу не думаю. После того как ведущий окидывает меня напоследок серьезным взглядом и задает последний вопрос, я тупо скольжу глазами по титрам, слушаю как во сне заключительный музыкальный аккорд, лениво думаю, почему Малькольм Маггеридж лучше смотрится на экране, чем в жизни; с чего бы это Вудро Уайатт вдруг заговорил таким высокопарным слогом, затем закуриваю погасшую трубку и начинаю смотреть следующую передачу.

В передачах типа «Парад звезд», как, пожалуй, в никакой другой, весь идиотизм сказочного мира кино, известного нам по броским киноафишам и иллюстрированным журналам, приобретает какое-то призрачно-слащавое очарование, особенно когда в фойе, на гала-премьере звезды театра и кино—о счастливый миг!—любезно соглашаются улыбнуться нам и рассказать, как будто мы сами не знаем, как увлекательна их жизнь, после чего ведущий желает им всего самого наилучшего. Как Телезритель я стараюсь не упускать подобных случаев. Такие передачи гораздо лучше смотреть у себя в зашторенной комнате, задрвав ноги и покуривая, чем оказаться на самой премьере, где нечем дышать, все разодеты, ужасно суетятся и, усердно работая локтями, стараются пробиться поближе к микрофону, туда, где сгрудились фоторепортеры. Одним словом, призрачный взгляд— пусть и тщательно рассчитанный, сфокусированный— на призрачный мир. «Но ведь это так возбуждает»,— не устают твердить нам, телезрителям. Возможно, именно поэтому я так часто, сидя совершенно один, в темноте, заливаюсь смехом—от нервного перевозбуждения, не иначе.

Бывают вечера, когда по телевизору передают сплошные интервью с десятками людей, причем беседуют с ними не только о кино, а обо всем на свете. Где только мы, телезрители, не оказываемся: в министерствах и у входа в них, у себя в стране и за границей, в аэропортах и на



вокзалах, на стадионах и фабриках. Сама по себе организация такого рода передач, чисто технические усовершенствования делают честь нашей цивилизации. Любезность и обходительность ведущих поистине безграничны: они никогда не забывают поблагодарить своих собеседников, пожелать им счастья на прощанье. Они немедленно переходят на «ты», даже если их собеседник метит в министры или собирается отметить свое шестидесятилетие. Как лучезарен, как благополучен мир телевизионных интервью! Поэтому-то, вероятно, в этом мире никто в общем ничего не говорит. Боятся, видимо, нарушить гармонию. Между сердечным «Добрый день» и трогательным «Всего доброго», по сути дела, ничего не происходит. Стоит беседе начаться, как она уже подходит к концу. «А теперь,— торжественно объявляет диктор,— давайте перенесемся в Коктаун и поговорим с мэром этого города. Итак, «Встреча в Коктауне»... Мы с вами в Коктауне, в нашей телестудии находится мэр города, который любезно согласился уделить нам несколько минут. Мы очень благодарны вам, господин мэр... М-м, скажите, пожалуйста, что вы думаете о предстоящей предвыборной компании, господин мэр?— М-м, что я могу сказать, Рэг, собираемся в самое ближайшее время начинать...— Благодарю вас, господин мэр, желаю удачи...— Спасибо, Рэг...— А теперь, уважаемые телезрители, вернемся в Лондон... Мы передавали интервью с мэром Коктауна. Интервью брал наш специальный корреспондент Рэг Руботтом. А сейчас...»

На первых порах, когда я еще был начинающим телезрителем, чужестранцем в этом волшебном царстве, мне хотелось, чтобы мэр хоть что-нибудь сказал, ведь было затрачено столько усилий, дабы всего на мгновение запечатлеть его образ на наших экранах. Теперь же я знаю, все это не имеет никакого значения, телевидению важно, чтобы мы переносились с места на место, чтобы перед нами мелькали все новые и новые лица. Телевизионный аппарат это любит, а мы находимся в полной его власти. В мире волшебной трубки произошла переоценка ценностей. В этом мире нас больше интересует то, как выглядит и держится интервьюер, а не то, что говорит интервьюируемый. Пока я смотрю телевизор, я принимаю эти переиначенные ценности. И только потом, придя в себя и обдумав увиденное, я начинаю сомневаться в их правомерности. Когда же я пялюсь на экран, то настолько ничего не соображаю, что готов поверить телевизионным факирам—элите, аристократии этого иллюзорного мира. Я не задаюсь вопросом, что же они такого сделали, так ли уж незаурядно их дарование. В любом случае они обладают той индивидуальностью, какой у меня—телезрителя, раба экрана,— в принципе быть не может. Если не на ближайшее, то, возможно, на следующее рождество, окончательно порвав с реальностью, я не стану больше приглашать к себе гостей,

так как, вероятно, просто забуду, как это делается. Вместо этого я сам в качестве телезрителя стану гостем телевизионного рождественского концерта с участием знаменитостей. Я буду замороженно смотреть, как искрится вино в их бокалах, с восторгом прислушиваться, как они с хрустом поедают рождественские пирожки, а кто-нибудь из них поглядит на меня с экрана и, быть может, пожелает мне наилучших рождественских телепередач и всяческого телевизионного счастья в Новом году.

Пока же, сидя в темноте с задранными ногами, я чувствую, что уже сыт по горло «Рыболовством», «Африкой», «Молодежью и религией в наше время». Я не могу не согласиться со всем тем, что говорят по поводу «Замужних женщин», «Нашего отношения к старикам» и «Будущего Англии», так как все это мне совершенно безразлично. Мы, телезрители, теперь знаем, что «мы созданы из вещества того же, что наши сны», что все в мире иллюзорно и что

Мы все не более чем призрачные тени,  
Всю жизнь играем на волшебной сцене.

Поэтому совсем не трудно представить себе, что по телевизору покажут и третью мировую войну. Я буду рассеянно взирать на экран, где целые города превращаются в радиоактивную пыль. В последний раз, в перерыве между тридцатиминутной детективной пьеской и эстрадным концертом либо выступлением цыганского танцора, я мельком увижу руины Манчестера и Лидса. Какое еще средство информации и развлечения может, подобно телевидению, так успокоить истерзанный ум, облегчить душевную сумятицу? Просидев у телевизора лет пять подряд, мы, может статься, освободимся наконец от телевизионной кабалы, одержим победу над техническим прогрессом и обретем завидную беспристрастность и неггибаемый оптимизм. Когда телевизор выключен, мы, телезрители, уже потихоньку поговариваем между собой о том, что чем более усовершенствованными становятся средства коммуникации, тем менее коммуникабельными становимся мы сами. Слова на книжной странице могут стать незабываемыми. Воспоминания об актере, о том, как он говорит и двигается по сцене, могут преследовать нас всю жизнь. Но вот являются изобретатели и технологи, цены чудовищно подсакивают, все усложняется, и мы получаем кино и радио — средства воздействия куда менее сильные и запоминающиеся, чем книги и театр. Затем изобретатели и технологи, которые располагают баснословными средствами, входят в раж и забивают наши дома телевизорами. К звуку они добавляют изображение, творят чудеса со временем и пространством, придумывают цветное телевидение и много чего еще. И эта громадная гора из изобретений и техники, финансов и администрирования родила крохотную волшебную мышку. «Неплохо, — соглашаемся мы, телезрители. — А что же дальше?»

# Заметки на полях (1962)



## У МЕНЯ БЫЛО ВРЕМЯ

### Глава I

Я выбрал это название по двум причинам. Первая: в течение последних тридцати лет сотни людей говорили мне, что они могли бы написать хороший роман, пьесу, книгу очерков, будь у них время. Ну что ж, у меня было время.

Вторая причина глубже. Нам часто кажется, что мы находимся вне нашего времени и лишь удивленно поглядываем на него со стороны, но это все, чем мы более или менее реально располагаем. Кем бы мы себя ни считали—бессмертными душами, лишь ненадолго отправленными сюда в изгнание, или говорящими млекопитающими, превзошедшими обезьян по умственному развитию и уже почти готовыми перенести земной беспорядок и отчаяние на какую-нибудь другую планету,—наше время—это все, что у нас есть на Земле. Для каждого из нас через сколько-то дней, часов и минут навсегда померкнет солнечный свет и исчезнут шансы на успех. Если ввести необходимые данные в компьютер, он в одно мгновение ответит, когда именно это произойдет. (Похоже на то, что наши правнуки будут чем-то вроде придатков к компьютерам; уже сегодня многие инженеры предпочитают компьютер человеку.) Нередко мы что-то откладываем, думая: «Это я еще успею», что-то не доводим до конца, но представляем мы собой только то, что мы сделали со своим временем. Мы неотделимы от него.

Маленький и уязвимый, затерянный в безграничных просторах Вселенной (то ли еще расширяющейся, то ли уже достигшей предела), Человек все же надеется и мечтает. Но его смелое и вызывающее чувство иронии прекраснее этих надежд и мечтаний. И если нет богов и некому наслаждаться им вместе с нами, тем хуже для остального мира. Ибо здесь, на Земле, из аминокислот научились выделять спирт—иронический спирт. И пусть шестидесятипятилетнему ан-

глийскому писателю не ставят в вину пристрастие к этому особому виду алкоголя (я бы назвал его интеллектуальным виски). Я говорю—английскому писателю, а не шотландскому, валлийскому, ирландскому, потому что в Англии на писателя смотрят с подозрением. Для одних это человек, который вечно норовит куда-нибудь улизнуть и может работать только из-под палки; для других—сомнительный тип, на три четверти шарлатан, а на четверть черный маг. Я дал ему шестьдесят пять лет, потому что сам нахожусь в таком возрасте—уже не молодое дарование, но еще не восьмидесятилетний Великий Старец, а просто пожилой зануда, который слишком долго бродит по свету. Так что я, пожалуй, закажу еще рюмочку иронического—перед дорогой не помешает.

Сравнительно недавно я выпустил в свет большую книгу—«Литература и человек Запада», которая далась мне с невероятным трудом. Пресса встретила ее хорошо, не могу пожаловаться. Но лет сорок назад, когда я учился в Кембридже, я опубликовал с помощью местных книготорговцев Боуза и Боуза маленькую книжку под названием «Веселая смесь». Она была встречена еще лучше—если не за свои достоинства, то за краткость. О ней писали ведущие критики во главе с Эдмундом Госсом. Она получила такую прессу, о которой начинающий автор может только мечтать. С первого выстрела—прямо в яблочко! Как человек, выигравший на игральном автомате, я приготовился загребать деньги обеими руками. Я ждал славы, хотя бы намек на славу—взрыва читательского интереса, быстрых переизданий,—но ничего этого не было. (Прошло несколько лет, прежде чем разошелся первый небольшой тираж.) Моя карьера началась с самого настоящего провала.

Может быть, это объясняет, почему я с тех пор ко всему отношусь подозрительно, никогда не благодарю с улыбкой свою счастливую судьбу и делаюсь мрачным и нелюбезным, едва кто-нибудь произносит: «Ваш необыкновенный успех». Я всегда ненавидел это громкое театральное слово, встречающееся в каждой телеграмме с поздравлениями по случаю премьеры. Журналисты обычно спрашивают об успехе так, словно это что-то совершенно конкретное и осязаемое—например, кусок молочного шоколада, огромный, как грузовик. В наше время писатель может думать об успехе или неудаче какого-то своего произведения, но никогда, если он не законченный обыватель, он не думает о своей жизни и творчестве с точки зрения успеха.

Итак, после выхода «Веселой смеси» я еще был в Кембридже. Как бывший военнослужащий, я получал стипендию, но ее не хватало, и мне приходилось подрабатывать—писать, давать уроки и читать лекции, за которые платили одну-две гинеи. В конце второго года, незадолго до

получения степени, я женился и стал главой семьи со всеми вытекающими отсюда обязанностями. Мне уже было двадцать семь лет—столько времени пропало в армии.

Мне продолжали платить стипендию, и я остался на третий год, выбрав для исследования тему: как свести концы с концами. Но что дальше? У меня была возможность заняться преподавательской работой за границей, но все в таких маленьких и отдаленных странах, что их валюта никогда не фигурировала в курсовых бюллетенях «Таймса», и я не мог понять, сколько мне будут платить. Тогда я предложил свои услуги в качестве лектора. Я прочел пробную лекцию директору курсов, дородному человеку, с трудом преодолевавшему зевоту, и шестерым мрачного вида рабочим и, к своему удивлению,—ибо лекция оставляла желать лучшего и директору я не понравился—был принят. Вскоре мне сообщили, что с осени я могу начать свою лекторскую работу, и отвели огромный район в Северном Девоншире. Но еще до окончания летнего семестра я отбросил все мысли о постоянной службе—дома в Брэдфорде это было встречено крайне неодобрительно—и решил отправиться в Лондон и стать свободным художником. У меня была жена, скоро мог родиться ребенок, а весь наш капитал составлял ровно пятьдесят фунтов.

Сегодня на рекламных плакатах я часто вижу очень молодых людей—моложе, чем был я в 1922 году,—которые недоверчиво смотрят на тех, кто предлагает им работу, и спрашивают: «А гарантирует ли эта работа хорошую пенсию?» Должен сказать, что я не принимаю всерьез этих молодых людей, которые заботятся о пенсиях и пышных похоронах, еще не начав работать. Подозреваю, что они существуют только в мире рекламной мифологии, где целые семьи сияют от радости, узнав о появлении нового кекса в порошке или слабительного. (Политики теперь наполовину живут в этом мире и только наполовину—в нашем.) Я глубоко убежден, что любой, даже самый безумный проект—пусть его осуществление связано с лишениями и опасностями, а шансы на успех более чем сомнительны,—мгновенно соберет толпы молодых людей, желающих попытать счастья, и прежде всего молодых людей, приходящих в себя после нашей системы высшего образования. Итак, не подумайте, что я становлюсь в знакомую хвастливую позу человека, всем обязанного только самому себе, когда вспоминаю, как я, безработный, поехал в Лондон. Я просто констатирую факт.

В начале двадцатых годов молодому писателю жилось легче, чем теперь. Однако тут необходимо кое-что уточнить. Действительно, теперь можно заработать больше денег—в кино, на телевидении, на радио,—но при этом молодой писатель рискует попасть в западню. А тому, кто попал в нее, кто уже начал тратить больше, чем позволяет налоговый

инспектор, становится все труднее взяться за ту работу, которой он прежде собирался посвятить себя. (Этим, вероятно, и объясняется то, что в послевоенной Англии крупномасштабные литературные произведения стали редкостью. В Америке дело обстоит лучше — там существуют различные субсидии, премии, стипендии.) Мое поколение — то, что от него осталось, — было счастливее: мы могли зарабатывать на жизнь рецензиями, критическими статьями, очерками, рассказами — всему этому тогда отводилось в десять раз больше места, чем сегодня. Нам не угрожало превращение в борзописцев, литературных ремесленников, которого мы так страшились. Да и оплачивался труд писателя и журналиста в то время гораздо выше, если учесть тогдашнюю и нынешнюю покупательную способность фунта. (Я мог бы для наглядности привести цифры, но они только отпугнули бы тех читателей, по мнению которых писатели должны быть вне экономики, питаться нектаром и пить птичье молоко.) Конечно, работать мне приходилось за двоих, я сутками не вставал из-за письменного стола, зато я не только решил проблему хлеба насущного, но даже сумел выдержать — хотя бы в материальном отношении — долгую и неизлечимую болезнь моей жены.

В Лондоне мне больше всех помог Дж. Скуайр, в то время заметная фигура в литературном мире. Нас познакомил еще в Кембридже мой друг поэт Эдвард Дэвисон. Помню, что знакомство наше началось со спора — короткого, но ожесточенного. Может быть, этот спор произвел на него впечатление; впрочем, едва ли. Может быть, Скуайр увидел во мне потенциального критика и эссеиста, сурового, как Сэмюэл Джонсон, но главной причиной, заставившей его предложить мне сотрудничество в своем «Лондон меркюри», упоминать обо мне в разговорах с литературными редакторами и издателями и ввести меня в свой дом, где я, наверное, выглядел очень растерянным, хотя особой растерянности не чувствовал, было, скорее всего, желание помочь демобилизованному пехотинцу. [...]

Скуайр направил меня к Роберту Линду, литературному редактору газеты «Дейли ньюс», для которой я впоследствии написал множество рецензий. Линд, тонкий критик и эссеист, был совершенно лишен честолюбия; от случая к случаю он писал небольшие статьи и удовлетворялся этим, избегая тяжелого уединенного труда, которого требует любая книга. У Линда был чудесный характер, и в его обществе я более двадцати пяти лет «время проводил беззаботно, как, бывало, в золотом веке»; в конце концов ухо привыкало к его ирландскому бормотанию, и приятная беседа, приправленная виски, длилась часами. Из множества писателей, которых я знал, самыми восхитительными людьми и собеседниками были Роберт Линд и Уолтер Де ла Мар. (В те первые годы

моей лондонской жизни я часто ходил в дом Де ла Мара на Анерли играть в шарады. Наверное, я пошел бы играть в шарады даже теперь, если бы меня пригласили; но никто не приглашает — нам некогда, мы все очень заняты устройством своих дел.) И это вовсе не преувеличение, как может показаться; когда речь идет о Линде и Де ла Маре, никакая похвала не будет чрезмерной. Писатели редко бывают интересными собеседниками. Обычно они молчаливы и погружены в себя. Если они не преуспевают, они озлоблены и желчны. Если к ним относятся серьезно, они относятся к себе еще серьезнее и делают себя самодовольными и напыщенными, как государственные мужи. Писательство, бесспорно, должно быть причислено к вредным профессиям; оно изматывает и поглощает тебя всего без остатка. Часами сидишь один, как паук, и ткешь свою паутину. Творческий процесс может идти прекрасно, но переносить его результаты на бумагу — тяжелый труд. Художники и скульпторы, использующие разнообразные материалы и приспособления, работают веселее и лучше умеют отдыхать. Актеры, способные на два-три часа забыть о театре, куда приятнее в обществе, чем большинство писателей. Это распространяется и на музыкантов — за исключением дирижеров, считающих, что в музыке им принадлежит главенствующая роль, а Бетховену второстепенная. Пусть это послужит предостережением для тех читателей — такие еще есть, — которые мечтают познакомиться со своими любимыми писателями: их ждет разочарование.

Тот же Скуайр рекомендовал меня Джону Лейну, главе издательства «Бодли Хед», которому был нужен внутренний рецензент. (Тогда требовались рецензенты и мусорщики; теперь эти люди называются «литературными консультантами» и «техническим персоналом».) Раз в неделю я проводил утро на Виго-стрит, выбирая из самотека рукописи, заслуживающие внимания, и возвращая авторам тысячестраничную историю Иерусалима, написанную белыми стихами, или какие-нибудь воспоминания о жизни в Стокпорте. Остальное я делал дома, закончив свои собственные дневные труды. За это мне платили шесть фунтов в неделю — неплохой постоянный заработок для 1923 года, когда обед из семи блюд стоил в Сохо полкроны. Читал я быстро и нетерпеливо, но все же не помню, чтобы я хоть раз отверг рукопись, которая позднее, в руках других издателей, стала заметной книгой; в частности, я рекомендовал к печати первые романы Грэма Грина и Сесила Скотта Форстера. (Однако потом некоторые из этих начинающих авторов, в том числе Грин, предпочли дебютировать в другом месте.) [...]

Когда я познакомился с Джоном Лейном, ему было, наверное, всего на год-два больше, чем мне сейчас. Он показался мне настоящей древностью: бородатый, маленький, сморщенный, подслеповатый (он видел так плохо, что

уже не мог читать). Речью и манерой держаться он напоминал скорее отставного дипломата или богатого дилетанта, растратившего свое состояние, чем всемогущего издателя. Этот человек, ставший символом девяностых годов, был сыном мелкого девонширского фермера; он приехал в Лондон и в течение восемнадцати лет работал клерком на железной дороге. Многие ли теперешние крупные издатели начали свою карьеру с должности железнодорожного клерка? Не обманываем ли мы себя, воображая, что наше общество сегодня более свободно и открыто и предоставляет больше возможностей, чем восемьдесят лет назад? Я имею в виду те сферы человеческой деятельности, в которых я разбираюсь,—не продажу земли, не рекламу, не коммерческое телевидение и не ограбление банков. [...]

Я писал рецензии и критические статьи для журналов «Лондон меркюри», «Букмен», «Спектейтор», «Сатердей ревью», «Аутлук», газет «Дейли ньюс», «Дейли кроникл» и еще нескольких периодических изданий, в том числе для двух ежемесячных журналов, американского и шведского, названия которых я забыл. Если не считать большой статьи о Пикокке для «Таймс литерэри сапплмент», я всегда держался подальше от редакций, публикующих рецензии и критические разборы анонимно. На мой взгляд, рецензиям без подписи нет никакого оправдания. (Кажется, мы еще и сегодня не знаем, кто—Локарт или Крокер—с такой тупой злобой писал в «Куортерли» о сборнике стихов Теннисона 1832 года.) Эта анонимность поощряет любителей грязной работы, которых Филип Гуидалла называл «тихими убийцами». Случалось, я бывал несправедлив к романистам старшего поколения, таким, как Арнолд Беннет, но я никого не громил по заказу и не охотился за книгами, которые так и просятся в фельетон. Когда я вел раздел книжных новинок и сам выбирал, о чем писать, я старательно обходил молчанием те книги, которые мне особенно не нравились. Редакторы, отдающие предпочтение зубодробительным рецензиям, потому что они проще пишутся и лучше читаются,—эти редакторы работают не в той газете; им нужно покинуть «литературную» сторону Флит-стрит и перейти на другую. А журналистам, чьи перья полны яда, не стоит изливать его на сравнительно безобидные романы, стихи, сборники эссе; пусть обратят свои взоры на общественную жизнь.

Одна ошибка, существовавшая в журналистике тридцать пять лет назад, не исправлена и до сих пор. Это смехотворно малое место, отводимое рецензиям на произведения художественной литературы. О какой-нибудь шаблонной биографии или скучнейших мемуарах нередко пишут гораздо больше, чем о новом, быть может гениальном, романе. Мы еще не избавились от распространенного в девятнадцатом веке взгляда на сочинение и чтение романов как на пустое и



легкомысленное занятие, позволительное разве что для женщин, но ни в коем случае недостойное серьезных мужчин. По сей день мы слышим, как эти мужчины говорят: «Романы? Да я и в руки их не беру! Нет уж, я предпочитаю что-нибудь более основательное». При этом они обычно имеют в виду «Годы в сафари» и «Знаменитых любовниц французских королей».

В то время, как и сегодня, молодому английскому писателю было нелегко взяться за серьезную литературоведческую работу. Мне же, с двумя маленькими детьми на руках и ворохом счетов из больницы, растущим как снежный ком, не приходилось об этом и думать. Тем не менее я делал наброски для двух книг — «Английский юмор» и «Английские комические персонажи». Впоследствии Ральф Ричардсон и Чарлз Лаутон рассказывали мне, сколько времени они провели в обществе моих «Комических персонажей», и мне трудно было поверить, что эта книжка могла оказать профессиональную помощь таким превосходным актерам. В издательстве «Макмиллан» я получил заказ на две книги в серии «Английские литераторы». (Помню, как одну из них обсуждали в редакции, при участии некоего Гаррольда Макмиллана.) Книги были посвящены Пикоку и его зятю Джорджу Мередиту. Последний, прежде кумир интеллектуалов, тогда уже вышел из моды, и его либо вовсе не замечали, либо очень недооценивали. (С тех пор ничего не изменилось.) [...]

Стоит вспомнить — хотя бы в назидание молодым писателям, — как я начал работу над книгой о Мередите. Я жил тогда за городом, в Чинноре, но много времени проводил в Лондоне, так как часто ездил в больницу Гая к жене. Однажды под вечер я вернулся домой в таком глубоком отчаянии, что не знал, куда себя девать. Я сходил с ума от горя. Будь я ближе к городу, я мог бы навестить друзей, пойти в пивную или в кино, побродить по улицам, — но я был в Чинноре. Наконец, просто чтобы убить время, я решил что-нибудь написать, все равно что, измарать несколько страниц, а потом, когда мне станет легче, разорвать написанное. На столе у меня лежал набросок плана книги о Мередите. Я выбрал одну из глав, не первую, и медленно, с усилием принялся над ней работать. Через час мне уже писалось легко и свободно. Эта глава — одна из лучших в книге. Я писал до самого утра, забыв о своей горе и подчиняясь только движению мысли и слова.

Замечу — сейчас я обращаюсь к тем, кто решил посвятить себя писательству, — что предмет был далек от моей собственной жизни и я не мог облегчить свои страдания, запечатлев их на бумаге; лишь сосредоточенность, напряжение, сам процесс писания помогли мне избавиться от боли и в то же время сделать что-то стоящее.

Наверное, как я уже намекал, лучше не быть писателем, но если ты должен быть им—тогда *пиши*. Ты чувствуешь вялость, голова раскалывается, никто тебя не любит—*пиши*. Все напрасно, это знаменитое «вдохновение» никогда не придет—*пиши*. Если ты великий гений, ты изобретешь свои правила, но если нет—а есть основания опасаться, что это именно так,—тогда иди к столу, какое бы ни было у тебя настроение, прими холодный вызов бумаги и *пиши*. Рано или поздно муза оценит и вознаградит твою преданность. Но если то, что я говорю, кажется тебе вздором, никогда не пытайся зарабатывать пером на кусок хлеба. Найди себе другое поприще и берись за работу, предварительно убедившись, что она гарантирует хорошую пенсию.

## Глава II

Кино не нужна машина времени. На экране всегда в точности то, что ты написал, и как это сыграли актеры много лет назад, хотя сегодня их актерская мишура казалась нам неестественной и старомодной. Драматурги моего поколения с пренебрежением относились к кинематографу как к средству художественного выражения. От киностудий они не ждали ничего, кроме чеков. Я тоже не без удовольствия получал чеки, но никогда не считал, что экран—это нечто второсортное по сравнению со сценой. Просто у кино своя, особая магия, вот и все. Для воплощения многих моих драматургических замыслов как нельзя лучше подходил язык кино, поскольку позволял сразу выделить главное, избежать ненужного правдоподобия благодаря большей условности, в общем был значительно более гибким, способным передать течение времени и перемены, которые оно несет с собой. В сущности, кино не только ближе к роману, чем театральные спектакли, похожие на обрамленные картины с их тяжеловесными неподвижными декорациями, среди которых, по нашей прихоти, то появляются, то исчезают действующие лица,—во многих отношениях кино ближе и к шекспировской драме. Правда, кинозрители не становятся соучастниками действия, как это бывает в театре: картина заранее смонтирована, и время каждого кадра точно отмерено. Но вместе с тем, если в фильме заняты хорошие актеры и его поставил хороший режиссер, он навсегда сохранится в неизменности, между тем как пьесу легко погубить. Меня часто приглашали на постановки моих пьес в провинции, и присутствовать на таких спектаклях было настоящей пыткой. Впрочем, нет худа без добра и добра без худа, и, на мой взгляд, драматические возможности сцены и экрана в общем равны.

Почему же тогда я написал так много пьес и так мало киносценариев и почему по ним не сняли ни одного значительного фильма? Почему «Время и семья Конвей», «Джонсон по ту сторону Иордана» или «Музыка ночью» получились у меня пьесами? Разве я не мог написать их как киносценарии? Скорей всего мог и тем самым избежал бы многих досадных затруднений. Почему же я этого не сделал? Все дело в том, что работа над всеми тремя пьесами и постановка их на сцене потребовали от меня меньше времени и сил, чем обсуждение и споры с режиссерами по поводу хотя бы одного сценария, а когда речь идет о моей работе, я терпеть не могу обсуждений и споров. Я хочу заниматься своим делом, а не заседать неделями напролет, как это бывает, когда кому-то на киностудии для следующей картины нужно заполучить слонов или танцовщиц. Помню, как однажды режиссер сказал мне: «Не понимаю, что происходит с моими авторами. Я заваливаю их прекрасными сюжетами, а они не приносят мне ничего стоящего». В ответ я заметил ему довольно кисло, что если он такого высокого мнения о своих сюжетах, то пусть сам и пишет по ним сценарии. Многие из моих замыслов вовсе не были такими уж превосходными, как я воображал, но хорошие, плохие или никудашные, они не оставляли меня в покое, требуя, чтобы я облек их в плоть и кровь, выразил в слове. И будь я обречен бессмысленно топтаться на месте в неповоротливом мире кинобизнеса, то, наверное, сошел бы с ума. Я вовсе не хочу сказать, что условия для работы в кино никуда не годились, хотя в мое время они действительно были нелегкими для независимо мыслящего писателя. Скорее всего я по своему темпераменту был неспособен восстать против этих неблагоприятных условий и одолеть их. Мне не хватало терпения и упорства.

Как правило, режиссер, а не сценарист может заставить работать на себя всю эту машину кинопромышленности, даже если при минимуме идей обладает недюжинным упорством и силой, чтобы держать мечту железной хваткой. Он должен сохранить свой замысел в его первозданности на протяжении долгих месяцев, а то и нескольких лет обсуждений, споров, отказов и ультиматумов, как если бы взялся на пари пронести нежный цветок через десять кавалерийских атак и мирные переговоры. Можно как угодно относиться к тому, что Чаплин все делает сам в своих фильмах — он и режиссер, и директор, и сценарист, и автор диалогов, и композитор. Но нельзя не признать, что не только гению Чаплина обязаны мы наслаждением, которое доставляют нам его фильмы, но и его решимости наперекор всему воплотить на экране то, что он задумал, идти раз и навсегда выбранным путем. Целеустремленность и воля — вот залог творческих удач гениального комика. Я нередко думал, сколько талан-

тливых и глубоких фильмов не появилось на свет не потому, что их некому было снимать; причина в другом — творческие личности избегают работать в кино или потерпели поражение в борьбе с теми, кто требует примитивных фильмов, сделанных по шаблону. Не случайно лучшие образцы мирового кино появлялись в странах, где кинопромышленность переживала финансовые трудности, была на грани банкротства: в Германии и России в 20-е годы, во Франции в 30-е годы, в Италии сразу же после войны. В такие времена кредиторы не лезут командовать, а фильмы может делать каждый, было бы желание. И здесь не могу не заметить, что, по моему убеждению, в кино, как и в театре, на каждый фунт, потерянный из-за промахов в оценке вкусов публики, приходится по крайней мере сто фунтов, выброшенных на робкие и бездарные попытки повторить чей-то прежний успех.

Как-то в 30-х годах мне довелось прожить две зимы в пустыне Аризоны с группой из девяти человек. Через день я ездил на машине в Голливуд, привозил оттуда очередные куски сценария и продолжал работать над ними в тиши отдаленного ранчо. И еще я привозил оттуда деньги, покуда они не утратили своей волшебной силы и не превратились в сухую листву. Ревизия кредитных документов середины и конца 30-х годов нигде не обнаружит моего имени, так как, к удивлению и удовольствию коллег-сценаристов, я отказался от кредитов. Я никогда не работал в Голливуде по контракту, отвергнув немало заманчивых предложений, но наезжал туда не раз. Когда я оказался там впервые — с тех пор прошло больше тридцати лет, — Голливуд едва только расстался со сказочным веком своей истории. В особняках, выстроенных в подражание испанским замкам, можно было еще встретить удивительных персонажей, экстравагантных чудаков. На званые вечера мужчины являлись небритые, в спортивных рубашках, а женщины — в длинных вечерних туалетах, сверкая драгоценностями. Это немного напоминало сумасшедший дом, зато скучать там не приходилось. Теперь того города, детища золотой лихорадки, нет и в помине. Голливуд заполонили деловые люди, озабоченные процентами и налогами. Все они воплощение здравого смысла, на уме у них только старое бренди и постимпрессионисты, выставленные для продажи на Западном побережье, и все они ужасно скучные. На протяжении ряда лет я водил знакомства с таким множеством голливудских звезд, что всех и не припомню. Поскольку нет человека — даже незаурядные люди не чужды подобной слабости, — которого не мучило бы любопытство, что представляют собой кинозвезды, эти знаменитости из легенды, могу сказать, что они ничем не отличаются от большинства из нас, разве что среди них попадаются действительно выдающиеся актеры, и почти все они облада-

ют большей фотогеничностью, чем мы с вами. Самые счастливые часы в Голливуде я провел на теннисном корте. И самыми незабываемыми были вечера в обществе Чарли Чаплина и Граучо Маркса. Я не могу похвастаться перед читателем романами с утонченными целлулоидными принцессами, мне было не до них, я занимался напитками под болтовню о фильмах, агентах, Льюисе Б. Майере, диете, астрологии и снова диете, Льюисе Б. Майере, агентах, фильмах и старательно придумывал какую-нибудь остроумную историческую фразу, надеясь, что мне дадут возможность ее произнести.

Хотя я всегда считал себя далеким от мира кино, именно в обществе киношников, готовых день и ночь проводить в пустых разговорах, а не с издателями и театральными антрепренерами, потерял я больше всего времени на проекты, из которых ровным счетом ничего не вышло. Я написал самые разные сценарии, но все они капля в море по сравнению с тем бесчисленным множеством сочинений, которые мне так и не удалось создать после того, как стихли все дебаты. Мои творческие замыслы отмечались необычайным размахом — от сталелитейной промышленности до Девятой симфонии Бетховена. Денег я на этом не зарабатывал, только попусту тратил время. Но иногда восхитительные чеки вдруг приходили ко мне с фабрики грез, хотя фильм еще никто не снимал. Что помешало всем им появиться на свет, я так и не узнал, поскольку финансирование кино съемок осталось для меня загадкой. Почти тридцать лет назад мне заплатили пять тысяч фунтов, хорошие деньги по тем временам, за вполне добротный сценарий о знаменитом струнном квартете, в котором играли пожилые холостяки разных национальностей. Режиссер, который приобрел права на сценарий, в конце концов так и не сделал фильм и продал права за семь или восемь тысяч фунтов другому режиссеру из какой-то центральной европейской страны; насколько мне известно, тот вообще не снял ни одного фильма. Я не имею ни малейшего представления, где теперь этот сценарий. Конечно, эта история уже дело прошлое, но я до сих пор с грустью вспоминаю тех четырех музыкантов.

Вскоре после войны я жил на острове Уайт по соседству с голландским писателем Яном де Хартогом, и мы забавы ради сочинили сценарий фантастического фильма «Тобер и Тулпа». На протяжении нескольких лет то один, то другой режиссер загорался желанием снять фильм по этому сценарию. Каждые полгода я принимал, кормил завтраком и поил спиртным очередного гостя со студии, мечтавшего, по его словам, перенести наш сценарий на экран. Даже сегодня я боюсь произнести вслух, что сценарий окончательно забыт, так как стоит мне это сказать, как со следующей почтой я получу новое предложение от какого-нибудь неизвестного

лица обсудить возможность работы над фильмом. Я вовсе не разыгрываю непонимание, словно какой-нибудь судья для пущей важности, когда признаюсь, что мир кино всегда оставался для меня «вещью в себе». Для меня по-прежнему тайна, куда деваются сценарии и откуда они появляются вновь, кто все эти люди, подвизавшиеся на киностудиях, когда и как решается судьба фильма, откуда берутся деньги и куда они исчезают или чем, по мнению большинства кинодеятелей, они занимаются. Но в одном не сомневаюсь: я по характеру не могу вести дела с миром кино, хотя и восхищаюсь этим искусством, часто с завистью обдумываю возможности, которые оно открывает перед литератором, но никогда не приходило мне в голову целиком посвятить себя кинематографу. Возможно, теперь дела там идут лучше, но я уже не тот, что прежде, и предпочитаю жить спокойно.

# Мгновения (1966)

## ЧТО ПРОИЗОШЛО С ФАЛЬСТАФОМ

*Все началось с шестидесятиминутной беседы по третьей программе Би-би-си. (Позже, в 1964 году, сокращенный вариант передавался по Европейской и другим программам.) Когда я начинал с Фальстафа, у меня были задуманы еще шесть или семь очерков о знаменитых шекспировских персонажах — достаточно материала для целой книги. А потом меня, возможно, просто обуяла лень, а возможно, меня не прельщало пробивать себе путь в уже и так слишком многолюдную толпу шекспироведов, но только работать над остальными персонажами мне расхотелось. Однако для данной работы о Фальстафе я не ищу оправданий. Ибо, на мой взгляд (а я мог бы сослаться и на нескольких компетентных критиков), этот очерк — лучшее из всего, что собрано в настоящей книге.*

Ни один шекспировский герой не удостоился столь восторженных похвал, как Фальстаф. Пусть на загадочную фигуру Гамлета потрачено больше чернил и типографской краски, но никого хвалебный хор критиков не славит столь единодушно, как Фальстафа. Среди самых громогласных ценителей «жирного рыцаря» найдется и профессор английской литературы, из тех, что никогда не ложатся спать позже одиннадцати часов, выпив на сон грядущий стакан ячменного отвара; и благонамеренный литератор, которому попойка в трактире представляется чем-то столь же невысказанным, как ограбление банка. Фальстаф не только поразительно выписан сам по себе, он к тому же породил и много других прекрасно написанных строк. Но можно ли сказать о нем что-нибудь новое? Я думаю, что можно, но лишь после того, как мы, перестав смеяться и рукоплескать, вдумаемся в психологию

того, кто создал Фальстафа, и попробуем рассмотреть как героя, так и поэта, его сотворившего, на возможно более широком фоне английской литературы и жизни.

Чтобы понять, что произошло с Фальстафом, как он был возвеличен, а затем изничтожен, как в этом случае Шекспира-драматурга победил Шекспир-поэт, следует сперва вернуться в некую уже знакомую нам обстановку. Здесь нас встретит не Шекспир-поэт, но Шекспир-практик, человек, озабоченный тем, чтобы бесперебойно обеспечивать свою труппу пьесами и угождать многочисленной публике. «Ричард II» и «Генрих VI» уже были написаны, и если он предполагал и дальше писать исторические драмы, основанные на «хрониках» Голиншеда, тогда ясно, что им надлежало заполнить этот пробел между Ричардом II и Генрихом VI. Далее, внутри этого пробела Шекспира поджидал еще не воплощенный им на сцене единственный среди всех этих монархов популярный триумфатор — король Генрих V. Публика любила его — даже плохие пьесы о нем пользовались успехом. В роли короля-героя он сулил неисчислимые выгоды: сначала — юный гуляка, доводящий до отчаяния родного отца; потом — храбрый принц, помогающий отцу подавить мятеж; и, наконец, король, покончивший с шалостями и оказавшийся более крупной фигурой, чем этот его отец. Для такого образа одной пьесы было недостаточно. Две драмы можно было посвятить его беспутной юности, а затем доблестному поведению на поле брани, и еще одну — его царствованию. Так у Шекспира возник план: «Генрих IV», части первая и вторая, и «Генрих V».

Обойти молчанием легенды о юношеских шалостях принца Хэла было нельзя, без них пьеса просто не привлекла бы зрителей. Ее сюжет — восстание против Болингброка — не шел ни в какое сравнение с сюжетами «Ричарда III» и «Генриха VI». Сцены с участием принца Хэла и его собутыльников были призваны порадовать публику по контрасту с показом жесткого, бесчувственного короля и его придворных или ходульного гнева мятежных баронов. Шекспир сразу усмотрел здесь возможность создать пьесу на двух разных уровнях. (Добавлю, чтобы больше к этому не возвращаться, что он принял бытовавшую в театре версию, будто главным собутыльником принца Генри был сэр Джон Олдкасл. Предполагают, что данный персонаж был переименован в Фальстафа, потому что Олдкасл, казненный как лоллард, был сопричислен к протестантским мученикам. Но вполне возможно и то, что Шекспиру захотелось самому выбрать имя для своего детища. И для нас этот персонаж существует как Фальстаф, так что Олдкасла мы можем дальше не вспоминать.) То была блестящая идея — написать драму на двух разных уровнях, поделив ее между королевским двором и трактиром, между правителями и чернью, и придав истори-



ческой пьесе невиданную дотоле широту охвата и глубину. Но технически это было непросто. Если бы комические народные сцены получились недостаточно занимательными, это означало бы полный провал. Но если бы они получились слишком удачными, оказалось бы нарушенным равновесие всей пьесы. И опять же, если показать, что принц Хэл водит дружбу с тупыми и скучными шутами, он сам как центральная фигура пострадал бы в первую очередь. Компания, в которой резвится будущий король-герой, должна хотя бы вызывать интерес. В трактире должен присутствовать кто-то, кто будет подзуживать юного сорванца, кто-то, примерно равный ему по удельному весу. На этом персонаже должны держаться все комические сцены, но в то же время он не должен вызвать осуждения по адресу Генри, когда этот последний, ставши королем, будет вынужден отказать ему в прежней дружбе. Ведь если мы не будем готовы к тому, чтобы в конце второй части влиться в ликующую толпу, приветствующую нового молодого короля, которому скоро предстоит стать непобедимым героем пьесы о Генрихе V, значит, где-то был допущен просчет. И просчет, как известно, действительно был допущен. Когда Фальстафа, униженного, отвергнутого, уволакивают во Флитскую тюрьму, мы просто не в силах крикнуть «ура» в честь короля Генриха.

Просчет объясняется не тем, что задача была слишком сложной: обдумывая очередную пьесу, Шекспир умел справиться с любой, самой сложной технической задачей; но нередко драматургическая техника подводила его, потому что он был недостаточно внимателен, ему бывало недосуг, мысли заняты другим, пьесу требовалось изготовить ко вторнику. Однако то, что произошло с «Генрихом IV», не было результатом небрежности. Здесь Шекспира — удачливого человека театра, автора цикла драм об английских королях, победил Шекспир-поэт, творец, черпающий из собственных неосознанных глубин. Драматургический опыт, мастерство, талант — все это помогло создать Генриха, и принца и короля; Фальстаф же — порождение гениального поэта. Публика почувствовала это сразу: известно, что современники называли первую и вторую части «Генриха IV» пьесами о Фальстафе. «Жирный рыцарь», первоначально задуманный как антипод принца и комическая разрядка для зрителей, присвоил себе обе пьесы о Генрихе IV и не постеснялся бы стянуть у него и «Генриха V», если бы Шекспир, нарушив обещание, данное в эпилоге «Генриха IV», не умертвил его за сценой. Фальстаф должен был умереть, чтобы король-герой мог отныне жить в ореоле немеркнущей славы. В первых двух пьесах Шекспир делает для Генриха все, что может, мы видим, как упорно он этого добивался, как старался не отступать от своего сознательно намеченного плана; но Генриха заслоняет, почти что затме-

вает этот огромный, торжествующий, без малейших усилий сложившийся образ — Фальстаф.

Повторяю — без малейших усилий. Персонаж такого калибра, такой многогранный и полный жизни, что сам воспринимается как гений — его не создать никакими сознательными усилиями. Он возникает сам, во всем блеске и биении жизни, без участия сознания. Ни один писатель, даже самый искусный, не мог бы сознательно придумать, смастерить и привести в движение такую фигуру. Если такие персонажи кажутся волшебными, так это потому, что они, подобно призракам в некоем долгом сновидении, рождаются из волшебного начала в человеке, из потаенных и бездонных глубин его существа, из того далекого царства, где он «был вскормлен медом и млеком рая напоен».

Эти гигантские образы являются непрошеными, а явившись, ведут себя как полновластные деспоты. Шекспиру, когда он сознательно обдумывал свой исторический цикл, учитывая при этом и вкусы высокопоставленных зрителей, нужен был комический персонаж, противопоставленный принцу Хэлу, какой-нибудь толстый старый дурак, который позабавил бы и принца, и нас, а потом его без труда можно было бы убрать; а вместо этого из его творческих глубин поднялся во всем великолепии Фальстаф, и не только не влез в запланированную структуру пьесы, но, на взгляд многих и многих, в конечном счете загубил ее. В конце второй части «Генриха IV» мы не готовы к восприятию пьесы о Генрихе V. Ну его совсем, этого вероломного коронованного хлыща! Нам куда интереснее последовать за Фальстафом во Флитскую тюрьму или куда бы еще он ни вздумал направиться, и мы вторим горестному возгласу, которым Бардольф встречает весть о смерти Фальстафа: «Эх, хотел бы я быть с ним, где бы он ни был сейчас, на небесах или в аду!» Думается, что не праздная фантазия тот вывод, который я позволю себе повторить, а именно что здесь Шекспир-поэт, творец, создавая образ, несоизмеримый с тем, что требовалось по ходу пьесы, взбунтовался против Шекспира-практика, осмотрительного человека театра. И мне кажется вполне логичным утверждение, что Фальстаф — это гигантский протест, это вызов, который одна ипостась Шекспира, внутренняя, скрытая от глаз, бросает другой его ипостаси, внешней, тому улыбчивому процветающему драматургу, что уже подумывает о приобретении земельной собственности, а может быть, и дворянского герба.

Если Фальстаф получился намного крупнее и богаче, чем был задуман, так это потому, что его жизненность — результат взрыва взбунтовавшейся стихии. Из того же взрыва, за которым вскоре последовали извержения, землетрясения и жуткий мрак трагедий, родилось и многое другое, чего мы сейчас не рассматриваем, — презрение, и гадливость,

и начало смертельного ужаса, все то большое, что постепенно окрашивает драму из двух частей о Генрихе IV и его сыне. Несчастный умирающий король, который стольким пожертвовал ради власти и так мало получил за свои усилия; его друзья и враги, одинаково лязгающие металлические фигуры, словно и говорящие лязгающими металлическими стихами; заносчивость, гнев, вспыхивающий от одного слова или прикосновения; беззастенчивые измены; поля бесполезных сражений, что еще дымятся, когда уже вынашивается и обсуждается высокопарным слогом новая цепь обманов и лжи,— все это, а также увечья, оспа и чума, проступают все явственнее по мере того, как драма «Генрих IV» близится к концу. Не в более выгодном свете, чем броненосные бароны, предстают и простолюдины: либо они дряхлы и слабоумны, как Шеллоу и Сайленс, либо это карикатурные олухи, как рекруты, нанятые Фальстафом. Сверкающий рыцарский щит словно вывернут наизнанку и кишит червями. И все это не реализм, не простое, прямое описание, каким оно было бы, скажем, у Чосера; слишком много тут примешано большого, слишком много презрения и гадливости; это голос из внутреннего мира человека, выносящий приговор внешнему миру силы и славы, с которым и сам этот человек, может быть, слишком тесно связан. Он восстает и бунтует против самого себя. Йейтс утверждал, что мы творим поэзию из споров с самими собой; и Шекспир с его богатой, но глубоко расщепленной сущностью до самых последних лет жизни был всегда готов вступить в такой спор. Одна его половина, внешняя, сознательная, высоко ценила порядок и терпеть не могла беспорядка в каком бы то ни было виде; ее можно назвать консервативной, респектабельной, конформистской. Другая половина, та, что хваталась за перо, когда в Шекспире просыпался творец, неистово бунтовала против упорядоченного мира, и как раз огневая сила этой его потаенной сущности и породила самых крупных его героев. Все они бунтари, каждый по-своему,— Гамлет, Клеопатра, Фальстаф.

Секрет Фальстафа состоит в том, что его властность, смекалка, энергия, талант— все, из чего складывается предводитель,— поставлены на службу не силе и славе, а радости. Когда мы смотрим его на сцене, оценить эти превосходные качества нам мешает обложенный подушками актер, который пыхтит, сопит и кряхтит, изображая жирного старика. Но Фальстаф носит свои годы и свой жир так, словно это род потешного мундира, лишний повод для смеха, и сам же удачнее всех шутит над своим возрастом и своей тучностью. Его расплывшаяся фигура не должна вводить нас в заблуждение; глаз его все подмечает, ум на диво ясный, гибкий, цепкий, быстрый, как молния, но это не молния, а зарница, ни для кого не опасная. Фальстаф— великий человек, куда более великий, чем Болингброк или любой из его склочных

баронов, но это очень необычный великий человек: движут им не честолюбие и жажда власти, ему нужна только легкая жизнь, веселая компания, своя и наша радость. Он — Александр, Цезарь и Наполеон, но не там, где сражаются армии, реют флаги победы и рушатся царства, а на бесшабашных пирушках, в кругу смеющихся приятелей. Если остроумию, юмору, веселью полагается император, он первый кандидат на этот престол. И почему бы качествам предводителя не послужить для разнообразия чему-то далекому от требований честолюбия, жестокости, смерти? Триумф Фальстафа объясняется не тем, что его сцены — комическая разрядка в мрачной хронике о Болингброке и его противниках. Переносясь из царства Болингброка в царство Фальстафа, мы испытываем несказанное душевное облегчение; блеск стали превращается в огонь камелька, в сияние свечей и золотые искры в хересе; закованные в железо владыки и воители исчезают, и мы окружены добрыми друзьями и собутыльниками, и в очарованном воздухе носятся «легкие, пыльные, игривые образы». Там, где оба царства смыкаются и сталкиваются, как в батальных сценах, наши симпатии тоже целиком на стороне Фальстафа. Он знает, что он смешон, а значит, у него хватает ума видеть себя со стороны, и это вызывает уважение; остальные же, при всей их гордыне и высоких постах подобные невоспитанным драчунам, смешны, но не знают этого. В третьем царстве, незримом, но непреходящем царстве ума и духа, Фальстаф не мишень для их шуток, но их учитель.

Его распутство, его вранье и беспардонное нахальство — все это мы должны принять, но ошибется тот, кто вообразит, что достаточно добавить к этим свойствам остроумие и чувство юмора, и тогда портрет будет полным. Он не вмещается в категорию симпатичных мошенников. В нем перемешаны и слиты воедино черты, обычно несовместимые. Суждения его сугубо трезвы; он, бесспорно, самый прозорливый персонаж во всей пьесе; он не страдает таким обычным для англичанина пороком, как самообольщение; мир, в котором он пребывает, отлично зная себе цену, — это реальный мир, где раны суть раны, трупы суть трупы, а ханжество и вздор — вздор и ханжество. И при этом Фальстаф, хоть и говорит прозой, несомненно, один из величайших поэтических образов, созданных Шекспиром; он существует в атмосфере, не лишенной романтики; это, можно сказать, архетип, почти символический пример личности, вознесенной на небывалую высоту остроумия и юмора, плотских утех и легкой жизни; он — как видение из постоянно посещающего нас сна, столь же, может быть, древнее, как стакан вина и свет камина из сна про грандиозные ночные похождения, про нескончаемый праздник. Если этот сон перестает нас посещать, значит, наша молодость кончилась и не вернется.

Так что когда Фальстаф говорит путникам, которых грабит, что «молодым тоже надо жить», или когда он с великолепным нахальством заявляет верховному судье «где уж вам, старикам, понять нас, молодежь»,— он не только смеется над собственными сединами: мы чувствуем за его словами нестаряющую душу. Когда он, мгновенно раскусив Шеллоу и Сайленса, говорит нам: «Господи боже мой, до чего же мы, старики, любим приврать!»— мы и тут чувствуем, что душа, умершая в них, в нем еще жива, что взгляд его незамутнен и ясен, а у них затуманен старостью, самообманом и тупоумием. Наш превосходный литературовед Уолтер Рэли в своей биографии Шекспира так сливает воедино поэта и его творение: «Со смертью Фальстафа кончилась молодость Шекспира. Все это золотое время в Лондоне, эти дни и ночи, проведенные под знаком свободы, приключений и погони за новыми удовольствиями, словно воплотились в образе этого старика, друга и союзника молодых». Лучше не скажешь, однако нам стоит присмотреться к отношениям между поэтом и созданным им персонажем немного внимательнее, чем Рэли.

Мы уже видели, что Шекспир— популярный драматург, осмрительный и удачливый человек театра, задумал написать три пьесы про Генриха— сначала принца Хэла, а затем короля Генриха V, триумфатора и героя; но от Шекспира— поэта, творца и бунтаря, он получил в дар больше того, что требовалось ему для развития сюжета. Фальстаф, этот колосс, грозил сломать всю структуру пьесы и отвлечь сочувствие публики от тех, кому оно было предназначено: он занял слишком много места и завладел всеобщим вниманием. И мы, продвигаясь по его следам сквозь две части «Генриха IV», не раз можем уловить конфликт между тем Шекспиром, которому он был нужен лишь как комическая разрядка, и другим Шекспиром, тем, который, сам того не сознавая, старался углубить, разукрасить, расцветить этот образ, эту фигуру, вылившуюся в символ его собственной бунтарской энергии, его любви к той жизни, какой не увидишь ни при дворе, ни на поле боя. В первой своей сцене, в покоях принца, Фальстаф произносит несколько удачных реплик, но еще не развернулся в полную силу. Здесь он, можно сказать, еще играет ту самую роль, на какую сперва намечался,— он просто вожак в разгульной ораве принца. И конечно, именно в конце этой сцены, после того как принц и Пойнс составили свой гэдсхиллский «заговор», принц, оставшись один, декламирует:

Я знаю всех вас, но до срока стану  
Потворствовать беспутному разгулу—

и сообщает нам, что намерен подражать Солнцу, когда оно после долгого ненастья выглядывает из-за туч к вящему восторгу людей. Это препротивный монолог. В нем больше

холодного расчета и самолюбования, чем требуется по ситуации. Квиллер-Куч, справедливо считая, что монолог написан Шекспиром, высказывает предположение, что он был добавлен к данной сцене позднее, когда уже была закончена вся пьеса, потому что главный актер, игравший Генриха, потребовал для себя каких-то слов, в которых принц мог бы отмежеваться от своей предосудительной компании. Это возможно. Но, на мой взгляд, Шекспир перестарался: монолог этот только ослабляет нашу симпатию к принцу, а все потому, что автор, уже прозревая заложенные в Фальстафе возможности, лишь с натугой заставляет себя придерживаться первоначального плана. Он вкладывает в уста принца Генри речь, мягко говоря, бестактную, потому что сам уже относится к нему двойственно.

Там, где дело касается юмора, у каждого свой вкус, и я говорю только от себя лично, когда утверждаю, что сцены в Гэдсхилле и следующая за ними длинная сцена в трактире, если не считать редких блесков остроумия, еще не показывают нам Фальстафа во всем его величии. Мне кажется, что сначала центром внимания в этих сценах должен был служить принц, а Фальстаф — лишь мишенью для его шуток, но по мере того как писалась сцена в трактире, уже после ограбления, Фальстаф стал набирать силу. И тут он еще не достиг своих вершин. Это произойдет только к концу третьего акта, скорее всего в его речи, обращенной к Бардольфу и заканчивающейся словами: «Компания, дурная компания, вот что меня сгубило». К тому времени, когда мы видим его на войне, он уже полностью созрел. Взять хотя бы его рассказ о том, как он сперва навербовал робких мальчиков из состоятельных семей, а те тотчас же выкупились, и пришлось ему набирать в свой отряд всякий сброд: «Можно подумать, что я набрал полторы сотни одетых в лохмотья блудных сыновей, которые еще недавно пасли свиней и питались помоями и отбросами. Какой-то олух, встретившийся мне по дороге, сказал, что я, мол, обобрал все виселицы и навербовал покойников. Свет еще не видывал таких пугал. Ясное дело, я не могу провести их через Ковентри, ведь эти мерзавцы бредут раскорячившись, точно у них на ногах кандалы. Да и впрямь большинство из них я набрал по тюрьмам. Во всем моем отряде едва найдется полторы рубахи...»

Не менее смачны его замечания относительно этих людей в разговорах с Уэстморлендом и принцем Генри, вроде «Пушечное мясо, пушечное мясо! Они заполнят могилу не хуже других»; его знаменитый монолог о чести и дальше, разумеется, все, что он по разным поводам изрекает во время битвы при Шрусбери. Здесь, среди перестрелок и схваток, ему дозволено поделиться кое-какими характерными наблюдениями, например: «Не надо мне такой загробной чести,

какой добился сэр Уолтер Блент. Я хочу жить, и если смогу выжить — отлично, если же нет, честь придет незваной, и тогда всему конец». Но драматург, добравшись до этих финальных сцен «Части первой», пользуется случаем вознести принца высоко над Фальстафом. Обратите внимание на его слова, когда он думает, что Фальстаф мертв:

...Бедный Джек, прощай!

Ты мне дороже был мужей достойных.

О, я уход оплакивал бы твой,

Когда б не распростился с суетой.

Фальстаф, притворяясь мертвым, слышит весь этот монолог, и ему следовало бы получше запомнить две последние из процитированных мною строк. Все дальнейшее — когда он взваливает на спину труп Готспера, а затем выдумывает, будто сам и убил его, — не очень ловко состряпано, во всяком случае на мой взгляд, хотя в рассказе Фальстафа содержится одна из тех точных деталей, какими всегда бывает отмечена поистине виртуозная ложь: «Не отрицаю, я лежал на земле бездыханным, и он тоже, но мы вскочили в один и тот же миг и сражались добрый час по шрусберийским часам...» И если, как я подозреваю, в этих финальных сценах части первой чего-то не хватает, если в них чувствуется искусственность, переусложненность, следы спешки, так это, мне кажется, потому, что здесь драматургу пришлось почти грубо отстранить поэта, чтобы доказать свою точку зрения, дотянуть сюжетную линию, поставить точку. Эта работа предполагает сокращение текста, Фальстаф же, как и юмор вообще, склонен растекаться вширь и, значит, в данном случае терпит кое-какой урон.

Нам не известно в точности, когда и как были написаны эти две пьесы о Генрихе IV. Доктор Джонсон и большинство литературоведов после него вполне резонно рассматривают их в согласии с заглавием, как две части одной пьесы, разделенной пополам просто для удобства постановки. Возможно, что Шекспир и правда сразу перешел от части первой к части второй, словно писал одну длинную пьесу. Но мне это кажется маловероятным. Мне видится между ними довольно длинный перерыв, чем и объясняется впечатление, что «Часть вторая» не просто продолжение «Части первой», хоть в ней в большинстве фигурируют те же люди, жившие в царствование того же короля, — это совсем другая пьеса. Она, как и все пьесы Шекспира, существует в своей особой атмосфере. Ее светлые точки ярче, а тени темнее; она и смешнее и трагичнее. Она более равномерно поделена между общественной и частной жизнью, между двумя царствами — царством Болингброка и принца Генри и царством триумфатора Фальстафа; разрыв между ними расширяется до самого финала (когда брешь, конечно, насильственно заделывается). Обе ипостаси сознания и духа Шекспира как будто чувствуют

себя здесь вольготнее: на одном полюсе — драматург-политик, вознамерившийся прославить наконец-то достигнутый общественный порядок и национальное единство в лице Генриха V, на другом полюсе — поэт и безудержный юморист, сумевший создать Фальстафа. Контраст здесь более подчеркнут, чем в «Части первой», но за этими двумя контрастными фигурами мы ощущаем третьего Шекспира. Это сам автор, человек, который никогда не высказывает свои взгляды в открытую, о них можно только догадываться, но многим кажется, что сейчас, на наших глазах, в мире, все глубже погружающемся во тьму, он переходит от недоумений к полной безнадежности. Во всем Шекспире не найти более уморительных сцен, чем здесь, в «Части второй» «Генриха IV», и неудивительно, что их породило растущее отчаяние. Уже на подходе трагедия, черная и яростная; но сейчас, в сумерках, еще есть время насладиться блесками остроумия, вспышками юмора, короче говоря — Фальстафом, пока его не уволит со сцены как поверженного быка.

Обратите внимание на первое появление Фальстафа в «Части второй». Не осталось и видимости, будто он — всего лишь самый старший, самый толстый и самый остроумный из свиты принца. Мало того, что он обрел собственное существование, проявил себя как крупная, победоносная личность, он даже сам осознал себя как личность, почти как символ. Помните, что он говорит через минуту после того, как вышел на сцену?

«Всякого рода люди за честь почитают позубоскалить на мой счет. Мозг человека — этого плохо спеленного комка глины — не в силах выдумать ничего смешного, кроме того что выдумал я или что выдумали на мой счет. Я не только сам остроумен, но и пробуждаю остроумие в других».

Здесь, в части второй, он существует независимо от принца Генри; в своем царстве он теперь самодержавный властелин. Во всех лучших сценах мы видим его с верховным судьей, затем с трактирщицей миссис Куикли, с Долл Тершит и Пистолем в трактире, с мировым судьей Шеллоу, с рекрутами и Сайленсом... но только не с принцем. Повторяю, о вкусах не спорят; но на мой взгляд, длинная сцена в трактире с бессмертной репликой Долл Тершит: «Ну, ладно, помиримся, Джек. Ты едешь на войну, и кто знает, встретимся ли мы еще с тобой» — не выигрывает, а проигрывает оттого, что к концу ее появляются принц и Пойнс, переодетшиеся трактирными слугами, чтобы разыграть свой последний, малоудачный фарс. Впрочем, одну реплику Пойнса здесь стоит запомнить: «Милорд, если вы не остережетесь, он отвлечет ваши мысли от мщения и обратит все в забаву». Какое это поразительное умение — отвлечь мысли любого человека или группы людей от мщения и все обратить в



забаву! Один такой Фальстаф в ООН стоил бы дороже тех миллиардов, которые мы тратим на вооружение.

Во всей комической английской литературе не найдется ничего подобного тому, что происходит в доме или около дома судьи Шеллоу в Глостершире, как на сцене, так и за кулисами. Пусть Шеллоу, Сайленс и олухи-рекруты—шарж, наспех очерченный рукою мастера; но всякий, кому довелось побывать в захолустных уголках провинциальной Англии, если он не слеп и не глух, согласится, что эти карикатурные фигуры вовсе не вымерли, они живут среди нас по сей день и только Фальстаф—увы!—ушел со сцены. И даже среди этой клоунады мелькают проблески правды и глубокого чувства, например в смешении настоящего и прошедшего времени в стариковских реминисценциях Шеллоу и Сайленса; или в неожиданном проявлении стойкости у Мозгляка: «Ей-богу, мне все нипочем: смерти не миновать. Ни в жизнь не стану труса праздновать. Суждено мне умереть—ладно, не суждено—еще лучше». Я лично с удовольствием посидел бы после обеда в саду у Шеллоу, потягивая вино, закусывая яблоками и лепешками с тмином и слушая, как неожиданно разошелся доселе молчаливый Сайленс. Сквозь обрывки пьяных песен, сквозь икоту и отрыжку этих мужланов мы невольно ощущаем неумирающую поэзию английской деревни. Этой поэзией напоена пасторальная интерлюдия в конце симфонического этюда Эльгара «Фальстаф», произведения, к сожалению, малоизвестного, но, безусловно, превосходящего его более популярные вариации «Загадка». Так фонарь, зажженный Шекспиром, через века вдохновил композитора начала нашего века и озарил его партитуру.

Нам не раз, и не без оснований, предлагалось отметить, как в этих последних сценах Шекспир заставляет Фальстафа ронять себя в наших глазах. Мы, конечно, не сомневаемся, что Фальстаф выжмет все возможное из старого дурака Шеллоу—это у него в обычае, мы к этому готовы,—но его подмигивания и ужимки ненатуральны и слишком грубы. И предвкушение власти и влияния, которые его ждут теперь, когда Хэл стал королем, нарочито и режет слух. «Требуйте лошадей у кого угодно. Все законы Англии к моим услугам». Это уже произвол, такого самодура хочется осадить; но это не совсем тот Фальстаф, к которому мы привыкли; чувствуется, что автор торопит и подталкивает его, подготавливая сцену отречения. Однако еще до того, как эти зловещие приготовления достигнут апогея, мы услышим самый замысловатый из монологов Фальстафа, это такое прославление несравненных достоинств хереса. Монолог этот, как мы помним, следует за разговором между Фальстафом и холодным, расчетливым принцем Джоном Ланкастерским, который только что подавил мятеж, прибегнув к подлейшему вероломству. Уходя, Ланкастер говорит:

Прощайте, сэр. Мой сан велит о вас  
Дать лучший отзыв, чем вы заслужили,—  
на что Фальстаф, оставшись один, отвечает:

«Дай бог, чтоб у тебя хватило на это ума, это было бы почище твоего герцогства. Клянусь честью, этот рассудительный юнец недолюбливает меня. К тому же его ничем не рассмешишь, но это неудивительно, ведь он не пьет вина».

Затем Фальстаф объясняет нам, как добрый херес «ударяет вам в голову и разгоняет все скопившиеся в мозгу пары глупости, мрачности и грубости, делает ум восприимчивым, живым, изобретательным, полным легких, пылких, игривых образов, которые передаются языку, отчего рождаются великолепные шутки...».

Возможно, все это продиктовано вином, но может быть порождено и поэтическим воображением, от которого наши принцы Джоны, занятые мыслями о власти и карьере, предпочитают держаться подальше: в их мышинею возне оно не служит подспорьем.

За тем же принцем Джоном остается последнее слово после возгласа короля «Прохожий, кто ты, я тебя не знаю. Молись усердней, старый человек» и дальнейших его приказаний изгнать Фальстафа под страхом смерти прочь на десять миль. Принц Джон возвращается с верховным судьей и стражей, которые и препровождают его вместе с его приспешниками во Флитскую тюрьму. Не кто иной, как он, восклицает: «Мне по душе поступок государя!», после чего сам же и завершает пьесу такими словами:

Готов ручаться: не пройдет и года,  
Как наш король огонь и меч пошлет  
Во Францию.

Прибавим от себя, что сей огонь, уничтожив сотни замков, деревень и городов, населенных простыми людьми, жаждащими одного—чтобы их не трогали,—запалил хвост костра под Жанной д'Арк. Итак Генрих, отрекшись от себя прежнего, теперь прочно сидит в седле, братец Джон ему подпевает, а Фальстафа мы больше не увидим. В пьесе «Генрих V» ему уже не было бы места, поэтому он и умирает за сценой. Шекспир больше не в силах вести одновременно две несовместимые линии, предоставляя равные права двум сторонам своей натуры; неистовая творческая сила, потраченная на Фальстафа, в «Генрихе V» никак не проявляется, он ждет рождения великих трагических героев, и с их появлением будут забыты история и политика. Пока же за дело берется драматург, а поэт, пожав плечами, уступает ему место; и Фальстафу остается одно—умереть. Правда, некий персонаж под тем же именем, такой же комплекции и с прибаутками, словно бы позаимствованными у настоящего Фальстафа, затесался в пьесу «Виндзорские насмешницы»,

фарс до того скучный, что мухи дохнут. Меня, во всяком случае, больше не заманишь его смотреть. Скажу больше — мы окажем услугу памяти Шекспира, если вообще перестанем ставить на сцене эту халтурную поделку. Настоящего Фальстафа мы видим в последний раз, когда его утаскивают в тюрьму в конце второй части «Генриха IV». Закулисный персонаж, который кается и умирает в «Генрихе V», так же далек от нашего Фальстафа, как тот жирный виндзорский шут: ведь наш-то, горячо любимый, так и остался нераскаянным и бессмертным.

Шекспир, поэт и бунтарь, создал образ, превосходящий Генриха V, но другому Шекспиру, драматургу и пайщику театра «Глобус», понадобилось пожертвовать им ради Генриха. Хозяином пьесы должен был стать король, патриот и герой. Надлежало показать, что английский народ, раздираемый междоусобицами в стольких исторических драмах, теперь объединился вокруг сильного и доброго короля (как будто к власти уже пришли Тюдоры!). Но изобразить это единство народа и Короны, это рождение английской нации и взаимопонимание между истэблшментом и чернью, притом что все это вытекает из перелома в душе и в мыслях Генриха, с восторгом принятого в ряды солидных, порядочных государственных мужей, — все это можно было показать только при условии, что Фальстаф будет разоблачен, изгнан, заточен в тюрьму. Раньше, когда Фальстаф и верховный судья встретились на улице и между ними состоялся словесный поединок, Фальстаф легко одержал победу. Сделал он это по-своему, необходимо, даже не пробовал упечь верховного судью куда-нибудь подальше, а просто внушил ему, что гневаться нечего, опутал смехом и шутками, «все обратил в забаву». А потом король Генрих, распинаясь перед верховным судьей, скажет ему:

Вот вам моя рука. Отцом мне будьте;  
Что вы шепнете мне, я вслух скажу  
И волю подчиню свою смиренно  
Советам вашим мудрым и благим.

И наставник не замедлит отправить Фальстафа во Флитскую тюрьму. Верховный судья не такой, каким покинул его Фальстаф после их словесного поединка, терпимый, снисходительный, благодушный, но злобствующий и нетерпимый вершитель правосудия — вот кто теперь торжествует победу. Фальстаф обезврежен, Нация едина. Народ и Корона приведены к согласию; истэблшмент благосклонной улыбкой отвечает на ликующие крики толпы, а Фальстаф (и все то, что он символизирует) твердой рукой, можно даже сказать — безжалостно изгнан со сцены. Англия будет жить дальше без Фальстафа.

Что и говорить, в этом малопочтенном персонаже есть много неприемлемого, такого, что не служит украшением

нам, англичанам, ни тогдашним, ни теперешним. Ложь, обжорство, пьянство, разврат, лживость не заслуживают одобрения. Тут Шекспир с нами честен. Он ни на минуту не забывает, что эти исторические драмы разыгрываются в реальном мире. Оберон и Пэк уже потешили нас. Просперо и Ариель еще не родились. Здесь, в этих хрониках о королях, допустимы кое-какие писательские домыслы о людях и событиях, но сами мы прочно стоим на земле — никакой магии, никаких чудесных превращений, и причины неизбежно вызывают следствия. Шекспир ясно показывает нам, к чему может привести Болингброка или графа Нортумберленда жажда власти, но столь же наглядно показывает и то, как безответственность и плотские утехы могут превратить сэра Джона Фальстафа в старого враля и пьянчужку, готового обобрать одряхлевшего приятеля, по глупости ему доверившегося. Картина эта не из приятных. Как говорит король Генрих в своем пресловутом монологе:

Седины, право, не к лицу шутам.  
Мне долго снился человек такой,  
Раздувшийся от пьянства, старый, грубый...

Вот это, несомненно, и подлежит изгнанию. И король Генрих, и его брат Джон Ланкастерский говорят, что, пока Фальстаф не остепенится, его не желают больше видеть при дворе. Все они изгоняются, говорит Ланкастер, «до той поры, когда их поведение не станет и разумней и скромней». Но в Фальстафе, который мог бы показаться разумным и скромным этому молодому принцу с рыбьей кровью, мы бы не узнали Фальстафа; да что там, он и не был бы Фальстафом. Он тогда уподобился бы самому Ланкастеру, тоже не мог бы «все обратить в забаву». Такого мы и пять минут не захотели бы слушать, а вот нераскаянному Фальстафу, тому, что обречен на изгнание, уже три века рукоплещут критики, и среди них такие строгие моралисты, каким я, например, и в подметки не гожусь. Так что если официальная Англия в лице Генриха V полностью отмежевывается от Фальстафа (а именно это и происходит, поскольку исправившийся Фальстаф, приемлемый для Ланкастера и верховного судьи, уже не был бы Фальстафом), значит, эта Англия лишает себя всего фальстафовского. Может быть, ей и хотелось бы, чтобы и волки были сыты, и овцы целы, но получается, что вместе с тем, что есть в Фальстафе дурного, она отвергает и то, что в нем есть хорошего. А в нем, как мы уже видели, есть много на редкость хорошего. Но давайте повнимательнее присмотримся к тому, что сбрасывается за борт государственного корабля.

Начать с того, что Фальстаф, который способен беспардонно врать, обычно и не ожидая, что ему поверят, никогда не лжет сам себе. Других он может обманывать, хотя удается

это ему редко, но себя не обманывает. Вместо того чтобы затуманивать себе мозги, как то делают столько англичан, особенно из тех, кто наделены властью, он сохраняет ясную голову, прозорливый ум, широкий взгляд на вещи. Его суждения, как я уже указывал, безупречно трезвы. Когда он болтает вздор, он знает, что болтает вздор, и в самом деле «все обращает в забаву». А не повинен он именно в том, в чем английских бюрократов обвиняют уже сотни лет: он не пользуется ханжеским жаргоном, не изрекает торжественного и опасного вздора, рожденного лицемерием или старательным самообманом. Англия выдает такие словеса тоннами, и Фальстаф распознал бы их с первого взгляда. Если требуется пример, можно найти его в уже цитированном куске из обращения короля Генриха к верховному судье. Напоминаю:

Вот вам моя рука. Отцом мне будьте;  
Что вы шепнете мне, я вслух скажу  
И волю подчиню свою смиренно  
Советам вашим мудрым и благим.

По-моему, это ханжество и вздор. Это — и здесь я раз в жизни процитирую Шекспира в упрек Шекспиру — то самое «искусство елейно, гладко говорить не то, что есть». Когда король Генрих обещает во всем слушаться верховного судью, он, если верит в то, что говорит, обманывает себя, а если знает, что не сдержит обещания, — лицемерит. В обоих случаях он изрекает ханжеский вздор. От одного взгляда Фальстафа этот напыщенный юный притворщик скапустился бы, только и осталось бы от него, что струйка дыма да скверный запах. Это и есть одна из причин, почему королю Генриху пришлось изгнать Фальстафа и почему Шекспиру, который, может быть, знал, а может, и не знал, сколько подобного вздора еще будет произнесено, пришлось его умертвить.

С тех пор у нас, англичан, больше не было ни одного Фальстафа, но зато ханжества все прибавлялось. Свыше ста лет тому назад на эту тему распространялся у Пикока мистер Кротчет. «Там, где у греков была скромность, — говорит он, — у нас ханжество; где у них была поэзия, у нас ханжество; где у них был патриотизм, у нас ханжество; где у них было что-либо, способное вдохновить, усладить или украсить человечество, у нас сплошь ханжество, ханжество, ханжество». Если со времен мистера Кротчета и произошли перемены к лучшему, мы их почему-то не заметили. Теперь мы слышим ханжеский жаргон от церковников, благословляющих водородную бомбу. Во всем мире за английским истэблишментом и его поклонниками уже давно утвердилась слава мастеров самообмана, лицемерия и вероломства. Наши благочестивые предательства стали притчей во языцех; король Генрих, Джон Ланкастерский и верховный судья

возглавили нескончаемую вереницу персонажей, отягченных титулами, сверкающих орденами, и все они — спасители отечества, мастера по части ханжеского жаргона. Три столетия было не продохнуть от него в печати, теперь им заражен эфир. Но справедливость требует добавить, что у изгнанного Фальстафа тоже нашлись последователи и они сберегли его зоркий глаз, светлый ум, трезвость суждений. Свифт и доктор Джонсон, Филдинг и Стерн, Хэзлитт и Карлейль, Диккенс, Пикок и Мередит, Уайльд, Шоу и Уэллс, да и многие другие, каждый по-своему, ополчались на ханжество, рискуя изгнанием в том или ином виде, а иногда и подвергаясь остракизму. Как-никак, ведь и Фальстаф, и поэт, создавший его, тоже были англичанами. На нашем острове произрастает не только яд, но и противоядие. Но сейчас мне кажется, что есть резон усмотреть нечто символическое в последней сцене «Второй части» «Генриха IV», где решается участь Фальстафа. Словно в сознание Шекспира, разлившееся широко, как река в половодье, пока он работал над пьесой, проникло смутное предвидение того, что произойдет с Англией и англичанами в ближайшие столетия. Словно это ему на мгновение достался «вещий взор вселенной всей, глядящей вдаль прилежно».

Если же обратиться к более положительным сторонам личности Фальстафа, то здесь, в свете дальнейшей истории Англии, символизм его изгнания представляется еще более разительным. Здесь я позволю себе повторить уже сказанное выше: секрет Фальстафа заключается в том, что его власть, смекалка, энергия, талант — свойства, из которых складывается предводитель, — поставлены на службу не силе и славе, а радости. Он очень необычный великий человек, потому что предпочел не честолюбивые замыслы и погоню за властью, а легкую жизнь, веселые утехы, круг добрых друзей. Многочисленная и влиятельная группа внутри английского общества всегда, от Шекспира и до наших дней, ощущала, что такая позиция нежелательна. Она не поможет ни основать империю, ни нажить состояние, ни утолить жажду власти. В том, что Фальстаф, эта грандиозная личность, своего рода гений, умеющий и повелевать, и подслуживаться, свернул с большой дороги на нехоженые тропинки, променял королевский двор и бивак на трактир, а прибыли и власть на веселье, усматривали чудовищное предательство. Прогнать этого безобразника с глаз долой, в тюрьму его, чтоб не мешал нам заниматься важными делами. Нужно созывать парламент, собирать деньги, снова вторгнуться во Францию! Вспомните: «Милорд, если вы не остережетесь, он отвлечет ваши мысли от мщенья и все обратит в забаву». С этими разлагающими настроениями надо бороться. Ведь предстоит наживать состояния, жечь французские деревни, вешать крестьян, пробираться на высокие посты. А Фальстаф

предлагает нам бездельничать и балагурить в трактирах. *Пора с ним покончить.*

Еще в те времена, когда Шекспир писал: «Я тебя не знаю, молись усердней, старый человек», в Англии было распространено и набирало силу смутное предубеждение против наслаждения жизнью. Можно сказать, что не было дня, когда Фальстафа не изгоняли бы и не увозили в тюрьму. Мы охотно толкуем о золотом веке елизаветинской драматургии, даже наши политические деятели после сытного обеда не раз отзывались о ней положительно. Но предубежденность против наслаждения жизнью уже начинала сказываться. Лондонский муниципалитет, «отцы города», до того не любили актеров и представления, что театры строились за городской чертой, где были им неподвластны. Хождение в театр именовалось «нерачительной тратой денег». Когда Шекспир был подростком и жил в Стратфорде, туда наезжали разные актерские труппы; но уже примерно в то время, когда он заставил своего короля-героя изгнать Фальстафа, стрэтфордский муниципалитет был занят изгнанием всех театров вообще. В этом он, как тогда писали, только «следовал примеру других разумно управляемых городов, больших и малых». Сделав скачок вперед, в наше время, в годы после второй мировой войны, могу добавить, что за это время в Англии закрылось не менее ста семидесяти пяти театров, и причиной тому вовсе не воинствующее противодействие пуритан, а равнодушие и пренебрежение публики: люди теперь предпочитают сидеть дома у телевизоров и глазеть на рекламу моющих средств и зубной пасты. А заодно — что уже хуже — ругать актеров, полагая, подобно пуританам старых времен, что они — «демоны, ниспосланные нам их великим полководцем Сатаной», либо не смотреть их в театре, потому что приятнее на них любоваться, когда они в рекламных передачах притворно восхищаются смазочными смесями и эликсиром для полоскания. Нет, по мне старые пуритане лучше. Люди, способные толковать о «великом полководце Сатане», могут породить что-нибудь стоящее, например Кромвеля и Мильтона; тогда как безмозглые рабы рекламных агентств не породят ничего, кроме новых рекламных агентств и новых безмозглых телезрителей.

Мы знаем, что еще в самом начале XVII века Англию — некогда «веселую старую Англию» — стали считать страной безрадостной, разучившейся веселиться. Все чаще иноземные гости, покидая наши берега, выразительно пожимали плечами и, невзирая на ужасы предстоящего им морского переезда, радовались, что распростились с этим унылым островом. Объяснять это принято влиянием пуритан. Но пуританство достойно осуждения, только если понимать это слово в самом широком смысле, а тогда оно имеет лишь очень отдаленное отношение к тому, что думали и чувствовали в старину

подлинные пуритане, носившие в сердце гневного Бога и неугомонного, бесконечно изворотливого и лукавого Сатану. И здесь, по-прежнему помня о Фальстафе, не следует смешивать две разные вещи. Ни Генрих V, ни Джон Ланкастерский, ни верховный судья не были пуританами. Шекспир, создавший Фальстафа только с тем, чтобы в конце его изничтожить, был, как и все актеры и драматурги, врагом пуритан. И все же Фальстафа требовалось развенчать и убрать с глаз долой. Почему? Потому что он олицетворяет нечто анархическое, неуправляемое, не укладывающееся в привычные понятия власти, собственности, социального положения, что он издевается над официальным ханженством в точности так, как сами театры издевались над мэром и олдерменами Лондона. То, что с ним произошло—словно Шекспир уже прозревал будущее своей родины,—символизирует своеобразный раскол в английском характере и в жизни Англии, где Фальстафы вновь и вновь рождаются и тут же становятся жертвами гонений. Их противники и гонители, ненавидящие легкую жизнь и веселье, остроты и шутки,—это не пуритане, одержимые идеей Бога и пекущиеся о спасении души, таких сравнительно мало. Нет, это все те, начиная с заправил истэблишмента и кончая толпами, осаждающими их ворота, которые все чего-то домогаются, от верховной власти до самой серенькой респектабельности, и чураются искренности, широты взглядов, забавы. Долой Фальстафа! Он нам не по карману. Этот дух отрицания, подозрительный и угрюмый, дает себя чувствовать среди купцов и строителей империи, за мрачными ужасами промышленного переворота, от которых в страхе отшатываются заморские гости, в изошренном лицемерии викторианства, которое гневно обличали все великие писатели-викторианцы. Он жив до сих пор, этот антифальстафовский дух. Так, например, все наши друзья-иностранцы с удивлением обнаруживают, что в тот самый час, когда в других столицах поднимают стаканы за веселье и дружбу, в Лондоне стаканы собирают и уносят и лампы в трактирах гаснут. Наши законодатели, которые вольны наполнять свои стаканы в любое время суток, боятся, как бы не вернулся Фальстаф и не отнял у них бразды правления.

Будь у меня достаточно времени и места, я попытался бы показать, как этот дух отрицания, это подозрительное отношение к радостям жизни, этот страх перед Фальстафом отлучил от Англии самых талантливых ее сыновей, нередко исковеркав всю их жизнь. Это случалось раз за разом, во все эпохи. Сейчас у меня хватит места всего для одного примера, для нескольких слов об Оскаре Уайльде. Я готов допустить, что Уайльд написал и наговорил много высокопарной и зачастую безвкусной чепухи об искусстве, которому он, кстати сказать, из лени и отсутствия силы воли не посвящал



себя безраздельно, как подобало бы художнику. Подлинным и прекрасным в этом расфранченном, завитом и надушенном великане были его чисто фальстафовские свойства — легкость и веселость, остроумие и юмор, благодаря которым он становился душой любого общества. Все, что мы о нем знаем, доказывает, что человек он был щедрый и сострадательный; никого не совращал, но становился легкой добычей для молодых людей, совращенных другими; грех, за который его посадили в тюрьму и сгубили, был так распространен в Лондоне, что с тем же успехом его могли арестовать за пристрастие к одеколону. Холодная свирепость Закона, оргия ханжества в прессе, вой и твяканье обывателей показали тогда англичан всех состояний в наихудшем свете. В сущности, Уайльд пал жертвой этого духа отрицания, этой завистливой ненависти к веселью, краскам, блеску, ко всему, что отказывалось служить официальным авторитетам или шло в разрез с пресными правилами приличия и респектабельности. Еще раз Фальстаф был отвергнут и изгнан. Пророчество, таившееся в последней сцене «Части второй» «Генриха IV», сбылось, как сбывалось оно снова и снова до того многообразно, что всего и не перечислишь. Но все это касается теневой стороны национального характера, а Шекспир, как-никак, англичанин, да и Фальстаф тоже. Вся эта беззаконная легкая жизнь и забавы, эти остроты и шутки — все это такое же английское, как яблоки в саду у Шеллоу. Тень, присущая и нам, как, думается, она была присуща и Шекспиру, осуждает и отвергает эти качества и дарования; но солнце, тоже часть нашей души, когда его не застигают запреты или трусливый конформизм, ценит их и лелеет. И в наши дни англичане все чаще откладывают деньги и наводят справки в бюро путешествий, возникших во всех наших городах, чтобы на летний отпуск уехать за границу, куда угодно, от Норвегии до Южной Италии. Почему они так поступают? Отчасти, думается мне, потому, что, будучи англичанами, они втайне надеются, что какой-нибудь волшебный час где-нибудь за морем «все обратит в забаву» до того прекрасную, беззаботную, веселую, что она возвысится до поэзии, позволит им узреть те «легкие, пыльные, игривые образы». Возможно, что иные из этих людей мечтают о встрече с Фальстафом, ведь они-то знают, что он бес- смертен.

## ЖИЗНЬ, ЛИТЕРАТУРА И ШКОЛА

*В 1960 году, в День благодарения, в Чикаго состоялся съезд Американского национального совета преподавателей английского языка и литературы, отмечавшего свой золотой юбилей. Меня пригласили выступить с речью, что я и*

*сделал в огромном чикагском Оперном театре. Позволю себе добавить, что мне редко бывало так жарко, как в тот день, когда я почти час простоял на залитой светом сцене Оперного театра, и редко бывало так холодно, как в то время, когда мне после выступления без малейшей передышки, не выпив ни глотка спиртного, не утершись полотенцем и даже не присев на стул, пришлось стоять, обливаясь потом, на сквозняке в коридоре, пожимая руки сотням и сотням людей. Это были милые люди, и я уверен, что они очень бы огорчились, если бы узнали, что следующие три дня я был вынужден провести в постели.*

Как правило, люди втайне побаиваются учителей. Отчасти по этой причине учителей все больше загружают работой, не платя им при этом все больше денег. Это мешает ходить по гостям, общаться с людьми, вынуждает их сидеть дома и портит всем настроение. Если я не боюсь учителей — а если бы я их боялся, меня бы здесь сегодня не было, — так это потому, что мой отец был учителем и я вырос среди учителей. В доме у нас их всегда бывало множество, они там вечно ели, пили и спорили. (Не забудьте, с тех пор прошло пятьдесят лет, еда и напитки тогда стоили куда дешевле, а споры были куда безопаснее.) Этим и объясняется, почему сам я уклонился от педагогики, хотя в некоторых справочниках сказано, что когда-то я был учителем. Если бы я когда-нибудь преподавал английский язык и литературу, то едва ли принял бы ваше приглашение. Ведь, приняв его, я оказался бы в положении специалиста, обращающегося к сотням других специалистов, а такая ситуация всегда чревата опасностями; теперь же я могу свободно беседовать с вами, наставлять вас в вашей работе с позиции дремучего невежества. Поэтому вы, надо надеяться, пожалеете меня и не осудите. «Бедняга, — будете вы повторять, наклоняясь друг к другу, — он просто не знает, о чем говорит».

На мой взгляд, лучшее определение того, что такое специалист, найдено в Америке, хотя я, к сожалению, забыл кем. Оно гласит: «Специалист — это человек, который избегает всех мелких погрешностей на пути к Основной Ошибке». Я не сомневаюсь, что в этом своем обращении к вам допущу уйму всяких мелких погрешностей, однако надеюсь, что Основной Ошибки мне удастся избежать. А состоит она, мне кажется, в том представлении, которое владеет сейчас многими умами, хотя вслух его высказывают редко, будто человек — всего лишь случайность в лишенной всякого смысла вселенной. Вот человек и начинает вести себя как случайность, причем слишком часто как несчастная случайность. Уже почти уничтожив своей алчностью и безрассудством одну планету, он мечтает приземлиться на другой, чтобы проверить, нельзя ли изничтожить и ее. Разве не

правда, что людям, которые не желают толком вдуматься в то, до какого состояния они довели нашу Землю, уже не терпится покинуть ее и отбыть в космос, в ничто, либо причалить к луне, мертвее которой ничего и не придумаешь. И эта жажда променять землю на космос, нечто на ничто, жизнь на смерть—не есть ли это отчаянная попытка убежать от самих себя, убыстрить свое движение до такой степени, чтобы и догнать самих себя стало невозможно? Всем нам сейчас грозит опасность запутаться в погоне за ложными ценностями, и, вследствие превратного хода мыслей, среди теорий, порожденных превратным ходом мыслей, есть одна, касающаяся нас с вами особенно близко.

Согласно этой теории, нам предлагается верить, что в младенчестве наше сознание подобно белому листу бумаги и что оно оказывается лицом к лицу с вещественным объективным миром. Тогда воспитание изображается как процесс, сходный с работой гравера, который под сильным давлением накладывает протравленную доску на белые листы бумаги. И самонадеянного школьного учителя можно простить, даже не заподозрив его в каких-либо дурных намерениях, если он попросит женщину—члена педагогического комитета—подойти поближе и посмотреть его гравюры. Но я лично не верю ни в то, что при рождении наше сознание подобно белому листу, ни в то, что нас окружает вещественный объективный мир. Обе эти предпосылки ложны. Точно так же как мы, через тысячи поколений, наследуем наше физическое строение со всеми его сложными функциями, точно так же мы, вероятно, через мозг и симпатическую нервную систему, а возможно и иными, неизвестными нам путями наследуем духовную жизнь, если хотите—душу, с ее не менее сложными функциями, ее моделями реакций и поведения, с ее эмоциональными требованиями и затаенными страхами и надеждами, с ее запасом снов и мечтаний. Только этим, на мой взгляд, можно объяснить то, что представляется многим необъяснимым, а именно—глубокую неудовлетворенность современного человека, у которого появилось столько новых замечательных приспособлений, экономящих его время и силы и помогающих ему жить, а он никак не может отделаться от чувства тревоги, недовольства, разочарования и, сидя в своем комфортабельном новом особняке, страдает от тоски по дому. Горе в том, что ему предлагают довольствоваться второстепенными благами, такими как собственная машина или телевизор, вместо первостепенных, исконных, отвечающих нашим глубинным потребностям. Словно женщине предлагают обменять хорошего мужа или любовника на стиральную машину, словно мужчине вместо спокойного удовлетворения от хорошо выполненной интересной работы предлагают эрзац-удовольствие—ездить в новом автомобиле более внушительных габаритов. Ибо мы, если

можно так выразиться, преисполнены большими надеждами. Если бы мы начинали с нуля, все обстояло бы много проще, хотя и еще плачевнее, в чем можно убедиться, заглянув в ближайший улей или муравейник. Порой мне думается, что если бы мы чаще читали поэтов, мы могли бы обойтись без социологов. В одной строке «Прогулки» Вордсворта больше правды о сути человеческой природы, чем в целых библиотеках нудных социологических рассуждений. «Мы живы восхищением, надеждой и любовью». Я верю в это утверждение, я безоговорочно принимаю его. Оно может служить мерилом любого общества. Там, где восхищение блекнет, надежда умирает, а любовь трудно или невозможно отыскать, там психиатрические больницы переполнены, тюрьмы и концлагери набиты до отказа и разрабатываются планы атомной и биологической войны.

Мы не начинаем с нуля, но с самого начала существуем каждый в своем собственном внутреннем мире, даже если в тайниках его и нет ничего такого, что свойственно лишь кому-то одному. И мы, так сказать, выглядываем из этого своего внутреннего мира наружу. Но что мы там видим? Конечно же, нечто неравнозначное нам самим. Но так ли уж оно объективно? Не мы ли сами поставляем, хотя бы частично, те приборы, чувственные или концептуальные, которыми измеряем этот внешний мир? Если он представляется нам в трех измерениях, а не в двух и не в четырех, так это потому, что мы научились воспринимать его как трехмерный. Если мы не страдаем дефектом зрения, то способны увидеть во внешнем мире широкий диапазон красок, часть которых, надо полагать, люди в давние времена не различали. Открыть же для себя еще более широкий диапазон красок нам помогает как изучение великих живописцев, так и наши собственные скромные упражнения в живописи. А тут Олдос Хаксли рассказывает, как он стал употреблять мескалин и после этого в изумлении глядел на мир, никогда им раньше не виденный, невообразимо преображенный и обогащенный. И бесполезно возражать, что мир, открывающийся под воздействием мескалина, не есть реальный мир. Возможно, в том мире труднее жить и действовать, нежели в мире, который видят большинство людей. Возможно, наркотик снял определенные торможения и запреты, которые мы в себе выработали, потому что людям нужен не мир красоты, чтобы им восхищаться, но такой, который давал бы максимальные возможности для действий. И тут я невольно задаюсь вопросом: а может быть, это наша городская машинная цивилизация сглаживает контуры и гасит краски в том мире, который видит большинство? Может быть, прав был ирландский поэт и мистик А. Е., когда сказал, что мы сами себя обездолили? Этим в свою очередь можно было бы объяснить, почему столько людей в наши дни испытывают

недовольство и разочарование и громко требуют все более грандиозных и кричащих зрелищ, полных насилия, жестокости и крови. И наконец, вспомним афоризм Блейка: «Глупец видит не то же дерево, которое видит умный».

Вот как далеко мы ушли от представления о белых листах, ожидающих, чтобы на них отпечатался образ объективного, вещественного мира. Белый лист оборачивается целым внутренним миром, который мы носим в себе, который придает форму и цвет нашим мыслям и чувствам и порождает наши мечты и сны. И если мы притворяемся, что его нет, тем хуже для нас: он свое возьмет, отомстит нам, как всегда мстил всему нашему поколению. А внешний мир, со своей стороны, хоть и неравнозначен нам, упорно отказывается быть вещественным и объективным, ибо он хотя бы частично есть порождение нашего внутреннего мира, чуть ли не сплошное долгое сновидение. Может показаться, будто этак мы сводим значение внешнего мира к опасному минимуму, а что случается с людьми, которые идут этим путем, показывает медицинская и уголовная статистика. Но если наш внутренний мир—своего рода наследие, тогда, значит, сейчас в жизни этого внутреннего мира чрезвычайно важную роль играет опыт, почерпнутый из внешнего мира нашими неисчислимыми предками на протяжении несчетных тысячелетий. Таким образом, если эти два мира очень несхожи, внешний мир участвует в сотворении внутреннего, а внутренний участвует в восприятии красок и форм внешнего. Глупец и умный у Блейка видят разные деревья, потому что внутренний мир у них неодинаков. Но не настолько он разный, что один видит дерево там, где другой вынужден видеть телеграфный столб, хотя в другом месте Блейк, самый, может быть, бесспорный носитель внутреннего мира, дает понять, что разница в восприятии может быть и больше. Однако в данном случае дерево присутствует безусловно, и я не сомневаюсь, что многие из вас с радостью подвели бы меня к нему и вложили бы мне в руки веревку. Но прошу вас, наберитесь терпения! Туман уже редет, скоро-скоро начнет вырисовываться мой главный довод.

Итак, мы живем в этих двух мирах, очень разных и предъявляющих к нам очень разные требования, однако в известной мере взаимопроникающих, отчего все становится еще сложнее и труднее для понимания. Это относится ко всем возрастам человека, едва только остается позади раннее детство. Но с годами мы либо приучаемся балансировать между этими двумя мирами, не даем им беспрестанно враждовать друг с другом,—словом, достигаем известной мудрости; либо считаемся с одним из них, а другой игнорируем, но это, будьте уверены, не пройдет безнаказанно, и мы постепенно сойдем с ума или, грубо выражаясь, свихнемся. Замечу, кстати, что следовало бы учредить колледжи для

людей, переваливших за сорок, которых необходимо на год-другой изолировать от их работы, повседневных занятий, привычной обстановки и поучить уму-разуму и искусству жить. Это потребовало бы денег, но с лихвой окупило бы те расходы и огорчения, на которые мы теперь идем из-за сумасшедших стариков и старух, не дающих никому покоя и в общественной и в семейной жизни. Но, конечно, не в старости, а много раньше мы вдруг обнаруживаем, что оказались перед ошеломляющей загадкой этих двух миров. Происходит это в последние дни детства и в следующем за ними трудном периоде отрочества, фактически охватывающем почти все наши школьные годы. Вот когда, по выражению Вордсворта, «растущий мальчик не дитя, а узник». Между прочим, это как будто доказывает, что в виде исключения Вордсворт оказался одного мнения с Бернардом Шоу. Помните, Шоу говорит: «Из всего, что существует на земле, нет для невинных ничего ужаснее школы. Прежде всего это тюрьма. Но в некоторых отношениях школа более жестока, чем тюрьма. В тюрьме вас не заставляют читать книги, написанные надзирателями и смотрителем». В раннем детстве, когда нас еще не заставляют читать ничего, даже Бернарда Шоу, нам не приходится жить в двух разных мирах, знать, что есть мир внешний и мир внутренний,—они едины. Мы пребываем в состоянии, которое один французский антрополог назвал *participation mystique*<sup>1</sup>, и уподобляемся первобытным людям. Врата рая еще не закрылись за нами. Луга, где мы резвимся,—и это достаточная причина для того, чтобы не отгораживать маленьких детей от природы целыми милями кирпича и бетона,—все еще чудесные сказочные луга Эдема. И все это—утраченное счастье, исчезнувшая слава, о которой скорбят Вордсворт и другие поэты.

Позднее мы уже не живем в едином волшебном мире. В растерянности мы разрываемся между тем миром, что внутри нас, и тем, что снаружи. Это, понятно, те годы, когда мы оказываемся насильственно отделены от родителей и каждый из нас обнаруживает себя, а потом и сознательно утверждает себя как личность. Когда к этому добавляется, так сказать, новое измерение—секс, для нас начинается отрочество. И тут ошеломляющая загадка двух миров, этот конфликт, эта проблема—назовите как хотите—обостряется до предела. В подростках легко усмотреть голенастых, трудных, непослушных детей, незрелые умы и темпераменты, неожиданно обросшие длинными руками и ногами. (Будучи отцом пяти сыновей—они уже взрослые и сами имеют детей,—я хорошо помню, как подростками они либо кипели и пенились от избытка энергии, либо, внезапно обессилев, валялись на диван, и тогда казалось, что их длинные голые ноги заполняют всю комнату.) Но в подростках можно также

<sup>1</sup> Мистическое участие (*фр.*).

усмотреть мужчин и женщин, еще не научившихся держать в узде свои чувства, еще не вынужденных договариваться с реальной жизнью на условиях, отнюдь не отвечающих их юным представлениям о красоте, добре и правде. Они еще не знают, сколько им предстоит подписать контрактов с мрачными пунктами, набранными неразборчивым мелким шрифтом.

И, вспоминая, с каким восторгом эти подростки смотрели в будущее, раскрывались навстречу жизни, потому что чувствовали инстинктивно, в соответствии с какой-то мечтой, испокон веков присутствующей в их внутреннем мире, что жизнь эта должна быть прекрасна,—я могу лишь еще раз посоветовать на нашу цивилизацию. Ибо, если мы способны обеспечить нашим детям первоклассное образование, мы ничего или почти ничего не делаем для того, чтобы обстановка, в которой им предстоит жить, не была безобразной. Слишком часто случается, что все полученное в школе быстро идет насмарку под влиянием улицы, ради чьей-то гнусной выгоды. Мы допускаем, чтобы этот едва раскрывшийся цветок, надежда подростка на великолепную жизнь, оказался выброшен на помойку. А потом удивляемся, почему, при том, что мы столько тратим на образование, в нашем обществе завелась какая-то гниль.

Однако давайте затворим двери школы и останемся в ее стенах. Здесь нас окружают сотни юных созданий, растерянных, но все еще полных надежды, вопреки ощущению, что живут они не в одном, а в двух мирах, хотя сами они, конечно, не сумели бы так описать свое состояние. Я глубоко убежден... что идеальный посредник между нашей сознательной и бессознательной жизнью, нашим внешним и внутренним миром—это религия. Но такая религия должна бы стать основой жизни для всего нашего общества, охватить все наши установления. А сегодня речь у нас не об этом. Мы сейчас в школе и здесь должны оставаться, окруженные сотнями этих растерянных, но не растерявших надежды юных созданий, заблудившихся между двух миров, и нам предстоит выбрать для них если не идеального, то хотя бы приемлемого посредника, хотя бы мыслимого руководителя и друга. А имя ему, конечно же, Литература. И если вы согласитесь со мной, что литература возникает из столкновения между внешним и внутренним миром человека, и если вы до сих пор следили за ходом моих рассуждений, и ни они, ни я сам вам еще окончательно не надоели, тогда, о преподаватели-англисты, вы не сочтете меня льстецом, если я заявлю—а я это заявлю,—что преподавание английской литературы одна из важнейших профессий, какую только может избрать мужчина или женщина в англоязычной стране. Следует, пожалуй, добавить, что, если вы сочтете-таки меня льстецом, вы побьете рекорд: ведь меня в течение

долгих лет обвиняли, кажется, во всех грехах, только не в подхалимстве и угодничестве.

Сейчас, когда положение наше в общем-то отчаянное, когда нажим и стрессы внешнего мира противостоят таинственным порывам и горьким сновидениям нашего внутреннего мира, мне кажется, что родную литературу нельзя больше рассматривать просто как один из учебных предметов, наряду с географией или историей. Она имеет особое значение, не укладывающееся в школьную программу. Язык и литература могут помочь нам жить в согласии с самими собой, а такая помощь нам сейчас особенно нужна. Современный мир полон людей, которые разучились жить в ладу с самими собой. Поэтому они и жаждут, чтоб их отлучали от самих себя, пусть грубо, насильственно, безобразно. Этим объясняется популярность телевизионных передач, в которых одни люди ради денег поступают по-идиотски, а другие упиваются их конфузом, замешательством, страхом. Мы теперь стравливаем не медведей и быков, а людей. И заметьте, с каким смаком иные органы печати, зная своего читателя, свергают с пьедесталов и вываливают в грязи тех самых идолов, которыми они совсем недавно предлагали нам восторгаться. Порой мне кажется, что еще немного — и наше общество, беспрепятственно продвигаясь по этому пути, возвратится к крови и грязи древнеримской арены. И нужно ли снова и снова напоминать вам, что наиболее уязвимые жертвы — как раз наши нетерпеливые подростки, доверчиво раскрывающиеся навстречу жизни и принимающие как подарок от взрослого мира то, что зачастую заставлял их только зря растрачивать время и ненавидеть друг друга. А раз таково их положение, значит, я не преувеличиваю, когда говорю, что язык и литература — не просто один из предметов обучения, но спасение утопающих.

Здесь, правда, необходима одна оговорка. Мы должны признать, что язык и литература не на всех оказывают свое магическое действие. Все мы пользуемся словами, но не все одинаково на них отзываемся. Человеческие существа, независимо от степени образованности, принадлежат к очень разным типам (забывая подчас об этой истине, мы тратим впустую много времени и нервов), и хотя все мы по необходимости живем в двух мирах, но проблему этих двух миров не все решаем одинаково. Иные впечатлительные юнцы реагируют только на музыку или на изобразительные искусства. Другие считают себя образованными, только если на совесть освоят какое-нибудь ремесло или специальность. Я не помню, чтобы среди хороших ремесленников мне попался дурак, зато у человека, обвешанного, как рождественская елка, орденами, степенями и званиями, может не оказаться ни прозорливости, ни здравого смысла. И сейчас я поступаю наперекор своим интересам — случай в лекторской среде



довольно редкий,—я заявлю, что в педагогике мы склонны переоценивать роль книг и бесед о них. Это не значит, что я отрекаюсь от моего главного довода. Я только повторяю, что есть типы, неподвластные воздействию литературы, и что многим из них больше пользы принесло бы образование, вообще не опирающееся на книги.

Не так давно я стал замечать, что мое литературное чутье, эта непосредственная реакция на магию слов, понемногу слабеет, меркнет, угасает. Заметил, что мои дети, хоть они и взращены среди книг и любят читать, все же явно предпочитают слову зрительный образ. То же, по-видимому, можно сказать о большинстве их сверстников. Подтверждением этому служит интерес молодежи к фильмам, выставкам, балету, репродукциям с картин, иллюстрированным журналам и, наконец, телевидению. Эти мои грустные выводы я не замедлил обнародовать в печати (я всегда так поступаю, это одна из моих слабостей). Любовь к литературе, магия книги, волшебная сила слов—всему этому уже нет места в нашем обществе, утверждал я. Но я погоропил с выводами (это, пожалуй, самый серьезный из моих недостатков) и второпях кое-что проглядел. Молодые, может быть потому, что чувствуют себя новыми, готовы приветствовать все новое, полагая, что оно создано специально для них. А за этот период, скажем за последние тридцать лет, новым, безусловно, было не печатное слово, которое в общем-то выглядело не лучше, а хуже прежнего, но производство и воспроизводство зрительного образа во всевозможных интереснейших видах. Все это было ново, увлекательно, последний крик моды. Юнцов оно привлекало еще и тем, что они, когда не носят сломя голову, изматывая себя физически, любят принять непринужденную позу и побездельничать. Это легче, не требует усилий. На все эти образы можно глазеть, не выключая радио или проигрыватель, что само по себе уже ново и интересно. Я не хочу сказать, что этот период кончился. Более того, я вижу серьезную опасность в том, что многие подростки, привыкшие к образам, созданным для них телевидением, никогда не разовьют собственной способности создавать образы, читая книги, а это обеднит их духовно, когда они станут взрослыми. Это, на мой взгляд, единственное обвинение, которое можно предъявить телевидению, если рассматривать его просто как средство информации. Если использовать его ответственно и тактично, это прекрасное новое средство массовой информации, ведь не телевидение виновато в том, что его опошляют и prostituiруют: наше дело освободить телевидение от бесконечной мышинной возни. Но хоть я и не говорю, что период победоносного шествия зрительного образа подходит к концу, я безусловно недооценил непреходящую силу книги. Так, например, массовый выпуск дешевых книг в бумажных обложках, не

обязательно повествующих о задушенной блондинке, предполагает столь же массового читателя, причем, разумеется, не только достигшего среднего или преклонного возраста. Упомянув о дешевых изданиях, я не могу не предостеречь вас. Да, они верой и правдой служат читателям и повышают престиж и без того престижных авторов, но до сих пор, насколько я знаю, не продлили жизнь и не дали возможность работать ни одному хорошему, но еще не признанному писателю, как то не раз делали многие издатели старого закала.

От этих предостережений и отступлений пора вернуться к нашему главному доводу, гласящему, что сейчас, когда наше общество в целом не приемлет религии и в результате современный человек раздваивается между двумя мирами, роль преподавателя литературы в школе невозможно переоценить. Если только ваши ученики не принадлежат к числу тех, кто органически не способен реагировать на слово, эта работа, повторяю, может быть приравнена к спасению на водах. Литература открывает детям и подросткам оба мира. Помогает им жить в ладу с самими собой. Под литературой я подразумеваю не перечень форм и структур, освоенных с большим или меньшим блеском,—этот метод сейчас в моде у тех литературоведов, которые трактуют поэтов и романистов как инженеров, с помощью слов строящих мосты и небоскребы. Для меня литература (настоящая литература!)—это запись человеческого опыта, использующая много различных форм, манер и стилей. Опыт, разумеется, накапливается и внутри и снаружи, и запись его может связать точнейшие и тончайшие впечатления от внешнего мира с самыми туманными и таинственными эмоциями, возникающими в мире внутреннем. Это, как мне кажется, вполне доступно пониманию смысленных и восприимчивых подростков. И объясняется все просто. В юности, когда только что осталось позади раннее детство, именно потому, что в эту пору все так ново, непривычно и увлекательно, мы особенно ощущаем воздействие чужого опыта. А такое воздействие, ощущаемое на разных уровнях личности,—это, на мой взгляд, и есть то, что заставляет прирожденного писателя писать и писать, как бы оно ни было тягостно, как бы мало ни давало удовлетворения. Он должен творчески реагировать на это воздействие, для того чтобы хоть на время от него освободиться. Всякое зло бьет по нему сильнее, чем по большинству людей, и он вынужден как-то с этим справляться.

Среди людей действия, деловых людей, бытует мнение, что писатель—этакий томный, расслабленный субъект, он сидит и мечтает в своем углу, и, вероятно, ждет, чтобы женщины окружили его нежной заботой. Но если женщины и окружают его заботой, так только потому, что они знают: писатель, как и они сами, человек более активный, более

живой, чем большинство их знакомых, этих полусонных, полуживых ходячих чурбанов. И писатель любого калибра не только не расслабленный мечтатель, но по своей душевной энергии, по жизнеспособности уступает, пожалуй, лишь лучшим образчикам других общественных групп. Но именно потому, что он так жадно впитывает в себя жизнь, так живо откликается на все окружающее, он чувствует давление опыта как мало какой другой мужчина. Я говорю — мужчина, потому что женщины, мне кажется, устроены иначе. Среди взрослых мужчин это давление опыта испытывают лишь единицы, тогда как женщины — почти все без исключения, только у них нет столь неотвязной потребности реагировать на него творчески. Почти все женщины преодолевают это давление разговорами.

Вот, скажем, женщина только что провела субботу и воскресенье в деревне, у не совсем обычных людей, о которых и ей и ее знакомым любопытно узнать побольше. Она возвращается в город, через край переполненная смутными впечатлениями, и приятельницы, окружив ее, восклицают: «Ну, дорогая, как там было?» А ей и хочется рассказать, и просто страшно — слов не хватает, чтобы описать все, что она там видела, и слышала, и делала, и думала. И это очень похоже на то, что писатель испытывает почти непрерывно. Вот он и пишет, чтобы побороть это давление опыта. Раз начав писать, он, несмотря на всякие технические трудности, которые, возможно, его подстерегают, все же чувствует, что бремя уже не так сильно давит на плечи. Что бы еще ни участвовало в рождении литературы — а все мы знаем, что составных элементов тут множество, — первый толчок всегда дает эта реакция на опыт, а результатом может оказаться и «Король Лир», и «Потерянный рай», и «Тристрам Шенди», и «Наш общий друг». И теперь я возвращаюсь к моему утверждению, что смысленные и впечатлительные мальчики и девочки именно потому, что для них все ново, непривычно и интересно, в чем-то сродни писателю. Пожалуй, никогда они больше не будут к нему так близки, ведь с годами они, возможно, станут и равнодушнее и жестче. Но сейчас они тоже начинают ощущать давление опыта, а бороться с этим так, как борется писатель, не могут. Одна из причин, почему подростки зачастую так трудны в общении, заключается в том, что они — творческие натуры, неспособные творить. Но литература (а под ней я по-прежнему разумею все, что хорошо написано) хотя бы показывает им, что мужчины и женщины уже давно вступали в жизнь точно так же, как сами они сейчас готовятся в нее вступить, и что эти мужчины и женщины, каждый по-своему, сумели написать об этом весело, взволнованно, красиво. Пусть это лишь самое начало, но психологически оно очень важно. Вот почему я и говорю, что преподавать литературу

не означает просто вести один из многих школьных предметов.

Вся настоящая литература, к которой приобщают ученика—приобщают, надо надеяться, возможно менее формально,—сама по себе уже представляет новый и ценный опыт. И когда юный читатель наслаждается ею, впитывает ее, включает в свой внутренний мир, она начинает окрашивать для него и опыт внешнего мира, который скоро, надо полагать, расширится и обогатится. Непрерывное взаимодействие происходит не только между литературой и жизнью. Чтение должно приблизить нас к жизни, наделить более зорким взглядом, более тонким слухом и повышенной восприимчивостью. Оно должно ввести нас в богатый дом, полный нарядных гостей, а не в бомбоубежище. Но позвольте мне выразить мою мысль проще, пока я еще не заблудился в своих метафорах. Не дай нам бог предстать перед юными в обличье уютного книгочеля, которому ни до чего нет дела, лишь бы надеть шлепанцы, закурить старую трубку и провести вечер в обществе кого-нибудь из любимых писателей. Это предполагало бы чтение как «одно из лучших удовольствий», выражаясь языком поставщиков рекламы для компании «Книга почтой», пытающихся сбыть с рук комплекты из ста, или пятисот, или тысячи лучших книг. Некоторые из этих книг вы не читали, есть, вероятно, и такие, которые не читал никто. Помню, примерно полвека тому назад я экономил на завтраках, чтобы купить финский эпос «Калевалу». Эта книга до сих пор у меня хранится, но и до сих пор не прочитана. Надо сказать, что в литературе и в наслаждении ею, несомненно, присутствует элемент ухода от повседневной жизни, элемент облегчения среди ее тревог и суеты. Огюстен Биррел в своем «Назначении литературы» между прочим пишет: «Литература существует, чтобы доставлять людям удовольствие—она облегчает им жизнь, позволяет ненадолго забывать свои грехи и горести, свои опустевшие дома, погибшие надежды, мрачное будущее». Сказано хорошо, но в школе неприменимо.

Я, в сущности, имею полное право подписаться под словами Биррела. Ибо я, человек пожилой, страдающий ожирением и подагрой, до сих пор тружусь за письменным столом, хотя мне полагалось бы только подвязывать розы в саду или баловаться акварелью. Я вырастил кучу детей, я участвовал в одной войне и потерпел ущерб от другой. Почти все, что я заработал, у меня отняла неслыханно свирепая система налогов, предназначенных в первую очередь оплачивать ошибки безголовых политиков; поэтому я и считаю себя вправе думать о литературе как о средстве ухода от жизни, об утешительнице, а то и вовсе о ней не думать, а спокойно почитать детективы вроде «Двухголовой брюнетки». Однако я не разделяю такой позиции, и вы, надеюсь,

тоже, и уж конечно это не та грань литературы, которую мы призваны показывать любознательным подросткам, рассчитывающим получить в жизни нечто получше, чем замена виски и нембутала. Помня, что литература не каталог литературных форм, а нечто подлинное и живое, правдивая и волнующая запись человеческого опыта, посредник между внешним и внутренним миром, подумаем о том, как приблизить ее к жизни этих юных созданий. Причем я говорю о том, что они сами считают своей подлинной жизнью, а не о часах, проведенных в классе, которые так медленно тянутся, пока они клюют носом за партой. И позвольте мне, не дав вам времени возмутиться моей последней фразой, присовокупить к ней два признания. В школе я считался очень хорошим учеником, из года в год занимал одно из первых мест в своем классе, но почти все время изнывал от скуки, сравнимой, пожалуй, лишь с той, какую позднее испытывал только на конференциях ЮНЕСКО и на других подобных собраниях. Либо мне говорили то, что я уже знал (это же, но в еще более нудном варианте повторилось затем в армии), либо я не знал и не хотел знать того, что мне старались втолковать. Последнее случалось, например, в физическом кабинете, где два преподавателя, выбиваясь из сил, вколачивали нам в головы теории, уже опровергнутые учеными-физиками. Но к английскому языку и литературе это не относится. Да, это был мой любимый предмет, и могу вам признаться, хотя бы в доказательство того, что наши склонности часто проявляются сызмальства: в той школе мои сочинения хранились годами как образцы для восхищения и подражания, и это, несомненно, обеспечило мне острую неприязнь нескольких поколений школьников. И еще я помню, что, когда мне было лет двенадцать, я выпустил журнал, старательно переписанный аккуратным почерком и содержавший начало целых четырех рассказов с продолжением, которые сам же я и сочинял.

С этим связано и мое второе, более отрадное признание. Во время своих литературных запоев я близко соприкасался с одним из тех немногих людей, бесспорное влияние которых вспоминаю с благодарностью. Да, это был наш учитель литературы. Звали его Ричард Пендлтон — хорошее имя, оно до сих пор звенит у меня в ушах, словно золотой, брошенный на мраморную стойку, а сам он уже сорок лет как умер, еще совсем молодым. Он был высокого роста, очень смуглый, красивый и гордый, как испанский гранд, и хотя я выбрал его себе в кумиры — это свойственно мальчикам, — скопировать его внешне мне явно не удалось. Формально он, пожалуй, не имел квалификации, нужной для преподавания литературы в средней школе. У него не было ученой степени, поскольку он не защитил диссертации на тему об употреблении точки с запятой в поздних романах Джордж Элиот; но

высшая из всех возможных квалификаций у него была: он любил настоящую литературу и умел привить эту любовь своим ученикам. У меня в то время, думаю, уже появилось собственное отношение к литературе, но в юности немногие люди, которыми мы с готовностью восхищаемся, играют очень важную роль в нашей жизни; поэтому мне сдается, что мое отношение к литературе неотделимо от моего восхищения Пендлтоном. Я, вероятно, смутно чувствовал, что литература, стихи, пьесы и эссе, которые он с нами читал и обсуждал, помогли ему стать тем, чем он был, зажгли огнем его взор, внесли в его обхождение церемонную учтивость, расцвелили речь блестками юмора и нотками ледяного сарказма. Так учитель заимствовал широту и блеск у своего предмета, а предмет заимствовал жизненность и конкретный смысл у учителя. И все это, конечно, произошло как раз в нужное время. Говоря это, я вовсе не хочу умалить заслуги Ричарда Пендлтона. Я и через полвека вижу и слышу его как сейчас и понимаю, что он был исключительным педагогом. Но если он оказал на меня куда более сильное влияние, чем все профессора и лекторы, которых я впоследствии слушал в Кембридже, и все критики, с которыми я познакомился в Лондоне, то объясняется это тем, что мне посчастливилось учиться в школе у преподавателя, который любил настоящую литературу. И всем преподавателям литературы, в глубине души не разделяющим такой любви, я хотел бы сказать: «Ради ваших учеников, ради вас самих, да что там — ради создателя откажитесь от преподавания литературы!»

Есть, несомненно, много юношей, которые по окончании школы уже не питают к литературе ничего, кроме неприязни и недоверия. Если человек корпит над книгой, когда можно вопить и хохотать в веселой компании, он, на их взгляд, какой-то недопеченый. Однако даже эти юнцы, презирующие литературу, — великие охотники поговорить. Но умеют ли они говорить? И научатся ли когда-нибудь? Лет тридцать тому назад, когда я только начал наезжать в вашу страну, здесь часто встречалась реклама: «Все удивились, когда я заговорил с официантом по-французски». В наши дни достойно удивления, когда кто-то заговаривает с официантом по-английски. Надо сказать, что в этом смысле и мы в Англии ничуть не лучше, а может быть и хуже. Не так давно я смотрел ряд телепередач, в которых людей останавливали на улице и просили высказываться по разным вопросам. На юге Англии люди говорили из рук вон плохо, словно английский язык был только что изобретен; на севере Англии и в равнинной Шотландии дело обстояло получше; и только в горной Шотландии, где по традиции еще сохраняется уважение к образованности и литературе, люди оказались способны выражать свои мысли толково, приятно и даже убедительно. Ведь не кто иной, как Роберт Луис Стивен-

сон, шотландец, сказал: «Литература во многих своих разделах — всего лишь отражение хорошей беседы». Это верно, но верно и то, что умение хорошо вести беседу нам прививает литература. Вот где мы имеем дело с бесподобными собеседниками! Впрочем, нет, как они ни велики, ни знамениты, назвать их бесподобными все же нельзя: ведь беседуем мы еще и с теми, кого любим, и с близкими друзьями, а много ли стоит любовь и дружба без задушевной беседы? И мне хотелось бы сказать группе старших школьников: «Я вам открою один секрет. Он касается девушек и женщин, этих загадочных созданий, что живут бок о бок с нами, хоть и представляют собой другую половину человечества. Они, конечно же, ценят и модные наряды, и большие быстрые автомобили, и балы, и званые обеды. Но то, что их действительно завораживает и пленяет, вы можете предложить им, не имея за душой ни цента. Ибо это — беседа, не пустая, косноязычная болтовня, а настоящая беседа». Потом я обратился бы к девушкам и сказал им: «Брак, о котором иные из вас уже подумывают, кто-то недаром назвал одной долгой беседой. И хотя лишь *некоторые* из самых обаятельных женщин в истории были, по словам их современников, хороши собой, зато почти все они, как известно, умели беседовать живо, остроумно, прелестно. Искусство вести беседу не упоминается в рекламах, в которых вас без конца просят и умоляют заботиться о ваших волосах, вашей коже, вашей фигуре и вашей одежде. Дело, понимаете ли, в том, что из вашей беседы никто не может извлечь выгоды — никто, кроме вас самих, ваших друзей, да еще, может быть, некоего ослепленного и очарованного вами молодого человека». Выслушав такое, они, я думаю, не замедлят связать искусство беседы с наслаждением, которое дает литература.

А с чего оно начинается, это наслаждение литературой? Разумеется, с умения оценить то, что хорошо написано, *где бы оно ни встретилось*. Я нарочно подчеркнул эти последние пять слов, потому что считаю их важными, но не уверен, что все преподаватели литературы понимают, в чем их значение. Предположим, что вы преподаете в городе Зените. А в зенитской «Дейли трибюн» имеется спортивный обозреватель, который не довольствуется тем, что втискивает в свою колонку все клише и штампы профессионального жаргона. Он замечает интересные характеры, чувствует драматизм того или иного момента и упорно старается найти хорошие слова, чтобы рассказать своим читателям, что видел его глаз и запечатлела память. Человек этот *пишет*, а не просто гонит материал к такому-то сроку. А вы? Вы игнорируете его, чтобы не потратить ни минуты из драгоценного времени, отведенного на Чосера, Мильтона или Чарлза Лэма? Если так, вы, возможно, упускаете случай оказать услугу литературе. Эта хорошо написанная спортивная колонка, горячень-

кая, прямо из типографии, могла бы ознаменовать для ваших учеников первый шаг в умении оценивать литературу. Правда, сейчас такая возможность представляется реже, чем бывало раньше. Полвека назад, когда я начал читать газеты, в них регулярно сотрудничали такие писатели, как Честертон, Беллок, Г. М. Томлинсон, поставлявшие отличную прозу прямо к утреннему завтраку. А здесь у вас, примерно в те же годы, спортивный отдел мог вести Ринг Ларднер. Как обстоит дело в вашей стране сейчас — не знаю. В том, что у вас пишется, хоть оно и предназначено для очень широкого читателя, присутствует нечто жизнестойкое, что, возможно, поможет пишущим устоять против излишнего редактирования, заглаживания, сведения к шаблону, принятого сейчас не только в редакциях газет и журналов, но и в книжных издательствах. Много ли тут может уцелеть и что именно — этого я не знаю. Но знаю одно: каждый преподаватель, которому попало на глаза что-то актуальное и притом хорошо написанное, оказывает услугу литературе, привлекая к такому материалу внимание своих учеников. И эта услуга тем весомее, что юнцам ничего не стоит вообразить, будто литература имеет к их бурной деятельной жизни не больше отношения, чем стеклянные витрины в местном музее, будто все это — мертвечина на потребу ученым сычам, будто и ваш любимый Чосер, и Мильтон, и Чарлз Лэм — это мумии, а не люди, а ведь они, доведись им встретиться с нашими подростками хоть на полчаса, успели бы пленить их сердца и завладеть их умами. Если подростки любят читать детективы — а кто этого не любит? — не жаль потратить час на то, чтобы показать им, что одни детективы написаны намного лучше других, а затем и подвести к выводу, что все наши детективы и гангстерские фильмы — детский лепет перед кровью, ужасом и безысходным мраком «Макбета».

Боюсь, что в поисках любой хорошей прозы, любой дороги, ведущей к литературе, школьный учитель не дождетя ощутимой помощи от профессоров и преподавателей кафедр английской литературы в университетах. Возможно, я ошибаюсь, поскольку не читал научных публикаций на эту тему, но у меня сложилось впечатление, что эти университетские критики выдают нам слишком много книг о маленькой группе избранных писателей и слишком мало книг о великом множестве писателей. Так, например, я легко обошелся бы без иных трудов о Генри Джеймсе, У. Б. Йейтсе, Джеймсе Джойсе, Т. С. Элиоте, если бы мог получить взамен еще хотя бы несколько широких критических обзоров, таких как «На родной почве» Альфреда Кейзина или серия статей Максвелла Гейсмара о современной американской литературе. Мне кажется, что вы, бойцы на передовой линии, имеете все основания сетовать на нехватку боеприпасов. В самом деле, у вас есть причины



заподозрить, что многие из генералов и штабных работников отсиживаются в тылу, словно потеряли всякий интерес к битве, в которой вы продолжаете сражаться. Слишком часто кажется, что нынешняя литературная критика пишется членами некоего тайного общества для самих себя. Их труды следовало бы помечать грифом «секретно». Наслаждение хорошей книгой, от чего широкую публику старательно отваживают,—занятие, как видно, более сложное и утонченное, чем участие в японской «чайной церемонии». Литературу ограждают заборами, запирают на замок, а критики берут на себя роль часовых и полиции, следящих, чтобы никто не мог к ней подойти без специального пропуска, и это в то самое время, когда многие из нас убеждены, что ее следует сделать доступной для всех. В наши дни, когда жизнь так часто обходится без литературы, слишком много людей, занимающихся литературой по долгу службы, хотят, чтобы литература обходилась без жизни. Я, конечно, понимаю, что такие люди составляют лишь ничтожное меньшинство, что и на университетских кафедрах ведется немало полезной работы. Однако я, без малейшего желания польстить кому-либо из здесь присутствующих, продолжаю утверждать, что преподавание литературы в средней школе намного важнее. Весь ход моих рассуждений подтверждает эту точку зрения. Битву нужно вести за подростка, еще только готовящегося к жизни. Именно в эти годы литература не просто один из многих предметов в программе. Она имеет особое значение, так как неразрывно связана с жизнью. Применительно к учащимся постарше, к студентам, ситуация уже не столь драматична. Специализация в области языка и литературы—для студента один из многих возможных путей. Невольно вспоминается, что в моей молодости некоторые из виднейших профессоров английской литературы—такие авторитеты, как Брэдли, Сейнтсбери, Кер, Уолтер Рэли, Квиллер-Куч,—сами не были питомцами факультетов английской литературы, поскольку в их студенческие годы таких факультетов не было. И сомнения у меня вызывают не подробные исследования, которыми приходится заниматься студентам,—это-то в порядке вещей,—а экзамены, где оценки ставятся не только за наличие или отсутствие знаний, но и за вкусы и мнения...

Профессор Снукс, возможно, искренне верит, что ставит высокие оценки за блестящее выполнение задания и за оригинальность мысли, но ведь и он не бог, а человек, и если Джо Докс в экзаменационном сочинении выражает явное несогласие со всем, что слышал на лекциях профессора Снукса, Джо рискует получить низкую оценку за то, что «не усвоил пройденного материала». А между тем возможно, что Джо как критик выше профессора Снукса. Правда, шансов на это немного, этак один на сотни, и все же этот единственный шанс существует, особенно в наших старых

университетах, где студентами могут быть вполне сложившиеся взрослые люди. Не раз я слышал и такой довод: студент, избравший специальностью философию, историю или экономику, больше получает, читая Китса и Шелли для удовольствия, чем получил бы, зубря все, что было о них написано, в виде подготовки к выпускному сочинению в будущем году. В работе со школьниками все эти сомнения начисто отсутствуют. Усомниться в ее ценности так же невозможно, как остановить спасателя, спешащего на помощь утопающему, чтобы спросить его, считает ли он, что делает нужное дело.

Дабы убедиться, насколько ситуация драматична, достаточно провести, выражаясь языком кино, «обратную съемку», то есть подумать не о настоящей, а о псевдолитературе. Псевдолитература отравляет нас, как смог. Я имею в виду не многочисленные отступления от правил грамматики, а отношение к словам как к мусору. Я имею в виду тексты, предлагающие нам питаться соломой и битым стеклом. Сколько нам пишут и говорят о том, что наши молодые ученые, работающие в области точных наук, слишком часто не умеют отчитаться о проделанной работе не только потому, что их исследования так сложны и узко-специальны, но и потому, что письменный язык им просто не дается. Это означает, очевидно, что они отделены от нас непроницаемой стеной. Они умеют думать у себя в лабораториях, но не как наши сограждане, не как члены нашего общества; этим, возможно, и объясняется, почему иные из них безропотно берутся за самые чудовищные задания, направленные на умерщвление всего живого на той самой земле, что нас кормит. После этого моего замечания будем держаться подальше от представителей точных наук! Но вот сейчас, когда я пишу эти слова, на столе у меня лежат три новые книги, которые мне недавно прислали. Первая написана философом-дилетантом; он не глуп, у него есть и прозрения, и собственные мысли. Я открываю его книгу и читаю такой пассаж:

«Успех эксперимента будет зависеть от того, насколько успешной окажется установка корреляции. Эта концептуальная биполярность является отношением между наблюдателем и явлением и представляет ситуацию, всегда способную взорвать любой догматический подход к физическому миру и привести к условиям, которые, будучи развиты до предела, должны внести аномалию в теорию относительности, теорию де Ситтера, да и в любую основополагающую теорию, когорая, опираясь только на отдельные избирательно взятые гипотезы, берется утверждать нечто абсолютно и не парадоксально всеобъемлющее...»

Это, конечно, абракадабра, но не будем забывать: автор-то как-никак философ, и притом дилетант. Стоит, впрочем,

вспомнить и то, что Дэвид Юм тоже был философ-дилетант, однако на такие взлеты никогда не отваживался. Автор второй книги, которая лежит у меня на столе, отнюдь не новичок в литературе, его статьи об искусстве и эссе по вопросам эстетики известны во всем мире. И вот я открываю его книгу где-то в середине и нахожу там следующее:

«Мондрианов идеал гармонии, имеющий, по его словам, «огромное значение для человечества», можно отличить от дисгармонии не путем исключения эмоции: все дело в том, что эмоция, вызванная ощущением гармонии, отлична от эмоции, вызванной ощущением дисгармонии. Это позволяет утверждать, что цель нового подъема воли художника состоит в том, чтобы очистить эмоцию, освободить ее от посторонних мешающих примесей; иными словами — привести к единству форму и содержание произведения искусства...»

Беру третью книгу, тоже труд давно известного автора, на сей раз историка и социолога, и вот что мне предлагается на стр. 151:

«Ссылка на «непредвиденную необходимость», обычно чреватая наибольшей опасностью, одновременно с методичным накоплением элементов и районов потенциальной силы для Армагеддона поддерживает «перемирие страха» на краю пропасти в соответствии с афоризмом Элайхью Рута, гласящим, что суверенное право государства — «защищать себя, не допуская такого положения вещей, при котором защищать себя будет уже поздно». Пока такая тактика применялась к ограниченным концепциям, таким, как доктрина Монро, она была чревата лишь ограниченной опасностью и казалась вполне осуществимой; теперь же, когда концепция расширилась и охватывает множество непредвиденных обстоятельств на всем земном шаре, мы превратили разумную тактику, ранее лишь время от времени чреватую номинальной опасностью, в чисто умозрительную доктрину, непрерывно чреватую серьезнейшей из опасностей и без разумной надежды на достижение наших целей...»

Автор пытался здесь сказать нечто очень важное, и я с ним согласен, но тем больший протест вызывает у меня этот бесцветный, полумертвый язык, это нагромождение абстрактной терминологии. Это — проза, забывшая, что мы наделены чутким слухом. Такую прозу можно приравнять не к резьбе по дереву или чеканке по металлу, а к изделиям, наштампованным из пластмассы. И парадокс нашего времени заключается отчасти в том, что все эти три автора, ратующие за жизнь в мире где господствует статистика, машины и смерть, предлагают нам прозу, уже теряющую аромат, ритмичность, энергию, словно статистике, машинам и смерти

победа уже обеспечена. Все трое они, думается, были бы очень невысокого мнения о... ну, скажем, о Роберте Луисе Стивенсоне. Так давайте же заглянем в него, как заглянули в них, причем выберем не зрелого Р. Л. С., а молодого, двадцати с чем-то лет, длинноволосого, в потертом бархатном пиджаке и в своих писаниях еще не изжившего некоторой манерности.

«Правда цели мы никогда не достигнем; по всей вероятности, такой точки и нет; и даже если бы мы жили веками и были наделены божественной силой, мы и к концу ненамного приблизились бы к тому, чего искали. О прилежные руки смертных! О упрямые ноги, без усталости шагающие неведомо куда! Скоро, скоро они вознесут вас на вершину вон того холма, и уже совсем близко, на фоне заходящего солнца, возникнут шпили Эльдорадо. Не знаете вы, какое счастье выпало вам на долю: ибо идти вперед с надеждой в сердце лучше, чем добраться до цели, и подлинный успех — в неустанном труде».

Допустим, все это нам давно известно, и впоследствии он писал менее подражательно и цветисто, изящнее и строже, но все равно и это проза, выполняющая свое истинное предназначение, она волнует сердце, когда ее слышишь, а не кажется мешаниной из случайных слов, которые нам преподносят как несъедобную тюремную баланду. Вы, леди и джентельмены, лучше меня знаете, какой дорогой вы должны идти с надеждой в сердце, какой труд принесет вам настоящий успех. Я только пытался связать эти ваши повседневные задачи с некоторыми явлениями, угрожающими всей нашей цивилизации, и эту связь я установил — пусть и многословно, и с трудом, и с огрехами. Мы, я надеюсь, доказали свой тезис, что преподавание литературы — занятие очень важное, насущно необходимое. Но я не прошу вас вспоминать мои рассуждения ни в школе, ни за ее стенами. Вспоминайте лучше ту строку Вордсворта, которую я цитировал, те шесть слов, в которых заключена глубочайшая правда, касающаяся всех нас — гостей и хозяев, ораторов и публики, учителей и учащихся, не в меру худоцавших молодых писателей и не в меру располневших писателей старых, и даже директоров школ и политических деятелей:

Мы живы *Восхищением, Надеждой и Любовью.*

# Эссе из журнала «Нью стейтсмен» (1966—1967)

## ФАКТ ИЛИ ВЫМЫСЕЛ

Кому-то же нравится вся та чепуха, которую теперь все чаще печатают в журналах и приложениях к ним. Я имею в виду рубрику «Давайте познакомимся»:

Миссис Уютли тридцать четыре года, она десять лет замужем, у нее трое детей. Ее муж—специалист по ремонту трамбов, работает в северо-западной части Лондона. Получив ссуду от строительного общества, они приобрели шестикомнатную квартиру в доме на две семьи в новом районе Бетджемен-Вистас. У них есть машина («Мини-мини»), телевизор с экраном девятнадцать дюймов в диаметре, стиральная машина, электромиксер и современный низкий сервировочный столик, за которым семья ужинает, сидя у телевизора. Миссис Уютли не курит, но иногда позволяет себе бокал джина с апельсиновым соком. Мистер Уютли курит, причем последнее время предпочитает сигаретам парочку манильских сигар, но ничего крепче имбирного эля в рот не берет. По субботам, если выдался хороший день, супруги утром обычно идут в магазин и берут с собой детей, так как до супермаркета недалеко—каких-нибудь полмили. Если же идет дождь, то миссис Уютли вместе со своим старшим сыном отправляется за покупками на машине, а ее муж остается дома и играет с двумя младшими детьми. По вечерам они большей частью сидят дома...

И так далее, и тому подобное. Причем не обходится, как вы можете догадаться, без фотографий. Если наше общество в его современном варианте еще существует, то отчасти потому, что оно по крайней мере обеспечивает постоянной работой фотографов. Фотографы у нас заняты делом и—надо надеяться—счастливы.

По моим представлениям, а некоторые рецензенты представляют меня пережившим свой век эдвардианским джентльменом, с которым у меня, к слову сказать, нет решительно ничего общего; так вот, по моим представлениям, все эти Уютли, целиком замкнувшиеся в своем бытовом мирке, вызывают невероятную скуку и раздражение. Скуку — если в этот момент хочется спать, раздражение — если, наоборот, я полон энергии и окружающий мир вызывает у меня самый живой интерес. Герои, которых, прежде чем подsunуть читателю, обваливают в муке, пекут в духовке и поливают соусом, мне лично не нужны. Я отнюдь не считаю себя человеком не от мира сего, сверхчувствительным и замкнутым, но такой утилитарный подход к людям вызывает у меня предубеждение и даже отвращение. Я не занимаюсь проблемой Социологии потребителя, упаси меня бог! От престижного мира социологов я стараюсь держаться подальше. Точные, броские математические выкладки о привычках и доходах населения все равно ничего не скажут о живых людях, моих братьях и сестрах. Их реальная жизнь, их мысли, радости и печали все равно останутся за пределами социологических исследований. Нас уверяют, что два человека похожи, раз они по субботам ходят в пивной бар, однако один из них, возможно, только что влюбился, а другой замышляет убийство.

По какой-то чудовищной иронии, хотя журналисты и перекармливают нас голыми фактами, наши романы тем не менее не пользуются спросом. За последние двести лет нашей художественной литературой еще никогда не пренебрегали так, как теперь. Правда, романы и рассказы и сейчас выпускаются сотнями. Ими забиты если не книжные магазины, то по крайней мере бесплатные библиотеки. Однако относятся к ним большей частью как к книжному корму. Они почти полностью утратили былое влияние на общественное мнение. Даже издатели редко теперь всерьез воспринимают художественную литературу, романы раздаются целыми связками первому попавшемуся рецензенту, если только тот возьмется написать о каждом из них, уложившись всего в две страницы. Молодые прозаики мне вряд ли поверят, но я хорошо помню, что рецензиям на мои ранние длинные романы отводились в свое время целые газетные полосы. В те дни каждая новая книга писателя с именем становилась событием для серьезных издателей. Больше того, интеллигентные люди имели обыкновение подолгу обсуждать только что вышедшие романы. Когда я был еще молод, мы могли часами, далеко за полночь спорить о них.

Теперь же в литературных разделах нынешних газет и журналов, в книжных магазинах, в библиотечных каталогах, в умах читающей публики место романов заняли записанные под диктовку мемуары, биографии, книги по истории, усна-

щенные пикантными подробностями, и сомнительные социологические опусы. Все это в наши дни считается серьезной литературой. Что же касается беллетристики, то она осталась уделом разве что легкомысленных дам, которые любят скоротать вечер за романом и коробкой шоколадных конфет. Всякий раз, когда передают интервью с каким-нибудь политиком либо общественным деятелем, приходится слышать примерно следующее: «Много ли я читаю? Стараюсь по мере возможности. Люблю мемуары, биографии, книги по истории... Нет, романов не читаю—понимаете, времени не хватает!» Еще он любит изобразить себя «серьезным» человеком, который читает исключительно из любознательности и не станет попусту тратить время на чистый вымысел. Нет, вся эта художественная дребедень не для него! Поэтому он платит деньги—и немалые,—чтобы прочесть, что сказал Черчилль в 1903 году и подумал мистер Гаррольд Макмиллан в 1936-м. Я вовсе не хочу сказать, что он обязан читать что-то другое. Мне претит, когда такие, как он, считают себя серьезными читателями. Если же, будучи политиком, он к тому же хвастается, что в жизни не откроет нового романа, значит, он попросту надутый болван.

А между тем те самые романы, которые он не желает читать и к которым относится с явным пренебрежением, могли бы сблизить его с соотечественниками шестидесятых годов нашего века. Кто, как не романист, научил бы его жить их жизнью, проникаться их мыслями и чувствами? Такое не дано больше никому, даже—как ни грустно сознавать это—драматургу. Что-то в этом отношении могут сделать кино, радио, телевидение, но возможности романа гораздо шире. Что же касается документальной журналистики («Миссис Уютли тридцать четыре года...»), то она не способна проникнуть в жизнь человека; документальная журналистика существует лишь в мире Социологии потребителя, где нет живых людей, оригинальных мыслей и сокровенных чувств. Мир этот во многом сродни безумному миру рекламы, в котором целые семьи пребывают в экстазе от горячих завтраков, новой зубной пасты или же плитки шоколада. Будь я редактором американского журнала (представляю, как разыгралось ваше воображение!), я бы посоветовал своему лондонскому корреспонденту не изучать опросы общественного мнения, не копаться в фактических материалах, а прочесть двадцать-тридцать последних романов, из которых он лучше всего узнает, чем живет современная Англия.

В данном случае я вовсе не выступаю в роли литературного критика. Речь идет не о литературе. Поэтому политику бессмысленно возражать мне, что, мол, будь у нас великие писатели, он бы читал их. (Возможно, читал бы, а возможно, и нет.) Наше время вообще неблагоприятно для хороших писателей—хотя они у нас и есть. Наша эпоха, по-видимому,

просто не может обеспечить великого писателя тем жизненным материалом, какой ему необходим. Разрушительные войны, революции, бесконечные перевороты большой литературе противопоказаны. А текущий в нашем обществе скрытый, но непрекращающийся процесс дегуманизации отрицательно сказывается не только на творчестве великих писателей, но и на художественной литературе в целом. Показательно, что произведения, которые в последнее время пользуются наибольшим спросом, уводят нас в мир шпионажа, где гуманность почти отсутствует и человеку по сравнению с техникой отводится второстепенная роль.

Если бы церковники перестали наконец спорить, насколько далеко имеют право зайти юный Тед и крошка Кэт поздним субботним вечером, они могли бы более обстоятельно и серьезно заняться проблемой дегуманизации и отстаивать самобытность и достоинство Человека. (Взять, к примеру, почтовых работников, которые уже готовы упразднить наши адреса, а со временем, может быть, убедят нас отказаться и от имен. Или же обезумевших технократов, которые ратуют за искусственное спаривание посредством компьютеров, хотя компьютерам о необыкновенных, сказочных отношениях между мужчиной и женщиной известно ничуть не больше, чем швейным машинам и пылесосам.) Этот процесс дегуманизации, пусть и более опосредованно, проявляется и в пренебрежении к роману, который сближает нас с людьми, добивается того, чтобы мы жили с ними одной жизнью. Проявляется этот процесс и в излишне документальном подходе к человеку: «Миссис Уютли тридцать четыре года...»

Хочу сразу же оговориться: я совсем не против фактов. Наоборот, они мне даже нравятся, за свою жизнь я провел немало счастливых часов, копаясь в статистических таблицах, выверенных, словно планировка новых городов. Более того, всякий добросовестный писатель должен, мне кажется, иногда изучать цифры и факты. Однако истинным творцам никогда не придет в голову искать в цифрах истину о людях. Именно этой истины и не хватает в рассказе о мистере и миссис Уютли, их трех детях и шестикомнатной квартире. Из этого рассказа мы никогда не узнаем, что же они на самом деле собой представляют, ведь мы не воспринимаем их живыми людьми, нашими братьями и сестрами. Сосредоточиваясь преимущественно на фактической стороне их жизни, мы тем самым держим их как бы на расстоянии, чему только рады наши влиятельные, не склонные к сопереживанию современники, которые предпочитают видеть в них лишенных человеческих черт потребителей, избирателей, представителей различных общественных групп. Я уже говорил, что во всем этом есть какая-то чудовищная ирония, и это действительно так, ведь факты превращаются в вымысел,



причем вымысел весьма низкопробный. И наоборот, истинный вымысел, которым мы теперь совершенно перестали интересоваться, приближает нас вплотную к реальным фактам. Те же, кто утверждает, что им нужны факты, поскольку они находятся у власти, отказываются слушать как раз тех людей, которые действительно знают, что за фактами скрывается. Так вот, мода писать о все большем числе людей, но писать о них как бы со стороны, мода обстоятельно рассказывать о миссис Уютли, ее привычках и имуществе, но при этом и словом не обмолвиться о том, что же она за человек, является сама по себе частью процесса дегуманизации, характерного для нашего тревожного времени.

Еще несколько слов, которые предназначаются не столько читателям, сколько рецензентам. Если они и на этот раз сочтут все вышесказанное ностальгическим брюзжанием пережившего свой век эдвардианского джентльмена, то я готов перед ними извиниться. Однако с моей точки зрения (даже если с годами зрение стало мне изменять), тема, о которой шла речь, представляет первостепенную важность.

## АМЕРИКА: МЕЧТА И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Если начинать с самого начала, то придется вернуться к тридцатым годам. В то время я разъезжал по всей Америке почти всегда поездом — с севера на юг, с востока на запад. Помню, как однажды утром поезд, тяжело громыхая, проезжал через убогий городишко на Среднем Западе. Я смотрел на немощные улицы, деревянные дома, пустынные окрестности и благодарил бога, что мне не надо останавливаться здесь хотя бы на одну ночь. В руках я держал весьма популярный журнал, в котором известный писатель пытался уверить меня, что никогда прежде в истории человечества простые люди не знали столь высокого уровня жизни, всяческих удобств и комфорта, такого всеобщего благоденствия, какого достигли они в Америке. А мне достаточно было взглянуть в окно и вспомнить такие же городишки в Западной Европе, чтобы убедиться в том, что все написанное в этом журнале было совершеннейшей чепухой.

Эта чепуха на совести писателя, а не тех людей, которые выстроили тот городок и в тяжелых условиях сделали все, что было в их силах, и, возможно, даже лучше, чем смогли бы вы или я. Однако писак подобного сорта в Америке не счесть. Во время тех давних путешествий я обычно покупал много местных газет, и все их владельцы, редакторы и постоянные авторы как один обращались со своими читателями так, словно те были порциями суфле из шпината, и посему обильно поливали их маслом. На страницах этих местных газетенок нельзя было прочесть ни единого слова

критики, даже мысли не допускалось, что граждане города не самые умнейшие, достойнейшие и добрейшие люди, каких когда-либо видел свет. Ежедневно они потребляли такую солидную порцию лести, что просто-напросто утратили способность думать. Когда мне в то время случалось,—предварительно сдобрив пилюлю несколькими комплиментами,—признаваться в том, что за фасадом американской жизни мне чудилось затаившееся насилие, в ответ раздавались гневные протесты, хотя некоторые читатели приводили мне конкретные примеры этого насилия, уже не затаившегося, а реально существующего в их городках.

Позднее, к концу тридцатых годов и в первые два года войны, застенчиво робкий и болезненно восторженный национализм претерпел изменения и приобрел черты тевтонского характера. Стали появляться рассказы и радиопьесы, в которых такой замечательный американский юноша встречает такую замечательную американскую девушку на такой замечательной американской улице. Правда, их немилосердно высмеивали, в частности юмористы и комики из блестящей артистической элиты Нью-Йорка. Однако они обращались к искушенным зрителям, а тем временем «молчаливое большинство» заглатывало всю саморекламу, в том числе и те военные фильмы, в которых горстка американцев одерживала победу едва ли не на всех фронтах. Поскольку они с детства затвердили, что им посчастливилось принадлежать к высшей нации, они естественно верили, что их солдаты лучшие в мире.

Я их не осуждаю. У меня и в мыслях нет писать «антиамериканскую» статью. Я покончил с этой чепухой много лет назад на страницах этого же издания. Сказать по правде, я отношусь к американскому народу с искренней и глубокой симпатией—я имею в виду простых, честных американцев, а не кровожадных, почти выживших из ума подонков (которых, как я не без основания осмелюсь утверждать, сейчас в стране уже переизбыток). Я сочувствую им—растерянным, тоскующим или взбешенным, пытающимся нащупать выход из своих нескончаемых и опасных заблуждений.

С самого раннего детства их страна представлялась им самой богатой и самой могущественной в мире, самой мудрой, доброй, чистой, непогрешимой, подающей всему человечеству в высшей степени достойный подражания пример. Они верили в страну нового типа, а не просто в территорию, где издавна жил один и тот же народ, как в Британии или во Франции. Эта страна возникла в эпоху Просвещения, в пору господства рационалистического представления о природе человека, возникла как порождение революции, как воплощение поистине прекрасной и великой мечты. Первые иммигранты, прибывшие в те годы, когда не

было крупной промышленности и еще не установили своего диктата жестокие предприниматели,—были несомненно людьми незаурядными. Иммигранты более позднего периода, вероятно, были более чем заурядны по западно-европейским стандартам, и переплыв океан, наводняли фабрики. Тем не менее великая идея все еще не изжила себя, и каждый был обязан принимать и поддерживать ее. Малейшая измена горячему патриотическому чувству возводилась в отрицание великой идеи, в циничное предательство прекрасного нового образа жизни.

Это озадачивает и приводит в смущение нас, тех, для кого патриотизм в значительной мере чувство иррациональное, идущее из недр человеческого существа. Мы не распинаемся в своей любви к родине, так же как не говорим всем и каждому, как горячо мы любим своих родителей и детей (лишь убийцы и гангстеры уверяют, что они нежно любят своих матерей). Мы, англичане, ворчим или подсмеиваемся сами над собой, поскольку чувствуем себя скорее членами одной семьи, нежели гражданами одного государства. Мы, так сказать, не связали себя с какой бы то ни было великой революционной идеей, не поддались грандиозной оптимистической мечте о новой социальной общности. Мы не считаем своим долгом салютовать флагу или выслушивать заверения королевы о том, какие мы счастливики. Но хотя американцы гораздо решительнее нас занимались разгребанием грязи, и любой словарь американского слэнга показывает, сколь многогранным и изобретательным может быть их цинизм,—они росли и жили под прекрасным голубым пологом славы, чуда и всеобщего самовосхваления.

Ныне же, когда действительность вновь и вновь с грохотом обрушивается на этот полог, и он уже превратился в сплошные дыры и клочья, создается впечатление, что американский народ в целом—кроме тех, для кого социальная критика стала профессией,—разделяется на три резко различные группы. Где-то посредине находятся люди, которые все глубже погружаются в политическую апатию, в рутину телевизионных программ, и, вероятно, для них предел счастья рассуждать за кружкой пива о том, как Мэри и Джо живут припеваючи у себя в Дейтоне, штат Огайо. Если даже припереть их к стенке, они ни за что не сознаются, как они разочарованы; ведь они убеждены в том, что с детства не лелеяли никаких иллюзий, жили, как их отцы и деды в этом мире, где рослые циники не дают прохода маленькому человеку и где самому приходится позаботиться о себе, жене и ребятишках, какие бы распрекрасные речи ни произносились во время предвыборных кампаний. Такие люди чувствуют себя более или менее в безопасности под защитой легкого цинизма, унаследованного от предков. И все-таки мне кажется, что какой-нибудь

ловкий демагог, чуть потолковее Джорджа Уоллеса, заставил бы их ковылять следом за собой...

Позиция двух других групп представляется мне гораздо более важной. Обе они составляют сравнительное меньшинство, и обе владеют внушительным, хотя и в корне различным, запасом ценностей. Рассмотрим сначала ту многочисленную группу, которая стоит слева и в которую входят молодые бунтари. В один прекрасный день они обнаружили, что им наговорили кучу чертовски мерзкой лжи. Вся эта чепуха об Америке, которую им подсовывали, была надувательством. Даже старые рутинеры, упорно продолжавшие твердить заученное, уже утратили былую веру. Все они — скопище идиотов, но вот пришло поколение, которое не даст обвести себя вокруг пальца: настало время покончить со всей этой болтовней о Великой Мечте.

То, что прорвалось из глубин подсознательного, накапливалось там с детских лет и было мгновенно признано сознанием, ждавшим лишь сигнала, чтобы взбунтоваться. Хваленый американский образ жизни — это грандиозный блеф, и все его ценности лживы. Все это американское бахвальство — или глупость или подлое жульничество. Американцы не лучше остальных народов, а то и хуже, и у них нет никакого права поучать других, да и гордиться им нечем — разве что передовой и подозрительно опасной техникой. Соединенным Штатам пора начать все заново и не повторять старых ошибок. Вот в общих чертах то, что они думают и — это гораздо важнее, — *чувствуют*.

Многие в Европе сочувствуют этим молодым американцам, утратившим всякие иллюзии. Мы тоже не одобряем общество, против которого они бунтуют. Его самовосхваления не вызывают у нас ничего, кроме презрения. И все-таки я думаю, что эти молодые люди слишком далеко зашли в своем полном отрицании американского идеала, великой мечты. Раз это общество не отвечает их высоким запросам, раз некоторые из его обещаний оказались ложью, бунтари с опасной легкостью могут уничтожить то, что в нем еще сохранилось ценного и разумного. Один пример объяснит, что я имею в виду: в Америке по-прежнему существует — и это только делает ей честь — традиция свободы слова. Слишком многие юные бунтари явно больше не признают эту свободу и готовы освистать любого, кто не вторит им. Добившись власти, они скорее всего создали бы как раз те самые условия, которые вынудили многих мыслящих людей покинуть Европу и отправиться в Америку. К тому же, как мне кажется, демократия в обществе зависит от общего уровня порядочности и хорошего воспитания его граждан. Если вам не нравится ректор университета, вы равным счетом ничего не докажете, демонстративно оправившись в его кабинете. Это отнюдь не ведет вас к новой и более

совершенной демократии, напротив, отбрасывает назад, к нацистам.

Что же касается третьей группы, на крайне правом фланге, она также представляет меньшинство, однако весьма могущественное, стоящее у кормила власти. Этих людей—я не имею в виду откровенных идиотов—в свое время одолевали мучительные сомнения по поводу великой идеи, большой мечты, нового прекрасного образа жизни. Они сочли своим долгом заглушить эти сомнения и загнали их в сферу подсознательного, которое вскоре начало прокручивать перед их мысленным взором некие видения о том, как простому, честному, богобоязненному американскому народу угрожают зловещие фигуры—разумеется, «красные», социалисты, агитаторы, длинноволосые интеллектуалы, бесполое вырождение, вероломные ученые мужи, толпы журналистов и телекомментаторов—словом, все те, кто не усердствует и не воспевают без передышки Былую Славу.

Полностью исключая какую бы то ни было трезвость мысли, такое психологическое состояние чревато вспышками внезапной ярости, что всегда считалось дурным знаком. Более того, подверженные им могут, подобно злым духам, наслать порчу и на еще не до конца безмозглых людей, заразив их тупой косностью. Проявлявшие в свое время способности в школе и в колледже или на младших офицерских постах в армии, все они превратились в болванов и тупиц. Более чувствительные и слабые, отказываясь признать, что кроется во мраке их разума, тихо сходят с ума, хотя все еще уполномочены принимать решения, касающиеся судеб не только их страны, но, возможно, и всего мира. Есть и такие, которые исполнены решимости совершенно не утруждать себя размышлениями, стать сродни вычислительным машинам. Создается впечатление, что эти лишенные человеческой субстанции существа пребывают в одном или в лучшем случае в двух измерениях, поражая нас какой-то странной и мрачной опустошенностью, словно персонажи из научной фантастики, мечтающие переселиться за пределы солнечной системы. Поскольку любое честное сомнение нещадно подавляется, поскольку эти люди безнадежно слепы, погрязли в собственной тупости, ханжестве, слепой ярости, их одолевает жестокость, неведомая их дедам. Они тайно покарали самих себя, теперь хотят выместить свою злобу на других.

Итак, великая страна, рожденная под знаменем благородной революционной идеи, разрывается на части и испытает еще немало гнева, насилия, позора и скорби, прежде чем заживут ее раны. Я глубоко сожалею об этом. Пытаясь оценить один аспект действительности во всей его сложности, я не сумел избежать упрощения и обобщений—да это было бы и невозможно, но ни единого слова не написал я

ради злопыхательства. Я не наступил ни на одну большую мозоль, не упомянул ни войны во Вьетнаме, ни борьбы за гражданские права, ни гетто, ни резких контрастов нищеты и роскоши, ни лихорадочной шумихи вокруг высадки на Луну, ни гигантских корпораций и идиотизма массовой рекламы—просто потому, что преследовал иную цель. Я вспомнил поезд, пронесивший меня через Средний Запад более тридцати лет назад, и мне стало интересно, куда же он завез меня,—и надеюсь, вам тоже.

# Расцвет викторианской Англии (1972)



## ТЕККЕРЕЙ В 1852 ГОДУ

[...] Уильям Теккерей, чья слава в эти дни не уступала славе Диккенса, не созерцал «сие величественное зрелище»<sup>1</sup>. (Соперничество между ними порой бывало очень острым, но состязались в самом деле не столько Теккерей и Диккенс, сколько их почитатели, разбившиеся на два лагеря.) В конце октября 1852 года Теккерей отплыл в Бостон, где начиналось его первое американское турне. Он должен был прочесть в Соединенных Штатах цикл лекций об английских юмористах XVIII века, уже прочитанный им прежде в Лондоне и в прочих городах. Они удачны в своем жанре и так же увлекают современного читателя, как прежде увлекали слушателя, но Теккерей не новый Хэзлитт. Он превосходно знал литературу того времени, но не способен был судить о ней со всею непосредственностью, как судят о вчерашнем дне. Сама его манера чувствовать принадлежит другой эпохе—его собственной, и большинство его критических суждений окрашены необычайно личными пристрастиями. Уехать—значило расстаться с дочками, двумя довольно маленькими девочками, которых он препоручал заботам бабушки, и все же он не мог не радоваться своему отъезду, к чему имелись две серьезные причины. Прежде всего, ему необходимы были деньги, которые давали эти лекции; ведь, кроме девочек, которых он воспитывал в том духе, которого требовало положение его семьи, принадлежавшей к верху среднего общественного слоя, он содержал и тяжело болевшую жену, а это требовало средств. (Когда заходит речь о Теккерее, не нужно забывать, что в двадцать с лишним

---

<sup>1</sup> Похороны герцога Веллингтона, состоявшиеся 18 ноября 1852 года и собравшие весь Лондон.— *Прим. перев.*

лет он промотал отцовское наследство — довольно основательную сумму, отчасти проиграв ее за карточным столом, отчасти потеряв из-за неудачного помещения капитала. Не менее важно и другое: после четырех лет счастливого супружества его жена навсегда лишилась рассудка вследствие перенесенной родильной горячки.) Поскольку он существовал на гонорары и не испытывал уверенности в том, что сможет повторить свою великую литературную удачу, он понимал, что не имеет права отвергать американский заработок.

Была еще одна причина радоваться полной смене декораций — он ощущал, что глубоко несчастен. В течение многих лет писатель был влюблен в жену своего друга Брукфилда, неглупого и обаятельного человека, сначала модного священника, потом инспектора учебных заведений. Джейн Брукфилд, высокая красавица, живая, редкостно обворожительная женщина, не отличалась крепостью здоровья, подобно многим англичанкам среднего сословия, мужа которых слишком часто усждали из дому, а возвратившись, были властны и необычайно требовательны. Она была искренне привязана к Брукфилду, и об измене мужу с Теккереем не могло быть речи, но постоянно наслаждаться обществом великого писателя, чье поклонение, надо думать, не составляло для нее секрета, было приятно во всех отношениях, к тому же эти встречи избавляли каждого из них от одиночества. (Должно быть, для него это не столь было приятно, а может быть, и вовсе трудно, ибо она его влекла безмерно, и постоянно сдерживать желания, наверное, было мукой для него.) При некоторой рыхлости его громадного, привычного к малоподвижной жизни тела — в Теккерее было шесть футов четыре дюйма росту, и он был грузен, — и несмотря на все притворство (к которому он начал прибегать еще в сорокалетнем возрасте), что он седой старик, развалина, презревшая все искушения Венеры, он был довольно чувственной натурой (так поговаривали в обществе), но, как известно, был лишен жены и не имел любовницы на содержании. В ту пору, когда Теккерей писал, а после и читал со сцены «Английских юмористов XVIII века», они с Джейн виделись необычайно часто, пожалуй, чаще, чем обычно. Хворавший в это время Брукфилд лечился на морском курорте, где поначалу ощущал себя покинутым, потом стал ревновать и, наконец, потребовал, чтобы жена повиновалась супружескому долгу и прекратила всякие сношения с Теккереем. Она довольно малодушно подчинилась, после чего супруги приняли решение уехать на зиму из Англии.

Теккерей написал ей письмо, полное гневных упреков, но удержался и не послал его, поддавшись уговорам их общей с Джейн приятельницы, однако из другого его послания, не столь кипящего презрением — он написал его двум женщи-



нам, с которыми был дружен,—становится понятно, что он в ту пору выстрадал: «Лучше бы я никогда не любил ее. Я был игрушкой в руках женщины, которая по первому же мановению руки своего господина и повелителя отбросила меня прочь,—вот что я ощущаю. Я шлю ей нежное и джентльменское приветствие, я принесу, доставлю, напишу и положу конец всему, что ей угодно, но я откланиваюсь. Я хочу сказать, что исполню любую ее волю, которая согласна с чувством меры и приличия, но, говорю вам, между нами все кончено. Вчера я прятал письма, которые она прислала мне за эти годы. Нет, мне не захотелось плакать, мне захотелось рассмеяться, я знал, что только смех они и могут вызвать. И этому я отдал свое сердце! Всем этим «Когда вы к нам приедете, милый мистер Теккерей?», «Уильям будет очень рад», «Я вспомнила, уже расставшись с вами, что позабыла...» и так далее и тому подобное, а под конец по первому же слову Брукфилда: «Я почитаю и люблю его не предугазанной, а истинной любовью». Аминь. Пожалуй, горше всего мысль, что обошлись со мною, как с шутком гороховым, но самое удачное при всем при этом, что так тому, наверное, и следовало быть». Если мы не забыли, что автор этого письма—«седая, старая развалина», оно не может вас не удивлять какой-то молодостью тона, и жалобного, и комического вместе. Однако горестное ощущение утраты было невероятно сильным и долго не оставляло Теккерей. Обычно очень сдержанный, он с поразительной легкостью касался в разговорах своей утраченной любви. Чтоб верно понимать его наследие, нам нужно знать, как складывались его отношения с Джейн Брукфилд, так как все написанное им после «Ярмарки тщеславия» несет на себе глубокий личный отпечаток. Лучший биограф Теккерей, профессор Гордон Рэй, которому я столь обязан всем здесь приводимым, тщательно проследил, как то, что он назвал «погребенной жизнью Теккерей», сказалось на форме, развитии и общем звучании его произведений.

В декабре 1852 года во время пребывания в Бостоне Теккерей сказал своему издателю Филдсу, протягивая только что вышедший из печати том «Эсмонда»: «Вот лучшее, на что я способен». В течение сорока последующих лет или около того большинство критиков охотно разделяли это его мнение. Лет двадцать после выхода считалось, что «Эсмонд» относится к семейным романам и что при всей своей странности это чарующая, хотя, возможно, и предосудительная книга (отношения между леди Рэйвенсвуд и Эсмондом-мальчиком, а после взрослым мужчиной были подвергнуты суровой критике). Потом, когда настала эра Стивенсона, все восхищались «Эсмондом» как образцовым историческим романом. Впоследствии он оказался не в чести, и в наше время его недооценивают столь же сильно, сколь прежде слишком

высоко ценили. Почти весь «Эсмонд» был написан тотчас после насильственной разлуки с Джейн Брукфилд, и книга полностью опровергает мнение, что Теккерей был от природы слишком беззаботен и ленив. Считаю ли мы «Эсмонда» шедевром или не считаем, он поражает нас как *tour de force*<sup>1</sup> писателя. Задумав воссоздать эпоху королевы Анны, нарисовать широкую картину старых нравов, он воплотил свой замысел блистательно, и все же «Эсмонд» внушает мне такие же сомнения, как и «Английские юмористы XVIII века». Ведь на страницах этого романа правит отнюдь не Анна, а Виктория. Писатель мог с большою точностью запечатлеть начало восемнадцатого века, но мысленно увидеть эти годы изнутри ему мешал природный темперамент, сама способность к восприятию. В «Ярмарке тщеславия», «Пенденнисе», «Ньюкомах» мы видим Теккерей, нам знакомого, мы узнаем его по первому же слову, но в «Эсмонде» он обряжается в парик и в атласный камзол с чужого плеча.

После того как «Эсмонд» вышел в свет и был с восторгом встречен многими друзьями, Теккерей стал наслаждаться своим пребыванием в Америке, по большей части замечая все хорошее и много реже негодуя на плохое, чем разные английские писатели, которые там побывали до него. Он был единственным, оценившим Бостон гораздо ниже Нью-Йорка, где для него была сюрпризом встреча с богатыми, но простодушными отцами семейств, живыми, энергичными матронами и миленькими, самоуверенными девушками (с самой хорошенькой из них, девятнадцатилетней Салли Бэкстер, он с удовольствием пофлиртовал, изобразив влюбленность дядюшки в племянницу). На его лекции обычно собиралось много слушателей, как правило прекрасно принимавших их, и все же вместо обещанных четырех тысяч фунтов поездка принесла на полторы тысячи меньше. Его встречали всюду как светило, хотя случалось, что в газетах осыпали бранью, но этим нас сегодня трудно удивить. После Нью-Йорка, Бостона и Провиденса он побывал в гостеприимной Филадельфии, откуда переехал в Вашингтон, где слушателей было мало, зато было отменное общество, и посетил Балтимор, жители которого показались ему «глупее самой глупости». Отправившись затем на Юг, он весь март читал лекции в Ричмонде, Чарльстоне и Саванне, но не решился ехать в Новый Орлеан, так как дорога отняла бы слишком много времени. И все же то был Юг — земля рабов и рабовладельцев. Наблюдая с интересом жизнь цветных, охотно делая наброски с их шаловливых ребятишек, он тем не менее не видел в них людей, которые могли бы уравниваться с ним в правах. Он занял очень осторожную позицию по отношению к рабству: это, конечно, было зло, но в насто-

---

<sup>1</sup> Великое усилие (*фр.*).

ящей жизни, право, не внушало ужаса, ибо рабы, которые ему встречались, имели все необходимое и были в меру счастливы, гораздо более счастливы на самом деле, чем многие английские рабочие, ставшие жертвами неумолимого индустриального развития. Порою рабство разбивало семьи, но так же действовала и викторианская промышленность, возражали плантаторы.

Должно быть, Теккереею трудно было обойти вопрос о рабстве из-за одной американской романистки. В 1852 году, незадолго до приезда Теккереея в Америку, на весь свет прогремела «Хижина дяди Тома, или Жизнь низов в Америке» Гарриет Бичер-Стоу. Этот роман, сначала напечатанный в серийных выпусках вашингтонского органа аболиционистов, стяжал гораздо больший успех, чем все литературные произведения, когда-либо увидевшие свет и до и после. Переведенный на тридцать семь языков, он уступал по количеству переводов только Библии. Вскоре закусочные, рестораны, лавки и молочные бары на улицах всего мира стали «Хижинами дяди Тома». Трудно переоценить пропагандистское значение этой книги. С ее выходом нельзя было больше применять на деле закон о поимке беглых рабов, и, следовательно, она способствовала возникновению Гражданской войны (Линкольн даже заявил однажды, что она-то и вызвала войну). Роман на удивление долго оставался популярным, и первое театральное представление, которое мне довелось увидеть в раннем детстве, было инсценировкой «Хижин дяди Тома». Бичер-Стоу трудно отнести к великим, и ни одна другая ее книга не получила равного признания. Порой она бывала откровенно неумна, как, скажем, в «Солнечных воспоминаниях о заморских странах», безоговорочно осужденных Маколеем на страницах его дневника за 1854 год: «Это невероятно глупое и беспардонное сочинение. Миссис Стоу приписывает мне чудовищные нелепости, которых я не говорил, тем паче о соборах. А какие ошибки она делает! Роберта Уолпола путает с Хорасом Уолполом, Шефтсбери, создателя Habeas Corpus Act, принимает за Шефтсбери, написавшего «Характеристики»; даже смотреть она не умеет — Пальмерстона, у которого глаза голубые, называет темноглазым. Я рад, что виделся с ней мало, и очень сожалею, что виделся вообще». Но бедная миссис Стоу была так далеко от дома и билась из последних сил, чтобы распутать все эти загадки.

«Хижина дяди Тома» нимало не похожа на описание ее встреч с великими людьми в «Солнечных воспоминаниях». Вернемся ненадолго к Маколею, к его записям от октября 1852 года: «Дочитал «Хижину дяди Тома», сильная, но неприятная книга, на мой вкус слишком мрачная и отдает испанщиной, если судить ее как произведение искусства. Но в целом это самое ценное, что привнесла Америка в

английскую литературу». Не слишком последовательно. Отвечая на вопрос молодой американки, что он думает о «Хижине дяди Тома», Диккенс сказал, что это сильная книга, но не явление искусства и что, хотя ему понравились цветные, которых он встречал в Соединенных Штатах, миссис Стоу наделаила своих героев, и прежде всего дядю Тома, непомерной добродетелью. Но Бичер-Стоу с юных лет мечтала посвятить себя великой цели, которую и обрела в движении против рабства—аболиционизме, став пламенной его участницей. И эта одержимость сообщила ей какой-то грубоватый гений, благодаря которому ей удалось собрать необходимый материал и повести рассказ с такою силой. Там есть все наши давние знакомцы: ужасные побег, прощания на смертном ложе, благородные самопожертвования и страшные жестокости—необходимые приметы викторианской мелодрамы, но их объединяет новая основа: им служит фоном рабство и свобода, противостоящие друг другу.

Забавно, но миссис Стоу жила на Юге меньше Теккерей. Она родилась и выросла в Новой Англии, в семье учителя и проповедника. В 1832 году переехала с родителями в Цинциннати, где вышла замуж за такого же учителя, как и ее отец, Кальвина Стоу, человека слабого здоровья, и потому ей приходилось подрабатывать пером. Через реку Огайо лежал рабовладельческий штат Кентукки, и ей не раз случалось посещать плантации и заводить знакомства и с владельцами, и с чернокожими невольниками. Более того, бывало, беглые рабы перебирались через реку и так же, как ее Элиза, отчаянно перепрыгивали с льдины на льдину. И в Цинциннати, и в Новой Англии, где она жила впоследствии и где вращалась в кругу ярых аболиционистов, ей было многое известно о беглецах—и о попытках изловить их, и о стараниях спрятать. Поэтому в ее распоряжении оказалось все необходимое, хотя сама она и не жила на Юге. Она порой впадает в сантименты и неприкрытый мелодраматизм, готова каждую минуту обрушиваться на рабовладельцев, но все же ей достало такта не допустить открытой пропаганды. Ее южане, плантаторы и рабовладельцы, при всех их недостатках написаны сочувственно. Самый отрицательный персонаж в романе, так сказать, главный злодей мелодрамы, Саймон Легре на самом деле не южанин, а житель Новой Англии и уроженец Вермонта. Пусть Диккенс прав, и все цветные в этой книге, начиная с дяди Тома, безмерно добродетельны и слишком благородны, но даже тут она решительно порывает с традицией, изображавшей их либо жалкими недоумками, либо забавными простофилями на положении возниц и слуг. Она заставила весь мир увидеть в них людей. После триумфального посещения Англии, где тот же Маколей ее приветствовал, а Теккерей нашел, что она «милая, можно сказать, хорошенькая женщина с невероятно нежным взгля-

дом и улыбкой», она вернулась в Новую Англию, где много писала и выступала с публичными чтениями почти до самого конца своей долгой жизни, завершившейся в 1896 году. Хотя она не создала второго «Дядю Тома», она была вправе сказать себе, что написала самую популярную, а может быть, и самую действенную книгу XIX века. Среди ее горячих почитателей был и другой писатель, неизмеримо большего влияния, славы и величия, чье имя было Лев Толстой.

\* \* \*

## О ДИККЕНСЕ

...1850 год был великим годом и для другого исполина викторианской Англии—Чарлза Диккенса. 30 марта 1850 года вышел в свет первый субботний номер его «Домашнего чтения»—«Еженедельного журнала, редактируемого Чарлзом Диккенсом, цена 2 пенса». С этого дня Диккенс взвалил на себя пожизненную редактуру еженедельного издания, правда, впоследствии подвергнувшегося изменениям. Надо сказать, что у писателя был неоценимый помощник в лице У. Г. Уиллса, готового сидеть в редакции и дни и ночи. «Домашнее чтение» был популярным семейным еженедельником, составленным по принципу: хоть что-нибудь для каждого читателя, и если все-таки журнал обрел свое лицо и превзошел все прочие подобные издания, то потому только, что «заправлял» им Диккенс, и делал это замечательно. Еженедельник этот не был рупором того или иного политического направления, но Диккенс верно чувствовал рождение нового читателя и был намерен дать ему журнал, стоявший на позициях сильного радикализма. И как главный редактор, и как журналист, он движим был всегда одной заботой—заботой о простых тружениках. Ему случалось пересматривать свои позиции по отношению ко всем другим сословиям, что находило выражение в его романах, но не к трудящимся, глубокое сочувствие к которым в нем не иссякало никогда. Он знал, что рядом живут сотни тысяч, которые стремятся к лучшей доле, вполне ее заслуживая, для них он и работал, не жалея сил. Их благодарность не замедлила сказаться: первый же номер журнала разошелся в количестве ста тысяч экземпляров. Диккенс был замечательным редактором, неопытных он пестовал и наставлял, собственноручно исправлял их материалы. Он был прекрасным, возможно, и великим журналистом, умело выбиравшим темы для статей, но все же не достиг в них гениальности, которая видна в его романах. Среди писавших для журнала были и знаменитые авторы, такие, как миссис Гаскелл, и много талантливой молодежи: Саля, Йейтс, Пейн, которых называли «диккенсовскими мальчишками». Помощников могло быть

даже больше, если бы Диккенс не настоял на безымянности публикаций. То было неразумное решение — в конце концов собственное его имя появлялось на обложке каждую неделю.

Нет никаких сомнений в том, что Диккенс обратился к редакторской деятельности прежде всего потому, что хотел иметь трибуну для своих радикальных и реформистских взглядов. Но к этому его склоняли и житейские соображения. Журнал освобождал его в финансовом отношении, ибо приносил постоянный доход: Диккенс получал 500 фунтов в год как главный редактор и половинную долю прибылей — как совладелец издания. Вдобавок то была новая точка приложения его поистине демонической энергии. Развлекаться он умел не хуже, чем работать, но даже, развлекаясь, тратил больше сил, чем кто-нибудь иной, работая. Чего он совершенно не умел, хотя нередко притворялся, будто ему того только и надо, это спокойно жить и принимать такую жизнь как должное. Он хватался за все дела сразу, словно скрываясь от гнавшегося по пятам призрака.

Кроме всего прочего, его снедало ненасытное желание распоряжаться, что-то затевать, приказывать и подчинять всех своей воле — желание, которое не утолить писательским трудом. Мы столько раз читали, как веселился он на вечеринках, устраивал шарады, игры, делал фокусы, что мы невольно забываем и другую сторону его натуры, из-за которой он бывал домашним деспотом и требовал, чтоб в доме все сверкало чистотой и содержалось в аккуратности, как офицер, который проверяет состояние казармы. Не случайно при первой встрече с Диккенсом молодой Генри Джеймс отметил про себя его «командирское око». Один из самых страстных почитателей и молодых друзей Диккенса Эдмунд Йейтс рассказывает: «Я слышал, как люди, знавшие писателя, называли его агрессивным, властным, нетерпимым, и мне понятны их упреки, но для меня он был всегда самою добротой и нежностью». Здесь предстают две разные стороны писателя, который был противоречивым человеком. Должно быть, пребывание на посту главного редактора и соиздателя преуспевающего популярного журнала удовлетворяло какую-то его насущную потребность, и ради этого он был готов работать ежедневно чуть не до рассвета. Хоть мы и рукоплещем его горячему стремлению к реформам, его попыткам уберечь рабочих от болезней, невежества, уродств жизни, безволия и чувства безысходности, мы сомневаемся в разумности решения, из-за которого он так перегрузил себя работой.

Сегодня ясно, что он вступил тогда на путь страданий и изнурительных усилий, приведший его к смерти в неполные шестьдесят лет. Бесспорно, публичные чтения отнимали у него больше сил и больше его истощали, чем обязанности главного редактора, но то был первый шаг на разрушитель-

ной стезе, приведшей его к ранней смерти. Он был необычайно добросовестным редактором, даже во время отдыха во Франции не в силах был забыть лежащий на нем долг и жил, не прерывая связи с Уиллсом и редакцией. От этого не пострадали самые важные и лучшие его романы, но от неизбежного и непрестанного перенапряжения сил пострадал он сам. Возможно, он прожил бы еще лет десять — а прозаики часто создают лучшие свои произведения на седьмом десятке лет, — если не стал бы издателем и журналистом, актером и чтецом. Наверное, он и впрямь помог в какой-то мере трудовому люду, ради которого и занимался журналистикой, но невозможно восхищаться и пленяться гениальным даром Диккенса, принадлежавшим более всего его художественному творчеству, не думая о том, что за победным выходом первого номера «Домашнего чтения» стояло рискованное, может быть, даже фатальное жизненное решение.

Еще один триумф ожидал Диккенса в ноябре того же 1850 года, когда отдельной книгой вышел «Дэвид Копперфилд» (до этого роман печатался помесечно в виде журнальных выпусков) с иллюстрациями Физа, на добрый старый манер. Роман не только хорошо был принят публикой и критикой, но вскоре все сошлось во мнении с Диккенсом, считавшим «Копперфилда» лучшим своим детищем. И вскоре книга стала образцом классических произведений века. Она обязана своим рождением Джону Форстеру, который посоветовал писателю создать роман от первого лица, а так как несколько начальных глав автобиографии были уже готовы, дело быстро двинулось вперед. В письме Диккенса к Форстеру есть следующие строки о «Копперфилде»: «Мне кажется, что я и впрямь пишу его оригинально, затейливо сплетая правду с выдумкой». Не подлежит сомнению, что он «и впрямь писал его оригинально», пока не подошел к последней части книги, где менее убедительно построена интрига. Любой внимательный исследователь не может не следить как зачарованный за тем, как явь перетекает в вымысел и как отдельные черты родителей писателя, нигде не обрисованные целиком, в виде законченных и выписанных образов, встречаются у самых разных персонажей и в самых разных сценах, окрашенных его доподлинными чувствами к отцу и матери. Обычные читатели, которые брались за книгу ради удовольствия, испытывали радость, как и мы, от редкой прелести рассказа, от встречи с длинной вереницей образов, иные из которых стали нарицательными, от дивного разнообразия и сцен, и мест.

Но под конец очарование меркнет. Просчеты автора: неубедительность сюжета, расплывчатость фигуры Дэвида — удачливого романиста (писателям ни при каких условиях не следует изображать писателей, даже из откровенной зло-

бы) — гораздо более заметны в поздних главах, чем созидательная мощь его таланта. Собственно говоря, главную, неиссякаемую силу «Копперфилда» составляет детство Дэвида... Специалисты по английской литературе, которые «преподают» нам Джойса, Лоренса, Вирджинию Вулф и прочих авторов психологического направления, имеют право свысока взирать на Стирфорта, на крошку Эмили, на козни Уриа Хиппа, но, если мастерство, с которым Диккенс воссоздал детские годы Дэвида, не внушает им благоговения, они не более чем кучка неучей. Это истинное чудо психологической прозы, в литературе и по сей день нет лучшего изображения детства. Здесь есть игра теней и света, присущая началу жизни, зловещей тьмы и лучезарной, снова возникающей надежды, бесчисленные мелочи и тайны, подслушанные у волшебной сказки, — с какою тонкостью и совершенством все это написано! Бодлер сказал, что тот, кто может по желанию вернуться в детство, гениален. Какой-то стороной своей души Диккенс остался в своем детстве. И в этом кроется секрет его невиданной животворящей силы — в «Дэвиде Копперфилде» даже столы и стулья кажутся живыми, а так умеют чувствовать одни лишь дети. И в этом же секрет его ошеломляющих комических героев. Неумно видеть в них одни карикатуры. Посредственные книги кишмя кишат карикатурами, но мы их забываем в считанные дни. Смешнейшие создания Диккенса чудовищны, но их нельзя забыть и им нельзя не верить, ибо мы видели подобных им и раньше, то были самые нелепые друзья наших родителей, знакомые нам с детства, бессмертные, живущие, как прежде, в нашей памяти...

## О ССОРЕ ДИККЕНСА И ТЕККЕРЕЯ

... Лето 1858 года принесло с собой еще одну ссору, наделавшую много шума и разделившую литературный Лондон на два враждующих стана, с нею оборвалось некоторое, соединявшее между собою Диккенса и Теккерея. Но вызвал ее в этот раз не Диккенс. В почтовом ведомстве служил чиновником один довольно бойкий молодой человек по имени Эдмунд Йейтс, который подвизался и на журналистском поприще. Родители Йейтса, происходившего из театральной семьи, были любимыми актерами Диккенса, и он как друг семьи стал покровительствовать молодому журналисту. Случилось так, что Йейтс, опаздывая с материалом для еженедельника, специализировавшегося на светских сплетнях, в великой спешке настроил довольно дерзкую и неприятную заметку о Теккерее, чем очень рассердил писателя. (Он позабыл уже, как в молодые годы, — оправдывался потом Йейтс, — позволял себе не менее, а может быть, и



более хлесткие сатирические выпады по адресу разных людей.) Теккерей отправил Йейтсу очень резкое письмо, в котором обвинял его в подслушивании разговоров в «Гаррик-клубе», членами которого были все трое: и Теккерей, и Йейтс, и Диккенс. Если бы дело тем и ограничилось, это было бы не так страшно. Но Теккерей, страдавший от обиды, направил жалобу совету «Гаррик-клуба», что возмутило Диккенса, наперсника и друга молодого журналиста, ибо в заметке Йейтса «Гаррик-клуб» в конечном счете не был упомянут. Тем не менее совет уведомил Йейтса, что он не может оставаться в клубе. Однако Йейтс не подчинился этому решению, и больше месяца ходили слухи, что он направит дело в суд. Вот как описывает это Диккенс: «Величайшая путаница, неразбериха, скверность и доука. Неважно, кто тут мастер варить кашу, адское варево кипит и булькает сейчас всюду». Теккерей подлил масла в огонь, позволив себе колкость в адрес Йейтса в последующем выпуске «Виргинцев»: «Безусая Граб-стрит строчит статейки для трехпенсовых газеток о джентльменах и беседах джентльменов, подслушанных в их клубах». Что ж, это Теккерей отнюдь не с лучшей стороны.

Диккенс написал Теккерее примирительное письмо, но получил очень холодный ответ, кончавшийся формальным «остаюсь к вашим услугам» и прочее. «Черт его подери с его услугами!» — вскричал Джон Форстер, прочитав письмо. Теккерей в свою очередь признался своему приятелю, что метил не столько в Йейтса, сколько в «того, кто за ним стоит». До суда дело все же не дошло, и Йейтса, так и не покинувшего клуб по своей воле, в конце концов оттуда исключили. Однако скрытое соперничество двух писателей стало для всех очевидно. Их рознь была подхвачена друзьями и поклонниками, представлявшими два очень разных социальных круга. Людей, близко стоявших к Теккерее, можно назвать условно «джентльменами», а окружение Диккенса — «богемой», то были два различных слоя лондонского общества. На самом деле вовсе не соперничество, по большей части бывшее плодом воображения их присных, заставило писателей вступить в борьбу. Истинного взаимопонимания между ними не было даже тогда, когда их связывали вполне приятельские отношения. Огромному, застенчивому Теккерее, который был весьма чувствителен к общественному мнению и не лишен снобизма, им же пригвожденного к позорному столбу, Диккенс должен был казаться живущим напоказ ловчилой, который угождает вкусам глупой и широкой публики; Диккенс же считал себя прилежным слугой последней и, несомненно, в высшей степени серьезно относился и к должности писателя, и к той ответственности, которую она с собой несет. Ему претила джентльменская игра в любительство и напускное безразличие, с которым

Теккерей брал деньги за романы (весьма стараясь заработать их, ибо они были необходимы), словно цинично пожимал плечами, показывая, что писательство—это такая невеселая забава, до которой ему нужно снисходить, чтоб искупить иные игры его юности, стоившие ему некогда отцовского наследства. Диккенс наделил Генри Гоуэна, одного из персонажей «Крошки Доррит», некоторыми чертами Теккерей, Теккерей в свою очередь сказал своему приятелю, что это «чертовски глупое произведение». Так что их ссора, на пять лет прервавшая их отношения, отнюдь не была проявлением ребячества, истоки ее были очень глубоки. И все же в их сердцах вражда перемежалась теплым чувством, которое в конце концов свело их вместе благодаря посредничеству их детей. Они были рады обменяться крепким рукопожатием в духе эпохи и позабыть о ссоре. Это случилось в 1863 году, всего за несколько дней до смерти Теккерей и за семь лет до кончины Диккенса.

# Англичане \*

## (1973)



### ЗАГАДКА АНГЛИЧАН

Перед вами — не история англичан, а простая, ненаучная попытка объяснить, кто они такие. Я не претендую на беспристрастность, но не впаду и в предвзятость и не буду гордиться в душе неким сказочным царством. Возможно, я очень люблю и страну свою, и народ (так оно и есть на самом деле); однако записным патриотом я не был и не собираюсь меняться на старости лет. Когда нужно, я обвиню, ибо хочу судить со всем беспристрастием, какое допускает разум, а не размахивать перед читателем национальным флагом. Иногда я и обобщу, отменяя исключения, но лишь для краткости, ясности и связности. Без сомнения, здесь найдутся и предрассудки, и несообразности — в конце концов, я англичанин, и пишу о тех, кто ухитрялся век за веком сочетать несметное множество предрассудков с удивительной нелепостью. Конечно, среди прочего, придется объяснить и это.

Я долго прикидывал, и мне показалось, что надо выбрать одно из двух начал, один из двух подходов. Либо я, скажем, так, пойду по мелководью, либо решусь и сразу прыгну в глубину. Если принять первый способ, придется переписать множество мнений и суждений о моем народе — старых и новых, наших и чужих, разобраться в них и, если возможно, вывести общий знаменатель. Это нетрудно, но и впрямь мелковато. Нырнуть — труднее, смелее, непривычнее, быть может — опрометчивей, но это больше нравится мне и, надеюсь, многим читателям. Я забуду на время все мнения и оценки, и попытаюсь прорваться как можно ближе к самой сути англичан, найти заветный ключ, разгадать загадку. Что ж, начнем.

Нырять придется глубоко, и потому мы вправе хотя бы на время обратиться за помощью к психологии, исследующей глубины души, только не к Фрейдю, а к Юнгу. Мне кажется, в

---

\* © J. B. Priestley, 1973

душе англичан размыта, слаба, неясна граница между сознанием и подсознанием, ее как бы и нет, так что порой их и не различишь, словно два графства с нечеткой границей. Можно сказать иначе, без науки: в Англии полагаются на чутье больше, чем в других странах Западной Европы. Англичанина нельзя назвать безрассудным, но и рассудительным он бывает редко; он почти всегда недоверчив к четким, рассудочным суждениям, предпочитая суждения незавершенные. По самой сути своей он не дозволит рассудку пойти, куда тот пожелает, разрешая все сложности—рассудок подчинится чутью, пропитается им, окрасится. Я не хочу сказать, что англичане лучше или хуже других жителей Европы; просто они иные, и это замечали очень многие иноземцы.

Я убежден, что именно в этом—самая суть английского духа, ключ к его тайне, путеводная нить. Конечно, мало высказать мнение; надеюсь по ходу дела привести и доводы. Но кое-что можно определить сейчас. Вот, например: недоверчивость к строгому разуму, к рассудку, к всевластию логики, веру в инстинкт и чутье обычно приписывают женщинам, а не тем твердокаменным мужчинам, которыми издавна славятся англичане. Однако я не сдаюсь; мужская грубая сила нередко служит своего рода прикрытием для истинно-женских черт. Об этом мы еще потолкуем, как и о том, что время от времени облик и действия отдельных групп, иногда—небольших, всегда—весомых ломают привычную модель, переворачивают вверх дном, быть может—нарочно. Потому и не сработали, отказали разнообразные, но скороспелые суждения об англичанах; те, кто создавал их, не всматривались в наш народ, не изучали его пытливо и тщательно. Если же мы согласимся, что в английском характере, праве, образе мыслей, национальном духе есть что-то женское, нам удастся, на мой взгляд, осветить темные углы, где скопилось столько заблуждений. Словом, я надеюсь показать, что противоречия и странности, озадачивающие многих чужеземцев, а порою—и нас самих, утратят резкость, размоются, растают, как очертания английского пейзажа.

Это еще не все, надо понять и другое. Я предложил искать разгадку англичан на той душевной глубине, в какую можно заглянуть, когда пишешь такую книгу; но ни в малой мере не отрицаю, что англичане меняются. Они менялись всегда—только на моей памяти произошло не меньше трех существенных перемен. Однако различия эти, хотя и очень явные, не проникают вглубь, в самый корень. К худу ли, к добру ли, английский дух, общий знаменатель, глубинная загадка англичан по-прежнему сильно влияет и на характер наш, и на образ жизни.

У англичан до сих пор нет писаной конституции—судопроизводство основано не на своде законов, а на запутанном наследии обычного права. Здесь есть и преиму-

щества: такой суд гибче, он лучше защищает личную свободу. Но сколько им не кичись (а им всегда кичились политики и юристы), обычному человеку это скорее вредит. Он плохо понимает, какие у него права, ему не на что сослаться, дела тянутся долго, обходятся дорого. Иногда, опираясь на обычное право, судьи с успехом противостоят властям, но много чаще они мнят о себе больше, чем следует, и судят все и вся, что им никак не положено. Перефразируя слова Роберта Бертона о лошадях и женщинах, скажу, что Англия — тучное пастбище для юристов и темный, пустой лабиринт для обычных людей. Если я преувеличил тяготы нашей судебной системы, то лишь потому, что столько лет слышу, как обыкновенные деятели, особенно — юристы, толкуют о зависти всего мира к английскому судопроизводству. Я слишком мало знаю, чтобы сравнивать, но за долгие годы не заметил ни в одной стране, чтобы нам завидовали.

Можно считать, что приятные речи, тешащие после обеда политиков и компанию — просто английская слабость или, если хотите, английский порок. Связаны они с темной стороной нашего духа, свойственной прежде всего средним слоям, и лучшее имя для них — самообольщение. Не надо путать их с простою ложью. Одно дело — лгать в здравом уме и твердой памяти, совсем другое — обманывать себя, не ведая, что творишь (правда, второе опасней, особенно в политике). Конечно, если ваше сознание ярко освещено и не тронутو странными тенями подсознательного, то подгоняющими его, то придерживающими, вы решите, что знаете и себя, и причины своих поступков, и это уберезет вас от грубых самообольщений. Вы сочтете англичанина лицемером, если не поймете, что у того все иначе, что сознание его открыто подсознательному и непременно нужно учитывать интуицию, чутье, нюх. Нелепо притворяться, что в нас вообще нет лицемерия — как-никак, нам не забыть Пекснифа, — но нельзя путать велеречивое, зрячее, намеренное притворство Тартюфа с туманной мешаниной, на которой зиждется английский самообман.

Именно эта нечеткость объясняет в немалой мере то, что английские чиновники, политики, особенно дипломаты вечно слынут коварными. За границей считают, что они поразительно хитры, умны, расчетливы, лицемерны и злонамеренны. В девяти случаях из десяти это совсем не так. Наше министерство иностранных дел, осторожное сверх меры, трусливое до робости, нередко уклонялось от ясных, прямых ответов, которые могли бы предотвратить войну. Но чаще всего причину надо искать в особом, английском складе ума, а не в безднах лукавства, достойного Маккиавели. Что же до частной жизни, я не раз видел, как приезжие европейцы, особенно — из Центральной Европы, сперва считали нас глупыми, а потом старались понять, не хитры ли

мы, не вероломны ли, или, наоборот, сперва считали хитрецами, а уж потом — дураками. Ошибались они и в том, и в этом: англичане и не глупее, и не умнее прочих, они просто *другие*.

Прежде чем перейти к защите англичан, я приведу два примера английского самообольщения. Во-первых, и мы, и многие иностранцы считают, что англичане на редкость *практичны*, куда практичней своих заморских собратьев. Я не видел ничего, что подтвердило бы эту иллюзию. Конечно, обычный англичанин лучше разбирается в делах, трезвее видит жизнь, чем многие известные нам народы, от Египта до Таити. Но чем он практичней француза, голландца, швейцарца, немца, шведа? Совершенно ничем! Всякий, кто знает и нас, и эти народы, знает и то, что повсюду можно найти образцы здравого смысла, умения себя вести, ладить с людьми, делать дело, равно как и образцы редкостной, небывалой глупости. Я мог бы привести много и наших, и чужеземных примеров, но лучше пускай читатель, побывавший хоть раз за границей, развлечется, припомнив примеры сам. И все же об одном подумать нужно. Когда и почему снискали англичане эту сомнительную славу? (Не будем путать ее с политическим прагматизмом, к которому я еще вернусь). Мне кажется, миф возник в конце XVIII века — в начале XIX-го, набирая силу по ходу «успехов промышленной революции». Тех, кто ворочает *такими* рынками, поневоле сочтешь практичными. Но к нации в целом это отнести нельзя. Точно так ошибся Наполеон, обозвавший нас «народом лавочников». Это неверно; нам было бы много легче, если бы мы лучше вели и мелкую, и крупную торговлю; а вот французы, на мой взгляд, напоминают мозговитых лавочников и с виду, и по складу ума. Славнейшие из англичан творили, изобретали, худшие — пользовались и торговали плодами их творчества.

Вторая иллюзия возникла позже и бытует в средних слоях общества; и выше, и ниже редко тешатся ею. Почему-то принято считать, что англичане добрее, сердечнее других народов, и если чем грешат, то излишней мягкостью к врагу, включая военных противников. Многие англичане, тем более — англичанки, охотно глотают эту ложь, думая о лошадях, собаках, кошках, но не о людях, даже не о детях. В англичанах долго было, а может — есть и сейчас что-то жестокое. Скажем, тюрьмы за границей бывают и похуже наших, но в основном они гораздо лучше. Вплоть до нынешней поры служба в английской армии, особенно — наказания, много тяжелее, чем в других странах Западной Европы. Это уж я знаю: мрачную зиму 1915—1916 года я провел в окопах, и англичанам пришлось много хуже, чем французам и немцам — у тех были теплые землянки и горячая еда, мы же выносили невыносимое, дабы в чудовищ-

ных условиях «не терять боевого духа», хотя пошли на фронт сами, добровольно. (Сказал же Веллингтон, что ведет за собою сор земли.)

Что же до жалости к врагам, спросите их! Если его как следует раззадорить, англичанин — один из самых жестоких и безжалостных воинов. Во время второй мировой войны мы призывали больше мужчин и *женщин*, чем сами нацисты; а под конец именно мы приняли чудовищное и, на мой взгляд, глупое, ненужное решение сравнять с землею целые города, в которых нет военных объектов, готовя тем самым почву для судного дня атомных бомбардировок. Да, сделали это мы, даже если предложили служившие у нас немцы. Англичане и дома не отличаются особой добротой, на войне же они суровы к себе и совершенно безжалостны к врагам. Огромную империю, которую мы едва помним, связывали воедино отнюдь не цветочные цепи.

Теперь перейдем в ту область, в которой английский дух (особый душевный склад, описанный выше) уже худо-бедно находит себя, хотя и не совсем свободен от иллюзий и самообмана. Читая историю, мы заметим, что у соседей наших бывала прочная, крепкая власть, обдуманная, но неразумная, и потому — нестойкая; рано или поздно она разваливалась, тогда как наша, английская, которую и разглядеть трудно, предпочитала логике смекалку и прескрасно делала свое дело, несмотря на множество помех. Как и в других странах, она была монархией (или чем-нибудь, ей подобной) и аристократией, но от прочих монархий и аристократий — как и все в Англии — отличалась нелогичностью, несообразностью, даже нелепостью. Однако все это не лишало ее политической и общественной устойчивости, вполне приемлемой для здравомыслящих людей.

Начнем с монархии. После гражданской войны и протектората ее восстановили, никак не притязая на божественное право, и с королями обращались не намного лучше, чем со шляпами. Наконец, в 1714 году восторжествовала нелепица — курфюрст Ганноверский стал Георгом I. На заседания кабинета он ходить не мог, поскольку не знал языка, и правил растерянно, вслепую, пытаясь догадаться, что говорят подданные. Все это казалось бы диким, смехотворным, если бы мы не знали, что именно тогда нацию нашу особенно чтит честные, добрые люди, а Лондон на несколько десятилетий стал Меккою просвещения. Строгий, логичный распорядок, быть может, исчез со сцены, но победил здравый смысл, и во всем Западном мире возросли гарантии личной свободы. Огромную роль сыграл тут английский дух.

Обратимся к другой, более важной черте — к роли правящей знати, и увидим снова, как странно смешались нелепица и действительность, самодовольная иллюзия и здравый смысл. Ни в одной из крупных европейских держав нет

такой системы, как в Англии. Она нелогична, несообразна, и без английского духа вообще бы не работала. Ведь англичане денно и нощно изготовляли аристократов и, зная это, ухитрялись аристократию почитать. Они поклонялись старой знати, хотя она не была ни знатной, ни старой, как бы не замечая запаха опилок, не отчистившихся со времен работы в мастерской. Увидев это, средний француз тех времен решил бы, что сошел с ума. Но этот француз или его потомок воспротивился в конце концов неподвижной, всевластной знати, восстал, возвел гильотины, смел все и вся, расчистив место для мясорубки Бонапарта. (Я убежден, что за жестокий мятеж платят страшной ценой — взметнувшийся маятник падает снова, обагрясь кровью.) Английская же система говорила: «Нами правят вельможи? Что ж, сделаем вельможей всякого, кто стремится вверх и опасен в унижении. Хватит с нас Кромвелей! Мы больше не дадим генералам терзать нашу страну».

Система эта действовала и на низшем уровне. Мелким землевладельцам и влиятельным горожанам даровали местную власть; ими кишели и мэрии, и суды. Англию опутала плотная сеть общественных дел и институтов, которых больше нигде не встретишь. Говоря строго, демократией это не было: богатые голос имели, бедные — никакого; а мало кто способен создавать законы себе в ущерб. Кроме того, как мы увидим, система не выдюжила, когда развилась промышленность, а Французская революция напугала крупных землевладельцев. Однако здесь всегда таилась возможность установить демократию, проведя необходимые реформы, чего никогда не бывало в централизованных деспотических государствах, правящих своим народом при помощи безликих бюрократов. Англичане, что ни говори, *знали* друг друга, даже если сэр Томас Груб бушевал в суде, не скрывая своей неприязни к низкому родом Биллу Наглу. При всех недочетах и недостатках сеть свое дело делала, не давая порваться там, где могло дойти до безвластия и кровопролития. Конечно, некоторым как раз это и не нравилось, ибо они уже продумали план революции. Но таких людей было всегда немного, это — не в духе Англии.

Естественно, что общество, непрестанно плодящее знать, укрепляющее правящую элиту, должно забыть о резких границах, так сказать — о кастовой системе. Поэтому Англия, как всем известно, стала страной *сословий*. Даже теперь, после стольких перемен, деление это существует, хотя определить его труднее, чем прежде. Вероятно, даже в наше время двадцать девять англичан из тридцати без колебаний назовут свое место в обществе. Но чуждый четкости английский дух, не жалуемый строгих определений, смягчил и запутал это своими чарами. Только прожив много лет в Англии, иностранец начнет догадываться, что отделяет одно сословие от



другого. Дело обстоит так, словно полк марширует, четко выстраивая ряды на параде, тогда как зритель видит лишь густой туман. Я уверен, что с той поры, как Англию беспощадно (а в наши дни и успешно) стали теснить другие промышленные страны, расслоение наше вместе с еще живой аристократической традицией серьезно мешает мало-мальски быстрому развитию. Оно повинно отчасти в так называемой расслабленности последних лет и, смею заметить, много важнее по своим последствиям, чем исчезновение империи. Лишь истинно-демократическое общество, которое мы краешком глаза увидели во время войны, могло бы изгнать ощущение затхлости, скуки, смутной тоски, знакомое теперь многим англичанам.

Как видите, я принимаю немало, и все же чувствую, что некоторые из сторонних мнений о нашей системе сословий нуждаются в поправках. Скажем, когда я часто ездил в Америку, там непрестанно толковали о нашем неравенстве, явно забывая, что собственные их сверхбогачи намного привилегированней и выделенней, чем кто бы то ни было из англичан, кроме королевской семьи. (Сомерсет Моэм пишет о том же в «Записной книжке писателя».) Есть и другая привычная ошибка — многие думают, что сословная система навязана сверху, как бы от герцога — вниз. На самом же деле чувство сословия соприродно большинству англичан, неотъемлемо от английского духа. Если бы вдруг исчезла знать, расслоение сохранилось бы, даже усилилось среди «простых людей». Нетрудно представить себе, как двадцать англичан, которых свела судьба, через час-другой ощутят различия ранга. Я помню, что во время бомбежки работницы почти сразу разделялись по мельчайшим различиям, невидимым для меня. Но женщины не только в Англии замечают такие вещи гораздо острее мужчин.

Сторонники и защитники демократии совершают еще одну ошибку. Они не понимают, что привычная система сословий удобней, приятней, даже уютней для большинства, чем эгалитарное общество. Люди довольны своим положением и не притязают на чужое. Собственно, и мужчины, и женщины могут ощущать себя поистине свободными, признавая общественные различия. Они знают свое место, им хорошо в своем кругу. Плохо не им; плохо почти всем, когда привычное расслоение резко сменяется другим, обычно — связанным с богатством, деловым успехом, денежной властью. Намного труднее ладить с множеством Джонсов, чем признавать порою, что герцог Джонс знатней и важней тебя. Личности исключительные (в том числе женщины) могут и в сословном обществе шагнуть на другую ступень. Они восходят иногда с самого дна на самый верх; это случалось не раз, случается и теперь. Однако большую часть людей не терзает честолюбие, они не пекутся денно и нощно о том,

чтобы выбиться в свет. Они хотят, если можно, что-то значить в своем кружке, вот и все, до прочего им нет дела. Может быть, это не способствует развитию промышленности; зато сами люди в разумных пределах довольны своей жизнью.

Конечно, в сословном обществе неизбежен снобизм, и нас непрестанно в нем обвиняют. Поскольку я этой слабости лишен, выступаю в ее защиту. Прежде всего следует понять, что снобизм сословный, светский особенно заметен; однако есть и другие. Тянутся в чужой слой и ученые, и просто умники, и эстеты, и спортсмены, и даже те, кто стремится к неудобствам (советую их избегать, но поясню для ясности, что они почитают достойной, стоящей, честной только неудобную жизнь, по возможности—грязную. С этим часто сочетается снобизм умствования и молодости—нет, что за пакость!). Вполне естественно, что внимание привлекали и привлекают прежде всего те, кто лезет в свет. Многие, скажем—Теккерей, относились к ним с недолжной печалью и серьезностью (несравненно правильной взирать на них легко, со смехом, как Бенсон в романах о Люции). Глупо рьяно рваться в свет, но глупо и принимать всерьез столь невинную слабость. Людям не обойтись без игр; и если Смиты спят и видят, как бы залучить в гости местного баронета, им это в радость, а другим вреда не будет. Попытка проникнуть в высшее общество придает особое очарование прекраснейшим из наших книг. Но припомним, что глубже и безотрадной всех описал ее не англичанин. Мы обязаны этим не Англии, а Франции, великому дару Марселя Пруста.

Одна из давних черт нашей жизни, редкая в других странах, порождена отчасти сословной системой, отчасти же тем, что наше общественное мнение не слишком строго, мало того—разболтанно. Век за веком, неуклонно, появляются люди важные, преуспевающие, осыпанные чинами, орденами и титулами, но не сделавшие буквально ничего. Люди эти живут и другим не мешают. Они никогда не скажут: «Нет», если от них ожидают согласия; нередко они картинны и вальяжны, особенно когда облачатся в старинный наряд для традиционной церемонии (Вирджиния Вулф заметила однажды с едкой горечью, что английский вельможа любит рядиться в маскарадный костюм). Вплоть до наших времен можно было сказать немало в защиту причудливых церемоний, которые и теперь кое-где повторяются со дня на день. Они связывали настоящее с далеким прошлым; давали и участникам, и зрителям ощущение непрерывности, нередко одаривая их живописными нарядами и грохотом труб; переносили историю из учебников в древние залы, даже на улицы. Что бы делали без них туристические бюро и цветная фотография? Однако традиция и ритуал не вечны. Значат

они все меньше, жизнь уходит из них, и сам английский дух, охранявший их так долго, не в силах помешать тому, что молодые англичане видят здесь пустую нелепицу. Сам я считаю, что от большей части этих английских-преанглийских зрелищ пора отказаться. Англии пора бы обрести свою живую сущность, что-то получше приманки для туристов.

Конечно, английскому духу, описанному мною,—духу, причудливо сплетающему сознание и подсознание, намеренно ставящему на нюх и чутье,—приходится трудно. Бывало это прежде, он выжил, но от нынешней опасности нельзя просто отмахнуться. Выражение «то, что надо», навверное, уже не бытует—ведь если вы сами не то, что надо, словарь ваш безнадежно отстанет за несколько месяцев. Стоило бы спросить: «От чего отстанет?» и даже «Кому надо?», но ответы отошлют нас отнюдь не к английскому духу, который не близорук, а дальновзорок и всегда склонен удерживать в культуре бывшее. Дух этот почитает старость, к молодым он осторожно-недоверчив. Стилъ «то, что надо»—совсем иной. Серьезные газеты едва упоминают крупных художников, замечая лишь молодых бунтарей, навверяд ли ведающих, что творят. Почтенные владельцы галерей не жалеют места для картин и скульптур, которые кажутся многим из нас то ли неудачной попыткой, то ли наглой нелепостью. Когда телевидение обращается к искусству, оно почти неизменно показывает нам левейших из левых. Самые передовые и элитарные критики сообщают нам, что читать можно никак не книги о жизни, а только книги о писателях, пытающихся написать книгу. И так все время, сами искусства втянуты в водоворот моды, а чем бы ни было это явление, я не отнесу его к примерам английского духа, которому, повторяю, приходится нелегко.

Значит ли, что английские читатели и зрители утрачивают одну привычку или слабость, давно подмеченную иностранцами, у которых она вызывала раздражение и даже брезгливость? Концертные залы и театры битком набиты, когда выступает бывшая знаменитость, давно пережившая свой расцвет,—певица, утратившая голос, старый актер, которому лучше бы сидеть дома и лечить артрит. Дело здесь не в отсутствии вкуса и не в ограниченности, как нередко считают. Публика рукоплещет не слабому хрипу и не деревянным позам. Ею движет не восторг, а привязанность, потому я об этом и говорю. Привязываются не одни англичане, но англичане—и в жизни, и в книгах—привязываются намного сильнее, чем большая часть других людей. Они не знают всепожирающей любви, незаконной страсти, слепого обожания, зато привязанность им знакома. Не путайте ее с чувствительностью, штукой натужной, слезами ради слез, столь любезными викторианскому фабри-

канту, всецело распоряжавшемуся рабами, или злодею, вспомнившему о своей матушке. Царство привязанности— где-то между любовью и намеренной благожелательностью. Она теплее дружелюбия, лучше видит того, к кому обращена— лучше видит, а не выше ставит, ибо можно привязаться всерьез к людям недостойным, даже к жуликам, если только они не подлы, не жестоки, не фальшивы и хоть чем-то милы. Немалую роль тут играет память. Писали у нас об этом очень много. Уже в самом начале, в таверне «Табард», мы подмечаем именно это за неярким сверканьем чосеровой иронии. Что до Шекспира, он— хотя бы в двух или трех пьесах— лучше сказал о привязанности, лучше понял ее, чем все (кроме Чехова) новые драматурги. Иногда рождаются англичане, способные к привязанности не больше, чем столб; но народ вообще— народ, теснящийся на галерке, чтобы насладиться Шекспиром и читающий вслух Диккенса,— никогда не утрачивал этого чувства. Без его нечеткой неразумности, его постоянного мягкого тепла (тепла, не пламени) английский дух, мне кажется, был бы неполон.

Те, кто приезжает из-за границы, не видят ни этой, ни многих других сторон английской души. Высказывания их, как я обнаружил, дают немного; впечатления их смутны и чаще всего неглубоки. Если бы я привел хоть несколько, читателю пришлось бы расплачиваться за мои муки. Мнение давних посетителей— скажем, с конца XV до начала XVII века, можно обобщить, и я попробую.

Англичане, по их словам, очень самонадеянны. Самая высокая похвала чужеземцу— сказать, что он настоящий англичанин. Они отважны в битве, и даже дома, в мирные дни, драчливы, буйны и несдержанны. Даже простой люд кажется надменным и нетерпимым. Все любят есть, пить и веселиться. Женщины (которые, большей частью, белы, красивы и чувственны) вольны делать все, что пожелают, и в этом, вероятно, ничего хорошего нет. Правила в Англии не строги, не то что в других цивилизованных странах. Здесь слишком много поют, пляшут, целуются на людях, и при этом недостает учености, трезвых и вдумчивых странствий, тонких наблюдений над нравами, изысканных манер.

Я все честно подытожил, и если нам доведется узнать, что говорили об англичанах позднее, мы заподозрим здесь немалую долю насмешки. Однако нужно помнить, что так судили не случайные странники, захавшие к нам поразвлекаться, а послы и прочие важные люди, занятые важным делом. Мало того— в большинстве случаев приезжали они из разоренных смутю стран, тогда как Англия Тюдоров войны не знала, хотя над ней и висела угроза внезапной тяжелой расплаты.

О том, что англичане веселятся невесело, постоянно твердили во Франции, в средние века, но лишь с конца

XVII века и в восемнадцатом легенда об английской печали начинает смущать иноземных гостей. Подмечали они и другое, от наглости простого люда до несравненных достоинств Лондонского театра, но мысль об угрюмых, мрачных, жаждущих смерти англичанах — сильнее всего. Один путешественник, возвратившись во Францию, оповестил читателей, что лондонские власти перекрыли все подступы к Темзе, ибо самый вид реки побуждает горожан покончить счеты с беспросветной жизнью; но и такие меры, мягко прибавляет он, дали немного. Кое-кто тщился объяснить столь пагубное наше состояние, скажем, туманами, мясом, пивом, спартанским воспитанием, но почти все верили легенде, охотно укрепляли ее и дополняли. Сколько же в ней правды?

Если мы, забыв «Оперу нищего» и «Тома Джонса», посмотримся в первую половину XVIII века, мы обнаружим, что правды здесь немало. Все эти годы англичане любого сословия пребывали в тяжком неврозе. Истинная печаль, а не кокетство печалью, отягощала страну. Люди много думали о смерти и могиле; новообращенным велели думать о них что ни вечер. Все любили смотреть на похороны и не знали лучшего места для вечерней прогулки, чем кладбище. Книжные лавки были битком набиты мрачными стихами. Несметное множество народу — гораздо больше, чем в других странах — кончало с собою (такое множество, что страховые компании принимали против этого меры, до предела сократив соответствующее страхование), а церковь давала особые молитвы против подобных искушений. Все это так, но прибавлю, что предание о печальном англичанине перекинулось и в следующий век, когда мода на скорбь и самоубийство давно исчезла. Прежде всего предание это поддерживала мрачная «суббота», неприятно поражавшая иностранцев. Но было и другое, им непонятное; и дабы убедить, что я давно об этом размышляю, приведу слова, написанные мной сорок пять лет назад:

«Можно найти много оправданий для чужеземных гостей, особенно французов, столь поспешно решавших, что мы обречены на скорбь и хандру. Англия — страна уединенности, и путешественнику здесь нелегко. Он видит высокие стены, но не сады за ними. Он видит человека, молча спешащего домой, и не понимает, что тот спешит уйти, убежать, скрыться, чтобы стать самим собою, то бишь — тем, кого чужеземец и не узнал бы... Гость из Франции не находит здесь веселости на людях, которую привык связывать с радостью жизни, и немедля решает, что в Англии — сплошной мрак, а души англичан окутаны туманом... Он легко впадет в ошибку и сочтет Лондон тоскливым, точно так же, как путешественник-англичанин поспешно сочтет Париж развеселым. Скорее всего, оба они пали жертвой поверхностных впечатлений».

Естественно, я написал это за много лет до того, как переменчивый Лондон ошеломил распутством более стойкий Париж, за которым следят намного строже, чем прежде. Молодой литератор (то есть я) верно подметил тягу к уединенности и к дому, а доводы привел здравые. Но он еще не открыл английского духа, который дает нам нужный ключ.

Позже о нас писали и судили главным образом американцы. Особой зоркости они не проявили. Скажем, умный Джеймс Рассел Лоуэл, несколько лет служивший в американском посольстве, горько сетовал в письме домой на то, как «скучно мыслит средний англичанин», не понимая, должно быть, что викторианские круги, в которых вынужден вращаться американец-дипломат, не показались бы веселыми большинству англичан. Он способен прибавить в том же письме: «Слава богу, милый Чарлз, кожа у нас тоньше, нервы не скрыты слоем жира и мышц, через который не пробиться остроумию». Сказано превосходно, особенно насчет мышц и жира, но все же он чего-то не понял. Англичан отличает не остроумие, но юмор. Наверное, многие из этих рыхлых созданий, тупо взиравших на остроумного Лоуэла, обменивались позже, за брэнди с содовой, замечаниями о нем, и замечания эти были не остроумны, а смешны. Американцу и французу было нетрудно найти Подснепа в викторианской столице, но они забывали, что над этим самым персонажем смеются Диккенс и все его читатели.

В Англии всегда было (и есть) немало дураков. Однако рядом с ними живет множество людей, которых живые разумом чужеземцы считают глупыми, ибо они и впрямь такими кажутся. В детстве, в Уэст-Райдинге, я часто их видел — они медленно двигались, медленно говорили на тамошнем наречии и явно были полными идиотами, на самом же деле могли перещеголять умом тех, кого называли умниками. Английскому духу чужда логическая система, способная споро обмениваться вопросами и ответами, и потому настоящий англичанин нередко представляется глупым. Бывает он и вправду глуп — именно тогда, когда обленится, размечтается, откажется видеть жизнь, как она есть. Такова мрачная, темная сторона того самого свойства, которое, соединив ум и чутье, не управляемые голым интеллектом, дало так много литературе, науке, пониманию политики, искусству ладить друг с другом. Англичанин может обидеть угрюмым молчанием иностранца, стремящегося потолковать в поезде, он может быть холодным, надменным, а то и просто тупым. Однако возможно и другое: он напряженно думает о чем-то, мысль его останавливают или подгоняют таинственные веянья чувств, озаряет свет сознания, поглощает мрак подсознания. Хэзлитт пишет где-то о француженке, вышедшей за англичанина, кажется — в сере-

дине XVIII века. Когда ее французские друзья сетовали на то, что он подолгу молчит, она многозначительно отвечала: «Он думает о Локке и Ньютоне». Скорее всего, он о них не думал, скорее всего, молчаливый англичанин не сравнивает достоинства извечного и некогда возникшего мироздания. Но можем мы и ошибиться. Вполне вероятно, что он создает свою, новую теорию.

Умный и зоркий Алексис де Токвиль посетил Англию в 30-х годах прошлого века и подметил, в частности, вот что:

«Французы не терпят, чтобы кто-то стоял выше них. Англичане стремятся к тому, чтобы кто-то стоял ниже. Француз непрестанно и опасливо смотрит вверх. Англичанин с удовлетворением смотрит вниз. Оба они горды, но гордость у них разная».

Очень точно, очень тонко, но сравнивал он, кажется мне, немногих англичан и чуть ли не всех французов, внуков Революции. Эмерсоновы «Заметки об Англии» читать еще стоит, хотя эта ранняя книга намного ниже лучших его творений. Сквозь его рассуждения о политике и обществе так и слышится громкий голос Карлейля. (Когда я перечитывал «Заметки», я неожиданно нашел слова, которые должен был бы выделить лет пятьдесят назад. Эмерсон слушал Вордсворта, и престарелый поэт, осененный внезапно даром пророчества, сказал, что умение Ньютона, быть может, еще превзойдут и забудут.) Конечно, последний его очерк заканчивается почти восторженной хвалой — так, он пишет, что Англия «даровала миру за пятьсот лет больше талантов, чем какой бы ни было народ». Но, мне кажется, хвала звучала бы убедительней, подкрепи он ее получше. Он слишком много пишет о здравомыслящем, земном Джоне Булле, словно никого у нас и не видел, кроме богатееющих фермеров, фабрикантов, поставляющих ситец на экспорт, да биржевых дельцов. Даже очерк об английской словесности таков, словно писали его именно они. К тому же на него слишком сильно повлияло старое французское преданье о молчаливых и суровых, угрюмых и мрачных сынах Англии, и он говорит такие нелепости: «Мясо и вино на них не действуют. В конце обеда они так же спокойны, сдержанны, холодны, как и в начале». Все воспоминания, записки и романы о ранне-викторианской Англии покажут, что это чушь; должно быть, он обедал с манекенами.

Главу пора кончать, и я пропущу несколько иноземцев, посетивших нас в середине викторианской эпохи, чтобы перейти к другому прославленному американцу, который, кстати сказать, здесь и остался — к Генри Джеймсу. Он много писал об Англии и англичанах, но больше всего мне нравится отрывок из ранних его записей:

«Самый дух там как-то весомей, чем у нас, манеры и моды — непререкаемей и четче; так и кажется, что все вокруг

вас битком набито. И в прямом, и в переносном смысле слова воздух там гуще. Мы, американцы, едва связаны друг с другом по сравнению с Англией, где каждый плотно пригнан к своему месту. Просто физически ощущаешь, что народу здесь слишком много».

Сказать это стоило, в особенности «плотно пригнан». Чтобы заметить, что англичане живут в старой, густо населенной стране, не нужна особая проницательность, но многие их тех, кто строго осуждал или высмеивал наши манеры, ни разу об этом не задумывались. Человек, живущий в такой стране, вынужден особиться от других. Он молчит, потому что хочет побыть наедине с собой. Общение с говорливым гостем ему не в радость. Конечно, теперь Англия перенаселена гораздо больше, чем в ту пору, когда Генри Джеймс это писал, но все обернулось весьма забавно. Одни живут в поместье, другие — в многоквартирной башне, третьи — в доме престарелых, и жители перенаселенной страны, особенно старики и женщины, все больше и больше жалуется на *одиночество*. Они искренне рады поболтать с гостем, будь он из Бирмингема в Уорикшире или из Бирмингема в Алабаме.

Андре Моруа, почти профессиональный англофил, естественно мог сказать много приятного об Англии и об англичанах, но одно наблюдение давало ему ключ к тайне, которым он так и не воспользовался. Как-то он заметил, что всякий раз, вернувшись в Англию, слышит рассказы о привидениях. Это могло бы поведать ему кое-что о душе англичанина, частью пребывающей в сумерках, среди теней подсознания. Ближе всех к моей мысли оказался испано-американский философ Хорхе Сантаяна. Много лет он читал лекции в Гарварде, а в начале первой мировой войны случайно оказался у нас и прожил в Оксфорде или под Оксфордом до 1919 года. За это время он написал прекрасную книгу, сборник эссе, названный «Монологи в Англии». Я нарушу мерный ход его прозы, но лишь потому, что хотел бы процитировать как можно больше, а места мало.

«...Мне удалось понять, что Англия, прежде всего — приют того достойного счастья, той скромной радости, какие обретаешь, оставаясь самим собой. Здесь нашел я мужественность, которую научился любить в Америке, но помягче, потише, без буйства. Если ее чуть-чуть утончить, она породит джентльмена, ибо чутье велит ей скрывать самое себя, пока она не понадобится людям... Такого смирения силы начисто нет у романских народов — пылкий латинянин дерзок и задирист, когда уверен в себе, но сламывается и рушится сразу; начисто нет его и у немецких умников, важных, спесивых, неспособных к стыду. Я настолько полюбил эту мужественность в друзьях моей молодости, что самые даровитые и примечательные люди кажутся мне без нее почти



что и не людьми. Они—будь то священники, политики, педагоги, актеры, торговцы—скорее кортеж человека, его свита, более умная, но более низменная, чем он сам. Настоящие люди, настоящие мужчины для меня—сдержанные, стойкие, самодовлеющие англичане... Разум их работает без принуждения, и это показывает, как мало их что бы то ни было тревожит; они полагаются на самый ход вещей. С ними мне бывало хорошо, даже когда они молчали».

Принимая лишь частично эти высокие хвалы, мы чувствуем, что путь найден верно. Позволю себе привести еще несколько отрывков об атмосфере и пейзаже, ибо они не уведут нас в сторону:

«Англия прежде всего—страна атмосферы. Полупрозрачный светящийся воздух скрадывает расстояние, углубляет перспективу, преобразует привычные предметы, придает своеобразность случайному, очарование—красивому, живописность—уродливому.

Классических гроз и радуг в Англии мало; такие контрасты слишком сильны и определены для этих нежных небес. Спор света и тьмы, как и прочие споры, кончается здесь компромиссом. Катаклизмы редки, изменения—непрестанно. Все пребывает и все меняется, все светло и все серо...»

Дальше Сантаяна спрашивает, что же правит англичанином, и, ответив себе, что это—не разум, почти никогда—страсть, нечасто—корысть, очень умно продолжает:

«Если мы предположим, что правит ими условность, нам придется снова спросить, почему же тогда Англия—истинный рай для частных людей, для удивительного и необычного, для ересей, забав и юмора. В какой стране встретим мы чаще эти общественные крайности—условность и эксцентрику? Где еще человек гордо скажет вам, что ест только орехи, или общается через медиума с сэром Джошуа Рейнольдсом, или нигде не жил лучше, чем в тюрьме?»

Что ж, и разумно и точно, а иноземные гости часто этого не видят, словно сталкивались здесь, у нас, с одними манекенами. Блестяще доказывает это и английская проза, которая всегда была раем для частных людей, для удивительного и необычного.

Ближе всего к загадке английского духа подведут нас два коротких замечания Сантаяны. Первое: «Англичанином правит внутренняя атмосфера, погода его души». Второе идет позже, но очень похоже: «Англичанин устанавливает внутри себя некое довольство и равновесие, и этим оплотом правильности без труда поверяет все ценности, возникающие на его нравственном горизонте». Как же ему это удастся? Повторю (сокращая) то, о чем говорил вначале: сознание и подсознание не слишком четко разделены в английской душе. Англичанин больше зависит от чутья и от инстинкта,

чем жители Западной Европы. Если не в этом загадка английского духа, я не знаю, где она, и должен бы написать другую книгу. За недостатком места не стану больше цитировать Сантаяну, который очень вежлив у нас в гостях, но упоминает и о наших слабостях; однако о них сказал я сам, и скажу еще в следующих главах. Мы поговорим о том, как живут разные сословия и группы, пытающиеся отойти от вышеозначенного духа. Наверное, я слишком часто и упорно подчеркивал главную мою мысль, рискуя вам наскучить, но делал я это потому, что теперь мы поблуждаем среди англичан, не желающих быть англичанами, и потому — должны помнить, что за чудачествами и странностями существует английский дух, словно *Vasso obstinato*, упорно и мерно звучащий, когда духовой оркестр, казалось бы, совсем взбесился.

Кончу неизбежным вопросом: как обрели мы этот дух? Не знаю, и не думаю, чтобы кто-нибудь знал. Кельты, саксы, датчане, быть может, играют свою роль (но не победители-норманы, ибо они приноровились к нам, как и все победители до и после. Представьте себе англичанина, который, лишь поселившись в Ирландии, стал ирландцем.) Конечно, повинен тут и климат, размывающий границы и острые углы. Даже пища могла что-то сделать. Охотно прибавил бы другие догадки, но это может сделать и сам читатель. Поэтому остановимся здесь.

### ИЗ ГЛАВЫ «ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ»: ФАРАДЕЙ

Лет шестьдесят пять назад, еще в школе, меня с заунывной регулярностью гоняли в физическую лабораторию. В этом оплоте обезчеловеченных абстракций мне пытались — как и прочим, конечно — объяснить, что такое электричество и магнетизм. По всем предметам, где главную роль играли люди, я учился прекрасно, а электричества и магнетизма постигнуть не мог. Позже я что-то о них читал, но понял мало, хотя и пользуюсь благами, которыми обязан опытам, исследованиям и открытиям. Но не из стыда, не из покаяния решил я, что пятым в галерее славных будет Майкл Фарадей. Собственно, причина и не в том, что открытия его поражают и глубиной, и широтой; не в том, что он — один из вдохновивших и основавших новую науку; не в том, что у нас, в Англии, он породил инженеров-электриков, и мы должны бы вспоминать и благодарить его всякий раз (их тысячи), как зажжем свет. Он был бы великим, даже если бы ни один его опыт не удался.

Прежде всего, судя по различнейшим свидетельствам, он удивительно располагал к себе. (Тиндал недаром сказал:

«Верьте — не верьте, но я, его последователь, горжусь этой честью несравненно меньше, чем тем, что был ему другом».) Дружба с ним вдохновляла, прибавляла сил ... Он — лучшее из моих воспоминаний. И сердце его, и разум были несказанно богаты». В наши дни почти все мы, профаны, глядим на ученых с опаской, угрюмо гадая, что они еще выкинут; от их самоуверенных речений нередко бросает в дрожь, и мы с досады представляем себе, как они сходят с ума, а потом сеем их в научную фантастику или в фильм ужасов. Я никак не хочу сказать, что мы полностью правы; мало того — я скажу, что величайшие из них, не в пример своим ограниченным, кичливым собратьям, отличались — а может, и отличаются — весьма привлекательными свойствами, в число которых почти всегда входит простодушие. Но Фарадей, чье сердце и разум были одинаково богаты, все равно — исключение, чудо. Теперь я могу объяснить, почему поместил его в галерею: мне кажется, и нрав его, и путь — одна из высших побед английского духа.

По многим причинам стоит узнать, как он этот путь начал. Родился он в 1791 году, в семье кузнеца из графства Суррей; двенадцати лет уже служил у переплетчика, торговавшего и письменными принадлежностями, сначала — на побегушках, потом — как подмастерье. Подростком он много читал и посещал все доступные лекции «по натурфилософии». В 1812 году один покупатель, плененный его вдумчивостью, дал ему билеты в Королевский Институт, на четыре лекции Хэмфри Дэви (сэром тот стал через несколько месяцев). Фарадей прослушал все лекции, записал их, переписал, переплел *in quarto* и послал книжечку автору вместе с письмом, где спрашивал, как уйти с работы, которая казалась ему безнравственной, корыстной, и посвятить жизнь науке. Дэви пригласил его в Институт, порасспросил, и предложил место помощника за двадцать пять шиллингов в неделю — по тем временам вполне достаточно для молодого холостяка.

Осенью 1813 года сэр Хэмфри и его жена (женщина глупая и сварливая) взяли Фарадея за границу, в экспедицию, и года два без малого ездили по Франции, Италии, Швейцарии и Тиролю. Конечно, Дэви был странным ученым и учителем: он вел дружбу с Колриджем и Саути, когда они, совсем молодые, еще жили в Бристоле, и сам всю жизнь писал стихи. Однако поневоле сравнишь то, что случилось с Фарадеем при тогдашних, относительно свободных порядках, с тем, что было бы теперь. Чтобы нанять ассистента в наши дни, Дэви пришлось бы доложить об этом выше, собрать превеликое множество бумаг и справок, составить вместе с комиссией список экспертов, запросить их, а уж потом решать, причем даровитого юношу из переплетной отвергли бы на первом же этапе (припомним к слову, как почти случайно Дарвин попал на «Бигль»). И само путешествие,

долгое и неспешное, было бы сейчас, когда Европу разоряют войны, невозможным. В 1807 году Дэви получил премию в три тысячи франков от парижских коллег, хотя Англия с Францией воевали. Вот вам и прогресс! Как бы то ни было, Дэви, крупный ученый, проявил в 1812-м неплохое чутье (не английский ли это дух?). Когда много позже восхваляли его открытие, он отвечал, по слухам: «Лучшее мое открытие — Майкл Фарадей».

Все согласны в том, что Фарадей отличался редким обаянием. Он был невысок, но силен и строен. Голова у него, от лба к затылку, была столь необычно велика, что ему приходилось заказывать особые шляпы; но в лице его не было суровости и величия, которые мы видим на портрете — оно светилось живостью. По всей вероятности, он не ведал гордыни, себялюбия, тщеславия, суеты. Если он с кем-нибудь не соглашался, он, в отличие от многих ученых, не злился и не досадовал. Судя по воспоминаниям, он превосходно читал лекции и молодым, и взрослым. В частной жизни он был приветлив, сердечно смеялся, любил хорошо, без изысков поесть, выпить вина, пойти в театр. Казалось бы, удивляться нечему, если бы мы не знали, что он всю жизнь истово верил в бога, мало того — был активнейшим членом секты, которую назвал «очень маленьким, всеми презренным сообществом христиан, известным — если известным вообще — под именем *сандемане*». Маленькие секты обычно отличались пуританской строгостью — веселое застолье, вино, театр считаются у них путем к гибели. Эта же секта (а Фарадей стал со временем одним из «старейшин») отличалась ревностным благочестием, члены ее твердо верили в личную связь с богом, но ни в коей мере не походили на бесчисленные сборища фанатиков. Основатель ее, шотландец по фамилии Глас, был чрезвычайно образован и ничуть не рвался «обращать неверных». От пресвитериан он отошел, принуждение к вере отрицал, и ближе всего был к квакерам, хотя и не соглашался с ними в частности. Его ученик и зять Роберт Сандеман, тоже шотландец, пылкий проповедник, в 1760 году сумел создать в Лондоне особую секту. Через четыре года он отбыл в Новую Англию, где успешно сколачивал группки своих единомышленников, но оказался не в ладу с политикой, ибо считал, что колонии должны хранить верность королевству, и в Коннектикуте, за год до смерти (1772), его даже судили. Среди тех, кого он оставил в Лондоне, были старшие родственники Фарадея, и сам ученый до конца жизни хранил верность взглядам Джона Гласа, которые тот впервые четко высказал в Перте, на молитвенном собрании (1733).

В 1821 тридцатилетний Фарадей женился на Саре Бернارد, которой шел двадцать второй год. Он очень любил ее, и хотя мы не знаем, нравилось ли ей ходить в лабораторию и

смотреть, что происходит с намагниченной иглой и электрическим током, брак их оказался счастливым. Через месяц после свадьбы, по сандеманскому обычаю, Фарадей исповедал веру и принес покаяние перед общиной. Несколько ошеломленная жена спросила, почему он не предупредил ее, и он коротко ответил: «Это наше дело с богом». Мы вправе считать (я и считаю), что он ошибался, веря в прямое, личное общение между человеком и непостижимым творцом Вселенной, но он верил твердо и не усомнился никогда.

Надо помнить об этом, ибо — факта не выкинешь — с 1841 по 1844 год он пребывал в тяжелом унынии. Он не болел; быть может, он тратил больше сил и времени, исследуя предгорья Альп, чем тратят обычно люди на шестом десятке. Но заниматься наукой он не мог, даже читать не мог ничего серьезного; а иногда с трудом выносил беседу за табльдотом. Легче легкого объяснить это подсознательным конфликтом — все мы знаем назубок, как терзал людей в прошлом веке разлад между наукой и верой. Но, думаю, дело не в том. Когда он снова стал работать, изучая электромагнетизм и возможности электрического освещения, вера его была в таком же ладу с наукой, как и прежде. Вероятно, как и многие ученые-творцы, он очень устал от долгой работы, нуждавшейся в обеих половинках души. Открывая сказочную страну электричества и магнетизма, он полагался на чутье и озарения, но все приходилось проверять тщательно и кропотливо, ставя опыты и нередко пользуясь самодельными, простыми приборами. Подобно всем великим ученым, он походил на человека, который нашел Эльдorado, но должен поминутно сверять свой путь с компасом и шагомером. А хладнокровным он не был; он был открытым, радушным, сердечным, видимо — очень ранимым, и мир, поедая яичницу, мог бы простить ему, что он года три копался в выеденном яйце. Позже, в 1854, читая лекцию о воспитании в науке, которая стала послесловием к его «Химическим и физическим исследованиям», он сказал:

«Должен напомнить об одном различии, быть может — несущественном для других, но очень важном для меня. Как бы высоко ни стоял человек среди себе подобных, ему видна бóльшая высота, и многообразны его домыслы об ужасах, надеждах и упованиях будущей жизни. Мне кажется, что истину о жизни этой не постигнуть усилием ума, сколь бы высок он ни был; что узнать ее можно лишь из учения, которое создал не ты, если примешь его свидетельства с простою верой.

...Здесь не место говорить о большем, и я скажу лишь о том, что обычная вера и вера духовная совершенно различны. Пусть меня упрекнут в слабости, но усилия ума, приложимые к предметам возвышенным, я не применю к наивозвышеннейшему, и с радостью приму упрек».

Наверное, только в этом его и можно упрекнуть. После шестидесяти он понял, должно быть — раньше прочих, что память и сосредоточенность отказывают ему, и тихо, без шума и жалоб, оставил труд, к которому считал себя неспособным, отказавшись от каких бы то ни было почетных мест. Больше того — мы читаем, что не занимаясь наукой, он жил «по-прежнему счастливо, радуясь добрым чувствам и привязанностям, которые воспитывал в себе с не меньшим рвением, чем ученый дар», хотя, на мой взгляд, ему навряд ли приходилось их воспитывать, ибо они являлись к нему сами. Мне кажется, не надо быть сандеманином, принимать библейские истины и все иудео-христианское предание, верить в прямую дружбу с богом, чтобы понять, что этот замечательный, на удивление милый человек жил укорененностью своей в видимом мире, пространстве и времени, и в невидимом мире духа. Он принимал и науку, и веру, не давая им разорвать себя на части; развивал в полную силу обе стороны своей личности. Кроме врожденного благородства, в Майкле Фарадее обитал истинный английский дух.

# Поездка в Новую Зеландию\*

## (1974)

### ТОНГАРИРО И ЕГО «ЗАМОК»

По дороге из Уаитомо в национальный парк Тонгариро, куда мы отправились теплым солнечным утром, природа стала властно заявлять о себе. Вокруг нас сменяли друг друга живописные пейзажи. Они вызывали восхищение, но были не совсем в моем вкусе, и мне не хотелось останавливать машину и доставать этюдник. Зато вполне по вкусу пришелся завтрак на траве—прощальный жест гостеприимства со стороны администрации гостиницы в Уаитомо. В еще большем восторге была Жакетта, поскольку мы сделали привал в тихом уютном местечке на границе буша—так называют здесь девственные леса, гигантские деревья с подлеском из рослого папоротника. Когда-то они покрывали большую часть территории страны, но первые европейцы поначалу выжигали их, чтобы расчистить землю, а потом стали рубить в коммерческих целях. Оставался лишь жалкий кустарник, никому не нужная поросль, настойчиво, однако, распространявшаяся. Жакетта восприняла буш с энтузиазмом, он привлекал ее как собрание незнакомой флоры и одновременно как символ побежденной, загубленной природы. Хотя наш шофер м-р Паско сказал нам, что лесозаготовки здесь практически уже не ведутся, на пути к национальному парку мы видели людей, продолжавших, к негодованию Жакетты, валить деревья. Она провозгласила, что ни один акр уникального доисторического леса не должен больше исчезнуть ни здесь, ни в другом месте земли, ни тем более на Северном острове. Я готов был держать пари, что эта женщина, ставшая жертвой любви к природе, в ближайшее время непременно отправится туда, где еще сохранился буш.

М-р Паско предложил сделать крюк, с тем чтобы обозреть окрестности с очень выигрышной точки. Мне не хотелось отклоняться от маршрута, поскольку я вообще не

---

\* © J. B. Priestley, 1974

люблю этого, когда еду к намеченной цели—в данном случае к гостинице «Замок Тонгариро». Но я не стал возражать и очень скоро убедился, что правильно сделал. Точка обзора была чудесной. Находилась она над озером Таупо. (Самое большое в Новой Зеландии; площадь 250 кв. миль, глубина от 300 до 400 футов; обнаружено европейцами в 1836 г. На берегу этого озера нам предстояло жить в последнюю неделю нашего путешествия.) В этот день озеро было тихим, спокойным, оно словно излучало нежный голубоватый отсвет, во всяком случае, таким мы увидели его сверху. Его поверхность казалась гладкой, как олово. Белые облака, скучившиеся над дальним берегом, отражались в виде размытых вертикальных полос. Не доносилось ни звука. Это было озеро из другого, лучшего мира. Наконец-то узрели мы романтическую красоту. Но запечатлеть ее в тот раз не удалось: вокруг толпились люди, негде было пристроиться. Я сделал только торопливый набросок карандашом, надеясь, как идиот, оживить это волшебство потом, когда смогу вынуть краски. И конечно, ничего не вышло. Только Тернер смог бы воскресить в памяти и передать на бумаге этот свет, этот покой и очарование голубого воздуха. А какому-то Пристли нужно несколько жизней, чтобы, усердствуя с утра до вечера карандашом и кистью, попытаться «схватить» пейзаж. И все же я пережил тогда волнующие мгновения, своего рода эмоциональный взлет, хотя именно из-за этого, думаю, парк Тонгариро разочаровал меня впоследствии как художника.

Покинув обзорную площадку, мы продолжили наш путь вверх, к национальному парку. (Площадь 163 тыс. 356 акров; на его территории находятся три вулкана: Руапеху, высшая точка на Северном острове, высота 9.175 футов, временами оживающий; Нгаурухое, высота 7.515 футов, постоянно действующий; Тонгариро, высота 6.517 футов, малоактивный. Руапеху к тому же—лыжный комплекс Северного острова. Вокруг девственные леса, альпийские луга, пастбища.) Невероятно, но, оказавшись в парке, мы словно перенеслись на время в Шотландию. Возможно, не так давно, скажем, в 30-е годы, какой-нибудь м-р Кохрейн решил посадить здесь в низинах вереск, который мгновенно растекся розовым пламенем. Казалось, что мы находимся на шотландских вересковых полях; даже вулканы в отдалении играли свою роль в пейзаже, напоминая вершины шотландского Севера. Дорога к гостинице никуда не годилась— правда, нам сказали, что ее собираются расширять,—но ярко освещенный парадный въезд выглядел весьма внушительно, как будто сюда направлялась королевская семья или собиралось совещание глав правительств. Мы не могли уразуметь, почему все же эта гостиница, оказавшаяся огромной и помпезной, именовалась «Замок». Здание было построено в



20-е годы нашего века в псевдогеоргианском стиле, наша спальня — к счастью, довольно вместительная — оказалась забитой мебелью «под античность». (Гостиница, обозначенная на всех туристских картах Северного острова, строилась на частные средства, несколько лет влачила жалкое существование, пока ею не завладела государственная корпорация гостиниц.) Мы не привязались к ней так, как к отелю в Уайтомо. В этом большом, «с претензиями» доме, казалось, не хватало персонала, хотя было много хлопот в связи с наплывом туристов, преимущественно американцев. Едва мы разложили вещи, Жакетта отправилась на свою первую прогулку и вернулась возбужденная, сообщив мне о «великолепном золотисто-огненном закате, окрасившем своим блеском горы и вересковые пустоши».

После обеда (весьма заурядного) мы пили кофе в огромном холле с м-ром Мейзи, главным смотрителем парка, чья контора расположена неподалеку. Этот приятный интеллигентный человек навел нас, чтобы порекомендовать Жакетте несколько маршрутов по парку, однако разговор очень скоро, при содействии нескольких рюмок, стал общим. Мейзи участвовал в совещании лесничих и смотрителей национальных парков, проходившем в Америке, в Колорадо. Мне было любопытно, поскольку в 30-е годы, когда я путешествовал по американскому юго-западу и писал о нем, я очень интересовался национальными парками и их службами и даже обменялся дружескими письмами с главным управлением в Вашингтоне. Беседуя с Мейзи, я высказал надежду, что американские парки пребывают сейчас в таком же хорошем состоянии, как и сорок лет назад. На что Мейзи чуть резко, хотя вполне дружелюбно, заявил, что не сталкивался в Колорадо ни с нарушениями общественного порядка, ни с грабежами и вандализмом — ни с чем, что, как говорят, омрачает жизнь современной Америки.

Оставив без комментариев тот факт, что дюжим лесничим, собравшимся обсудить свои дела, нечего было опасаться, я спросил Мейзи, как в его семье относятся к Великобритании. Он объяснил, что родители считали Великобританию своим домом, сам он подобного отношения не разделяет, хотя и другого у него нет, а для детей его эта страна — просто еще одно отдаленное место. Подобные ответы я получал и от других новозеландцев, и хотя некоторые из них допускали, что в глазах молодежи Великобритания не что иное, как «еще одно отдаленное место», для многих Лондон сохраняет свою притягательность. Кстати, меня как англичанина, находящегося вдали от дома, приводило в отчаяние печальное отсутствие в местных газетах важных сообщений из Англии, взамен чего публикуются рекламные сведения об участниках телешоу и прочая ерунда.

На следующее утро нами завладел м-р Миллз, наш шофер

в Тонгариро. Как и м-р Паско, он был приветлив, готов ответить на любой вопрос, однако решительно отличался от него характером и наружностью: коренастый крепыш с курчавыми волосами, необычайно деятельный, он был добродушен по природе, но в историях, которыми нас развлекал, всегда играл агрессивную роль, словно бросал вызов невидимым обидчикам. Миллз имел пристрастие, которое чета Пристли не разделяла, ко всякого рода гидроэнергетическим объектам, хотя в каждую поездку подвозил нас только к одному. В это чудесное утро, высадив Жакетту, отправившуюся на прогулку, мы поехали по окрестностям в поисках живописной природы. Остановиться, в сущности, было не на чем. Вверху, около кратеров вулканов, еще могло встретиться что-нибудь привлекательное, но то, что я видел здесь, внизу, казалось однообразным, начисто лишенным очарования. Поскольку прогулка Жакетты оказалась более результативной, приведу ее беглые, но выразительные заметки. «Я поднялась к горному озеру в нескольких милях отсюда. Продиралась сквозь великолепные заросли огромных «риму» (красных сосен) и древовидного папоротника, причем встретила три его разновидности—серебристый, черный и мягкий, последний наиболее распространен, засохшие листья свисают у него наподобие юбки. Черный, отличающийся очень темным стеблем, выглядит намного красивее. Озеро, расположившееся в небольшом кратере, окружено стеной зарослей. Вода спокойная; к ее краю подступают огромные древние деревья, несколько мертвых потемневших стволов лежат в воде подобно рептилиям, так что ощущаешь себя в доисторическом мире. Поют, перекликаются «туи» и птички-колокольчики. Может, и человека еще нет на земле? Не припомню такого полного, такого приятного ощущения безлюдия».

В назначенное время Миллз забрал спустившуюся на дорогу Жакетту, я бросил свои не слишком удачные этюды и присоединился к ним. Мы перекусили на мысе, где была раскопана стоянка маори 1830 года, неподалеку сейчас находится гидроэлектростанция. Жакетту как профессионала эти раскопки не заинтересовали: две хижины да яма для картошки, к тому же одна хижина, подвергшаяся сомнительной реставрации, была покрыта рифленным железом и окружена отвратительной колючей проволокой—ужас да и только! Зато это было чудесное место для привала, согретое солнцем, в лазурном небе над нами флотилия белых облаков. Днем я постарался все-таки сделать приличный рисунок. Сейчас он передо мной и все так же далек от природы. На переднем плане высокая трава и кустарник; за ними узкое и непонятное водное пространство, переходящее левее в подобие канала; у дальней кромки воды протянулась длинная и очень яркая, по всей видимости, песчаная полоса; еще дальше

слева — неплохо переданная мною пурпурно-коричневая гористая масса; и над всем и лучше всего — вереница полупрозрачных облаков в синеве. Больше всего трудностей было у меня с водой и с яркой песчаной полосой или что это там было. Вначале они получились слишком четкими, я попытался это исправить и в результате вышла мазня. По правде говоря, дело не только в недостатке мастерства; меня сбивал с толку отсвет новозеландского воздуха, лишь на первый взгляд похожего на наш, а если смотреть глазами художника, совсем иного.

Чтобы сделать этот набросок, мне пришлось сойти с дороги и обосноваться в высокой траве. Не прошло и двух минут, как м-р Миллз, к моему удивлению, устроился в двух шагах от меня. Понятно, он жаждал быть полезным, чем-то вrade подручного у художника. К сожалению, я не мог давать ему команды по примеру хирурга в операционной: «Охру!», «Еще цинковых белил!», «Оливково-зеленую побыстрее!», «Теперь большую кисть!». В тот раз я не нашел ему дела, а другого случая не представилось. В работе художника есть, безусловно, нечто не просто завораживающее, притягивающее взоры, но и неотразимо заразительное. Другой наш шофер, понаблюдав за мной в первый день, явился через некоторое время с собственными творениями. Какой-нибудь чуткий к влияниям моды владелец картинной галереи, вероятно, приветствовал бы их как образчик примитивизма и предпочел моим скучно традиционным картинам в лучшем случае на уровне авангарда 1873 года.

Следующий день, пятницу, можно не считать: лишь один такой день омрачил нашу поездку. Дождь поливал так, что скрыл и парк и даже ближайшую дорогу. В десяти ярдах от «Замка» ничего и никого уже нельзя было различить, к счастью, никто не приезжал и не уезжал. Казалось, начался всемирный потоп. Весь день мы были отрезаны от мира. Не знаю как других, но меня такая беспросветность приводит в меньшее негодование, чем ненадежная погода, которая выманивает вас из дома и обрушивает на вас дождь, когда поблизости нет укрытия, а как только вы его нашли, показывается солнце. В такие дни, как эта пятница, я стараюсь сдерживать негодование, не чувствовать себя неудачником, занимаюсь всем понемногу: читаю, пишу письма или просто слоняюсь по дому. В этот раз мне представилось, что мы находимся на неподвижном корабле, с которого не подаются в тумане зловещие сигналы другим судам.

В одном конце большой гостиной несколько шумных мужчин средних лет — кстати, почему мужчины средних лет бывают столь шумливы? — играли в кегли. Молодая пара захватила бильярдный стол, надеясь усовершенствовать свою игру. Неужели кегли и бильярд могут продолжаться весь день? Наверное, нет, но все шло к тому. Многолюдно и

шумно, как я предположил, будет в баре, но когда я туда спустился, там было пусто и уныло, как будто и не бар размещался в подвале, а лишь витала его тень. Еда была для нас желанным развлечением,—но если бы ее по-другому подавали! Где бы мы ни обедали, всю пищу нам сваливали на большую овальную тарелку, пока мы решительно не воспротивились этому. Мясо, овощи, гарнир, включая неизбежные томаты, образовывали отвратительную мешанину, отбивавшую всякий аппетит. В домах новозеландцев мы с этим чудовищным обычаем не сталкивались, зато в гостиницах он почему-то соблюдался. Возможно, это пережиток привычек первых поселенцев, а может быть, делается в угоду американским туристам, глаза у которых, как говорили мы в армии, более завидушие, чем желудки. Та ненастная пятница располагала подумать над вопросом, но убивая время чтением и сочинением писем, я не склонен был к серьезным размышлениям. Вот так время тащилось к вечеру.

В субботу мы отправились в Веллингтон, где нас ждала насыщенная программа. А пока еще нас опекал м-р Миллз. Национальный парк выглядел так, словно побывал в чистке. Все было очень ярким, ясным, силуэты вулканов четко вырисовывались в густо-синем небе. Откуда-то появились лоскуты снега. Куда ни глянь, природа просилась на полотно. Причина, конечно, в том, что я покидал эти места—ирония судьбы в действии. Сначала мы ехали по взгорью, склоны во многих местах были очищены от леса и выглядели несколько неестественно, как только что остриженные овцы. Затем мы спустились на травянистую равнину, где паслось невиданное количество настоящих овец, производивших впечатление чего-то нереального. Думаю, Миллз привез нас в «кондитерскую» «Быки» (кстати, мы неплохо там закусили), чтобы вспомнить шутку своей юности: «Веллингтон получает молоко от «Быков»». Кавычки я употребил только потому, что в Новой Зеландии любые придорожные закусовые именуют «кондитерскими», а они у нас, англичан, ассоциируются с некими изысканными заведениями, где со вкусом ведут дело дочери бывших полковников колониальной армии.

Миллз, выглядевший моложе своих лет, рассказал нам о своей семье. Один его сын живет в Австралии, занимается проблемами промышленного управления и одновременно пишет книгу о садоводстве. Другой, вероятно, младший, еще учится в школе, мечтает в будущем преподавать технические дисциплины. Все дочери Миллза работают медсестрами. Но сколько их? Не могу вспомнить, сомневаюсь, что и помнил когда-нибудь. Сознаюсь сразу, что я принадлежу к тем людям, чье восприятие несколько притупляется от долгого пребывания в машине (а таких длительных автомобильных переездов предполагалось немало во время нашего путешествия по Новой Зеландии). Я не могу заснуть в машине, но

не могу и сохранять бодрость; пребываю как бы в подвешенном состоянии, в некоем оцепенении, как человек, принявший малую дозу снотворного или хвативший его чрезмерно много накануне. Поездка из-за этого кажется более долгой. Время и пространство словно растягиваются, платя мне за мое безразличие к окружающему. Тем не менее я был вполне оживлен, пока Миллз кружил в центре опустевшего по случаю субботы Веллингтона, пытаюсь отыскать нашу отель. Когда он последний раз приезжал сюда, здания отеля еще не было. Наконец мы нашли его, а в нем и Дерек Морриса, отвечавшего за нашу поездку. Устроившись около регистратуры, он терпеливо ждал нас, чтобы обсудить программу нашего пребывания в Веллингтоне. А в нее стоило вникнуть, ведь скучных дней там не предвиделось. В конце концов в этом городе заседает правительство и уж оно позаботится о нас.

## НА ФЕРМЕ «ГОРНЫЕ ВЛАДЕНИЯ»

Приземлившись в аэропорту Крайстчёрча, мы не поехали в город. М-р Стил повез нас сразу в «Горные владения». Но что все это значит? Кто такой м-р Стил, почему «Горные владения» и что вообще мы затеяли? Я намеренно задаю эти вопросы — кстати, вполне уместные, — чтобы тут же вам все объяснить. В Лондоне я заглянул как-то к м-ру Руперту Уизерсу, президенту скотоводческой компании «Далгети Нью Зеланд», который знал, что мы собираемся в Новую Зеландию и любезно пригласил нас провести несколько дней в «Горных владениях». Это овцеводческая ферма на склонах Южных Альп, спускающихся к равнинам Кентерберри. Высота одной из гор, находящейся неподалеку, намного превышает семь тысяч футов. Когда-то ферма принадлежала семейству Эклэнд, а недавно была приобретена Далгети. Ее пастбищные угодья составляют около тридцати шести тысяч акров, ферма владеет самым большим в стране стадом мериносов — около двадцати двух тысяч голов, плюс около двух тысяч голов крупного рогатого скота. Ее гордость — особняк, насчитывающий больше сотни лет (какими дерзкими строителями были эти первые поселенцы!). Сейчас здесь живет м-р Доббз, управляющий фермой, с женой и тремя дочерьми. М-р Стил, встретивший нас в аэропорту и доставивший сюда, — один из представителей Далгети в Крайстчёрче. Вот и вся информация.

Мы не очень хорошо представляли себе, где сейчас находимся, хотя знали, что уже перебрались на Южный остров и он существенно отличается от Северного. Машина уверенно карабкалась вверх, минуя поселки и деревушки, имеющие названия, но состоящие, казалось, лишь из магази-

на и гаража. Возникло ощущение, что мы заброшены за тридевять земель. Узкая немощеная дорога привела нас к ухоженному и аккуратному дому, вид которого никак не соответствовал его возрасту. Это просторное строение типа бунгало, с двумя крашеными деревянными фронтонами и верандой, прекрасно приспособленной для того, чтобы отдыхать на ней, которая защищена крышей, опирающейся на светлые металлические колонны. Перед домом большой газон с яркой цветочной каймой. Фасад дома выходит на дорогу, по которой мы приехали из долины; зайдя за угол и взглянув поверх высокой ограды, вы можете увидеть, как поднимается местность и будет подниматься, пока не сольется вдаль с величественными Южными Альпами. Попозже в этот же день меня отвезли за несколько миль от фермы, и там, сидя в траве, я сделал набросок. На переднем плане серо-коричневая трава, истощенная засухой; в центре выступает некое темно-красное плато, позади него — закругленные вершины невысоких гор, кое-где покрытые снегом. Это была хорошая натура, но я не воздал ей должного.

Внутри дом был спланирован хаотично, имелось несколько довольно темных коридоров, так что мне понадобилось время, чтобы научиться ориентироваться и не открывать чужих дверей. Именно эти двери, а не слова и взгляды хозяев заставили меня почувствовать себя нарушителем порядка в доме. Сам м-р Доббз был занят осмотром скота: вместе с помощниками сгонял тысячи овец с горных пастбищ, которые оскудеют зимой, на равнины. Я видел подобное в кино и понимал, почему меня не пригласили взглянуть на это зрелище. Работа и без того нелегкая, а тут еще гости под ногами путаются. М-р Доббз зашел один раз в дом принять ванну и поесть как следует. Он посидел с нами, высокий, темноволосый и изможденный человек — или он выглядел таким, спустив отару по крутым склонам. Ему нечего было сказать нам, он и не говорил ничего, но молчание и взгляды его были вполне дружелюбны. Однако я вряд ли присочиню, если добавлю, что уловил в них проблески иронии — иронии человека, который трудится на пределе сил и вдруг оказывается в компании людей, не слишком обремененных работой. Скорей бы он проверил всех овец, сделал всю тяжелую работу, и мы смогли бы спокойно посидеть и поговорить.

Миссис Доббз, мать трех маленьких девочек, а кроме того экономка, повариха и все прочее, конечно, не заслуживала упрека в праздности. На ней держался весь дом, и она прекрасно справлялась со своими обязанностями. До замужества она была учительницей, а м-р Доббз — пастухом. Первое время они жили, я думаю, в таких глухих местечках, после которых «Горные владения» показались им средоточием цивилизации. Невысокая, миловидная, с лучистым пытливым

взглядом, неистошимо деятельная, м-с Доббз была расторопной хозяйкой и притом, без сомнения, неглупой женщиной с широким кругом интересов. Мы сразу же почувствовали взаимную симпатию, а я так даже и некоторую привязанность. Когда ее впоследствии спросили о ее госте, она польстила мне: «Очень интересный и добродушный человек с изумительной памятью». (Может быть, человек я и интересный, не знаю, но не слишком добродушный. Что же касается моей памяти, то работая над этой книгой и не имея на свою беду никаких предварительных записей, я убедился, что она не то что не изумительна, а никуда не годится.) Все же я продолжаю перечислять достоинства м-с Доббз, но не ради комплимента за комплимент, а потому, что она занимает особое место в моих заметках.

Она была единственной домашней хозяйкой в Новой Зеландии, которую я мог наблюдать в непосредственной близости. Это и понятно. Мы ведь останавливались в гостиницах, ели в ресторанах, а если нас и приглашали в какой-нибудь дом, то к обеду или ужину. А с м-с Доббз мы жили под одной крышей. И это еще не все. За исключением одного-двух особых случаев мы ели в той же большой кухне, где готовила м-с Доббз. Ее великолепные кушанья, всегда с пылу, с жару, приятно отличались от подогретого ресторанного варева, сваленного на одну тарелку. С самого начала меня поразило и не переставало восхищать полное отсутствие суеты, экономия движений, своеобразный артистизм и при этом поразительная скорость приготовления блюд. Все это граничило с искусством жонглера. Почему наши поборники эмансипации так любят апеллировать к «обыкновенной домашней хозяйке», как будто все они не более чем подневольные бесталанные дилетантки? На мой взгляд, м-с Доббз, жонглируя в собственной кухне, демонстрировала высокий профессионализм и заслуживала почетной степени в области домоводства. Она вызвала бы большой интерес у телезрителей, чем иные программы, которые я смотрел в Новой Зеландии. Она... но стоп! Наверное, я перебарщиваю. Вероятно, тысячи новозеландских хозяек, многие из которых живут в глухомани («Ближайший лимон в десяти милях отсюда», как говорил о своем йоркширском доме приходский священник Сидней Смит), столь же доброжелательны, разумны и проворны, как м-с Доббз. Однако в то время мне не удалось с ними познакомиться, а теперь уже поздно. Но если таких жен можно встретить здесь повсюду, значит местные мужчины неплохо устроились, во всяком случае, лучше, чем заслуживает, насколько я знаю, наша брюзгливая твердолобая братия.

В воскресенье утром приехал из Крайстчёрча м-р Пэт Гуд. Мы общались с ним больше, чем с другими нашими водителями, и о нем следует рассказать подробнее. Велико-

лепный шофер, он развивал скорость при любой возможности, но без надобности не рисковал. К тому же он был необычайно терпелив и ждал нас, если нужно, часами, безропотно, без кислой физиономии. Но не это главное. По сути своей он был не шофер, а экскурсовод. Водители наши много чего знали, но этот превзошел всех. Он был одновременно и шофером и эрудированным гидом-историком. Не осталось ни одного каменного дома, амбара, сарая по дороге в Квинстаун, а потом и в Данидин, к которому бы он не привлек наше внимание, а в иных случаях и не рассказал его историю. (Мы не считали обыкновенное строение из камня такой уж достопримечательностью и не разделяли его гордости при виде каменных сооружений 50—70-х гг. прошлого века. Может быть, он считал, что в то время жили титаны. А может быть, так и было—ведь первые поселенцы были, бесспорно, замечательными людьми.) Порой он шел на хитрости, например, когда убеждал нас, что дорога в Квинстаун—очередной пункт нашего маршрута—проходит поблизости от национального парка Маунт Кук и нам совершенно необходимо его посетить. (На самом деле Маунт Кук находится очень далеко от дороги.) Но если он и обманывал нас, то из самых лучших побуждений, в данном случае—патриотического желания приобщить нас к величию этого парка. М-ра Гуда все хорошо знали и потому в любом мотеле, кафе, магазине нас встречали радушно. Со всеми он находил общий язык, при этом не был шумен и болтлив. По отношению к нам он соблюдал почтительную дистанцию, деликатно и ненавязчиво давая понять, что знает, кто есть кто. Лучшего шофера-гида мы не встречали, и когда он, доставив нас в Данидин, расстался с нами, мы были очень огорчены.

В то чудесное воскресное утро м-р Гуд отвез нас на соседнюю овцеводческую ферму «Башня в горах», где мы провели день с ее владельцем сэром Джоном Эклэндом. Он принадлежит к известному семейству, в течение нескольких лет был членом палаты представителей, являлся председателем правления компании «Нью Зиланд Вул», вице-президентом «Интернешнл Вул Секретериет». Короче говоря, это человек, искушенный в сложностях общественной жизни. Теперь я знаю по опыту, что такие люди, вступив в шестой десяток, становятся либо чрезмерно радушными, либо, напротив, сдержанными и холодными. К последним относится и сэр Джон, правда, хозяин он гостеприимный. Он не переставал изумлять меня, хотя и в мыслях этого не держал. Начать с того, что этот человек, живущий на высоте пять тысяч футов в новозеландском Южном Кентербери, имеет английский особняк в средневикторианском стиле, с остроконечной крышей, добротнo выложенный из красного кирпича, может быть, того самого, который пошел на



поместье Эклендов в Девоншире. Но это не все. Сэр Джон живет один, поскольку леди Эклэнд пребывает в Сингапуре, вероятно, с одним из трех их сыновей. Такой большой дом нуждается в присмотре, но никого из прислуги я не видел. Правда, неподалеку, в низине, поселился с женой и детьми другой его сын. Его дом только что отстроен и отвечает всем современным требованиям. Эта ветвь Эклендов навестила нас, а перед отъездом мы зашли к ним и с удовольствием осмотрели дом. Он произвел очень приятное впечатление, хотя показался все-таки несколько странным, непривычным.

Сэр Джон поразил меня тем, что его внешность, манеры, речь были чисто английскими, хотя родился и воспитывался он в Новой Зеландии, здесь в колледже Христа получал образование. Новозеландцем был и его отец, известный хирург сэр Хью Эклэнд. Дед, Джон Бартон Арундел Эклэнд, адвокат, учившийся в Хэрроу и Оксфорде, прибыл в Новую Зеландию со своим приятелем Триппом в 1855 г. Оба они изучали дело на созданных к тому времени овцеводческих фермах. Им пришлось подняться в еще мало освоенные горные районы, поскольку хорошие земли уже были заняты. К 1856 г. ферма «Башня в горах» в основном была готова. Через 10 лет Джон Эклэнд построил свой великолепный особняк, а вскоре и маленькую симпатичную церковь. В нем счастливо соединялись радушный помещик, восторженный радикал и благочестивый верующий. Но его мечта жить в окружении преуспевающих мелких фермеров не осуществилась: не всем было по силам справляться с трудоемким высокогорным хозяйством. «Башня в горах» выжила, как мы убедились, но и она пережила трудные времена, так что пришлось даже сократить ее первоначальную площадь. Наш хозяин сэр Джон сказал, что неподалеку проходят дороги, отделяющие владения, где на один акр приходится пять овец, от территорий, где одна овца приходится на пять акров. Было у этого семейства увлечение, удовольствие от которого получают теперь и их гости: они выписывали и выращивали образцы самых разнообразных пород деревьев. Мы встретили здесь даже нашу старую знакомую калифорнийскую секвойю.

После завтрака, любезно предоставив себя в наше распоряжение, сэр Джон вывел нас на дорогу, откуда Жакетта могла начать свою прогулку, во время которой она собирала грибы, а потом, очень довольная собой, нашла едва заметную тропинку, приведшую ее к дому. Мне оставалось только сесть в придорожной траве и рисовать горы. Но я, к удивлению сэра Джона, повернулся к ним спиной и обратил взор на дорогу. Она шла вниз и за ней открывался вид на подернутые голубой дымкой равнины Кентербери. Дома мне приходилось рисовать похожие пейзажи во время пикников на Котсуолдских холмах, откуда в направлении на север я мог

видеть равнины Средней Англии. Однако в Вустершире или в Глостершире я чувствовал себя увереннее, чем в новозеландском Кентербери. Хотя мне удалась голубоватая равнина в отдалении, сухая трава и кустарник на переднем плане — просто грязная мазня. И этот мой набросок разочаровал меня. Я решил не предлагать вам больше образчиков собственных неудач. Они есть, но относиться к ним надо спокойно. В конце концов мои художественные просчеты оправданы тем, что я взял в руки кисть, когда мне было уже за шестьдесят. Но если я буду всем надоедать с ними, мне нет оправдания.

После чая мы с восхищением осматривали изящный современный дом младших Эклендов. Потом за нами заехал м-р Гуд и мы эффектно удалились в сопровождении маленькой внучки сэра Джона и ее подруги, спешивших за нами на пони. Прекрасная погода стала по дороге портиться. Возвращаясь мыслями к ферме Эклендов, этому солидному, живучему хозяйству, я подумал о людях, которые положили ему начало, зная, что еще многих искусных и выносливых тружеников, особенно из Девона, нужно убедить покинуть Англию и обосноваться в Новой Зеландии. Первый из Эклендов, возможно, сделал это по своим соображениям, однако в музее я видел объявления, относящиеся к 1850—1860 гг., взывающие к богопослушным, усердным мастеровым и сельскохозяйственным рабочим, обещаая им работу и хорошие перспективы, особенно в районе Кентербери. Я сказал себе тогда, что Новой Зеландии повезло больше, чем другим старым британским колониям. Среди тех, кто прибыл в эти края в первые, самые горячие дни, были, конечно, и люди невежественные, грубые, и даже беглые каторжники. Во время золотой лихорадки 1860-х гг. сюда, надо думать, хлынула ревушая орда из Австралии и Калифорнии. Но это исключения. В Новую Зеландию не было постоянного притока всякого отребья, пьяных эмигрантов, живущих на деньги, присылаемые с родины, отпетых типов, преследуемых полицией. Буйные ирландцы уезжали главным образом в Нью-Йорк и Бостон, развращая там местных политиканов, или в Австралию, где они не без успеха подогревали антибританские настроения. В Новой Зеландии же оседали трудолюбивые богобоязненные англичане да осмотрительные работающие шотландцы.

Правда, был еще Сэмюел Батлер, во многих отношениях неординарный эмигрант, пожалуй, самый выдающийся из всех. Мои мысли, естественно, обратились к нему, поскольку гористая местность, где мы сейчас жили, привлекла и его внимание: сначала он ее разведal, потом приобрел права на нее. Его бывшая усадьба, носившая название «Месопотамия», с домом «из дерна и глины», находилась, можно сказать, в двух шагах от нас. Вдумайтесь, сколь странен был этот

переселенец. После окончания Кембриджа он служил (все более впадая в сомнение) помощником пастора в Лондоне. Затем вопреки желанию отца увлекся музыкой и живописью. В конце концов его выпроводили в Новую Зеландию, хотя он не был создан ни для исследования новых земель, ни для разведения овец, ни для имущественных сделок. Даже его отплытие из Англии было необычным: вначале он заказал билет на пароход «Бурма», затем поменял его на «Римского императора», который благополучно добрался до места, а «Бурма» затонул со всеми пассажирами. Нет необходимости вникать во все его деловые предприятия в Южном Кентербери; достаточно сказать, что, когда он надумал четыре года спустя вернуться домой (в Новой Зеландии он пробыл с 1860 по 1864 г.), его капитал уже удвоился. Для своего «дома из дерна» он приобрел фортепьяно, книги, картины — а все это непросто было доставить в запряженной волами телеге по горным дорогам. Но он все больше времени проводил в Крайстчёрче, занимался живописью и выставлял свои картины, участвовал в концертах, выступал в местной печати, даже произносил официальные речи, при том что ему не было еще тридцати и он прибыл сюда относительно недавно. Молодой нахальный всезнайка из Крайстчёрча — такое примерно складывалось о нем представление. По возвращении в Лондон он не оставил свои многообразные увлечения. Его книги, оригинальные, весело-бесстыдные, привлекали все больше внимания; он писал довольно удачные картины (одна из них находится в галерее Тейт); он мог бы преуспеть и на музыкальном поприще, если бы его не удерживало преклонение перед Генделем, которого он почитал величайшим композитором всех времен. Но свою финансовую предприимчивость он, сдаётся, оставил вместе с молодостью в Новой Зеландии. Почти все свои деньги, когда они уже приносили ему десять процентов дохода, он вложил в какие-то канадские предприятия и в результате, как говорится, остался в одной рубашке. В дальнейшем он мог позволить себе относительно скромное существование в Лондоне да удовольствие недорогих по тем временам путешествий, поскольку отец оставил ему наследство, и к тому же небольшой, но постоянный доход приносила литературная деятельность. Я убежден, что более оригинальный человек не приезжал в эту страну. Добавлю при этом, что его взгляды, манера письма, стиль оказали заметное влияние на такую личность, как Джордж Бернард Шоу.

Мы вернулись в «Горные владения» к долгожданному горячему ужину, смастеренному улыбающейся м-с Доббз; вечер провели у телевизора, скрашивая посредственную программу уютной болтовней. Утро следующего дня было сырым и туманным. У нас была неопределенная договоренность посетить одну ферму, расположенную еще выше и

дальше, чем «Башня в горах», но все сошлись на том, что ехать туда не имеет смысла. С трудом дозвонившись до этих людей—признаться, я не знаю их фамилии,—м-с Доббз поставила их в известность о нашем решении. Тут-то, полагаю, Пэт Гуд и начал разыгрывать вариант «Маунт Кук». Если после завтрака прояснится, а он надеялся на это, мы будем уже на пути в Квинстаун, где нам предстояло провести несколько дней. Но почему бы нам не задержаться в дороге и не переночевать в «Хермитидж»—фешенебельном отеле, гордости Южного острова и корпорации туристских гостиниц, а заодно и не побывать в национальном парке Маунт Кук? У нас не было под рукой карты, поэтому мы спросили, не отклонимся ли мы от нашей цели. Нет, ни в коем случае, отнюдь, уверил он нас. Ведя свою игру, м-р Гуд шел на все.

Мы сказали м-с Доббз, что если погода улучшится, мы поедем, и она выразила сожаление. Но я все-таки очень наблюдателен, и мне показалось, что при этом известии в глазах м-с Доббз мелькнула радость. Я не осуждаю ее. Ведь я уже сказал, что был восхищен ею, даже привязался к ней. Ей хватает забот с мужем, в плохую погоду занятым осмотром овец, тремя детьми, курсирующими между школой и домом, людьми, приходящими по разным делам. А теперь хоть мы уедем. В последний раз мы ели в этом доме и уже не на кухне, а в более торжественной обстановке (что, кстати, лишило еду очарования), поскольку были новые гости—из Крайстчёрча: м-р Харпер, поверенный в делах Далгети, и его жена, милая интеллигентная женщина, с которой приятно было поговорить. Дождь прекратился, рассеялся туман, хотя низкие облака омрачали пейзаж. Мы попрощались. «Горные владения» ничему не научили меня в области овцеводства. Гораздо больше я почерпнул, наблюдая на кухне за м-с Доббз. Но я доволен своим пребыванием там и признателен хозяевам за удовольствие быть их гостем.

## НА ОЗЕРЕ ТАУПО

Хотя огромный гейзер в Роторуа был прекрасен, он не заморозил нас, и пока мы ехали по тряской дороге к озеру Таупо один был сильно раздражен (Жакетта), другой (я) все время брюзжал. Мы знали, что жить нам предстоит—заботами Дерекы Мориса—в гостинице «Приют Мануэля», и это название не вдохновляло. Комната с наглухо зашторенными окнами показалась тесной и неудобной. Не радовало и то, что обедать мы будем в «Испанском ресторане» Мануэля: если там действительно испанская кухня (оказалось, что нет), мы, побывав в свое время в Испании, не стали ее поклонниками. Все еще не в духе, все еще в ворчливом настроении,

мы принялись медленно, с трудом разбирать чемоданы, словно наши платья, рубашки, брюки были свинцовыми. (Позволю себе напомнить читателям, что путешествовали мы не со спортивной сумкой, но с багажом, содержимое которого было рассчитано на семь недель, так что распаковаться в маленькой комнате было делом непростым. До сих пор слышу свои жалобы, что некуда класть вещи.) Наконец кто-то из нас, должно быть Жакетта, оторвался от чемоданов и раздвинул занавески. Мы увидели нечто волшебное. Кто бы ни был этот Мануэль, с которым я не знаком, его тут же простили. Перед нами на расстоянии брошенного камня расстиралось большое озеро, и оно улыбалось нам. Это было без преувеличения волшебное зрелище, недаром озеро так часто фигурируют в легендах и мифах. Гладь больших озер может неожиданно вспениваться сильными волнами, что меня не раз пугало. Но именно в сочетании спокойной глади и скрытых под ней сумрачных бездн таится очарование таких озер. В глубине сознания мы, как и наши предки, ожидаем чего-то, что встревожит эту гладкую поверхность — может быть, это будет дрожащая бледная рука и влажный золотистый локон, а может быть, какое-нибудь ужасное, неведомое чудовище.

Итак, мы оказались на северном берегу самого большого в стране озера, готовые покориться его чарам. Несколько недель назад по дороге в гостиницу «Замок» мы любовались им с высоты. Вблизи оно пленяет совершенно. Почти напротив нашего окна была небольшая пристань. Ранним утром бакланы приходили и усаживались на ней, а позже мы кормили с нее уток. Через некоторое время здесь появятся лодочники, и покой будет нарушен. Общаться с ними у меня нет желания, но я могу выкурить одну-две трубки, лениво созерцая людей, суетящихся вокруг лодок. В конце концов я имел возможность любоваться спящим озером, когда вокруг не было ни человека, ни птицы, ни лодки. Мы снова воспрянули духом, обрели способность радоваться. Еда оказалась неплохой, по крайней мере, испанского в ней было не больше, чем во мне, что ей нисколько не вредило. Дерек, который будет с нами до нашего отъезда домой из Окленда, уже ехал к нам из Веллингтона.

Нам понравился наш шофер Фрэнк Рид. Он был моложе своих предшественников, более общителен и к тому же менее расположен непрерывно просвещать нас. Два или три раза, когда я рисовал, он наблюдал за мной и... заразился. Утром перед нашим расставанием он извлек любопытный образчик собственного творчества, который симпатичная, но придиричивая девушка в Окленде (о ней в другом очерке) без сомнения предпочла бы любому из моих произведений, сочтя живым свежим примитивом. Городок Таупо ничем не примечателен и не представляет интереса для туристов, как я

ожидал. Я заглянул в несколько магазинов и потолковал заодно с их владельцами, выяснив, что они недовольны налогами. Поскольку я являюсь одним из самых настойчивых и неумолимых критиков налоговой системы—ведь финансовое управление не успокоится, пока не разорит меня,—я поддакнул им, не сказав, однако, как плохо они представляют, что может в действительности сделать с ними подходящий налог. Между прочим, меня глубоко возмущает необходимость отдавать неизвестно кому целое состояние, не получая взамен элементарной благодарности. Более того, я никак не могу понять, почему против авторов, живущих в достатке, применяют почти драконовские меры, в то время как градостроителям, уродующим облик городов в угоду интересам собственности, разрешено оперировать миллионами.

Не успел Дерек приехать, как тут же отыскал некоего Джима Стори, владельца катера, на котором они с Жакеттой отправились на озеро рыбачить. А я взялся за кисть. Когда они вернулись, каждый нес по две больших желтоватых форели или, как их называют, «радуги». Каждая весила четыре-пять фунтов, но выглядела намного внушительней. Одну мы съели; прекрасно приготовленная и приятная на вкус, она показала нам все же грубоватой, лишенной пикантного привкуса английской розовой форели. Вкус рыбы словно принесли в жертву ее размеру и удачной ловле. Не сомневаюсь, что новозеландцы сочтут меня безнадежным глупцом, когда узнают, что в течение пяти недель нашего пребывания в стране я все пытался понять, почему форели ни разу не было в меню. Форель водится здесь в изобилии, рассуждал я, славится своими размерами, легко ловится, а мне приходится мириться с лютианусом и еще с какой-то рыбой под названием «таракихи». До этого дня я не знал, что в Новой Зеландии вы можете отведать только форель, пойманную вами или вашими друзьями, купить же ее невозможно. «Да бросьте вы»,—словно слышу я голос ловкачей, которые обойдут любой закон. На что могу только ответить, что где бы мы ни были, это предписание неукоснительно выполнялось и никогда никакой форели нам не предлагали. В нашем безумном мире, где все, включая честь и порядочность, продается и покупается, новозеландская форель не является предметом торговли. Ловить—пожалуйста, но продавать нельзя.

А теперь расскажу о Паре, главной здешней достопримечательности, «звезде» этого «термального ревю». Я влюбился в него и в упоении его рисовал. На этом пока остановимся. В начале первого акта не стоит рассказывать все о главной героине. А в любом гейзере, как я уже говорил, есть своеобразное очарование театральной примадонны. Я хотел бы сейчас перенестись в начало века, где-то между 1900 и

1904 г., когда самый большой в мире гейзер Уаймангу, ныне не существующий, выбрасывал струю на высоту 1500 футов. Однако я пасую перед любой «страной чудес» (кроме той, где была Алиса), с ее неизбежными кафе, сувенирными лавками, мороженым, киношками. Мне не нравится, что любую диковину здесь обязательно как-нибудь назовут, а когда вы созерцаете ее, вас подталкивают локтем. Я же предпочитаю сам давать им имена, а лучше обходиться без этого. Обитатели этих «стран чудес» приручили, заставили работать, инвентаризировали, размножили в виде открыток столько любопытных явлений природы, выхолостив из них чудесное и пугающее. Но все же остались еще в природе зловещепрекрасные уголки, и если бы я ставил фантастический фильм ужасов, я бы их обыграл.

Взять хотя бы грязевые озера. Беглый взгляд не заметит в них ничего особенного и, остановившись, присмотритесь, как они подмигивают и пузырятся и вы почувствуете, что добра не жди, что где-то здесь, в мрачных глубинах чудовища отращивают свои многочисленные головы и щупальца. Кажется, что находишься на другой планете, еще хуже, чем наша. Или, например, провалы. Ваш взгляд устремляется вниз, все глубже погружается в душную, отдающую серой темноту, откуда, быть может, открывается потайной вход в преисподнюю. (Доктрина ортодоксального христианства, те ее положения, которые в наименьшей степени проникнуты духом милосердия, были, вероятно, вдохновлены такого рода зрелищем.) Стены провалов бывают обычно особого зеленого цвета, едкого, сатанинского, будто рождающегося из темноты и не знакомого с солнечными лучами. Поверхность некоторых больших грязевых озер, одно из которых я безуспешно пытался изобразить, кажется поначалу очень живописной: смешение ярко-зеленого, зеленого, разных оттенков желтого с мазками розового и серо-голубого, проступающее сквозь туман испарений. Однако чем дальше вы смотрите на это, тем ощутимее присутствие чего-то почти дьявольского, враждебного человеку с его надеждами и огорчениями. Планета Земля словно подает нам из своих глубин знак, что недовольна нами. Оказаться снова там, где над землей поднимается белый чистый пар,— все равно что отложить в сторону том Эдгара По и обратиться к поэзии Вордсворта.

Здесь, правда, тоже кроется ирония, по крайней мере для такого человека, как я, с подозрением относящегося к техническому прогрессу. Дело в том, что присутствием пара, на который я с удовольствием смотрел и который лихорадочно рисовал, я обязан геотермальной электростанции в Уаиракеи, играющей свою роль в обеспечении страны электроэнергией. Насколько я понимаю (а понимаю я в этом мало), бурятся десятки скважин—иные на глубину до нескольких тысяч футов—пока они не достигнут скрытой под

землей огромной массы спрессованного пара. Влага каким-то образом удаляется (это предел моих знаний), а то, что остается—примерно седьмая часть—поступает по трубам в турбины. Но это не мои заботы. Меня же восхитил и заморозил освобожденный пар. Тут и там пробивался он струями из земли, вздымался волнами, плыл в воздухе и растворялся—красивое зрелище. Вырвавшись на поверхность, пар был белее только что выпавшего снега, его абсолютная белизна вообще не поддается сравнению, на ее фоне облака в вышине кажутся светло-серыми, какими я их всегда и рисовал. Мало-помалу пар терял силу, начинал редеть, в его белизну вкрадывались тусклые тона. Наконец он совсем исчезал, и природа представляла похорошевшую, холмы, деревья, кусты, казалось, только сейчас явились на свет и на мгновение возникало видение рая. (Какая чудесная идея пришла в голову Вагнеру—пусть даже она не осуществилась,—когда он настаивал на том, чтобы занавесом в театре г. Байрёйта служил пар!) Я не знаю и не очень интересуюсь, сколько энергии вырабатывает геотермальная станция Уаиракеи, но зато я знаю, какой эмоциональный всплеск вызвал во мне высвободившийся пар, что гораздо важнее для меня. Созерцание его очистило и просветлило разум, вдохновило сердце.

Клубящийся пар, обновляя природу, вызывал и другие эффекты, неожиданные, причудливые, комические. Один, всякий раз возбуждавший мое любопытство, можно было наблюдать на склонах окружающих гор. В стороне от гигантских клубов пара из толстого слоя листвы через регулярные промежутки времени появлялся дымок, природа которого была совершенно непонятна. Всякий раз, глядя на него, я представлял себе великанов, скрытых листвой и с наслаждением попыхивающих трубками. Окружающее начинало походить на сказку. Чудесное и комическое, свойственное сказкам, таилось у черты прекрасного. И все это было всего-навсего производным от поносимой мною современной техники. На ум мне приходят строки стихотворения Вордсворта «Кукушка»:

...Мир вокруг,  
В котором мы живем,  
Виденьем кажется мне вдруг.

По крайней мере пока фантазия окрашивает наше восприятие.

Я мог бы проводить в Уаиракеи целые дни, но побывал здесь еще только один раз и при совсем других обстоятельствах. Мы получили приглашение на обед, который устраивался в большом и известном отеле «Уаиракеи», где проходила конференция Ассоциации книготорговцев. Нам пришлось изменить планы, раньше намеченного уехать на Южный остров и раньше вернуться. Но я сделал это



совершенно сознательно, и на то были свои причины. Прежде всего мне очень хотелось поговорить с новозеландскими книготорговцами, но, наведываясь за книгами в аптеку Уилкинсона в Квинстауне, я не мог, понятно, удовлетворить это желание. Была и другая, особая причина: мои лондонские издатели посоветовали мне встретиться с м-ром Хедли, который, хотя я и не имел магазина в городе, сумел стать благодаря своей предприимчивости одной из самых заметных фигур в новозеландской книготорговле. Приехав сюда, я узнал, что смогу увидеть м-ра Хедли на предстоящей конференции, поскольку он всегда в них участвует. И вот все наши маршруты, расписания, все полученные указания были ловко перетасованы, так чтобы привести нас на этот обед. Но — увы! — именно на этой конференции м-р Хедли не присутствовал — заболел кто-то из его близких. И если эти строки попадут ему на глаза — а если нет, то, подозреваю, мои дела в Новой Зеландии не так хороши — я уверяю его, что был тогда сильно разочарован.

Вообще же народ собралось много, сотни книготорговцев с женами, все нарядные, веселые. Я не заметил никаких признаков неблагополучия, застоя в делах: ни лоснящихся протертых брюк, ни наскоро смастеренных платьев. Или в Новой Зеландии стали очень много читать, или же процветает торговля канцтоварами, авторучками, галантереей. (Я не циник, как может показаться, но я английский писатель с большим разносторонним опытом.) Нас принимали — с учтивостью, в которой проглядывало человеческое тепло, — представители Ассоциации, пожилые люди ученого вида. Глядя на них, я вначале подумал даже, что им более пристало иметь дело с уникальными изданиями мемуаров первых поселенцев, а не с какими-то пьесами, романами, очерками, приходящими из Англии.

Но вот в мои руки попал вместе с повесткой дня и докладами текст выступления президента Ассоциации м-ра Гордона Тейта на конференции, проходившей в 1972 г. Меня восхитило его начало: «Когда я ознакомился с программой конференции, я был поражен ее основательностью — все так весомо, серьезно. Акцент, как я понимаю, сделан на важности чтения, ответственности родителей и учителей и в этом мне видится некоторое заблуждение. Насколько я помню, с безграмотностью в Новой Зеландии покончено еще в начале века, и этого никто не отрицает. Но любой библиотекарь или книготорговец скажет вам, что книги читают в лучшем случае около двадцати процентов населения. Остальные восемьдесят процентов я побоюсь причислить к грамотным. Можем ли мы быть уверенными, что ведем работу в нужном направлении? Признание важности чтения и необходимости поощрять его что-то не увеличило пока числа читающих. Боюсь, что постоянное напоминание о

значении чтения превратило удовольствие в скучную обязанность».

В своем выступлении, которое называлось «Дети и книги», м-р Тейт говорит далее о том, что дети должны почувствовать притягательную силу книги, а для этого нужно, чтобы книги окружали их в школе и дома. В Новой Зеландии им, как нигде, не повезло в этом. Профессор Маклюэн, предсказывающий близкий конец печатного слова, в этой стране может оказаться прав.

Мне очень хотелось просмотреть обширные материалы конференции до моего выступления. Они позволяли обсудить широкий круг тем. Взять хотя бы курсы для помощников продавцов книжных магазинов. Большинство книг я покупаю в солидном лондонском книжном магазине в Вест-Энде. Там работают два или три продавца и несколько продавщиц средних лет, понимающих смысл своей работы. Вокруг них — некоторое количество (в зависимости от сезона) временных помощников, с которыми я не имею дела и которые знают только, что от них хотят неизвестно чего и при этом мало платят. Один квалифицированный продавец стоит десятка бестолковых помощников. В другом месте упомянуты бумажные мешки: если речь идет о тех, что мне доставляют здесь через день, я решительно против них. Годами получая посылки с книгами, я разрезал веревку, развешивал плотную бумагу — и книги передо мной. Теперь я минут десять борюсь с этим проклятым мешком, образчиком псевдоизобретательности, царапаясь о закрепки и скобки, вытряхиваю противную древесную прокладку и скорблю, как часто бывает, о былой простоте. Мне очень хотелось послушать в эту же среду в 3.20 выступление сержанта уголовной полиции Макуильямса на тему «Кражи в магазине и гарантия сохранности товаров». Заглянув в текст, я почувствовал некоторое недоумение. Если столь ничтожное число новозеландцев любит читать, не говоря уже о том, чтобы иметь книги дома, то откуда тогда угроза кражи книг в магазинах, почему их так надо охранять? (Кстати, я начинаю с подозрением относиться к слову «сохранность».) Опять же, если в новозеландских школах катастрофически мало книг, а в иных домах они вообще отсутствуют, как мог тогда фешенебельный отель «Уаиракеи» заполнить свой ресторан таким количеством процветающих, лощеных книготорговцев и их изящных веселых жен?

После обеда меня пригласили выступить. И хотя слушали меня доброжелательно, а когда я кончил, вежливость не позволила аудитории выказать неудовольствие или открытое разочарование, я понял, что совершил промах: был слишком краток, чтобы удовлетворить слушавших. Это, естественно, возвращает меня к разговору о недоразумениях, который я вел где-то в другом месте. Теперь я хочу кое-что прояснить.

По правде говоря, как оратор, да еще выступающий после официального обеда, я должен был помнить, что нахожусь на чужой территории. У себя дома я давно уразумел, что большинство выступающих говорит слишком долго, словно испытывая терпение слушателей. Особенно если учесть, что люди были заняты едой и хотят теперь продолжить разговор с соседями. Поэтому я решил всегда быть кратким, заканчивать выступление решительно, без этих утомительных «и наконец последнее...». Тогда мне, конечно, скажут, что я произнес великолепную речь и как жаль, что она уже кончилась. (Хотя никому не жаль, на что я и рассчитывал.) Относительная краткость, неожиданное завершение речи были рассчитаны, можно сказать, на запас терпения, имеющийся у англичан, в частности у лондонцев, без конца слушающих чьи-нибудь выступления.

Есть города — в их числе Лондон и Нью-Йорк, — которые можно назвать «средоточиями нетерпения», и выступающие там, если они соображают, должны это учитывать. Но я забыл, что новозеландцы находятся на большом расстоянии от этих «средоточий нетерпения», и люди здесь готовы устроиться поудобнее и бодро слушать длинные речи, в два-три раза длиннее любой моей. Они приходят, чтобы послушать, а не просто перетерпеть говорящего — ведь презжий оратор проделал путь длиной в полземного шара, чтобы поговорить с ними. Поэтому дайте ему трибуну и не ограничивайте во времени. Никакого лаконизма, никаких искусно подготовленных внезапных концовок, как бы ни были они по сердцу нетерпеливым в другой части земного шара. Гордясь своей способностью оцнивать аудиторию, я не принял во внимание, что мне предстоит выступать в Новой Зеландии. Боясь до смешного наскучить слушателям, я забыл про горький осадок, который оставляют обманутые надежды. И теперь, конечно, жалею об этом.

В четверг утром мы покидали озеро Таупо, и Дерек должен был отвезти нас в Окленд. Бросив прощальный взгляд на озеро во всем его великолепии, на фоне которого солировали баклан и утка, на горы, сверкавшие на противоположном берегу, мы лениво, нехотя стали собираться. Автомобиль, взятый Дерекком для этого случая, оказался так набит, что оседал на колесах. Мы торопились в путь. Я не остановил машину, когда мы проезжали Уаиракеи, чтобы попрощаться с Паром, этим существом, ничем не напоминающим человека и в то же время загадочно женственным. Зачем? В Роторуа мы зашли поесть в огромное кафе самообслуживания, принадлежащее уже будущему, чего не скажешь обо мне. Потом вернулись на дорогу, намереваясь без остановок добраться до Окленда — конечной цели нашего путешествия по Новой Зеландии.

# Особые удовольствия\* (1975)



## ЛОУРЕНС ОЛИВЬЕ

Оливье говорит сам о себе, что он «актер, режиссер и администратор» — и имеет к тому все основания, поскольку в любом из этих амплуа он достиг небывалых вершин. Он снискал себе всемирную известность благодаря кино и театральным гастролям. Награды, зарубежные премии и почетные дипломы так и сыплются на него. Ни один английский актер — ни его современник, ни его предшественник — не мог бы с ним сравниться, не выдержал бы такого состязания. Гаррик, Кин, Генри Ирвинг пользовались небольшой популярностью, так сказать, популярностью местного значения, несопоставимой с его славой. Судьба его в искусстве сложилась необыкновенно, словно фантастический сон начинающего актера стал реальностью. Постоянно ему сопутствовал феноменальный успех, его театр стал легендой. Я знаю его целую вечность — мы познакомились, когда я ходил играть в теннис к жившему по соседству с ним Глэдису Куперу, тогда он был робким, скромным юношей. Впрочем, я уверен, что он и по сей день остался в глубине души таким; с тех пор он являлся передо мной в самых разных масках, в облики самых разных персонажей. К примеру, когда он первый раз вернулся из Голливуда, он переживал период «упрямства», затем последовал порядком раздражавший меня «обидчивый» период, общаться с ним в то время было просто невозможно — к тому же я и сам не сахар, и вот, наконец, он сделался мягким с людьми, предстал перед нами, говоря словами Йейтса, «улыбчивым светским человеком», с легкостью неся на своих плечах бремя славы.

Эти разные индивидуальности Лоуренса Оливье весьма важны для понимания его подхода к собственному таланту и мастерству. Прежде чем и мы попытаемся понять его талант, я должен сделать несколько оговорок, которые, впрочем,

---

\* © J. B. Priestley, 1975.

лишь сильнее оттенят его творческие победы. Его никак нельзя причислить к когорте романтических, поэтических актеров — ни по темпераменту, ни по голосу, однако благодаря удивительной силе таланта и целеустремленности ему блестяще удались главные роли в нескольких поэтических драмах. Но факт остается фактом — он не обладает ни музыкальностью голоса Гилгуда, ни поразительным диапазоном голоса Ральфа Ричардсона. Оттого возможности его кажутся куда более ограниченными, чем на самом деле, а ведь его способность полностью перевоплощаться помогает ему менять интонацию и тембр, оставаясь при этом абсолютно естественным и убедительным. Между прочим, он блестящий пародист и часто веселит нас, копируя своих друзей, но на подмостках перед нами предстает талант куда более значительный.

В моей фразе о перевоплощении читатель найдет ключ к пониманию метода и мастерства Оливье. Он — коронованный принц среди того избранного числа наших ведущих актеров, которые не приноравливают роли к себе, а полностью растворяются в них. Главная его черта — способность целиком сливаться с ролью. Если бы я не был знаком с ним, я всякий раз после очередного спектакля воспринимал бы его таким, каким он предстал в новой роли. Перед нами на сцене не Оливье, а Кориолан, или Астров Чехова, или заштатный конферансье Арчи Райс Джона Осборна. (Диапазон его игры удивителен.) Но объясняет ли это талант Оливье? Ведь может сложиться впечатление, что я пишу об обычном хорошем актере, а не о яркой личности, всемирно известном актере, о котором я повел речь вначале. Но тут я готов согласиться с философами-материалистами: если сумма чисел достаточна, количество в самом деле переходит в качество. Это как раз справедливо в отношении Оливье. Он привносит в свою игру именно такую решающую долю.

Мне никогда не приходилось наблюдать, как он готовит новую роль, как он репетирует, поэтому, думаю, мне разрешат высказать несколько догадок. Оливье изначально всегда присуще искреннее стремление подчинить себя роли. Будучи личностью сильной, яркой и обаятельной, он, тем не менее, не «перекраивает» образ на свой лад. А коль скоро речь идет о театральных подмостках и зрителе, он готов вовсе поступиться собой, полностью измениться. На сцене не будет Лоуренса Оливье. Актер стремится забыть о себе, стать совершенно иным человеком, обладающим весьма неожиданными чертами характера. Он само упорство (теперь уже не «улыбчивый светский человек»), он яркая личность и одновременно — хотя, как правило, такие люди этим не отличаются — работает с полной отдачей, не упускает из виду ни одной мельчайшей детали. Представьте себе подобное сочетание, прибавьте магнетизм его необычайной популярности

и вы увидите актера, от которого любой хороший исполнитель отстает на целый световой год. Не забудьте еще нужную долю смелости и уверенности, с которыми он перевоплощается и которые позволяют ему браться практически за любую роль — от царя Эдипа до деревенского дурачка. Случается, правда, смелость толкает его на ложный путь, так было, мне кажется, с Отелло в Национальном театре, но девятнадцать раз из двадцати он, как говорят зрители помоложе, — «бьет в яблочко». Это не везение и не улыбка судьбы. Он заслужил свою небывалую славу титаническим трудом.

Эти же черты присущи и Оливье-режиссеру; вспомню здесь один забавный маленький эпизод, который, думаю, послужит доказательством моей мысли. Он ставил для Национального театра мою раннюю пьесу «Конец Идена». Однажды он разыскал меня в каком-то ресторанчике в Йоркшир Дейле, сказал, что звонит по неотложному делу. Оказалось, ему надо было выяснить, пользовались ли в 1912 году женщины губной помадой или же красили губы румянами. Я не знал, да мне вовсе и неинтересно было это. А он хотел знать. И не щадя себя, со всей страстностью своей природы он постарался отловить меня по междугороднему телефону, и в этом весь он: работает с полной отдачей, не упускает из виду ни одной мельчайшей детали. Такой он режиссер и такой он — вот уже долгие годы — актер. И если нам дорог наш театр, не надо жалеть для Лоуренса Оливье наград, почестей, медалей и орденских лент.

### РАХМАНИНОВ: СИМФОНИЯ № 3 ЛЯ-МИНОР

Давным давно, еще подростком, я видел Рахманинова и слышал его исполнение. Это было незабываемое зрелище. Он не был грузным или лохматым, или тем и другим одновременно: ведь обычно такими представляли перед нами виртуозы; сухощавый, с тонкими чертами лица, коротко стриженный, он вовсе не думал о том, как бы поразвлечь нас и себя. Тогда он был обречен каждый вечер играть Прелюдию до-диез-минор, над которой я как раз в то время мучился сам. Позднее я понял, что все музыкальные критики, за исключением самых прозорливых, постоянно недооценивали его как композитора только по той причине, что он пользовался успехом: чрезвычайно глупая причина. (Бетховен ведь был еще более популярен.) Если бы я на самом деле обладал той интуицией, которой, как мне часто кажется, я обладаю, в те давние годы я понял бы — этот худощавый скромный человек окружен трагической аурой, я почувствовал бы: передо мной талант, обреченный на страдание. Но я ничего не понял, вот вам и интуиция.

Когда произошла Октябрьская революция, Рахманинову было за сорок, он не вернулся в Россию и начал в 1918 году в Америке новую жизнь—стал выступать с сольными концертами, поскольку был пианистом экстракласса. Следует упомянуть два факта, определивших тот период его жизни: он ничего не писал долгие годы, а возвращаясь с гастролей, жил среди русских эмигрантов в Южной Калифорнии. Я бывал там и не могу отделаться от чувства, что этот выбор—как для Рахманинова, так и для других беженцев—оказался роковым. В Южной Калифорнии искусственный, пластиковый образ жизни, мрачная природа; трудно найти место, более контрастирующее с родными местами любого из нас, где все для нас подлинно, все связано с воспоминаниями детства и юности. А в Южной Калифорнии будто налажено производство чудовищного валового продукта—горечи разочарования и тоски по дому. Тут словно нарочно все предназначено для того, чтобы у русских болела душа по России, занесенной зимой снегами, запорошенной летней порой пылью, чтобы, вспоминая о ней, о родной березе, они начинали плакать. У меня ощущение—никто так не тосковал по родным местам, так не стремился домой, как Сергей Рахманинов, обреченный на старость в чуждом ему мире.

Послушайте его Третью симфонию, написанную много лет спустя после Второй,—и согласитесь, что это не просто мое ощущение. Ему уже было за шестьдесят. Критика плохо приняла симфонию, заявив, что она старомодна и к ней не стоит относиться всерьез. Но будучи слушателем-литератором, неискушенным в модернистских изысках, я отнесся к ней серьезно. Музыка, достойную называться музыкой, пишут не компьютеры, а люди, надеющиеся и потерявшие надежду, радующиеся и страдающие. Третья симфония—самое яркое и самое честное воплощение в музыке (насколько я знаю музыку) борьбы, изначально обреченной, борьбы с болью и отчаянием, что приходят вместе с тяжкой, захлестывающей тоской по родине. В ней мука немолодого уже человека, сознающего, что ему никогда уже не вернуться домой. За исключением первых фраз пролога первой темы и нескольких отголосков этой темы много позже в *Adagio*, симфония лишена сентиментальности. (Чайковский, думаю, непременно бы включил одну-другую русские песни.) Мы явственно слышим исповедь о том, как стремятся победить отчаяние, «вкусить» плоды американской славы—к примеру, начало финала *Allegro*—но вот мы слышим слабые, далекие звуки духовых инструментов, потом обреченно звучащие медные трубы—битва снова проиграна. Нет, это произведение—не дитя разума, как, к примеру, «Жизнь изгнанника» Рихарда Штрауса; очарование симфонии, ее необычная открытость, обнаженность—плод неосознанного порыва души. Я не берусь утверждать, что это

великая симфония, просто ни с каким другим музыкальным произведением сравнить ее невозможно — так явственно и зримо предстают в ней оглушительная боль и глухое отчаяние человека, мучимого, как мучилось столько других, — тоской по родине.

## ДЖОН ГИЛГУД

Гилгуд представляется мне весьма трудным объектом для этих портретов-зарисовок. Подобное утверждение удивит многих читателей, особенно если они давние театралы; они заверят меня, что он — исполнитель романтических шекспировских ролей, что его дивная внешность и волшебный голос незабываемы. А театралы совсем преклонного возраста добавят: он олицетворяет в наш век прекрасную традицию. Что ж, хотя это и не совсем так, а почему — я объясню позднее, доля истины в этом есть. К примеру, не так давно Би-Би-Си предложило сэру Джону сделать серию бесед для телевидения о театре и актерах и поступило мудро. Никакой другой актер не сделал бы это лучше Гилгуда, и не только потому, что у него отличная память, понимание характера, бесстрастный, но дружелюбный юмор, но еще и потому, что он — живое воплощение театральной традиции. Она, что называется, у него в крови (кстати, отчасти польской, что тоже важно). В юности он создал самого незабываемого Гамлета нашего времени, но помним мы его не только как романтического актера, исполнителя шекспировских образов. И не с этого следует начинать, воздавая должное его темпераменту и его творчеству; между прочим, его послужной список займет семь колонок плотного текста.

В этом внушительном перечне есть ряд неожиданностей, во всяком случае для меня. К примеру, он гораздо больше времени занимался режиссурой, чем я предполагал. До того, как он начал выступать с шекспировскими чтениями — а его гастроли по всему миру следует оценивать как явление национальной значимости, — он исполнял шекспировские роли гораздо реже, чем мы привыкли считать. С другой стороны, он играл в большом количестве современных пьес, но это, думаю, не самое главное в его творческой судьбе, я лично не могу понять, какими принципами он руководствовался при выборе современного репертуара. И вот я подхожу к той проблеме, с которой начал свои заметки. Я делю актеров на два типа. Одни подчиняют героя себе, другие полностью растворяются в нем. Думаю, Гилгуда нельзя отнести ни к одному из этих двух типов. Конечно, Гилгуд может играть с одинаковым блеском самые разные роли, о чем красноречиво свидетельствует его творческий путь, но то, что определяет Гилгуда-актера, сильнее этих ролей.



Если мы сочтем, что он принадлежит к категории исполнителей, подчиняющих себе самых разных персонажей, мы должны будем признать за ним необычайную широту личности—во всяком случае на сцене.

Вспомните его самые удачные работы—существует три совершенно разных Гилгуда. Первый Гилгуд—юный элизаветенец, шекспировский актер, чья прекрасная внешность и удивительный голос принесли ему славу. Я говорю «юный» не потому, что считаю его исполнение персонажей более зрелого возраста неудачей—он слишком хороший актер, чтобы претерпевать неудачу,—я говорю так, потому что он менее впечатляющ в них, несмотря на свою удивительную, тонкую музыкальную натуру. Громоздкие, неуклюжие шекспировские герои—тучные, огромные мужи, вроде Отелло—не его ампула. Второй Гилгуд безраздельно принадлежит к изящной, высокой комедии—от драматургов Реставрации до Оскара Уайльда—словно он рожден для нее. Его внешность, его манеры, его язвительность, его крючковатый нос, его бесстрастное, но чрезвычайно точное чувство юмора—все помогает ему. С отменной четкостью он рисует характеры своих персонажей—от Валентина в «Любовью за любовь» до Джона Уортинга в «Как важно быть серьезным».

Обратимся к иному полюсу—к русской трагикомедии Чехова и других драматургов, к пьесам, в которых больше догадки и предположения, чем впрямую сказанного, обратимся к их героям, потерявшимся в смутных надеждах и мечтах, обреченным на поражение. В этой полубезумной, полуфантастической стране снегов и березовых рощ Гилгуд чувствует себя как дома—кого бы он ни играл. Впервые я обратил внимание на Гилгуда давным-давно, когда он играл жалкого, но преисполненного надежд студента Трофимова в спектакле Фейгена (благослови его Господь!) по пьесе «Вишневый сад». Верно, именно тогда он попал в плен волшебных чар Чехова. Созданные им чеховские герои завораживают, правда, ждать открытия галереи этих образов ему пришлось довольно долго.

Читатель, пожелавший убедиться в удивительном даре перевоплощения Гилгуда, может посмотреть два фильма. В первом, в голливудской версии «Юлия Цезаря», он играет ожесточившегося, безжалостного Кассия, играет с такой силой, что в каждой сцене с его участием все остальные отходят на второй план. А во втором фильме—«Атака легкой бригады»—он блестяще исполняет роль милого путаника, очаровательного лорда Рэглена, который словно явился на линию огня—время действия Крымская война—из «Зазеркалья». Да, как говорят порой актеры: «Вершина!»

## КЭТРИН ХЭПБЕРН

Долгие годы она играла на сцене, исполняла и шекспировские роли, но мне лишь однажды довелось увидеть ее в театре—во время гастролей в Лондоне она исполняла ведущую роль в «Миллионерше», не самой лучшей пьесе нашего классика. Но она покорила меня, и с тех пор чувство восхищения меня не покидает. В отличие от других актрис, пришедших в кино из театра, кажется, будто она и не сходила с театральных подмостков. Еще мне нравится, что во многих фильмах, в которых я любовался ее игрой, она не изменяет себе. Не подумайте, что это попытка набросить тень на ее вполне заслуженную репутацию прекрасной актрисы. Просто я хочу в этом эссе выделить ее из сонма голливудских кинодив и объяснить, в чем я вижу ее неповторимость.

Фред Аллен, комик с мрачным юмором, как-то назвал голливудских звезд «горничными с коронками на зубах». Конечно, это мрачная шутка, но мы не погрешим против истины, если скажем, что многие кинодивы—продукт усилий дирекции и рекламных агентов. Вот они и изображают из себя «девушек нашей мечты» перед читателями журналов для болельщиков или послушных куколок в руках смекалистых режиссеров. Они натягивают свои прелестные маски, изображающие горе или радость, и пускаются во все тяжкие. (Конечно, эти слова не относятся к Грете Гарбо, которая не нуждается в моей похвале.) Нет сомнений—Кэтрин Хэпберн не принадлежит к числу глупых красоток. Прежде всего она не позволила бросить себя на жернова голливудского борделя. Мы знаем еще несколько кинозвезд, не имеющих ничего общего с упомянутыми мной «девушками нашей мечты», таких, как, к примеру, Бет Дейвис—и нескольких прекрасных, настоящих актрис, с готовностью отдающих себя роли—даже им надо часами гримироваться, чтобы превратиться в безумных женщин, ведьм, колдуний. Кэти Хэпберн настоящая актриса, но она не любит растворяться в роли, не получает радости от того, что выдает себя за кого-то другого. Она предпочитает оставаться самой собой. Другими словами, она соподчиняет роли ту или иную сторону своей натуры, королевы Кэтрин, юной актрисы Кэти, надменной мисс Хэпберн, ловкой К. Х., сильной Хэпберн или какой-нибудь еще из бесконечной галереи ее образов.

Она может быть комической, может быть трагической, а может и той и другой сразу. Но к каждой новой роли она подходит с чувством ответственности, и все ее роли объединяет одно—то, что составляет суть актрисы Кэти Хэпберн. А почему бы и нет, ведь мы любим ее?! Перед нами—великолепный профиль, эти прекрасные линии лица, верно, унаследованы ею. В анфас она никогда не бывает хорошень-

кой — она или прекрасна или уродлива, в зависимости от образа. Вот ее лицо смягчили нежность и любовь, и внезапно оно сделалось неотразимым. Вот она гневается на кого-то — а в фильмах с ней часто такое бывает — и глаза становятся жесткими, даже губы сжимаются, превращаются в щелку почтового ящика. По правде сказать (подобное вступление означает, что я сейчас скажу что-нибудь неприятное), ее голос несколько режет мое британское ухо, в нем слишком много твердых гласных, почти монотонных, но все равно он неотразимое оружие в арсенале актрисы. И наконец, мне кажется, стоило бы припомнить ее аристократическое происхождение, манеры, внешность, но — увы — ничего не могу сказать по этому поводу, вероятно, оттого, что не знаю толком, что такое аристократизм в английском контексте, не говоря уж об американском.

Зато я совершенно уверен: она именно та женщина, которая вызывает во мне восторг, даже если она всего лишь бесплотное изображение на экране. Она — подлинная личность с удивительной, яркой индивидуальностью. Если сравнивать ее с «ультраженственными» существами с открыток и коробок из-под шоколадных конфет, она может показаться слишком уж мужественной. Но на мой взгляд, именно в таких женщинах таится бесконечная женственность. Она всегда была и, надюсь, по сей день осталась существом, которое мы можем назвать дивным фейерверком.

## МЕРИЛИН МОНРО

Если бы кинопродюсерам, режиссерам, актерам, сценаристам, всем тем, кому приходилось работать с Монро, попались на глаза эти строки, они возопили бы от ужаса. В меня бы с гневом швырнули именами прекрасных актрис, каждая из которых стоит «дюжины Монро». Обвинили бы в том, что я околдован этой блондинкой, ставлю крест на прочих блондинках.

На самом же деле я терпеть не могу «живых куколок», да любил я их, они все равно не были бы похожи на Монро. Просто она женщина не моего типа, никогда мне такие не нравились. Не могу припомнить ни одного раза, чтобы я взглянул на экран с Монро горящими от страсти глазами. Добавлю, я не был с ней знаком, близко не подходил к студии, где она снималась или пыталась сниматься, доводя до безумия съемочную группу. К тому же я не читал книги Мейлера о Монро и не собираюсь читать. Одно дело предлагать свои соображения и домыслы, изложенные в нескольких десятках слов, а другое — покупать эти домыслы, упакованные в огромную дорогую книгу.

Не исключено, что я неправ, но мне кажется, что она была очень трудной—вечно держала всех в напряжении, никогда не раскрываясь полностью—не из-за наркотиков, алкоголя, сексуальной озабоченности, а потому что, не обладая мастерством и богатым опытом, она вознамерилась создать некий образ. Нет, не образ зажигательной женщины экстракласса. Тот образ, который она стремилась создать, был весьма далек от привычного и знакомого всем. Ей, видно, с огромным трудом давалось то, что большинству кинозвезд дается с легкостью, в этом-то скорее всего причина ее бесконечных отсрочек, туманных объяснений, почему она всякий раз не в форме и не готова к съемкам. То, что привычно и естественно для других актрис, для нее—тяжкое нервное испытание. Но я удивляю читателя тем, что не стану включать Монро в галерею своих любимых актеров и людей искусства, оправдывать ее недостатки. Я просто хочу воздать ей должное.

Для этого я сосредоточусь на самом известном ее фильме, который я видел несколько раз, оставив в стороне другие ленты с ее участием. Это динамичная комедия ситуаций «Некоторые любят погорячей». Здесь ей пришлось выступать с блестящими комедиантами, или—если хотите—против них, актеров огромного опыта. Создавая свой, особый образ, Монро играет героиню, существующую как бы в ином измерении. Она в мире комедии, но не принадлежит ему. Ее стремительная, обескураживающая наивность без тени сексуальной искушенности или цинизма принадлежит иным мирам. Конечно, она участвует в происходящем на экране, но при этом будто лишь наблюдает за всем и вся, словно ребенок. Игра Монро производит чрезвычайно сильное впечатление, уверен, без нее фильм неминуемо превратился бы в низкопробную развлекательную ленту. Это, по-моему, лучший пример «феномена Монро», впрочем, почти то же самое можно сказать по поводу многих фильмов с ее участием, даже тех, где она не играет ведущих ролей. Сознательно или нет—неосознанность действует на зрителя сильнее—она переиначивает приевшийся образ «горячей» женщины, порхающей из постели в постель, начинающей свой полет жалкой замухрышкой. Она отказалась от рисунка женщины-вампа, кумира настольных календарей и журналов вроде «Плейбой», она освободилась от бремени своего жизненного опыта и подарила нам образ—одновременно очаровательный и убедительный—немного смущенной, но искренней, чистой девушки. Ей не единожды удавалось это, она бросала вызов чуть ли не всему миру—да, она не «девчушка», а удивительно серьезная актриса.

Меня не интересует миф о ее распутстве; я воздаю должное ее творчеству, плоду надежды и отчаяния; я оплакиваю ее трагический конец, мне так не хватает ее.

## АЛЕК ГИННЕС

Один мой знакомый живет в пригороде Лондона по соседству с Алеком Гиннесом, так вот он рассказал мне, что на улицах и в присутственных местах в Гиннесе не узнают знаменитого актера. Мне, думаю, не следует удивляться этому (а я удивляюсь тем не менее), хотя Гиннес вот уже многие годы наш ведущий актер театра и кино. Я помню его первые роли, он казался высокомерным и несколько неуклюжим, впрочем, это даже шло ему, но не могу теперь припомнить, когда именно он преобразился и стал удивительно тонким, прекрасным актером. На мой взгляд, выдающимся актером его делают три качества. Во-первых, он человек думающий, не позер, не болтун-мистификатор, подспудно, глубоко внутри него постоянно совершается работа. Во-вторых, он один из немногих наших ведущих актеров, которые не подчиняют героя себе, а сами полностью отдаются ему, обладая поразительным даром перевоплощения. Он способен изменить свою внешность, голос, манеру и стиль в зависимости от роли, но делает он это будучи добросовестным актером, а не просто мимом высшего класса, вроде Питера Селлера. Он стремится воссоздать образ, продумав все, до мельчайшей подробности. И третье его достоинство — поразительное изящество; советую будущим актерам, студентам пойти, и не один раз, на спектакль с участием Гиннеса, воочию убедиться в его неотразимости.

Буквально на днях я увидел его в последнем акте какой-то неизвестной мне телевизионной пьесы. Сразу стало ясно: он играет старика, ждущего смерти, преисполненного глубокого отвращения к жизни (между прочим, сам автор ненавидит жизнь). Передо мной был представитель определенной социальной среды; герой Гилгуда привык коротать вечера за сигарой и стаканом портвейна. Но даже в том, как он пьет и курит, в каждом пустяке Алек стремится выразить бесконечную усталость и отвращение — и все это в телевизионной пьесе, которая играется один лишь раз! Я вспомнил, как в «Олд-Вик» он играл в моей пьесе «Визит инспектора» глупенького Берли; он был изумителен: он только прошелся по авансцене спиной к зрителю, и тотчас перед нами возник образ ветреного, бездумного парня.

Я наблюдал за работой Гиннеса довольно долго один лишь раз — во время съемок фильма, к которому я написал сценарий и был одним из его продюсеров. В этом фильме — «Последние каникулы» — много смешного, он пронизан разного рода иронией, но лондонская критика, видимо, не заметила этого и обошла ленту молчанием. (На континенте, в Нью-Йорке и Голливуде она пользовалась бóльшим успехом, Полин Кэль отозвалась о ней как об «отличном камерном фильме».) Алек Гиннес играл в нем заурядного юношу, в

жизни которого происходят драматические перемены. Кадры снимались не в хронологическом порядке, а потому каждый день Алеку приходилось играть разные состояния своего героя, перескакивая то вперед, то назад во времени. Ему удавалось это блестяще, и с тех пор я не устаю им восхищаться, восхищаться его умению и такту. И еще большему изяществу!

Хотя недавно его имя было включено в Почетный список лучших актеров, и, конечно, его теперь регулярно хвалят, я лично не могу отделаться от ощущения, что его удивительные качества — не только дар перевоплощения, но глубина и изящество его игры — на протяжении долгого времени недооценивались критикой и зрителем. Им нужны паблисити, шум, показуха, а это чуждо такому скромному, но преданному искусству человеку. Он дает зрителям больше, чем многие из них в состоянии понять. Он должен бы сегодня считаться королем актеров. Но считается ли? Сомневаюсь. Я не актер, но склад моей природы и опыт подсказывают мне, что такое игра, и этот серьезный, вдумчивый художник вызывает во мне глубочайшее уважение, преклонение и благодарность.

## ЧАРЛЗ ЛОУТОН

К его творческому пути следует относиться с уважением. Сначала надо взвесить все факты его биографии, а потом делать выводы о нем и о его творчестве. Его восхождение к славе было стремительным: двадцати лет он уже играл в весьма заметных спектаклях, почти не опускался до пустяков, которые так часто привлекают к себе хороших актеров. Это скорее относится к его работе в Голливуде, где куда как сильнее потребность вспрыскивать адреналин бескровным сценариям. Позднее он оставил кино и театр и совершил гастролы по Америке, пользовавшиеся успехом, — выступал с классическим репертуаром: чтением отрывков и спектаклем, поставленным им самим по пьесе Бернарда Шоу «Дон Жуан в аду»; в нем участвовали Чарлз Бойер, Агнес Морхед, Седрик Хардвик. Спектакль удался. По возвращении в Англию он играл в Стрэдфорд-на-Эйвоне шута и короля Лира, настолько непохожих друг на друга, насколько могут быть непохожи шекспировские герои. Я видел его в последний раз на экране, думаю, в его последнем фильме: в киноверсии какого-то популярного романа о Вашингтоне и политике; он играл ловкого сенатора-южанина и затмил своей игрой буквально всех. Конечно, достоинства фильма во многом зависят от популярности и хорошего вкуса исполнителя главной роли; но эта лента, по-моему, была достойна того, чтобы в ней снималась кинозвезда, ограждающая себя от бесконечных соблазнов сниматься в пошлых поделках.

Лоутон сыграл сына владельца отеля в Скарборо, его игра была в цель с точностью ракеты. В этом фильме он вознес на необыкновенную высоту понимание творческой индивидуальности актера.

Между тем дьявол в исполнении Лоутона в пьесе «Дон Жуан в аду», хотя и в прекрасном исполнении, нуждается тем не менее в защите. Не в творческих установках и принципе отбора ролей Лоутоном, а в самой манере игры мы обнаруживаем феномен, который вслед за учеными можем назвать принципом неопределенности. Иногда он срабатывает, иногда нет. В сравнении с блестящим профессионалом, скажем, Лоуренсом Оливье, в Лоутоне что-то от любителя, конечно, великолепного любителя, но все же. Ему часто не удавалось «зафиксировать» образ. Каждый раз он играл по-новому, пример тому, по рассказу очевидцев, его Лир на сцене Стрэдфорда. Одна из причин, по которой он не без охоты снимался в кино, хотя он и не говорил мне об этом, состояла в том, что он входил в настроение и держал его на протяжении большого эпизода, а на сцене он не мог повторить то же самое два спектакля кряду. Но думаю, ему часто приходилось подолгу корпеть, прежде чем он находил нужное решение роли. У него был какой-то особенный тембр голоса, сразу можно было отличить его от других—мне очень нравилась его йоркширская манера произносить гласные, но возьму на себя, видимо, излишнюю смелость, если скажу, что для актера, который выступает на подмостках мира с классическим репертуаром—мне самому не довелось слышать чтений Лоутоном классики,—диапазон его голоса довольно ограничен. Я, конечно, могу и ошибаться. В отличие от многих моих знакомых, я часто высказываю ошибочные мнения—как устно, так и письменно, в печати.

Я много бывал вместе с Лоутоном—в Англии и в Штатах, нет, мы не были близкими друзьями, но нам было очень хорошо вместе. Душа его словно состоит из двух половинок, правда, ни одна из них не принимала меня полностью. С одной стороны, Лоутон преисполнен чистоты и восторженности, а я слишком холоден, он сам мне говорил это. А с другой—прямо противоположное, некое тайное коварство, даже мрачность. В игре ему помогают обе стороны его натуры, многие, верно, подтвердят это, но случалось, что он играл плохо, неубедительно: в игру вступала «не та половинка». Как бы то ни было, я всегда буду вспоминать с теплотой—чувством, которое, сказал бы Лоутон, мне несвойственно,—бесконечное множество незабываемых ролей и удивительно яркого человека, создавшего их, буду помнить творческий путь актера, устремленного к звездным вершинам, подчиненного поиску своего, индивидуального лица. Долгие годы он был прикован к конвейеру, производящему пошлую безвкусицу, был его любимчиком, но упрямо шел своим путем—и часто под открытым небом.

**Из сборника «Заметки из Лилипутии»**  
(«Papers from Lilliput», 1922)

Эссе, вошедшие в этот сборник, первоначально печатались на страницах журналов «Спектейтор» и «Сатердей ревью». Вот что вспоминает о них сам Пристли: «Мои ранние эссе, которые предназначались для различных периодических изданий, а затем вошли в сборники «Заметки из Лилипутии», «Скажу вам так», «Открытый дом», были преимущественно литературными упражнениями. Собственно, сказать мне особенно было нечего, но тем не менее эти небольшие вещи дались мне с трудом — я учился овладевать инструментом... В известной степени, мои эссе, очень личные по тону, изящно выстроенные, были почти анахронизмом. Последним взлетом такого эссе был период 1900—1914 гг., когда газеты еще печатали их...»

- 22 *Больше всего я завидую потомкам Семерых из Ефеса...*— Имеется в виду погребальный раннехристианский комплекс древнего Эфеса «Семь спящих отроков эфесских».

*Тем, кто подчинил себе Лету.*— Лета — река в царстве мертвых, испив воду которой души умерших забывают свою былую земную жизнь. Зд. Лета в значении «время».

- 23 *Ибо он не кто иной, как старфый Мореход, тот самый, что «из тьмы воззает в Гостя взгляд».*— Строка из «Сказания о старом мореходе» (1797—1798) английского поэта-романтика, эссеиста, критика и философа Сэмюэла Тейлора Колриджа (1772—1834), пер. В. Левика.

**Из сборника «Скажу вам так»**  
(«I for one», 1923)

- 24 *«Разлиться соловьем о мюзик-холлах перед Бертраном Расселом, деканом Ингом и председателем королевской скамьи Высокого суда».*— Рассел, Бертран (1872—1970) — английский философ, основоположник английского неореализма и неопозитивизма; в работах 1920—1930 гг. считал (в частности, «Религия и наука», 1935), что из совокупности ряда факторов, определяющих исторические изменения, невозможно выделить главный и выявить таким образом объективные исторические законы; вместе с тем признавал реальность непосредственных «чувственных данных». Инг, Уильям Ральф (1860—1954) — английский священник, теолог; в 1911—1934 гг. был деканом собора св. Павла в Лондоне;



известен своим пессимизмом, за что и получил прозвище «мрачного декана». Высокий суд Великобритании состоит из трех отделений: Королевской скамьи, Канцелярского и Отделения по делам об утверждении завещаний, о разводах и адмиралтействе; входит в состав Верховного суда.

*И не видим Ирода в истинном свете.*— По Библейскому преданию, правитель Иудеи Ирод I Великий (ок. 73—74 гг. до н. э.), боящийся рождения «истинного Царя Иудейского», или Мессии, приказал истребить всех младенцев до двух лет.— Ср.: Мтф. 2,16.

*Альбигойские войны*— крестовые походы в 1209—1229 гг. (с перерывами) на юге Франции против альбигойцев, участников широкого еретического движения, предпринятые по инициативе папства. Поводом послужило убийство (1208) папского легата. *Сицилийская вечерня*— народное восстание в Сицилии в 1282 г. против Карла I Анжуйского; причинами стало окончательное закрепощение крестьян, вымогательства, насилия французских рыцарей, перенесение столицы Сицилийского королевства из Палермо в Неаполь.

*Варфоломеевская ночь*— принятое в литературе название резни гугенотов католиками в ночь на 24 августа 1572 г. (праздник св. Варфоломея) в Париже.

26 *Мистер Пелмен...*— Видимо, речь идет о Кристофере Льюисе Пелмене, авторе весьма популярной в свое время книги «Тренировка памяти: практическое руководство» (1911).

27 *Уистлер*, Джеймс Эббот Макнейл (1834—1903)— американский художник, живший в Лондоне. Кисти Уистлера принадлежит ряд портретов деятелей английской культуры.

*Челси*— фешенебельный район в западной части Лондона, известен также как район художников.

*«Застольные беседы»* (1835)— посмертно опубликованное литературно-критическое произведение Колриджа.— См. *коммент.* к с. 23.

*...написать книгу о Колридже-критике.*— Литературно-критическая деятельность— важная страница в наследии Колриджа: пропагандировал немецкую литературу, идеалистическую философию. К числу его наиболее важных работ можно отнести «Заметки и лекции о Шекспире» (изд. 1849), «Застольные беседы». Книгу о Колридже Пристли не написал, но ему принадлежат литературно-критические биографии Мередита, Пикока, Хэзлитта.

*Стивен*, Лесли (1832—1904)— видный английский филолог, литературовед, критик, первый издатель «Словаря английской биографии» (1885—1891), для которого он написал 378 статей. *«Часы, проведенные в библиотеке»* (1874—1897)— одна из многочисленных литературоведческих работ Лесли Стивена.

*Уолпол*, Хорейс (1717—1797)— английский писатель, политический деятель, владелиц Строберри-Холла, дома, который он перестроил в 1749 г. в неоготическом стиле. Вкусы Уолпола в значительной степени определяли моду в Англии его времени. Страстный собиратель старины: книг, картин, раритетов. Наиболее популярное у современников произведение— «готический роман тайн и ужасов» «Замок Отранто» (1765). Оставил обшир-

ные мемуары, которые были опубликованы лишь после его смерти и стали бесценным документальным памятником эпохи.

32 *Словно где-то что-то прогнило, и остается надеяться только, что не у нас, а снова в датском королевстве.*—Ср.: Шекспир, «Гамлет», акт I, сц. 4: «Неладно что-то в датском королевстве» (пер. Б. Пастернака).

36 *«Источник чистого веселья»*—строчка из оперы «Микадо» (1885, дейст. 2) английского писателя-либреттиста Уильяма Швенка Гилберта (1836—1911), выступавшего в жанре комической оперы в содружестве с композитором Артуром Салливаном (1842—1900).

37 *В отличие от самозваного постановщика Питера Пигвы, у меня, можно сказать, «была написана роль льва».*—Ср.: Шекспир, «Сон в летнюю ночь» (1595—1596), акт I, сц. 2.

*«Мы созданы из вещества того же, что наши сны».*—Шекспир, «Буря» (1611), акт 4, сц. I. Пер. М. Донского.

*«Не знают, не понимают, во тьме ходят».*—Псалом 81, 5.

*«И уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое».*—Псалом 142, 4.

38 *Йорик опять стал самим собой.*—Йорик—королевский шут, чей череп Гамлет находит на кладбище. Так же зовут сельского пастора, философствующего чудака в романе Лоренса Стерна (1713—1768) «Жизнь и мнения Тристрама Шенди» (1760—1767), имя которого, как он сам полагает, восходит к шекспировскому персонажу.

39 *Не только земля и все земное предстает ... «как сновиденье дивное».*—Цитата из стихотворения английского поэта-романтика Уильяма Вордсворта (1770—1850) «Ода бессмертию» (1807).

*Свинбери*, Олджернон Чарлз (1837—1909)—английский поэт, литератор, критик, в творчестве которого очень сильны языческие мотивы, его лирику отличает чувственность, материальность образов.

*Карлейль*, Томас (1795—1881)—английский историк, эссеист, современники называли его «мудрец из Челси». В Челси (см. коммент. к с. 27) Карлейль поселился в 1834 г. и жил здесь до самой смерти, здесь были созданы его фундаментальные труды «Французская революция» (1837), «О героях» (1841), «Прошлое и настоящее» (1843) и др. Прошлое для Карлейля—наставление для настоящего, познание истории—откровение, доступное лишь избранным, «героям», по его терминологии.

41 *Шалтай-Болтай*—персонаж знаменитой книги «Алиса в Стране Чудес» (1865) английского писателя, математика по профессии Чарлза Лютвиджа Доджсона (1832—1898), писавшего под псевдонимом Льюис Кэрролл. «Алиса в Зазеркалье» (1872)—продолжение «Алисы в Стране Чудес».

*Фрейд*, Зигмунд (1856—1939)—австрийский врач-психиатр, психолог, создатель психоанализа. *Юнг*, Карл (1875—1961)—швейцарский культуролог, психиатр, основатель одного из направлений «глубинной», или аналитической, психологии.

42 *«...всю королевскую конницу, всю королевскую рать».*—Строчка из

популярной английской песенки-прибаутки, органично использованной Кэрроллом.

44 *Гайд-парк*— не только место отдыха и прогулок лондонцев, но и место политических митингов и демонстраций, которые чаще всего происходят в «Уголке ораторов».

45 *Все сотрудники «Панча», прихватив блокноты, собиравшись под Мраморной Аркой.*— «Панч»— еженедельный сатирико-юмористический журнал проконсервативного толка, издается в Лондоне с 1841 г. Назван по имени персонажа традиционного кукольного уличного представления «Панч и Джуди». Панч, горбун с крючковатым носом,— олицетворение оптимизма. Джуди— его жена— неряха и нескладеха. *Мраморная Арка* (Марбларч) сооружена в 1828 г. в качестве главного въезда в Букингемский дворец. В 1851 г. была перенесена в северо-восточную часть Гайд-парка. Ныне находится вне его пределов.

*Пироксилин*— взрывчатое вещество, используемое при производстве бомб и снарядов.

*Армия Спасения*— религиозно-филантропическая организация евангелического направления. По структуре напоминает армию: имеются офицеры, рядовые, которые носят форму. Основана Уильямом Бутом в 1865 г. в Лондоне.

48 *Леопарди*, Джакомо (1798—1837)— итальянский поэт, филолог; в 1818 г. опубликовал «Оду Италии», в которой сетовал о социальном и нравственном падении своей страны. Ода имела большое влияние на умы современников.

*Шопенгауэр*, Артур (1788—1860)— немецкий философ-иррационалист, относился к истории и современной жизни крайне пессимистично. «*Шропширский парень*» (1896)— известное стихотворение английского поэта, эссеиста, ученого-филолога Альфреда Эдварда Хаусмана (1859—1936)— типичный пример пессимистической поэзии английского рубежа эпох.

*...в его любимом изречении... о темных тучах и серебряных подкладках.*— Пристли приводит в несколько измененном виде популярную английскую поговорку «every cloud has a silver lining».

*Эльсинор*— город в Дании, место действия трагедии Шекспира «Гамлет».

49 *Джонсон*, Сэмюел (1709—1784)— английский критик, лексикограф, эссеист, один из образованнейших людей своего времени. Видимо, говоря о Сэмюэле Джонсоне, Пристли имеет в виду одно из его наиболее известных стихотворений «Тщета желаний» (1749), а также его философский роман-притчу «Расселас» (1759), рассказывающий о юноше, который отправился на поиски земли обетованной, но во время своих странствий выяснил, что человек повсюду одинаково несчастлив и неудовлетворен.

49 *Крейн*, Фрэнк (1861—1928)— американский религиозный деятель, журналист, литератор, автор популярной работы «Приключения здравого смысла» (1916).

50 *Нет больше ничего ни на земле, ни в небе, о чем бы помечтали эти мудрецы.*— Ср.: Шекспир, «Гамлет», акт I, сц. 5: «И в небе и в земле сокрыто больше Чем снится вашей мудрости, Гораций».

«Печальная и тихая музыка человечности» — строка из «Оды человеку» Уильяма Вордсворта.

*Ричард, герцог Глостер* — персонаж исторических драм Шекспира («Генрих VI», «Ричард III»), не останавливался ни перед чем на своем пути к власти; *Данди* — прозвище Джона Грэхема (1649? — 1689) — шотландского военачальника, отличавшегося непомерной жестокостью; описан Вальтером Скоттом в романе «Пуритане» (1816). *Джордж Роби* (1869 — ?) — театральный псевдоним английского комического актера Джорджа Эдварда Уэйда.

*По слову Проповедника, непримиримого врага подобных мудрецов, «напрасно они пришли и отошли во тьму».* — Ср.: Эккл. 6,4: «Потому что он напрасно пришел, и отошел во тьму, и имя его покрыто мраком».

51 *Грасмир* — озеро в районе Озерного края, излюбленного места английских романтиков.

*Браунинг*, Роберт (1812 — 1889) — английский поэт, в творчестве которого осязательны романтические мотивы.

*Теннисон*, Альфред (1809 — 1892) — английский поэт, классический представитель викторианского периода в национальной британской словесности.

*Теккерей*, Уильям Мейкпис (1811 — 1863) — классик английской литературы XIX в., в творчестве которого заметны скептические ноты, пессимистические настроения.

*Филдинг*, Генри (1707 — 1754) — английский романист эпохи Просвещения, драматург, автор романов «больших дорог», в которых с юмором и сочувствием к человеческим слабостям выведены люди «различных сословий и состояний».

*Когда я вспоминаю, что они извели: нужду, поденный труд, телесные недуги, безумие сестер, кончины и душевные болезни юных жен...* — Жена Теккерей, Изабелла, сошла с ума в очень юном возрасте; сестра Лэма, человека от природы болезненного (см. коммент. к с. 53), была душевнобольной; жена Джонсона, которая была на двадцать лет старше его, умерла задолго до его кончины; совсем юной ушла из жизни жена Филдинга. Шекспир, Филдинг, Теккерей — все они, пока не добились признания, занимались поденной литературной работой — в театре, журналистике.

52 *Мейнелл*, Алиса Кристина (1847 — 1922) — английская поэтесса, эссеистка.

53 *Лэм*, Чарлз (1775 — 1834) — английский эссеист, критик, поэт, писал под псевдонимом Элиа. Жизнь Лэма драматична: долго не мог прийти в себя после разрыва с любимой девушкой. Человек с явно неустойчивой психикой, он был на некоторое время помещен в дом для умалишенных. Всю жизнь ухаживал за душевнобольной сестрой, которая в приступе безумия задушила мать.

*Дон Адриано де Армадо* — персонаж комедии Шекспира «Бесплодные усилия любви» (1595), испанец, говорящий высокопарным слогом. В этом образе Шекспир создал пародию на распространенный тип меланхолического любовника; возможно, что прототипом послужил сэр Уолтер Рэли.

- 55 ...в отличие от нищих, маньяки жили с нами не всегда.—Ср.: Мтф. 25, 11: «ибо нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда имеете».
- 57 *Тамерлан*, или Тимур Хромой (1336—1405), среднеазиатский государственный деятель, полководец и римский император *Нерон* (37, прав. 54—68) отличались поразительной жестокостью.
- 58 ...в *дневниковых записях у Мура*.—*Мур*, Томас (1779—1852)—ирландский поэт, друг Байрона, издатель его дневников. Пристли упоминает «Воспоминания, дневники и письма» Томаса Мура, которые выходили в 1855—1856 гг.
- 60 *Остин*, Джейн (1775—1817)—классик английского романа XIX в., мастер психологического рисунка и тонкой иронии.  
*Честертон*, Гилберт Кит (1874—1936)—английский поэт, эссеист, новеллист, романист, оригинальный критик и литературовед.  
*Сестры Бронте*—Шарлотта (1816—1851), Эмили (1818—1848), Энн (1820—1849)—английские романтики, поэтессы, вписавшие яркую страницу в историю английской литературы XIX в. Для всех троих характерен интерес к проблемам личности, внутреннего мира, романтический пафос в утверждении идеала наряду с пристальным исследованием социальных вопросов.  
*Элиот*, Джордж (1819—1880)—псевдоним Мэри Энн Эванс, английской писательницы, одной из самых образованных женщин своего времени. Для ее романов характерно социально-философское осмысление бытия, глубокое погружение в психологическую жизнь сложных, противоречивых характеров.

### Из сборника

#### «Комические персонажи английской литературы» («The English Comic Characters», 1925).

Как замечал сам Пристли, к концу 20-х гг. он написал несколько книг «на грани настоящего литературоведения» — две, «Пикок» и «Мередит», в серии «Английские писатели» («English Men of Letters»), «Об английском юморе» («English Humour»). Эти работы стали в известной степени основой для «Комических персонажей английской литературы».

*Дарси*—герой самого известного романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение» (1796, опубл. 1813).

*Жорж Санд* (1804—1876)—псевдоним Авроры Дюпен, французской романистки, одной из первых выступившей в защиту положения женщины в обществе. На творчество Жорж Санд большое влияние оказали утопические теории времени и близость к романтизму.

- 63 *Стивенсон*, Роберт Луис (1850—1894)—английский писатель, шотландец по происхождению, воспитанию и национальным чувствам, основоположник, теоретик и ведущая фигура английского романтизма последней трети XIX в.

*Уиллоуби*, Пэттерн—главный герой романа-трактата английского писателя Джорджа Мередита (1828—1909) «Эгоист»

(1879). Уиллоуби—молодой аристократ, воплощение самодовольства и чванства.

*Пастор Адамс*—главный герой романа Филдинга «История приключений Джозефа Эндруса и его друга мистера Абрахама Адамса» (1742). Адамс—рассеянный, милый чудак, сельский пастор. В его характере воплощены черты, противостоящие практицизму и расчетливой деловитости.

...*Роман этот был начат как пародия на Ричардсонову «Памелу».*—«Памела, или Вознагражденная добродетель» (1740)—эпистолярный роман Сэмюэла Ричардсона (1689—1761), одного из основоположников жанра романа в европейской литературе. Успех «Памелы» был феноменальным, вызвал к жизни большое количество подражаний и пародий. Одной из самых талантливых пародий и стал «Джозеф Эндрус» Филдинга. В нем рассказывается о приключениях предполагаемого брата Памелы Джозефа и его возлюбленной—служанки Фанни. Став предметом страсти и преследований со стороны своей госпожи, добродетельный лакей Джозеф, не ответивший на ее чувства, уволен и изгнан.

64 *Сейнтсбери*, Джордж Эдвард (1845—1933)—английский критик, историк литературы.

65 *Хозяину, однако, проповеди пришлось не более по душе, чем Домблдону поручительство Бардольфа.*—В хронике Шекспира «Генрих IV», часть 2, акт I, сц. 2, купец Домблдон отказывается отпустить Фальстафу в долг атласу на штаны, так как не верит поручительству ни самого Фальстафа, ни его дружка Бардольфа.

66 *Некоторые из них ... очень близки к тем клоунадам и грубым розыгрышам, которые так любил Смоллетт.*—Смоллетт, Тобиас Джордж (1721—1771)—один из крупнейших представителей реалистического романа эпохи Просвещения. В своих романах «Приключения Родерика Рэндома» (1748), «Приключения Перрегрина Пикля» (1751) и др. Смоллетт рассказывает о всевозможных приключениях своих героев, испытаниях, которые выпадают им на долю. Проза Смоллетта пересыпана шутками, в нее часто вводятся вставные новеллы «низкого», грубого содержания.

*Плутовской роман*—жанр, получивший широкое распространение в эпоху Просвещения в творчестве Филдинга и Смоллетта. В центре такого романа—герой-изгой, находящийся в вечных странствиях, попадающий в самые невероятные приключения.

68 *Рэли*, Уолтер Александр (1861—1922)—английский эссеист, биограф, историк литературы.

75 *Мистер Шенди*—отец Тристрама—философствующий мыслитель, проводивший все свое время в ученых разговорах. *Хафен Слокенбергия*—вымышленный автор, знаменитый длиной своего носа, его рассказ введен в роман.

77 *Сэмюэл Батлер, тоже коммерсант, на покое.*—Батлер, Сэмюэл (1835—1902)—английский романист, сатирик, автор романа «Путь всякой плоти» (опубл. 1903), начинал как фермер в Новой Зеландии. Пристли сравнивает его с Вальтером Шенди, в

прошлом, до того как он занялся философствованием, купцом.

*Квинтилиан*, Маркус Фабиус (35?—95?)—римский ритор, его труд «*De Oratore*» не потерял своего значения по сей день не только как учебник риторики, но и как важный документ античной литературной критики.

*Лонгин*, Кассио—античный ритор, философ-неоплатоник III в., считавшийся до нач. XIX в. автором эстетического и литературно-критического трактата «*О возвышенном*», который большинство новейших исследователей относит к I в. н. э.

*Раме*, Пьер де ла (1515—1572)—французский гуманист, философ-логик, борец против схоластики, убит на третий день после Варфоломеевской ночи. *Фарнаби* (870—950)—философ, ученый-энциклопедист Востока, комментатор Аристотеля и Платона.

«*Лилибулуро*»—политическая песня, в которой высмеивается Яков II, объявивший себя лордом—наместником Ирландии. Слова написаны Томасом Уртоном (1648—1715), музыка—Генри Перселлом. Песня пользовалась большой популярностью.

83 *Многие из умственных вывертов мистера Шенди позаимствованы Стерном у Бэртона.*—*Бэртон*, Роберт (1577—1640)—английский священник, писатель, автор труда «*Анатомия меланхолии*» (1621).

84 *Грангуэе*—отец Гаргантюа в романе Франсуа Рабле «*Гаргантюа и Пантагрюэль*» (1532).

87 *...лучше всего проявляет себя в истории с Лефевром.*—*Лефевр*—бедный лейтенант в романе Стерна «*Тристрам Шенди*», историю смерти которого рассказывает дядя Тоби.

*Мальборо*, Джон Черчилл (1650—1722)—английский полководец, политический деятель, генерал. Способный военачальник, дипломат, Мальборо отличался особой храбростью и пользовался популярностью в войсках, но вместе с тем отличался беспринципностью и корыстолюбием.

89 *Ни в одном романе или пьесе... не выступает так отчетливо «в своем нраве», как в «Тристраме Шенди», и все же мы очень далеки от Джонсона...*—«*Всяк в своем нраве*» (1598)—бытовая комедия английского драматурга Бена Джонсона (1573?—1637).

*Голдсмит*, Оливер (1730?—1774)—ирландский поэт, романист, драматург, эссеист, врач, путешественник.

91 *Дарвин*, Чарлз Роберт (1809—1882)—английский естествоиспытатель, создатель материалистической теории эволюции. *Арнолд*, Мэтью (1822—1888)—английский поэт, критик, занимал кафедру в Оксфорде. В таких работах, как, например, «*Культура и анархия*» (1869), выступил с резкой критикой мифа о «викторианском процветании». Утверждал, что господство буржуазии привело к засилью филистерства, падению культуры и деградации личности. Верил в благородную воспитательную миссию искусства. *Бархэм*, Ричард Харрис (1788—1845)—псевдоним Томаса Инголдсби, английского священника и поэта. Особой популярностью пользовались его комические стихотворения. *Худ*, Томас (1799—1845)—английский поэт, юморист, издатель, автор известных стихотворений о судьбе и положении бедняков «*Песня рубашки*», «*Мост вздохов*». *Левелл*, Чарлз Джеймс

(1806—1872)—ирландский романист, в произведениях которого восторженно описывалась жизнь и подвиги ирландских военных и развлечения высшего света. Сочинения Лавера подверг критике не только Эдгар По (см. текст ниже), но и Теккерей, написавший пародию на его романы (см. «Романы прославленных сочинителей»). *Сертис*, Роберт Смит (1803—1864)—английский юрист, журналист, автор развлекательных и спортивных романов. *Хук*, Теодор Эдвард (1788—1841)—английский юморист и поэт, описан Теккереем в «Ярмарке тщеславия» в образе мистера Вэгга. *Мэрриет*, Фредерик (1792—1848)—английский морской офицер, романист, известен как «капитан Мэрриет», автор многочисленных приключенческих романов преимущественно из морской жизни. *Пикок*, Томас Лав (1785—1866)—английский писатель-сатирик, поэт, эссеист, друг Шелли. *Уоррен*, Джон Бирн (1835—1895)—английский поэт, драматург, писал под псевдонимами Джордж Престон и Уильям Ланкастер. *Уокер*, Джон (1732—1807)—английский актер и лексикограф, автор словарей произношения, на которые, видимо, и сылается Пристли. *Норт*, Кристофер—псевдоним Джона Уилсона (1785—1854), шотландского эссеиста, поэта, романиста; «*Ночи в таверне Эмброза*»—самое известное произведение Норты, представляет собой сборник эссе по вопросам литературы, политики. Сюда же вошли стихотворения, зарисовки характеров, философские размышления.

92 *В некую населенную усатыми драгунами Валгаллу.*—Валгалла, или Вальхалла,—в скандинавской мифологии находящееся на небе жилище павших в бою храбрых воинов, где они пируют, пьют неиссякающее медовое молоко козы Хейдрун и едят неиссякающее мясо вепря Сэхримнира.

...внезапно появился молодой способный репортер...—В начале своего творческого пути Диккенс был репортером.

93 *...мистер Честертон, на достояние которого не грех покуситься, когда речь идет о Диккенсе.*—Книга Честертона (см. коммент. к с. 60) «Чарльз Диккенс» (1906)—одно из лучших и наиболее пронизательных исследований жизни и мировоззрения писателя—великого христианина и юмориста.

94 *...стучать в дверь конторы рынка Боро.*—Боро, «Город»—разговорное название лондонского района Саутуорк.

103 «*Валентинка*»—зд. послание любимой, которая в шутку выбирается в день св. Валентина. Избраннице посылается любовное послание, открытка или карточка с любовной символикой, например сердцем, пронзенным стрелой, шутивными сюжетами.

103 *...из Флитской тюрьмы.*—Тюрьма Флит—долговая. Существовала в Лондоне до 1842 г., часто упоминается в романах Диккенса.

104 *...достаточно вспомнить Сократа с его Ксантиппой или Наполеона с его Жозефиной.*—По преданиям, жена Сократа Ксантиппа отличалась весьма сварливым нравом. Трудный характер был и у первой жены Наполеона Жозефины Богарне (1763—1814), с которой император развелся в 1809 г., решив вступить в династический брак с дочерью австрийского императора Франца I Марией Луизой.



- 105 *Мистер Коллинз*—священник, персонаж романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение», символ чванства и низкопоклонства. *Миссис Беннет*—персонаж романа «Гордость и предубеждение», символ глупости. *Сэр Уолтер Эллиот*—персонаж романа «Доводы рассудка», символ снобизма. *Мистер Вудхаус и мисс Бейтс*—персонажи романа «Эмма»—символы мнительности, глупости и болтливости. *Миссис Хэррис*—персонаж не Джейн Остин, но Диккенса в романе «Мартин Чеззлвит». Миссис Хэррис—несуществующая подруга миссис Гэмп (см. коммент. к с. 195), на которую та постоянно ссылается.
- 108 «*Человек, который низменно восхищается низменными вещами*».— Ср.: Теккерей, «Книга снобов» (1843).
- 109 «*Свет, не виданный ни в море, ни на суше*»—строчка из стихотворения Вордсворта «Глядя на Пил-Касл в грозу» (1805).
- 110 «*Соловей, пожирающий время*»—образ из стихотворения Роберта Луиса Стивенсона «Фонарики» (1885).  
*Кадриль*—карточная игра для четырех игроков, весьма распространенная в XVIII в.
- 116 *Дик Свигеллер*—персонаж романа Чарльза Диккенса «Лавка древностей» (1839); *Пистоль*—персонаж трех пьес Шекспира: «Генрих IV» (1597), «Виндзорские насмешницы» (1597), «Генрих V» (1598), приятель Фальстафа.  
...*Эти блестящие красноречия «плаща и шпаги»*.—Комедии «плаща и шпаги»—жанр, получивший распространение в испанской литературе зрелого Возрождения XVI—XVII вв. (Кальдерон де ла Барка и его последователи). Это пьесы легкого содержания (иногда окрашены в романтические тона), не претендующие на отражение противоречий испанской действительности.
- 117 *Кэтрин Морланд*—героиня романа Джейн Остин «Нортенгерское аббатство», высмеивающего «готическую» литературу, описывающую тайны, ужасы, смерти и мистические происшествия.  
*Друри-Лейн*—лондонский музыкальный театр, другое название театра «Ройял».  
*Выходцы из «тьмы внешней»*.—См: Мтф. 8, 12: «А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов».
- 118 *Мистер Полли*—герой одноименного романа Герберта Уэллса (1910), скромный служащий в мануфактурном магазине, увлекшийся литературой.  
*Общество Аполлонов Вельведерских*.—Аполлон Вельведерский—самая известная статуя бога, ставшая воплощением идеала мужской красоты. Пристли для создания комического эффекта превращает Аполлона Вельведерского в Аполлона Вельведерского.
- 120 *Альдебаран*—звезда в созвездии Тельца.  
*Маркиза*—персонаж в романе Диккенса «Лавка древностей».  
*Криббидж*—коммерческая карточная игра, обычно для двух игроков; карты сбрасываются на особую доску с кольшками.
- 124 *Флоренс и Тутс*—персонажи романа Диккенса «Домби и сын».

- 125 *Мистер Микобер*—персонаж романа Диккенса «Дэвид Копперфилд».
- 127 *Маршалси*—тюрьма в Лондоне для должников. Уничтожена в 1849 г. Заключенным в ней был отец Диккенса. Один из героев «Крошки Доррит», Уильям Доррит, был долгие годы узником Маршалси, за что и заслужил прозвище «отца Маршалси».
- 133 ...*рассказ Отелло о «боях, осадах, удачах»*—*ср.*: Шекспир, «Отелло», акт 1, сц. 3.
- 135 *Нога моя ступит на родную землю, и зваться я буду Микобер.*—Парафраз часто цитируемых строк из «Роб Роя» Вальтера Скотта (гл. 34): «Нога моя стоит на родной земле, и зовусь я Макгрегор».
- 136 *Шеллинг*, Фридрих Вильгельм (1775—1854)—немецкий философ, представитель немецкого классического идеализма. *Шлегель*, Фридрих (1772—1829)—немецкий критик, философ, языковед, писатель, теоретик романтизма.
- 141 *В притче о безумном рыцаре...*—Имеется в виду роман Сервантеса «Дон Кихот».
- 142 *Об эмиграции и о чисто материальных успехах мистера Микобера в конце романа мистер Честертон выразился так...*—Пристли цитирует книгу Честертона (*см. коммент. к с. 60 и 93*) «Чарльз Диккенс», гл. XI, «О так называемом оптимизме Диккенса».

**Из сборника «Открытый дом»**  
(«Open House», 1927)

- 145 *«Гейети»*—лондонский мюзик-холл; был открыт в 1868 г.
- 149 *Ричмонд-парк*—самый большой городской парк Великобритании; расположен на юго-западной окраине Лондона.  
*Кантри Корт*—суд графства, высшая судебная инстанция.  
*Памятник Альберту*—огромный мемориал в честь принца Альберта (1819—1861), супруга королевы Виктории, находится в центре Лондона, центральная фигура—статуя под высоким готическим каменным балдахином. Построен в 1863—1876 гг.
- 155 *Форстер*, Эдвард Морган (1879—1970)—английский романист, эссеист, новеллист.
- 157 *Просперо*—добрый и мудрый волшебник в пьесе Шекспира «Буря».  
*Петля Нестерова*, или «мертвая петля»,—фигура высшего пилотажа, представляющая собой замкнутую кривую в вертикальной плоскости. Названа по имени военного летчика Петра Николаевича Нестерова (1887—1914), впервые выполнившего ее 27 августа 1913 г.
- 160 ...*и не променяю ее ни за что другое, даже за «яхты и скрипичные квартеты».*—Измененная цитата из «Искусства поэзии» Горация (XI, 27): «Мы надеемся, что счастье на яхтах и быстроходных квадригах».
- 162 *Вольф*, Хуго (1860—1903)—австрийский композитор и музыкальный критик, автор песен для голоса, бытовых комических

опер, музыкальных драм. Для него характерно органическое слияние музыки и слова, детальное психологическое раскрытие текста.

«Бродвуд» — фирма по изготовлению роялей и пианино. Основана в 1728 г. Джоном Бродвудом.

...начал он, как доктор Джонсон — подразумевается дидактическо-нравоучительный тон сочинений Джонсона (см. также коммент. к с. 49).

### Из сборника «Мартышки и ангелы» («Apes and Angels», 1928)

По мнению многих литературоведов, в частности Сьюзен Купер, «Мартышки и ангелы» — лучший эссеистический сборник молодого Пристли, в котором он уже начал разрабатывать форму более проблемного эссе таких зрелых книг, как, например, «По Англии».

166 *Альберт-холл* — большой концертный зал в Лондоне на 8 тысяч мест. Построен в 1867—1871 гг. в память принца Альберта (см. коммент. к с. 149).

...в зале *Борнмутской оранжереи*. — Борнмут — крупный курорт на южном побережье Англии.

167 ...даже те из *гениев, которые болеют, как это было с Чеховым и Стивенсоном*. — И у Чехова, и у Стивенсона был туберкулез.

168 *Стрейчи, Джайлз Литтон* (1880—1932) — английский кригик, эссеист, биограф. Особенную известность получили его биографические исследования. *Гуделла, Филип* (1889—1944) — английский историк, биограф, эссеист.

168 *Крайтон, Джеймс* — шотландский ученый, искатель приключений, живший в конце XIV в., проявивший себя во многих областях знаний и деятельности.

169 *Линд, Роберт* (1879—1949) — англо-ирландский писатель, журналист, издатель. Пристли имеет в виду его книгу «Ирландцы и англичане: портреты и впечатления» (1908).

175 *Вот почему я избегаю литературу определенного сорта, в которой есть как бы отдаленный намек на эту пытку*. — Пристли имеет в виду роман Джеймса Джойса «Улисс» (1922), где весьма подробно воспроизводится «поток сознания» трех главных героев — поэта и созерцателя Стивена Дедалуса, разносчика объявлений, рекламного агента Леопольда Блума и его жены, певицы Мэрион.

177 *Вся эта щедрость в старом вкусе...* — Театральные представления времен Шекспира состояли из серьезной пьесы, за которой обычно следовал фарс.

«*Узник Зенды*» — роман Энтони Ноура, опубликованный в 1894 г. В нем рассказывается о странствиях английского джентльмена Рудольфа Рассендила по Руритании, где он встречается с королем, который как две капли воды похож на него. Это внешнее сходство приводит к серии приключений.

*Крамльс* — глава театральной провинциальной труппы в романе Диккенса «Николас Никльби» (1838—1839).

178 *Портлендская каменоломня*—место, где отбывали заключение арестанты.

*...серый байковый костюм, который был испещрен клеймами.*—  
На костюмах британских заключенных были знаки в виде белых стрел.

180 *Хеттеуэй*, Энн (1556—1623)—жена Уильяма Шекспира.

181 *Гаррик*, Дейвид (1717—1779)—английский актер, писатель, руководитель труппы.

182 *Бардольф и Ним*—повесы, забулдыги, приятели Фальстафа, персонажи пьес «Генрих V», «Виндзорские насмешницы». Бардольф также встречается в «Генрихе IV» (1 и 2 части).

*Пистоль*—приятель Фальстафа, Бардольфа и Нима.

*Чипсайд*—улица в северной части Лондона, в средние века на этом месте находился главный рынок города.

*...мировой судья Шеллоу.*—Шеллоу—напыщенный судья в «Генрихе IV» (2 часть) и «Виндзорских насмешницах».

*...над плоской могильной плитой в старой приходской церкви*—Шекспир похоронен в церкви св. Троицы в Стратфорде на Эйвоне. На его могильной плите высечены следующие слова:

«Помедли, путник, Христа ради

И помолись за упокой.

Храни, Господь, тебя в отраде

За то, что прах не тронул мой».

(*Пер. А. Солянова*)

Эти слова приводили в недоумение не только современников Шекспира, но и многих литературоведов XIX и XX вв.: они даже были склонны считать, что кто-то сыграл над будущими поколениями шутку, что Шекспира никогда не существовало.

183 *Новый дом.*—Новый дом был куплен Шекспиром в Стратфорде в 1597 г. Здесь он и умер. Ныне этот дом превращен в музей.

*...тимьян и шалфей и майоран.*—Пристли перечисляет растения, встречающиеся в пьесах Шекспира, по традиции они растут в саду музея.

### Из сборника «Раек» («The Balconinny», 1929)

«Раек»—это уже собственно театральная книга Пристли-эссеиста. Театру Пристли всегда уделял особое внимание не только потому, что писал для него. Театр—это «дивный, загадочный, вечно молодой и вечно манящий мир», которому он посвятил большое количество эссе и специальных исследований, например «Волшебный мир театра» (1955).

184 *Поистине жалкой была неделя в нашем театре «Ройял».*—Имеется в виду Королевский оперный театр, официальное название оперного театра «Ковент-Гарден». Существует с 1732 г.

*Гуно, Шарль* (1818—1893)—французский композитор, один из создателей и виднейший представитель французской лирической оперы. «Ромео и Джульетта» (1865)—классический образец этого типа оперы.

- 191 ...*гравюры «Вифлеемская звезда».*—Имеется в виду рождество Христово. Звезда, появившаяся на небе, знаменовала рождение Христа в местечке Вифлеем.
- 195 ...*Я перечитываю «Последнюю хронику», и миссис Прауди в любой момент грозит кончина.*—Говоря о Барсетшире, Пристли, естественно, вспоминает английского романиста Энтони Троллопа (1815—1882), поскольку действие целого цикла романов «Барсетширские хроники» происходит в этом графстве.  
...*особам из Порлока.*—Видимо, Пристли имеет в виду персонажей, а также поклонников книг Филиппа Макдональда (1896—?), английского писателя, автора детективных романов, писавшего под псевдонимом Мартин Порлок.  
*Ричард Феверель*—герой романа Джорджа Мередита «Испытание Ричарда Февереля» (1870—1871). Пристли имеет в виду типичный дом и парк английского джентльмена.  
*Миссис Гэм*—персонаж романа Диккенса «Мартин Чеззлвит» (1843), сиделка и акушерка, болтливая, неряшливая, но одновременно человечная.  
*Стэнхоупы*—персонажи серии «Барсетширские хроники»; доктор Стэнхоуп—один из самых известных персонажей Троллопа.  
...*единственное исключение—мистер Кроули, да и он забрел сюда скорей по ошибке из какого-то иного мира.*—Мистер Кроули, персонаж романа Теккерея «Ярмарка тщеславия», негодяй, соответственно изображенный Теккереем. Пристли намекает на качественное различие миров Теккерея и Троллопа.
- 198 ...*побывать за обеденным столом у Торнов.*—«Доктор Торн» (1858)—роман Троллопа.  
*Майор Бегсток*—персонаж романа Диккенса «Домби и сын».  
...*могли бы сойти за Копперфилдов... и Пипов.*—Дэвид Копперфилд—герой одноименного романа Диккенса, Пип—герой романа «Большие надежды».  
*Мистер Микобер*—персонаж романа «Дэвид Копперфилд».  
*Квипл*—страшный карлик, злодей—персонаж романа Диккенса «Лавка древностей».
- 200 *Бамбл*—управляющий в рабочем доме в романе Диккенса «Оливер Твист».  
*Билл Сайкс*—вор, персонаж романа «Оливер Твист».  
*Фэджин*—владелец приюта для малолетних преступников в том же романе.  
*Скрудж*—герой «Рождественской песни» Диккенса, скупец, с которым происходит чудесное превращение в рождественскую ночь.  
*Урия Хип*—персонаж романа «Дэвид Копперфилд», символ лицемерия.  
*Сэм Уэллер*—верный слуга, персонаж романа «Записки Пиквикского клуба».  
*Эдвин Друд*—герой незаконченного детективного романа Диккенса «Тайна Эдвина Друда».
- 201 *Совсем недавно Морюа признался...*—Имеется в виду Андре Моруа (1885—1967)—французский романист, историк, биограф. Немало писал об английских писателях.

*Киппс*—мелкий служащий, который неожиданно получает наследство, герой одноименного романа Герберта Уэллса (1905).

*Клейхенгер*—герой нескольких романов Арнолда Беннета.

*Денри Мейчин*—или Денри-Смельчак, герой романа Арнолда Беннета «Карта» (1911), человек, которому везло в жизни и который стал мэром.

*Сомс Форсайт*—герой «Саги о Форсайтах» Джона Голсуорси.

*Чаплин, Чарлз Спенсер* (1889—1977)—знаменитый английский комический актер, создатель образа «маленького человека», которого изображал всегда с большим внутренним сочувствием и состраданием, хотя и не без иронии.

*Джон Теннер*—персонаж пьесы Бернарда Шоу «Человек и сверхчеловек».

### Из сборника «Любимые эссе» («Self-selected Essays», 1932)

201 *Гоулд, Натаниел* (1857—1919)—английский критик, журналист, эссеист, прозаик.

*Делл, Этель Мэй* (р. 1939)—английская романистка, новеллистка, писательница, отличающаяся поразительной плодовитостью.

205 *Площадь Пиккадилли*—круглая площадь в центральной части Лондона со знаменитой статуей Эроса и с радикально расходящимися улицами.

*Риджент-стрит*—одна из главных торговых улиц в центральной части Лондона.

206 Студии *Элстри* расположены в графстве Хартфордшир, принадлежат кинокомпаниям «И-эм-ай филм энд тиэтр корпорейшен», специализируются на производстве серийных телефильмов.

*Томас, Джеймсон* (1892—1939)—английский актер. В начале карьеры ему сулили блестящее будущее, однако он так и остался на вторых ролях.

207 *Дрейк, Фрэнсис* (1540—1596)—знаменитый английский пират и адмирал.

*Нельсон, Горацио* (1758—1805)—английский адмирал, отличавшийся поразительной личной смелостью, несгибаемой силой воли. Был убежден, что каждый должен свято выполнять свой долг перед отчизной.

*Шафтсбери-авеню*—улица в центральной части Лондона, на которой находится несколько кинотеатров и театров.

208 *Дандририйские баки*—названы так по имени лорда Дандрири, праздного, глупого, забавного англичанина в комедии Тома Тейлора «Наш американский братец». Эта роль получила известность благодаря мастерской игре И. Сотерна.

*Ист-Энд*—большой промышленный и портовый рабочий район к востоку от лондонского Сити.

**Из сборника «По Англии»**  
(«The English Journey», 1934)

- 210-211 ...знаменитые представители семьи Чемберленов—имеется в виду Джозеф Чемберлен (1836—1914), английский государственный деятель, фабрикант, и его два сына, Невилл (1869—1940) и Остин (1863—1937), также видные политические деятели.
- 211 ...здесь организовали научное «Лунное общество», членами которого были Джеймс Уатт, Мэтью Боултон, Джозеф Пристли, Джозайя Уэджвуд, Эразм Дарвин, сэр Уильям Гершель, Сэмюел Парф.— Уатт, Джеймс (1736—1819)—изобретатель универсального теплового двигателя. Боултон, Мэтью (1728—1809)—инженер и изобретатель, партнер Уатта. Пристли, Джозеф (см. коммент. к стр. 215). Уэджвуд, Джозайя (1730—1795)—керамист и изобретатель. Дарвин, Эразм (1731—1802)—врач, натуралист, поэт, дед Чарлза Дарвина. Гершель, Уильям (1738—1822)—знаменитый астроном, построил новую модель галактики. Парф, Сэмюел (1747—1825)—ученый и писатель.
- 212 *Берн-Джонс*, Эдуард (1833—1898)—английский поэт, художник, член прерафаэлитского братства, писал лирические картины на темы легенд, стилизуя их под итальянскую живопись.  
*Браун*, Форд Мэдокс (1821—1893)—английский художник, которого иногда причисляют к прерафаэлитам. Писал картины на исторические сюжеты.
- 213 *Тернер*, Джозеф Мэллорд Уильям (1775—1851)—известный живописец и график, автор романтических, смелых и ярких пейзажей. *Гиртин*, Томас (1775—1802)—акварелист, освободившийся от многих старых условностей, мешавших развитию жанра. *Котман*, Джон Селл (1782—1842)—пейзажист, писал маслом и акварелью. Не получил большой известности при жизни. *Кокс*, Дэвид (1783—1859)—пейзажист, писал в основном акварелью. Известен картинами, посвященными Уэльсу. *Варли*, Корнелиус (1781—1873), *Варли*, Джон (1778—1842)—оба брата писали акварелью, оба любили пейзажи. Кого имеет в виду Пристли, сказать трудно. *Бонингтон*, Ричард (1801—1828)—живописец, график, один из первых мастеров плэнерной живописи. *Питер Де Уинт* (1784—1849)—художник, пейзажист.
- 215 *Баскервилл*, Джон (1706—1775)—английский типограф, изобретатель шрифтов, издатель.  
*Среди монументов... выделяется статуя Джозефа Пристли, чей дом был разграблен и сожжен толпой незадолго до того, как ему самому пришлось уехать из страны.*—Джозеф Пристли (1733—1804)—английский священник, естествоиспытатель, ему принадлежит открытие кислорода. Автор многих теологических трудов, выступал с критикой коррупции в среде священнослужителей. Симпатизировал Французской революции, за что подвергся преследованиям со стороны разгневанной толпы: его дом был разрушен и сожжен, книги и инструменты уничтожены. В 1794 г. эмигрировал в Америку, где продолжал свои теологические и научные исследования.  
*Рассел*, Джордж Уильям (1867—1935)—поэт, драматург, мистик, писал под псевдонимом «АЕ».

**Из сборника «Поездка в Россию»**  
(«Russian Journey», 1946)

Гонорар за эту книгу Пристли передал Обществу англо-советских культурных связей.

- 238 *«Миссия мистера Перкинса в страну большевиков»* (1944)—пьеса А. Е. Корнейчука.
- 240 *Эттли*, Клемент Ричард (1883—1967)—премьер-министр Великобритании в 1945—1951 г. Инициатор «холодной войны».
- Бевин*, Эрнест (1881—1951)—один из правых лидеров лейбористской партии Великобритании, министр иностранных дел в 1945—1951 гг.
- 246 *Ипр*—бельгийский город, в районе которого в 1-ю мировую войну произошел ряд крупных сражений.
- «Облик грядущего»* (1933)—фантастический роман Г. Д. Уэллса, в котором писатель предсказывает вторую мировую войну, которая, по его представлениям, должна начаться в 1940 и окончиться в 1970 г. Обнищавший, разоренный город Эвритаун («Каждый город») — пример того, как велики бедствия, приносимые войной, как бесчеловечны маниакальные милитаристы, превратившие все технические достижения и научные открытия в орудия уничтожения цивилизации.
- 254 *Даунинг-стрит*—улица в центральной части Лондона, на которой в доме № 10 находится лондонская резиденция премьер-министра, а в доме № 11 — резиденция канцлера Казначейства. Даунинг-стрит часто употребляется как синоним английского правительства.
- 255 *К такой критике, содержащейся, например, в «Докладе о русских» Уайта.*—Уайт, Вудро (р. 1918)—английский политический деятель, член парламента от лейбористской партии.

**Из сборника «Радости»**  
(«Delights», 1949)

- 259 *...в короткий, но яркий век Эдуарда VII.*—Эдуард VII правил с 1901 по 1910 г. Время его правления получило название «эдвардианской эпохи», а писатели, художники, музыканты, творившие в это время,—«эдвардианцы». В это время создавали свои книги Голсуорси, Беннетт, Шоу, Джойс, Уэллс, Мередит, Батлер. Рассказу об этой эпохе Пристли посвятил одну из своих поздних книг—«Эдвардианцы» (1970).
- На *Флит-стрит* в Лондоне находятся редакции большинства крупнейших газет.
- 262 *...впечатление от Брэдфордской выставки.*—Брэдфорд—город, где родился Пристли.
- 264 *Гиббон*, Эдуард (1737—1794)—английский историк, автор «Истории упадка и разрушения Римской империи» (1776—1788).
- 269 *Их восхищает лишь все трудное, отсюда мода на Донна и Хопкинса.*—Донн, Джон (1572—1631), Хопкинс, Джералд (1844—



1859)—английские поэты, творчество которых характеризуется напряженным размышлением и сложной формой.

274 *Вермер*, Делфтский Ян (1632—1679)—голландский живописец, работал в Делфте. Его небольшие полотна отличаются поэтическим восприятием жизни.

275 *Анализ «Видения о Питере Пахаре»*.—Имеется в виду поэма английского поэта Уильяма Ленгленда (1332?—1400?), о жизни которого очень мало известно.

*Гештальтпсихология*—направление в психологии, трактующее восприятие как некую целостную систему, основанную на образах.

*Меттерних*, Клеменс (1773—1859)—князь, министр иностранных дел и фактический глава австрийского правительства в 1809—1821 гг. Установил систему полицейских репрессий, разжигал национальную вражду.

275 *После Потсдама*.—Имеется в виду Потсдамская конференция 1945 г. глав правительств СССР, США и Великобритании: председателя СНК СССР И. В. Сталина, президента США Г. Трумэна, премьер-министра Великобритании У. Черчилля, которого 28 июля заменил новый премьер-министр К. Эттли. Центральное место в работе конференции заняли вопросы, связанные с демилитаризацией, денацификацией и демократизацией Германии, а также многие другие важнейшие вопросы судьбы Германии.

276 *...начинать вранье можно будет с Джозефа Конрада... затем пускать в ход Гарди, Китченера, Эдуарда VII*.—Пристли перечисляет тех, кого собирательно можно назвать «эдвардианцами» (см. коммент. к с. 259). *Конрад*, Джозеф (1857—1924)—псевдоним Теодора Джозефа Конрада Коженовского, английского романиста, автора произведений, в центре которых герои, подвергающие себя мучительному самоанализу, часто бесплодно расходуящие свои душевные силы. *Гарди* (Харди), Томас (1840—1928)—английский писатель, автор романов «Тэсс из рода д'Эрбервиллей» (1891), «Джуд Незаметный» (1896) и др., в которых дан глубокий психологический анализ личности, ее трагического существования в мире. *Китченер*, Гораций Герберт (1850—1916)—английский фельдмаршал, главнокомандующий войсками в англо-бурской войне.

279 *Калевала*.—Финский народный эпос «Калевала», обработанный финским ученым Э. Ленротом в середине XIX в., состоит из пятидесяти рун—песен, возникших, вероятно, в период средневековья и бытующих до сих пор в Карелии, Финляндии и Эстонии.

280 *Атлантида*—мифический остров в Атлантическом океане, на который ссылаются Платон и другие античные писатели. Уровень цивилизации на Атлантиде был очень высок, но из-за природных потрясений остров исчез под водой. Вера в существование Атлантиды сохранилась до наших дней; многие писатели, в том числе и Фрэнсис Бэкон, называли этим именем утопические государства.

**Из сборника «Вопиющий в пустыне»**  
(«Thoughts in the Wilderness», 1957)

В заглавие сборника вынесена парафраза известной библейской цитаты «Глас вопиющего в пустыне...» (Иоан, 40, 3; Мтф. 3,3; Марк 1,3; Лука 3,4; Иоан 1,23).

- 282 *Коллингвуд*, Робин Джордж (1889—1943)—английский философ-идеалист, историк, неогегельянец, специалист по древней истории Великобритании. Мышление образует, по Коллингвуду, восходящую иерархию «форм духовной активности», которая основывается на воображении, символизации и абстракции (искусство, религия, естествознание, история и философия).
- 283 *Остров Уайт* расположен в проливе Ла-Манш, это место курортов, например, там находится курорт Сандаун. Население занимается преимущественно садоводством и огородничеством.
- 284 *Лайм-Гроув*—улица в Лондоне, на которой раньше находились основные телестудии Би-би-си.
- 285 *Забыто волшебное слово, некогда открывавшее сказочную пещеру с сокровищами.*—т. е. «Сезам откройся».
- Джейкобс*, Уильям (1863—1943)—английский романист, драматург, новеллист, произведения которого в основном рассчитаны на массового читателя.
- Фицджералд*, Эдвард (1809—1883)—английский поэт, переводчик, близкий друг Теккерея. Особенной известностью пользовались его переводы из Кальдерона и «Рубайят» Омара Хайама. «Рубайят» на английском языке появились в 1853 г. Суинберн и Россетти считали себя учениками Фицджералда.
- 286 *Дилан Томас ... прославился не столько благодаря своей жизни и книгам, сколько из-за безвременной кончины.*—Английский поэт, уроженец Уэльса *Томас Дилан* (1914—1953), автор многих сборников стихотворений: «Карта любви» (1939), «Смерти и выходы» (1946), «Горбун в парке» (1941), автобиографической повести, написанной в традиции романа Джеймса Джойса «Портрет художника в юности»—«Портрет художника—молодого пса» (1940), радиопьесы «В молочном лесу» (опубл. 1953). Вел богемный образ жизни, пил, скоропостижно скончался в США, куда ездил с чтением своих стихов.
- Сартр ... способен вызвать больше волнения на берегах Сены, чем все английские писатели вместе взятые.*—Пристли имеет в виду философские сочинения французского писателя Жан-Поля Сартра: «Бытие и ничто» (1943), «Экзистенциализм—это гуманизм» (1946), «Ситуации» (10 томов, 1947—1976). В этих сочинениях он рассматривал проблемы личности, свободы. Работы имели большой резонанс в кругах послевоенной европейской интеллигенции. Пристли также хочет сказать, что в Англии экзистенциализм не получил особого распространения из-за, если воспользоваться словами В. И. Ленина, «нелюбви англичан к теории». Экзистенциалистские мотивы были сильны в творчестве Айрис Мердок, Уильяма Голдинга, Колина Уилсона.

287 «Путешествие по радуге» (1955)—сборник эссе Пристли, был написан совместно с его женой—известным антропологом Жакетой Хоукс.

*Банкет, который состоялся на прошлой неделе в Гилд-холле.*— Гилд-холл—здание ратуши лондонского Сити; известно своим банкетным залом, в котором устраиваются официальные приемы в особо торжественных случаях. Там имеются также картинная галерея и библиотека. Построено в 1411 г., перестроено в 1788—1789 гг.

*«Дейли скетч»*—ежедневная малоформатная газета консервативного направления. Основана в 1909 г. В 1971 г. слилась с газетой «Сан».

*«Атенеум»*—лондонский клуб преимущественно для ученых и писателей. Основан в 1824 г. *«Бифитекс»*—клуб, основанный королевой Анной в 1709 г. По замыслу, должен был объединять «великие умы нации». В 1749 г. филиал этого клуба был открыт в Дублине известным драматургом Бринсли и Шериданом. *«Гаррик»*—лондонский клуб актеров, писателей и журналистов. Основан в 1831 г. Назван в честь знаменитого актера Дейвида Гаррика.

*Лондонская библиотека*—крупнейшая платная библиотека в Лондоне. Основана в 1841 г.

290 *Никсон*, Ричард Милхаус (р. 1913)—американский президент.

*Херст* Уильям Рэндольф (1863—?)—американский газетный магнат.

*Пеглер*, Уэстбрук (1894—?)—видный американский журналист.

*«Ридерс дайджест»*—ежемесячный иллюстрированный журнал небольшого формата; в основном перепечатывает материалы, в том числе произведения художественной литературы, из других изданий в сокращенном виде; помещает также статьи на разные темы, анекдоты, афоризмы, выходит на тринадцати языках; редакция журнала находится в США; тираж в Англии составляет 1,5 млн. экземпляров.

*«Тайм»*—еженедельный журнал в США, издается в Нью-Йорке с 1923 г. Принадлежит издательскому тресту «Тайм инкорпорейтед», публикует материалы по вопросам внутренней и внешней политики США, а также научную и культурную информацию. Тираж около 4 млн. экземпляров.

*Кофи-хаус*—место встречи для обмена мнениями и новостями. Особое распространение получили в Англии и Америке в XVIII в. В Англии в таких «кофейнях» встречались Драйден, Джонсон, Босуэлл, Пепис, Аддисон и др. В конце XVIII в. «кофейни» потеснили возникшие клубы. Возрождение пережили в середине XX в., в первую очередь в Америке, как место встречи молодежи. В кофейнях устраиваются выставки, выступают музыкальные ансамбли, поэты читают стихи.

*Санта-Фе*—город в Аргентине. Основан в 1573 г.

*Олбани*—фешенебельный многоквартирный жилой дом на улице Пиккадилли в Лондоне; построен во второй половине XVIII в. В нем жили Байрон, Т. Маколей, У. Гладстон. Назван по титулу одного из бывших владельцев, герцога Йоркского и Олбанского.

*...что они целиком поддерживают британскую политику на*

*Кипре* и являются горячими поклонниками *Идена*, *Батлера* и *Макмиллана*. С 1878 по 1959 г. *Кипр*— колония Великобритании. *Иден*, Энтони (1897—1977)— премьер-министр Великобритании в 1955—1957 гг. *Батлер*, Ричард Остен (1902—1982)— английский политический деятель, сторонник либеральных методов в политике, противник англо-французского вторжения в Египет в 1956 г. *Макмиллан*, Гаррольд (р. 1894)— премьер-министр Великобритании в 1957—1963 гг.; лидер консервативной партии, с середины 60-х гг.— глава крупнейшей издательской фирмы.

... *Америка победила в Войне за независимость, а Ли не одержал верх над Грантом*.— Речь идет о Войне за независимость в Северной Америке 1775—1783 гг., первой буржуазной революции на Американском континенте. *Ли*, Роберт Эдуард (1807—1870)— главнокомандующий армией рабовладельческой Конфедерации во время Гражданской войны 1861—1865 гг. *Грант*, Улисс Симпсон (1822—1885)— военный и политический деятель США, во время Гражданской войны поддерживал политический курс умеренных кругов радикальных республиканцев.

291 *Мы проигрываем, потому что ставим на Льва, а не на Единорога*.— Лев в мифологиях и фольклоре многих народов Африки, Западной, Южной и Восточной Азии— символ высшей божественной силы, мощи, власти и величия. Единорог— мифическое животное с телом лошади, иногда козла, именуемое по наиболее отличительному признаку— наличию одного прямого рога на лбу. Символика Единорога играет существенную роль в средневековых христианских сочинениях: это символ чистоты, девственности.

... *в костюме от Йегера*.— *Йегер*, Густав (1832—1917)— немецкий зоолог, последователь Дарвина, культурист. Пропагандировал ношение шерстяной одежды как средства борьбы с разным рода болезнями. Шоу был горячим поклонником идей Йегера.

*Беллок*, Джозеф Хилари Пьер (1870—1953)— английский эссеист, историк, романист, журналист, поэт, известный остролов.

*Беннет*, Арнолд (1867—1931)— английский писатель, автор бытописательных романов. Видимо, Беллок намекает на происхождение Беннета из «среднего класса» и на его особый интерес к провинциальной жизни.

... *мы до сих пор живем в эвхардианском мире отвлеченных дискуссий*.— Пристли, видимо, имеет в виду полемику традиционалистов, например Арнолда Беннета и Вирджинии Вулф. В 1923 г. 23 марта Арнолд Беннет выступил на страницах журнала «Кэсселл» со статьей «Умирает ли роман?», где подверг резкой критике поколение молодых литераторов, в частности Вирджинию Вулф. Он писал: «Характеры не остаются в сознании, потому что автор только и думает, как бы ему быть оригинальным и умным». Ответом на эту статью стало эссе Вирджинии Вулф «Мистер Беннет и миссис Браун». Взгляды, изложенные в эссе, совпадали с суждениями об искусстве ее современников (Д. Г. Лоуренса, Т. С. Элиота и др.).

Его старообразным энергичным героиням очень не хватает стринберговских концовок.— Пристли имеет в виду трагические развязки в пьесах шведского драматурга Августа Стринберга (1849—1912). Например, в одной из его лучших пьес, «Фрекен Юлия» (1888), героиня кончает жизнь самоубийством.

298 *Клеопатра*—героиня пьесы Шоу «Цезарь и Клеопатра» (1910).

*Самая выигранный роль, которую он создал для актрисы, была роль Жанны д'Арк.*—Имеется в виду пьеса Шоу «Святая Иоанна» (1923), в которой автор отошел от своего принципа создания «интеллектуальной драмы-дискуссии», но создал живой характер.

*...Шоу издевался над содержанием пьес, о которых писал в «Сатердей ревью»...*—С января 1895 г. по май 1898 г. Шоу был театральным обозревателем «Сатердей ревью». Здесь он регулярно печатал рецензии на пьесы. Свою роль как критика он видел в первую очередь в пропаганде искусства Вагнера, драматургии Генрика Ибсена. Статьи Шоу оказали большое влияние на культурную жизнь того времени. Впоследствии Шоу собрал и издал полностью свои рецензии тех лет в трех томах— «Наш театр в девяностые годы».

*Броуг*—провинциальный акцент, преимущественно ирландский.

*Его полемические приемы... восходили к дублинской традиции.*— Пристли намекает на ирландское происхождение Шоу, а также на ироничность и бурлескность его статей, близких в этом отношении по духу другим ирландским писателям, также жителям или уроженцам Дублина,—Свифту, Стерну, Уайльду.

*Мур, Джордж (1852—1933)*—ирландский романист, эссеист. Был близок по своим художественным устремлениям к Ирландскому литературному возрождению. Ирландии, ее судьбе посвящены лучшие произведения Мура, например сборник рассказов «Невспаханное поле» (1903), роман «Озеро» (1905).

*Стивенс, Джеймс (1882—1950)*—ирландский поэт, новеллист.

*... подобно чеховскому Гаеву...*—Гаев—персонаж «Вишневого сада».

*Бертран Рассел, знавший Шоу много лет.*—Рассела и Шоу связывали дружеские отношения. Шоу испытал влияние философских и социальных воззрений Рассела, в частности весьма сочувственно относился к его пацифистским настроениям, о чем не раз писал в своих письмах.

300 *Леди из Шаллотта.*—Элайн, героиня поэмы Теннисона «Ланселот и Элайн», центрального произведения цикла «Королевские идиллии» (1858), представляющего собой стилизацию средневековых легенд о короле Артуре и рыцарях Круглого стола.

*...тем сном, что боги сонные туманят зеркало жизни гладкое.*— Видимо, парафраза стихотворения Йейтса «Плавание в Византию».

302 *Болдуин, Стенли (1867—1947)*—английский политический деятель, писатель, известен своей деятельностью по разрешению проблемы военных долгов с США после 1-й мировой войны, а также своей близостью королю Эдуарду VIII, отречшемуся от престола в 1936 г.

*Маггеридж, Малколм Лайл (1903—?)*—английский жур-

налист, сотрудничал со многими периодическими изданиями. В 1932—1933 гг. был собственным корреспондентом «Манчестер гардиан» в Москве.

- 305 *«Мы все не более чем призрачные тени. Всю жизнь играем на волшебной сцене».*—Ср.: Омар Хайам, «Рубайят».

**Из книги «Заметки на полях»**  
(«Margin Released», 1962)

- 307 Сборник эссе и статей Пристли *«Литература и человек Запада»* вышел в 1960 г.

*Госс*, Эдмунд Уильям (1849—1928)—английский поэт, критик, библиотекарь, популяризатор скандинавской литературы в Англии, сделал немало для возрождения интереса к творчеству Джона Донна, автор историй национальных литератур.

- 309 *Скуайф*, Джон Коллингс (1884—?)—английский журналист, издатель, критик, писал также под псевдонимом Соломон Игл.

*«...время проводил беззаботно, как, бывало, в золотом веке».*—Несколько измененная цитата из комедии Шекспира «Как вам это понравится» (пер. Т. Щепкиной-Куперник).

*Де ла Мар*, Уолтер (1873—1956)—английский поэт, романист, новеллист, драматург. Пристли не раз обращался к творчеству и личности Де ла Мара.

- 310 *Джону Лейну*, главе издательства «Бодли Хед».—*Лейн*, Джон (1854—1925)—английский издатель, основал в 1887 г. вместе с Элкином Мэтьюзом издательство «Бодли Хед», ныне одно из крупнейших в Великобритании. В 1894 г. выступил инициатором создания иллюстрированного журнала «Желтая книга», в котором сотрудничали Обри Бердслей и Макс Бирбом.

*...рекомендовал к печати первые романы Грэма Грина и Сесила Скотта Форстера.*—Пристли иронизирует над своей неумелостью как рецензента в начале творческого пути: романы Грэма Грина, даже ранние, стали классикой литературы XX в., тогда как книги Сесила Скотта Форстера оказались однодневкой.

- 311 *Статьи о Пикокке для «Таймс литерари сапплмент».*—Эта статья легла в основу книги Пристли о Пикокке. «Таймс литерари сапплмент»—еженедельное литературное приложение к газете «Таймс», печатает литературные обзоры и рецензии на новые книги.

*...с такой тупой злобой писал в «Куотерли» о сборнике стихов Теннисона 1832 года.*—*Локарт*, Джон Гибсон (1794—1854)—шотландский писатель, критик, родственник и биограф Вальтера Скотта. В 1825—1853 гг. издавал журнал «Куотерли ревью».

*Крокер*, Джон Уилсон (1780—1857)—ирландский фольклорист. *...в больницу Гая к жене.*—Больница основана книготорговцем Томасом Гаем в 1721 г. Здесь лежала первая жена Пристли, умершая от рака.

- 312 *Ричардсон*, Ральф (р. 1902)—выдающийся английский актер. По мнению специалистов, обладает уникальным голосом и превосходными манерами. Однако в своей сценической и кинематографической деятельности предпочитает играть роли простых

парней. Часто выступает в амплуа эксцентрика. Критика особо отмечала игру Ричардсона в таких фильмах, как «Ричард III» (1956), «Оскар Уайльд» (1960), «Леди Каролина Лэм» (1972), «Алиса в Стране Чудес» (здесь Ричардсон сыграл роль гусеницы, 1972), «Иисус из Назарета» (1977).

### Из сборника «Мгновения» («Moments», 1966)

319 ...основанные на «хрониках» Голлиншеда.— Голлиншед, Рафаэль (?—1580?)—английский историк, переводчик, летописец. Автор истории Англии, которая в значительной степени была использована Шекспиром при работе над «Макбетом», «Цимбелином», возможно, «Королем Лиром», а также всеми историческими пьесами.

Хэл—прозвище принца Генриха, будущего короля Генриха IV.

...восстание против Болингброка.— Генрих IV до своего восшествия на престол носил титул виконта Болингброка.

Лолларды—наиболее демократически настроенные последователи религиозного реформатора Дж. Уиклифа; в XIV—XV вв. активно выступали против папства, церковного землевладения и социального неравенства. В 1381 г. участвовали в восстании Уота Тайлера, подвергались жестокому преследованиям.

321 «...был вскормлен медом и млеком рая напоен»—заключительные строки поэмы Колриджа «Кубла Хан» (1798, опубл. 1816). Пер. К. Бальмонта.

Бардольф—приятель, собутыльник Фальстафа, выведен в 1-й и 2-й частях «Генриха IV», в «Генрихе V», «Виндзорских насмешницах».

322 Шеллоу и Сайленс—туповатые провинциальные судьи в пьесе Шекспира «Генрих IV» (часть 2).

...и в очарованном воздухе носятся «легкие, пылкие, игривые образы». Ср.: Шекспир, «Генрих IV», часть 2, эпилог.

325 Квиллер-Куч, Артур Томас (1863—1944)—английский литератор, автор многочисленных и весьма авторитетных работ по истории английской литературы.

...Битва при Шрусбери.— Имеется в виду битва при городе Шрусбери в 1403 г., где войска Генриха IV одержали победу над феодалами, пытавшимися низложить его.

328 Элгар, Эдуард Уильям (1857—1934)—английский композитор, дирижер, по музыкальному образованию скрипач. Один из основоположников новой национальной школы. В своих монументальных ораториях и кантатах, опираясь на традиции английских хоровых жанров, стремился воплотить принципы музыкальной драмы Вагнера.

331 Оберон и Пэк—персонажи пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь». Просперо и Ариель—герои пьесы Шекспира «Буря».

332 Мистер Кротчет—герой романа Томаса Лава Пикока «Замок Кротчет» (1831)—интеллектуал, чудаков.

336 ...в день Благодарения.— Национальный праздник американского

народа. В этот день правительство и граждане страны благодарят за спокойно и счастливо прожитый год.

333 *Хэзлитт*, Уильям (1778—1830)—английский критик и публицист, теоретик романтизма. Важнейший вклад Хэзлитта в литературу—его историко-критические эссе, объединенные в сборнике «Лекции об английских поэтах», «Лекции об английских комических писателях», «Лекции об английской драме елизаветинской эпохи».

339 *В одной строке «Прогулки» Вордсворта...*—«Прогулка» (1814)—дидактическая по своему характеру поэма Вордсворта, состоящая из 9 частей. Одно из наиболее известных его произведений.

*А тут Олдос Хаксли рассказывает, как он стал употреблять мескалин...*—Олдос Хаксли действительно принимал мескалин, потому что хотел понять его воздействие на восприятие мира. Свой опыт он описал в книге «Двери восприятия» (1954).

340 *...афоризм Блейка: «Глупец видит не то же дерево, которое видит умный».*—Ср.: «Бракосочетание Неба и Ада» (1793).

341 *«...растущий мальчик не дитя, а узник».*—Строка из «Оды бессмертию» Вордсворта.

347 *Биффел*, Огюстин (1850—1933)—английский юрист, критик, общественный деятель.

351 *Томлинсон*, Генри Мэйер (1873—?)—английский романист, журналист, особую известность получили его морские рассказы. В 1914—1917 гг.—военный корреспондент, литературный редактор журнала «Нейшн» и «Атенеум».

*Ларднер*, Рингголд Уилмер (1885—1933)—американский прозаик, выдающийся новеллист, начинал как журналист и спортивный обозреватель. Рассказы Ларднера отличает юмор, превосходное знание деталей жизни, колоритный язык.

*Кейзин*, Альфред (р. 1915)—американский критик, издатель, профессор, член Американской академии искусства и науки; автор исследований по проблемам современной литературы.

*Гейсмар*, Максвелл Дэвид (р. 1909)—американский критик, автор фундаментальных исследований по истории и проблемам американского романа. Ему принадлежит исследование творчества и жизненного пути Ринга Ларднера (1972).

352 *Брэдли*, Эндрю Сесил (1851—1935)—английский критик, шекспировед, брат известного философа-идеалиста Фрэнсиса Герберта Брэдли (1846—1924).

353 *...теорию де Ситтера...*—*Ситтер*, Виллем де (1872—1934)—нидерландский астроном.

354 *Мондрианов идеал гармонии...*—Имеется в виду теория нидерландского художника Пита Мондриана (1872—1944).

*Армагеддон*—место последней битвы между силами добра и зла (ср.: Апокалипсис 16, 16).

*Рут*, Элайхью (1845—1937)—американский юрист и политический деятель.

355 *«Правда, цели мы никогда не достигнем...»*—Отрывок из раннего очерка Стивенсона «Эльдорадо» (1881).



Из журнала «Нью стейтсмен»  
(«New Statesman», 1966—1967)

358 *Черчилль в 1903 г.*—Имеется в виду начало политической карьеры Уинстона Леонарда Спенсера Черчилля (1874—1965), видного государственного деятеля Великобритании. Премьер-министр во время 2-й мировой войны и снова—в 1951 г. Известен также как журналист, писатель. С 1900 г. по 1905 г. Черчилль был представителем от консервативной партии в парламенте.

Из книги «Расцвет викторианской Англии»  
(Victoria's Heyday, 1972)

366 *«...сие величественное зрелище».*—Имеются в виду похороны герцога Веллингтона, состоявшиеся 18 ноября 1952 г. и собравшие весь Лондон.

366 *...значило расстаться с дочками.*—Имеются в виду дочери Теккерера— Анна (Анна Изабелла, 1837—1919, впоследствии леди Ритчи, английская писательница) и Минни (Харриет Мэриен, 1840—1875, впоследствии жена видного английского филолога Лесли Стивена).

367 *...может повторить свою великую литературную удачу.*—Имеется в виду успех, выпавший на долю романа Теккерера «Ярмарка тщеславия» (1848).

368 *...лучший биограф Теккерера профессор Гордон Рэй.*—Рэй Гордон (р. 1915)—видный американский литературовед, крупнейший специалист по творчеству Теккерера, автор фундаментальных исследований о его жизни и творчестве.

370 *Филд Монсел*—американский знакомый Теккерера, автор незначительных воспоминаний о нем.

*...леди Рэйвенсвуд...*—Пристли допускает здесь ошибку. Эдгар Рэйвенсвуд—герой романа Вальтера Скотта «Ламмермурская невеста», где он—возлюбленный Люси Эштон. Пристли же имеет в виду леди Каслвуд, героиню романа Теккерера «Генри Эсмонд», возлюбленную героя.

*Линкольн, Авраам* (1809—1865)—государственный деятель США, решительный противник рабства и сторонник освобождения рабов. В 1860 г. был избран президентом США. Несмотря на умеренную программу Линкольна в вопросе о рабстве, его избрание способствовало отделению Южных рабовладельческих штатов от Союза и началу Гражданской войны 1861—1865 гг.

*Уолпол, Роберт* (1676—1745)—английский политический деятель. *Уолпол, Хорейс*—(см. коммент. к с. 27).

*Шефтсбери, Купер* Энтони Эшли (1621—1683)—английский политический деятель, один из создателей Закона о неприкосновенности личности (Habeas Corpus Act), принят в 1679 г.), который, наряду с другими актами, составляет статутную основу английской конституционной практики. *Шефтсбери* Энтони Эшли Купер (1671—1713)—английский философ, моралист, эссеист, автор труда «Характеристики людей, манер, описание мнений и эпох» (1711).

*Пальмерстон*, Генри Джон Темпл (1784—1865)—английский государственный деятель, премьер-министр Великобритании в 1855—1858 гг. и с 1859 г. Внешняя политика Пальмерстона строилась на принципе «равновесия сил», предусматривавшем разделение Европы на группы враждующих и тем самым ослабляющих друг друга держав. Правительство Пальмерстона участвовало в подавлении народных восстаний в Индии, Китае и др.

- 372 *Гаскел*, Элизабет Клегорн (1810—1865)—английская романистка, жена священника, всю жизнь провела в промышленном городе Манчестере, где наблюдала жизнь простого народа, которую и описала в своих романах, в частности в «Мэри Бартон» (1848). К числу других наиболее известных ее произведений относятся «Крэнфорд» (1853), «Жены и дочери» (1866) и «Жизнь Шарлотты Бронте» (1857).

*Салл*, Джордж Огастос (1828—1895)—английский романист и журналист.

*Пейн*, Джеймс (1830—1898)—английский романист, поэт, издатель «Чеймберс джорнел» в 1858 г., с 1882—журнала, основанного Теккереем,—«Корнхилл».

*Граб-стрит*—жарг.: писаки, халтурщики, литературные поденщики. На улице Граб в XVIII в. жили неимущие литераторы. Современное название—Милтон-стрит.

- 374 *Физ*—псевдоним известного английского художника, карикатуриста, иллюстратора Хэблотта Найта Брауна (1815—1882). Известность, в частности, получил своими иллюстрациями к «Пиквикскому клубу» и другим произведениям Диккенса.

*Форстер*, Джон (1812—1876)—английский литератор, журналист, друг и коллега Диккенса, его биограф.

### Из книги «Англичане»

(The English, 1973)

Эта книга—плод многолетних размышлений Пристли над национальным характером, образом жизни, традициями, системой ценностей в области политики, культуры, общественной жизни, нравственности.

- 380 *Пексниф*—персонаж романа Диккенса «Мартин Чеззлвит» (1843)—классическое воплощение лицемерия.

- 385 ...как Бенсон в романах о Люции.—Бенсон, Эдвард Фредерик (1867—1940)—английский романист, особую известность получили его сатирические романы, главной героиней которых была Люция.

- 387 «*Табард*»—старинная лондонская таверна, получившая особую известность благодаря Чосеру: в ней собрались его путешественники перед тем, как отправиться в паломничество в Кентербери. В 1866 г. таверна была уничтожена.

«*Опера нищих*» (1728)—опера английского поэта Джона Гэя (1685—1732), задуманная как сатира на итальянский оперный стиль, ставший входить в моду в Англии, а также на политику премьер-министра Роберта Уолпола.

...мрачная «суббота». — Подразумеваются «помнящие день субботний», иными словами — христиане, строго соблюдающие воскресенье как церковный праздник, возражающие против проведения в этот день спектаклей, спортивных встреч, чтения светских книг и т. д. (воскресенье отождествляется с субботой, о соблюдении которой говорится в одной из библейских заповедей).

*Рейнолдс, Джошуа* (1723—1792) — английский художник-портретист.

389 *Лоуэлл, Джеймс Рассел* (1819—1891) — американский поэт-романтик, филолог, издатель, дипломат.

*Подснеп* — персонаж романа Диккенса «Наш общий друг», воплощение лицемерия.

390 *Токвиль, Алексис де* (1805—1859) — французский историк, социолог, политический деятель.

*Эмерсоновы «Заметки об Англии»*. — *Эмерсон, Ральф Уолдо* (1803—1882) — американский поэт-трансценденталист, философ, эссеист.

391 *Сантаяна, Хорхе (Джордж)* (1863—1952) — американско-испанский философ-неоплатоник, чья теория символической природы искусства оказала значительное воздействие на становление «новой критики» в Англии и Америке. Мысль о философичности поэзии и поэтичности философии, восходящая к Аристотелю, проходит через все эстетические работы Сантаяны.

393 *Фарадей, Майкл* (1811—1867) — выдающийся английский физик.

*Гиндал, Джон* (1820—1893) — английский физик, автор трудов по акустике.

394 *Дэви, Хэмфри* (1778—1829) — английский химик, физик, один из основоположников электрохимии.

*Саути, Роберт* (1774—1843) — английский поэт-романтик, эссеист, критик, биограф.

«*Бигл*». — Дарвин оказался на борту корабля «Бигл», отправлявшегося в кругосветное путешествие, благодаря усилиям Джона Стивенса Хенслоу, заприметившего молодого талантливого медика, увлеченного естественными науками.

### Из книги «Поездка в Новую Зеландию»

(A Visit to New Zealand, 1974)

399 *Хэрроу* — одна из девяти старейших престижных мужских привилегированных средних школ. Учащиеся в ней — преимущественно дети аристократов, крупных бизнесменов, высших чиновников и т. д. Находится в пригороде Лондона. Основана в 1571 г., более 700 учащихся.

409 *Правда, был еще Сэмюэл Батлер, во многих отношениях неординарный эмигрант*. — Английский писатель-сатирик С. Батлер был фермером с 1860 по 1864 г. в Новой Зеландии. Человек разносторонних интересов, Батлер был к тому же и художником, автором трудов по топографии и эволюции, композитором. Ему принадлежат литературоведческие исследования «Юмор Гомера», гипотеза, что создательницей «Одиссеи» была женщи-

на, переводы «Одиссеи» и «Илиады», теологические сочинения. Однако самым известным его произведением, оставившим Батлера в истории культуры, стал роман «Путь всякой плоти» (1903), антиутопии «Эдвин» (1872) и «Возвращение в Эдгин» (1901).

*...его взгляды, манера письма, стиль оказали заметное влияние на такую личность, как Дж. Б. Шоу.*—Имеется в виду сатирическая, часто парадоксальная манера мышления и изображения жизни в романах Батлера.

*...все равно что отложить в сторону том Эдгара По и обратиться к поэзии Вордсворта.*—Пристли противопоставляет поэзию двух романтиков—Вордсворта и Эдгара По. Вордсворт верит в идеалы, торжество доброго начала в человеке; поэзия По трагична, в ней очень сильны мотивы обреченности, безнадежности, отчаяния.

- 417 *Маклюэн*, Герберт Маршалл (1911—1980)—американский социолог, политический деятель, культуролог.

**Из книги «Особые удовольствия»**  
(Particular Pleasures, 1975)

- 419 *Кин*, Чарлз Джон (1811—1868)—английский актер и антрепренер. Сын Эдмунда Кина. В 1850—1858 гг. возглавлял «Театр Принцессы». Репертуар театра состоял в основном из современных мелодрам и пьес Шекспира. Кин поставил восемнадцать шекспировских спектаклей, во многих из которых исполнял главные роли (Гамлет и др.). Кин—один из создателей режиссуры в европейском театре.

*Ирвинг*, Генри (1838—1905)—псевдоним Джона Генри Бродрибба, знаменитого английского актера, режиссера, руководителя театра «Лицеум». Бродрибб был приемным отцом выдающегося английского режиссера и драматурга Гордона Крэга.

*Купер*, Глэдис (1888—1971)—английская актриса, режиссер, общественный деятель. В 1967 г. была награждена орденом Британской империи.

*«...улыбчивым светским человеком»*—цитата из известного стихотворения Йейтса «Пасха 1916».

- 420 *Гилгуд*, Джон Артур (р. 1904)—знаменитый английский актер, режиссер, внук выдающейся драматической актрисы Кэт Терри. Много лет работал в Шекспировском мемориальном театре. Получил известность в ролях шекспировского репертуара, в пьесах Чехова. В кино снимался с 1932 г. Среди фильмов — «Юлий Цезарь» (1953).

*Кориолан*—персонаж одноименной драмы Шекспира.

*Астров*—персонаж «Дяди Вани».

*Арчи Райс Джона Осборна.*—Арчи Райс—герой пьесы английского драматурга Джона Осборна (р. 1930) «Конферансье» (1957).

- 421 *Отелло в Национальном театре.*—Пристли имеет в виду постановку «Отелло» в Национальном театре, созданном в 1963 г. под руководством Лоренса Оливье в Лондоне, в которой

знаменитый шекспировский герой предстал не благородным мавром, но диким, снедаемым страстями человеком.

422 *Нет, это произведение—не дитя разума, как, к примеру, «Жизнь изгнанника» Рихарда Штрауса.*—Штраус, Рихард (1864—1949)— немецкий композитор и дирижер, тяготел к экспрессионизму, усложненному музыкальному языку.

424 *...люный элизаветинец.*— Пристли имеет в виду пьесы драматургов элизаветинской эпохи, т. е. царствования королевы Елизаветы (прав. 1558—1603),— Марло, Шекспира, Бена Джонсона.

*...драматургов Реставрации.*— Реставрация— исторический период правления Карла II и Якова II Стюартов (1660—1688). Комедия периода Реставрации отличалась остроумием и циничной откровенностью, которая отчасти стала реакцией на пуританизм предшествующего периода, сатирически изображала лицемерие и распушенность аристократии. Авторы этих комедий— Дж. Драйден, У. Уичерли, Дж. Ванбру, У. Конгрив, Дж. Фаркер.

*«Любовью за любовь»* (1695)— комедия Уильяма Конгрива, в ней изображен молодой повеса Валентин. *«Как важно быть серьезным»* (1895)— светская комедия Уайльда, полная остроумных парадоксов и эпиграмм.

*Фейген, Джеймс Бернард*— английский драматург и театральный деятель. В 1923 г. организовал «Репертуарный театр» в Оксфорде. В 1929 г.— директор «Фестивального театра» в Кембридже. Ставил пьесы Чехова на английской сцене.

*«Атака легкой бригады»*— имеется в виду фильм по знаменитой поэме Теннисона «Атака легкой кавалерийской бригады» (1854), в которой описываются события Крымской войны октября 1854 г.

*...из «Зазеркалья».*— Имеется в виду книга Льюиса Кэрролла «Зазеркалье и про то, что увидела там Алиса» (1872).

425 *Хэтберн, Кэтрин* (р. 1909)— американская актриса. Наибольшие успехи связаны с построенной на остроумном диалоге комедией. Исполняла роли самоуверенных и энергичных женщин, наделенных обаянием и тонким чувством юмора. Долгие годы сотрудничала со Спенсером Трэси.

*Аллен, Фред*— псевдоним Джона Флоренса Салливана (1894—1956), американского актера, режиссера, журналиста. Особую известность получил благодаря своим ролям в водевилях.

*Гарбо, Грета*— настоящая фамилия Густафсон (р. 1905)— американская актриса, по национальности шведка. Выступала в амплуа загадочной, привлекательной женщины, любовь которой становится роковой для тех, кого она любит, и для нее самой. Образы, созданные Гарбо, отличает драматизм, психологическая глубина. Перестала сниматься после неудачного выступления в фильме «Двуликая женщина» (1946).

*Дейвис, Бет* (р. 1908)— американская актриса. Первоначально исполняла второстепенные роли, так как внешние данные не соответствовали стандарту кинозвезды. Однако незаурядное мастерство, умение показать сложный и противоречивый характер своих героинь, зачастую отрицательных, помогли актрисе добиться успеха.

426 *Монро*, Мэрилин (псевдоним Нормы Джин Бейкер Мортенсон, 1926—1962)—американская актриса, начинала как манекенщица. Героини Монро сочетали наивность с чувственностью, производили впечатление доступности. В 50-е гг. стала самой популярной актрисой США, а ее судьба, умело преподносимая рекламой, превратилась в живое воплощение «американской мечты».

...я не читал книги Мейлера о Монро...—Пристли имеет в виду широко иллюстрированную фотографией биографию Мэрилин Монро, написанную американским писателем, поэтом и критиком Норманом Мейлером (р. 1923), которая является панегириком актрисе. Пристли принадлежит к числу тех, кто воспринял эту книгу весьма сдержанно.

427 *...кумира настольных календарей и журналов вроде «Плейбой».*—Пристли имеет в виду дешевую сенсационность журнала «Плейбой».

428 *Гиннес*, Алек (р. 1914)—английский актер. На сцене с 1934 г., в кино—с 1946 г. Известность получил в картине «Добрые сердца и короны» (1948), где сыграл сразу восемь ролей, после чего английская критика назвала Гиннеса «целой театральной труппой». Virtuозная театральная техника позволяла Гиннесу выступать как в комедиях, так и в драмах.

*Селлерс*, Питер (настоящее имя Ричард Генри, 1925—1980)—английский актер, режиссер. В 1948 г. стал популярным эстрадным актером и певцом. Дар перевоплощения позволил Селлерсу играть несколько ролей в одном фильме или же появляться в неожиданных для зрителей ролях (например, Мартовский заяц—«Алиса в Стране Чудес» (1972), королева Виктория—«Великий Макгонаголл» (1975)).

*Олд-Вик*—здание театра на Ватерлоо-роуд, построено в 1818 г. Первоначально в нем ставились мелодрамы и балеты. С 1914 г. там идут пьесы классического репертуара. Труппа «Олд-Вик» прославилась постановкой шекспировских пьес. После 2-й мировой войны стала фактически национальным театром, а с 1963 г. официально именуется Национальным театром.

429 *Лоутон* (Лаутон), Чарлз (1899—1962)—англо-американский актер. Окончил Королевскую академию драматического искусства в Лондоне. С 1928 г. снимается в кино. Известность Лоутону принесло исполнение роли короля Генриха VIII в фильме «Частная жизнь Генриха VIII» (1933). Особое обаяние, тонкое чувство юмора, простота и непосредственность игры характерны для манеры Лоутона.

## ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Аллен Фред (наст. имя Салливан Джон Флоренс) 425  
 Андерсен Ганс Христиан 171  
 Анна Стюарт 369  
 Аристотель 77  
 Арнолд Мэтью 91  
 Батлер Ричард Остен 290  
 Батлер Сэмюел 77, 409, 410  
 Баскервиль Джон 215  
 Бархэм Ричард Харрис (наст. имя Инголдсби Томас) 91  
 Бах Иоганн Себастьян 165  
 Бевин Эрнест 240, 249  
 Беллок Джозеф Хилари 351  
 Беннет (Беннетт) Арнолд 201, 297, 311  
 Бенсон Эдвард Фредерик 385  
 Бердслей Одри 190  
 Берн-Джонс Эдуард 212, 213  
 Бернард Сара 395, 396  
 Бертон (Бэртон) Роберт 83, 380  
 Бетховен Людвиг ван 310, 316, 421  
 Биррел Огюстин 347  
 Бичер-Стоу Гарриет 370, 371, 372  
 Блейк Уильям 340  
 Богарне Жозефина 104  
 Бодлер Шарль 375  
 Бойер Чарлз 429  
 Болдуин Стенли 302  
 Болингброк Генри Сент-Джон 319, 322, 323, 326, 331  
 Бонингтон Ричард 213  
 Боултон Мэтью 211  
 Брамс Иоганнес 165  
 Браун Форд Мэдокс 212, 213  
 Браунинг Роберт 51  
 Бронте сестры (Эмили, Энн, Шарлотта) 60  
 Брукфилд Джейн 367, 368, 369  
 Брукфилд Уильям 367, 368  
 Бэкстер Салли 369  
 Брэдли Эндрю Сесил 352  
 Вагнер Рихард 415  
 Варли (Джон, Корнелиус) 213  
 Вашингтон Джордж 429  
 Веллингтон Артур Уэсли 366, 382  
 Вермер Делфтский Ян 274—275  
 Виктория 197, 369  
 Вольф Хуго 162, 165  
 Вордсворт Уильям 39, 279, 339, 341, 355, 390, 414, 415  
 Вулф Вирджиния 375, 385  
 Гай Томас 311  
 Гайдн Франц Йозеф 277  
 Гарбо Грета 425  
 Гарди (Харди) Томас 276  
 Гаррик Дейвид 181, 419  
 Гаскелл Элизабет Клегори 372  
 Гегель Георг Фридрих 410  
 Гейне Генрих 168  
 Гейсмар Максвелл 351  
 Гендель Георг Фридрих 410  
 Гершель Уильям 211

- Гёте Иоганн Вольфганг 168, 201  
 Гиббон Эдуард 264  
 Гилгуд Джон Артур 420, 423—  
 , 424  
 Гиннес Алек 428—429  
 Гиртин Томас 213  
 Гитлер Адольф 247, 251  
 Глас Джон 395  
 Голдсмит Оливер 89  
 Голиншед Рафаэль 319  
 Голсуорси Джон 201  
 Госс Эдмунд Уильям 307  
 Гоулд Натаниел 201  
 Грант Улисс Симпсон 290  
 Граучо Маркс 316  
 Грин Грэм 310  
 Гуиделла (Гвиделла) Филип 168,  
 311  
 Гуно Шарль 184, 187  
 Данди (Грэхэм Джон) 50  
 Дарвин Чарлз Роберт 91, 394  
 Дарвин Эразм 211  
 Дейвис Бет 425  
 Де ла Мар Уолтер 309  
 Делл, Этель Мэй 201  
 Джейкобс Уильям 285  
 Джеймс Генри 285, 351, 373,  
 390—391  
 Джойс Джеймс 351, 375  
 Джонсон Бен 89  
 Джонсон Сэмюел 49, 51, 164,  
 309, 326, 333  
 Диккенс Джон 127, 374  
 Диккенс Чарльз 91—105, 125—  
 144, 187—191, 116—125, 177,  
 196, 198— , 252, 333, 346,  
 366, 371, 372—375, 375—377,  
 387, 389  
 Донн Джон 269  
 Достоевский Ф. М. 251  
 Дрейк Фрэнсис 207  
 Дэви Хэмфри 394, 395  
 Дэвисон Эдвард 309  
 Дюма Александр 285  
 Иван IV Васильевич (Грозный)  
 253  
 Иден Энтони 290  
 Инг Уильям Ральф 24  
 Ирвинг Генри (наст. имя Брод-  
 рибб Джон Генри) 419  
 Йегер Густав 291, 300  
 Йейтс Уильям Батлер 299, 302,  
 322, 351, 419  
 Йейтс Эдмунд 372, 373,  
 375—376  
 Карлейль Томас 39, 333, 390  
 Квиллер-Куч Артур Томас 325,  
 352  
 Квинтилиан Маркус Фабиус 77  
 Кейзин Альфред 351  
 Кер Уильям Пейтон 352  
 Кин Эдмунд 419  
 Китс Джон 353  
 Китченер Горацій Герберт 276  
 Клеопатра 172, 298  
 Кокс Дэвид 213  
 Коллингвуд Робин Джордж 282  
 Колридж Сэмюел Тейлор 27, 76,  
 78, 81, 394  
 Конрад Джозеф (наст. имя Юзеф  
 Теодор Конрад Коженевский)  
 276  
 Котман Джон Селл 213  
 Крайтон Джеймс 168  
 Крейн Фрэнк 49  
 Крокер Джон Уилсон 311  
 Кромвель Оливер 334, 383  
 Ксантиппа 104  
 Кулидж Калвин 152  
 Купер Глэдис 419  
 Кэль Полин 428—429  
 Кэррол Льюис (Доджсон Чарлз  
 Лютвидж) 41—44, 44— ,  
 414  
 Ларднер Ринголд Уилмер 351  
 Лаутон (Лоутон, Лотон) Чарлз  
 312, 429—430  
 Левер Чарлз Джеймс 91  
 Лейн Джон 310, 311  
 Леопарди Джакомо 48  
 Ли Роберт Эдуард 290  
 Линд Роберт 169, 309, 310  
 Линкольн Авраам 370  
 Литтон Генри 147  
 Локарт Джон Гибсон 311  
 Локк Джон 390  
 Лонгин Кассио 77  
 Лоренс Дейвид Герберт 375  
 Лоуэлл Джеймс Рассел 389  
 Лэм Чарлз 51, 52, 55, 56, 58,  
 168, 350, 351  
 Маггеридж Малколм 303  
 Майер Льюис Б. 316  
 Макиавелли Николо 255, 380  
 Маклюэн Герберт Маршалл 417



- Макмиллан Гаррольд 290, 312, 358  
 Маколей Томас Бабингтон 370, 371  
 Мальборо Джон Черчилл 87  
 Мейлер Норман 426  
 Мейнелл Алиса Кристина 52  
 Мелвил Герман 145  
 Мередит Джордж 61, 62, 195, 312, 333  
 Меттерних (Меттерних-Виннебург) Клеменс 275  
 Мильтон Джон 334, 346, 350, 351  
 Молотов В. М. 240, 249  
 Монро Джеймс 354  
 Монро Мэрилин (наст. имя Норма Бейкер) 426—427  
 Моррис Дерек 404, 411, 412, 413, 418  
 Моруа Андре (наст. имя Эрзог Эмиль) 201, 391  
 Морхед Агнес 429  
 Моцарт Вольфганг Амадей 165, 298, 300  
 Мозм Уильям Сомерсет 384  
 Мур Джордж 299  
 Мур Томас 58  
 Мэриет Фредерик 91
- Наполеон I (Наполеон Бонапарт) 104, 323, 381, 383  
 Нельсон Горацио 207  
 Нерон 57  
 Нестеров П. Н. 159  
 Никсон Ричард Милхаус 289  
 Норт Кристофер (наст. имя Уилсон Джон) 91  
 Ноур Энтони 177  
 Ньютон Исаак 390
- Оливье Лоуренс 419—421, 430  
 Остин Джейн 60, 105—116, 117, 169, 170, 172  
 Осборн Джон 420
- Пальместрон Генри Джон Темпл 370  
 Парр Сэмюел 211  
 Паулюс Фридрих 247  
 Пеглер Уэстбрук 290  
 Пейн Джеймс 372  
 Пелмен Кристофер Льюис 26
- Пендлтон Ричард 348, 349  
 Перселл Генри 165  
 Пикок Томас Лав 91, 311, 312, 332, 333  
 По Эдгар Аллан 91, 414  
 Пристли Джозеф 211, 215  
 Пристли (Хоукс) Жаккета 398, 400, 401, 408, 411, 412, 413  
 Пруст Марсель 385  
 Пушкин А. С. 254
- Рабле Франсуа 84  
 Раме Пьер де ла 77  
 Рассел Бертран 24, 299  
 Рассел Джордж Уильям 215, 299, 339  
 Рахманинов С. В. 421—423  
 Рейнолдс Джошуа 392  
 Рембрандт ван Рейн 274  
 Ричардсон Ральф 312, 420  
 Ричардсон Сэмюел 63  
 Роби Джордж (Уэйд Джордж Эдвард) 50  
 Рут Элайхью 354  
 Рэй Гордон 368  
 Рэли Уолтер Александр 68, 198, 261, 324, 352
- Сая Джордж Огастос 372  
 Санд Жорж (наст. имя Дюпен Армандина Аврора) 60  
 Сандеман Роберт 395  
 Сантаяна Хорхе (Джордж) 391—393  
 Сартр Жан Поль 286  
 Саути Роберт 394  
 Свифт Джонатан 333  
 Сейнтсбери Джордж Эдвард 64, 106, 352  
 Селлерс Питер (наст. имя Генри Ричард) 428  
 Сервантес Сааведра Мигель де 64, 100, 115, 141, 181, 195, 352  
 Сертис Роберт Смит 91  
 Скарлатти Алессандро 165  
 Скуайр Джон 309, 310  
 Смит Сидней 406  
 Смоллетт Тобиас Джордж 66, 67  
 Сократ 37, 77, 78, 83, 104  
 Сталин И. В. 257, 297  
 Стендаль (наст. имя Бейль Генри) 42, 285  
 Стерн Лоренс 75—91, 333, 346  
 Стивен Лесли 27

- Стивенс Джеймс 299  
 Стивенсон Роберт Луис 61, 110,  
 167, 349—350, 355, 368  
 Стоу Калвин 371  
 Стрейчи Джайлз Литтон 168  
 Стриндберг Август 298  
 Суинберн Олджернон Чарлз 39  
 Тамерлан (Тимур) 57  
 Тейт Гордон 416, 417  
 Теккерей Уильям Мейкпис 51,  
 198, 252, 366—372, 375—377,  
 385  
 Теннисон Альфред 51, 149, 311  
 Тернер Уильям 213, 399  
 Тиндал Уильям 393—394  
 Токвиль Алексис де 390  
 Толстой Л. Н. 254, 372  
 Томас Джеймсон 206  
 Томас Дилан 286  
 Томлинсон Генри Мэйер 351  
 Торло Гаррольд 145, 147  
 Торло Джордж 145  
 Троллоп Энтони 195—198  
 Уайльд Оскар Фингал О'Флаэрти 299, 333, 335, 336, 424  
 Уайт Вудро 303  
 Уатт Джеймс 211  
 Уизерс Руперт 404  
 Уинт Питер де 213  
 Уистлер Джеймс Эббот Макнейл  
 27  
 Уокер Джон 91  
 Уоллес Джордж 363  
 Уолпол Роберт 370  
 Уолпол Хорейс 27, 52, 370  
 Уоррен Джон Бирн 91  
 Уэджвуд Джозайя 211  
 Уэллс Герберт Джордж 118, 201,  
 246, 296, 297, 333  
 Фарадей Майкл 393—397  
 Фарнаби 77  
 Фейген Джеймс Бернард 424  
 Физ (наст. имя Браун Хэблотт  
 Найт) 374  
 Филд Монсел 368, 370  
 Филдинг Генри 51, 63—75, 333,  
 388  
 Фицджералд Эдвард 285  
 Флобер Густав 42  
 Форстер Джон 374, 376  
 Форстер Сесил Скотт 310  
 Форстер Эдвард Морган 155  
 Фоссий 77  
 Фрай Кристофер 284  
 Фрейд Зигмунд 41, 378  
 Хартог Ян де 316  
 Хаксли Олдос 339  
 Хардвик Сердик 429  
 Хаусман Альфред Эдвард 48  
 Хеттеуэй Энн 180, 181, 183  
 Херст Уильям Рэндольф 290  
 Хопкинс Джеральд 269  
 Худ Томас 91  
 Хук Теодор Эдвард 91  
 Хэзлитт Уильям 333, 366, 389  
 Хэпберн Кэтрин 425—426  
 Цезарь Юлий 140, 323  
 Цицерон Марк Туллий 77  
 Чаплин Чарлз Спенсер 201, 314,  
 316  
 Чайковский П. И. 422  
 Честертон Гилберт Кит 60, 93,  
 97, 100, 129, 142, 296, 351  
 Черчилль Уинстон 358  
 Чехов А. П. 42, 167, 298, 299,  
 387, 420, 424  
 Чосер Джеффри 322, 350, 351,  
 387  
 Шелли Перси Биш 50, 51, 143,  
 353  
 Шелинг Фридрих Вильгельм  
 136  
 Шекспир Уильям 37, 39, 41, 50,  
 51, 53, 65, 92, 106, 116, 126,  
 133, 137, 157, 168, 174, 180—  
 183, 283, 305, 313, 318—336,  
 346, 351, 387, 421, 423, 424,  
 425, 429, 430  
 Шефтсбери Энтони Эшли Купер  
 370  
 Шефтсбери Энтони Эшли Купер  
 370  
 Шлегель Фридрих 136  
 Шопенгауэр Артур 48  
 Шоу Джордж Бернард 201, 245,  
 295—300, 333, 341, 410, 429,  
 425, 430  
 Штраус Рихард 422  
 Шуберт Франц Петер 165  
 Эдуард VII 259, 276  
 Эклэнд Джон Бартон Арундел  
 408

Экленд Джон 407, 408, 409

Экленд Хью 408

Элгар Эдуард Уильям 328

Элиот Джордж (наст. имя Эванс  
Мэри Энн) 60

Элиот Томас Стернз 284, 351

Эмерсон Ральф Уолдо 390

Эсхилл 66, 69, 75

Эттли Клемент Ричард 240

Юм Дэвид 354

Юнг Карл Густав 41, 270, 378

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>Е. Гениева. Музыка человечности</i> .....	5
<b>Записки из Лилипутии (1922)</b>	
О путешествии в поездах. <i>Пер. А. Ливерганта</i> .....	21
<b>Скажу вам так... (1923)</b>	
Про начало. <i>Пер. К. Атаровой</i> .....	24
Эти ужасные писатели. <i>Пер. Т. Казавчинской</i> .....	27
Совпадение. <i>Пер. А. Ливерганта</i> .....	31
Старый фокусник. <i>Пер. Т. Казавчинской</i> .....	34
Все о себе. <i>Пер. А. Ливерганта</i> .....	37
Комментарии к Шалтаю-Болтаю. <i>Пер. К. Атаровой</i> .....	41
Проповедники. <i>Пер. Н. Васильевой</i> .....	44
О вульгарных оптимистах. <i>Пер. Т. Казавчинской</i> .....	48
Маньяки. <i>Пер. Т. Казавчинской</i> .....	52
О нелюбви к чужим. <i>Пер. Т. Казавчинской</i> .....	55
Во славу обыкновенной женщины. <i>Пер. Т. Казавчинской</i> .....	58
<b>Комические персонажи английской литературы (1925)</b>	
Пастор Адамс. <i>Пер. М. Лорие</i> .....	63
Братья Шенди. <i>Пер. М. Лорие</i> .....	75
Два Уэллера. <i>Пер. Р. Померанцевой</i> .....	91
Мистер Коллинз. <i>Пер. М. Лорие</i> .....	105
Дик Свивеллер. <i>Пер. М. Лорие</i> .....	116
Мистер Микобер. <i>Пер. М. Лорие</i> .....	125
<b>Открытый дом (1927)</b>	
Открытый дом. <i>Пер. Н. Васильевой</i> .....	145
Беркширские звери. <i>Пер. Н. Васильевой</i> .....	148
Американские заметки. <i>Пер. Т. Казавчинской</i> .....	151
Сон в летний день. <i>Пер. Т. Казавчинской</i> .....	155
Как я менял сукно на ломберном столе. <i>Пер. Н. Васильевой</i> .....	158
Распростившись с роялем. <i>Пер. Т. Казавчинской</i> .....	162
<b>Маргышки и ангелы (1928)</b>	
Чужие свершения. <i>Пер. Т. Казавчинской</i> .....	166
Первый снег. <i>Пер. Н. Васильевой</i> .....	169
В потемках. <i>Пер. Н. Васильевой</i> .....	173
Наш театр. <i>Пер. Т. Казавчинской</i> .....	176
Осматривая Стратфорд. <i>Пер. К. Атаровой</i> .....	180
<b>Раек (1929)</b>	
Мой дебют в опере. <i>Пер. В. Ашкенази*</i> .....	184
Возвращение мистера Пиквика. <i>Пер. К. Атаровой</i> .....	187
Моя судьба. <i>Пер. Т. Казавчинской</i> .....	191
В Барсетшире. <i>Пер. Н. Васильевой</i> .....	194

Диккенсовская ярмарка. Пер. К. Атаровой .....	198
<b>Любимые эссе (1932)</b>	
Обманчивая внешность. Пер. Н. Васильевой.....	202
Эти наши актеры. Пер. Н. Васильевой .....	205
<b>По Англии (1934)</b>	
Бирмингем. Пер. В. Ашкенази .....	209
<b>Поездка в Россию (1946). Пер. В. Ашкенази*</b> .....	234
<b>Радости (1949). Пер. М. Зинде</b> .....	259
<b>Вопяющий в пустыне (1957)</b>	
Вторая революция. Пер. А. Ливерганта .....	282
Кто против Америки? Пер. А. Ливерганта .....	287
Единорог. Пер. А. Ливерганта .....	291
Шоу. Пер. А. Ливерганта.....	295
У телевизора. Пер. А. Ливерганта .....	300
<b>Заметки на полях (1962)</b>	
У меня было время. Пер. В. Ашкенази, Н. Васильевой .....	306
<b>Мгновения (1966)</b>	
Что произошло с Фальстафом. Пер. М. Лорие .....	318
Жизнь, литература и время. Пер. М. Лорие .....	336
<b>Эссе из журнала «Нью стейтсмен» (1966—1967)</b>	
Факт или вымысел? Пер. А. Ливерганта .....	356
Америка: мечта и действительность. Пер. Н. Васильевой .....	360
<b>Расцвет викторианской Англии (1972) Пер. Т. Казавчинской ....</b>	366
<b>Англичане (1973). Пер. Н. Трауберг</b> .....	378
<b>Поездка в Новую Зеландию (1974).</b>	
Тонгариро и его «Замок». Пер. Ю. Рознатовской .....	398
На ферме «Горные владения». Пер. Ю. Рознатовской.....	404
На озере Таупо. Пер. Ю. Рознатовской .....	411
<b>Особые удовольствия (1975). Пер. А. Солянова</b> .....	419
Комментарий .....	431
Именной указатель .....	462

**ЗАРУБЕЖНАЯ  
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА  
И ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА**

**ВЫШЛИ В СВЕТ:**

- А. Р. Вильямс (США)**  
**А. Моруа (Франция)**  
**Я. Гашек (Чехословакия)**  
**Э. Хемингуэй (США)**  
**Ж. Р. Блок (Франция)**  
**Ф. С. Фицджеральд (США)**  
**Т. Кайко (Япония)**  
**Г. К. Честертон (Великобритания)**  
**М. Иванов (Чехословакия)**  
**А. Карпентьер (Куба)**  
**Ч. П. Сноу (Великобритания)**  
**Э. Э. Киш (Чехословакия)**  
**Н. Христов (Болгария)**  
**Л. Новомеский (Чехословакия)**  
**М. Твен (США)**  
**Й. Рыбак (Чехословакия)**  
**Ф. Мориак (Франция)**  
**А. де Сент-Экзюпери (Франция)**  
**М. Фриш (Швейцария)**  
**Ф. Гарсия Лорка (Испания)**  
**Л. Мештергази (Венгрия)**  
**Дж. Рид (США)**  
**Г. Гессе (Швейцария)**  
**К. Оэ (Япония)**  
**И. Тауфер (Чехословакия)**  
**Ф. Вольф (ГДР)**

**ЗАРУБЕЖНАЯ  
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА  
И ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА**

**ГОТОВЯТСЯ К ИЗДАНИЮ:**

**Э. Канетти (Австрия)**

**Э. Кош (Югославия)**

**Т. Вулф (США)**

**Г. Вальраф (ФРГ)**

**Дж. Г. Байрон (Великобритания)**

**Г. Бёлль (ФРГ)**

**Г. Грин (Великобритания)**

**Джон Бойнтон  
ПРИСТЛИ**

**ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ**

Составитель Екатерина Юрьевна Гениева

Редактор *А. Н. Папкова*

Художник *В. И. Левинсон*

Художественный редактор *В. А. Пузанков*

Технический редактор *Е. В. Величкина*

Корректор *Г. А. Локшина*



В книге использованы архивные фотографии

ИБ № 15906

Сдано в набор 22.12.87. Подписано в печать 05.12.88.  
Формат 84x108 1/32. Бумага офсетная № 2.  
Гарнитура Баск. Печать офсетная.  
Условн. печ. л. 24,72. Усл. кр.-отт. 24,99.  
Уч.-изд. л. 29,44. Тираж 50000 экз. Заказ № 175.  
Цена 1 р. 10 к. Изд. № 43526.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство  
"Прогресс" Государственного комитета СССР  
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.  
119847, ГСП, Москва, Г-21, Зубовский  
бульвар, 17.

Отпечатано с готовых диапозитивов на Можайском  
полиграфкомбинате Союзполиграфпрома при  
Государственном комитете СССР по делам издательств,  
полиграфии и книжной торговли.  
Можайск, 143200, ул. Мира, 93.

# Джон Бойнтон Пристли

---

«Пристли не просто романист, эссеист или драматург, это целое явление, человек-индустрия».

Ф. Бауэрс

«Мне посчастливилось работать с Пристли... Он умел заразить всех вокруг своей неумемной энергией».

А. Мердок

«Пристли принадлежит к тем писателям, которые определили целую эпоху в нашей культуре».

М. Брэдбери

«Если мы во весь голос скажем, что в нас есть неправильного, ложного, что нас тревожит, возможно, отчаяние и смерть начнут постепенно исчезать из нашего искусства».

Дж. Б. Пристли